

Институт международных образовательных программ СПбГПУ
Санкт-Петербургский общественный
«Фонд культуры и образования»

**ФИГУРЫ ИСТОРИИ,
ИЛИ
«ОБЩИЕ МЕСТА» ИСТОРИОГРАФИИ**

Санкт-Петербург
Издательство
«Северная Звезда»
2005

УДК 94(47)
ББК 63

Редакционная коллегия:
С.Н. Погодин, Г.Н. Попов,
Е.А. Ростовцев, А.Н. Цамутали

Ответственный редактор:
А.В. Малинов

Издается при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(грант 05-01-14015г) и
Правительства Санкт-Петербурга

Фигуры истории, или «общие места» историографии. Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. / Отв. ред. А.В. Малинов. СПб.: Издательство «Северная Звезда», 2005. — 460 с.

ISBN 5-901-954-26-2

В сборник включены материалы Вторых Санкт-Петербургских чтений по теории, методологии и философии истории, проходивших 22–23 апреля 2005 г. В статьях рассматривается широкий круг вопросов, посвященных теории и философии истории, соотношению историографии и литературы, языку истории и др.

Для всех интересующихся теорией и философией истории, русской историографией.

ISBN 5-901-954-26-2

© Издательство
«Северная Звезда», 2005
© Авторы статей, 2005
© А. Семаш, обложка, 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
-------------------	---

МЕТОДОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

<i>А.Б. Бочаров.</i> Альтернативная история в контексте естественнонаучной парадигмы: версия системного анализа	7
<i>В.В. Василенко.</i> П.А. Сорокин как основоположник современной глобальной истории	19
<i>Н.М. Дорошенко.</i> О современных подходах к изучению истории	23
<i>А.М. Еременко.</i> Структура исторического процесса в свете эстетического учения Аристотеля	33
<i>В.И. Загайнова.</i> Всемирная история как предмет социально-философского анализа	42
<i>А.О. Захаров.</i> К проблеме исторической объективности: историография в свете «Критики чистого разума» И. Канта	49
<i>И.Л. Зубова.</i> Современное состояние исторической науки: о некоторых результатах поиска новых парадигмально-методологических ориентаций	57
<i>М.П. Лаптева.</i> Язык историка и проблема понимания	66
<i>О.Б. Леонтьева.</i> Интерпретативные стратегии раннего русского марксизма в свете «Метаистории» Хейдена Уайта	72
<i>А.Н. Смолина.</i> Модель вечности как модель организации истории	83
<i>Б.Г. Соколов.</i> История и время	92
<i>М.А. Школьникова.</i> Метафизические основания философии истории: три взгляда персоналистической философии	98

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ В РОССИИ

<i>А.И. Барينو.</i> Некоторые аспекты философии истории Г.В. Плеханова ..	105
<i>Р.Г. Браславский.</i> Николай Иванович Хлебников как социальный историк России	108
<i>Д.А. Давыдов.</i> Тема Богочеловечества в идеях Вл. Соловьева и Н. Бердяева ..	127
<i>И.Д. Осипов.</i> Историология западничества: Т.Н. Грановский	130
<i>А.Е. Рыбас.</i> К философии истории А.И. Герцена	143
<i>Ю.А. Стоянов.</i> Начала философии и философия истории в воззрениях И.В. Киреевского и В.Н. Карпова	155
<i>И.Н. Тяпин.</i> Гносеологические основания философии истории Л.А. Тихомирова	169
<i>А.В. Усачев.</i> Русская историософия и германская философия истории: сходство и различие моделей	183

ИСТОРИОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРА

<i>С.И. Ковальская.</i> От историологии к историографии: эволюция исторического знания казахов	193
<i>В.В. Ковригин.</i> Современная историография и школьные учебники истории . . .	199
<i>А.В. Малинов.</i> Историология литературы Н.И. Кареева	204
<i>С.Н. Погодин.</i> В.И. Герье в исторической литературе	248
<i>Е.А. Ростовцев.</i> Дискурс «петербургской исторической школы» в научной литературе	303
<i>А.В. Свешников.</i> Образ истории в советской детской художественной литературе (по страницам книги Н.П. Кончаловской «Наша древняя столица») . . .	342
<i>М.М. Шахнович.</i> Отечественная историография 20–70-х гг. XX века об античном свободомыслии	356
<i>И.В. Черказьянова.</i> А.А. Клаус — первый официальный историограф российских немцев	365

ИСТОРИЯ ТЕКСТОВ И ТЕКСТ ИСТОРИИ

<i>Н.В. Воробьева.</i> Идейные и духовные аспекты литургических реформ патриарха Никона в американской историографии	371
<i>А.Г. Давыденкова.</i> Историко-культурные основания российской институционализации	379
<i>Ф.С. Корандей.</i> Первая критика « <i>Navigatio Sancti Brendani Abbatis</i> »: опыт комментария	389
<i>О.В. Куварзина.</i> О понятии «скоморошества»	393
<i>Т.Ф. Ляпкина.</i> Теория сибирского областничества в историографии Сибири . . .	396
<i>И.В. Потапов.</i> Британская система местного управления XIX века в современных исторических дискурсах	408
<i>О.С. Свешникова.</i> Тасканки и горемычки, или об одной стилистической особенности работ советских археологов 1930-х гг.	416
<i>Ю.А. Топчий.</i> Текст поведения римлянина в текстах Плавта	421
<i>Л.Н. Харченко.</i> Современная историография о роли Православной церкви в культурном развитии сибирского региона (вторая половина XIX в.). Тенденции и направления	429
<i>Т.В. Чумакова.</i> Изучение истории Академии наук во второй половине XIX в. . .	440
<i>И.В. Якубовская.</i> Историко-культурный текст викторианской эпохи: коттедж в образе жизни англичан XIX в.	450

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник статей «Фигуры истории, или “общие места” историографии» содержит статьи и очерки, напечатанные на основе докладов и выступлений, имевших место на Вторых Санкт-петербургских чтениях по теории, методологии и философии истории, проходивших 22–23 апреля в Институте международных образовательных программ Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, при поддержке Российского государственного научного фонда и Правительства Санкт-Петербурга.

В статьях и очерках, вошедших в настоящий сборник, освещается широкий круг проблем, так или иначе связанных с понятием «история и время» и отражающих в какой-то мере современное состояние исторической науки, в частности устойчивые поиски новых форм философского и исторического осмысления прошлого, свободного от пут догматического толкования какой-то одной теоретической системы.

Авторы, представленные в сборнике, обратились к самым разнообразным темам. Наряду со статьями, посвященными выдающимся представителям русской исторической и философской мысли прошлого, такими, как В.И. Герье, А.С. Лаппо-Данилевский, Н.И. Кареев, включены и очерки, посвященные взглядам представителей зарубежной философской и исторической мысли.

Имеет место и сопоставление концепций русских и зарубежных историков, что позволяет оттенить особенности общего поступательного процесса в развитии философской мысли и исторической науки. Представлены и такие сложные фигуры, вклад которых в развитие философии, истории, социологии стал достижением научного знания, выходящего за рамки школ и направлений одной или даже нескольких стран. Примером тому может служить П.А. Сорокин, вошедший в историю науки и в России, и в США и, по мнению одного из авторов, ставший основоположником «современной глобальной

Фигуры истории, или «общие места» историографии

истории». Очерки об исторических и философских концепциях, бытующих в России и за ее рубежами, о моделировании историографических понятий, о значении точного употребления терминологии в исторических трудах переплетаются с этюдами о восприятии исторических фактов как в сознании ученых, так и в сознании широких слоев общества. Книга раскрывает особенности этого восприятия в различной среде и в различные эпохи. В нее включены зарисовки отдельных историко-конкретных явлений, статьи, уточняющие конкретные факты и оценки из истории исторической науки. Представлены в сборнике и статьи, критически оценивающие труды историков и философов, созданные в годы Советской власти, выявляющие в них как достижения, так и вольные и невольные просчеты.

Строгий читатель, возможно, упрекнет составителей и авторов сборника в некоторой дробности тематики, но, быть может, эта особенность данного издания обернется и достоинством, поскольку позволит привлечь внимание историков и философов к более глубокому изучению исторического и философского наследия, в той или иной мере затронутых в данном издании.

А.Н. Цамутали

А.Б. Бочаров (Санкт-Петербург)

**АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ В КОНТЕКСТЕ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ:
версия системного анализа**

*При всем богатстве выбора другой альтернативы нет
(из политического словаря времен М.С. Горбачева)*

Сначала позволим себе небольшое лирическое отступление. История, утверждают, не знает сослагательного наклонения, но разве это может служить запретом для пытливого исследователя, разве можно не задаваться вопросом, интригующим воображение и будоражащим фантазию на тему: «Что было бы, если бы?..» К примеру, мог ли осуществиться сценарий, при котором не возникла христианская церковь? Несомненно. Мог ли победить Наполеон в войне 1812 г.? С достаточной уверенностью можно утверждать — да. Могла ли гитлеровская Германия выиграть Вторую мировую войну? С уверенностью можно говорить — нет. Мог ли Гитлер, отдав директиву на осуществление операции «Морской лев», осуществить успешное вторжение в Англию в 1940 г. Маловероятно, но не исключено. Для серьезных историков, «ревнивателей исторического благочестия» и методологической чистоты, рассмотрение альтернативной истории и ее эвентуальных сценариев является дурным тоном. Действительно, при допущении того, что единственным уроком истории является лишь тот, что из нее никто никогда не извлекает никаких уроков, следует вывод о невозможности его извлечения из события, которое существует в единственном варианте.

Тем не менее, принципиальная многовариантность развития, вероятностный характер истории признавались достаточно давно. Еще Гегель, например, говоря на эту тему, специально ввел термин «размытой реальности», при которой существует равная вероятность реализации всех возможных сценариев развития, заложенных в конкретной ситуации. Между прочим, даже сугубые приверженцы детерминизма не могут отрицать того, что и при неизменности общего направления, именно поведением людей определяется конкретная форма, в которую выльется результат того или иного исторического процесса. В самом деле, если даже признать, что события на макроуровне —

Фигуры истории, или «общие места» историографии

движение народов, классов, государств детерминированы некими законами¹, все равно социальными или естественными, то полностью противоречило бы научной картине мира мнение, что данные законы действуют и на микроуровне, т.е. на уровне отдельных поступков того или иного человека либо события. За рубежом этот подход практикуется достаточно давно. Причем ему отдали должное как профессиональные историки, так и профессиональные писатели. Так, у А. Тойнби в собрании его сочинений существует целый том «Альтернативок». К сожалению, отечественный читатель в переводе может познакомиться только с одной: «Если бы Александр не умер тогда», опубликованной в журнале «Знание — сила». А перу С. Цвейга принадлежит целый сборник новелл под названием «Невозвратимые мгновения».

В России энтузиастом альтернативного подхода к истории был Натан Эйдельман, в одной из своих книг рассмотревший ход возможного развития событий в России в случае успеха (даже временного) декабристов. Что касается создания широкомасштабных версий, посвященных не реализованным, но гипотетически вполне возможным путям развития цивилизации, страны, то сегодня их представляют такие отечественные авторы, как Н. Фоменко, А. Бушков, А. Буровский, не без успеха/прибыли, подвизавшиеся на этой ниве, пишущие объемистые труды. Хотя на самом деле их работы не относятся к жанру альтернативной истории, и эти авторы не являются «чистыми альтернативщиками», поскольку все они работают в жанре так называемой «криптоистории», получившего широкое распространение в кинематографе, в исторических фильмах с детективным сюжетом. «Сделаны» эти работы по тому же принципу: то, что вы знаете — это не история, *подлинную* историю знаем мы, которую сейчас покажем/расскажем. Например, в случае с Н. Фоменко, берется незначительный факт: эпизод в биографии, анекдот, неясность происхождения, отсутствие свидетельств и первоисточников, словом, все то, что не доказать и не проверить, что является периферией интересов серьезной науки. Идея «раздувается» за счет авторской фантазии, и подкрепленное литературной сноровкой выдается за версию о том, что монгольская империя существовала до конца XVIII в. и ей принадлежали Сибирь и... половина Северной Америки. Здесь комментарии, как говорится, излишни.

Представляет интерес другое: альтернативный подход с общетеоретической точки зрения, т.е. **метаисследование**, с использованием аппарата и методических разработок в смежных с историей дисциплинах. Что предполагает, между прочим, построение соответствующей онтологической «модели» объекта исследования и подкрепляющего/дополняющего его соответствующего языка описания. В качестве образца модели исследования можно взять физику, поскольку теорию физики задают существующие в ней: а) законы², б) способ исследования, в) среда исследования и г) объект исследования. В качестве онтологии берем концепцию множественности миров, сформули-

рованную еще Лейбницем в его учении о множественности **логически возможных** миров. Согласно Лейбницу, объективное существование может обрести любой мысленно воображаемый мир, если его структура не противоречит законам формальной логики. Наблюдаемый нами мир потому стал действительным (существующим актуально), что он оказался наилучшим из возможных миров. Следовательно, можно допустить, что множественность логически возможных миров допускает объективное существование не только принципиально наблюдаемых, но и **принципиально ненаблюдаемых** миров. Эта концепция логически возможных миров получила дальнейшее развитие в современной логике (Карнап, Витгенштейн, Крипке и др.). Поскольку многообразие логически возможных миров существенно зависит от системы логических законов, лежащих в основании логики и языка описания, то модифицируя эту систему, можно вполне корректно модифицировать и множество логически возможных миров. Такой интерпретационной модели лучше всего соответствует подход системный³. Ведь так называемая «нормальная» или «серьезная» история пусть неявным, имплицитно подразумеваемым образом, но использует естественнонаучные подходы понятия и принципы, в частности, физикалистское понимание закона и причинности, экстраполируя последнее на трактовку исторических событий. Вообще же имело место «просачивание» и влияние методологии одной науки на другую, взаимодействие их по принципу дополнительности⁴. Тем самым можно утверждать не голословно, что альтернативная история в системном почтении обладает более глубокой эвристической функцией, чем может показаться на первый взгляд⁵.

Сказанное нуждается в уточнении. Прежде всего, фундаментом конструирования альтернативных миров-отражений является концепция **«вероятностной истории»**, рассматривающая **текущую реальность** как последовательность событий, имеющих наибольшую вероятность реализации, т.е. как самую действительную из всех возможных. В свою очередь, «вероятностная история» опирается на квантомеханические представления о структуре Вселенной. При анализе «дерева вариантов», порожденных **изменением Текущей Реальности**, исследователь работает, как правило, с теми сценариями, которые наиболее **вероятностно возможны**. Наконец, верификация «альтернативной истории» и ее «литературная обработка» имеют много общего с обычным литературным процессом, с обычным трудом историка. Определимся в терминах: **Текущая Реальность** — это история объективная, «наша», история, осознающая и верифицирующая себя посредством коллективного сознания мира историков. Ее возможность совпадает с ее действительностью. **Альтернативная** или **конструируемая реальность** — осознается и верифицируется индивидуальным сознанием, располагается на окраине мира профессиональных историков. Дальнейшее изложение служит теоретическим развертыванием этих положений.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Как правило, конструирование любого события «нормальной истории» параметризуется двумя величинами: пространством — временем⁶. Считается, что связи между историческими событиями носят причинно-следственный характер: иными словами, существует некоторый динамический закон, управляющий движением истины, причем это управление («движение истории») осуществляется только — и исключительно — от прошлого к будущему. Но локализация объекта в пространстве и времени предполагает применимость к нему понятий пространства и времени; подчинение же объекта динамическим законам сохранения (т.е. законам сохранения энергии E , импульса P и момента импульса M) означает применимость к объекту понятия причинности в смысле не просто однозначной связи между двумя событиями, а такой связи, при которой от одного события к другому происходит перенос E , P или M . Проще говоря, когда при наличии причинной связи между явлениями A и B явление A с необходимостью порождает явление B . Конкретным проявлением такого понимания причинности в классической механике в период ее становления явились понятия силы и момента силы (И. Ньютон, Л. Эйлер и др.). В ней под причинной связью между событиями A и B понимается такая связь, при которой от A к B происходит передача некоего сигнала («распространяется возмущение»). Отсюда всякое изменение в замкнутой системе обусловлено воздействием на нее внешних сил. При отсутствии таких сил все параметры системы остаются неизменными. Уместно задаться вопросом, не отсюда ли идет представление о так называемых «движущих силах истории», которые при ближайшем, и внимательном рассмотрении оказываются завуалированными законами механики. При всей притягательной наглядности создания подобных исторических построений, основанных на использовании физико-механистической методологии, они обладают одним общим и неустранимым недостатком: объективностью. При таком подходе, например, победа Александра Македонского в битве у Иссы в 333 г. до н.э., когда численное превосходство было на стороне персов, а сам Александр допустил грубый оперативный просчет, никак не объясняется, берется как объективная данность. С другой стороны, неожиданной смерти тридцати трехлетнего Александра подыскивается «объективное основание», начиная от отравления⁷ и заканчивая его якобы «почти двухмесячным развратом и пьянством», сведшим его в могилу.

Далее. Нормальная, или серьезная история, как известно, изучает жизнь общества, как развертывающийся в физическом времени наблюдаемый мир. Описания исторических событий в такой истории существует либо со слов их очевидца, либо со слов комментатора-историка. Отсюда классическая история видит своей целью построение упорядоченного множества истинных высказываний⁸. В современной науке это направление выглядит главенствующим. Не приходится спорить с тем, что такую историю можно изучать, рассматривая совокупность событий, параметризованных естественными координатами: вре-

Методология и философия истории

менем и пространством происшедших событий, по отношению к которым историк выступает в роли их реконструкция: **прошлое существует только в версии из настоящего**. Что — внимание! — означает: историческому знанию присуща неопределенность. Мы не можем, оставаясь в рамках подхода, отвечающего парадигме «наблюдательной» истории, приписывать событиям фиксированную истинность — такого алгоритма не существует. Историк, как правило, не является свидетелем описываемых событий. Перед нами, следовательно, **опосредованное наблюдение**⁹ — форма событий, видение которых восстанавливается по сохранившимся информационным следам. Вновь напрашивается аналогия с естествознанием, в частности, с палеонтологией, а в ней с одним из ее главных принципов — **актуализмом**. Сформулированный в 1830 году Ч. Лайелем, он означает: при любых реконструкциях событий прошлого мы исходим из того, что в те времена должны были действовать такие же законы природы, что и ныне. «Настоящее есть ключ к прошлому» — так формулировал принцип сам Лайель¹⁰. С другой стороны, следует заметить, естественно-научное «онаучивание» истории сталкивается с рядом принципиальных трудностей. Так, концепция определения и представления движущих сил истории, существующая в вариантах «герои» или «толпа», является противоречивой. Так, в своем «первом варианте» в переводе на язык статистически-молекулярной физики утверждается, что давление газа создается некоторыми «избранными молекулами», а не всем ансамблем частиц, что противоречит действительности.

Однако, принимая во внимание, что концептуальный аппарат естественных дисциплин проработан издавна и серьезно, физика, с ее прямой и косвенной верификацией, методами и подходами, долгое время задавала и формировала критерии научности. С точки зрения метатеории, физика является простейшей наукой, поскольку ее объектами исследования выступают системы, описываемые сравнительно небольшим числом параметров. Одним из сложнейших (во всех отношениях — с точки зрения базовой теории) разделов физики является квантовая механика атомов и молекул, объясняющая характер химического взаимодействия веществ. На «лестнице наук» химия стоит выше физики — ее объекты исследования (вещества) с физической точки зрения сложны. Продолжая движение «вверх по лестнице», мы последовательно перейдем к биологии (основу ее образуют белковые молекулы), психологии (которая работает с мозгом — наиболее сложной биологической структурой), социологии (где «базисной единицей» является личность) и, наконец, истории, рассматривающей социумы в их динамике. Во всех случаях методология и сама схема «работы» науки неизменна и сводится к построению трех классов моделей: объекта, среды и взаимодействия. Так вот: единственная проблема заключается в том, что создание модели взаимодействия («событие в истории») невозможно строго математически, т.е. строго научно¹¹. Отсюда есть все основания говорить и строить модели вероятностной (альтернатив-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ной) истории, опирающейся, как мы уже отмечали, на квантово-механические представления о Вселенной.

Значит, приходится заключать, что история неоднозначна: существует не единственное фиксированное прошлое, но некоторое распределение альтернативных историй, различающихся вероятностью реализации.

Для вероятностного подхода существующая однозначная история играет такую же роль, что классическая траектория частицы в квантовой механике: она описывает совокупность наиболее вероятных событий. Но делать какие-либо выводы из изучения только этой совокупности рано. Для того чтобы выделить *реальные*, а не *случайные закономерности* исторического процесса, необходимо принять во внимание другие, т.е. альтернативные возможности истории. В математической интерпретации получаем вероятностный континуум, в котором каждое событие рассыпается на бесконечный ряд взаимосвязанных проекций. В такой модели нет никакой выделенной действительной или объективной исторической реальности. Собственно есть лишь текущая историческая реальность, которую конструирует психика, дабы упорядочить процесс рождения/уничтожения исторических состояний. Подчеркнем: мы имеем дело с нетривиальным обобщением «пространства истории» на статистическое пространство, являющееся некоторым достаточно далеким аналогом пространства квантового. Интегрируя по всем возможным событиям, получаем распределение вероятностей исхода события или даже истории в целом. Главное, что мы здесь сталкиваемся с подобием «принципа суперпозиции»: до тех пор, пока внешний по отношению к системе «история» наблюдатель не фиксирует калибровку, все возможные события в истории пребывают в смешанном состоянии, некоторые из них — возможны, а некоторые — нет. Создаваемая историческая реальность вполне субъективна: задается исторический континуум всех возможных состояний, но выделяется (актуализируется) как текущая реальность лишь одна¹². Иными словами, речь действительно может идти о «навязывании» Прошлому определенного формата — «туннеля реальности», в котором историком-альтернативщиком задается цель, граничные условия и канва сценария того или иного события.

Здесь большой проблемой является обстоятельство, зачастую не осознаваемое авторами, работающими в этом жанре, приводящее к «заболтанности», к профанации самой идеи альтернативной истории. Буквально это означает следующее: альтернативную историю *сочиняют*¹³, в то время как ее надо *конструировать*. Иными словами, владеть технологией. Суть дела не меняется, когда альтернативная история «подается» в научном изложении. Такое наукообразие создает лишь ложное ощущение математической строгости авторских размышлений.

Вообще следует четко различать ускоряющие (физические) технологии и управляющие (гуманитарные). Если первые оперируют с физическим простран-

Методология и философия истории

ством — временем, материей и объективными, не зависящими от наблюдателя смыслами, то вторые работают с информационными сущностями, внутренним временем и личными (субъективными) смыслами. Их можно рассматривать как своего рода «технологии в технологиях», создающих информационное пространство цивилизации, включающей в себя культуру, религию/идеологию и науку¹⁴. Функция физических технологий — согласование человека и мира. Миссия же гуманитарных технологий — взаимная адаптация техносферы и человека. В самом общем смысле, физические технологии заключают в себе объективные возможности истории: они отвечают за то, *что* происходит, а гуманитарные управляют субъективными вероятностями и отвечают за то, *как* это происходит. В этом случае создание версий тех или иных исторических событий, выполненных в режиме/формате альтернативной истории, следует рассматривать как разновидности гуманитарных технологий.

Предположим, что у нас создано аналитическое, т.е. претендующее на объективность («причинность») описание полной совокупности тех или иных исторических событий. Пространство исторических событий может быть задано чисто математически — как формальное векторное пространство, в котором могут реализоваться события любого (действительного или возможного) состояния системы. Затем фиксируется исходное и конечное — желательное — состояние системы. Далее рассматриваем пути, связывающие первое состояние со вторым. Чем больше независимых путей может быть найдено, тем выше *размерность* пространства исторических событий. Если в какой-то ситуации решение (событие) является единственным, то пространство решений можно назвать *простым* (безальтернативным). Если решения нет вообще, то пространство можно назвать — *тупиковым*. Класс решений, при котором пространство событий, т.е. их возможность, с каждым следующим шагом уменьшает их размерность, т.е. альтернативность, носит название *воронки событий*. Когда пространство решений на дне воронки явится достаточным и необходимым условием для реализации того или иного события, то оно не может не произойти («фатальный характер воронки»). Иными словами, возможность события становится его действительностью. Выбираем из этой совокупности те высказывания, описывающие события, достоверность которых представляется проблематичной («вероятной»). В зависимости от подхода самого исследователя, вероятность возможности события либо интуитивно чувствуется, либо аналитически вычисляется, как мера неопределенности в наших знаниях о описываемых явлениях. С этим обстоятельством связано существование исторической свободы: в моментах неопределенности эволюция социума, общества принципиально непредсказуема. Конфигурация исторических событий «расплывается» — возникает «интервал свободы», в пределах которого можно создавать и реализовать любое подмножество событий (хотя, быть может, и с малой вероятностью). Однако, поскольку в дей-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ствительности мы знаем, имеем, живем только в одной («реальной») истории, конструирование «альтернативной» цепочки событий опирается на эксплуатацию системных свойств истории. Это предполагает, что любая система, обладающая сложной и развитой структурой, в случае выведения ее из равновесия стремится вернуться в исходное состояние. Это так называемый принцип Ле-Шателье¹⁵, который, в отсутствие известных всем законов истории, можно рассматривать в качестве представления, объясняющего характер объективной, действительной устойчивости свершающихся и свершившихся исторических событий и закономерностей. С этой точки зрения создание альтернативной исторической версии представляет собой переформатирование контекста, происшедших событий при максимальном сохранении событийной структуры текущей Реальности. Последовательное следование этому принципу сразу переводит в разряд некорректных вопрос о действительности (вероятности реализации) сильных отклонений (невероятных событий) в базовой, «текущей» истории. Они в ней — не возможны! Однако — внимание! — слабые отклонения возможны, они случаются. Они провоцируют отклик в системе (истории), когда единая историческая линия событий изгибается, возникают «волны событий». То или иное событие словно «размазывается» во времени и пространстве, становится возможным еще когда-то или где-то. Алгоритм этой модели: «минимальное изменение реальности» — «развитие отклонения» — «максимально ожидаемая реакция» — «спад отклонения» — «возращение к базовой реальности» был предложен в 1959 г. А. Азимовым¹⁶. Модель оказалась эффективной и была использована целым рядом писателей-фантастов и историков-альтернативщиков. Не менее эффективной — и тоже рабочей — является версия «критических моментов истории», выполненная в рамках синергетической парадигмы, это так называемая «бифуркационная модель». В рамках этой модели историческая действительность может быть непротиворечиво описана некоей совокупностью уравнений. Причем, они дают непротиворечивые результаты, за исключением выхода за их пределы, когда решение терпит неудачу. «**Базовая реальность**» в этой модели также является устойчивой, но только до некоторого критического отклонения/значения¹⁷. Иными словами, ничтожное, донельзя случайное отклонение/изменение параметров системы (так называемые «флуктуации») приводит к заметному отклонению конструируемой реальности от базовой (в так называемых «точках бифуркации»). Если экстраполировать это на объективную историю, то примеры типичных флуктуаций: смерть Александра Македонского, задержка Юлия Цезаря при входе в сенат или тот же случай («фарт в истории»), а бифуркаций: войны, революции, эпидемии.

Чем сложнее «пространство истории» (т.е. множество всех факторов, событий, обстоятельств, влияющих на состояние системы «история»), тем, как правило, больше возможных точек бифуркаций, больше существенно раз-

Методология и философия истории

личающихся конечных позиций, тем сильнее искушение «обогащать» и разнообразить реальность действительной истории. С этим связано стремление работающих в этом жанре обогащать создаваемую ими эвентуальную реальность конструктами, т.е. гипотезами и версиями, зачастую весьма фантастическими, вроде «Ледокола» Суворова или тех же гипотез Бушкова и Фоменко.

Следует особо подчеркнуть, что все сложности построения подобных «точек ветвления» априори завязаны на представлении о том, что у истории нет цели, она объективна, исторический процесс, разворачивающийся в пространстве и во времени, надличностен и Вселенная в целом безразлична к человеку и человечеству. На сегодняшний день системная модель является лучшим из известных и апробированных аналитических описаний альтернативной истории. Однако у нее есть один существенный недостаток, который сводится к тому, что эта модель абсолютизирует принцип «гомеостатической устойчивости» истории. Иными словами, предполагается, что реальность «**текущей истории**» задана априори: это единственная воплотившаяся в действительность реальность. В этом случае все альтернативные построения носят характер «подгонки под ответ», поскольку предполагается, что чем больше расстояние между явлениями в пространстве исторических событий, тем больше сила, стремящаяся вернуть события в их исходное состояние. Это означает, что, к примеру, Александр Македонский не мог не умереть, Наполеон Бонапарт не вторгнуться в Россию и не проиграть, а Гитлер не «провалить» план «Барбаросса». С точки зрения метатеории такие версии не эвристичны, поскольку уже через несколько сотен лет сливаются с сценарием реальной истории (при сколько-нибудь отличных от нуля вероятностях реализации альтернативных моделей).

Бифуркационная модель также имеет свой недостаток, поскольку настаивает на том, что в случае выхода за пределы устойчивости системы, причинно-следственные связи разрушаются, а «волновые процессы» способны «накрыть» всю историческую реальность.

В этом случае верифицируемость истории падает по мере удаления от «**Базовой реальности**»; «на краю» континуума оказываются линии событий с непросчитываемой вероятностью реализации или даже с отрицательной вероятностью¹⁸.

На наш взгляд, способом преодоления этих проблем может стать отказ от исключительного «эксплуатирования» физико-математической методологии и сопряжение ее с принципами и разработками современной психологии, прежде всего социальной.

В завершение вот что можно извлечь в качестве выводов. Первый из них. Перечисленные модели «альтернативной истории» прежде всего подразумевают либо знание историком-альтернативщиком «объективных законов истории», либо то, что он должен осознавать меру своего незнания в качестве

Фигуры истории, или «общие места» историографии

отправного шага своих построений. Второй вывод: «уроки истории» не существуют, раз нет только единственно возможной, ставшей действительностью историей. Вывод третий: действительность «текущей реальности», которую конструирует сознание, с тем чтобы упорядочить в настоящем психические процессы, и так называемая «объективная история», в которой «отслаиваются» события прошлого, ничем не лучше (и не хуже) любой другой вероятной реализации. Когда мир истории есть всего лишь вероятностный континуум, в котором каждое событие рассыпается на бесконечный ряд взаимосвязанных проекций (альтернатив), то в нем нет и не может быть никакой выделенной «нашей» или абсолютной реальности. И четвертое: в такой интерпретации история предстает наукой способной «притягивать» или «отталкивать» те или иные события, варьируя их вероятности. Пятый вывод: выделяя уровни исследования, в том числе и такому принципу, мы привносим в модель исторической науки дополнительную структурность, а в историческую реальность — дополнительную размерность и объемность.

Примечания

¹ Заметим, как и всякое сложное понятие, термин «исторические законы» имеет достаточно размытый семантический спектр, или, в терминах логики, «понятие объемно неточное и содержательно неясное». А еще подразумевает наличие у «серьезного историка» осмысленных представлений об этих законах, либо, в крайнем случае, он должен сознавать меру своего незнания этих вопросов и проблем.

² Точности ради, следует заметить, что в своем анализе или описании тех или иных событий, каждый историк-профессионал использует принцип (закон): мнение не должно противоречить строго установленным фактам, но вправе противоречить любым концепциям, сколь бы привычными и устоявшимися они ни были.

³ Государство в истории, кирпич на дороге, сама история, рассматриваемая как совокупность ситуаций и связей между ними, — примеры систем.

⁴ Так вопрос, характеризует ли неоднозначность саму историю или лишь процесс ее познания (носит ли альтернативность истории онтологический или гносеологический характер), породит дискуссию, аналогичную соответствующим спорам в квантовой механике.

⁵ Так, например, простейшим применением вероятностной модели истории является переход к вероятностному распределению результатов «нормального боя» в построениях генштабистов Второй мировой войны. В проведенной в 1940 году советским генштабом игре Жуков «выступил» на стороне немцев... и выиграл!

⁶ Отдельной проблемой является вопрос о том, с каким временем имеет дело история: внутренним или внешним. Так, «ощущение» историчности событий есть одна из метафор аспектного, внутреннего времени, при описании которых, однако, используется внешнее (физическое) время, порожденное аспектом «пространство». Даты, хронология — это физическое время, оно определяется через периодические процессы (смена дня и ночи, движение математического маятника, атомный распад). Внутреннее время системы определяется через изменение ее структуры (рождение

Методология и философия истории

новых структурных факторов). В отличие от физического, оно скорее ощущается, нежели дается. Его специфика хорошо иллюстрируется на примере отношений истории двух влюбленных, когда один из них что-то уже ощущает, хотя ничего еще произошло. Эта проблема, по-видимому, носит структурно-системный характер, поскольку «пространство» и «время» связаны аспектной неопределенностью: они не могут быть точно определены одновременно.

⁷ Невероятно, но факт: в качестве фигурантов отравителей называют Аристотеля. Даже находят мотив: месть за смерть племянника.

⁸ Строго говоря, это только идеализация. Если рассматриваемая совокупность событий достаточно велика и разбросана во времени и пространстве, чтобы образовать структурную систему, в ней обязательно будут события с неопределенной истинностью: то есть те, которые не истинны и не ложны, либо, напротив, и истинны, и ложны.

⁹ Заметим, что в рамках квантовой механики физический мир также подразумевает фигуру наблюдателя и в его отсутствие теряет всякую определенность.

¹⁰ Непосредственно в прошлое заглянуть невозможно ни историкам, ни палеонтологам. Любые наши суждения о прошлом есть лишь более или менее вероятные предположения. Динозавры в реставрации Спилберга и динозавры академика Л.П. Татаринова несколько разные, однако, экспериментально проверить/увидеть нельзя ни первых, ни вторых — ни сегодня, ни в будущем. Необходимо признать, что на логическом уровне проблема неразрешима, это вопрос не разума, а веры.

¹¹ Так, закон всемирного тяготения позволяет рассчитать движение любого тела во Вселенной под влиянием других тел. Но — увы! — только теоретически: уравнения, необходимые для описания движения всего трех изолированных тел под влиянием притяжения друг друга, столь сложны, что их решение не удавалось получить три столетия, до 60-х годов XX века! Систему с большим количеством объектов, и при увеличении степеней их свободы, т.е. собственно историю, описать математически невозможно! Это означает, между прочим, что написать историю жизни одного человека можно, но эта история никогда не бывает историей только этой жизни, вне пересечения ее с другими.

¹² Заметим: в вероятностной, т.е. альтернативной истории с философской точки зрения, выбор создаваемой исторической реальности является экзистенциальным актом и предполагает наличие волевого и креативного ресурса! Нерешенной проблемой является лишь вопрос, можно ли выйти за пределы «заданного множества решений» применительно к деятельности конкретного исторического лица, т.е. может ли Наполеон стать выше Наполеона, стать выше своих комплексов и пристрастий.

¹³ Объективности ради, следует выступить в защиту литературного подхода и заметить, что индетерминированный характер истории приводит к замене каждого фиксированного истинного события «спектром событий», более или менее широким. Если история многозначна, то естественно описывать ее многозначным (литературным) языком.

¹⁴ Сказанное принципиально: особенностью исторической науки является самодействие. Будучи созданной, «теория истории» становится частью человеческой культуры, элементом общественного сознания, эволюцию которого она призвана описывать. Иными словами, она воздействует на объективный мир в границах свое-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

го представления об этом мире, которое защищают, развивают и дополняют носители представления — историки.

¹⁵ Иначе говоря, в ответ на любое изменение своего состояния система ведет себя таким образом, чтобы скомпенсировать эффект этого изменения. Данный закон известен в химии как правило Ле Шателье, в физике — как правило Ленца. В частном случае перед нами закон статистического гомеостаза, а в общем — разновидность законов сохранения.

¹⁶ Между прочим, химиком по своему образованию.

¹⁷ Конечно, Текущая и Базовая реальность обладают большой устойчивостью. Но эта устойчивость не безгранична. Человек — творец истории (это не банальность, а констатация) своими решениями и поступками либо утверждает сделанный выбор, либо ставит его под сомнение. Если сомнение перейдет некоторое пороговое значение, то историческая действительность претерпит радикальные изменения. Так в отдельно взятой стране и семье старший Ульянов (отец) верой и правдой служил, получал награды, поднимался по служебной лестнице, а младший (сын) читал, думал и... готовился в революционеры. Мы вновь сталкиваемся с проблемой рассогласованности времен: внешнего и внутреннего, когда можно жить в одном, а думать о другом. Словом, классика: «порвалась связь времен».

¹⁸ Например, при бросании стандартного игрального кубика вероятность того, что при этом выпадет семерка — отрицательная, поскольку это противоречит самому определению системы «игральный кубик».

В.В. Василенко (Ставрополь)

П.А. СОРОКИН КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

В августе 2000 г. первое пленарное заседание международного Конгресса исторических наук (Осло) было посвящено одному из наиболее перспективных направлений современной историографии — глобальной истории, которое уже заняло довольно прочные позиции в мировой науке. Конгресс признал, что «глобальная история существует, и интерес к ней в современной исторической науке соответствует и общим процессам нарастающей глобализации мира, и — что не менее важно — потребности в новом взгляде на историю».¹

Английский историк П.О. Брайн, прослеживая давнюю историографическую традицию глобальной истории, отметил, что «пройдя через глубокие потрясения, вызванные двумя мировыми войнами XX века, западные интеллектуалы О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин, Г. Уэллс, Л. Мэмфорд, Э. Даусон повернулись лицом к всеобщей истории, пытаясь в ней отыскать причины упадка Запада. Их усилия, однако, так и не привели к созданию прочной «несущей конструкции» на основе, которой всеобщая история могла бы развиваться как научная дисциплина».²

Действительно, несмотря на то, что западные историки проявляли большой интерес к интегральной теории П.А. Сорокина, отмечая ее значимость и новизну сразу же после выхода «Социальной и культурной динамики» (1937—1941 гг.), широкого методологического включения в социогуманитарную область знания она не получила. Возросший интерес отечественных историков в последние годы к социологической проблематике вообще, к проблемам глобальной истории в частности, способствует более пристальному рассмотрению не только самой теории социокультурной динамики, но и исследовательского инструментария П.А. Сорокина. И хотя претендовать на самодостаточность и завершенность теории исторического процесса интегрализм П.А. Сорокина не может, в его историко-культурном подходе мы обнаруживаем важные положения для современной глобальной истории. На наш взгляд, социолог прошлого века намного глубже анализирует проблемы глобальной истории, чем современные исследователи. Так, некоторые из них, преследуя исключительно идеологические и политические цели, выдвигают мрачные сценарии дальнейшей глобализации, с процветанием одних культур за счет других, игнорированием третьих. Другие видят опасность в процессе создания единого политического и экономического центра мира, с соответствующей культурной и ценностной унификацией.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Напомним, что в своей исследовательской практике П.А. Сорокин руководствовался постулатом о том, что каждое выдвигаемое положение необходимо доказывать не «рассуждениями», а данными эксперимента, непосредственного и косвенного наблюдения, статистики и истории. Он отмечал: «Вопреки распространенному приему прошлым объяснять настоящее, я из анализа настоящего старался понять прошлое, менее доступное точному изучению и наблюдению... Положения, формулирующие функциональные взаимоотношения различных явлений, ...помимо соответствующих фактов, опираются на две общие посылки: «сходные причины в сходных условиях порождают сходные следствия <...> в целом неповторяющаяся (во времени и пространстве) жизнь человека или неповторяющийся процесс состоит в огромной части из повторяющихся (во времени и пространстве) элементов».³

Основополагающим в интегральной методологии П.А. Сорокина стало понятие «социокультурная система» как предельно широкое, общее понимание культуры, под которой подразумевается абсолютно все, что было «создано или модифицировано сознательной или бессознательной деятельностью двух и более индивидов при взаимодействии друг с другом, при взаимообусловленности их поведения».⁴ Исторический процесс им рассматривается как смена трех социокультурных типов (чувственного, идеационального и интегрального), разделенных между собой периодами временных переходных кризисов. Основанием функционирования и смены социокультур в данной системе служат ценности, значения и нормы.

Действительность, которую и сегодня глобальные историки рассматривают как сложный динамический процесс, П.А. Сорокин понимает как социокультурную динамику или изменения, т.е. «способы появления социокультурной системы, длительность ее существования, изменение, разрушение и возникновение другой».⁵ Будущее мировой цивилизации, при условии предотвращения третьей мировой войны, П.А. Сорокин связывал с утверждением нового интегрального социокультурного типа. В основании нового социополитического строя, — по мнению П.А. Сорокина, — будет лежать современное научное знание и аккумулированная мудрость человечества; этот строй воодушевляется «не борьбой за существование и взаимным соперничеством», как в значительной степени были мотивированы договорной, тоталитарный и олигархический строй, но духом всеобщей дружбы, симпатии и неэгоистической любви с взаимной помощью, подразумевающей такие отношения.⁶ Картине последующей мировой истории в 1963 г. был посвящен доклад П.А. Сорокина на пленарном заседании XVIII Международного Конгресса по социологии (Нюрнберг) «Три главные тенденции нашего времени».

Он выявил три наиболее важные тенденции — прогнозы, опирающиеся на его теорию социокультурной динамики, и оценку состояния западной куль-

Методология и философия истории

туры тех лет: «во-первых, перемещение творческого лидерства человечества из Европы и Европейского Запада, где оно было сосредоточено в течение последних пяти столетий, в более обширный район Тихого океана и Атлантики, особенно в Америку; во-вторых, продолжающаяся дезинтеграция до сих пор преобладающего чувственного типа культуры, общества и системы ценностей; в-третьих, возникновение и постепенный рост первых компонентов нового — интегрального — социокультурного порядка, его системы ценностей и типа личности».⁷

Некоторые из прогнозов П.А. Сорокина уже состоялись, другие получили свое дальнейшее развитие у представителей современной глобальной истории. Так, произведенный П.А. Сорокиным анализ процесса перемещения творческого лидерства человечества из Европы и европейского Запада в более обширный район Тихого океана и Атлантики, о котором он пишет: «...в дальнейшем в великих спектаклях истории будет не просто одна евроамериканская звезда, но несколько звезд Индии, Китая, Японии, России, арабских стран и других культур и народов»⁸ соответствует реальному росту роли Востока вообще в современном мире, Китая и Индии в частности, а также возникшему «интересу к роли Востока в мировой истории, сопровождаемый сменой привычной европоцентрической познавательной стратегии».⁹

Сегодня, в ситуации нарастающей глобальной напряженности на фоне межцивилизационного конфликта, имеет смысл обратиться к теории конвергенции П.А. Сорокина. С точки зрения ученого будущее мировой истории принадлежит не лидерству одной из культур, а взаимному проникновению и гармоничному соединению (конвергенции) западных и восточных социокультурных ценностей и реальностей. В теории конвергенции, появившейся в годы холодной войны, не примере США и СССР П.А. Сорокин показал возможность объединения капиталистического и коммунистического порядков в промежуточный интегральный тип — образ жизни. Длительное время она оставалась мало известной и до конца не понятой. После распада СССР, мы приблизились к осмыслению гипотезы П.А. Сорокина о том, что «...в чистом виде оба строя, и капиталистический и коммунистический, очень не совершенны и не могут удовлетворить потребность будущего человечества в достойной созидательной жизни, ...оба строя работают только в особых условиях в особые периоды, ... за последние годы оба строя... все более и более теряли свои специфические черты и «заимствовали и объединяли в себе характеристики друг друга».¹⁰

П.А. Сорокин высказывал опасения, что если в настоящем или будущем новый объединенный социокультурный порядок не будет установлен,.. это будет означать конец творческой миссии человека на планете, деградацию и регресс всех «исторических народов» до уровня нетворческих, «неисторических» человеческих орд, обреченных, в конечном счете на гибель тем или дру-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

гим путем...¹¹ Поэтому он резко критиковал деятельность ООН и Мирового правительства, продвигая идею необходимости замены «эгоистической политики» на уровень политики сотрудничества планетарной созидательности.

Резко критикуя деятельность ООН, Мирового правительства, ученый продвигал идею необходимости замены «эгоистической политики» на уровень политики сотрудничества планетарной созидательности.

Этим и ряд других теоретических положений П.А. Сорокина о глобальной истории являются логическим результатом социологической теории социокультурной динамики. Интегральная теория, созданная ученым в середине прошлого века, не утратив своей актуальности, в настоящее время может выступать одним из средств достижения глубокого исследования и описания современного глобального мира.

Примечания

¹ Хачатурян В.М. Возможна ли глобальная история? (По материалам докладов IX Международного конгресса исторических наук в Осло // Теория и методология истории. Историография и источниковедение. М., 2004. С. 33.

² Смелова М.Н. Пленарное заседание. Тема I. Перспективы глобальной истории: идеи и методология (Обзор материалов) // XX век методологические проблемы исторического познания. М., 2001. Ч. 1. С. 163.

³ Сорокин П.А. Голод как фактор. М., 2003. С. 4.

⁴ Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 191–192.

⁵ Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. N.Y., 1962. V. 4. P. 46.

⁶ Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М., 1997. С. 75.

⁷ Там же. С. 11.

⁸ Там же. С. 94.

⁹ Ионов И.Н. Глобальная история: основные направления и существенные особенности // Теория и методология истории. Историография и источниковедение. Методические материалы. М., 2004. С. 10.

¹⁰ Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М., 1997.

¹¹ Там же. С. 94.

Н.М. Дорошенко (Санкт-Петербург)

О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ

Вопрос о современных подходах — актуальный, сложный, многомерный. Чтобы определить современные подходы к изучению истории, которые принято сегодня называть неклассическими и постклассическими, полезно соотнести их с классическими подходами, к коим мы относим, прежде всего, характерные для XIX — начала XX вв., три методологических принципа: дуализм, плюрализм, монизм. Классический дуализм существовал в двух формах — религиозно-философской и научной. Последователи религиозно-философского подхода (В.С. Соловьев¹, Н.А. Бердяев², Л.П. Карсавин³ и др.) сопоставляли способы познания естественного и сверхъестественного миров. Пытаясь выяснить специфику исторического подхода, они исходили из антитезы научного анализа и религиозного синтеза, рационализма и иррационализма, логического осмысления и психоанализа, дискурса и интуиции и определяли исторический метод как интуитивный синтез, образно-символический, иррациональный способ видения истории.

Представители научного дуализма, сопоставляя методы исторической и естественных наук, обосновали три специфических метода: «особый субъективный метод» (П.Л. Лавров⁴, Н.К. Михайловский⁵, Л.Е. Оболенский, С.Н. Южаков), «идиографический» (В. Виндельбанд⁶) и «индивидуализирующий» (Г. Риккерт⁷). Русские неокантианцы пошли дальше. Так, профессор Санкт-Петербургского университета, академик А.С. Лаппо-Данилевский показал отличие исторического метода от социологического, которые до тех пор отождествлялись, и стал различать в самой исторической науке методы номотетического и идиографического построения исторического знания⁸, а московский профессор В.М. Хвостов от дуализма перешел к плюрализму, соответствующему плюралистической «теории факторов»⁹.

Классический монизм наиболее ярко проявился в трудах историков-позитивистов (В.О. Ключевский, М.М. Ковалевский, Н.А. Рожков и др.), отстаивавших единый научный, логический, рациональный характер исторического метода. Наибольшую значимость приобрело обоснование объективного, сравнительно-исторического, структурного методов, данное В.О. Ключевским в спецкурсе «Методология истории»¹⁰. Главный недостаток позитивистского подхода в недооценке специфики исторического познания, в натурализме типичным являлось суждение французского историка И. Тэна: «Я рассматривал свой предмет, как натуралист рассматривает насекомое, пре-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

терпевающее превращение»¹¹. Сочетая позитивистское исследование истории с неокантианским пониманием предмета и метода истории, Н.Я. Данилевский в книге «Россия и Европа» и К.Н. Леонтьев в книге «Византизм и славянство» и др. отвергли старые стереотипы и подходы к изучению истории и предложили новый — культурологический подход, оказавший большое влияние на современные подходы.

Монизм также существовал в двух формах: идеалистической и материалистической. Они различались по трем вопросам: о началах (первичность общественного бытия или общественного сознания), о причинах исторических событий и о движущих силах. С помощью идеалистического метода писалась «история идей», биографии князей, царей и героических личностей. Примеры: «История государства Российского» Н.М. Карамзина, «История России» в 5-ти томах Д.И. Иловайского, «Герои и героическое в истории» Т. Карлейля и др.

С позиций материалистического монизма, применительно к истории разработанного в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса¹², Г.В. Плеханова¹³ и др., был создан подход, который включал целый ряд проблем: и проблему единства природы и общества, и проблему единства человеческого рода, включающего различные народы, расы, нации, и проблему единства исторического процесса, и проблему единства познавательных (методологических) средств. Сознывая эту сложность, классики марксизма не случайно предупреждали, что действительное единство мира доказывается не парой фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания¹⁴. Общеизвестны их слова о том, что они знают только одну единственную науку — историю, которую можно подразделить на историю природы и историю людей, которые взаимосвязаны и взаимно обуславливают друг друга¹⁵. Говоря о единстве познавательных средств, Ф. Энгельс признавал материалистическую диалектику «единственным, в высшей инстанции, методом мышления, соответствующим теперешней стадии развития естествознания»¹⁶. Однако в практике советских историков формационный подход не выдержал проверки временем по двум причинам: во-первых, он был скроен по единой европейской, точнее, по греческой мерке, и в эту схему, как в прокрустово ложе, не укладывалась история других стран и континентов. В частности, в России, как известно, не было ни классического рабовладения, ни классического капитализма. Во-вторых, он носил откровенно антигуманистический характер, в чем признавался сам К. Маркс: «Мой метод анализа, исходным пунктом которого является не человек (подчеркнуто нами), а данный общественно-экономический период»¹⁷.

В.И. Ленин, отвергая объективизм и субъективизм как метафизические методы мышления, предложил свое название метода — «объективизм классовой борьбы»¹⁸, в котором объективный метод дополнялся классовым анализом и партийной оценкой, способными, по его мнению, не только дать пра-

Методология и философия истории

вильное объяснение текущей истории, но и указать наиболее правильный путь преобразования российского общества. Этот метод также не выдержал испытания ни в теории, ни на практике. На практике он выродился в культ одного класса, одной партии, одной личности. Культ одного класса привел к установлению диктатуры пролетариата и порою к физической ликвидации других классов (помещиков, буржуазии, зажиточных крестьян). Культ одной партии, менявшей названия (РСДРП(б), ВКП(б), КПСС), но сохранявшей суть большевизма, привел к уничтожению других партий (меньшевиков, эсеров и пр.) и установлению однопартийной системы, закрепленной в 5-й статье Конституции. Культ личности, начиная с культов личности Генеральных секретарей (Сталин, Хрущев, Брежнев) и кончая сравнительно маленькими культами в республиках, областях, районах, предприятиях и т.п., привел к массовым репрессиям, унесшим жизни миллионов подчас невинных людей. В исторической науке вследствие этого подхода появилось много «белых» и «черных пятен», искажений отечественной и зарубежной истории. Негативные следствия такого подхода предсказывали многие философы, экономисты, историки, — например, П.Б. Струве, — но их доводы были отвергнуты, а сами они либо были высланы на печально известном «философском пароходе», либо отправлены в ГУЛАГ, либо вынуждены были приспособиться и служить существующему режиму.

Неклассический подход, вызванный стремлением преодолеть марксистскую интерпретацию истории, характерный для середины XX в., был представлен в следующих разновидностях: биосферный, эволюционно-энергетический, информационно-кибернетический, междисциплинарный, гуманистический, системный. Биосферный, идущий от В.И. Вернадского¹⁹, воплощен в антропоэкологии В.П. Алексеева, археологие В.П. Чеха и др. Эволюционно-энергетический подход ведет начало от антропокосмизма К.Э. Циолковского. А.Л. Чижевский в книге «Физические факторы исторического процесса» подчеркивал, что все геологические, биологические и социальные процессы на Земле определяются циклами солнечной активности²⁰. К такого рода моделям относятся гелиоэнергетическая модель Л.В. Зильберштейна — Е.Б. Чернявского, социоэнергетическая модель Е.Д. Панова, пассионарно-энергетическая модель Л.Н. Гумилева. Последний представил историю как развитие различных этносов, каждый из которых проходит свои стадии зарождения, подъема и упадка в зависимости от усиления или ослабления пассионарной энергии²¹.

К информационно-кибернетическим моделям истории относятся культурно-информационная модель А.И. Ракитова²², кибернетическая С. Янковского, проанализированные в статьях Ю.А. Мошкова, В.Е. Полетаева, Ю.А. Полякова, В.А. Устинова, С.Б. Станкевича. В современной литературе уделяется много внимания математическим моделям (Ю.Л. Бессмертный,

Фигуры истории, или «общие места» историографии

А.С. Гусейнова, М.П. Завьялова, Ю.А. Левада, Б.Н. Миронов, Н. Моисеев, Ю.Н. Павловский, З.В. Степанов, Т.И. Славко, К.В. Хвостова и др.), статистическим и количественным методам (В.В. Бовар, Л.И. Бородкин, Ю.Ю. Какх, И.Д. Ковальченко, и др.) формализации, типологизации, квантификации (М.А. Барг, Ю.Г. Ершов, Т.Г. Рабб).

Гуманистический подход, явившийся следствием применения антропологического принципа к истории, намечен в трудах Н.И. Кареева: «Историософия естественно становится на антропологическую точку зрения, ибо и на самом деле человек — центр мира истории, через которого и для которого происходит все совершающееся в истории»²³. Он продолжен В.Г. Афанасьевым, С.С. Батениным, Е.В. Гужновой, С.Л. Утченко, Н.П. Францужовой, В.А. Хотяковой и др. Междисциплинарный подход рассмотрен в статьях К.С. Гаджиева, Э.М. Мирского, Н.В. Сивачева. Системный подход обоснован в книге «Методология общественных наук» С.Л. Франком, предложившим рассматривать как систему и общество, и методы его исследования, и методологию общественных наук: «Единство общества есть не отвлеченное единство, а единство системы, т.е. конкретное единство единства и множественности... такое единство системы логически предполагает абсолютное единство целого, на почве которого развивается само отношение между единством и множеством, т.е. сама система»²⁴. Позднее он исследован Г.А. Антиповым, М.А. Баргом, А.И. Демидовым М.С. Каганом²⁵, А.Г. Коноваловым, Н.И. Конрадом, В.А. Кутыревым, Р. Тагановым и др.

Постнеклассический подход, вошедший в моду в 90-х гг. XX века и в начале XXI в., призван был преодолеть ограниченность предыдущих подходов. Объединение системного подхода с вероятностным, микро-системного с коммуникативным, эволюционного с бифуркационным привело к созданию исторической синергетики и синергетического стиля мышления. Опираясь на работы представителей естественных наук (И. Пригожин, А. Руденко, Ю. Романовский, Е. Седов, С. Шноль, А. Эддингтон, М. Эйген и др.), был создан целый ряд моделей исторического процесса: новым в них часто было употребление понятий: катастрофа, взрыв, бифуркация, флуктуация, социальное равновесие и неравновесие, самоорганизация и др. Наиболее известными стали модели И.В. Бестужева-Лада, В.П. Бранского С.Г. Гомаюнова, Ю.М. Лотмана, А.П. Назаретяна. Рассмотрим их по времени появления в печати. В 1990 г. была опубликована «Теория катастроф» В.И. Арнольди, и с тех пор понятие «катастрофа» вошло почти во все последующие синергетические модели. В 1992 г. появилась книга Ю.М. Лотмана «Культура и взрыв», в которой автор, опираясь на циклическую модель развития Вселенной, занялся проблемами хаоса и порядка, сменой эпох в культуре, приводящих к взрывам. Вначале эта модель была применена им к культуре, где всякий новый образец рассматривался как «взрыв», прерывающий поступательное развитие куль-

Методология и философия истории

туры, а потом, осознав универсальность этого подхода, он применил его ко всей человеческой культуре, рассмотрев историю как смену эпох, разделенных катастрофами. На этой же основе он попытался дать синергетическое понимание исторической закономерности, проистекающее из признания множественности путей развития различных социумов, прокладывающих свои «исторические маршруты» через бифуркации²⁶.

В 1994 г. вышла статья С.Г. Гомаюнова «От истории синергетики к синергетике истории», где он соединил бифуркационную модель с эволюционной. Эволюционная модель у него характеризуется действием детерминаций, которые не сводятся к причинно-следственным связям, а помимо них включают функциональные, целевые и др. связи, которые обеспечивают внутреннее равновесие социума, его системное качество. В случае внутреннего неравновесия социум вступает в бифуркационную фазу развития, для которой характерно исчезновение прежнего системного качества. В условиях, когда прежние детерминации уже не срабатывают, а новые еще не заработали, возникает новая «карта возможностей», представляющая набор потенциальных путей выхода на новые системные качества. Выбор системой того или иного пути зависит от деятельности отдельных людей, которые выводят систему в ее новое качество²⁷.

В 1996 г. А.П. Назаретян в курсе лекций «Агрессия, мораль и кризисы в мировой культуре. Синергетика исторического процесса» и в статье «Синергетика в гуманитарном знании» рассматривал «модель самоорганизации как дополнительную к равновесным моделям функциональной социологии, способной служить связующим звеном между ними и диалектической концепцией, ориентированной на социальные конфликты как движущую силу развития, либо основой для органического синтеза изначально конкурирующих традиций общественного»²⁸.

Сочетая эволюционизм с идеей многовариантности, И.В. Бестужев-Лада в 1997 г. в статье «Ретроальтернастика в философии истории» разработал теорию утраченных возможностей в историческом процессе, которую он назвал «действенной философией истории». В ней придается большое значение изучению не только реализованных, но и нереализованных возможностей. Вопреки привычному «безальтернативному» пониманию истории он предложил новый подход — «ретроальтернастику», базирующуюся на вероятностных суждениях, приглашая сосредоточить внимание на критериях виртуальных сценариев: реальности, логичности, сопоставимости, оптимальности²⁹.

С философской точки зрения наиболее интересным представляется подход В.П. Бранского, рассматривавшего социальную организацию на трех уровнях: онтологическом (в форме дифференциации и интеграции социальных институтов (учреждений)), гносеологическом (в форме дифференциации и интеграции знаний) и аксиологическом (в форме дифференциации и интегра-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ции ценностей)³⁰, углубляя тем самым данное нами обоснование методов истории в онтологическом, гносеологическом, логическом, аксиологическом и прагматологическом аспектах³¹.

Абсолютизация или игнорирование этих аспектов приводило и приводит к кризисам в исторической науке. Так случилось в начале XX века, когда вышла брошюра Р.Ю. Виппера под символическим названием «Кризис исторической науки»³², и так случилось в конце XX — начале XXI в., когда директор Института российской Академии Наук А.Н. Сахаров в статье «О новых подходах к истории России» пишет о «кризисе советской исторической науки»³³. Выход из первого кризиса, был найден в переходе с онтологических позиций на эпистемологические. Сторонники онтологического подхода, исходя из установки на предмет, игнорировали теоретико-познавательные проблемы, рассматривали историческое познание без учета роли субъекта в историческом познании. Суть эпистемологического подхода в том, что его сторонники видели специфику исторического познания не в предмете исторической науки, в чем были уверены онтологи, а в отсутствии предмета: предмет якобы исчез, его нет в реальности, люди ушли в мир иной, остались только исторические остатки и исторические знания. Поэтому процесс познания стал сводиться к критике знания или к построению знания и, соответственно, исторический метод — либо к критическому методу (у неокантианцев), либо к методу построения нового знания из обломков старого (у позитивистов).

Этот подход был подвергнут критике Р. Коллингвудом в книге «Идея истории» (1946), где он был иронически назван «методом ножниц и клея», главный порок которого в том, что он не приводит к получению нового знания: исследователи просто переписывают старые знания из разных источников и располагают их в новом порядке. Порядок может быть и новый, а знания остаются старые. Выход Коллингвуд видел в переходе на новый подход — логический, названный им: «логика вопросов и ответов». В основе его — проблемный метод, согласно которому каждый исследователь должен решать какую-нибудь важную проблему. Проблема — это сложный вопрос, на который еще никто не дал ответа. Поэтому бессмысленно искать его в старых источниках. Его можно найти самостоятельно только логическим путем, разлагая сложный вопрос на множество простых и начиная решать с самого простейшего и потому самого легкого, постепенно переходя от простого к сложному, от предыдущего к последующему и т.д., пока не подойдешь к решению последнего, самого трудного, решение которого и будет ответом, ведущим к решению проблемы. В итоге достигается действительно новое знание, происходит рост знания.

Этот логический подход нашел за рубежом много последователей, в частности, К. Поппера, который в книге «Логика и рост научного знания» (рус. пер.), создал формулу «роста знания»: $P_1 - TT - EE - P_2$, где P_1 означает

Методология и философия истории

поставленную вначале проблему, а P_2 — результат ее решения путем теоретического обоснования гипотетических решений (ТТ) и элиминации ошибок (ЕЕ). Согласно этой формуле действительно осуществляется прирост знания и продвижение познания в целом на более высокую ступень. Вместе с К. Гемпелем Поппер также разработал формулу «объяснения через закон», которая подверглась критике с разных сторон. Одни выступали против формализма — за психологизм, другие — против рационализма — за герменевтический метод понимания, основанный на иррационализме и интуитивизме. Сторонников прагматического подхода не устраивал абстрактный язык формул и формально-логический подход в целом, они ждали обобщения исторического и методологического опыта, поиска новых средств познавательной и практической деятельности. К тому же побуждали и исторические реалии: начатая у нас перестройка, окончание холодной войны, распад социалистического лагеря и Советского Союза требовали переоценки ценностей и, следовательно, ценностного анализа и аксиологического подхода к изучению истории.

Кстати, все означенные подходы применяются и сегодня. Трудно, правда, говорить о преимущественном положении какого-либо одного из них: обращает на себя внимание реставрация онтологического подхода в виде откровенно теологических догм; наблюдается новая вспышка эпистемологического и аксиологического подходов; не сходит со сцены логико-методологический подход, происходит оживление герменевтического метода понимания; продолжается существование марксизма в деформированной форме «критического марксизма» или «постмарксизма». Живучесть последнего объясняется, главным образом, тем, что провозглашаемые им идеалы коммунизма: свобода, равенство, справедливость в полной мере еще нигде не достигнуты. И отрицание марксистского «идеологизированного» подхода в упомянутой статье А.Н. Сахарова вызывает, по крайней мере, два нарекания, во-первых, это отрицание не содержит «удержания положительного», во-вторых, при отрицании устаревшего подхода в качестве нового предлагается не менее старый — плюрализм, без разъяснения, что же в нем нового, чем он отличается от плюрализма столетней давности в трактовке Н.И. Кареева, М.М. Ковалевского, В.М. Хвостова и др.

К изучению истории в XXI в. прогнозируются два подхода: универсальный, в форме единой «интегративной теории исторического процесса, дающей «голографический» образ истории» (О.Г. Дука)³⁴, и антицивилизационный, модернизационный (О.Ф. Русакова)³⁵. В итоге сегодня наряду с классическими антитезами (субъективизм и объективизм, идеализм и материализм, рационализм и иррационализм, позитивизм и неокантианство, презентизм и антикваризм и др.) имеют место антитезы цивилизационного и антицивилизационного, модернистского и постмодернистского, глобалистского и антиглобалистского подходов.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Суть их в следующем. Как известно, основоположником цивилизационного подхода является О. Шпенглер, который в 1918 г. издал книгу «*Untergang des Abendlandes*» (рус. пер. «Закат Европы»), где на месте «монотонной картины однолинейной мировой истории» представил «феномен множества мощных культур, каждая из которых придает своему материалу, человеческой природе, свою собственную форму, обладающую своей собственной идеей, своими собственными страстями, своей собственной жизнью, волей, манерой воспринимать вещи, своей собственной смертью»³⁶. Цивилизацию он определял как последний, нисходящий этап каждой из рассмотренных им 9-ти культур. Его последователь А. Тойнби в книге «*A study of History*» (русские переводы: «Исследование истории», «Постижение истории») определял цивилизацию как целый период, как общность людей, существующих в пространстве и времени, объединенных единой религией и единым набором обычаев и традиций³⁷. Все сторонники цивилизационного подхода трактуют историю как смену цивилизаций, каждая из которых живет по своим законам, по своему историческому времени, со своей религией и своей культурой. (Это отмечают все исследователи этого подхода: И.В. Иванов, И.Н. Ионов, К.М. Кантор, В.М. Найдеш, Ю.В. Павленко, К.Е. Сигалов, В.Л. Усманова, В.М. Хачатурян и др.). Его противники, т.е. сторонники антицивилизационного подхода, полагают, что будущее не тождественно ни одной из существующих цивилизаций и надеются на то, что человечество идет к новому миру, в котором будут одни законы, одно историческое время, одна или ни одной религии

Сторонники глобалистского подхода, озабоченные решением глобальных проблем (ядерных, экологических, демографических и пр.), исходят из того, что глобальные проблемы должны иметь глобальные способы их решения³⁸. Будущее они, как правило, отождествляют с вестернизацией, т.е. с западным (американским или европейским образом жизни)³⁹. Антиглобалисты намечают для каждого народа, нации особый путь. Отсюда — национализм, фундаментализм, экстремизм, терроризм⁴⁰.

И, наконец, модернисты провозглашают конец истории (Ф. Фукуяма)⁴¹, конец рационального подхода к истории, конец отражения исторической реальности, конец логического ее исследования и ставят на их место иррациональность, интуитивность творческого процесса и результатов. Для постмодернизма характерно увлечение мистикой, астрологией и другими оккультными «науками», тяготение к восточным таинствам. Именно этим объясняется популярность книг таких авторов, как И.А. Ефремов, Э.Р. Мулдашев. И пик этого увлечения еще не пройден, хотя уже высказывается мнение, что постмодернизм устарел⁴².

Разумеется, у каждого из этих подходов имеются свои основания. И история становится сложнее и многообразнее: за порядком следует беспорядок, сознательное переплетается с бессознательным, рациональное — с иррацио-

Методология и философия истории

нальным. И познание истории обогащается новыми формами, методами, подходами. Такова диалектика жизни, диалектика познания. И потому наилучшим подходом, на наш взгляд, был и остается диалектический подход, призывающий учитывать все стороны, все связи, все отношения. Перед историками — палитра возможностей, и какая из них станет наиболее вероятной, зависит и от них, и от многих объективных факторов.

Примечания

- ¹ Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве. М., 1989. С. 14.
- ² Бердяев Н.А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М., 1991. С. 94, 10.
- ³ Карсавин Л.П. Религиозно-философские соч. М., 1992. С. 96.
- ⁴ Лавров П.Л. Философия и социология. Избр. соч. в 2-х тт. М., 1969. Т. 2. С. 41.
- ⁵ Михайловский Н.К. Соч. СПб., 1897. С. 397, 401, 402.
- ⁶ Виндельбанд В. Прелюдии. Философ. статьи и речи. СПб., 1904. С. 320, 324.
- ⁷ Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятий. СПб., 1993. С. 96.
- ⁸ Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории (посмерт. изд.) Пг., 1923. С. 48—49, 51; Главнейшие направления в развитии номотетического построения исторического знания // Журнал министерства народного просвещения. Ч. 72. Пг., 1917.
- ⁹ Хвостов В.М. Теория исторического процесса: очерки по философии и методологии истории. М., 1919. С. 109.
- ¹⁰ Ключевский В.О. Методология русской истории // Ключевский В.О. Соч. в 9-ти тт. М., 1989. Т. 6.
- ¹¹ Тэн И. Происхождение современной Франции. СПб., 1907. С. 9—10.
- ¹² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.
- ¹³ Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Избр. философ. произв. в 5-ти тт.
- ¹⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 43.
- ¹⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 528.
- ¹⁶ Там же.
- ¹⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.
- ¹⁸ Ленин В.И. О политической линии // Полн. собр. соч. Т. 22. С. 101—102.
- ¹⁹ Вернадский В.И. Размышления натуралиста. М., 1997. Кн. 2. С. 15.
- ²⁰ Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924.
- ²¹ Гумилев Л.Н. Сочинения. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994.
- ²² Ракитов Н.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры: пример России // Вопросы философии. 1994. № 4.
- ²³ Кареев Н.И. Философия, история и теория прогресса // Очерк русской философии истории: Антология. М., 1996. С. 228.
- ²⁴ Франк С.Л. Методология общественных наук. М., 1922. С. 73—74.
- ²⁵ Каган М.С. Системность и историзм // Философские науки. 1977. № 5.
- ²⁶ Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

²⁷ Гомаюнов С.Г. От истории синергетики к синергетике истории // ОНС. 1994. № 2. С. 104.

²⁸ Назаретян А.П. Синергетика в гуманитарном знании: предварительная синергетика ист. процесса. М., 1996. С. 124.

²⁹ Бестужев-Лада И.В. Ретроальтернативистика и философия истории // Вопросы философии. 1997. № 8. С. 122; Философия истории с элементами эзотерии и этики // Философские науки. 2004. № 7.

³⁰ Бранский В.П. Социальная синергетика как постмодернистская философия истории // ОНС. 1999. № 6.

³¹ Дорошенко Н.М. Методология истории как система. Калинин, 1985. С. 18, 20, 83.

³² Виппер Р.Ю. Кризис исторической науки. Казань, 1921.

³³ Сахаров А.Н. О новых подходах к истории России // Вопросы истории. 2002. 8. С. 4, 14.

³⁴ Дука О.Г. Историческая синергетика и интеграционные процессы в отечественной исторической науке // Наукоедение: фундаментальные и прикладные проблемы. Красноярск, 2004. С. 210.

³⁵ Русакова О.Ф. Историсофия: структура предмета и дискурса // Вопросы философии. 2004. № 7. С. 58.

³⁶ Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории (пер. с нем.). М., 1998.

³⁷ Тойнби А. Постижение истории (пер. с англ.). М., 1991; Цивилизация перед судом истории (пер. с англ.). СПб., 1996.

³⁸ Пантин В.И. Глобальное видение истории и современность // Философские науки. 2004. № 7.

³⁹ Иноземцев В.Л. Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация // Вопросы философии. 2004. № 4.

⁴⁰ Будницкий О.В. Терроризм глазами историка: традиции и современность // Вопросы философии. 2004, № 11–12; Шулевский Н.Б. Метафизика в России и терроризм. М., 2004.

⁴¹ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек (пер. с англ.). М., 2004.

⁴² Бугалин А.В. Постмодернизм устарел (Закат неолиберализма чреват угрозой протонимперии) // Вопросы философии. 2004. № 2.

А.М. Еременко (Луганск, Украина)

СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СВЕТЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ

Событиемное описание истории. Рискую навлечь на себя обвинения в непонимании как методологических основ исторической науки, так и самого «духа истории», мы утверждаем: историческому познанию следует не только описывать и объяснять, что именно произошло в данное время и в данном месте. *Ему следует описывать и объяснять, что, как правило, происходит в таких-то и таких-то условиях.* Во всяком случае, именно такое познание является по-настоящему философско-историческим. Уникальность исторических событий во многом иллюзорна. Мнение о таковой уникальности является следствием ошибочной методологической установки, идущей от В. Виндельбанда и Г. Риккерта.

Для анализа повторяющихся в структуре исторического процесса ситуаций плодотворным, на наш взгляд, будет введенное нами в научный оборот понятие *событемы*¹. Вкратце можно пояснить суть данного понятия следующим образом. Существует возможное как некая разновидность реальности. Но возможное не однородно, а внутри себя структурировано. Возможности звезды, возможности человека и возможности, скажем, футбольного матча — это разные возможности. Так вот, *событемы — это существующие в мире возможного основные типы, классы, виды событий.* Событема есть возможность событий определенного типа.

Событиемный подход к истории снимает застывшую со времен Аристотеля противоположность между историей и поэзией. Как говорит Стагирит в своем хрестоматийном высказывании: «Ибо историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозой... — нет, различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история — о единичном»². Так вот, предлагаемый нами подход вовсе не делает историческую науку разновидностью поэзии. Наоборот, он делает историографию вполне научной, способной установить объективные закономерности исторического процесса. Как видим, наш подход не является ни постмодернистским, ни даже неклассическим. Напротив, он выдержан в духе классического, можно даже сказать, «наивного» рационализма и объективизма. И мы готовы отстаивать этот объективизм от натиска «наисовременнейших» способов философствования.

Событиемная теория вооружает нас рациональными методами анализа того, что случается с историческими деятелями, скажем, типа Алкивиада в обстоя-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

тельствах несправедливого обвинения или какого-либо неправового преследования. И, используя событийную теорию, мы, в конечном счете, сможем показать, *что случается с историческими деятелями различных (в пределе — всех) типов в обстоятельствах различных (в пределе — всех) типов, встречающихся в истории.*

На первый взгляд, кажется, что мышление Аристотеля враждебно событийности. Мир Аристотеля — это, в первую очередь, мир действительного, состоящий из самостоятельных, однозначных предметов с четкими, определенными очертаниями. «Первые сущности» — это единичные существа и вещи, а отнюдь не события. Наиболее свойственно сущности «существовать отдельно и быть определенным нечто»³. Можно сказать «белое идет» или «большое есть дерево», но более правильно говорить, что «человек идет» и что «дерево большое», ибо человек является белым, а дерево большим лишь привходящим образом, в то время как человек есть человек и дерево есть дерево субстанциональным образом⁴. А что бы сказал Стагирит по поводу высказываний «ходьба манифестируется человеком» или «рост выразился в виде дерева»? Видимо, что они высказаны сумасшедшим. Такое «сумасшедшее» видение реальности есть ее событийное понимание, при котором события как возможности единичных событий различного рода как бы «вызывают» деятелей, осуществляющих «ожидаемые» события. Однако, к своему изумлению, мы обнаруживаем, что сам Аристотель отдал дань подобному видению в «Поэтике», правда это было видение художественной реальности.

Здесь обнаруживаем понимание самостоятельной природы событийности. Анализируя факторы, конституирующие единство трагедии как художественного произведения, Аристотель говорит: «Сказание бывает едино не тогда, как иные думают, когда оно сосредоточено вокруг одного лица, потому что с одним лицом может происходить бесконечное множество событий, из которых иные никакого единства не имеют; точно так же и действия одного лица многочисленны и никак не складываются в единое действие»⁵.

М. Гаспаров переводит здесь *mythos* как «сказание». Для наших целей, пожалуй, предпочтительнее перевод А. Лосева: «миф бывает один не тогда...»⁶. Думается, вдумчивый читатель должен уже осознать, что понятие «события» в нашем словоупотреблении оказывается весьма сходным с понятием «миф», если его истолковывать как смысловой принцип, вокруг которого концентрируется понимание действительности определенной социальной общностью, и как образец для подражания, вокруг которого концентрируются способы жизнедеятельности той же самой социальной общности. С этой точки зрения *события есть не что иное, как основные мифы истории.*

Итак, единство трагедии определяется не тем, что в ней действует один и тот же герой, а тем, что в ней осуществляется от естественного начала к естественному концу одно и то же целостное действие. Знаменательно здесь не

Методология и философия истории

только то, что действия оказываются у Аристотеля самостоятельной реальностью по отношению к актантам, гораздо более знаменательно то, что именно природа действия оказывается фактором, детерминирующим природу необходимых для трагедии персонажей и самой трагедии как целого. «Следовательно, подобно тому как в других подражательных искусствах единое подражание есть подражание одному предмету, так и сказание, будучи подражанием действию, должно быть подражанием действию единому и целому...»⁷. Но если единое целостное действие является тем «предметом», которому подражает сочиняющий трагедию поэт, то не знаменует ли это переход из вещной парадигмы в событийную? Аристотель хвалит Гомера за то, что он не стал описывать в «Одиссее» все события, которые случились с героем в течение всей его жизни; наоборот, «он сложил “Одиссею”, равно как и “Илиаду”, вокруг одного действия»⁸. В этом плане поэма, рассказ или драма, скажем, о Каллии вовсе не обязательно должны описывать всю жизнь Каллия, гораздо лучше, если писатель построит повествование, например, вокруг лечения Каллия, начав с заболевания как «естественного» начала и завершив выздоровлением как «естественным» концом лечения. Собственно, и сам Каллий здесь, на деле, не важен — важно что с ним произошло. Писатель может поместить на место Каллия любого другого, кто лечился — лишь бы процесс лечения в своих событийных моментах представлял художественный интерес. Получается, что в данной ситуации то, что случилось «вот с этим нечто», детерминирует «вот это нечто», причем, до такой степени, что мы можем взять любое другое «нечто», лишь бы с ним случилось «вот это».

Здесь перед нами, по сути, событийный подход. В историческом процессе по-настоящему важны не люди и не условия, а события. *Необходимые для заполнения соответствующей событием события сами найдут своих актантов*. И если мы посмотрим на сочинения летописцев, хронистов и всех историков-описателей-событий (а это и есть историки *par excellence*), то мы увидим, что персонажи исторического процесса словно внезапно выныривают на поверхность из толщи событийного потока в самый момент начала их активного событийствования. И столь же обескураживающе быстро они тонут в этом потоке, как только их событийствование заканчивается, правда, потом долго идут круги по поверхности воды.

Могут возразить: «Это особенность не столько самой истории, сколько ее описания историками, так сказать, жанровая особенность исторических повествований. И, кстати, это совсем не обязательно: жанр исторической биографии строится по иным законам, — возьмите Плутарха, например». Но и мы возразим: думается, что это такая особенность исторических повествований, которая отражает существенные черты самой реальной истории. И Плутарх здесь не очень удачный пример: он писал не просто *post factum*, а, как правило, в отдаленной исторической перспективе, ставя перед собой весьма специ-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

фические художественно-моралистические задачи. Плутарх, скорее, исторический писатель, а не историк *par excellence*, он может быть сопоставлен скорее с Э. Радзинским, чем с С. Соловьевым или В. Ключевским. Биография и, скажем, летопись, совсем не одно и то же, особенности же реальной истории в большей степени схватываются летописью, чем биографией.

Если вернуться к Аристотелю, то для пояснения сущности событием весьма значимыми являются знаменитые рассуждения Стагирита о завтрашнем морском сражении. Завтра морское сражение необходимо будет или не будет, но неверно, что завтра морское сражение необходимо произойдет, и неверно, что оно необходимо не произойдет: необходимо лишь то, что оно произойдет или не произойдет. Обобщая, Аристотель говорит: «...все необходимо есть или не есть, а также будет или не будет; но нельзя утверждать раздельно, что то необходимо или другое необходимо»⁹.

Можно сказать, что в единичных исторических событиях необходимо как бы само «или», а тот или иной определенный исход не необходим. Необходимы событием, а не события. Необходимо, чтобы нечто происходило, но что именно будет происходить — не необходимо. Отсюда можно сделать вывод о *бинарной структуре события: событие устроено по принципу да/нет*. Событием конституирует все возможные способы осуществления того или иного типа событий. Например, битва произойдет или не произойдет. Но это еще не все возможности битвы. В битве победит либо сторона А, либо сторона В. Битва будет либо кровопролитной, либо не кровопролитной. В битве либо А будет атаковать, а В обороняться, либо В атаковать, а А обороняться и т.д., и т.п. Но невозможно, чтобы во время битвы кто-либо из ее участников, скажем, сочинял литературное произведение. После своего завершения битва может быть описана в одном или многих литературных произведениях; в битве могут участвовать великие писатели, которые до и после битвы сочиняют литературные произведения (Эсхил или Сервантес, например), но если непосредственно во время битвы кто-либо из ее участников станет заниматься сочинительством, он весьма рискует погибнуть.

И если мы возьмем сочинение литературного произведения, то оно либо будет написано, либо не будет. Оно будет либо талантливым, либо бездарным, и т.д. и т.п. Но во время сочинения литературного произведения вряд ли возможен, скажем, труд в сфере материального производства. Разумеется, писатель может в перерывах между писанием романа, скажем, заниматься сельскохозяйственным трудом, как Л. Толстой, но непосредственно во время написания он должен писать.

Если вновь воспользоваться аристотелевским примером, то данное платье может быть разрезано, а может быть не разрезано, но в событии разрезания платье всегда остается *и* разрезанным, *и* не разрезанным. И то же самое справедливо относительно битвы, литературного сочинительства и всех прочих ти-

Методология и философия истории

пов событий. В событиях битвы всегда присутствуют произошедшие и не произошедшие, выигранные и проигранные, кровопролитные и не кровопролитные и все возможные битвы. В событиях сочинительства присутствуют написанные и не написанные, поэтические и прозаические, трагические и «хеппиэндовские» и все возможные произведения. *Событие есть то, что определяет, каким образом могут, а каким не могут происходить события определенного типа.* В действительности невозможно, чтобы одно и то же событие в одно и то же время и произошло, и не произошло. Так вот, *событие есть принцип, позволяющий и не позволяющий происходить в действительности единичным событиям.* С помощью события происходит, так сказать, распределение событий: событию А произойти в данном месте и в данное время; событию В не произойти в данном месте и в данное время.

История как ритуал и трагедия. В наши цели не входит ни выработка общепринятого определения ритуала, ни разработка целостной теории ритуала. Мы оттолкнемся от некоторых, релевантных для нашей концепции, положений современных религиоведов. Огромная роль ритуала в становлении не только различных форм культурной и социальной жизни, но и в становлении самого человека не вызывает сомнений. Некоторые исследователи даже предлагают добавить к расхожим определениям человека определение «человек ритуальный»¹⁰. В.Н. Топоров полагает, что ритуал был основной формой общественного бытия архаического человека. «В этом смысле ритуал должен пониматься как прецедент любой производственно-экономической, духовно-религиозной и общественной деятельности, их источник, из которого они развились (лишь по отпадению от этого источника, после утраты живых связей с ним, эти «деятельности» стали независимыми и самодовлеющими, более того — хотя бы отчасти продолжающимися в своей совокупности архаичный ритуал)...»¹¹.

Структура исторического процесса обнаруживает наибольшее сходство со структурой ритуалов перехода. Как показывает, например, В. Тэрнер, ритуалы перехода выполняют важную функцию в регулировании или даже снятии социальной конфликтности. Когда «годовой цикл совершает круг», соответствующие ритуальные церемонии «снимают бремя всех недобрых чувств», накопившихся за год, и благодаря этому оживляют дух коммунитас. Т.о., несмотря на разногласия и борьбу, поддерживается структурная дифференциация общины. «В религиозных системах ... противоречия и разногласия разрешаются не *ad hoc* по мере их возникновения, а самым общим и всеобъемлющим способом в определенные, регулярно повторяющиеся периоды ритуального цикла»¹².

Мы полагаем, что история есть *квазиритуал*, которым были заменены традиционные ритуалы, когда архаическое общество разрушилось. Задача этого квазиритуала по сути такая же, как и ритуалов перехода: *сбросить конфликтное напряжение, урегулировать взаимоотношения структуры и коммунитас.* Именно этой ритуальной подоплекой обуславливаются различ-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ные циклические структуры исторического процесса. В силу того, что цивилизованное общество гораздо сложнее архаической общины, скрытые в недрах потока истории ритуальные структуры оказываются гораздо более длительными и «неправильными» по сравнению с ритуалами, — поэтому их довольно сложно обнаружить в кажущихся довольно хаотичными войнах, восстаниях, революциях и переворотах. Ко всему прочему, с течением времени происходит постепенное забвение ритуальной сущности истории и все большее искажение и разрушение ее ритуальных аспектов. Одной из причин такого забвения является отмеченная длительность и сложность ритуальных циклов истории. В качестве второй важной причины можно указать на изменение самих людей в ходе истории, выражающееся, помимо всего прочего, в десакрализации окружающего мира (в том числе — исторического) в сознании человека. В этом плане одной из задач предлагаемого в данной работе видения истории является *напоминание о ритуальной природе истории*.

Осознав ритуальную подоплеку исторических событий, человечество должно отнестись очень серьезно к ритуальным аспектам событийствования. *Оно должно попытаться превратить историю в ритуал в самом полном смысле этого слова*, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если в историческом пути человечества нельзя избежать страданий, слез и смертей (а против этого трудно что-либо возразить), то пусть они приобретут ритуальный характер. Но есть еще один выход, — скажут нам: *отказаться от самого исторического пути*. Долой историю! Истории объявляется забастовка! Здесь мы возразим следующее. У А. Платонова есть удивительные слова о том, что «последним средством жизни и страдания является сам человек». Это понимал одинокий скрипач, ощущая, что его слезы могут выразить ту глубину страдания, которую бессильна выразить скрипка. Кажется, что мы будем противоречить Платонову, назвав человека *последним средством Мирового Творчества*. Причем, жизнь и страдания являются, в свою очередь, средством для того, чтобы человек творил, ибо трудно усомниться в большей творческой продуктивности страдания по сравнению со счастьем. Противоречие снимается, если мы осознаем саму жизнь человека, само его повседневное поступание и историческое событийствование как высшую форму творчества. Для чего история мучает человека? Да попросту для того, чтобы он, как сказал поэт, играл «смычками страданий на скрипках времен». Возможно, что современное человечество стоит у самой важной своей развилки. Оно должно выбрать из двух альтернатив: либо отказаться от делания Истории, а, следовательно, от умножения связанных с этим деланием страданий, либо продолжать делать историю на новом уровне и новым — облагороженным — способом. Но пусть оно имеет в виду, что, выбрав первую альтернативу, оно рискует прийти в мир, в котором творчество упразднено. Творчество же есть единственное оправдание человека перед Миром.

Методология и философия истории

Здесь мы обнаруживаем более глубокий, так сказать, эзотерический смысл ритуальных аспектов истории. Когда мы размышляем над онтологическими основаниями событийности, история предстает перед нами как трагедия.

Мы оттолкнемся от весьма глубокого анализа А.Ф. Лосевым мировоззрения Аристотеля. В работе «Очерки античного символизма и мифологии» А. Лосев показывает, что аристотелевская теория трагического выходит за пределы эстетики в метафизику. Существуют метафизические основания преступления как начального этапа трагедии. Необходимо, чтобы Космический Ум выходил из повиновения самому себе и блаженной самособранности. Необходимо *преступление*, связанное с рождением или гибелью живого существа¹³.

Преступление нужно для личности, ибо только так ей суждено выразить себя. Но в то же время оно не нужно, ибо сама по себе, в своей глубинной сути, личность есть Ум. И трагическая обстановка нужна для очищения, ибо через нее выражает себя личность. С другой стороны, она не нужна, потому что смысл умной энергии не нуждается ни в каких фактах, которые есть для него инобытие. Очищение становится возможным, потому что наступает освобождение от ужасающих фактов. Ум, очистившийся от них, становится самим собой¹⁴.

Здесь перед нами предстают основные моменты эйдетически-событийной структуры истории, истории как ритуала очищения. История и нужна для спасения человечества, и не нужна. Нужна, потому что только пройдя через историю, человек становится человеком. В конечном счете, только пройдя через горнило исторической событийности, впустив ее в себя, человек становится разумным и нравственным существом. Не нужна, потому что в своей глубинной сути человек изначально является совершенным, чистым и высоким существом. История мучает человека и вынуждает его делать мерзости, но несмотря ни на что человек остается человеком. В повести В. Гроссмана «Все течет» человек блестящих способностей Иван Григорьевич, три десятилетия скитавшийся по сталинским лагерям, на исходе жизни решает посетить дом, где он провел детство. Он поднимается по склону горы, — и вся прожитая жизнь проходит перед его умственным взором. Он не чувствует зла к тем людям, которые исковеркали его жизнь. Поднявшись к месту, где стоял родительский дом, Иван Григорьевич видит лишь несколько камней, белеющих среди травы. И, тем не менее, яркий свет освещает его жизнь. Все рухнуло, все пропало. Лишь он сохранился в своей человеческой неизменности.

Мысль о том, что всемирная история есть всемирный суд уже давно стала банальностью. Но при этом забывают, что это обоюдный суд: *не только история судит Человека, но и Человек вправе судить Историю*. Суд истории осуществляется путем реального событийствования, суд же над историей осуществляется, в первую очередь, путем понимания истории, философской рефлексии над историей.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Обратимся вновь к лосевской интерпретации Аристотеля. Утраченная светлая невинность должна восторжествовать, если преступление правильно оценено. Тогда наступает очищение страстей. Мы чувствуем, что наша связь с первоумной энергией не потеряна, что эта энергия продолжает сиять в своей блаженной красоте и невинности. Так из мифа рождается пять элементов трагедии: 1) перипетия; 2) узнавание; 3) пафос; 4) восстановление попоранного; 5) очищение¹⁵. Можно сопоставить эти элементы с всеобщими фазами события. Тогда получим: 1) перипетия — зарождение события в недрах предшествующих условий (противоречие между Миром и человеком); 2) узнавание — подъем события (борьба воздействия и претерпевания в структуре события); 3) пафос — пик события (равновесие воздействия и претерпевания); 4) восстановление попоранного — угасание события (победа воздействия над претерпеванием); 5) очищение — смерть события в новых условиях (разрешение противоречия между Миром и человеком).

Уход перводвижущего Ума в материю есть метафизический переход от «счастья» к «несчастью», от блаженной удовлетворенности к ищущему страданию. Хоть Ум в какой-то мере забывает и теряет себя, Ум как таковой остается неизменным и собранным в одну точку. Трагедия возникает, когда самодовлеюще-всеблаженный Ум отдается во власть инобытию, подчиняется необходимости, становится страдающим. Тогда начинается человеческая «жизнь» с ее переходом от счастья к несчастью, с ее виной, преступлением, наказанием, поруганием нетронутости Ума и восстановлением поруганного¹⁶.

В этом плане уход Космического Ума в историю должен быть понят как трагедия Ума. *Всемирная история есть всемирная трагедия*. Космический Ум раздробляет себя во множестве деятельных актантов, которые часто творят злодеяния, но в то же время, некоторые из них прорываются к надисторической истине и тем самым искупают свои злодеяния. Пассивное большинство человечества выступает как хор.

Можно классифицировать событемы мировой истории обычным для логики путем включения единичных событий в общие виды и роды событий. Тогда основными событемами будут: 1) религиозная событийность; 2) социально-политическая событийность, 2а) свержение/захват власти; 3) правовая событийность; 4) война; 5) эстетическая событийность (искусство и художественная литература); 6) научная событийность, 6а) философская событийность; 7) техническая событийность; 8) экономическая событийность. И далее, например: религиозная событийность: а) возникновение новой религии; б) проповедование; в) соборы; г) создание церкви; д) диспуты (с переходом в 6а); е) религиозные войны (с переходом в 4), — и т.д. и т.п. Но это, так сказать, профанное понимание событем. Следует осознать также *событемы вечной священной истории: 1) грехопадение; 2) страдание; 3) жертва; 4) искупление; 5) спасение*. Они являются структурообразующими элемен-

Методология и философия истории

тами как сюжета мировой истории в целом, так и целостного сюжета всякой эпохи, всякого периода, а также структурообразующими элементами каждого по-настоящему исторического события. Можно сказать, что, в конечном счете, *лишь то, что имеет такую структуру, является историческим*. События священной истории есть истина фаз события и элементов трагедии.

Согласно Аристотелю, весь мир представляет собой трагическое целое. «В мире вечно творится преступление, вечно искупается и преодолевается вина; и вечно сияет катартически-просветленная “блаженная” перво-энергия всеобщей умной Сущности»¹⁷. Мы не встречали лучшего и более глубокого описания структуры и сущности истории. *Это и есть история как она есть, история в своей событийной сути.*

Человек покидает свой дом и уходит в опасное и полное приключений странствие, исход которого не гарантирован и не известен ему. И он все дальше и дальше удаляется от Первоума. Он сражается с чудовищами, переплывает реки, взбирается на горные вершины и срывается в пропасти. Он покрывается потом, пылью и кровью. Он забывает и отчий кров, и Бога, и самого себя. И когда ему кажется, что он уже не знает, ни того, где он, ни того, во имя чего он странствует, ни того, кто он такой, — к нему возвращается просветленная память. Человек вернулся к месту, с которого отправился в путь. От родного дома остались лишь жалкие развалины. Но ослепительный свет невидимого чертога озаряет его: преображенным, возрожденным, измененным, но неизменным человек вернется в светлый чертог, который есть он сам.

Примечания

¹ См.: Еременко А.М. О виртуальности виртуальной истории // Человек. 2002. № 3. С. 124–139.

² Аристотель. Сочинения. Т. 4. М., 1983. С. 655 (1451в1-5).

³ Аристотель. Сочинения. Т. 1. М., 1976. С. 190 (1929а 27-28).

⁴ Аристотель. Сочинения. Т. 2. М., 1978. С. 293-294 (83а 1-24).

⁵ Аристотель. Сочинения. Т. 4. М., 1983. С. 654 (1451а 16-19).

⁶ Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 750.

⁷ Аристотель. Сочинения. Т. 4. М., 1983. С. 655 (1451а 30-33).

⁸ Там же (1451а 29-30).

⁹ Аристотель. Сочинения. Т. 2. М., 1978. С. 102 (19а 28-32).

¹⁰ Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. Ростов-на-Дону, 1996. С. 373.

¹¹ Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаичный ритуал в фольклорных и раннерелигиозных памятниках. М., 1988. С. 16.

¹² Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 242–243.

¹³ Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 734.

¹⁴ Там же. С. 746.

¹⁵ Там же. С. 735.

¹⁶ Там же. С. 732–733.

¹⁷ Там же. С. 748.

В.И. Загайнова (Йошкар-Ола)

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

Возникший на заре человеческого существования интерес к истории переплетен с вечным стремлением человека познать самого себя, найти смысл жизни, понять и оценить ее. По выражению К. Ясперса, история — основа, однажды заложенная, связь с которой мы сохраняем, если хотим не бесследно исчезнуть, а внести свой вклад в бытие человека¹. Это утверждение немецкого философа четко передает неизменную человеческую потребность в полном и целостном понимании основ своего существования, именно человеку присуще постоянное стремление к осмыслению своего земного пути в природно-космическом универсуме, к пониманию себя через единство мироздания, многообразии человеческих традиций и культурных ценностей.

В процессе осмысления своего жизненного пути у человека складывается определенное мировоззрение как результат духовно-практического отражения действительности. Именно в мировоззрении ощущается биение пульса общественной жизни, отражается социокультурная ситуация, воплощается самосознание той или иной исторической эпохи. Историческое сознание человека выстраивается из осознания связи, преемственности поколений, унаследованности истории, оно отражает историческую природу человеческого бытия и связывает в единое звено элементы прошлого, настоящего и будущего. В рамках исторического сознания кристаллизуется чувство патриотизма, гордости и достоинства, осознание ответственности перед будущими поколениями за судьбы человечества. В исторической ретроспективе анализируется и сопоставляется настоящее и минувшее, где каждый человек и общество в целом вольно или невольно сопоставляют себя с другими людьми, нациями и цивилизациями и тем самым осознают целостность исторического процесса и личную причастность к ходу истории.

История как, с одной стороны, реальный процесс, а, с другой — как знание о нем является предметом исследования не только исторической дисциплины — философов всегда интересовало развитие истории. Философия истории пытается дать целостную картину развития человеческой истории, рассмотреть ее как процесс становления, изменения и развития человеческого бытия. Термин «философия истории» был введен Вольтером, который считал, что историк наряду с описанием событий и изложением их в хронологической последовательности должен философски истолковывать исторический процесс. Вольтер полагал, что история — это наука философская, которая призвана

Методология и философия истории

«научить нас правам и обязанностям... сделать менее глупыми и более возвышенными»². В этой связи следует отметить, что философия истории не может существовать и развиваться без использования результатов, выводов исторической науки: только на основании знаний о конкретных фактах действительности философ может делать научные обобщения. Философское знание находится во взаимообуславливающих отношениях с историческим, где само существование философии истории немислимо вне контекста исторического сознания.

Философия истории сыграла существенную роль в становлении и развитии европейской научной мысли в целом. Являясь традиционным теоретическим разделом философского знания, на современном этапе своего развития философия истории приобретает статус концептуального способа исследования исторической реальности. Философия истории включает в себя теорию общественно-исторического развития, проблему построения универсальной модели всемирной истории, вопросы аксиологии истории и исторического знания, а также историческую эпистемологию³. Изучая многофакторность, изменчивость, неповторимость исторической действительности, философия истории рассматривает события и явления во взаимосвязи, выстраивает стройную, целостную картину исторических изменений. В своем постижении истории философия открывает «самую глубокую подоснову — то деятельное человеческое сообщество, в котором рождается прошлое, настоящее, будущее, сама история в ее внутренних сцеплениях и отношениях... где... философы обнаруживают единое и целое»⁴.

Рассматривая исторический процесс в рамках теории развития, философия истории выстраивает динамику исторических изменений, развертывающуюся во времени и пространстве. Историческое развитие раскрывается через понимание истории как всемирной системы, в которой все явления выстраиваются в целостную картину изменений. Всемирная история не отрицает многообразия человеческого существования — не только каждая историческая эпоха отличается неповторимостью, своеобразием, но и каждый народ неповторим в своей индивидуальности, в своих национальных традициях. Объективность этого положения показывает, что всемирная история является не только внешней преемственностью эпох и событий, но, главное, представляет собой внутреннюю связь между ними. Всемирная история, по мнению М.А. Барга, является исходным понятием, без которого нельзя сколько-нибудь осмысленно и шаг за шагом ступить в хаотическом нагромождении «локальных историй»⁵.

Представляется, что категория «всемирно-историческое» является системным выражением единства и целостности истории человечества, проявляется в пространственно-временных различиях и реализуется в универсальности поступательного движения, скрытого за внешним многообразием локально-исторических процессов.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Одной из центральных идей в построении концепций всемирной истории является основание целостности. Согласно сформулированному Аристотелем определению: «целым называется (1) то, у чего не отсутствует ни одна из тех частей, состоя из которых оно именуется целым от природы, а также (2) то, что так объемлет объемлемые им вещи, что последние образуют нечто одно»⁶. Понятие «целостность», как философская категория, означает свойство объектов как совокупности составляющих их элементов, организованных в соответствии с определенными принципами. Специфика категории «целостность» состоит в отражении взаимосвязи и взаимовлияния явлений действительности, при наличии которых определенная совокупность, «часть» объектов может быть выделена как система нового порядка, способного при этом, к сохранению своей качественной определенности.

Всемирно-исторический процесс имеет собственную закономерность, вытекающую из первоначальной цельной взаимосвязи и выражающуюся через природу ее внутреннего единства. Именно выделение определенной основы позволяет в любом хронологическом отрезке времени увидеть глубинную взаимосвязь событий и явлений исторического развития, выступающих в единстве индивидуального и общего. Единство истории не есть общность законов и наличие одинаковых признаков явлений, не есть единообразие событий, оно неотделимо от целостности и выражается внутренней связью различных явлений в рамках исторической действительности. Единство истории характеризуется своим ноуменальным основанием, внутренней целостностью, присущей всем явлениям истории. Выразительно звучат слова Н.А. Бердяева, раскрывающие суть человеческой истории: «Человечество есть некоторое положительное всеединство, и оно превратилось бы в пустую отвлеченность, если своим бытием угашало и упраздняло бытие всех входящих в него ступеней реальности, индивидуальностей национальных и индивидуальностей личных»⁷.

Можно согласиться с Н.И. Смоленским, который полагает, что признание или отрицание единства и целостности истории представляет собой фундаментальную основу мышления, что оно определяет всю его структуру и является предпосылкой для реконструкции разных вариантов логики общеисторического развития⁸. В данном случае вариант выявления логики исторического процесса, опирающийся на признание единства и целостности, рассматривается в качестве наиболее рационального, наиболее адекватно выражающего его сущность. Между тем полемичность проблемы видится в том, что в философии истории не сложилось однозначного ответа на следующие вопросы: является ли всемирная история целостным, единым процессом; является ли всемирная история единым процессом изначально или это постепенно объединяющий человечество в единство процесс?

В истории философской мысли можно выделить два противоположных подхода в понимании единства и целостности всемирно-исторического процесса.

Методология и философия истории

Сторонники первого при рассмотрении исторического развития исходят из понимания истории как простой совокупности отдельных, локальных, не связанных друг с другом событий. Так, например, представители «философии жизни», неокантианства, неогегельянства, неопозитивизма поставили под сомнение вопрос о возможности постижения истории через единство, прогрессивность развития. По мнению одного из представителей неокантианства, В. Виндельбанда, история в отличие от естествознания, стремящегося найти необходимые связи между фактами и установить общие законы, должна, в первую очередь, определять ценность «однократного», уникального, неповторяющегося отдельного события.

Представляется, что наиболее полное выражение данная позиция получила у представителей цивилизационного подхода, которые мыслят историю человечества вне единства, раздробленную как в пространстве, так и во времени, и распадающуюся на множество изолированных друг от друга цивилизаций. Так, например, О. Шпенглер писал: «Я вижу феномен множества мощных культур, с первозданной силой вырастающих из материнского ландшафта, к которой они строго привязаны на всем протяжении своего существования, и каждая из них налагает на свой материал — человечество — свою собственную форму, и у каждой своя собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и, наконец, собственная смерть»⁹.

Сторонники второго подхода при рассмотрении всемирно-исторического процесса апеллируют к категориям целостности, единства, непрерывности, закономерности исторического развития. Однако следует отметить, что общего основания целостности всемирной истории в социально-философской мысли не сформировано. Анализ показывает, что одни мыслители усматривают основание целостности в общих божественных истоках (провиденциалистская традиция), другие — в наличии объективных законов исторического развития (Дж. Вико, И.Г. Гердер, К. Маркс и другие), третьи — в биологической природе человека (Э. Майер, Э. Лазо, В. Штраус) или в географической основе истории (Л. Мечников). Некоторые философы в поисках единства обращаются к поиску доисторических корней, истоков человеческого рода (И.Г. Фихте, К. Ясперс), или связывают единство с исторической традицией, историческим временем, национальной судьбой (Н.А. Бердяев). Нередко поиск исторического единства объединяется со стремлением человека к свободе разума (Ж. Кондорсе, А. Тюрго).

На основе систематизации различных социально-философских концепций представляется возможным предложить классификацию подходов в интерпретации оснований целостности и единства всемирно-исторического процесса, в соответствии с которой в рамках социальной философии могут быть выделены провиденциалистский, естественно-природный, гуманитарно-научный подходы.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

В рамках провиденциалистского подхода (Августин Блаженный, Дж. Вико, В. Соловьев, Н. Бердяев) основание целостности задается одновременно трансцендентным и имманентным присутствием Бога в истории. Сама идея единого человечества, сотворенного от одного человека Богом, средневековая по своему происхождению идея. Августин Блаженный писал: «Он сотворил только одного и единственного. Это не для того, конечно, чтобы оставить его одиноким, без человеческого общества, но чтобы тем самым сильнее возбудить в нем стремление к общественному единству и к узам согласия, как скоро люди соединены между собой не только сходством природы, но и связями родства»¹⁰. В целом, в рамках данного подхода рассмотрение истории базируется на нескольких постулатах: Бог, Дух, Абсолют является источником всей жизни, в том числе и человеческой; он является движущей силой истории, задает единство существования и единообразие развития, цель и направленность исторического процесса; всемирная история является заданным извне процессом, закономерным и предопределенным божественным началом, которое охватывает всю жизнь человечества на планете и завершается только с концом этого мира и земного существования человека.

Естественно-природный подход обосновывает единство всемирной истории, ее географической основы, биологической целостности человечества как результат развития Вселенной, Космоса и живой наследственности естественной природы. Натуралистические представления о природе человеческого существования возникают в эпоху Нового времени. В рамках географического детерминизма, природно-географическая среда является главным фактором, влияющим на становление человеческой сущности, социально-экономических отношений, политического строя государства. Так, например, Ж. Боден, Ш. Монтескье, Т. Бокль, Л. Мечников, Ф. Бродель подчеркивают определяющее влияние природы на хозяйственную деятельность, экономические отношения, традиции и нравы народов. Развернутую формулировку географического детерминизма дал Ш. Монтескье, который полагал, что природные факторы, географические и климатические условия жизни людей во многом определяют дух народа и характер общественного развития, поэтому «законы природы», вытекающие из «устройства нашего существа», предшествуют всем остальным законам, которым подчиняется человек¹¹. Прослеживается неразрывная связь «естественной» и «общественной» истории, что обуславливает «естественную» сущность человека, который выступает как «продукт природы» и действует в соответствии с «законами природы». В рамках данного подхода в обосновании целостности и единства всемирно-исторического процесса реализуется идея ноуменальной связи истории человечества с историей Универсума. Бытие человека, вписанное в целостность природы, выражает непосредственную связь и близость со всем сущим в мире.

Гуманитарно-научный подход реализует идею единого человечества как главного субъекта всемирной истории, в рамках которой разворачивается его

Методология и философия истории

социальная жизнь, выявляются общественные закономерности развития как гаранты поступательного, прогрессивного движения общественных систем в целом. Начиная с эпохи Просвещения, в философских трудах Ж.-Ж. Руссо, А.Р. Тюрго, Ж.А. Кондорсе, И.Г. Гердера, история мыслится как прогресс человеческого разума. В рамках просветительской традиции целостность истории задается изначальной естественной разумностью человека и имманентно присущими ей идеалами гуманности (И.Г. Гердер), социального равенства и свободы (Ж.-Ж. Руссо), способности к усвоению новых идей и ощущений (Ж.А. Кондорсе). Так, например, И.Г. Гердер писал, что история становится «целым, цепью, не прерывающейся никогда, от первого до последнего члена, — цепью человеческой общности и традицией воспитания человеческого рода»¹². С наибольшей теоретической обоснованностью гуманитарно-научный подход реализуется в историческом материализме, который рассматривает многообразие общественной жизни через единую сущностную основу — логику зарождения, развития и смены общественно-экономических формаций, представляющую собой прогрессивное поступательное движение человечества. Целостность всемирной истории представляет собой результат интеграции общественной жизни, основой которой является хозяйственная, экономическая интеграция, порождающая экономическое единство. В целом в рамках гуманитарно-научного подхода всемирно-исторический процесс предстает как фундаментальный способ существования человечества, как реализация человеческих замыслов, как результат человеческой деятельности.

Анализ философско-исторических концепций, проведенный в рамках выделения предложенных подходов, позволяет проследить тенденцию, в соответствии с которой основание целостности из абстрактных, имманентных атрибутов трансформируется в приобретаемую, формирующуюся особенность всемирно-исторического процесса. Так, если в гегелевской диалектике объективного духа допускалось игнорирование целых народов, эпох, культур как не имеющих значения для истории, как случайных и попутных явлений единого и целостного процесса, то исторический материализм рассматривает всемирную историю как интеграционный процесс, результат хозяйственно-экономической деятельности общества, где единство постепенно становится действительностью по мере преодоления изоляции государств, народов и развития связей между ними. Современная динамика всемирно-исторического процесса, характеризующаяся очевидными интеграционными тенденциями, глобализационным вектором развития, позволяет объективно выделить практический, конкретно-событийный уровень в понимании целостности и единства всемирной истории. В современном мире человек может ощущать себя не только гражданином отдельной страны, носителем определенной культурно-этнической основы, но и прямым участником всемирно-исторического процесса.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Примечания

¹ Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. С. 240.

² Вольтер. Эстетика. Статьи, письма, предисловия и рассуждения. М.: Искусство, 1974. С. 99.

³ Коломеец Е.Н. Опыт метафилософии истории // Вестн. моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2000. № 6. С. 48.

⁴ Межуев В.М. Философия истории и историческая наука // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 85.

⁵ Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М.: Наука, 1984. С. 36.

⁶ Аристотель. Сочинения: В 4-х тт. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 174–175.

⁷ Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во Фолио, 2000. С. 351.

⁸ Смоленский Н.И. Проблемы логики общеисторического развития // Новая и новейшая история. 2000. № 1. С. 5–6.

⁹ Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: В 2-х тт. Т. 1. Новосибирск, 1993. С. 151.

¹⁰ Августин Блаженный. Творения: В 4-х тт. Т. 3: О граде Божиим. Кн. I–XIII. СПб.: Алетейя; Киев: УЦИНМ–ПРЕСС, 1998. С. 221.

¹¹ Монтескье Ш. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 57.

¹² Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 50.

А.О. Захаров (Москва)

**К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЪЕКТИВНОСТИ:
историография в свете
«Критики чистого разума» И. Канта**

Вопрос о том, могут ли историки высказывать истинные суждения и/или предлагать истинные повествования о прошлом, столь же стар, сколь сама историография. Скептицизм в отношении результатов деятельности представителей историографической профессии получил весьма солидное обоснование в трудах постмодернистских мыслителей, в том числе лидера повествовательной теории историографии Х. Уайта. Вместе с тем сами историки сохраняют убежденность в своей способности давать верное изложение истории — «того, что совершалось», *ges gestae*. В данной статье хотелось бы предложить один из возможных вариантов обоснования историографии, восходящий к «Критике исторического разума» И. Канта — образцовому обоснованию научного познания.

Начнем с нескольких критических замечаний в адрес нашумевшей «Метаистории» Х. Уайта, что вызвано как ее влиянием на теоретико-философские рассуждения об историографии, так и тем, что в ней эксплицитно высказываются положения, отрицающие за историографической профессией статус научности и способность давать истинное изложение прошлых феноменов¹.

Уайт исходит из того, что историческое сочинение — это «словесная структура в форме повествовательной прозаической речи»². С этим положением как таковым трудно не согласиться. Но согласно американскому историку, историография не более чем разновидность литературы; по крайней мере, он не уделяет серьезного внимания претензии историков на истину. Уайт выделяет пять уровней концептуализации при создании исторических сочинений: 1) хронику; 2) историю-рассказ (*story*); 3) тип построения сюжета (*emplotment*); 4) тип доказательства (*argument*); 5) тип идеологического подтекста (*ideological implication*), — дополняя их шестым — метаисторическим, на уровне глубинных структур воображения. Уайт, вслед за Н. Фраем, выделяет четыре разных типа построения сюжета: волшебная сказка (*gotanpse*), трагедия, комедия и сатира, причем «возможны и другие, такие как Эпос»³. Следуя С. Пепперу, Уайт называет четыре парадигмы формального доказательства, которое может принимать историческое объяснение: формизм, органицизм, механицизм, контекстуализм. Он, опираясь на К. Манхейма, считает возможными четыре идеологические позиции: анархизм, консерватизм, радикализм и либерализм. Уайт анализирует труды Ж. Мишле, Л. фон Ранке, А. де Токвиля, Я. Буркхардта среди историков и Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, Ф. Ницше и

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Б. Кроче среди философов истории. По мнению американского историка, «в каждом историческом описании реальности действительно существует нередуцируемый идеологический компонент. То есть просто потому, что история не есть наука, или в лучшем случае, есть протонаука с определенными ненаучными элементами своей конституции. Сама по себе претензия на отыскание некоторого типа формальной связности в историческом источнике приносит с собой теории природы исторического мира и самого исторического знания, которые имеют идеологический подтекст, ибо пытаются понять “настоящее”, как бы это “настоящее” не определялось»⁴.

После этого сложно понять наиболее интригующее место в построениях Уайта — теорию образной речи (*topology*), которая используется для характеристики глубинных структур воображения. Именно они ответственны за акт префигурации — пред-образования — исторического поля умственного восприятия. «Префигуративный акт — это акт поэтический, поскольку в экономике сознания историка он докогнитивен и некритичен»⁵. С точки зрения Уайта, теория образной речи «дает основу для классификации глубинных структурных форм исторического воображения в конкретный период его эволюции»⁶. Он осмысляет возможные глубинные структуры воображения с помощью хорошо известных тропов: метафоры, метонимии, синекдохи и иронии. Уайт полагает, что именно акт префигурации обуславливает результат деятельности историка: «В поэтическом акте, который предшествует формальному анализу поля, историк и создает и собственный объект анализа, и предопределяет модальность концептуальной стратегии, которую он использует в целях объяснения объекта своего анализа»⁷.

Но тогда необходимо объяснить, как связаны, во-первых, акт префигурации и «нередуцируемый идеологический компонент» в одном историческом сочинении. Если последний не может быть сведен к первому, то префигурация не может быть той глубинной структурой воображения, которая детерминирует (создавая объект анализа и предопределяя модальность стратегии его объяснения) конечный результат деятельности историка. Во-вторых, по замечанию П. Рикера, «выявить среди способов исторического объяснения «идеологическую импликацию»... — это значит быть способным распознать идеологию как таковую, то есть отделить ее от собственно способов аргументации, поместить ее под прицел критики идеологий»⁸. В-третьих, в подходе Уайта необъяснимым оказывается многообразие концепций историков, явно превосходящее четыре тропа. Хрестоматийным примером может служить история изучения Великой Французской революции, о природе которой споры идут *de facto* с ее свершения⁹.

Далее, Уайт полагает, что «теория тропов дает возможность охарактеризовать доминирующие типы исторического мышления, сформировавшегося в Европе XIX века». Он показывает глубинную структуру исторического воображения этого периода как движение по замкнутому кругу, ибо «каждый из

Методология и философия истории

типов может быть рассмотрен как фаза, или момент, в рамках традиции дискурса, эволюционировавшей от Метафорического толкования исторического мира, через толкование Метонимическое и Синекдохическое — к Ироническому постижению неустранимого релятивизма всего знания»¹⁰. Началом этого круга американский историк называет Позднее Просвещение, пришедшее к Ироническому взгляду на историю (Уайт ссылается на Гиббона, Юма, Канта).

Но в той мере, в какой Уайт предлагает схему исторической последовательности тропов, он действует как историк, претендуя на истинное представление «того, что совершалось» в историческом воображении. Более того, это имело место в прошлом, следовательно, это невозможно воспринять сейчас. Но допустим, что Уайт не считает эту схему истинной. Какая же она тогда? Предположим, что она нормативна. Тогда оказывается, что Уайт предписывает историкам и философам (а равно и всем остальным людям) определенное видение прошлого, которое, по его же собственным словам, идеологически обусловлено и/или префигурировано одним из тропов. Но это уже даже не релятивизм, в коем его упрекали¹¹, а заявление *ex cathedra*, метафорически — тоталитаризм. Вместе с тем Уайт провозглашает право историка на выбор точки зрения, за что П. Новик назвал его «философом свободы в историографии»¹². Тогда можно констатировать неснятое (в гегелевском смысле) противоречие в концепции Уайта. Впрочем, в этом нет особой нужды, так как в действительности Уайт предлагает все-таки дескриптивные высказывания и теорию. Это доказывается тем, что он не просто постулирует круговое движение исторического воображения, но старается дополнить его анализом работ изучаемых им мыслителей (Гегеля, Маркса, Ранке и т.д.). *De facto* их труды служат «источниками» в том смысле, в каком это понятие используется в исторической профессии¹³. Р.Дж. Коллингвуд назвал бы эти тексты «свидетельством», которые эмпирически подкрепляют определенную гипотезу¹⁴.

На этом рассмотрение концепции Уайта хотелось бы закончить и перейти к по необходимости краткому изложению кантианского обоснования историографии. Начать целесообразно с утверждения, что у историков есть определенные созерцания. Кант определяет созерцание как тот способ, каким познание непосредственно относится к предметам и к которому как к средству стремится всякое мышление; оно «имеет место, только если нам дается предмет; а это в свою очередь возможно, по крайней мере для нас, людей, лишь благодаря тому, что предмет некоторым образом воздействует на нашу душу»¹⁵. Историк непосредственно относится к источникам: читает разнообразные документы (хозяйственной отчетности, юридической практики), эпиграфику, *de visu* и *in situ* исследует археологические памятники etc. Историк в созерцании даны другие люди и определенные отношения между ними (отрицание этого сводится, в конечном счете, к солипсизму, который, хотя и остался не опровергнутым, не разделяется профессиональными историками¹⁶).

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Впрочем, можно предвидеть возражение такого рода: непосредственный доступ к действительности невозможен, мы всегда имеем дело лишь с «образом действительности (реальности)». Допустим, это верно. Тогда какой смысл будет иметь сама категория «реальность»? Какое значение будет приписано выражению «образ действительности»? Этот «образ действительности» есть образ чего? Образ того, чего нет? Это противоречит самому понятию действительности. А как можно понять, что у нас именно «образ» того, что есть, если мы не знаем ничего, кроме него (пусть даже известны иные образы)? Как эти множественные образы (привычно обозначаемые ссылкой на различные культурные традиции) можно сравнивать, если нет того субстрата (и доступа к нему), который лежит в основе сравнения? То же можно сказать о проблеме непосредственного и опосредованного: если мы имеем дело лишь с опосредованным, то как можно понять, что оно именно опосредованное? Диалектически мы вынуждены признать, что непосредственное есть.

Но что обуславливает объективный характер сравнения, возможность говорить именно о действительности, а не только об ее образе? Ответить на это можно, вслед за Кантом, указанием на априорные формы созерцания: пространство и время¹⁷. Замечание Канта о том, что «вне нас мы не можем созерцать время»¹⁸, остается в силе до сих пор, равно как и остальные положения трансцендентальной эстетики¹⁹. Могут возразить: почему время должно полагаться априорным? Ответить на это можно, думается, указанием на то, что самый опыт невозможен вне представления о времени: мы не можем устраним его из мышления, хотя прекрасно можем удалить любой предмет. Кроме того, как воспринять последовательность и одновременность без априорного представления о времени? Это, конечно, аргументы Канта. Добавить к ним можно следующее соображение. Допустим, время апостериорное, т.е. эмпирическое по происхождению представление. Что тогда обуславливает его общезначимость (ведь ссылка на опыт ее никогда дать не может)? Далее, тогда следует показать время в созерцании не формальном, но содержательном, среди предметов опыта. Предположим, физики скажут, что этому соответствует частота излучения атомов цезия при переходе с уровня на уровень в квантовых часах (атомная секунда системы СИ). Но здесь мы попадаем в порочный круг: мы заранее решили, что будем измерять *время* с помощью этого наблюдаемого процесса. Если этого не предполагать, то не ясно, что именно мы измеряем. Поэтому время априорно.

Все имеющиеся представления об истории историография подчиняет единой системе летосчисления — христианской эре. Даже указание на ее конвенциональный характер не отменяет того факта, что любой историк, создавая изложение результатов своего исследования, заранее, до всякого возможного опыта, ориентирован на именно эту схему. Понятие трех длительностей Ф. Броделя²⁰ становится мыслимым лишь при условии проекции на единую

линию времени: если бы это было не так, то взаимоотношение между длительностями не могло быть осмысленным. Длительность является большой лишь тогда, когда есть малая, а это, в свою очередь, возможно лишь в том случае, когда мы можем их сравнить при помощи однообразной системы измерения. Если же мы будем исходить из того, что они несоизмеримы, то тогда на каком основании они объединяются понятием «длительности», причем с тремя уточняющими предикатами? Пространство истории вплоть до середины XX века полностью совпадало с поверхностью Земли. Историческое сочинение пока не может повествовать о том, что происходило на планете x звезды α Центавра и в любом случае о том, что происходило в Средиземье Дж.Р.Р. Толкиена и мире Конана-варвара. Поэтому Коллингвуд был прав, утверждая, что создаваемая историком «картина должна быть локализована во времени и пространстве»²¹.

Таким образом, все представления, которые есть у историка, подчинены априорным формам созерцания. Но этим нельзя ограничиться. Когда Коллингвуд замечает, что «всякая история должна быть непротиворечивой»²², то он, во-первых, имеет в виду конкретный труд по истории, а во-вторых, не доводит эту мысль до логического конца. Именно это и хотелось бы сделать ниже.

Кант определяет знание как «целое, состоящее из сопоставимых и связанных между собой представлений»²³. Способность знания основана на синтезе — «присоединении различных представлений друг к другу и понимании их многообразия в едином акте познания»²⁴, причем этот синтез основан на спонтанности — «способности самостоятельно производить представления»²⁵ — и является трояким. Три вида синтеза, по Канту, суть схватывание представлений в созерцании, воспроизведение их в воображении и узнавание в понятии²⁶. Так как Кант принимает определение истины как «соответствия знания с его предметом», то он должен объяснить, что есть предмет в этом случае. «Нетрудно убедиться, что этот предмет [представлений] должно мыслить только как нечто вообще = x , так как вне нашего знания мы ведь не имеем ничего, что мы могли бы противопоставить этому знанию как соответствующее ему. Мы находим, однако, что наша мысль об отношении всякого знания к его предмету заключает в себе момент необходимости, а именно предмет рассматривается как противное тому, чтобы наши знания определялись произвольно и как попало, а не некоторым образом а priori, так как, поскольку они должны относиться к предмету, они должны также необходимо быть согласны друг с другом по отношению к этому предмету, т.е. должны обладать тем единством, которое составляет понятие о предмете»²⁷. Следовательно, Кант придерживается когерентной теории истины (как критерия для корреспондентной теории).

Применительно к историографии важно отметить, что все представления об истории, которые есть у историков и которые они создают (основываясь на спонтанности как способности), предполагаются дополняющими друг

Фигуры истории, или «общие места» историографии

друга и взаимосвязанными. Они также полагаются согласованными или, во всяком случае, согласующимися друг с другом. Конструируемый историком воображаемый мир (то, что он воображает, по-видимому, сейчас не нуждается в особых доказательствах), основанный на априорных формах созерцания, возможен также потому, что само понятие мира основано на идее целого. Принцип системности знания не безразличен для историографии: и повествование, и описание как формы изложения системны, а не произвольны. Следовательно, все исторические сочинения в целом должны быть согласующимися друг с другом. То, что многие из них противоречат друг другу, объясняется тем, что требование непротиворечивости концепций есть только негативный критерий истины²⁸, а историография является апостериорной, т.е. эмпирической деятельностью, а не априорным познанием. Это означает, что результаты познания зависят не только от формы, но и от содержания, схватываемого историками в созерцании, воспроизведенного в воображении и особенно «узнанного в понятии».

Помимо вопроса об априорных формах созерцания, следовало бы остановиться на проблемах исторических понятий, категорий (в кантовском смысле) и особенно идей разума. За неимением места ограничусь лишь некоторыми замечаниями. Историки пользуются как понятиями, так и категориями рассудка. Так, в историографии можно найти такие эмпирические понятия, как одежда, посуда, орудия труда, оружие²⁹. В ряде своих работ автор этих строк анализировал понятие государства, которое является эмпирическим, хотя оно невозможно без воображения³⁰. Использует ли историк категории (в кантовском смысле), вопрос скорее праздный, чем серьезный. Безусловно, использует, так как базовая для историографии, согласно столь разным мыслителям, как Г.В.Ф. Гегель и А. Данто³¹, категория изменения лежит в основе любого повествования, а для нее необходима категория субстанции. Можно добавить, что написать «Историю России» можно только полагая Россию в качестве субстанции (то же можно сказать об истории любого объекта исследования, который будет являться одновременно субъектом изменения). Наиболее проблематичная категория причинности тоже присутствует в исторических сочинениях, так как историк всегда исходит из представления об обусловленности объектов своего изучения; его задачей и является установить то, чем обусловливается то или иное явление, а поскольку, по справедливому утверждению Канта, «я ничего не могу сказать обо всем предмете опыта в целом (о чувственно воспринимаемом мире), а могу говорить только о правиле, по которому следует приобретать и продолжать опыт соответственно его предмету»³², постольку прав был М. Блок: «Одним словом, причины в истории, как и в любой другой области нельзя постулировать. Их нужно искать...»³³.

Но именно здесь находится ответ на вопросе об идеях разума в историографии. Кант определил разум как способность создавать единство правил

Методология и философия истории

рассудка по принципам³⁴. То, что содержательно считается причиной действия, составляя большую посылку в умозаключении, есть принцип и идея разума. Собственно, значительная часть споров среди историков и вокруг историографии состоит в поиске оптимальной теории исторического объяснения. Не имея возможности останавливаться на этом подробнее, закончить можно лишь указанием на то, что раз знание есть «целое, состоящее из сопоставимых и связанных между собой представлений», то конкурирующие между собой теории должны стремиться синтезировать все имеющиеся представления.

Примечания

¹ Об Уайте см.: *Metahistory: Six Critiques // History and Theory. Studies in the Philosophy of History. Beiheft 19. 1980. No 4*; Vann R.T. *The Reception of Hayden White // History and Theory. Studies in the Philosophy of History. Vol. 37. No 2. 1998.*

² White H. *Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe.* Baltimore-London, 1973. P. 2; cf.: Уайт Х. *Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитонова.* Екатеринбург, 2002. С. 23.

³ Уайт Х. *Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века.* С. 27.

⁴ Там же. С. 41.

⁵ Там же. С. 51.

⁶ Там же. С. 52.

⁷ Там же. С. 51.

⁸ Рикер П. *Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ / Пер. с фр. М.; СПб., 2000. С. 205.*

⁹ См., например: Фюре Ф. *Постижение французской революции.* СПб., 1998; Хобсбаум Э. *Век революции. Европа 1789–1848.* Ростов-на-Дону, 1999; *Буржуазные революции XVII–XIX в. в современной буржуазной историографии / Отв. ред. И.П. Деметьев. М., 1986; Актуальные проблемы изучения истории Великой Французской революции (Материалы «круглого стола» 19–20 сентября 1988 г.) / Отв. ред. Е.Б. Черняк. М., 1989; Великая французская революция: история и современность // *Материалы международной научной конференции 23–24 ноября 1989 г. / Под ред. Б.Н. Бессонова. М., 1990; Ревуненков В.Г. Марксизм и проблема якобинской диктатуры (историографический очерк).* Л., 1966; Манфред А.Б. *Великая французская буржуазная революция.* М., 1983; Матьез А. *Французская революция. Т. 1–2.* Ростов-на-Дону, 1995 etc.*

¹⁰ Уайт Х. *Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века.* С. 57.

¹¹ *Metahistory: Six Critiques // History and Theory. Studies in the Philosophy of History. Beiheft 19. 1980. No 4. P. 65*; Novick P. *That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession.* Cambridge, 1988. P. 603.

¹² Уайт Х. *Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века.* С. 500; Novick P. *That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession.* Cambridge, 1988. P. 601.

¹³ Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. *Введение в изучение истории / Пер. с фр. А. Серебряковой. Изд. 2-е. М., 2004. С. 49*; Тош Дж. *Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М., 2000. С. 57.*

Фигуры истории, или «общие места» историографии

¹⁴ Коллингвуд Р.Дж. *Идея истории. Автобиография*. М., 1980. С. 235.

¹⁵ Kant I. *Kritik der Reinen Vernunft*. 1 Aufl. Riga, 1781. 2 Aufl. 1787. В 33.

¹⁶ Впрочем, солипсизм — это та интеллектуальная позиция, которую никто серьезно не разделял: тот, кто защищает солипсизм, выступает с претензией на знание перед аудиторией и потому уже признает существование других людей (иначе к кому он обращается?).

¹⁷ Конечно, проблема времени крайне сложна, и я не тешу себя мыслью, что сумею убедить читателя, тем более что это не удалось великому Канту. Августин, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер и П. Рикер предлагают свои варианты решения проблемы времени и его соотношения с историей; для разбора их требуется гораздо больше места, чем допускается жанром статьи.

¹⁸ Kant I. *Kritik der Reinen Vernunft*. В 37.

¹⁹ Ibidem. В 46 f.

²⁰ Бродель Ф. *Средиземноморье и Средиземноморский мир в эпоху Филиппа II*. Ч. 1—3. М., 2002—2004.

²¹ Коллингвуд Р.Дж. *Идея истории. Автобиография*. М., 1980. С. 234.

²² Там же.

²³ Kant I. *Kritik der Reinen Vernunft*. А 97.

²⁴ Ibidem. В 103.

²⁵ Ibidem. В 75.

²⁶ Ibidem. А 97—110.

²⁷ Ibidem. А 104—105.

²⁸ Ibidem. В 84, 190.

²⁹ См., например: *Археология СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии* / Отв. ред. Г.А. Кошеленко. М., 1985.

³⁰ Захаров А.О. Проблема политической организации островных обществ Юго-Восточной Азии в раннем средневековье (V—VII вв.) // *Восток (Oriens)*. 2005. № 1; Захаров А.О. Проблема понятия государства на традиционном Востоке в отечественной историографии (теоретические размышления) // *Восток (Oriens)*. 2005. № 5 (в печати); Андерсон Б. *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма* / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М., 2001. С. 31, 42 сл.

³¹ Гегель Г.В.Ф. *Лекции по философии истории* / Пер. А.М. Водена. СПб., 2000. С. 119; Данто А. *Аналитическая философия истории* / Пер. с англ. А.Л. Никифорова и О.В. Гавришиной. М., 2002. С. 221, 223.

³² Kant I. *Kritik der Reinen Vernunft*. В 548.

³³ Блок М. *Апология истории, или Ремесло историка*. Изд. 2-е, доп. / Пер. с фр. Е.М. Лысенко. М., 1986. С. 112.

³⁴ Kant I. *Kritik der Reinen Vernunft*. 1787. В 359.

И.Л. Зубова (Ульяновск)

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ:
о некоторых результатах поиска
новых парадигмально-методологических ориентаций**

Почти все исследователи современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки оценивают как *кризисное*. Оно характеризуется как «блестящий разброд» (Г. Нэш), «раскрошенная история» (Ф. Досс), «история — гибрид, не поддающийся классификации» (Д. Тош), «фрагментация истории» (Л.П. Репина), «дискретность исторической науки» (А. Филюшкин). Истоки его усматриваются в отсутствии общепризнанной парадигмы и единого научного стандарта исторического исследования. Парадоксальность ситуации состоит в том, что кризисное состояние исторического познания возобновляется уже на протяжении более ста лет, фактически с того момента, когда были предприняты серьезные попытки обосновать его научный статус.

Ситуацию кризиса чаще всего принято драматизировать. В конечном итоге воспроизведение кризисной ситуации увязывается с вопросом о возможности достижения историографией степени теоретической зрелости, достаточной для построения объяснительно-проективных схем и эффективного использования в социальной прагматике. Отсутствие такого теоретического уровня возбуждает сомнения относительно научного статуса исторических дисциплин. Постоянно подчеркиваемая склонность исторического познания к релятивизму, проявляющемуся, прежде всего, в изменчивости интерпретаций его результатов и в постоянной реорганизуемости знания. Однако оптимизм и уверенность в состоятельности исторического познания произрастает, как это ни парадоксально, на кризисах историографии, которые выступают необходимыми моментами в перманентном обновлении исторической мысли. При этом *обновляемость* научной мысли (и *историчность* как одну из ее характеристик) следует понимать и трактовать как *атрибутивное свойство научности*. Тогда существование исторического познания и знания, в качестве постоянно обновляющегося, позволит квалифицировать его как *научное знание*.

Динамические состояния мысли есть результат человеческой активности вместе со всеми обстоятельствами ее осуществимости. Поэтому поиск новых парадигмальных оснований, как мне представляется, в большей степени сосредоточен вокруг осмысления *текстуально-контекстуального* характера человеческой активности. Контекст всякого обновления, в том числе и состояния исторического познания и знания, позволяет отчетливо обозначить динамичность знания, высшей формой проявления которой является смысло-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

порождение. Смыслорождение, понимаемое как *со-бытие*, есть акт возникновения *новизны*, о которой мы судим по *качественным* преобразованиям в состояниях социальной реальности.

В свете современных научных и философских представлений социальные явления носят *не-локальный* характер. Они универсально и презентативно связаны, со-причастностны и со-принадлежны со всем остальным. Смыслорождение, являющее динамику знания, становится одновременно презентантом и содержательным моментом динамики социальной реальности и Универсума в целом. Это обстоятельство определяет слияние судеб науки и современной цивилизации, требует поиска новых подходов к осмыслению их ко-эволюционной обновляющейся динамики и имплицитно содержит новые основания для них. Отсюда становится проблематичным вопрос о становлении *научности* в ее современном виде. Ответ на этот вопрос невозможно получить без экспликации новых парадигмальных оснований исторического познания, связанных с его ярко выраженной изменчивостью, без выяснения его *статуса* и *места* в системе современных форм знания.

В историческом познании событийность проявляется наиболее ярко в том случае, когда оно понимается и трактуется не как «учение о прошлом», а как наука о полноте реализации возможного в бытии человека в ситуациях *настоящего*. Тогда предмет исторического познания — *сознание* людей в виде различных объективированных форм его существования. Специфика ремесла историка состоит в способах дешифровки и раскодирования состояний сознания, презентующих состояния общества, воплотившиеся в конкретном свидетельстве. Способы работы историка заключаются во взаимодействии объективированных форм сознания, имевших место «там-и-тогда», и актуального состояния сознания исследователя «здесь-и-сейчас». Такое уникально-актуальное взаимодействие порождает событие, являющее креативную динамику знания. Событие в этой ипостаси — *факт* истории.

Однако природа события как достояния настоящего была понята далеко не сразу. Для этого нужно было преодолеть преобладание позитивистской ориентации и классической рациональности в научном познании. Вклад исторического познания в становлении научности в ее современном виде состоит в осмыслении кризиса классической парадигмы поисково-исследовательской деятельности и ее результатов. В связи с этим сама трактовка «идеи истории», в соответствии с которой мыслилась и реализовывалась история, была существенным образом пересмотрена. В кризисе классического историзма проявилась ограниченность редукционистской методологии, в частности, выражение и описание исторического в линейно-логическом процессуальном измерении, что и проявилось в несоответствии теоретических моделей исторического процесса и реальной социальной динамики. Пересмотр основ исторического познания и его методологии явился одним из источников смены на-

Методология и философия истории

учной рациональности и сыграл заметную роль в формировании *неклассического* типа мышления. В свою очередь, принципиально отличная от линейной динамика Мироздания была выявлена представителями естествознания, в результате чего в научный оборот вошли новые принципы: синергетический, глобального эволюционизма, антропный, континуалистской модели мира, коэволюционного процесса и др. Теоретический язык описания динамики Мироздания, базирующийся на классической «идее истории» и принципе историзма, был заменен принципиально другим, соответствующим неклассическому и постнеклассическому типам рациональности. Все достижения философской и научной мысли в понимании и описании динамических состояний бытия создают условия и являются содержательным моментом конституирования новых парадигмально-методологических установок в исторической науке.

Обновление исторического познания осуществлялось представителями различных философских и научных школ и направлений. Переосмысление классического историзма сторонниками антипозитивистских настроений в гуманитарном познании происходило через антропологизацию (В. Дильтей, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, Л.П. Карсавин, В. Виндельбанд, М. Блок и др.) и культурологизацию (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби и т.д.) истории. Развивая разработки в русле *гносеолого-методологических* проблем, это направление выявляло специфику исторического познания в сравнении с естественнонаучным. Включение в предмет исторического знания знаний о состоянии человеческого духа превращает историю в «историю идей». История трактуется в терминах множественности. История продолжает разрастаться и приобретать все более выраженный разнородный характер за счет новых способов ее описания, оформленных в соответствующем языке, систематиках и формах организации знаний. В их числе следует назвать концепции космологии и ноосферичности истории (А.Л. Чижевский, П. Тейяр де Шарден, Л.Н. Гумилев и др.), концепции, конституирующиеся на идейной основе постмодернистской тенденции в современной культуре (Р. Барт, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, Х. Уайт, Ф. Анкерсмит и т.д.). Они снимают различие в описании и представлении реальных, относящихся к любым сферам: социальной, духовной, природной.

Пересмотр методологических оснований исторического познания также привел к установлению и толерантному сосуществованию плюралистических подходов, методов, методик и языков применяемых историками различных школ и направлений. Спектр их широк и чрезвычайно разнообразен: от «*релятивистского*» подхода с соответствующей ему *идиографической* методологией, концентрирующей внимание на единичности, уникальности и целостности отдельного исторического события и признающего, что каждый историк пишет свою историю исходя из ситуации *настоящего*, до «*рационалистического*» подхода с *номотетическим* методом, где историк выявляет повторяющееся в истории, чтобы открыть объективно существующие законы раз-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

вития общества и прогнозировать *будущее*; от объясняющего до понимающего, от метафизического до диалектического, от описательного до количественно-формализованного методов и т.д.

Однако ни обновленная и усовершенствованная классическая парадигма исторического познания, фундаментализирующая «идею истории» как идею становления, ни релятивизирующая ее парадигма, базирующаяся уже на метафизике, признающей относительность всех оснований принимаемых в историческом мышлении и постоянное переосмысливающей их, не смогли утвердиться в статусе новой парадигмы исторического познания, а история стать наукой без каких-либо оговорок. Неслучайно многие исследователи современного состояния исторического познания настаивают на необходимости поиска холистской парадигмы исторического познания.

Конституирование такой парадигмы исторического познания, на мой взгляд, следует усмотреть в устойчивом и равноправном *соприсутствии* различных парадигм и исследовательских подходов, правомерность которых, взятых в отдельности, не может быть поставлена под сомнение. Новая парадигма как динамичная структура, одновременно вбирающая и презентирующая все множество и разнообразие онтологических схем исторического познания и знания, нуждается в обосновании и экспликации своих содержательных моментов в языке современной науки. При этом отмечу, что и сама наука обретает свою многомерность и полноту по мере ассимиляции опыта познания в различных областях, в том числе и в области исторических исследований.

Проведенное мною исследование динамики исторического познания и знания в различных типах рациональности, позволяет в общих чертах обозначить и описать новые парадигмальные ориентации исторического познания. Важное преимущество нового подхода состоит в разработке *целостного* представления и описания динамичных состояний исторического познания и знания с учетом форм и способов их проявленности в различных типах рациональности. Для выражения многомерности и презентативности состояний социальной реальности, от процессуальных до событийно-презентативных, в терминах различных методологий и мировоззрений целесообразно утвердить концепт «*историчность*». Последний означает введение в дополнение к *линейному* времени (классическая рациональность) *событийного* (неклассическая рациональность) и *презентативного* (постнеклассическая рациональность) Времени.

Положенные в основу способов описания состояний социальной реальности, новые Временные и Динамические характеристики дают различные трактовки истории. В классической рациональности история представлена как последовательная смена состояний с ярко выраженной зависимостью последующего состояния от предыдущего (принципы детерминизма в классическом варианте). Такое понимание истории фиксируется в теориях классическо-

Методология и философия истории

го образца, носящих, как правило, завершенный, закрытый характер. В неклассической рациональности социум трактуется как открытая (нелокальная) система в ее актуально-потенциальных состояниях, а традиционно понимаемая история мыслится вариативной. Это означает, что история — событийное осуществление потенциала социума в каждом ее состоянии. История в этом случае — «здесь-и-сейчас», явлена изменением качественного состояния общества, мыслится уже как *нелинейная*. В постнеклассической рациональности История трактуется как со-стояние *новообразований* в социуме и распространяется на сферу бытия Мысли, где речь идет уже о смыслообразующем ее содержании.

Многообразие онтологических схем и моделей динамики социальной реальности, имеющих место в познании, а также различная упорядочивающая динамика состояний сознания (представленная различными типами рациональности), проистекающими из форм и способов человеческой жизнедеятельности обосновывают правомерность и необходимость *теоретико-многожественного* метода в описании динамики социальной реальности в историческом исследовании.

Становящаяся парадигма исторической науки связывается с открытостью исторического познания, а это значит, что динамика социальной реальности помимо «объективного измерения» имеет и *субъектное*, в которое входят состояния сознания исследователя. Экзистенциально-личностное, феноменолого-герменевтическое измерение исторического познания связывает его с социокультурным контекстом и позволяет осознать относительность всех принимаемых оснований мышления. Поэтому новый парадигмальный подход не может ограничиваться обоснованием и институционализацией результатов научных открытий в их логическом оформлении в системе заданных отношений. Он акцентирует внимание на условиях событий и их статуса в научном познании, общественной жизни и Мироздании в целом. Проблематичным для современной философии и науки остается вопрос о необходимых и достаточных условиях смыслопорождения. С этой точки зрения неслучайно в современных исторических исследованиях получил популярность жанр интеллектуальной истории, изучающей творческую активность людей со всеми обстоятельствами ее осуществимости.

Условия и содержательные моменты созидания креативных ситуаций, в которых возможна мысль, выражаются через сформулированные мною принципы *открытости и презентативной целостности*. Они соответствуют синергетическому мировидению и обосновывают новый онтологический статус исторической мысли, оформленной и выраженной в многообразных типах, видах, родах знаний. Они требуют соответствующих форм ее организации и иного «параметрического измерения», к которому следует отнести: вариативность, альтернативность, нетехнологичность и др., существенно от-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

личающихся от параметров, характеризующих организацию научного мышления в техническо-технологическом, деятельностно-процессуальном варианте его исполнения. Поэтому возникает целый ряд задач, связанных с разработкой соответствующего языка описания креативных состояний социума, исследовательского инструментария, новой нормативной базы организации исторического знания.

Принцип открытости научной мысли в ее актуальных состояниях выражает познавательную ситуацию как пространство возможного смыслообразования. Знания в состояниях открытости презентуют не-локальный характер социальных явлений через актуализацию многомерных связей. Открытость знания проявляется в установке сознания на: девиацию от общепризнанных стандартов и норм научного исследования; концептуальную множественность; многомерность знания и возможности множества истин в отношении изучаемой реальности; отказ от фундаментализации и признание фальсифицируемости существующих теоретических форм организации знаний, придание им статуса *ad hoc* теорий; ориентацию на методологический плюрализм и обновление самого метазнания; максимальное выражение и кодификацию в знании синкретичного содержания актуального социального опыта и уникальности ситуации.

Принцип презентативной целостности выражает познавательную ситуацию как место пребывания вновь явленного через представленность в одном всего остального (презентативный род связи). В пространстве возможного мышления теряет свою прежнюю определенность, переходит из состояния логической, методологической, технологической упорядоченности, в состояние «хаоса» — рассогласованности ранее установленных прежних связей. Активность человека, включенного в уникальную ситуацию, провоцирует мышление быть снова, но в ином качестве. Историческая мысль из генерализирующей, объясняющей трансформируется в индивидуализирующую, понимающую и переходит с языка понятий на непридикатный язык метафор, образов, символов, симулякров и т.д., иначе говоря, на герменевтико-индивидуальный язык.

Порожденная историческая мысль ситуативно-презентативна, ретро- и перспективна, нелинейна, пространственно не локализована. Выявленное свойство исторической мысли выступает основанием для осмысления и дальнейшей разработки *презентативно-экспликативного* метода в историческом познании.¹

В свете обозначенных принципов динамика исторического знания интерпретируется не только как смена форм его организации, но и как *постоянно самоорганизующаяся открытая система* с нелокальными связями всего корпуса когнитивных образований. Динамика знания, взятая в совокупности всех структурно-содержательных изменений системы всех уровней, обеспе-

Методология и философия истории

чивает соответственно каждому уровню и состоянию познания свою организацию знания. Последняя сама является целостной динамичной структурой и не может быть сведена к одной из форм.

В качестве адекватной формы организации знания как открытой системы можно предложить *концепцию*. Последняя понимается как организующееся знание, которое способно перестраиваться в соответствии с изменяющимися доминантными интенциями сознания. Носителями динамики знания в его нестабильных состояниях являются *концепты*, содержащие определенную совокупность актуально-потенциальных связей, но в каждом конкретном случае выступающие как уникальные *симулякры*. Это их отличает от понятий, изначально включенных в парадигмально жесткие теоретические схемы и логические структуры.

Наличие концептуальной множественности и многомерности знания получает новую интерпретацию. Она свидетельствует в пользу «презентабельности» любой концепции, то есть реализации ею одной из возможных организаций *целостного массива знаний*. Поэтому новая концепция не отрицает другие и не включает их на правах предельного случая и даже не состоит с ними в отношениях комлементарности, а аналогии не следует рассматривать как свидетельство в пользу лишь внешнего сходства и внешней связанности концепций. Это проявление целостности знания на основе *презентативной* связи относится к более высокому уровню его организации — к уровню *универсальных целостнообразующих* связей.

Метод и процедура *концептуализации* в историческом исследовании получают новую трактовку. При ближайшем рассмотрении они оказываются способом экспликации содержания актов понимания и восприятия в единичном явлении целостности осваиваемой ситуации. Логическое оформление знания сочетается с актами его самоорганизации, выражающими его нелинейную динамику. Перестройка архитектоники знания имеет место при применении интерпретационных схем, установлении и интерпретации фактов, использовании процедур и приемов критики, реконструкции систем знания, привлечении «логики вопросов — ответов» через симбиоз текста и контекста.

Актуальным является поиск форм организации знания в его *доконцептуальных* состояниях. В них выражается особый *род* связей *разнородного* знания. Такие формы организация знания должны являть его *целостность* (разнородные знания сосуществуют как равноправные), *презентативную связанность* разнородного знания (одновременная соприсутственность всех некогда имевших место знаниевых образований), *нелинейность*, *неоднородность*, *децентрализованность*, *обеспечивающих* и выражающих перманентную, спонтанную и вариативную *динамичность* знания.

Смыслопорождение имеет место при слиянии текста и контекста и высокой концентрации человеческой активности в пространстве возможного. Про-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

цедурное знание при актуализации структурообразующего потенциала пространства возможного, как и все другое знание выступает содержательным моментом познавательной ситуации и становится динамичным. Поэтому процедуры могут являть себя в различных ипостасях: выполнять собственно *процедурную* работу; выступать *способом* организации знания в эпистеме; выражать *динамику* знания в форме его нелинейной самоорганизации. Интерес представляют процедуры *релевантности, метафоричности, ризоматичности* и др. Все они взаимопрезентативны и направлены на создание условий и инициацию «схватывания» новой связанности всех реалий бытия в акте смыслопорождения на невербальном спонтанно-интуитивном уровне познания. Осмысление открытых форм организации знания и выяснение последних в развитии знаний позволяет иначе обосновать как *междисциплинарность*, так и *метаморфозы*, возникающие в историческом знании.

Принцип открытости научного познания и принцип презентативной целостности, взятые вместе, выражают динамику знания, в которой и следует увидеть *при-родность* (порождаемость) знаний. Поэтому определение *критериев научности* знания следует связывать не с технологией его получения, а с его *обновляемостью* через смыслопорождение. Оценивать историческое знание критериями классической научной рациональности без издержек редукционистской методологии в исследовании исторической реальности нельзя. Историческое познание демонстрирует иной тип научности и имплицитно содержит соответствующие ему принципы и критерии.

Историческое знание становится научным в той мере, в какой оно эксплицирует соответствующий тип связей и выражает их в терминах соответствующей различным типам рациональности онтологии (логические, линейно-локальные связи; нелокальные многомерные связи; образующиеся, рождающиеся связи). Каждый тип связи предполагает свой способ и степень полноты раскрытия возможного в состояниях познания и социальной реальности, именно они фиксируются инвариантными характеристиками знания, которые и являются *критериями научности*.²

Поиск и оформление новых парадигмально-методологических ориентаций в исторической науке может быть понят исходя из *континуалистского подхода* к представлению динамики научного познания и знания.³ Он выражает особую форму бытия знания (в том числе методологического) когда знания, относящиеся к одной сфере познания, резонансно воспроизводятся в других сферах научного познания, исходя из них самих. Формой связи знаниевых образований является презентативность. Данный подход, наряду с другими подходами и принципами, о которых шла речь в докладе, позволяют осмыслить единство научного знания в его самообновляющейся динамике. Единство научного знания является условием и фактором поиска новых парадигмально-методологических оснований для всех отраслей научного познания и знания.

Методология и философия истории

Примечания

¹ Разработка и использование данного метода находят выражение в современных исследованиях по микроистории. См.: Прошлое — крупным планом: Современные исследования по микроистории. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге; Алетейя, 2003.

² Мною была предпринята попытка разработать основные критериальные параметры шкалы научности знаний, в основу которой была положена креативность и инвариантные характеристики динамики знания в различных типах рациональности. См.: Зубова И.Л. Историческое познание и знание в различных типах рациональности. Дис. канд. филос. наук: 09.00.08 / Ульяновский гос. техн. ун-т. Ульяновск, 2004. С. 152–169.

³ Надо отметить перспективность использования данного подхода для описания и представления динамики социальной реальности в историческом исследовании.

М.П. Лаптева (Пермь)

ЯЗЫК ИСТОРИКА И ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ

Плохой стиль — это несовершенство мысли.

Ж. Ренар

Проблема понимания, с тех пор как ее поставил В. Дильтей, решалась множеством наук и научных направлений. Ряд аспектов этой проблемы изучается в пространстве интеллектуальной истории, тяготеющей к междисциплинарности. Междисциплинарный подход позволяет современной исторической науке изучать прошлое в режиме диалога. В такой ситуации источники перестают быть просто информаторами о состоянии прошлых культур — их авторы становятся собеседниками, участниками диалога.

Одной из важнейших проблем, возникающих на «стыках» культур, является проблема языка. Французский мыслитель XVI века Жан Боден считал, что история заключает в себе все науки, но только изложенные понятным (подчеркнуто мною. — М.Л.) и неспециалисту языком. Означает ли это, что язык историка максимально упрощен и приближен к обыденному языку? В чем же тогда специфика языка исторической науки? И нуждаются ли категории, заимствованные у других наук в какой-либо историзации, то есть в приспособлении к имеющимся в арсенале исторических наук?

Социологи и лингвисты склонны утверждать, что слова имеют свою собственную жизнь и влияние. Всякое использование языка предполагает воздействие языка, поэтому язык становится инструментом социальной власти. Образ языка как инструмента когда-то использовал П.А. Вяземский. Сравнивая язык со скрипкой, он заметил, что посредственность в них одинаково неуместна. И Вяземский, и Пушкин, и Баратынский считали русский литературный язык 1830-х годов еще не подготовленным для выражения философской и политической мысли, сетовали на недостаточность русского «метафизического языка» — так они называли язык отвлеченных понятий¹.

С тех пор, естественно, многое изменилось. Уже в XIX веке язык таких историков, как Н.М. Карамзин и С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и Н.И. Кареев, и особенно В.О. Ключевский, достиг невиданных научных вершин, будучи при этом весьма понятным множеству поколений. XX век добавил к ним «тексты невиданной скуки» (выражение М. Мамардашвили), тексты без причинных связей, лишённые смысла и логики. Язык в его соотношении с мышлением как раз является средоточием смысла. На эту связь указывает этимология русского слова «с-мысл». Смысл — это то, что соотнесено с мыслью. Смысл

Методология и философия истории

опосредует нетривиальную связь человека с миром. В советской «коллективности» тонула всяческая оригинальность и индивидуальность. Редко кому из историков (не считая таких титанов, как Е.В. Тарле) удавалось выразить новые идеи с помощью новых стилистических приемов. А между тем стиль, по определению французского писателя А. Моруа, это — душа, это — победа личности над природой². Язык статей М.Я. Гефтера разительно отличался от обычного академического изложения обилием метафор, полунамеков, риторических вопросов. Гефтер провоцировал на вопрошание, чтобы читатель мог ощутить незавершенность исторических процессов.

Большинству современных историков, монтирующих свои тексты с помощью компьютера, неведомы муки В. Ратенау, писавшему в одном из писем: «...целыми неделями просиживаю за письменным столом и целыми неделями — ни строчки»³. А ведь историк является не только исследователем, но и писателем, поскольку результаты его труда не имеют другой формы реализации, кроме литературного изложения.

Конечно, своеобразным писателем выступает любой исследователь, в том числе и физик, и химик, и математик. При этом каждой науке свойственна своя эстетика языка. Марк Блок считал, что в точном уравнении не меньше красоты, чем в изящной фразе. Основанная им историческая школа «Анналов» совершила переворот в области стиля, добавив в язык историка не только точность, но и яркость. Однако то влияние, которое историческая наука испытывает со стороны философии, вряд ли добавляет ясности в ее язык, что, несомненно, обостряет проблему понимания. Начиная с И. Канта, чьи тексты когда-то любимый его ученик И. Гердер назвал «тяжелой паутиной», философы XIX века уменьшали стандарты ясности языка, полагая, что степень сложности мысли прямо пропорциональна степени внешней непонятности. Ф. Ницше не придерживался канонов классического философствования — система его утверждений противоречива, лишена рациональных аргументов. Но именно Ницше, размышляя о пользе и вреде истории, исключительно обострил языковую проблематику. Словами и понятиями, писал он, «мы не только обозначаем вещи, мы думаем с их помощью уловить изначальную сущность вещей»⁴. Согласно Ницше, представление о структуре мира человек получает из структуры языка.

В противовес тенденции к усложнению языка многие ведущие современные историки пытаются этому противостоять. Так, А.Я. Гуревич считает, что неудобопонимаемый язык означает претензию на «эзотерическое», понятное только посвященным знание. А на самом деле такая претензия лишь прикрывает «интеллектуальную срамоту», то есть отсутствие мысли и смысла. А между тем само слово «интеллигенция» происходит от латинского *intelligentia*, означающего «понимание».

Современные лингвисты считают, что смысл текста не сводится к сумме значений составляющих его слов, что существование текста включено в про-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

цесс коммуникации с исследователем. Когда Конфуция спросили, с чего должен начинать свою деятельность мудрый правитель, он ответил, что прежде всего следует исправить имена. Конфуций имел в виду не имена людей и не географические названия. «Исправление имен» — это терминологическая процедура, при которой «исправленное» слово заменено на нужное, необходимое, правильное. Этот акт отождествлялся с мудростью.

Теоретическая зрелость любой науки зависит от развития ее понятийного аппарата. В понятиях, применяемых историками, фиксируется логика развития исторических явлений и процессов. При этом понятия могут быть точными, приблизительными и неясно сформулированными. Есть понятия, обозначающие один и тот же предмет, но имеющие различное содержание в понимании разных научных школ. В исторической науке существуют понятия, отражающие прежние идеи о будущем, например, «тысячелетнее царство» средневековых мыслителей, «царство разума» просветителей, «тысячелетний рейх» нацистских идеологов и др. Это понятия с нулевым объемом. Взаимопониманию историков мешает недостаточная общезначимость исторических понятий, вызванная тем, что понятия, прямо заимствованные из источников, то есть наиболее точные и адекватные изучаемой эпохе, имеют точный смысл только в ее рамках. Историки, занимающиеся изучением других эпох, могут понять смысл данных понятий в искаженном виде, а для современных читателей исторической литературы подобная терминология окажется и вовсе архаичной.

С другой стороны, современный литературный язык мало способен передать своеобразие отдаленных эпох. Культурологами подмечен парадокс историзма. Он состоит в том, что чем тщательнее и последовательнее исследователь намерен заставить далекую эпоху говорить с ним на ее собственном языке, тем больше такой язык требует перевода на язык, современный историку, и тем принудительней сказывается роль современного понятийного арсенала.

Конечно, с античных времен сложился некий терминологический костяк теоретического осмысления истории. Без определенной неизменности категориальной структуры мы не могли бы адекватно понять не только Аристотеля и Платона, но и Канта с Гегелем. В то же время не требует особого доказательства тот факт, что многие научные споры возникают из-за непонимания или из различного толкования смысла слов, запечатленных на бумаге. Декарт считал, что, «верно определяя слова», наука освободит мир от половины недоразумений. Члены Венского кружка — основатели школы логического позитивизма — считали, что почти все проблемы в обществе порождены неопределенностью понятий, терминов и слов. А. Тойнби полагал, что история языка — это конспект истории общества. Слова, как и люди, имеют возраст, научные термины могут устаревать, нуждаются в «лечении», что, собственно, и означает, с одной стороны, увеличение терминологической нагрузки, а с другой — про-

яснение смысла и сущности того реального исторического феномена, который обозначается тем или иным понятием. В любой области науки время от времени возникает необходимость некоторой ревизии понятий, необходимость избавления от синдрома «вавилонской башни», порожденного увеличением информационных потоков, расширением научного дискурса. Еще с XIX века на лидерство в этом процессе претендует Германия. Именно в Германии сложилась академическая школа «истории понятий» (Begriffsgeschichte), оказавшая серьезное влияние на понятийно-категориальный аппарат социальных и гуманитарных наук Запада. Отправной посылкой в распространенной ныне методологии анализа понятий является постулат о том, что именно понятие определяет строй предложения, а не наоборот. Вопрос «что это значит?» — главный вопрос для семиотики вообще, в том числе и для исторической семиотики.

Известный литературовед и лингвист Б.М. Гаспаров, изучавший коммуникативный и духовно-творческий аспекты языковой деятельности, не считает язык «слаженным механизмом». Язык, по Гаспарову, это — гигантский конгломерат, находящийся в состоянии постоянного движения и изменения⁵. Структуралисты называют язык целостной системой, полагая ее завершенной в каждый конкретный момент, вне зависимости от того, что было изменено в нем за момент до этого. Если Гаспаров допускает лишь «структурированные вкрапления» в языковое существование, то, по Лотману, тексты — это структурированная, субъективная реальность, преломленная под определенным углом зрения. Лотман полагал, что текст и его воспринимающий приспособляются друг к другу, ищут друг друга⁶.

Согласно Р. Барту, всякое прочтение текста не «конструирует», а напротив, «деконструирует» его. Барт критикует «объективное значение» и «определенность» чего бы то ни было как принципа: «Текст множественен. Это не значит, что он обладает несколькими смыслами, но что он сам есть воплощенная множественность смысла»⁷. Занимаясь деконструкцией текстов Руссо о языке, Деррида показывает, как текст подавляет то, что противоречит его доводам, но одновременно оставляет внимательному читателю возможность проследить за тем, что именно подавляется.

Терминологические споры особенно полезны тем, что ярче высвечивают границу между сферой уже объясненного знания и сферой недостаточного понимания. Некоторые авторы даже употребляют термин «презумпция непонимания», полагая, что, сказав себе: «я не понимаю», ученый в итоге сможет добыть более глубокое знание, нежели пребывая в уверенности понимания. Иначе говоря, «презумпция непонимания» не только не мешает реальному пониманию, но, напротив, помогает его расширить, сделать более сознательным, вырабатывает культуру постановки новых вопросов, фокусирует мыслительный материал вокруг назревших проблем. Однако в истории науки есть масса примеров тупикового исхода терминологических споров, объясняемого пара-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

доксальной природой любого сложного исторического явления. Эту парадоксальность когда-то подметил Спиноза, говоривший, что «всякое определение есть ограничение», потому что оно исключает другие связи данного явления. Философ М. Мамардашвили обращал внимание на малую эффективность споров вокруг какого-либо «изма», относилось ли это к марксизму, национализму, тоталитаризму и пр. Множится число определяющих понятий такого «изма», но его классификация при этом не проясняется. По мнению историка П. Рахшмира, попытки дать всеобъемлющее определение любому «изму» заведомо обречены на неудачу, ибо явления, стоящие за «измами», слишком широки и многообразны, чтобы уместиться в прокрустово ложе какой-то формулы⁸.

Хотелось бы обратить внимание еще на один парадокс, связанный с двоякими терминологическими последствиями усиления интереса к какому-либо историческому явлению или процессу. С одной стороны, увеличение потока исследований по какой-либо теме уточняет понятия и категории, обозначающие данное явление. А с другой стороны, в том же темпе происходит некое размывание этих понятий, так как высказываются разные точки зрения, выдвигаются различные гипотезы, предлагаются подчас несовместимые решения назревших проблем. Современный британский историк П. Берк считает, что проблема различных пониманий одного и того же термина возникает потому, что историки, работая в смежных областях, используют термины этих наук, в связи с чем возникает возможность различной интерпретации одного и того же термина (например, таких, как «культура», «повседневность», «народная культура» и др.)⁹. Опасность «терминологической интервенции» со стороны таких наук, как биология и психология, осознавалась историками еще в конце XIX века. Ученик Герье П.Н. Ардашев писал о «тумане несообразной терминологии», о «мути и путанице понятий»¹⁰. Ныне же особенности российской истории постигаются с помощью введенных в исторический дискурс А.С. Ахизером понятий «инверсия», «медитация», «партиципация», причем большинство историков либо не читают такие тексты, либо считают их неизбежным следствием языковых революций.

От состояния языка историка зависит степень научности исторической картины, адекватность наших представлений о прошлом, а также эффективность и мера их воздействия на формирование исторического сознания общества.

Специалистов интересуют особенности профессионального языка, факторы и закономерности его развития, динамика изменений в зависимости от области применения, степень его упрощений и усложнений. Наиболее успешно и плодотворно по этим проблемам высказывается московский историк Н.И. Смоленский. По его мнению, язык историка должен обладать емкостью, гибкостью, однозначностью и точностью.

Проблема языка историка обостренно воспринимается в контексте интеллектуальной истории, момент рождения которой обычно определяют выходом

Методология и философия истории

книги Х. Уайта «Метаистория». Х. Уайт ввел в научный оборот понятия «дискурс» как феномен историка возродить прошлое в историческом нарративе.

Х. Уайт рассматривает проблемы исторического познания с лингвистической точки зрения и тем самым стремится преодолеть разграничение между языком и реальностью.

Язык историка — это единственная форма связи с коллегами и читателями-единомышленниками. Убедить, добиться изменения мысли других людей можно только на понятном им языке.

Примечания

¹ См. об этом: Гинзбург Л.Я. П.А. Вяземский // Вяземский П.А. Стихотворения. Л., 1986. С. 41.

² Моруа А. Надежды и воспоминания. М., 1983. С. 340; Он же. Литературные портреты. Ростов на Дону, 1997. С. 41.

³ Rathenau W. Briefe. Dresden, 1926. Bd. 2. S. 8.

⁴ Nietzsche F. Werke. Berlin, 1967. Bd. 3. S. 185.

⁵ Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. М., 1996. С. 11–13.

⁶ См. об этом: Волкова Е.В. Эстетико-семиотический мир Ю.М. Лотмана // Вопросы философии. 2004. № 11.

⁷ Цит. по: Гаспаров Б.М. Указ. соч. С. 33.

⁸ Рахшмир П.Ю. Вариации на тему консерватизма. Пермь, 2004. С. 3.

⁹ Берк П. «Новая история», ее прошлое и будущее // Альманах всеобщей истории XVI–XX вв. Екатеринбург, 2004. С. 90.

¹⁰ См. его статьи в журналах «Русское богатство» (1896, № 4) и «Вопросы философии и психологии» (1895, № 3).

О.Б. Леонтьева (Самара)

ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАННЕГО РУССКОГО МАРКСИЗМА В СВЕТЕ «МЕТАИСТОРИИ» ХЕЙДЕНА УАЙТА

Одним из перспективных направлений развития современной российской историографии является изучение историографической ситуации рубежа XIX–XX веков — периода методологической рефлексии, отмеченного острым противоборством ряда научных направлений и школ по вопросам теории и методологии истории. За последние два десятилетия в свет вышло немало исследований, посвященных как отдельным научным школам и направлениям в исторической науке того времени, так и осмыслению общего характера происходивших тогда теоретико-методологических перемен. Общепринятым в отечественной историографии стало восприятие рубежа XIX–XX веков как особого этапа в развитии отечественной исторической науки — времени смены парадигм исторического знания, «кризиса позитивизма» и зарождения элементов культурно-антропологического понимания истории¹.

Однако в рамках этой историографической проблематики существуют определенные приоритетные темы и свои «белые пятна». Так, при реконструкции историографической ситуации рубежа XIX–XX веков современные историки зачастую оставляют без внимания марксистское направление дореволюционной российской мысли. Причины такого невнимания к марксизму легко объяснимы: здесь проявилась закономерная реакция против того, явно преувеличенного, внимания, которое уделялось истории марксизма в советскую эпоху.

Но, на наш взгляд, реконструкция историографической ситуации рубежа XIX–XX веков была бы неполной без анализа марксистского направления российской исторической мысли. Именно сейчас, когда марксизм перестали считать «единственно верным» и потому «всесильным» учением об обществе, «наступает время критического осмысления всего методологического наследия в целом, в том числе и марксистского»². Наступила пора вписать традицию русского марксизма в общий контекст развития исторической мысли в России, определить ту роль, которую играли марксисты в историософских дискуссиях и методологических спорах той эпохи.

Одним из возможных путей к достижению этой цели, как нам представляется, может стать методологический подход, предложенный американским мыслителем Хейденом Уайтом в его труде «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века», уже возведенном в ранг современной классики.

Методология и философия истории

Если обычно под историей исторической науки понимают историю расширения тематики научных исследований, вовлечения в научный оборот новых источников, совершенствования методов, смены парадигм теоретической мысли, — то Уайт ориентирует историографию на решение принципиально новой задачи: на изучение *интерпретативных стратегий* исторической науки, то есть тех структурных элементов, которые используют историки для построения сюжета и получения «эффекта объяснения»³.

Каждое направление исторической мысли, согласно Уайту, связано с той или иной стратегией объяснения исторических событий; так, Маркса и марксистов исследователь характеризует как приверженцев «механистичной теории объяснения», для которой свойственно «обращение к поиску причинных законов, определяющих последствия процессов, открытых в историческом поле». Механицисты, подчеркивает Уайт, «*изучают* историю с целью разгадать законы, действительно управляющие ее действиями, и *пишут* историю с целью показать в нарративной форме следствия этих законов»⁴. Продолжив логику Уайта, можно отметить, что судьба того или иного направления исторической мысли во многом зависит от того, насколько приемлемой и притягательной представляется современникам его интерпретативная стратегия.

Как известно, в умах российской интеллигенции марксистская доктрина завоевала прочные позиции в 1890–1900-е годы, стремительно превратившись в одно из ведущих направлений общественной мысли. Интерес к марксизму носил двоякий характер: оппозиция с готовностью приняла новую теорию революционной борьбы (как вспоминала деятельница международного социалистического движения А. Балабанова, марксизм придавал революционной борьбе «силу и достоинство исторического императива»⁵); ученых-гуманитариев же марксизм интересовал «как *удобная* методологическая доктрина, обладавшая, по их мнению, значительным эвристическим потенциалом»⁶.

Господствующим способом объяснения исторических событий для марксистской традиции был поиск глубинных причин этих событий в сфере производительных сил и производственных отношений. Показательно, что распространение марксизма в России пришлось именно на тот момент, когда экономическая история превратилась в одно из самых перспективных и быстро развивающихся направлений отечественной исторической науки. В этом отношении российские марксисты выступали как правопреемники и наследники традиций российских ученых-позитивистов: «Про свое поколение я смею сказать, — признавался в 1909 г. П.Б. Струве, — что экономическому объяснению истории оно училось не только из “Капитала” Маркса, но и из “Боярской думы” Ключевского, где влияние хозяйственных сил и побуждений на социальную эволюцию русского допетровского общества было изображено с такой классической пластичностью, которой никогда не располагал Маркс»⁷. Интерес к экономической истории для исследователей того поколения пред-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

полагал ориентацию на выявление «объективных» причин исторического развития в противовес «субъективным» — личностным, психологическим; на поиск постоянного, повторяющегося, закономерного — в противоположность частному, единичному, уникальному.

В российской общественной мысли одним из первых о необходимости марксистского подхода к истории заявил Г.В. Плеханов в своей знаменитой работе «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», которую по силе ее воздействия на умы радикальной молодежи современники называли «евангелием девяностых»⁸. Ключ к подлинному пониманию истории, как был убежден Плеханов, можно отыскать только в сфере экономических отношений: «Данным состоянием производительных сил обуславливается известная экономическая структура общества. На этой структуре вырастают известные правовые и политические отношения. Совокупность всех этих отношений отражается в сознании людей и обуславливает собою их поведение»⁹, — и потому история человечества есть не что иное, как «история общественных отношений, обусловленных состоянием производительных сил в каждое данное время»¹⁰.

Апробировать этот подход применительно к российской истории попытались в 1890—1900-е годы несколько исследователей, стоявших на марксистских позициях или пытавшихся соединить марксистскую доктрину с достижениями позитивизма: П.Б. Струве («Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», 1894 г.), М.И. Туган-Барановский («Русская фабрика в прошлом и настоящем», 1898 г.), наконец, Н.А. Рожков («Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке», 1899 г., «Город и деревня в русской истории», 1903 г., «Обзор русской истории с социологической точки зрения», 1903—1905 гг. и др.). Ярче всего особенности марксистской методологии выступали в тех случаях, когда историк-марксист пытался предложить «экономическое» объяснение тех событий, которые его предшественники объясняли «духовными» причинами или внешнеполитическими конфликтами. Приняв за аксиому, что развитие средств производства является «первичным фактором» исторического процесса, историк-марксист мог затем строить свое исследование согласно дедуктивной логике: если известно, что в определенный исторический период страна пережила серьезную ломку социально-правовых отношений, сопровождавшуюся политическими бурями, то, следовательно, корни этих событий следует искать в экономической сфере, в области развития производительных сил. Так, Н.А. Рожков в своих исторических исследованиях объяснял и происхождение самодержавия в России, и конкретно-исторические обстоятельства его возникновения (в частности, опричный террор) объективными экономическими процессами: переходом от натурального хозяйства к меновому и формированием земельного рынка в условиях технического регресса земледелия¹¹.

Методология и философия истории

Этот подход предполагал, что люди далеко не всегда осознают подлинные причины своих действий, коренящиеся в экономической сфере; именно поэтому первым русским марксистам представлялось, что изучение духовной жизни и личностного «фактора» несущественно для научного понимания прошлого. Как сформулировал П.Б. Струве в «Критических заметках», учение историко-экономического материализма «просто игнорирует личность, как социологически ничтожную величину»; основным элементом исследования становится «совершенно безличная личность, производная социальной группы», для исследования поведения которой пригодным может оказаться статистический закон больших чисел¹². В произведениях российских марксистов начала XX века история представала как «*бессознательный, стихийный, но в то же время единообразный и закономерный процесс развития трудовых сообществ*»¹³, не оставляющий места ни для случайности, ни для произвола.

Такие представления о задачах и структуре исторического знания в общих чертах соответствовали тем представлениям, которые к концу XIX века утвердились в умах отечественной гуманитарной интеллигенции. Для марксистов, как и для позитивистов, историческое знание носило (если использовать неокантианскую терминологию) номотетический характер; целью исторической науки считалось открытие исторических законов или эмпирическое подтверждение закономерностей, найденных социологами. «Научная история... в известном смысле должна быть чем-то средним между философией истории и социологией, — уточнял Н.А. Рожков. — ...Задача состоит лишь в том, чтобы отыскать ту особую форму детерминизма, которая осуществляется в общественной жизни людей, чтобы найти особую, присущую истории, закономерность»¹⁴. Познание закономерностей социального развития должно было обеспечить возможность научного предвидения, предвидение — открыть дорогу рациональной программе социальных действий.

Уверенность в жестко детерминированном и объективно-закономерном характере исторического процесса пронизывала труды российских марксистов 1890-1900-х годов. Согласно убеждению Плеханова, каждый человек действует в истории как агент определенных социальных сил, как выразитель их коллективной воли; но и сама коллективная воля подчиняется объективным законам истории, логике развития производительных сил и производственных отношений. Так, социализм представлялся Плеханову неизбежным результатом действия имманентной логики исторического процесса: «Если Иисусу Навину удалось, по библейскому рассказу, остановить солнце “на десять степеней”, то время чудес прошло, и нет ни одной партии, которая могла бы крикнуть: “Стойте, производительные силы, не шевелись, капитализм!”»¹⁵.

Сами революционные стремления человека представляли в таком случае как продукт действия объективных исторических закономерностей. «Процесс...

Фигуры истории, или «общие места» историографии

превращения капиталистического общества в социалистическое в своей закономерности независим от воли и сознания людей, — писал П.С. Юшкевич в брошюре “О материалистическом понимании истории”. — Но в каком смысле независим? Не в том, конечно, смысле, что *хотят или не хотят* того участники общественного процесса, но он их силой притащит и поставит лицом к лицу с коммунистическим обществом, которое им придется тогда признать и санкционировать... Не такова мысль Маркса. Закономерность объективного общественного процесса для него в том и состоит, что на известной ступени развития люди, эти живые, реальные носители капиталистического общества, *не могут не захотеть, должны захотеть* социалистического строя. Без этого их хотения, вне их сознания, социалистический строй не может осуществиться. Но само их сознание неизбежно и необходимо выталкивается на путь социалистических стремлений объективным процессом развития капиталистического производства»¹⁶. «Сознание необходимости прекрасно уживается с самыми энергичными действиями на практике»¹⁷, — констатировал Плеханов, приводя в доказательство тому кальвинистов эпохи Реформации и приверженцев ислама, которые, будучи убеждены в фаталистической предопределенности всего происходящего, именно *благодаря* этому, а не вопреки, оказывались способны к самоотверженной и решительной борьбе. Идея строгой закономерности исторического развития человечества тем самым становилась твердой опорой для практической деятельности и даже критерием смысла индивидуальной человеческой жизни.

Поэтому неудивительно, что в произведениях русских марксистов настойчиво возникала метафора общества-механизма. Так, М.Н. Покровский считал теоретической основой марксизма «идею *механической правильности* в ходе всех явлений природы, в том числе и в ходе человеческих поступков», согласно которой «самые “случайные” и “произвольные” действия людей повторяются изо дня в день с правильностью заведенной машины»¹⁸. «Взаимное отношение исторической теории к исторической практике в учении Маркса можно сравнить с отношением механики к технике, — писала Л.И. Аксельрод. — Изобретатель изучает механические законы природы и, пользуясь знанием их, строит машину, выполняющую целесообразную функцию... Машина действует под влиянием той же механической причинности, которая существует в природе, но с той огромной разницей, что целесообразная комбинация сил, выполняя заранее определенную функцию, удовлетворяет определенную, сознательную человеком потребность»¹⁹. Общество, которое надлежит создать в ходе революции, уподоблялось механизму, революционер-марксист — изобретателю.

Та же метафора с поразительной конкретностью выступала в работе П.С. Юшкевича: «С этой точки зрения подробно и наглядно раскрывается перед нами весь психический механизм общества: ровной нескончаемой лен-

Методология и философия истории

той вьются во всех направлениях огромные пассы и тонкие бесконечные ремни — классовые интересы и интересы меньших общественных подгрупп; с немолчным визгом, свистом, шумом, вертятся многочисленные колеса и шестерни; поднимаются и опускаются огромные молоты, режут крепкую сталь гигантские ножницы — вся эта пестрая и сложная картина бешеной социальной схватки; медленно и неохотно поворачивается грузное маховое колесо Традиции, делая равномерным и непрерывным совокупное движение всего колоссального механизма. А источник всего этого нескончаемого движения — социальная энергия сотрудничества — скрытый от любопытного, но поверхностного взгляда двигатель стоит в подвальном этаже всего здания»²⁰.

Если общество уподоблялось машине, то деятельность исследователя-гуманитария в таком случае описывалась как работа механика или часовщика; Плеханов в своем труде, посвященном французской культуре XVIII века, писал: «Чтобы понять, каким образом искусство отражает жизнь, надо *понять механизм* этой последней. А у цивилизованных народов борьба классов составляет в этом механизме *одну из самых важных пружин*. И только *рассмотрев эту пружину*, только приняв во внимание борьбу классов и изучив ее многообразные перипетии, мы будем в состоянии сколько-нибудь удовлетворительно объяснить себе “духовную” историю цивилизованного общества»²¹. Механистическая метафора доводила до логического завершения то представление об объективно-закономерном, жестко детерминированном ходе истории, которое было присуще традиции ортодоксального марксизма.

Но, как нам представляется, в рамках традиции раннего российского марксизма начала XX века соседствовали две интерпретативные стратегии. Еще основоположник советской исторической науки М.Н. Покровский противопоставлял друг другу два направления, сосуществовавшие в раннем русском марксизме: «экономический материализм», для которого «главное, преобладающее значение придается экономическому строю общества, и все исторические перемены объясняют влиянием материальных условий», — и «подлинный марксизм», «исторический материализм», которому присуще «учение о классовой борьбе как движущем начале истории»²². По мнению Покровского, «экономический материализм» исповедовали меньшевики — Г.В. Плеханов, Л.Д. Троцкий, а также Н.А. Рожков, тогда как на позициях «исторического материализма» твердо стояли два верных марксиста: сам Покровский и В.И. Ленин²³.

Едва ли справедливо было бы утверждать вслед за Покровским, что лишь одно из этих направлений соответствовало подлинному духу марксистской теории; двойственность в определении ключевого фактора исторического развития была заложена еще в традиции классического марксизма. «Маркс... представляет себе процессы базиса общества механистически, а процессы надстройки — органицистски, — отмечал Х. Уайт, — ...А это предполагает, по Марксу, что сюжет истории может быть выстроен одновременно двумя спосо-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

бами: как Трагедия и как Комедия»²⁴. Можно сослаться также на мнение российского исследователя Т.И. Ойзермана: «Мне представляется, что Маркс и Энгельс в равной мере считают экономический базис и классовую борьбу определяющей основой “идеологических” процессов (духовной жизни общества) и вместе с тем их движущей силой. Или, может быть, они разграничивают определяющую основу жизни общества (к которой они относят то производительные силы, то производственные отношения) и движущую силу развития классового общества? Ответа на этот вопрос я не нахожу в их трудах»²⁵. Эта двойственность и послужила питательной почвой для формирования — в рамках одной и той же марксистской доктрины — двух интерпретативных стратегий, конкурировавших друг с другом. Для одной из них, как мы могли убедиться, было характерно объяснение исторических событий посредством редукции их к уровню развития производительных сил и характеру производственных отношений, для другой — объяснение посредством редукции к классовым взаимоотношениям.

С точки зрения М.Н. Покровского, главными акторами исторического процесса являлись общественные классы; за каждым событием политической истории он старался отыскать классовую подоплеку, каждого известного исторического деятеля охарактеризовать как защитника интересов определенного класса. Именно классовые интересы, с его точки зрения, скрывались под оболочкой национальных движений, религиозных войн, административных реформ, культурных преобразований.

Исторический нарратив, встающий со страниц произведений Покровского, — это повествование о сложных взаимоотношениях классов, об их борьбе за господство и временных союзах против общего противника. Так, историю правления Ивана Грозного Покровский интерпретировал как историю «союза посадских и боярства», которые объединили свои усилия, чтобы совместно противостоять усилению дворянства; в годы Смуты, напротив, «и посадские, и помещики оказались вместе против представителя экономической реакции, против боярства»; при первых Романовых этот союз распался — «средние помещики» оттеснили от власти представителей «торгового капитала», но те, в свою очередь, одержали реванш при Петре I, чтобы впредь «дирижировать из-за кулис крепостным хозяйством»²⁶. Сложность описанных Покровским политических комбинаций и классовых интриг сделала бы честь любому приключенческому роману XIX века; но, чтобы выстроить такой сюжет исторического повествования, требовалось представить «классы» как своеобразные коллективные индивидуальности, которые осознают свою целостность, обладают явственно выраженной коллективной волей и в монолитном единстве строят четкую политическую стратегию.

Покровский вполне обоснованно считал В.И. Ленина своим союзником в деле интерпретации истории. Действительно, как и Покровский, Ленин счи-

Методология и философия истории

тал классы главными акторами исторического процесса, стремясь увидеть за каждым конкретным событием «расстановку классовых сил»; классы выступали в публицистических работах Ленина как носители коллективного разума, коллективной воли и даже общих моральных качеств. Например, на страницах его труда «Две тактики социал-демократии в демократической революции» пролетариат «инстинктивно рвется к открытому революционному выступлению», «борется за демократию впереди всех и во главе всех», «ставит задачи», «выставляет лозунги», «пропагандирует идеи», а «непоследовательная и своекорыстная буржуазия» в то же самое время «оставляет в тени вопрос о низвержении царского правительства», «изменяет сама себе», «оглядывается назад, боясь демократического прогресса», и, наконец, пытается «сорвать русскую революцию посредством сделки с царизмом»²⁷. Сюжет этой работы строится на коллизии, хорошо знакомой художественной литературе, на противопоставлении двух персонажей, связанных общей целью: мужественного и решительного героя — и трусливого лицемера, готового к предательству.

Таким интерпретативным приемам соответствовала и знаменитая полемическая стратегия В.И. Ленина в диспутах с другими социалистами, начиная с его первых работ о «друзьях народа» и о «критике народничества в трудах г. Струве»: лидер большевиков стремился представить своего оппонента как выразителя определенной классовой позиции, как защитника интересов «мелкой буржуазии» или буржуазии вообще, чтобы потом триумфально изобличить его в лицемерии и тем самым дискредитировать как «Тартюфа» или «Иудушку Головлева».

Аналогичную полемическую стратегию — разоблачение своего оппонента как своекорыстного защитника интересов того или другого эксплуататорского класса — постоянно использовал в своих историографических трудах М.Н. Покровский. «Научную историографию, — утверждал он, — можно построить, как и научную историю, только на *классовом* подходе. Только классовый подход поможет нам расшифровать бесчисленные исторические контроверзы, найти ключ к бесконечным, тянущимся иногда веками, историческим спорам — показав нам эти споры как столкновение различных классовых точек зрения»²⁸. За доктриной каждого историка Покровский пытался увидеть определенную классовую позицию, «*сгусток классовой идеологии*»; в соответствии с этой стратегией историки XVIII века представляли идеологами «торгового капитала», славянофилы — выразителями позиции помещиков, «которых развивающийся промышленный капитализм мять и давил», историки «государственной школы» — защитниками интересов промышленной буржуазии. «Тут совершенно не приходится стесняться тем, что ни у Чичерина, ни у Кавелина, ни у Соловьева, ни у кого из историков-государственников не было фабрик, — уточнял Покровский. — Тут применимо то, что говорит Маркс о

Фигуры истории, или «общие места» историографии

мелкобуржуазной идеологии, о мелкобуржуазных идеологах: не обязательно, чтобы у них была лавка, но их кругозор не выходит за пределы кругозора лавочника. Точно так же для наших историков-государственников не обязательно было, чтобы они были фабрикантами, но их кругозор был кругозором крупных предпринимателей, кругозором буржуазии, которой были нужны определенного рода государственные учреждения»²⁹.

Риторика изобличения «подлинной классовой сущности» оппонентов прочно утвердилась в литературе и публицистике сталинских времен, в том числе и в историографии. «Вскрыть политическую сущность, заключенную в исторической оболочке буржуазных исторических работ и исследователей, — писал С.А. Пионтковский, — это значит показать истинное лицо российской исторической науки в руках российской буржуазии»³⁰. «Вскрыть», «разоблачить», «сорвать маски», «показать истинное лицо» — все эти метафоры словно заимствованы из плутовской комедии XVIII века; историк в данном случае выступал в роли резонера, функция которого — комментировать действие и «сорвать маску» с плута в финале представления (хотя устами историка-резонера в данном случае говорила не его личная проницательность, а сверхличная мудрость и чутье прогрессивного класса, к которому он себя причислял). Заметим, что даже стремление к научной объективности, с точки зрения историографии сталинских времен, было всего лишь одной из масок классового противника: «Кажущаяся “объективность” и “беспристрастие” Кареева не могут скрыть от нас политической подоплеки его научных построений»³¹.

Образный ряд плутовской комедии «с последующим разоблачением» обрел зловещую серьезность в ходе политических судилищ над «буржуазными историками» конца 1920-х — начала 1930-х годов. М.Н. Покровский откровенно гордился тем, что возглавлявшееся им Общество историков-марксистов выполнило свой «элементарный партийный долг» и осуществило «разоблачение антикоммунистической идеологии нашей старой профессуры», — «наиболее крупные из них были... нами разоблачены, а о других взяли на себя попечение соответствующие учреждения, и откровенные признания этих других избавили нас от всякой необходимости что бы то ни было разоблачать»³². Метафора «разоблачения» завершила свое развитие: реализовавшись в жанре политического доноса, она перестала быть метафорой.

Таким образом, изучение исторического и историко-публицистического наследия российских марксистов конца XIX — начала XX века позволяет уточнить и расширить представление об интерпретативных стратегиях марксизма, о способах построения сюжета исторического повествования, присущих марксистской традиции. Можно сделать вывод, что в отечественном марксизме рубежа XIX—XX веков, — до того, как он стал официальной государственной идеологией, — уживались две стратегии интерпретации истории. Одна из них была связана с традицией «экономического материализма» и проявля-

Методология и философия истории

лась в редукции причин исторических событий к состоянию производительных сил; воплощением свойственного ей детерминистского восприятия истории служила метафора общества-механизма и исследователя-механика. Другая интерпретативная стратегия, представленная в работах В.И. Ленина и М.Н. Покровского, строилась на восприятии истории как арены классового противоборства и сложных классовых интриг. Для нее был характерен метафорический ряд «плутовской комедии», смысл которой — в разоблачении своекорыстной лжи, в «срывании маски» с лицемерного интригана и редукции его действий к определенной классовой позиции. В рамках марксистской литературы эти стратегии выполняли различные функции: механицистическая стратегия применялась в конкретно-исторических исследованиях, стратегия «разоблачения» — стала оружием в политической полемике.

Примечания

¹ См.: Нечухрин А.Н. Смена парадигм в русской историографии всеобщей истории (90-е гг. XIX в. — 1917 г.). Гродно, 1992. Деп. в ИНИОН РАН 22.02.93, № 47748; Дорошенко Н.М. Философия и методология истории в России (конец XIX — начало XX века). СПб., 1997; Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX—XX вв. (Анализ отечественных историографических концепций). Омск; Екатеринбург, 2000; Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала XX века: В 2-х ч. Ч. 1: Постановка и попытка решения проблемы. Волгоград, 1999. Ч. 2: Методологические искания послеоктябрьской исторической мысли. Волгоград, 2000; Жигунин В.Д., Мягков Г.П. Между монизмом и плюрализмом: российская историческая мысль на рубеже XIX—XX вв. // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 1/99. М., 1999. С. 215—222.

² Дорошенко Н.М. Философия и методология истории в России (конец XIX — начало XX века). СПб., 1997. С. 162.

³ Уайт Х. Метанастория: историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. Екатеринбург, 2002. С. 25.

⁴ Там же. С. 36.

⁵ Balabanoff A. My Life as a Rebel. N.Y., 1938. Цит. по: Бэрон С.Х. Г.В. Плеханов — основоположник русского марксизма / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 187.

⁶ Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической науке: опыт «русской исторической школы». Казань, 2000. С. 148.

⁷ Струве П.Б. Проблема роста производительных сил в теории социального развития // Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому его учениками, друзьями и почитателями ко дню тридцатилетия его профессорской деятельности в Московском университете (5 декабря 1879 — 5 декабря 1909 года). М., 1909. С. 458.

⁸ Коган П.С. Литературные направления и критика 80 и 90-х годов // История русской литературы XIX века / Под ред. Д.Н. Овсяннико-Куликовского. Т. 5. М., 1910. С. 88.

⁹ Плеханов Г.В. Об «экономическом факторе» // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: В 5-ти тт. Т. 2. М., 1956. С. 292.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

- ¹⁰ Плеханов Г.В. О материалистическом понимании истории // Там же. С. 266.
- ¹¹ Рожков Н.А. Происхождение самодержавия в России. М., 1906. С. 204–209; Рожков Н.А. Исторические и социологические очерки. Сб. ст. Ч. 2. С. 50–56.
- ¹² Струве П.Б. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. СПб., 1894. С. 30–35, 40, 60.
- ¹³ Юшкевич П. О материалистическом понимании истории. СПб., 1907. С. 42, 56.
- ¹⁴ Рожков Н.А. Исторические и социологические очерки. Сб. ст. Ч. 1. С. 16.
- ¹⁵ Плеханов Г.В. Социализм и политическая борьба // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: В 5-ти тт. Т. 1. М., 1956. С. 63.
- ¹⁶ Юшкевич П. О материалистическом понимании истории. СПб., 1907. С. 22.
- ¹⁷ Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: В 5-ти тт. Т. 2. С. 304.
- ¹⁸ Покровский М.Н. Экономический материализм. Пб., 1920. С. 6–7.
- ¹⁹ Аксельрод Л.И. Философские очерки. С. 146.
- ²⁰ Юшкевич П. О материалистическом понимании истории. С. 85.
- ²¹ Плеханов Г.В. Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: В 5-ти тт. Т. 5. М., 1958. С. 433. Курсив мой. — О.Л.
- ²² Покровский М.Н. Экономический материализм. Пб., 1920. С. 3–4, 22–23.
- ²³ Покровский М.Н. Избранные произведения в 4-х кн. Кн.4: Лекции, статьи, речи. М., 1967. С. 346–367.
- ²⁴ Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века. С. 330–331.
- ²⁵ Ойзерман Т.И. Марксизм и утопизм. М., 2003. С. 204.
- ²⁶ См.: Покровский М.Н. Избранные произведения в 4-х книгах. Кн.2: Русская история с древнейших времен (тт. 3 и 4). М., 1965.
- ²⁷ См.: Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 11. С. 1–131.
- ²⁸ Покровский М.Н. Предисловие // Русская историческая литература в классовом освещении. Сб. ст. М., 1927. Т. 1. С. 6.
- ²⁹ Там же. С. 8–10, цит. с. 13.
- ³⁰ Пионтковский С.А. Буржуазная историческая наука в России. М., 1931. С. 10.
- ³¹ Буржуазные историки Запада в СССР (Тарле, Петрушевский, Кареев, Бузескул и др.). Открытое заседание Методологической секции от 18 декабря 1930 г. // Историк-марксист. Т. 21. М., 1931. С. 77, 80.
- ³² Покровский М.Н. О задачах марксистской исторической науки в реконструктивный период // Историк-марксист. Т. 21. М., 1931. С. 3–4.

А.Н. Смолина (Волгоград)

МОДЕЛЬ ВЕЧНОСТИ КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИСТОРИИ

Идея вечности и представления о ней в системе культуры, будучи генетически связанными с идеей и представлениями о времени, постепенно складываются в модель вечности, характерную для данной культурной системы, которая выполняет функции посредника, или «социокультурного оператора», при организации процессов повседневности и истории в целом.

Рождение идеи вечности в качестве самостоятельного конститутивного элемента культуры происходит в результате процесса секуляризации, обретения временем независимости от мифологического синкретизма. Священное мифологическое Время представляет собой и функционирует в родовом сообществе как Вечное¹: «Поскольку время есть родовое понятие, постольку оно трактуется как предел всякого становления, т.е. как вечность»². Соположение «мира вещей» и «мира идей» еще у Платона создает предпосылки для дальнейшего проведения параллелей времени и вечности, где последняя выступает как область порождения, впоследствии — как *референтная область* культуры. Так, идея «Золотого Века», начала и некоего «мифологического резерва» Времени, постепенно начинает сливаться с идеей вневременного, или вечности. Граница их объединения становится также и границей их различения и различания.

Таким образом, в качестве *вечности* («эон»)³ формируется и выступает некое изначальное мифологическое *время* («хронос»), которое освобождается в качестве именно «хроноса» только после установления *границы* между хроносом и эоном.

Параллелизм Эона и Хроноса, связанных идей взаимопорождения в мифологии и философии, формирует соответственно два типа космогонических идей, которые в модифицированных формах продолжают действовать на протяжении истории:

1) «архаическая» космогония: мир создан из хаоса; современной модификацией данной космогонической идеи является синергетическая концепция, в которой хаос выступает в качестве основополагающего элемента, сочетающего креативные и деструктивные потенции;

2) «классическая» космогония: мир происходит из сакрального (из тел богов или культурных героев, из сакральных слов (заветов), в мифологии — из различных божественных предметов, брошенных в первоначальный «хаос»; в философии — из мира идей, метафизических принципов).

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Соответственно, можно определить две основные тенденции представления о вечности: 1) вечность как ничто, или неоформленный хаос; вариации идеи самоорганизации (материи, темпорального потока) относятся к данному типу; и 2) вечность как Нечто: «мир идей», бог, категории метафизики и т.д.; образование *моделей вечности* принадлежит этой тенденции. Тогда в качестве «резервации времени», или референтной области культуры, Вечность может быть представлена либо как возвращение к Золотому Веку (истине, смыслу, божеству), либо как растворение в изначальном хаосе, возвращение в «океан небытия». Идея творения в иудео-христианской традиции, по сути, представляет собой объединение и качественную переработку этих двух космогонических идей: мир сотворен Словом Бога из ничего, однако это не оформление изначального хаоса и тем более не его самоорганизация.

Иное представление о времени и вечности мы прослеживаем в иудейской традиции. Идею резервации, или откладывания времени, В. Гигерич возводит к библейскому пророку Исае: «Происходит нечто экстраординарное в реальности душевной жизни. Религиозный опыт (пророческое слово) не выпускается в мир, не обращается к собственному времени пророка, где он мог бы оказаться эффективным или неэффективным с точки зрения соответствия <реальности>. Он фиксируется и сохраняется в резерве»⁴. Существенным отличием резервирования времени у библейских пророков является то, что вечность помещается в будущее, а не остается в качестве «завоеванного времени».

Граница между эоном и хроносом, «*временем зарезервированным*» и «*временем выпущенным*», вписывает отношения времени и вечности в проблему соотношения бытия и мышления, которая имеет два аспекта:

1) совпадение бытия и мышления по принципу тождества Парменида формирует такой тип взаимоотношения моделей вечности и моделей времени, в котором Время Собранное, или совокупность всех времен, в пределе совпадает с Вечностью. Соответственно, и модель вечности должна быть построена по принципу собирания и упорядочивания, поскольку имеет дело с хронологическим временем;

2) несовпадение бытия и мышления вводит в дихотомию никогда не редуцируемый элемент, который мы обозначим как *трансцендентный остаток*, не позволяющий совпасть двум системам, характеризующимся параллелизмом своих структурных элементов (а именно, времени и вечности, историческому контексту и метаконтексту).

Соответственно, по данному принципу можно выделить два типа моделей вечности: включающие некий *трансцендентный остаток* либо сохраняющие дистанцию по отношению к нему. В первом случае модель вечности стремится доминировать в культуре как предельно возможный тип организации истории благодаря трансцендентному остатку, выгодно отличаясь тем самым

Методология и философия истории

от моделей вечности, не содержащих его. Во втором случае модель вечности занимает позицию лишь конвенционального элемента при организации времени-как-истории.

Граница, проводимая между бытием и мышлением (а ранее — между эоном и хроносом), в проекции на проблему соотношения времени и вечности в истории и культуре становится границей между Временем-как-вечностью и Священной историей, или — между *моделями* вечности и *измерением* вечности. К использованию моделей вечности тяготеют культуры, в которых время и вечность выстраиваются как параллельные, взаимоотражаемые и в пределе взаимозамещаемые элементы. Вечность как Иное времени, подобная не столько буберовскому «Другому», сколько левинасовскому «абсолютно Другому»⁵, уже не может быть структурирована как модель: она действует как измерение вечности в истории, как Священная история. Так, можно сказать, *модель вечности* как конструируемый элемент в культуре стремится заместить *измерение вечности* как принципиально не конструируемое. Измерение вечности, или вечность как трансцендентное, соответствует понятию *метаконтекста истории*, или «мессианическому времени» по Дж. Агамбену, и присутствует в структуре модели вечности как трансцендентный остаток.

Таким образом, Вечность в системе культуры понимается двояко: как *трансцендентальная область* (примером которой является классическая европейская модель вечности) и как *трансцендентное* (или измерение вечности, которое выходит за границы умпостигаемой области, т.е. за пределы тождества бытия и мышления).

Мы предлагаем следующее определение модели вечности.

Модель вечности как конститутивный элемент культуры представляет собой сложноорганизованную систему исторически сложившихся в данной культуре представлений о времени, загробной жизни; понятийных комплексов, отражающих социальную структуру через систему мифологических и/или философских категорий, с помощью которой та или иная общность (от локальной культурно-исторической общности до человечества в целом) организует свой исторический горизонт для данных социально-исторических условий: свое историческое наследие в отношении прошлого (предков), свои задачи в отношении будущего (потомков), свое положение в настоящем. Наиболее распространенные модели времени служат основой моделей вечности, что позволяет говорить о моделировании вечности как о *топологии времени*, точнее, топологии Времени Собранного.

Современный *кризис модели вечности* связан прежде всего с переходом от жестко организованной структуры трансцендентальной области, элементы которой вступают в конфликт с собственным новым содержанием, к более динамичному и сложному образованию.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Рассмотрим *структурный комплекс модели вечности*.

Во-первых, основу модели вечности составляют базовые *модели времени*: циклическая или линейная, и их модификации.

Во-вторых, модель вечности характеризуется *иерархическим комплексом*, который представляет онтологический аналог социально-политической структуры той или иной общности. Это дает право говорить о модели вечности как об *атрибуте власти* (т.е. социально-политической структуры, проецирующей себя в модель вечности в виде определенного иерархического комплекса), и о *моделировании вечности* в культуре как об одном из основных инструментов власти в управлении социумом: «*Всякая традиционная власть (даже потестарная) в своем определении неизменно опиралась и опирается на возможно дальше уходящее в глубь времен сакрализованное “безвременье” и провозглашает себя преемственно-вечной в смысле опять “безвременья”, но уже уходящего в невидимое далекое будущее*»⁶.

В восточных культурах Вечность является областью, откуда правит миром только Правитель. В эту область можно быть принятым (по рождению, посредством инициации), но невозможно захватить ее силой. Нельзя стать героем, Правителем, если не предназначено судьбой, нет бога-покровителя, и т.д. *Завоевание вечности* здесь в принципе невозможно, в отличие от западной модели. В восточных культурах централизованная власть, или вечность как область референции, является недостижимой для периферийных элементов культуры. Дистанция, которая разделяет Императора и отдельного субъекта, и есть пространство иерархии, или иерархического комплекса, находящего свое отражение в модели вечности. Только у греков появляется онтологическая возможность «захвата вечности» (например, битвы титанов против богов, т.е. порожденного против породившего высшего).

Европейская модель вечности связана со структурой трансцендентально-го субъекта, которая представляет собой не конкретного человека во всем многообразии его проявлений, а прежде всего структуру ratio, ego-cogito. Так, иерархический комплекс западной модели вечности, по которому каждый конкретный человек в принципе обладает всеобщим разумом, создает достаточные условия для того, чтобы любой человек теоретически являлся источником обратного влияния на область Вечности.

В-третьих, модель вечности необходимо включает *структуру трансцендентального субъекта* в скрытом или явном виде (т.е. даже если таковая присутствует латентно или в виде «фигуры умолчания»). Возникают эти структуры практически одновременно, поэтому кризис субъекта связан с кризисом модели вечности.

В-четвертых, модель вечности невозможна без комплекса представлений о загробной жизни, о смерти⁷, о после-(мета-)времени, который в целом можно обозначить как *трансцендентально-трансцендентную область*.

Методология и философия истории

Эта область, будучи внутренним организующим центром модели вечности, представляет собой и референтную область культуры. В зависимости от представлений, доминирующих в культуре, эта область либо наделяется «структурами вечного» (будь то пифагорейские числа, категории европейской метафизики, иерархия богов в индуизме, и т.д.), либо остается областью сакрального умолчания, которой нельзя присвоить даже предикат существования. В этом последнем качестве она присутствует как горизонт, имея мифологический статус «границы между мирами», при этом выступая одним из миров.

Трансцендентальная область в качестве «резервации времени» складывается в процессе создания метафизики: метафизические категории — это следы, слепки отношений и процессов, отложенные в виде трансцендентальных структур как гарантий существования. «Где бы еще смогли разместиться науки, развлечения да и все прихотливые “цветы зла”, если бы не была создана для них эта “ниша пустоты”, откуда сущее уже не выносится потоками времени, поскольку потоки огибают ее или удерживаются плотиной — “откладыванием”»⁸. Идеи и категории — это «замороженные продукты» времени, отношения со «снятой темпоральностью».

Таким образом, *областями возможного расположения вечности в культуре являются прошлое и будущее. Будучи областью социокультурной идентификации, вечность непосредственно связана с комплексом представлений о смерти, также помещающейся как в область прошлого, так и будущего.*

Двойственность трансцендентально-трансцендентной области неизбежно влияет также на *комплекс представлений о смерти*, циркулирующий в культуре: с одной стороны, смерть всегда имеет «сценарии», — и именно поэтому она также и «загробная жизнь»; с другой стороны, смерть всегда остается непознаваемым Неизвестным. Смерть представляет предельную точку процесса самоидентификации, полностью трансцендентную этому процессу⁹, и, соответственно, более не подвластную изменениям этого процесса. «Смерть в качестве всегда уже заранее установленной цели берет на себя роль вечности»¹⁰. В период кризиса модели вечности представления о смерти также претерпевают изменения. На индивидуальном уровне человек оказывается не обеспеченным онтологическим сохранением: для него отсутствует не просто «место на кладбище», но отсутствует само «кладбище» с «могилами предков», т.е. трансцендентальная область, референтная область культуры, в которую «уходили» предыдущие поколения. На социальном уровне разрушение трансцендентно-трансцендентальной области индуцирует представления о невозможности будущего для данной социокультурной общности, т.е. о «смерти» культуры.

В-пятых, поскольку модель вечности как посредник в организации времени является агентом синтеза и/или синхронизации, она должна включать *прин-*

Фигуры истории, или «общие места» историографии

*ципы той или иной модели целостности*¹¹ с соответствующим комплексом проблем: соотношение единого и многого, количественного и качественного, и т.д. Различая пространственно-наглядную и временную (историческую) связь элементов культуры, можно говорить о замкнутой иерархии элементов, подверженных лишь количественным изменениям, в первом случае, и динамичном, качественно изменяющемся соположении элементов во втором случае.

И, наконец, в-шестых, модель вечности может включать или не включать *трансцендентный остаток*: не редуцируемый элемент, «пустое пространство», которое сохраняется в культуре от заполнения любыми наглядными структурами. В различных культурах для такого сохранения используются, как правило, специфические религиозные практики. В традиционных культурах трансцендентный остаток еще не отделен вполне от трансцендентально-трансцендентной области (например, понятие «дао» в китайской культуре). Исторически первым самостоятельным трансцендентным остатком можно считать Шаббат и Йом Кипур в иудаизме¹², некоторые выделенные точки в потоке времени, единственное содержание которых — отказ от содержания (довлеющего прошлого). В христианстве таким сохранением трансцендентного остатка является «смерть для мира», постоянное возобновление этого усилия в ключевых словах христианской молитвы «не моя воля, но Твоя во мне». Стремление сохранить трансцендентный остаток в нерелигиозных концепциях порождают «Ungrund» мистиков, «вещь в себе» И. Канта, *le neant* («ничто») и «дыру в бытии» в концепции Ж.-П. Сартра; «ужас», с которым сталкивается *Dasein* у М. Хайдеггера, «*erosche*» Э. Гуссерля.

В культурно-историческом плане трансцендентным остатком можно назвать метаисторический контекст (метаконтекст), не сводимый к любому отдельному локально-историческому контексту, прошлому или будущему. Всегда существующее искушение принять локально-исторический контекст за метаконтекст, т.е. за горизонт истории в целом, приводит к кризису референтной области культуры, ее организующего центра. Историческая актуальность не может быть замкнута в контексте или даже во множестве контекстов, как предлагает философия постмодернизма, отказываясь от референции к культурным «центризмам»; актуальное настоящее требует своего определения теперь уже в истории, а не во вневременном царстве «абсолютного духа». Однажды возникнув, как отсроченная полнота настоящего, как метаистория или смысл истории, помещенный в будущее, *метаконтекст должен сохраняться как «зарезервированное ничто»*.

Кризис модели вечности, в частности, европейской, означает, что данная модель вечности более не продуктивна. Она больше не функционирует в культуре как порождающая структура и референтная область, не репрезентирует адекватно цели данной культурно-исторической общности, не в состоянии

Методология и философия истории

выступать оператором синхронизации тотальности истории (т.е. не является референтной областью и для представлений об историческом процессе). Элементы, составляющие структуру модели вечности, разрушаются и деконструируются; перестают работать системы — гносеологические, онтологические, социально-политические, построенные на основе старого иерархического комплекса. Происходит смена научных парадигм, пересмотр ценностей и категорий, принципов политики, экономики и т.д.

Решающие изменения происходят также с трансцендентально-трансцендентной областью и комплексом представлений о смерти: теперь смерть рассматривается в контексте неисторической «чистой временности»¹³ и больше не коренится в стабильности референтной области. Появляется неопределенность отношения ко времени, особенно к далекому будущему и мифическому прошлому. Жизнь отдельного субъекта организуется в соответствии с референтной областью, которой теперь становится все, что угодно: альтернативные культуры и религиозные культы, сектанство, наука, гедонизм, консьюмеризм или цинизм как жизненные позиции.

Кризис европейской модели вечности выражается также в том, что, будучи лишь абстрактным оператором синхронизации истории, она претендует на статус метаисторического контекста. Как любой метаконтекст, модель вечности провоцирует появление технологий разоблачения (центростремительных тенденций европейской мысли, начинающих как апофатические, но в конце концов переходящих в деконструирующие и центробежные).

Сегодня модель вечности как референтная область культуры замещается либо созданием тотализирующих моделей по образцу классической метафизики, либо отказом от них в пользу «процессуальности», которую обеспечивает масс-медиа. Процессуальность, или темпоральность, выступает новым способом синхронизации истории, когда индивидуальные ритмы «подключаются» в идеологически генерированные потоки мирового «реального времени», создавая иллюзию причастности полноте времени и истории.

Модель вечности формировалась как *вневременной* оператор организации накопленного *времени*. Основываясь на зарезервированном в прошлом мифологическом времени-зоне, модель вечности помещается над временем-хроносом, избегая *будущего* как бессмысленного «конца космического цикла» и *настоящего* как неустойчивого преходящего. Вместе с тем вневременная референтная область становится целью исторического развития; иначе говоря, целью истории в понимании классической метафизики становится *выход из истории в трансцендентальную область*. Цель прогресса помещается в конце «линии истории», начиная с возникновения самой идеи прогресса как секуляризированной Священной истории. В немецкой классической философии эта цель оказывается достигнутой в результате завоевания области «абсолютного духа» философской мыслью.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Достижение трансцендентальной области, о котором возвестил Гегель в идее «конца философии», вызвало смятение, мировоззренческий кризис¹⁴, последствиями которого стало разрушение референтной области «абсолютного» как цели истории, разочарование в идее прогресса и переориентировка исторического процесса.

Тем не менее, необходимость в моделях вечности в культуре остается постольку, поскольку объем хронологического времени постоянно увеличивается и используется как ресурс, инструментом регулирования которого становится та или иная легитимированная модель вечности. Однако в ситуации общекультурного цинизма¹⁵, модель вечности уже не может поддерживать пафос «смысла истории» и превращается из *цели* в *средство*. Превращение важнейшего конститутивного элемента культуры в средство влияет на ориентиры культуры, которая становится гигантской системой средств манипулирования.

Таким образом, рассмотрев структуру модели вечности и ее функции в культуре, можно сделать вывод, что модель вечности, будучи устаревшим в современной культурно-исторической ситуации «культурным оператором», все же остается в культуре на правах важнейшего средства манипуляции, которое используется господствующей идеологией как выгодная ей модель организации истории.

Примечания

¹ Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 5–16; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 73.

² Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977. С. 34.

³ Первоначально «αιών» означает у Гомера и Гесиода некий неопределенный период времени, поколение, жизненный век в общем потоке *chronos*, и только у Платона он уже фиксируется как период всего «kosmos» в противоположность *chronos* как уже «неполноте времени». См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997. С. 229–230.

⁴ Гигерич В. Производство времени / Пер. А. Секацкого // <http://www.bibl.ru/vi/proizvodstvo.html>

⁵ У Э. Левинаса прошлое является Другим, вызывающим непреодолимую диахронию, что дает основания говорить о времени как о Другом в его концепции; однако непреодолимость диахронии делает прошлое также и аналогом вечного и «всегда Другого». См.: Левинас Э. Диахрония и репрезентация // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX в. Томск, 1998. С. 154–155.

⁶ Андреев И.Л. Связь пространственно-временных представлений с генезисом собственности и власти // Вопросы философии. 1999. № 4. С. 73.

⁷ Исследование исторических форм представлений о смерти и загробной жизни: Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992; о структуре современного восприятия смерти см. напр.: Янкелевич В. Смерть. М., 1999.

⁸ Секацкий А. Ловушки для времени // http://www.bibl.ru/lovushki_dlya.htm

⁹ М. Хайдеггер говорит о полном «отчуждении» собственного бытия в смерти, Ж.-П. Сартр также говорит о прекращении возможностей «изменить собственный проект» и превращении смерти в пассивный объект оценки других.

Методология и философия истории

¹⁰ Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. М., СПб., 2002. С. 361.

¹¹ Подробнее о моделях целостности см.: Пигалев А.И. Культура как бытие: истоки и границы парадигмы // Мир психологии. Научно-методический журнал. М., Воронеж, 2000. № 3 (23). С. 11–38.

¹² См.: Heshel A. J. The Sabbath. Its Meaning for Modern Man. NY., 1950. P. 8–10.

¹³ Смерть у М. Хайдеггера рассматривается как возможность, определяющая все остальные возможности Dasein во времени, смерть у Э. Левинаса представлена как страдание, опять же в потоке времени. См.: Ямпольская А.В. Ранний Левинас: проблемы времени и субъективности // Вопросы философии. 2002. № 1. С. 175.

¹⁴ См. подробнее: К. Левит. Указ. соч.

¹⁵ Слотердаик П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001. С. 143.

Б.Г. Соколов (Санкт-Петербург)

ИСТОРИЯ И ВРЕМЯ

Начну с факта, который меня в чем-то «потряс», а в чем-то озадачил. Листая книгу, посвященную архитектуре Петроградского района Санкт-Петербурга (Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский район. СПб.: Издательский дом «Коло», 2004), я обнаружил следующую главу великолепного во всех отношениях издания: «Памятники архитектуры периода историзма». Поскольку я не являюсь профессиональным искусствоведом, следящим за «терминологической суетой», то был немало удручен собственным невежеством, поскольку ранее не привелось сталкиваться с архитектурой подобного направления. Но само название заинтересовало, а также тот факт, что, занимаясь философией истории, я до сих пор не встречал подобного названия, достаточно «провокационного» для человека исследующего историю. К счастью, затруднение быстро развеялось после консультации с более знающим ситуацию в искусствоведении человеком. То, что в книге маркировалось как «историзм», оказалось давно мне известным течением искусства, в свое время именовавшегося эклектикой. Очевидно, что одной из причин, которые подвигли искусствоведов к «исправлению имен», была негативная смысловая коннотация в термине «эклектика», воспринимавшемся почти как бранный эпитет, нечто, наподобие художественной импотенции и плагиата, что, понятно, не всегда применимо к подобному направлению. Резон же использования термина «историзм» в отношении архитектурного стиля заключается в большей степени в том, что в течении «эклектика» довольно распространены «цитаты» из различных стилей прошлых эпох, вполне мирно уживающихся в едином архитектурном ансамбле.

Зафиксируем для начала нашего рассуждения: «историзм» как архитектурный стиль, а также тот символический ряд, который поможет нам в нашем рассуждении. Итак, архитектурный стиль «историзма — эклектики» как архитектурный топос, хранящий в себе печать «вереницы» прошлых стилей. Добавим сюда следующее: если верно, что архитектура — это застывший в камне глагол, то историзм в архитектуре — это полифония застывших осколков прошлого времени, сочетающих в своем единстве непротиворечивым образом цитаты стилей разных исторических эпох. И еще зафиксируем, поскольку речь идет об архитектуре, определенный ассоциативный ряд. Конечно, любой ассоциативный ряд дело индивидуальное, но куда от нее денешься?

Прежде всего, архитектура — наиболее «прагматичный» вид искусства, т.е. изначально служащий и продолжающий выполнять вполне прагматичес-

Методология и философия истории

кую функцию жилища, и в этом отношении она существует не всегда как искусство в рамках новоевропейского проекта «искусство». Этот способ бытия искусства является неким особым, с претензией на «истину», «соль человеческого существования» и т.п., способом бытия сущего. В противовес этому архитектура — вполне реально «потребляемый», используемый человеком как жилище и, главное, им обживаемый, «предмет». Обживаемый, т.е. к тому смыслу, который закладывается в постройку, как некий телос, а именно «телос жилища», добавляется смысл обживания, смысл не интеллектуальный, но предельно экзистенциальный. Наконец, архитектура — это то, что формирует своеобразную сферу замкнутости и охранения человека. Это, к тому же, сфера интимного, индивидуального и, если таково предназначение дома, то архитектура может стать и сферой «интерсубъективности». Но той интерсубъективности, которая использует ресурсы замкнутости, т.е. проект, в целом нацеленный на индивидуальную обособленность. Архитектура, таким образом, сберегает, охраняет и придает форму обособлению и индивидуальности, в какой бы форме она не выступала: от личности, семьи до собрания и концерта.

Теперь добавим те коннотации, которые вносит «историзм» как архитектурный стиль, с учетом, что в историзме есть и история. Историзм выступает как сочетание различных архитектурных, уже «прошлых», «исторических» стилей, стилий, обретающих новую современность и жизнь в некоем «исторически неправильном» единстве, поскольку в этом единстве представлены осколки разных времен. Эти времена, репрезентируемые как стили, оказываются не просто перенесенными в новый культурный контекст и современными, но и — поскольку речь идет об архитектуре — сберегающими и возрождающими в едином настоящем (наподобие «вечности» Бога) уже давно умершее (прошлое).

История в историзме, таким образом, имеет реальное звучание и сбережение, причем то сбережение, которое откладывает весь скепсис по поводу необходимости, востребованности и «результативности» исторической науки как таковой. Ведь все мы помним фразы о бесполезности и бесцельности истории, никого ничему не научающую, но лишь тренирующую в лучшем случае память. Историзм — это своеобразное повествование об истории не просто стилей, т.е. некая «невербальная» интерпретация прошлого, но и обживаемое — причем таким же образом как это происходило в прошлом «цитированных» стилей — прошедшее, ставшее и постоянно становящееся настоящим. Это вечно пробрасываемый смысл времени человеческого окружения, смысл, запечатленный для «наглядности» в кирпиче или камне, в бетоне и стекле.

Таким образом, вольно или невольно в архитектурном стиле «историзм» сочетаются те смысловые точки, рядом с которыми, сквозь и «по ту сторону»

Фигуры истории, или «общие места» историографии

(meta) которых будет протекать наше рассуждение: история, сбережение, время, соприсутствие времен. Важнейшие из которых — и это ясно из заглавия текста — время и история. Все это нуждается и в предварении, и в прояснении.

Начнем с проблемы времени. Сразу «посетуем»: время — это то, что не поддается мысли. В лучшем случае, когда пытались определить, что такое время, то получали порочный круг, когда время определяется через движение, а движение, в свою очередь «ссылается» на время. То, что говорят о времени, чаще представляет собой красивую метафору, не более. Например: «горизонт времени», «длительность» и т.п. И так почти две с половиной тысячи лет истории европейской философии. Остается лишь несколько указаний, которые «бросил» бл. Августин, «сокрушенно» вздыхавший и отметивший, что нет прошлого, настоящего и будущего, но — прошлое настоящего, будущее настоящего и настоящее настоящее. Впрочем, может быть упомянут и И. Кант, повернувший любые дискуссии о времени в сторону субъективности и формальности (априорная форма внутреннего чувства). И больше, по сути, ничего.

С историей в отличие от времени дела, вроде, получше. Кто только не говорил об истории и не писал историю: от Геродота, Фукидида до Гегеля, Фукуямы и т.п. Мы и не ставим в этой статье цель отразить даже вкратце основные концепции истории, философии истории, историософии и т.п., поскольку даже это «вкратце» займет слишком большое *время*. Можно, в принципе, писать историю об истории. Можно даже сказать, что историю настолько заболтали, записали, что «истерли»: конец истории. И рассуждения об истории мы будем вести не для того, чтобы продолжить или «окончательно» разрешить спор о ее значении, но для того, чтобы найти подступ к времени, которое представляется не только как связанное с историей, но и как фундирующее последнюю. В самом деле, история представляется как особый вид времени, который переживается не одним индивидом, но нацией, народом, наконец, человечеством вообще. История представляется неким социальным временем, временем общим для всех и вся.

Итак, мы обозначили маршрут: подходы ко времени через историю, применяя то, что мы можем сказать об истории ко времени.

Попробуем теперь зафиксировать то, что мы понимаем под историей, чтобы затем попытаться апплицировать это ко времени. Во-первых, следует сразу разделить реальную историю, т.е. ход реальных событий, от интерпретации истории, которая также носит название «история». Реальная история является некой «ноуменальной» сферой, «материалом» для различного рода исторических стратегий, которые не только придают ей форму, но и «предписывают» определенные закономерности. Таким образом, во-вторых, «вырисовывается» «вторая» история, т.е. история как интерпретация реальных со-

Методология и философия истории

бытий. Интерпретационных стратегий, собственно говоря, две. Это — стратегия микроистории, имеющая своим основанием описание участником (или из горизонта, топоса реального участника) событий. Этот тип интерпретационной стратегии отражает своеобразный горизонт некоторых культурных традиций. К слову, этот тип исторического повествования является наиболее распространенным по времени и культурному ареалу типом исторического описания. Данный тип исторического описания — это универсальная история, генетически связанная с христианской моделью истории. В отличие от микроистории универсальный проект истории имеет несколько характерных особенностей. Прежде всего, универсальная история предполагает универсальность во всех смыслах: наличие идеи универсального, единого человечества и универсальность разыгрываемого сценария, плана и, соответственно, закона и смысла исторического свершения. Таким образом, в универсальной истории наличествует универсальный смысл и закон исторического развертывания (трансцендентальное означаемое). Наконец, универсальная история как интерпретационная стратегия может быть осуществлена лишь в определенном культурном контексте, предусматривающем определенные характеристики пространства и времени. Все эти характеристики — характеристики определенной интерпретационной схемы, коррелятивной определенному типу сознания, а именно новоевропейскому культурно-историческому типу сознания. Можно сказать, что история — и универсальная, и «микроистория» — как интерпретационная схема почти с неизменностью воспроизводящаяся разными авторами одних и тех же эпох структурно тождественной, представляет собой размерность сознания мыслящего человека, его окружение во временной перспективе. История рассказывает о человеческом времени, о времени, проживаемом человеком и его окружением. Причем этот рассказ есть осмысленное — т.е. наделяемое проективным смыслом — экзистенциальное проживание.

Теперь вернемся к самому началу нашего рассуждения и сравним то, что мы выявили в «историзме» как архитектурном стиле и историзме как размерности человеческого сознания. И историзм архитектуры, и история как рассказ — и универсальная история, и история как микроистория — есть способ интерпретации временного проживания человека и его окружения. Это обживание всегда наделяется смыслом и делает прошлое настоящим. Причем это прошлое — вернее, эти «прошлые» — сочетаются в непротиворечивом всегда наличном единстве.

Поскольку же историзм — как стиль архитектуры — запечатлевает не только «универсальное», но, как мы видели, всегда замыкающуюся обособленность, то мы вправе применить то, что является тождественным для историзма и истории в отношении проблемы времени. Т.е. мы осуществим обратный ход или будем идти не от времени к истории, а от истории ко времени,

Фигуры истории, или «общие места» историографии

полагая, что единое обживаемое пространство как среда тождественна и в историчекой, и во временной перспективе. Конечно, применяя все сказанное ко времени, мы фиксируем довольно спорную и трудную для анализа аналогичию времени и истории, т.е. полагаем что время и история — «вещи» однопорядковые, а их тождественность базируется на едином обживании человека своего окружения и своей жизни, подобно тому как архитектурный стиль хранит не только стилевое время, но и время индивидуальное.

Наверное, следует сразу же, подобно истории, разделить то время, которое является нечто подобным «ноумену», и время само по себе. Об этом «реальном» времени мы можем только строить догадки. В противовес есть время, которое мы проживаем. Это время — интерпретационное время, которое дается нам, как указывал еще И. Кант, как субъективная форма чувственности. Будучи погруженными во время, мы время же и конституируем как горизонт нашего существования. Этот горизонт субъективен и обладает свойством формы. Как субъективная форма, время полагается индивидом, исходя не только из своих собственных данных, но и включая ту составляющую, которую можно назвать сферой социальной обусловленности.

Посмотрим вначале на субъективный момент, который формирует время. Время — и это хорошо известно каждому — течет с «разной скоростью». Вернее, проживается с разной интенсивностью, которая фиксируется через скорость его течения. Время детства, например, год — бесконечно растянутое. Чем дальше по жизненному пути, тем оно «короче», года протекают все быстрее и быстрее. Причем оно «считывается» другими в соответствии с темпом разных периодов жизни: школьники отличают почти безошибочно «шестиклассника» от «семиклассника», даже если первый на голову выше последнего. И происходит это так же безошибочно, как взрослые отличают тридцатилетнего от тридцатипятилетнего. Физиогномически запечатленный масштаб времени «школьного года» оказывается тождественным «пятилетке» взрослого. И самое главное, что и сами временные промежутки «год» и «пятилетка» проживаются «численно» тождественно. Другой пример: спрессованное время, переживаемое во время критических ситуаций, когда за реальное мгновение человек способен заново прожить и вспомнить всю свою жизнь. Время выстраивается субъектом исходя из своего текущего топоса и конституируется в согласии с ним. Поэтому оно и конституируется экзистенциально и отражает целостность текущего состояния индивида, запечатлевающееся в «скорости», «интенсивности» и, главное, смысловой наполненности.

Теперь о социальном моменте, вернее о культурной сочлененности времени и текущей традиции. Как и история, время культурно фундировано, т.е. способ его проживания форматируется существующей культурной традицией. Фундированность в культурной традиции простирается не только потому, что каждый культурный тип сознания обладает своей уникальной схематикой,

Методология и философия истории

но и поскольку в проживание времени включаются смыслы, императивно навязанные и инкорпорированные в индивидуальное сознание.

Далее. На примере краткого анализа интерпретационной схемы истории мы видели, что история постигается как осмысленное и центрированное по определенной схематике течение событий. История осмыслена и в этом отношении человек «наделяет» «ноуменальную» историю смыслом, поскольку история становится таковой лишь через интерпретационную деятельность человека. Смысл же не только «рационален», но и, прежде всего, экзистенциален. В этом отношении осмыслено может быть и то, что рационально не оправдано и не обосновано. Время — осмысленно, причем осмысленно экзистенциально. Поскольку речь идет о «форме-времени», то можно сказать что эта осмысленность и порождается сознанием, живущим и функционирующим лишь в «атмосфере» осмысленности.

Еще несколько слов относительно культурной фундированности времени. Мы указали, что время не только экзистенциально и субъективно сформировано, но и культурно фундировано. Конфигурация временного проживания индивидом «реального времени» определяется культурной традицией. Причем речь ни в коей мере не идет о дисциплинарном предписании определенного механизма времяпровождения, но о субъективном «ритме», задающем «скорость» развертывания времени. Приведенные примеры временного проживания, мне представляется, достаточно хорошо проиллюстрировали это положение.

И последнее. Время — это времена. И не только то, что фиксируется «пошлой» схемой настоящее-прошлое-будущее, где настоящее — это вечно кочующая по прямой времени точка. Как указывал бл. Августин, конституируется как настоящее прошлого, настоящее будущего и настоящее настоящего. Более того. Есть и прошлое прошлое и будущее прошлого и т.п., что фиксируется в некоторых европейских языках, в которых временных форм глагола более десятка. А если сюда добавить то, что любое индивидуальное, субъективное проявление манифестирует не только то, что связано с индивидом, но и с культурной традицией, с контекстом, то мы сразу же должны сказать, что время — это и время человечества. А раз так, то время — это всегда время истории. И в этом заключен тот фундамент, та «аксиоматика», которая позволила нам проводить, на первый взгляд, «сомнительные» аналогии между временем и историей.

М.А. Школьникова (Санкт-Петербург)

**МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ:
три взгляда персоналистической философии**

Персоналистическая философия выступает против историцизма и полной детерминации личности обстоятельствами. По общему убеждению рассматриваемых мыслителей — М. Шелера, П. Тиллиха, М. Бубера — ткань исторической реальности создается из самой сущности человека. Представления об этой сущности человека становятся метафизическими основаниями философии истории.

1) Каждое историческое учение, согласно Шелеру, имеет свое основание в определенном роде антропологии, в любом случае — осознанно и известно ли это историку социологу или философу истории или нет. Понимание человека и понимание истории обуславливаются обоюдно.

Согласно основному убеждению антропологии Шелера, человек есть прежде всего не познающее, не волящее, но интенциональное существо, с изначальной и спонтанной направленностью на реализацию все более высоких ценностей. Здесь Шелер, будучи феноменологом, является одновременно и метафизиком. Потому что, по его мнению, от человека не зависит иметь или нет некую метафизику. Человек имеет только выбор между хорошей и разумной идеей абсолюта или же плохой и противоразумной.

Метафизика позднего Шелера основывается на утверждении расколотости абсолюта на два атрибута: дух и порыв, которые сосуществуют единственно в человеке. Задача человека состоит в постепенном взаимопроникновении духа и порыва, что для Шелера указывает на становление «всечеловека». Становление человека есть одновременно и становление Бога. Тем самым Шелер делает человека микротеосом. Так он приходит к своему понятию «становящегося Бога», который может быть только в конце истории, если он вообще будет.

По Шелеру история может пониматься как прибывающая сила разума и тем самым как все большее одухотворение порыва — Шелер остается здесь верным линейной временной картине. При этом, однако, интенции духа снова и снова нуждаются в энергии из источника инстинктов, чтобы дух мог реализовать себя. В основе мышления Шелера лежит новая метафизика духа: чем чище дух, тем он бессильней, поэтому он нуждается в энергии природной стороны — в энергии порыва. Так как человек не есть ни чисто дух как Бог, ни чистая природа как животное, но состоит из инстинкта и духа, то каждое движение в истории мыслимо только в виде компромисса между духом и порыв-

Методология и философия истории

вом. В связи с этим Шелер критикует позицию Гегеля о всеилии духа, творящего историю.

Необходимость взаимодействия духа и порыва приводит Шелера к идее «уравнивания»: в первую очередь уравнивания между духом и порывом. Ни одна из двух сторон абсолюта не должна иметь перевеса. Потому что преобладание дионисической стороны порыва препятствует реализации ценностей духа, а преобладание апполонической стороны духа обескровливает порыв, что в итоге ведет к недостатку энергии для оживотворения в себе самом бес- сильного духа.

Осуществляться это уравнивание в целях становления всечеловека и Бога будет через развитие трех родов знания господства, образования, спасения. Западная культура с двенадцатого века развивает только одну часть знания господства: над внешней природой, в основном неорганической; Китай и Греция культивировали образовательное знание, а Индия — знание спасения и вторую часть знания господства: над собственным телом и волей, над витальным.

Но уравнивание не имеет ничего общего со слепым перениманием другой традиции, культуры или религии. Удача в уравнивании будет расширять или даже изменять как наше самопонимание, так и понимание истории.

Шелер считает, в частичной опоре на Ницше, что только новая, по ту сторону всех расовых, идеологических и религиозных барьеров укорененная элита может решить большое всемирно-историческое задание уравнивания. Элита как группа, которая должна направить грядущее уравнивание на истинный путь, как таковая не может быть отнесена ни к какой позитивной церкви или существующей идеологии.

Шелер оставляет открытым вопрос о конце истории. Философия Шелера толкует человека и его историю как открытых большим возможностям, но и риску; потому что нет никаких гарантий счастливого конца человеческой истории. Также мало она приговорена с самого начала к поражению.

Проблематично у Шелера значение индивидуального в истории. Становление Бога и всечеловека связано с необходимостью возвращать индивидуальность отдельного человека вследствие способности духа человека схватывать ценности только каким-то одним определенным, индивидуальным образом. Индивидуальность — необходимое средство эволюции человека ко всечеловеку, развития способности сознания, схватывания ценностей. Таким образом, Шелер утверждает прикладное значение индивидуальности. Как метко замечает Бердяев, у Шелера, божественное поглощает человеческое и сама «тайна богочеловечности исчезает».

Шелер верил, когда-нибудь человек целиком должен будет уйти в нечто цельное, прекрасное, благородное, т.е. цель обожения человека исполнится, и индивидуальный способ схватывания, индивидуальность как метод обожения прекратится и история исполнится.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Но загадочно у Шелера начало истории. Как утверждает Шелер, дух невыводим из естественной эволюции жизни, экзистенциально не связан с природой, порывом. Поэтому непонятно, каковым могло бы быть его происхождение в человеке. В ранний, неокатолический период Шелер считал, что дух происходит от Бога. «Слово происходит от Бога», и благодаря этому слову содержание божественного духа воплощается в индивидуальное сознание. Но позднему Шелеру человек представляется не как творение бога, а как партнер божества, которое бессильно и нуждается как раз в человеке, чтобы проявиться. Поэтому создать человека оно не могло. Таким образом, отвергая и естественный, и сверхестественный генезис человеческой личности, духа человека Шелер не отвечает сам на этот вопрос и не оставляет возможности ответить на него в рамках своей философии.

2) Мартин Бубер исходит из основного положения диалогического персонализма: принципиального отличия Я-Ты и Я-Оно отношения. В этой связи Бубер выступает против философии истории Гегеля, ее истоков и следующей за ней традицией.

Бубер считает, что история философии Гегеля уничтожает «диалогический» смысл истории, когда он поднимает ход истории к самому Страшному Суду. Потому что тем самым Гегель упраздняет вопрос, который давал преимущественное право человека на особенную ситуацию и одновременно ответ, который человек должен дать на поставленный в этой ситуации вопрос. Тем самым все человеческие решения превращаются в иллюзию.

Однако Бубер хочет смотреть в корень монологического понимания истории Гегеля, для чего возвращается к христианской теологии истории. Потому что основания гегелевской философии заложены в павлианской теологии истории.

Так как Павел нигде не резюмировал свое историческое учение, Бубер реконструирует его из разрозненных высказываний следующим образом. Павел интерпретирует историю как драму, в которой раскрывается predeterminedная Богом, скрытая зонам и поколениям «тайна». В распятом и воскресшем Мессии тайна стала явной и должна быть оглашена народам через апостолов. Эта тайна была особенно сокрыта от тех, кто играл главные роли в драме истории. Потому что если бы эта тайна стала известна главам и князьям этого мира, которых Павел называет «богами этого эона», то они не попали бы в ловушку и не распяли бы Мессию. Распятие Мессии через земные власти и небесных князей (представленных синдарионом и Понтием Пилатом) есть хитрость божественного провидения: силы этого мира помогают вызвать их собственное падение и таким образом, беспорно против их воли, исполняют смысл истории.

Таким образом, исторический процесс Павла «более не заботится о людях и роде человеческом, которых он встречает, но применяет и использует их для высших целей». Человек становится вещью, «оно». В современную эпоху,

Методология и философия истории

замечает Бубер, резюмируя анализ павлианской теологии истории, философ Гегель вырывает павлианское понятие истории из ее укоренения в актуальности веры и пересаживает его в диалектику, в которой Разум с помощью своей хитрости направляет исторический процесс навстречу своему завершению.

Теология истории Павла основывается на апокалиптической вере. Бубер настоятельно подчеркивает различие между апокалиптическим и пророческим опытом истории. Для обоих является общим вера в Господина прошлой, настоящей и будущей истории всего сущего, оба по своей воле дарят своему творению благо. Но то, как эта воля открывает себя настоящему мгновению, в каком отношении к грядущему видится это мгновение, какое участие в этом отношении отводится человеку — в этом пророческая и апокалиптическая модели истории существенно расходятся друг с другом.

В том, что возвещает пророк о намерении Бога, всегда есть альтернатива. Пророческая весть сохраняет, по Буберу, диалогический способ между божественным и человеческим и противостоит всем попыткам закапсулировать тайну истории в догматической манере, как это сделал Павел в своей «святой истории». Для пророков тайна истории покоится во власти человека выбирать между путями. Только существо, имеющее власть выбирать между альтернативами есть собеседник в истории. Будущее не утверждено, так как Бог хочет человека, который может идти к нему в полной свободе, даже из полной потерянности. Человек создан для того, чтобы быть «центром неожиданности» в творении.

Но ни в одном месте апокалиптических текстов Бубер не находит альтернативу действительно открытого опыта истории. «Здесь все предreshено, человеческие решения есть только обман. Будущее не есть нечто, что образуется, оно равно уже есть на небе». Это будущее, так как оно уже наличествует, может быть открыто экстатичному провидцу. Но хотя приверженец апокалиптики «и знает о душевной борьбе человека, но он не придает этой борьбе никакого элементарного значения». Для него нет никакой возможности исторической инициативы, которая может исходить от человека.

Апокалиптики не знает никакого исторического будущего. Настоящий эон спешит навстречу своему концу, и в конце концов собственная и парадоксальная тема всех апокалипсисов есть будущее, которое всегда приходит слишком поздно. Исполнение истории, которое ожидается в апокалиптике, не имеет никакого исторического характера.

Анализ Бубера израильского пророчества и позднеиудейской апокалиптики вызван его протестом против гегелевской истории философии. Сама история философии Гегеля есть функция кризиса. Она приходит как ответ на родовые схватки современного общества. В эпоху Французской революции пробивается новое сознание истории. Гегель же понимает новое сознание истории еще как философию: ход истории как целое может быть только предме-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

том философского сознания, если история не уходит в некое безбрежное будущее. Отсюда Гегель должен был закончить историю с приходом французской революции и наполеоновского королевства (или позднее с прусским государством). Гегелевская история философии была еще философией в классическом смысле.

И марксистская философия истории есть дух от духа апокалиптики. Тень Гегеля нависает, по Буберу, также и над немецким экзистенциализмом. Также как для Гегеля мировая история есть абсолютный процесс, ведущий к самосознанию, так и Хайдеггер считает, что в историческом *Dasein* происходит освещение самого бытия. В обоих случаях речь не идет ни о свободе, ни о диалогическом, «нет места для надисторического, которое рассматривает историю и судит ее».

Философия истории Бубера руководима двумя противоположными мотивами. С одной стороны, Бубер находится в поиске состояний непосредственного харизматического опыта в истории, в котором изначальное состояние общности между людьми становится исторической актуальностью. Эти одухотворенные моменты в истории, в которых человеческая жизнь управляема в непосредственности неотчужденной встречи, служат Буберу образцами человеческой жизни в истории. Измеренная этим масштабом история подлежит осуждению: история человечества представится процессом упадка и отчуждения. Безличные социальные институты превратили личную харизму ранней стадии в рутину. Могущество социальных институтов не оставляет места для личной харизмы и обезличивает силу духа.

Но Бубер не торопится видеть в этом злой рок. Потому что, с другой стороны, Бубер призывает к «реализации» требования духа в конкретной исторической действительности. Поэтому и спрашивается, не должен ли был харизматический опыт раннего — архаического и примитивного — периода общности в ходе истории трансформироваться в социальные институты. Не являются ли именно институты тем, что дает жизни духа связанность поколений.

3) По Тиллиху, только человек как духовное существо имеет историю, хотя квазиистория присуща и другим родам сущего. В жизни высших животных, эволюции видов и развитии астрономической Вселенной нет ни цели, ни свободы. Создающее историю существо обладает свободой, устанавливает цели, обладает языком, универсалиями, художественными и когнитивными возможностями и чувством священного. «Все это делает человека историческим существом тем же образом, каким никакое другое существо в природе историческим не является».

История не есть полностью спонтанное порождение человеческого духа. Человеческая история есть единство объективного и субъективного элементов.

Самотрансцендирование является первым и фундаментальным качеством свободы и истории. Человеку присущ характер направленности и цели, он

Методология и философия истории

свободен настолько, насколько он ставит и преследует цели. Человек трансцендирует наличную ситуацию, оставляя действительное ради возможного. Он не привязан к той ситуации, в которой он находится.

А значит никакая историческая ситуация не детерминирует полностью никакую другую историческую ситуацию. Переход от одной ситуации к другой отчасти определен свободой человека, это самотрансцендирование не абсолютно, а относительно вследствие амбивалентности человеческой свободы, полярности свободы и судьбы. Итак, историческая ситуация испытывает влияние совокупности ситуаций прошлого и настоящего, но тем не менее и в этих условиях самотрансцендирование может создавать нечто качественно новое. Это новое ни с чем не сравнимо, каждое историческое событие является уникальным.

По Тиллиху, любая цель человека — всегда амбивалентна, не способствует росту человеческого в истории. Но наряду с этим Тиллихом признается телос христианства как Царство Божие. Ранний Тиллих грезил возможностью достижения в истории христианского социализма; современная ситуация рассматривается им как встреча мировых религий, которая может иметь и исторические последствия. По его утверждению, современная теология получила животворящие импульсы от экзистенциализма и психоанализа. Само признание в философии Тиллиха смены типов тревог по эпохам (онтическая тревога смерти на закате античной цивилизации, нравственная тревога осуждения на закате средневековья, духовная тревога утраты смысла на закате Нового времени) указывает на определенное движение. А именно по этой причине, поскольку человек признается Тиллихом существом, имеющим отношение к смыслам, а отношение к смыслам есть наибольшее выражение его витальности, тревога утраты смысла (современная тревога) должна быть самая «тревожная». К тому же она определенно вбирает в себя два предыдущих типа тревог (смерти и осуждения), а значит, Тиллих должен был бы признать определенную иерархию тревог и онтологическую эволюцию человечества, преодолевающего в своей истории тревогу небытия.

Но Тиллих не может сделать этого и впадает в противоречия, так как пытается соединить экзистенциализм, с его бытием в мире как универсальной, изначальной основой, хайдеггеровские прозрения бытия, историцизм и протестантскую теологию.

Не стать ближе к Богу без противоречий человек мог бы в концепции Тиллиха только, если бы человек не мыслился отдельно от бытия. Так история человека была бы историей бытия в хайдеггеровском смысле. Но это невозможно, так как Тиллих полагает сущность человека. Либо же следовало бы принять позицию Ты Бога, теологии разговора, «наивного персонализма», по выражению Тиллиха. Это представлялось ему неприемлемым. То есть, либо лишить человека сущности, устранив возможность дистанции от бытия, либо

Фигуры истории, или «общие места» историографии

отделить человека и Бога друг от друга, а встречу их утвердить как трансценденцию, абсолютные, внестепенные Я-Ты отношения. Но так как Бог, по Тиллиху, — сила бытия, а самоутверждение — функция витальности, отношение к смыслу — наибольшее проявление витальности, то, отсюда должно было бы следовать, что в современном мире тревоги, отсутствия смысла наблюдается прогресс человеческого и приближение его к Богу. Кроме того, именно сквозь тревогу утраты смысла, характерную для современности, по Тиллиху, человек встречает Бога над богом теизма.

С другой стороны, Тиллих и не может утвердить возможность этого исторического прогресса, так как иначе тревога отсутствия смысла потеряла бы смысл, серьезность, а значит и сам этот прогресс. И, таким образом, здесь одна часть концепции Тиллиха поглощается другой. Дело обстоит, подобно кантовскому «как если бы», вывернутому наизнанку, плюс экзистенциально переживаемому: если человек Канта живет так, как «если бы» в природе была телеология, то человек Тиллиха так, как «если бы» в его истории не было телеологии. Но это не оправдывает данное противоречие, поскольку ход «если бы» возможен в спекулятивной философии, но не в экзистенциальной.

Следует заметить и имплицитную метафизическую картину человека Тиллиха. Получается, что человек, по Тиллиху, построен согласно известной модели: тело-душа-дух. При этом, по Тиллиху, они неотделимы друг от друга — еще одна аксиома. Соответственно этому делению человека и появляются три типа тревоги: смерти, осуждения, отсутствия смысла. А соответственно этим типам тревоги история делится на три эпохи. В этой связи возникают вопросы, а именно: где основания этого разделения человека на сферы тела, души и духа? Каким образом в истории последовательно отражаются эти сферы человеческой сущности? Почему именно в этой последовательности? Таким образом, Тиллиховская эксплицитная и имплицитная метафизика человека транслируется в его философско-историческую позицию.

А.И. Барина (Санкт-Петербург)

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ Г.В. ПЛЕХАНОВА**

Жизнь и творчество Г.В. Плеханова — выдающегося русского философа-марксиста, революционера и общественного деятеля — совпали с наиболее значительными и драматическими моментами истории России и Европы конца XIX — начала XX века.

Философско-историческая тема разрабатывалась Плехановым в связи с конкретными задачами русского революционного движения. Участие в народнических организациях поставило его перед проблемой приведения в соответствие теории крестьянского социализма и революционной практики: как согласовать задачу достижения социальной справедливости с политической борьбой в условиях современной ему России? В своих ранних работах «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия» Плеханов начинает выстраивать философско-историческую концепцию, опираясь на идеи Маркса как на универсальный научный метод, доказывает возможность их применения в экономически отсталой России.

Основной идеей Плеханова в философии истории становится идея необходимости в истории, проявляющейся через экономику, которая обуславливает остальные стороны общественной жизни. В марксизме он выделил объективную сторону. Категория исторической необходимости, на которую опирался мыслитель, противостоит и субъективному методу в социологии, и пониманию марксизма как экономического материализма, так как вместе с признанием закономерного развития общества в ней подчеркивается роль субъективного фактора в истории. «Материалистический взгляд на человеческую волю прекрасно уживается с самой энергичной деятельностью на практике... Личности благодаря данным особенностям своего характера могут влиять на судьбу общества. Иногда их влияние бывает очень значительно, но... возможность подобного влияния определяется организацией общества»¹. Марксистская диалектика развития производительных сил, последовательной смены социально-экономических формаций стала основой собственной концепции философии истории Плеханова, где важную роль играет момент интеллектуализации, просвещения в социально-историческом процессе; географический фактор, зависимость социума от типа культуры.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Плеханов серьезное внимание уделял рассмотрению предпосылок в истории философии, которые привели к историческому материализму Маркса. Подробно анализируя философию истории Гегеля в работах «Развитие монистического взгляда на историю», «К 60-летию смерти Гегеля» и других, он особенный акцент делает на гегелевском понимании исторического прогресса как развития идеи свободы. В работе «Очерки по истории материализма» подчеркивается, что главное достижение марксистского метода — в открытии основных движущих сил исторического прогресса, возможности подчинить общественное развитие разумным целям. Плеханов делает важное для философского осмысления истории заключение: в историческом процессе развития производительных сил способность человека к изготовлению орудий труда следует рассматривать как величину постоянную, в то время как окружающие внешние условия использования этой способности (то есть природные факторы) — как величину постоянно изменяющуюся. В интерпретации Плеханова история выступает как процесс творческого преобразования мира человеком; в культурной деятельности человека выявляется его общественная природа; через культуру человек приобщается к ее достижениям.

Свое представление о диалектическом развитии общественного человека Плеханов противопоставляет метафизическому понятию «человеческой природы», на которое опирались домарксистские философско-исторические концепции; это ключевой пункт его критики взглядов социалистов-утопистов. Ему же принадлежит глубокий анализ философско-исторических воззрений социалистов-утопистов, а также их влияния на Маркса и Энгельса. В своих произведениях о Чернышевском и о народнических идеологах (Лавров, Бакунин и др.) Плеханов анализирует также специфические черты русского утопического социализма конца XVIII столетия и XIX века. Опираясь на известные положения Маркса, Плеханов отмечает, что социалисты-утописты всецело держались антропологических взглядов французских материалистов. «Точно так же, как материалисты, — пишет Плеханов, — они считали человека плодом окружающей его общественной среды, и точно так же... они попадают в заколдованный круг, объясняя изменчивые свойства среды неизменными свойствами человеческой природы. ...Для социалистов-утопистов критиковать данное общественное учреждение значило оценить его с точки зрения данного взгляда на человеческую природу. Для Маркса и Энгельса критиковать то или иное общественное устройство значило определить исторические условия его возникновения, роста, расцвета и упадка. У них нет абсолютных приговоров»².

Представления Плеханова об общественном человеке как о результате диалектического взаимодействия двух «констант» — статической и динамической, привели к некоторым отличиям его философско-исторических взглядов от тех, которые разрабатывал Маркс. Например, в области эстетики Маркс не противопоставлял индивидуальных вкусов и оценок общественным; он го-

Философия истории в России

ворил, что эстетическая оценка есть лишь особая форма оценки практической. По Плеханову же, индивидуальная эстетическая оценка, строго говоря, есть чисто теоретическая, к которой не должны примешиваться никакие практические соображения: практика — это достояние масс, принадлежащих к определенному классу и озабоченных его судьбой; теория же, то есть свободное, незаинтересованное стремление познать мир через произведение искусства, принадлежит отдельному человеку. Индивидуально-психологический фактор — одна из основных, необходимых составляющих плехановской концепции философии истории.

Согласно Плеханову, развитие общественного человека необходимо включает становление личности со своим собственным духовным миром; субъекта, способного к самооценке и общению с другими; именно духовный мир человека рождает его приоритеты и деятельность. Сознательной целью исторического движения, по мысли Плеханова, должна стать организация общества на основе нравственности и справедливости; при этом он подчеркивает, что развитие общества лишь в конечном счете зависит от экономики и тем самым рассматривает проблему необходимости овладения человеком историей.

Примечания

¹ Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в 5-ти тт. М., 1956. Т. 2. С. 301, 322.

² Там же. Т. 1. С. 535.

Р.Г. Браславский (Санкт-Петербург)

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ХЛЕБНИКОВ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИСТОРИК РОССИИ*

Один из замечательных ученых первых двух десятилетий пореформенной России, юрист, историк и социолог Николай Иванович Хлебников (1840—1880), явно недостаточно представлен в современной историографии общественных наук, в развитие которых он внес свой оригинальный вклад. Главная область его научных исследований может быть определена как историческая социология, которую он разрабатывал в двух направлениях: социальная история России и теория цивилизаций. В данной статье рассматривается первое из указанных направлений в творческом наследии ученого. Итак, кто же такой Хлебников, и каков его вклад в изучение истории России?

Николай Иванович Хлебников родился 5 октября 1840 г. в Ветлужском уезде Костромской губернии в бедной мещанской семье. Первые годы детства проходили то в доме родителей, то в семействе его дяди по матери в Устюге Великом. В восьмилетнем возрасте он окончательно поселился у родителей — в Царевосанчурске, заштатном городке в Вятской губернии. Здесь один из дядей со стороны матери, студент Демидовского лицея в Ярославле, научил его грамоте, и вскоре мальчика отдали в сельскую школу в имении гофмаршала Дурново, неподалеку от Царевосанчурска, а затем перевели в Яранское уездное училище. После того, как его отец, владелец винного откупа, по делам службы переехал в Пензу, вслед за ним и его одиннадцатилетний сын из Яранска был переведен в Пензенское уездное училище, в котором проучился недолго. В 1852 г. в училище с ревизией приехал попечитель Казанского учебного округа Антропов, который остался недоволен ответами Хлебникова на экзамене и настоял на том, чтобы того оставили в том же классе на второй год. Не желая мириться с такой несправедливостью, двенадцатилетний Николай Хлебников бросил училище и последующие четыре года работал подвальным в винных откупах сначала Чембара, а затем Саранска, захолустных уездных городков в Пензенской губернии. В продолжение всего этого времени Хлебников, разливая и отпуская вино, не мог забыть книги и учение, перечитав чуть ли не все, что только можно было найти в скудных местных библиотеках, и беря уроки у местных педагогов. Действовал и пример отца — человека чрезвычайно любознательного, который наизусть декламировал целые страницы из «Исто-

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 04-03-00334а.

Философия истории в России

рии» Карамзина. Одновременно с тягой к знанию и любовью к чтению у подростка развилось глубокое религиозное чувство, внешним проявлением которого было строгое соблюдение постов и усердие в молитве. Когда ему уже исполнилось пятнадцать, Хлебников заявил отцу о своем желании учиться в гимназии и поступать в университет. Иван Петрович Хлебников, несмотря на то, что средства семьи были скудны, не стал препятствовать стремлению сына, и в 1856 г. Николай Хлебников поступил в 4-й класс Пензенской гимназии, куда его за полгода подготовил преподаватель Пензенского Дворянского института Владимир Харлампиевич Хохряков, заметивший исключительные способности и прилежание подростка. На всю жизнь Хлебников сохранил признательность своему учителю, и, став уже сам профессором университета, посвятил ему одну из своих книг. В гимназии Хлебников вплотную столкнулся с ходившими в ее стенах социалистическими идеями, пропагандистом которых, в частности, был его одноклассник Д.В. Каракозов. Самого Хлебникова не захватили социалистические веяния, напротив, вызвали отторжение, и в дальнейшем он остался чужд идеям всеобщего социального равенства и политического радикализма.

Через четыре года Хлебников окончил гимназию с отличием и в 1860 г. поступил на юридический факультет Московского университета, где его любимыми профессорами стали Б.Н. Чичерин и Ф.М. Дмитриев. Испытывая материальные затруднения, Хлебников занимался репетиторством. В это же время к трудностям внешнего существования добавился духовный кризис в форме появившихся религиозных сомнений, вызванных утратой прежнего, в значительной степени наивного, религиозного чувства. Но этот период религиозного скептицизма и даже атеизма, сопровождавшийся увлечением идеями позитивизма и материализма, оказался непродолжительным, и уже к концу обучения в университете в его сознании прочно утвердилось религиозное, христианское мировоззрение, которое он сохранил до конца жизни. В университете еще ярче проявился полемический задор Хлебникова, которым он отличался еще в гимназические годы и печать которого в дальнейшем несут на себе его научные труды. Студентом он вызвал своего профессора Б.Н. Чичерина на публичный диспут, который состоялся, собрав обширную аудиторию.

В 1865 г. Хлебников оканчивает университет кандидатом права, и факультет рекомендует его министру народного просвещения для продолжения образования за границей. По каким-то причинам эта отправка не состоялась, и Хлебников получил место учителя истории в Могилевской гимназии. Так началась его непрерывная педагогическая деятельность, которую он сочетал с интенсивной научной работой. В Могилеве Хлебников подготовил магистерскую диссертацию «О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории» (СПб., 1869), которую защитил в Московском университете в 1869 г. Получив степень магистра, он в том же году занял

Фигуры истории, или «общие места» историографии

кафедру государственного права в Варшавском университете. Здесь, читая, помимо курса государственного права, на первых порах лекции по истории русского права, он вскоре опубликовал свою вторую историческую работу: «Общество и государство в до-монгольский период русской истории» (СПб., 1872), за которую получил в 1872 г. степень доктора государственного права в Киевском университете. Спустя два года в Варшаве вышел еще один обширный труд Хлебникова под заглавием «Право и государство в их обоюдных отношениях. Исследование о происхождении, сущности, основных началах и способах развития цивилизации вообще» (Варшава, 1874). Этот труд был посвящен критике современных общественных теорий XIX в. с позиции собственного социологического учения, концентрированного вокруг понятия «цивилизация». Самый значительный по объему раздел книги был посвящен «критике оснований, обуславливающих возможность социологии», под которой он понимал совокупность реалистических теорий об обществе, классифицируемых на четыре «школы»: натуралистическую, экономическую, позитивистскую и историко-психологическую. Пройдя через период увлечения позитивизмом в 60-е гг., Хлебников сделался его принципиальным противником и критиком в последующее десятилетие. Помимо реалистических теорий им в книге рассматриваются идеалистические учения и «формальные» теории права, или теории формального правового государства, представляющие собой воплощение идей классического либерализма. Также Хлебников в отдельную категорию общественной мысли выделял социалистические теории, но в данном сочинении он не успел проанализировать их, намереваясь сделать это позднее в «особом томе», в который он собирался включить и богословские теории. К сожалению, этим планам не суждено было осуществиться. Реалистическую, идеалистическую, социалистическую и формальную (либеральную) теоретические системы он рассматривал как «вечные формы человеческой мысли», выражающие разные стороны бытия человека, но находящиеся в различном отношении к объективным духовным основам цивилизации. Реалистическая и социалистическая системы находятся «в прямой противоположности к основаниям всякой цивилизации вообще», идеалистическая — «в большем или меньшем согласии» с ними, а формальная относится к ним «индифферентно»¹.

В августе 1877 г. Хлебников становится экстраординарным профессором и заведующим кафедрой энциклопедии и истории философии права университета Св. Владимира. Здесь он читал курс энциклопедии права, о содержании которого можно судить по статьям, сначала по отдельности публиковавшимся в «Киевских университетских известиях», а затем объединенных в один общий том под названием «Исследования и характеристики» (Киев, 1880). Приведем названия этих статей: «Русское государство и развитие русской личности», «Сенсимонизм», «Логические противоречия

Философия истории в России

реализма», «Цивилизация, формы ее происхождения и развития и причины ее падения», «Эволюционизм, или теория естественного преобразования», «О пессимистическом направлении в современной немецкой философии: Шопенгауэр». В серии этих публикаций Хлебников продолжил «критический разбор современных реалистических учений в приложении их к вопросам о государстве, цивилизации, морали, логике, происхождении мира и человека, истории русской жизни»². Каждая статья представляла собой изложение не единичной лекции, а отражала содержание цикла лекций, читаемых Хлебниковым на данную тему в течение целого семестра. Кроме того Хлебников опубликовал несколько рецензий, в том числе на работы Б.Н. Чичерина, Л.И. Мечникова, Е.В. Де-Роберти, и текст публичной лекции в стенах университета на тему «Что такое цивилизация?» (1878). После выхода двух первых работ по истории России научные интересы Хлебникова почти полностью сместились в сторону социологии и философии. Три его работы, написанные в киевский период деятельности, были включены в первую в нашей стране библиографию по социологии, составленную Н.И. Кареевым в 1897 г.³ В Киеве Хлебников принимал участие в деятельности Исторического общества Нестора-летописца.

Умер Николай Иванович Хлебников 14 июня 1880 г., когда ему не было и сорока. По свидетельству его университетского коллеги профессора А.В. Романовича-Славятинского, Хлебников, уже тяжело больной, до самой смерти не прекращал напряженной преподавательской и научной деятельности. Более того, биограф пишет о том, что «в последнее время его жизни им обуяла какая-то мания борьбы и пропаганды. Как бы предчувствуя свою скорую кончину, он отдался лихорадочной литературной деятельности, стоившей ему непосильного труда и надорвавшей его организм»⁴.

Первые научные работы Хлебникова, как об этом можно судить уже из их названий, были посвящены теме взаимоотношения общества и государства в разные периоды истории России. Исследовательская манера, в которой он работал, позволяет охарактеризовать его как социального историка. К нему вполне подходит определение «историк-социолог», которое обычно применяют к таким выдающимся его современникам, как М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, В.О. Ключевский. В творчестве Хлебникова обнаруживается отчетливый разрыв с традиционной историографией, сосредотачивающейся на описании последовательности отдельных событий, и поворот к социальной истории, которая в его трудах предстала как история проблемная, концептуальная, структурная, всеобъемлющая, сравнительная. Политико-событийной истории он, по собственным словам, касался настолько, насколько это было необходимо для понимания «истории законодательства и учреждений»⁵. Изучая историю России, Хлебников ставил своей целью объяснение ее явлений, «понимание законов нашего развития». Известный историк русского дворян-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ства профессор А.В. Романович-Славатинский отмечал склонность Хлебникова к широким обобщениям и синтетическим построениям, делавшую его «более философом, чем историком». На особое место Хлебникова «среди авторов, писавших по философии русской истории» указывал Н.А. Рубакин⁶. Романович-Славатинский оценил исторические труды Хлебникова как «отважную попытку пытливого русского ума» «опередить время, разрешив такие проблемы по истории русской культуры, для которых еще далеко не закончены предварительные исторические работы чисто аналитического характера»⁷. Эта оценка требует уточнений. Во-первых, сам Хлебников выступал за проблемный подход к истории и полагал, что «не следует избегать задачи, которую навязывает время только потому, что нельзя быть уверенным в удовлетворительном исполнении ее»⁸. Он подчеркивал зависимость исторической науки от современности, которая, по его мнению, не только ставит перед историком проблемы, подлежащие исследованию, но и дает ему «факты и принципы», способствующие их решению. Во-вторых, Хлебников не только теоретически переосмысливал исторические данные, собранные другими исследователями, но сам создавал эмпирическую базу для обоснования как собственных, так и заимствованных им у своих предшественников концептуальных построений. Своими эмпирическими исследованиями он положил начало новому направлению в отечественной исторической науке — экономической истории России. Дореволюционный историк Д.А. Корсаков, отмечая именно эту — «эмпирическую» — сторону научного творчества Хлебникова в качестве его заслуги, писал в «Русском биографическом словаре»: «Х[лебников] в числе первых по времени русских исторических писателей представил выводы из монографических трудов русских экономистов и историков русского права по экономическим явлениям в истории России, и, дав несколько обобщений таких явлений, наметил путь для дальнейших трудов в этом направлении. Так, напр[имер], Х[лебников] определяет земельный участок крестьянина XVI и XVII вв., разные размеры деревень, стоимость разных продуктов, размер натуральных повинностей, лежавших на посадских, стоимость вооружения и продовольствия конного ратника и т.п.»⁹. При этом важно подчеркнуть, что получение эмпирических данных Хлебников подчинял главной для него задаче объяснения исторических явлений. Использование количественных данных, характеризующих экономическое положение государства и общества (сословий), позволяло ему, как он полагал, «с математической точностью» определять причины исторических явлений, выявляя их экономическую подоплеку. Так, например, давая объяснение таким явлениям в истории России, как прикрепление крестьян, зависимость аристократии от царской власти, интенсивный процесс превращения крестьян в холопов, Хлебников в первом случае проводит анализ доходов и расходов государства; во втором — описывает «в цифрах» экономику крестьянского хозяйства, определяя размер крестьянско-

Философия истории в России

го участка земли, бюджет крестьянина, стоимость предметов необходимых в крестьянском быту, величину налогового бремени, лежащего на крестьянине; в третьем — вычисляет количество вотчинной и поместной земли с находившимся на ней крестьянским населением, которым располагало служилое сословие. Обилие приводимых количественных данных, полученных в результате анализа источников, такая же характерная черта его исторических трудов, как и содержащиеся в них «широкие синтетические построения». Именно это соединение эмпирического анализа и теоретической интерпретации позволяет охарактеризовать Хлебникова как историка-социолога, или социального историка.

Социологическая интерпретация российской истории Хлебникова складывалась под большим влиянием государственной, или юридической, школы отечественной историографии, виднейшими представителями которой были К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский, В.И. Сергеевич. Историками этой школы была предложена первая социологическая концепция российского исторического процесса. Государственной школе Хлебников был обязан постановкой проблемы соотношения общества и государства как главного предмета исследования, теориями «родового быта» и «закрепощения и раскрепощения сословий государством» — базовыми теоретическими конструкциями, выработанными представителями этой школы для объяснения разных периодов российской истории.

В оппозиции к государственной школе находились историки-славянофилы (Ю.Ф. Самарин, К.С. Аксаков, И.В. Киреевский, И.Д. Беляев, Д.А. Валуйев и др.), которые «истории государства» противопоставляли «историю народа». Хлебников не разделял политического мировоззрения славянофилов и не принимал их философской концепции российской истории. Теорию общины, выдвинутую славянофилами в противовес «родовой теории» государственников для объяснения как раннего периода российской истории, так и ее специфики в целом он находил «очень слабой». Тем не менее, по его мнению, «славянофильской школе русская историческая наука обязана очень многим» и «самое главное — им мы обязаны [тем], что от истории государственной перешли к истории народной»¹⁰. Сам Хлебников не придерживался сформировавшегося в отечественной исторической науке противопоставления двух «историй» — истории государства и истории народа, а стремился к созданию всесторонней и целостной картины жизни российского общества, акцентируя внимание не на противоположности, а на взаимодействии и взаимообусловленности государства и общества в истории России. Он писал: «...я старался указать, какое влияние имели экономические условия и умственно-религиозное направление нашего общества на государственную организацию, и какое влияние эта последняя, в свою очередь, оказывала на экономическое благосостояние и умственное развитие общества»¹¹.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Наряду с упомянутыми отечественными учеными на методологию социально-исторических исследований Хлебникова большое влияние оказали французские историки эпохи Реставрации Ф. Гизо и О. Тьерри, а также Ф. Лоран, О. Конт. Д.А. Корсаков отмечал, что научная концепция русской истории Хлебникова «основана на воззрениях западноевропейских, преимущественно французских политических писателей», идеи которых тот, по его словам, «а priori выставляет исходными точками при своих рассуждениях о явлениях русской истории»¹².

Хлебников от историков государственной школы унаследовал интерес к государственно-правовой теме, но подходил он к ней иначе. «Имея в виду государство и его учреждения, я, однако, — писал он, — стараюсь представить все стороны нашей общественной жизни этого времени, так как государство, в его формах и учреждениях, есть продукт всей экономической, умственной и нравственной жизни эпохи»¹³. На первом плане для него находилось не государство, а общество, под которым он понимал совокупность экономических и культурных фактов, «умственно-религиозный и экономический строй». По сравнению с представителями государственно-юридической школы Хлебников совершил существенный сдвиг от исторической политической социологии в сторону всеобъемлющей социальной истории, поставив перед собой задачу «рассмотреть соответствующее время жизни русского общества сколь возможно многосторонне» и «связать в одно целое все стороны общественной жизни». Он предпринял попытку синтезировать отдельные разновидности структурной истории — государственно-правовую, социально-экономическую, культурно-психологическую — в единую концепцию всеобъемлющей социальной истории.

Характерной особенностью исторических трудов Хлебникова явилось повышенное внимание к «экономическим условиям общества». В то же время он отмечал, что «религиозные понятия и убеждения имеют такое же громадное влияние на государственную организацию, как и экономические условия»¹⁴. При этом у Хлебникова можно встретить утверждения, указывающие на зависимость духовной культуры от экономических условий. «Умственное движение общества идет рядом с его экономическим развитием и даже прямо от него зависит, по крайней мере, столько же, сколько от духовных способностей народа. Наше умственное движение началось единственно в больших торговых городах, которые могло создать тогдашнее экономическое развитие общества»¹⁵. В работе 1874 г. он отрицал существование экономических законов «в смысле законов, независимых в себе и определяющих собой все другое», подчеркивая, что экономические явления, факты приобретения и распределения богатств, «тесно связаны с существом и характером цивилизации обществ», определяющей «ум и совесть, мотивы воли» индивидов, членов данного общества. По его мнению, «экономические законы нельзя отделить от законов,

Философия истории в России

управляющих духовной жизнью данного общества, нельзя их рассматривать как нечто само по себе независимое», более того, «главное условие экономического преуспевания общества лежит в его нравственном развитии»¹⁶. При этом, устанавливая зависимость экономики от культуры, Хлебников, по существу, отрицал обратное влияние экономики на культуру: «развитие мысли в себе, — писал он, — никогда не было подчинено влиянию экономических фактов, мысль никогда не была чем-то прикладным к экономическому порядку, но всегда самостоятельной и независимой силой, развивающейся из себя»¹⁷.

Отличительной чертой исторической методологии Хлебникова было рассмотрение явлений российской истории в широкой сравнительной перспективе. В работе 1869 г. он, прежде всего, сопоставлял политическое, социальное, экономическое и культурное развитие России с «соответственными сторонами европейской жизни», главным образом — Англии и Франции. В работе 1872 г., посвященной до-монгольскому периоду русской истории, Хлебников формулирует общую теорию эволюции родового быта и становления государственности, опираясь на широкий круг этнографических и исторических данных по разным культурам и народам. Необходимость использования сравнительно-исторического метода при изучении отдельно взятой национальной истории в его представлении вытекала из идеи общности исторических судеб народов, т.е. убеждения в том, что «во многих отношениях все народы шли по одному и тому же пути». При этом сравнительное исследование, по его мнению, не должно сосредотачиваться исключительно на общем, повторяющемся, однородном и игнорировать уникальное и особенное в социальном и культурном развитии разных народов. Он подчеркивал, что «очень полезно сравнение тех сторон жизни одного народа, которые, по-видимому, имеют мало сходства с соответствующими сторонами жизни другого народа, потому что исключения и особенности дают иногда возможность лучше понять общие законы»¹⁸.

Происхождение крепостного права — центральная проблема первой исторической монографии Хлебникова «О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории». Хронологические рамки «царского периода» охватывают время с 1547 по 1721 г., когда государи Московские и всея Руси носили царский титул, от Иоанна IV до Петра I включительно. Правда, в своей монографии Хлебников успел рассмотреть лишь первую часть этого периода — с 1547 по 1676 г., т.е. до смерти царя Алексея Михайловича. В рамках этого более узкого исторического отрезка он намечает три этапа: 1) царствование Ивана IV (1547—1584), «время политического и умственно-религиозного брожения»; 2) Смутное время (1584—1613), «время борьбы за крепостное право»; 3) царствование двух первых царей из рода Романовых — Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича (1613—1676), «время политической и религиозной реакции». В разделах книги, посвященных первому и третьему указанным периодам, Хлебников рассматривает ряд тем: царская

Фигуры истории, или «общие места» историографии

власть, служилый класс, крестьяне, города, областные учреждения, отношения церкви к обществу и государству, умственно-религиозное движение. Центральное место в работе занимает анализ экономического и юридического положения сословий, их стратификации и отношения к царской власти. Обращает внимание Хлебников и на культурно-бытовую сторону истории сословий. По его словам, «только частная жизнь, домашняя обстановка, общественные нравы и интересы в состоянии облечь плотью и кровью наши общие представления» о сословиях, полученные в результате изучения их политического и экономического положения¹⁹.

«Царский период» интересовал Хлебникова, прежде всего, как время возникновения крепостного права, как эпоха, «в которую русское общество со знало себя несостоятельным для образования свободного государства и одно за другим закрепляло все общественные классы, начиная от служилого сословия и кончая городским классом»²⁰. Он отмечал, что изучение этого периода русской истории «не могло быть столь плодотворным до тех пор, пока освобождение крестьян и все другие, непосредственно связанные с ним реформы не облили ярким светом наше прошлое и не поставили историка настоящего времени на такую высоту, с которой он спокойно может взирать на это прошлое»²¹. В реформах 1860-х годов Хлебников видел логическое завершение многовекового цикла в социальной истории России, который дореволюционные историки описывали как процесс «закрепощения и последующего закрепощения сословий государством».

Рассматривая крепостное право как институт, созданный деятельностью государства, Хлебников, прежде всего, указывает на причины, которые привели к возвышению царской власти и сделали самодержавие необходимым. По его словам, «все обстоятельства нашей истории благоприятствовали образованию сильной монархической власти»²². В числе этих причин он называет:

- 1) потребность общества в сильной центральной власти вследствие неблагоприятного геополитического положения страны;
- 2) неспособность северных городских республик выполнить задачу политического объединения страны;
- 3) отсутствие независимой и могущественной аристократии;
- 4) общественная рознь, противоположность интересов и борьба основных социальных групп, классов русского общества.

Ведущую роль в возрастании силы царской власти Хлебников отводил внешнеполитическому фактору. «Созданная борьбой с татарами, самодержавная власть Московского государя не уменьшалась, но увеличивалась, потому что политическое положение наше в это время было таково, что Московское государство было похоже, скорее, на военный лагерь, чем на мирное общество людей, соединенных во имя гражданского преуспеяния»²³. В Западной Европе отсутствие внешней опасности обусловило падение королевской вла-

Философия истории в России

сти и рост силы феодальных баронов. «Главная причина слабости королевской власти, давшей усилиться феодализму, заключается, по моему мнению, — писал Хлебников, — в том, что европейские народы были безопасны от нового нашествия. В силу этой безопасности общественное мнение не вызывало укрепления центральной власти. Границ не нужно было охранять, опасность грозила только от покоренного населения, а потому король должен был усиливать власть графов как центров военной силы на случай [народного] возмущения. При отсутствии национальных войн графы могли постоянно жить в своих провинциях, вследствие чего, естественно, сила их увеличилась, тогда как, от бездействия, королевская власть слабела и народ забывал о ее существовании»²⁴.

В России в отличие от Западной Европы могущественная и независимая аристократия не образовалась. В древнейшем периоде русской истории, до Ивана III, это не могло произойти по причинам, указанным С.М. Соловьевым. Причины эти заключались, во-первых, в том, что дружина, вследствие удельной системы, сохранила подвижный характер, переходя вместе со своим князем из одного удела в другой; во-вторых, в том, что при огромном количестве земель и малочисленности населения земля «практически не имела цены». Но со времени Ивана III, отмечает Хлебников, обстоятельства совершенно изменились: во-первых, Москва, присоединив к своей территории большинство владений удельных князей, образовала тем самым около трона много фамилий, которые имели наследственные земли; во-вторых, сам царь начал раздавать земли в поместья и образовал огромное количество поземельных владельцев; наконец, в-третьих, в конце XVI в. произошло прикрепление крестьян, и, следовательно, был готов последний элемент, необходимый для образования независимой аристократии. Объяснение того, почему все-таки из всех этих предпосылок не выработалась независимая аристократия, по мнению Хлебникова, заключаются: 1) в военно-политических обстоятельствах, сделавших двор Московского государя центром национальной жизни, а аристократию — военно-придворным сословием; 2) в бедственном экономическом положении аристократии; 3) во враждебном отношении к ней детей боярских, низшего служилого класса.

Хлебников обратил внимание на особенности возникновения крепостного права в России по сравнению с западноевропейскими странами. Одна из них состояла в его относительно позднем появлении. «Изучая нашу древнюю историю, — писал он, — я удивлялся не тому, что у нас явилось крепостное право, но тому, что оно образовалось так поздно»²⁵. Главной причиной отсутствия крепостного права в древнейшем периоде русской истории он считал удельную систему. Раздробление Руси на маленькие независимые области исключало возможность всеобщего и одновременного прикрепления крестьян, тогда как установление крепостного права в отдельных княжествах, случись оно, повело бы за собою их обезлюдение, поскольку соседи воспользова-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

лись бы этим, чтобы сманить прикрепленных крестьян на свои земли. «Земли было много, а работников мало, а потому все удельные князья не только не старались закрепить крестьян, но каждый наперерыв старался давать льготы крестьянам, переманенным из чужих уделов»²⁶.

Другой особенностью российской истории было закрепление сословий возвышающейся монархической властью. В Западной Европе крепостное право развивалось параллельно с развитием феодализма, но «как только королевская власть стала крепнуть, она тотчас же начинает освобождать рабов и крепостных»²⁷. Данную специфику социального развития России Хлебников объяснял ее экономическим и культурным запаздыванием, по сравнению с западноевропейскими странами, а также неблагоприятной для нее внешнеполитической ситуацией.

Главной причиной возникновения и широкого распространения крепостного права в России он считал низкий уровень ее экономического развития. Древняя Русь, писал он в одной из своих более поздних работ, «шла постепенно к закреплению сословий по причине экономической бедности»²⁸. Наличие постоянной внешней угрозы и экспансионистская политика русских царей, стремившихся к объединению всех русских земель, требовали большого и хорошо организованного войска, которое «при нашей тогдашней экономической бедности могло быть образовано только при помощи поместной системы». «Государство было экономически так страшно бедно, не развито, что нечего было и думать оплачивать деньгами услуги войска и администрации»²⁹. Но громадность земель и малочисленность населения делали ценностью земель ничтожной без прикрепления к ней работника. Для того чтобы «с математической точностью» указать причины прикрепления крестьян и необходимость поместной системы для материального обеспечения военно-служилого сословия, Хлебников предпринял анализ государственного бюджета во время царствования Алексея Михайловича. В результате проведенных расчетов Хлебников констатировал: «Прибегая к поместной системе и крепостному праву, правительство не только сберегало почти половину государственных доходов, но оно легко оплачивало поместьями содержание всей администрации и начальных людей в войске. Таким образом, эти данные снова подтверждают нам, что поместная система и крепостное право были государственной необходимостью»³⁰.

В Западной Европе, отмечал Хлебников, уже в XIV в. «развитие городов, промышленности и торговли дали возможность европейским государям перевести вознаграждение лицам, служащим государству, из поместного в денежное»³¹. Норберт Элиас, исследовавший механизмы формирования абсолютного государства в западноевропейских странах, решающей предпосылкой того, что институт королевской или княжеской власти постепенно приобрел характер власти абсолютной и неограниченной, считал рост денежного секто-

Философия истории в России

ра экономики за счет натурального³². В России процесс усиления центральной власти и возникновения централизованного государства не имел подобных экономических предпосылок. Развитие городов в России не было таким быстрым, как в Западной Европе. В истории России вследствие геополитических условий города в своем подавляющем большинстве долгое время сохраняли «исключительно военный характер». Только немногие города имели значение промышленных и торговых центров, в первую очередь, это Новгород и Псков, которые в силу своего географического положения являлись главными рынками обмена «сырых» отечественных продуктов на «выработанные» заграничные товары для служилого сословия. «Отсутствие обрабатывающей промышленности, бедность крестьянского сословия, наконец, невыгодные политико-экономические условия сделали наши города только местом обоюдного обмена простейших продуктов крестьянского хозяйства», для чего «также хорошо могли служить села» и «даже лучше удовлетворяли этой цели, потому что они ближе стояли к деревням»³³.

В числе других причин возникновения крепостного права Хлебников называл необходимость заставить трудиться бродячее население и облегчить контроль за сбором налогов и выполнением повинностей. «Переход крестьян делал необыкновенно трудным собирание налогов, потому что никакие писцы не могли бы уследить за постоянным изменением населения. Для того чтобы подати не пропадали, государство должно было наложить еще лишнюю тягость на землевладельца, заставляя его платить и за перешедших крестьян до новых писцов. Такая мера была просто невозможностью в некоторых случаях, когда, например, почти все крестьяне оставляли сына боярского, что не было редкостью»³⁴. Возникновению и распространению крепостного права способствовал также особый культурно-психологический склад «естественного» человека, восприятие труда как «Божьего наказания». «Характер людей первобытного состояния почти всюду одинаков: лень, непредусмотрительность будущего и отсутствие умения делать сбережения, а, следовательно, отсутствие возможности накопить богатство, вот общая характеристика народов, еще не вступивших в цивилизацию»; поэтому, «можно думать, что в некоторые эпохи эта тяжелая опека, которая называется крепостным правом, решительно необходима для того, чтобы приучить народ к труду и образовать богатое и образованное сословие, которое так необходимо для государства»³⁵.

Хлебников отмечал также внутривластные причины закрепощения крестьянства царской властью, заключавшиеся в том, что она тем самым «приобретала себе расположение всех мелких поземельных собственников, дворян и детей боярских».

В следующей своей крупной монографической работе историк вместо продолжения исследования второй части царского периода обратился к изучению предшествующих ему княжеского и первобытного периодов российской

Фигуры истории, или «общие места» историографии

истории, объясняя это изменение своих планов тем, что «пришел к убеждению, что нельзя говорить вполне понятно о новой России, не представив своего взгляда на древнюю»³⁶. С одной стороны, такой подход соответствовал взглядам историков государственной школы на историю России как единый последовательно развивающийся процесс и обращавшим в связи с этим особое внимание на первоначальную форму русского общественного быта. С другой стороны, в обращении Хлебникова к первичным общественным формам, широком привлечении им этнографического материала, использовании методов сравнительного исследования сказалось влияние позитивистской социологии. В частности, необходимость применения сравнительного и исторического методов в социологии обосновывал О. Конт, «Курс позитивной философии» которого Хлебников указал в библиографическом разделе своей книги. Социологическая ориентация исторического исследования Хлебникова отчетливо проявилась в его стремлении разработать на основании сравнительного анализа общую теорию социально-экономического и политического развития первобытного общества и приложить ее к объяснению конкретного исторического процесса. Методологическая концепция Хлебникова была ближе к программе генетической социологии М.М. Ковалевского, предполагавшей широкое использование сравнительно-исторического метода, чем к проекту исторической социологии В.О. Ключевского, который выступал за «монографическое» изучение местной истории, истории отдельного народа. В то же время, согласно Хлебникову, историческое исследование не ограничивается установлением общих законов исторического процесса, а предполагает выявление его локальной культурно детерминированной специфики. В связи с этим он пишет о том, что хотя все народы в своей истории проходят через форму родового быта, «особенное значение родового быта нужно изучать отдельно у каждого народа»³⁷. «Как ни проста по своей идее форма родового быта, но совершенно ошибочно думать, что она однообразна у всех народов; нет сомнения, что внешне-родовые формы у всех народов имеют много сходства, но эти формы не уничтожают индивидуальных особенностей характера народов, а следовательно, под видимым однообразием форм скрывается большое разнообразие в отношении разных народов к этим формам. Это разнообразие обнаруживается всего яснее в том, что народы оставляют из этих форм в дальнейшей своей жизни, когда самые формы в естественной простоте падают»³⁸. Например, русский народ, отмечал Хлебников, взял из родового быта «типические понятия отношений между властвующими и подвластными как между отцом и детьми», что предопределило патриархальный характер русской государственности.

Во второй работе Хлебникова в центре внимания оказываются те же группы явлений, что и раньше, это общественные классы (сословия) и их отношение к центральной власти; государственное устройство и управление; право,

Философия истории в России

суд и законодательство; церковь и ее отношение к обществу и государству; умственное движение. Становление государственности, частной собственности и сословий в истории России — ее главная проблема. Общую концептуальную основу исследования составила теория родового быта, впервые выдвинутая И.Ф.Г. Эверсом для объяснения ранних форм общественных отношений в русской истории, эволюция которых трактовалась им по схеме «семья — род — племя — государство». Позднее эта схема была усвоена историками государственной школы (С.М. Соловьевым, К.Д. Кавелиным). Хлебников предпринял попытку усовершенствовать родовую теорию, введя в нее понятие искусственного рода, или колена, как «естественной переходной ступени между естественным родом и общиной»³⁹.

Сегментарная структура племенной организаций в своем развитии проходит последовательно через формы семьи, рода и колена и сменяется сословной организацией общества. Хлебников выделил три типа политической организации первобытного общества: 1) естественно-родовое государство, соответствующее родоплеменному быту; 2) искусственно-родовое государство, связанное с колленно-племенным устройством; 3) раннее сословное государство, составными частями которого являются «общественные элементы в форме слабо организованных сословий». Тип политического устройства общества он ставил в зависимость от доминирующей формы хозяйственной деятельности людей — охоты, скотоводства или земледелия. Охотничьи племена, состоящие из семей и отдельных охотников, не имеют постоянной центральной власти, в них существует лишь временная власть вождя, связанная с необходимостью проведения каких-либо, как правило, военных, предприятий, но «кончается предприятие, кончается и власть вождя». Впервые в истории человечества устойчивая политическая организация возникает на стадии скотоводства, когда возникают естественные роды, во главе каждого из которых стоит патриарх-родоначальник. Естественно-родовое государство возникает, когда во главе племени становится князь, избираемый родовыми старшинами. С переходом к земледелию естественные роды разрастаются в колена, каждое из которых управляется старейшиной выборным из какой-либо пользующейся общим уважением фамилии, при этом, что важнейшие дела колена решаются на общем собрании. Особая организация колена не исключала ни общей племенной, ни чисто родовой организации. Во главе центральной организации племени стоял князь с военной, судебной и отчасти административной властью, а роды по-прежнему управлялись родовыми старшинами. Государство этого периода Хлебников называет «искусственно-родовым государством». Следующий этап социально-политического развития первобытного земледельческого общества связан с формированием раннесословного государства. Организация центральной власти в таком государстве может быть самой различной: верховная власть

Фигуры истории, или «общие места» историографии

может принадлежать князю, аристократии или народу. Коленное устройство преобразуется в административные округа или вотчины аристократов. От современных государств первобытное сословное государство отличается сравнительно небольшими размерами территории и населения. Оно может быть образовано двумя способами: либо в результате внутреннего развития, естественного разложения искусственно-родового быта; либо вследствие завоевания и подчинения одним племенем других. В.О. Ключевский в этой связи писал о двояком — политическом и экономическом — происхождении сословий.

В объяснении процесса внутреннего разложения родового быта и возникновения раннесословного государства Хлебников основное внимание уделял эволюции отношений поземельной собственности. В первобытном роде земля считалась общей собственностью. При искусственно-родовом устройстве идея верховной принадлежности земли колену играет в большей степени фиктивную, чем действительную роль, и нисколько не мешает естественным родам и семьям фактически владеть и передавать по наследству обработанные ими земельные участки. Однако эту форму мелкой посемейной собственности удается удержать немногим племенам. Как правило, в границах прежнего искусственного рода образуется несколько больших поземельных собственников, тогда как масса прежде свободных членов рода делается полукрепостными работниками на их землях. Причина этого факта, по Хлебникову, заключается в том, что одна или несколько фамилий, управляющие делами рода, используют свою власть старейшин и родовую казну для собственного обогащения. Одновременно с этим на развалинах искусственного рода, когда он распадается на сотни, образуется множество мелких землевладельцев, и сотня делается настоящей общиной, состоящей из людей равного состояния. Но все естественные роды и семьи прежнего колена не могут сделаться такими землевладельцами небольших участков. Рост населения ведет к раздроблению мелких поземельных участков до такой степени, что они уже не могут прокормить своих собственников, которые становятся вынужденными продавать свои участки и переходить в работники к богатым землевладельцам. «Таким образом, — заключает Хлебников, — всякое первобытное общество, выходя из родового быта, распадается на три главных класса: крупных землевладельцев, мелких землевладельцев и беспомощных людей — полукрепостных и рабов»⁴⁰. Эта схема внутреннего разложения родового быта была приложена им к начальному периоду истории России. В «до-монгольской части» княжеского периода Хлебников выделяет три этапа: 1) период внешнего или механического соединения племен в одно государство (862—1055); 2) период господства патриархальных идей и отношений (1055—1155); 3) период политической дезорганизации и нравственного упадка общества (1155—1237).

Философия истории в России

При объяснении возникновения раннесословного государства в русской истории Хлебников использовал эндогенную модель развития, указывая, что в России результаты варяжского (норманнского) завоевания были вовсе не те, что в Западной Европе: там «завоеватели успели поработить побежденных; у нас они ограничились сбором дани». Варяжские дружины были слишком малы, чтобы покорить большое, притом непривычное к земледелию и оседлости народонаселение разбросанное по обширной, почти необитаемой стране. В русской истории возникновение классового общества, раннесословного государства Хлебников относит ко времени Ярослава I, когда общество уже распалось на три основных класса: бояр, свободных людей и рабов (смердов). Он указывал на «чисто экономические факты», в частности, «страшную дороговизну продуктов в отношении ценности человеческого труда» и «чрезмерные проценты», как главные причины широкого распространения рабства, как в русской, так и в западноевропейской истории.

В своей третьей исторической работе «Русское государство и развитие русской личности» Хлебников рассмотрел княжеский, царский и императорский периоды истории России. Преобразования Петра I, положившие начало новой России, Хлебников оценивал как всемирно-историческое событие, введенное в политическую жизнь Европы новый народ. «Петровская реформа не навязывала определенной системы нравов и обычаев, а только уничтожала стеснения для естественного развития нравов и обычаев, свободно развивающегося народа. Допетровская Русь вовсе не была страной, в которой бы существовал простор для свободного национального развития... потому что освященные форм жизни уничтожало возможность прогресса»⁴¹. Православие в Древней Руси приняло чуждый христианству тип национальной религии, тогда как в Западной Европе народные обычаи и нравы никогда не принимали характер религиозного догмата. «Католицизм, на котором воспитывалась Европа, был всеобщим явлением, мирившимся с разнообразными нравами и обычаями разных народов»⁴². Сущность петровской реформы, по его мнению, заключалась как раз в том, что она «сбросила путы, мешавшие национальному развитию» и «прочно установила одно начало, неизвестное старой Руси: это начало — прогресс»⁴³. Доказывая, что преобразования Петра I не толкали «наш народ на другой путь духовного творчества, чем тот, который он до того времени преследовал», Хлебников указывал на существование, начиная с XIV в., движений русских религиозных рационалистов. Петр I, по его словам, был «истинно русским в своих реформах, как русскими были и его предшественники рационалисты»⁴⁴. Хлебников подчеркивал религиозный характер преобразований Петра I.

Своеобразие и целостность духовной жизни общества в ту или иную историческую эпоху Хлебников фиксировал в форме определенного нравственного общественного идеала. «Всякий век, — писал он, — имеет свои идеалы и

Фигуры истории, или «общие места» историографии

своих героев, которые в своей жизни более или менее стараются воплотить в действительность эти идеалы. Изучая эти идеалы века, мы погружаемся, так сказать, в духовную лабораторию этого общества, произведшего идеалы, потому что эти идеалы есть чистейшие идеи, до которых был в состоянии доработаться век»⁴⁵. На начальном этапе русской истории, по его мнению, господствовали, во-первых, древний патриархальный, родовой идеал с характерным для него культом старшинства и обычая, во-вторых, церковный аскетический идеал, борющийся с «грубой чувственностью варварского общества», «славянским языческим эпикуреизмом». Оба этих идеала, по мнению Хлебникова, слабо регулировали реальные жизненные отношения. В Западной Европе в это время наряду с церковными идеалами, близкими к тем, которые были в России, сложился гражданский идеал. С XIV в. начинается движение религиозных рационалистов, протестующих против обрядового понимания религии. В XVII в. этот религиозный рационализм, начатый стригольниками, развивается до радикальных форм религиозного протестантизма. Церковная реформа Никона разделила русское общество на два лагеря: приверженцев старинного формализма и последователей церковной реформы. Петровская реформа открыто и окончательно сбросила монастырский, аскетический идеал. «Собственно деятельная культурная жизнь русского человека начинается с царствования Елизаветы» и в своем развитии походит через шесть «фазисов», представленных риторическим (Ломоносов, Херасков, Озеров, Державин), сентиментальным (Карамзин, Жуковский), эстетическим (Пушкин, Батюшков, Щербина, Майков, Полежаев, Мей, Лермонтов, Полонский, Фет, Тютчев), западничеством, славянофильским и реалистическим (позитивизм и социализм) нравственными идеалами. В целом Хлебников отмечал, что славянофилы правильно указали на «противоречие между формами нашей общественной и политической жизни и нашей внутренней, культурной жизнью», хотя он и не был согласен с ними в вопросе о содержании и способах преодоления этого противоречия.

Реформы Александра II, освободив крестьян, завершили программу сословной монархии Екатерины II и положили начало новой великой фазе русского национального развития, заключающейся в уравнении сословных прав. После уничтожения сословного элемента в земских учреждениях и судебной системе и установления всеобщей воинской обязанности для полного упразднения сословной организации общества, писал Хлебников, недостает введения общего государственного налога и отмены податных привилегий потомственного и личного дворянства. Наконец, прочное политическое развитие, по его мнению, невозможно без расширения религиозной свободы. В своих как конкретно-исторических, так и теоретико-социологических трудах Хлебников выступал как сторонник движения России по пути построения национального и правового государства.

Примечания

¹ Хлебников Н.И. Право и государство в их обоюдных отношениях. Варшава: Тип. Варшавск. жандарм. окр., 1874. С. 59.

² Хлебников Н.И. Исследования и характеристики. Киев: Унив. тип., 1879.

³ Кареев Н.И. Введение в изучение социологии. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1897.

⁴ Романович-Славатинский А.В. Хлебников Николай Иванович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834–1884). Киев: Тип. Киевского университета, 1884. С. 688.

⁵ Хлебников Н.И. О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории. СПб.: Тип. А.М. Котомина, 1869. С. 184–185.

⁶ Рубакин Н.А. Философия русской истории // Среди книг. М.: Наука, 1912. Т. 2. Ч. 2. С. 219.

⁷ Романович-Славатинский А.В. Хлебников Николай Иванович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834–1884). Киев: Тип. Киевского университета, 1884. С. 686.

⁸ Хлебников Н.И. О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории. С. VI.

⁹ Корсаков Д.А. Хлебников Николай Иванович // Русский биографический словарь. Т. XXI. СПб., 1901. С. 345.

¹⁰ Хлебников Н.И. Общество и государство в до-монгольский период русской истории. СПб.: Тип. А.М. Котомина, 1872. С. 291.

¹¹ Хлебников Н.И. О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории. С. VII.

¹² Корсаков Д.А. Хлебников Николай Иванович // Русский биографический словарь. Т. XXI. СПб., 1901. С. 345.

¹³ Хлебников Н.И. Общество и государство в до-монгольский период русской истории.

¹⁴ Хлебников Н.И. О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории. С. 110.

¹⁵ Там же. С. 137.

¹⁶ Хлебников Н.И. Право и государство в их обоюдных отношениях.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Хлебников Н.И. О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории. С. VII.

¹⁹ Там же. С. 37.

²⁰ Там же. С. V–VI.

²¹ Там же. С. V.

²² Там же. С. 38.

²³ Там же. С. 4–5.

²⁴ Там же. С. 7.

²⁵ Там же. С. 46.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

²⁸ Хлебников Н.И. Русское государство и развитие русской личности / Исследования и характеристики. С. 52.

²⁹ Хлебников Н.И. О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории. С. 189.

³⁰ Там же. С. 375.

³¹ Там же. С. 190.

³² Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Том 2. М., СПб.: Университетская книга, 2001. С. 13.

³³ Хлебников Н.И. О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории. С. 70.

³⁴ Там же. С. 189.

³⁵ Там же. С. 190.

³⁶ Хлебников Н.И. Общество и государство в до-монгольский период русской истории.

³⁷ Там же. С. II.

³⁸ Там же.

³⁹ Там же. С. 33.

⁴⁰ Там же. С. 104.

⁴¹ Хлебников Н.И. Русское государство и развитие русской личности. С. 44.

⁴² Там же.

⁴³ Там же. С. 46.

⁴⁴ Там же. С. 44.

⁴⁵ Хлебников Н.И. О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории. С. 434.

Д.А. Давыдов (Нижний Новгород)

ТЕМА БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ИДЕЯХ Вл. СОЛОВЬЕВА И Н. БЕРДЯЕВА

Понятие Богочеловечества родилось в лоне русской религиозной философии, аккумулировав в себе комплекс антропологических, этических, историко-софских и социальных проблем. Родоначальником учения о Богочеловечестве стал Вл. Соловьев, впервые обнародовавший его в своих «Чтениях о Богочеловечестве». По свидетельству Е.Н. Трубецкого, здесь сплетаются все нити мысли Соловьева: «Она составляет центр всего его учения — философского, религиозного, основное содержание его проповеди, всего того, что он учил о жизненном пути человека и человечества».¹

Культурно-религиозные истоки Учения о богочеловечестве можно найти во времена Вселенских соборов. Одним из формальных предлогов разделивших христианство на Западное и Восточное послужило добавление к христианскому символу веры, сделанное на Толедском церковном соборе в 589 г., известное нам как филиокве (в перев. с греч. — «и от Сыны»). Согласно этому добавлению, Святой дух исходит не только от Бога — Отца, но и от Бога — Сына. Православие это добавление не признало, оставаясь верным догмату нисхождения Св. Духа только от Бога — Отца. В результате получилось так, что в католическом понимании Троицы подчеркивается божественность Христа, а в православной версии Христос оказывается ближе к людям, чем в католицизме.

В период Возрождения, по мнению Л. Карсавина, открытое возвышение и утверждение человека сочетается с потенциально заложенным в нем его понижением и разрушением.²

Эпоха просвещения пошла еще дальше, объявив религию плодом невежества, подготовив почву для доминирования атеистических умонастроений в интеллектуальных кругах европейских стран. В XIX в. «Бог умер» — обозначил эту ситуацию Ницше. «Кульм человека, оторванный от Бога и направленный против Бога, есть не половина богочеловечества, а религия противоположная христианству»³.

Но подобное отбрасывание религии и Бога, по логике Русской религиозной философии, не осталось безнаказанным. Бездумное вмешательство человека, возмнившего себя всемогущим творцом, в природные, социальные и культурные процессы обернулось страшными представлениями: разрушительными мировыми войнами, экологическим кризисом, поставившим человечество на грань уничтожения. Смысл учения о Богочеловечестве в этой связи состоит в том, чтобы преодолеть негативные тенденции, заложенные в

Фигуры истории, или «общие места» историографии

идеологии гуманизма, удержав при этом ее положительное значение. «Идея Богочеловечества означает преодоление самодостаточности человека в гуманизме и вместе с тем утверждение активности человека, высшего его достоинства, божественного в человеке»⁴, — писал Бердяев. Эту Идею следует воспринимать как попытку привить человеку и человечеству дух христианской свободы — активного преодоления границ падшего естества.

Владимир Соловьев и его последователи развивают религиозно ориентированную антропологию, потому что «понять человека можно лишь в его отношении к Богу. Нельзя понять человека из того, что ниже его, понять его можно лишь из того, что выше его»⁵.

В связи с этим можно выделить следующие ключевые идеи учения о Богочеловечестве:

Человек только тогда есть высшая ценность, когда есть Бог. Если нет Бога, то нет человеческой свободы и бессмертия. Следовательно, сами законы безбожного бытия опровергают абсолютную ценность каждой человеческой жизни, каждой личности, провоцируя людей на своеволие и произвол.

Стержень учения о Богочеловечестве составляет мысль о соизмеримости Бога и человека: в человеке есть божественное, в Боге — человеческое, как человек нуждается в Боге, так и Бог — в человеке, ибо Бог есть Любовь.

Высшее предназначение человека заключается в том, чтобы не просто приблизиться к Богу, живя по Его заветам, но и уподобиться ему, т.е. обожиться. «Человек не только имеет ту же внутреннюю сущность жизни — всеединство, — которую имеет и Бог, но он свободен восхотеть иметь ее как Бог, т.е. может от себя восхотеть быть как Бог»⁶ — писал Вл. Соловьев. Однако человек может обожиться не посредством самообожания и самообожествления. «Человек должен стать Богом и обожиться, но он может это сделать лишь через Богочеловека и в Богочеловечестве», писал Н.А. Бердяев⁷.

Понимание христианства как религии Богочеловечества в корне меняет характер отношений между Богом и человеком. Для Вл. Соловьева и его последователей, свойственно преодоление судебного понимания отношений между Богом и человеком, сложившееся в рамках католической и протестантской теологии. Идея Богочеловечества противоположна идее человекобожества, но она не отрицает гуманизм, напротив, вся конкретность, разнообразие, индивидуальность человеческого мира и человеческого творчества, это кажется, самое важное проявление божественности. Правда Бога должна быть дополнена свободой человека. Без свободы правда — мертвая схема, так же, как свобода без правды — это ограниченное и бессильное своеволие.

Центральной фигурой учения о Богочеловечестве является Иисус Христос. Богочеловечество строится на основе внутреннего принятия Христа, когда «человек, осознав неистинность плотской, материальной жизни, ощущает в источник другой истинной жизни (независимой ни от плоти, ни от ума чело-

Философия истории в России

веческого). <...> Такое принятие Христовой истины и образует духовного человека»⁸. Вступая на этот путь, человек имеет Христа, как цель и образец сочетания трех начал — божеского, человеческого и природного во всеединой духовной сущности.

Обожение не есть дело сугубо индивидуальное. Это задача соборного свойства, выходящая за пределы индивидуальной судьбы в общество и историю. Антропология и этика в учении о Богочеловечестве неотрывны от религиозно-философского осмысления истории. Богочеловечество есть, по сути дела, церковь, рассмотренная под углом зрения ее исторического развития в историко-софском русле, поскольку оно наполнено вопросами о смысле исторических событий, истории России и человечества в целом и имеет ярко выраженную эсхатологическую окраску. Конечная цель и смысл человеческой истории полагаются здесь как окончательное слияние человечества и Бога в один Богочеловеческий организм. История есть движение навстречу друг другу Бога и человечества в точке их встречи заканчивается и знаменует выход обожествленного человечества в метаисторию — вот важнейший динамический компонент учения Соловьева. История только тогда имеет смысл, когда она имеет конец.

Ранний Соловьев долгое время полагал, что история завершится установлением Царства Божьего на земле. Для него характерны были хилиастические и эволюционистские представления о Царстве Божиим и его наступлении. Однако к концу жизни Вл. Соловьев мыслит конец истории уже катастрофически и пессимистически (что нашло свое выражение в «Краткой повести об Антихристе»).

В учении о Богочеловечестве преображенный человек и человечество не только утверждают себя как деятельные устроители земного и небесного бытия, но и определяются как центральное звено всего мироздания. Человек это посредник между Богом и природой, через него и в нем самом они соединяются друг с другом.

Примечания

¹ Трубецкой Е.Н. Мирозерцание Вл. Соловьева. М., 1994. Т. 1. С. 316.

² Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея. СПб., 1994. С. 54.

³ Бердяев Н.А. Основная идея Вл. Соловьева // <http://orel.rsl.ru/nettext/russian/berdyaev/soloviev2.html>

⁴ Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1991. С. 197.

⁵ Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993. С. 55.

⁶ Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1989. С. 140.

⁷ Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. С. 128.

⁸ Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1989. С. 162.

И.Д. Осипов (Санкт-Петербург)

**ИСТОРИОЛОГИЯ ЗАПАДНИЧЕСТВА:
Т.Н. Грановский***

Важное место в развитии исторической науки занимает западничество. Термин «западничество» впервые был использован Гоголем в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Все эти славянисты и европейцы, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники ...все они говорят о двух сторонах одного и того же предмета», — писал он¹. В широком значении западничество проявилось в просвещенном патриотизме — в стремлении к совершенствованию русского быта, культуры и политического устройства на основе использования западноевропейского опыта. В узком же смысле западничество связано с общественной мыслью первой половины XIX века и борьбой с крепостничеством, оно являлось в значительной мере реакцией прогрессивно мыслящей отечественной интеллигенции на притеснения николаевской эпохи, — и прежде всего гонение на науку и просвещение, а также на распространенный в литературе и обществе казенный патриотизм. Идейный комплекс западничества включал гегельянство, позитивизм, социалистические идеи, антропологический материализм, идеологию французского просвещения, а в последующем и марксизм.

В спорах западников П.В. Анненкова, В.П. Боткина, Т.Н. Грановского, К.Д. Кавелина, П.Г. Редкина, Д.Л. Крюкова, Е.Ф. Корша, В.Г. Белинского и А.И. Герцена со славянофилами А.С. Хомяковым, И.В. Киреевским, И.С. Аксаковым, Ю.Ф. Самариным и К.С. Аксаковым обсуждались кардинальные проблемы русской истории, особенности просвещения в России и народности науки. Издания славянофилов — журналы «Москвитянин», «Молва», «Русская беседа» и западнические журналы — «Отечественные записки», «Русский вестник», «Атеней» — публиковали статьи с изложением принципиальных положений обеих партий. При этом культурные идеалы западников и славянофилов дополняли друг друга, образуя мировосприятие русской интеллигенции, идейные истоки которого восходили к классической европейской культуре.

Для западников самодеятельность русского народа предполагала, прежде всего, создание в России правового государства, синтезирующего национальные государственные традиции с лучшими достижениями европейской культуры, которые должны были уменьшить роль бюрократического элемен-

* Статья написана при поддержке гранта РГНФ № 04-03-00334 а.

Философия истории в России

та в обществе и расширить свободу людей, развить общественную самостоятельность. «У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминания, а мы — за пророчество: чувство безграничной, охватывающей все существование любви к русскому народу. К русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно», — писал Герцен². Западничество во многом было научной философией культурного самоопределения, развивающей антропологическое понимание истории, идею органического прогресса. Следует отметить и то, что цивилизационный подход западников опирался на примеры реформ Петра Великого, Екатерины II, Александра I и во многом исходил из убеждения в неизбежности гибели живущих в отрыве от мировой цивилизации народов ввиду их культурного отставания. В этой связи характерна ссылка П.В. Анненкова на мнение Петра I о том, что «нам всегда надлежит помнить участь Царяграда и Византийской империи, для того, чтобы за пустыми занятиями не потерять своего государства».³ Для западничества идеализация русского народа является серьезным препятствием на пути реформ, необходимых России. Критика западниками тезиса Ю.Ф. Самарина о народности науки исходила из существования единой науки, для усвоения результатов которой ни у одного народа не существует царского пути.

Западники, всесторонне исследуя текущие проблемы жизни, рассматривали социальный и политический факторы общественного развития в единстве, в то время как славянофилы обращали главное внимание на «социальность» как основу русского быта, полагая, что политический эпифеномен, вырастающий из духовной и религиозной культуры, не имеет самостоятельного значения. При этом некоторые западники (радикальное крыло), абсолютизируя в пылу полемики цивилизационные признаки культурного прогресса России, в какой-то мере недооценили своеобразие российского быта. Особенно это заметно у Белинского, который противопоставил общечеловеческую культуру народной, полагая, что последняя в своем консерватизме способна оправдать и приспособиться к любому порядку. Основной смысл общечеловеческого прогресса состоит, по его мнению, в том, что люди подвергают критике все формы существования и удовлетворяются только теми, которые отвечают логике и выдерживают самый строгий анализ. Данная точка зрения была подвергнута обоснованной критике славянофилами, стремившимися выявить особую нравственно-религиозную сторону русского быта, специфику власти и права в истории России.

Однако в западничестве были представлены и демократические ценности, в частности, у Т.Н. Грановского и К.Д. Кавелина. Они признавали важность народного начала в историческом прогрессе, полагая необходимым отстаивание прав людей и улучшение жизни народных масс. Западники

Фигуры истории, или «общие места» историографии

критиковали «кичливую образованность» части российской интеллигенции, новую аристократию образования за надменное отношение к народу. Появление «русского социализма» Герцена свидетельствует о восприятии западничеством идей славянофильства. В целом дискуссии славянофилов и западников сыграли позитивную роль в формировании общественного сознания. Крестьянская, судебная реформы и реформа местного самоуправления исходили как из начал народной культуры, так и из европейского правового опыта.

Одним из видных теоретиков историологии западничества был Тимофей Николаевич Грановский — профессор всеобщей истории Московского университета, блестящий лектор и пропагандист исторической науки, много сил отдавший разработке научной методологии истории. Родился Т.Н. Грановский 19(21) марта 1813 г. в г. Орле в семье мелкопоместного дворянина. Учился в 1832—1835 гг. на философско-юридическом факультете Петербургского университета, а в 1836—1839 гг. в Берлинском университете, где слушал лекции Л. Ранке, Ф. Савиньи, Ф. Раумера, К. Риттера. Грановский был в числе молодых профессоров — П.Г. Редкин, А.И. Чивилев, Я.А. Линовский, С.М. Соловьев, — которые вернувшись из-за границы, внесли в высшую школу свежую струю западной науки. Н.И. Кареев замечает, что «ни на ком это влияние не сказалось так полно и многосторонне, как на Грановском, что в свою очередь не позволило ему отразить на себе лишь одно какое-либо умственное течение Запада. В историческом миросозерцании Грановского мы имеем поэтому дело с тогдашним русским синтезом разных направлений исторической науки Запада»⁴. Огромное влияние на Грановского оказала дружба с Николаем Владимировичем Станкевичем, сыгравшим важную роль в формировании философских интересов ученого. «Никому на свете, — писал Грановский, — не был я так обязан: его влияние на меня было бесконечно и благотворно»⁵. Это влияние, в частности, выразилось в развиваемой Грановским идее единства истории и философии и идеале нравственно совершенной личности как условия совершенствования общества, признании ценности немецкой классической философии для развития отечественной философской культуры. С 1839 г. и до конца своей жизни Грановский являлся профессором всеобщей истории Московского университета и пользовался беспрецедентной популярностью среди студентов и слушателей его публичных лекций. В 1845 г. защитил магистерскую диссертацию «Волин, Иомсбург и Винета», а в 1849 г. докторскую «Аббат Сугерий». В 1855 г. Грановский стал деканом историко-филологического факультета университета. Умер он неожиданно 4 октября 1855 г. Академик А.В. Никитенко писал в своем дневнике: «Боже мой, какое горе, какая потеря для науки, для мысли, для всего высокого и прекрасного: Грановский умер! Это был в нашем ученом сословии человек, которого можно было вполне уважать, в правоту ума и сердца которого можно было безусловно верить»⁶. Чувства эти разделялись многими, и со временем в российском об-

Философия истории в России

щественном сознании утвердилось прочное мнение о Грановском как выразителе идей гуманизма и просвещения. В личности ученого проявилась толерантность — умение выслушивать и примирять, находить объективный научный смысл в различных суждениях.

В историческом мирозерцании Грановского видна, по мнению Н.И. Кареева, «высшая ступень научно-философского отношения к всеобщей истории, возможная тогда в русских университетах». Именно Грановский сформулировал некоторые парадигмы исторической науки, которые вошли в концепции других мыслителей-западников и определили последующее развитие социологии истории либерализма. «Грановский думал исторически, учился исторически и исторически впоследствии делал пропаганду»⁷, — писал Герцен, отмечая, что «в лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее».⁸ Историческая концепция Грановского являлась основой его лекционных и публичных курсов, имевших широкое политическое и культурное значение. Он выступал в новой для русского общества роли ученого-гражданина, общающегося со слушателями своих лекций на доступном для широкой аудитории языке исторической науки — в роли «Пушкина истории». Объективно своей научно-педагогической деятельностью он опроверг мнение В.С. Печерина о том, что «в России невозможно профессорство». «Его высокий ум, обширные и глубокие познания, удивительная привлекательность характера сделали его центром и душою нашего литературного кружка. Все замечательные ученые или писатели нашего времени были или друзьями, или последователями его. Влияние Грановского на литературу в этом отношении было огромно»⁹, — писал Чернышевский.

При этом, хотя ученый и не оставил систематических сочинений по социологии истории, но важнейшие идеи Грановского содержатся в статьях по истории, а также в виде методологических предисловий к курсам лекций, в его переписке. Определяя главные идеи, повлиявшие на Грановского, следует назвать гегелевскую концепцию диалектического развития истории, органицизм Ф.К. Савиньи, историографию Ф. Гизо и О. Тьерри, а также критическую школу истории Л. Ранке и Б.Г. Нибура. Ученый исходя из принципа единства естественной и гуманитарной науки создавал концепцию всеобщей истории, тесно связывая ее с изучением социальных сторон развития исторических процессов. «Историки XVIII столетия любили объяснять великие события мелкими причинами, — писал он. — В таких сближениях высказывалось не одно остроумие писателей, но задушевная мысль века, не верившего в органическую жизнь человечества, подчинявшего его судьбу своему равному влиянию личной воли и личных страстей. Исходя из этого начала, нетрудно было прийти к убеждению, что в истории, преданной господству случая, нет ничего несбыточного, что для целых народов возможны *salta mortali* — скачки

Фигуры истории, или «общие места» историографии

из одного порядка вещей в другой, отделенный от него длинным рядом ступеней развития. Наше время перестало верить в бессмысленное владычество случая».¹⁰

Грановский показал различие между всемирной и всеобщей историей. По его мнению, понятие всемирной истории было выдвинуто историками XVIII века Болингброком, Вольтером и Монтескье, но они изображали историю только как результат коллективного опыта людей. В это время возникла «всемирная история» как собирание фактов из истории народов, но не способная осмыслить ее ход в целом. И только у Вико, Гердера, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля появилась «всеобщая история», не претендующая на описание прошлого всех народов мира, но дающая общее осмысление закономерного процесса развития человечества в целом. Всеобщая история ставила своей целью научно-историческое изучение процесса образования европейской культуры, истоки которой коренились в общих нравственно-политических и религиозных ценностях европейских народов.

Концепция всеобщей истории для Грановского была теоретической предпосылкой компаративной макроистории, использующей метод сравнительного анализа исторических типов «человеческих пород» и исторических аналогий для поиска специфических и типичных для европейских народов форм бытия, языка и культуры. Историк был убежден в том, что, несмотря на разнообразие национальных форм и на происходившие процессы «смешения народов», в истории все же существуют внутренние принципы жизни, передающиеся посредством языка, национальной психологии и антропологических признаков. Всемирная история и являлась лучшим свидетельством и результатом универсальной онтологической природы человечества, проявленной в культурном взаимодействии народов.

Специфика историологии Грановского состоит в примирении диалектического метода Гегеля с органической философией на основе эволюционной эпистемологии. Понятие организма используется в социологии западничества в узком специфическом смысле. Так Грановский пишет о государстве как «органическом целом, где каждый член имеет свои должности, свои права».¹¹ Органичность им рассматривается как закономерность, проявленная в активной роли личности в социально-исторических событиях. И если в первых своих статьях ученый термин «народный организм» использовал в близком для исторической школы права смысле, то потом он уже подчеркивал персональный смысл органицизма.

Концепция прогресса является характерным примером западнической историологии Грановского. Исходя из бесконечного и эволюционного характера человеческого прогресса, он с позиции культурно-исторического универсализма трактовал основной ход социального прогресса, в который вовлечены все основные народы. Диалектика истории, по его мнению, происходит в борьбе

Философия истории в России

различных социальных сил и реализуется в деятельности отдельных народов. Он не согласен с гегелевской дифференциацией человечества на народы исторические и неисторические и обращает внимание на роль восточных народов в истории. Переход от истории всемирной к всеобщей сопровождается, согласно Грановскому, включением всех народов в общий прогресс.

В концепции всеобщей истории Грановского получила свое развитие категория исторического разума. Согласно ученому, в истории действует разум, который развивает в человеке верное чувство действительности и показывает различие, которое существует между вечными и безусловными началами нравственности и ограниченным пониманием этих начал в данный период времени. Важнейшим способом постижения исторической закономерности объективно является научное познание разных сторон социальной жизни, а также интуитивное проникновение в духовное и нравственное содержание прошлых событий и документов. «У каждого народа есть много прекрасных, глубоко поэтических преданий, но есть нечто выше их, это *разум*, устранивший их положительное влияние на жизнь и бережно слагающий их в великие сокровищницы человека — науку и поэзию», — писал он.¹² Точка зрения ученого по этой проблеме получила свое развитие в выступлении «О современном состоянии и значении всеобщей истории» (1852). По его мнению, понятие о всеобщей истории, соединяющей в одно целое разрозненные семьи человеческого рода, было чуждо языческому миру и могло возникнуть только под влиянием христианства. Слабая сторона настоящей философии истории заключается в приложении логических законов к отдельным периодам всеобщей истории, хотя осуществление этих законов может быть показано только в целом, а не в частях, как бы они не были значительны. Согласно Грановскому, в истории, кроме логической необходимости существует и другая — естественная — необходимость, которая лежит в основе всех важных явлений народной жизни и относится к числу главных причин, определяющих развитие истории.

Историка не устраивает абстрактность философии истории Гегеля, которая «есть отрывочное и не всегда в частностях верное изложение всеобщей Истории, вставленное в рамку произвольного построения». Философия истории едва ли может, согласно Грановскому, быть предметом отдельного от всеобщей истории изложения. «Философии истории принадлежит по праву глава в феноменологии духа, но, спускаясь в сферу частных явлений, нисходя до их оценки, она уклоняется от настоящего своего призвания, заключающегося в определении общих законов, которым подчинена земная жизнь человечества, и неизбежных целей исторического развития»¹³. Грановский доказывал, критикуя Гегеля, что всякие попытки со стороны априорной истории провести резкую черту между событиями логически необходимыми и случайными может повести к значительным ошибкам и будет носить на себе характер произ-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

вола, так как великие события продолжают в своем дальнейшем развитии и никак не должны быть рассмотрены как нечто законченное и замкнутое. История представляет собой открытый процесс творчества нового и в ней отсутствует провиденциальная фатальность.

При этом историческая концепция Грановского демонстрирует отличие методологии истории западничества от религиозной историософии П.Я. Чаадаева. «У истории две стороны: в одной является нам свободное творчество духа человеческого, в другой — независимые от него, данные природой условия его деятельности. Новый метод должен возникнуть из внимательного изучения фактов и природы в их взаимодействии. Только таким образом можно достигнуть до прочных основных начал, т.е. до ясного знания законов, определяющих движение исторических событий»¹⁴. В этом определении будущего, по мнению Грановского, важную роль играют внешние условия существования народа, климатические, географические и этнографические влияния, изучаемые естественными науками, географией, статистикой, психологией и антропологией. По существу речь шла о создании целостной науки, в рамках которой все стороны социальной жизни должны были получить свое отражение на основе исторического метода, и в котором «прошедшее, настоящее и будущее находятся в постоянном взаимодействии».

Опираясь на концепцию исторического прогресса и эволюционную эпистемологию, ученый сформулировал парадигму социокультурного универсализма. В соответствие с ней человечество рассматривается как единый, прогрессивно эволюционирующий духовный организм, направленный в своем развитии к высшей нравственной цели — осуществлению свободы и правды на земле. Народы были «живым единством, системой многообразных сил, над которыми владычествовала одна основная сила — народный дух, или гений, народа». По мнению Грановского, человечество является единой семьей, а народы относятся к человечеству как индивиды к народу. Общей целью прогресса является достижение социальной и личной свободы, и распространение цивилизации происходит путем взаимной передачи всеми народами выработанных ими непреходящих культурных ценностей. Грановский полагал, что в предмет исторической науки входит исследование широкого круга словесных и письменных свидетельств — от народной песни до государственных грамот. Он оберегал историческую науку от произвола абстрактной мысли и чувства романтизма, считая, что важнейшей методологией истории должна быть научность в соединении с нравственным подходом.

Важное место в сочинениях Грановского заняло понятие исторического закона, и в этой связи он определяет главную задачу науки как открытие законов развития. «Это развитие или история, — пишет Грановский, — совершается независимо от случая и произвола — по законам, как явствует из простого заключения, что всякое великое явление, всякое определенное направление

Философия истории в России

народной жизни — поэзия и проза, наука и искусство, различные формы правления, религиозные воззрения — имеют в целом определенное во времени место, когда они цветут, между тем как искусственные способы доставляют им только мимолетное и бедное бытие»¹⁵. Понятие закона используется Грановским в разных смыслах. Во-первых, в виде нравственного идеала человечества. «Над всеми открытыми наукой законами исторического развития царит один верховный, то есть нравственный закон, в осуществлении которого состоит конечная цель человечества на земле», — писал он¹⁶. В другом случае под законом понимается общий характер развития того или иного народа. В целом же он проводил принципиальное отличие закона природного, в котором присутствует хронологическая определенность от социального закона, имеющего органический и хронологически неопределенный характер. «Обществу дан закон, которого исполнение неизбежно, но срок исполнения не сказан — десять лет или десять веков, все равно. Закон стоит как цель, к которой неудержимо идет человечество, но ему нет дела до того, какую дорожкой оно идет и много ли потратит времени на пути».¹⁷

Стремясь выявить специфику исторического закона, Грановский находил ее в особом «излучистом ходе истории», неравномерности исторической деятельности человеческой личности. В. Ветринский пишет в этой связи, что существует общность представлений Герцена и Грановского в представлении об активной роли личности в истории, а также критике исторического фатализма и детерминизма. Однако Грановский в отличие от Герцена «подчинял эту личность божественным законам, которые она невольно осуществляет».¹⁸ Здесь проявилось специфическая религиозность воззрений историка. В спорах с Герценом и Огаревым он отвергал мысль о материальном единстве тела и духа, она казалась ему «сухой» и холодной», «потому что вместе с ней исчезает бессмертие души».

Особый интерес вызывает предпринятое ученым исследование переходных эпох в истории. «Мне казалось, что только здесь можно опытному уху подслушать таинственный рост истории, поймать ее на творческом деле», — писал он¹⁹. Это печальное время трагической красоты, когда, с одной стороны, «можно увидеть доведенное до безумных крайностей поклонение древности, а с другой безусловное отрешение от прошедшей и настоящей жизни человечества в пользу каких-то неопределенных идеалов, имеющих осуществиться в будущем».²⁰ По мнению Грановского, переходные эпохи отсутствуют на Востоке, так как изменения в обществе там происходят на поверхности, не опускаясь в толщу народной жизни и не затрагивая обычаев и традиций. В Европе же переходные эпохи — это время упадка и создания новых социальных и культурных отношений.

Анализируя периоды перехода общества от рабовладения к феодализму, а также сами феодальные переходные этапы он выделяет факторы, влияющие

Фигуры истории, или «общие места» историографии

на смену различных форм быта, культурно-исторических типов и, в частности, положение народных масс. Величайшим злом, обусловившим гибель древнего мира, согласно Грановскому, были нищета и пауперизм, и естественным последствием такого положения дел был протест народных масс. В этой связи понятно особое внимание ученого к положению народа, которое было обусловлено не только гуманистическим характером мировоззрения Грановского, но и пониманием значения активной роли народа в истории. Влияние народа на историю проявляется в самых разных сферах и закрепляется в обычаях и традициях, формах собственности и быта. Грановский видел в Новой истории стремление народных масс к участию в умственной и политической жизни, выделяя особую роль пролетариата в этих процессах. Он сочувствовал тем, кому достается только труд без досуга для образования, и признавал правоту требований народа.

Важным моментом социологии истории Грановского было обоснование активной роли личности в истории — как фактора исторического процесса, действующего, в частности, в переходные периоды истории. Массы, по его мнению, «как природа или как скандинавский Тор бессмысленно жестоки и бессмысленно добродушны. Они коснеют под тяжестью исторических и естественных определений, от которых освобождается мысль только отдельная личность. В этом разложении масс мыслью заключается процесс истории».²¹ Процесс «разложения мыслью традиции» двойственен, поскольку сопровождается с одной стороны порчей, искажением того, что было раньше, новое появляется сначала как отрицание того, что было раньше, а с другой — созданием качественно нового.

Заметим, что точка зрения ученого совпадает с представлением Герцена об истории, которая развивается в результате взаимодействия мыслящего меньшинства — «выгородивших себя» из основной массы народа. В переходные эпохи, согласно Грановскому, появляются два типа личностей: одни — это люди, которые отражают будущее и смело идут вперед, за ними право победы и успеха. Второй тип переходных личностей — завершители прошлого, в них воплощается все достоинство отходящего времени. По мнению Грановского, ни поборникам старого, ни водворителям нового не дано осуществить полностью своих намерений, «из их совокупной деятельности провидение слагает неожиданный и неведомый им вывод». История являет собой результат совокупной деятельности разных людей, и великие личности влияют на данный итог. «При изучении каждого великого человека мы должны обратить внимание на личность его, на почву, на которой он вырос, на время, когда он действовал. Из этого тройного элемента слагается его жизнь и деятельность. Задача трудная, решение которой предоставлено, если можно так выразиться, особенной исторической психологии, имеющей целью устранить временные и местные влияния, видоизменяющие частные свойства лица»²². Великие личности призваны выразить

Философия истории в России

собирает волю народа, бессознательные стремления своих соотечественников, они являются откровением целого народа и эпохи.

Народ по Грановскому состоит из личностей, в каждой из которых проявляется общечеловеческая природа, и в истории личность выступает самостоятельно как поборник или противник исторического закона, принимая на себя ответственность за целые ряды им вызванных или задержанных событий. В этой связи характер, страсти, внутреннее развитие личностей становятся для историка важным предметом изучения. Грановский сожалеет о том, что историки обращали недостаточное внимание на психологический элемент историографии, хотя природа национального духа обусловлена антропологическим фактором истории — уровнем личностного сознания народа.

Особо следует коснуться взглядов Грановского на социализм, которые во многом отличны от концепции революционной демократии. Признавая социализм явлением важным и требующим внимания историка, Грановский, вместе с тем, смотрел на него как на болезнь века. Тревожили его и провозглашаемые социализмом требования общественного переворота, в основе которого, по его мнению, лежит уничтожение европейской цивилизации. «Социализм, — писал он, — чрезвычайно вреден тем, что приучает отыскивать разрешения задач общественной жизни не на политической арене, которую он презирает, а в стороне от нее, чем себя и подрывает».²³ Формулирование этой позиции выявило принципиальное расхождение Грановского с Герценом и в целом определило начало разложения западничества на умеренное и революционно-демократическое направления.

Общественным идеалом Грановского выступала «нравственно просвещенная, независимая от роковых определений личность, и сообразное требованиям такой личности общество», достигаемое реформами и просвещением масс.²⁴ Как историк он находил, что революции, хотя и носят закономерный характер в истории, но при этом они должны быть результатом длительной эволюции, «переходов от одной жизни к другой». Опасность революций в том, что они вызывают стихийные действия масс. Вследствие этого и свобода, как цель человеческого развития, должна быть соотнесена с «различием потребностей и народностей», поэтому абсолютизм, устанавливающий государственный порядок, является таким же великим событием, как и «водворение свободных учреждений». При этом он полагал, что нравственный авторитет государства определяется поведением правительства, и частная нравственность всегда зависит от общественной. Исследуя факт Варфоломеевской ночи, Грановский считал, что оправдать это преступление тем, что больной народный организм нуждается в страшных кровавых лекарствах невозможно: «Государство теряет свой нравственный авторитет, употребляя подобные средства, и позорит самую цель, к достижению которой стремится».²⁵ Самая благая цель не может оправдать негодных средств ее достижения.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Несмотря на то, что главным предметом научных интересов Грановского была всеобщая история, тем не менее, исследованию России он также уделял серьезное внимание и сформулировал некоторые важные научные проблемы сравнительного изучения русской и мировой истории. Ученый ставил своей целью поиски начала истории России в мировом историческом процессе и стремился обосновать единство закономерности истории России и Запада. В работе «О родовом быте у древних германцев» он первый показал специфику германской общины, доказывая сходство социальных процессов у всех европейских народов. Грановский также сформулировал идею последовательного и закономерного развития русской истории, в тесной связи с формированием законодательных форм и государственного правления, и высказал мысль о специфике русской истории, обусловленной активной политической ролью самодержавия. «У нас самодержавие наложило свою печать на все явления русской жизни, мы приняли христианство от Владимира, государственное единство от Иоаннов, образование от Петра, политическое значение в Европе от преемников», — писал он²⁶. В последующем эта идея получат свое развитие в концепции юридической школы русской историографии К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина, В.И. Сергеевича, С.М. Соловьева, А.Д. Градовского.

Как и другие западники, Грановский считал, что развитие России подчинено общим историческим закономерностям, но молодая российская культура отстала в общеевропейской эволюции и должна пройти те же этапы социального прогресса, что и Западная Европа. Это обстоятельство делает возможным использование Россией европейского опыта государственного строительства; положительным примером такого рода были петровские реформы, «выдвинувшие» Россию в число развитых европейских стран. Вместе с тем Грановский обращал серьезное внимание на специфику русской истории и на особое значение для России Византии, от которой она приняла религиозные верования и «начатки» образования. Связывает, по его мнению, Россию с Византией то, что, начиная с IX века, многие области Византийской империи были заселены славянами. «Сила, соединяющая многие народы Византийской империи, заключалась в религии, утвержденной Отцами восточной церкви, и в образованности, наследованной от классического мира вместе с языком», — писал он²⁷. Точка зрения Грановского исходила из того, что важными причинами падения византийской империи были изменившиеся там отношения к славянам, глубокая порча государственного организма и разращение высших сословий. По его мнению, существует очевидное превосходство византийских административных форм над западными принципами феодальной государственности, так как в основании византийской империи лежало отвлеченное от всякой национальности начало мудрой государственной организации, которая адаптировала даже враждебные общественные

Философия истории в России

«элементы». Данная точка зрения на роль византизма в русской культуре предвосхищала концепцию К.Н. Леонтьева и выявляла концептуальное многообразие западничества.

Изучение российской истории позволяло Грановскому разрабатывать как проблемы всеобщей истории, так и специфические политические, культурные и религиозные вопросы истории России. Историческое миросозерцание Грановского, защита им разума, просвещения, гуманизм и вера в прогресс в соединении с большим личным обаянием оказали серьезное воздействие на русскую историческую науку XIX столетия. Т.Н. Грановский долгое время оставался эталоном ученого-историка, его историческая концепция повлияла на К.Д. Кавелина, С.М. Соловьева, Б.Н. Чичерина, И.К. Бабста, В.И. Герье, П.Н. Кудрявцева, П.Г. Виноградова, а разрабатываемая Т.Н. Грановским концепция взаимосвязи личности и культуры оказала серьезное воздействие на историологию Н.И. Кареева, культурологию П.Н. Милюкова и политическую историю В.О. Ключевского. «Все мы более или менее — ученики Т.Н. Грановского»,²⁸ — писал В.О. Ключевский.

Примечания

- ¹ Гоголь Н.В. Духовная проза. М., 1992. С. 90.
- ² Герцен А.И. Избранные философские сочинения. В 2-х т. М., 1946. Т. 2. С. 231–232.
- ³ Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 232.
- ⁴ Кареев Н.И. Историческое миросозерцание Грановского. СПб., 1896. С. 4.
- ⁵ Грановский Т.Н. Переписка. М., 1897. Т. 2. С. 404.
- ⁶ Никитенко А.В. Дневник: В 3-х т. М., 1955. Т. 1. С. 521.
- ⁷ Герцен А.И. Там же. М., 1956. Т. 9. С. 124.
- ⁸ Герцен А.И. Не наши (Из «Былого и дум») / Избр. филос. соч. М., 1948. Т. 2. С. 215.
- ⁹ Чернышевский Н.Г. Избр. филос. соч. Т. 11. М., 1950. С. 17.
- ¹⁰ Грановский Т.Н. Реформа в Англии / Соч. 3-е изд. Ч. 2. М., 1892. С. 275–276.
- ¹¹ Лекции Т.Н. Грановского по истории позднего средневековья / Под ред. С.А. Асиновской. М., 1971. С. 28.
- ¹² Грановский Т.Н. История литературы во Франции и Германии в 1847 г. / Соч. 3-е доп. изд. Ч. 2. С. 220.
- ¹³ Грановский Т.Н. Соч. Ч. 1. С. 40.
- ¹⁴ Грановский Т.Н. Там же. С. 42.
- ¹⁵ Сборник в пользу недостаточных студентов университета Св. Владимира. СПб., 1895. С. 317.
- ¹⁶ Кареев Н.И. Историческое миросозерцание Грановского. С. 31–32.
- ¹⁷ Грановский Т.Н. Соч. Ч. 2. М., 1866. С. 250.
- ¹⁸ Ветринский В.Е. Т.Н. Грановский и его время. 2-е изд. СПб., 1905. С. 108.
- ¹⁹ Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. М., 1986. С. 315.
- ²⁰ Грановский Т.Н. Бэкон / Соч. 3-е изд. Ч. 1. М., 1892. С. 403.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

²¹ Грановский Т.Н. Историческая литература во Франции и Германии в 1847 г. / Соч. Ч. 2. С. 220.

²² Грановский Т.Н. Тимур / Соч. 3-е изд. Ч. 1. С. 338–339.

²³ Анненков П.В. Литературные воспоминания. С. 273.

²⁴ Грановский Т.Н. История литературы во Франции и Германии / Соч. Ч. 2. С. 220.

²⁵ Грановский Т.Н. Петр Рамус / Соч. 3-е изд. Ч. 2. С. 383.

²⁶ Грановский Т.Н. Записка и программа учебника всеобщей истории / Соч. 3-е изд. Ч. 2. С. 439.

²⁷ Грановский Т.Н. Сочинения. Ч. 2. С. 111.

²⁸ Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1990. С. 491.

А.Е. Рыбас (Санкт-Петербург)

К ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ А.И. ГЕРЦЕНА

Философия истории как жанр легитимации современности традиционно строится на допущении возможности апелляции к авторитетной внеисторической инстанции, позволяющей говорить об истории в целом, эксплицировать ее законы и смысл. Действительно, только с точки зрения целого можно понять уместность и значимость части, а ее ограниченность истолковать как определенную интригу в разворачивающемся грандиозном драматическом произведении, которое и называется историей. Быть профессиональным актером, хорошо и осознанно исполнять свою роль, видеть смысл своих действий в изначальном замысле автора, предусмотревшего и продумавшего все детали, в том числе и эффект «reality-show», — к этому сводятся в конечном итоге задачи философского постижения истории.

Взгляды Герцена на историю, как известно, противоречат такой интерпретации исторического процесса. Они настолько не совместимы с общепринятыми воззрениями, что зачастую кажутся странными, эклектичными, непродуманными. Главный упрек, предъявляемый Герцену его критиками, — если не явно, то по крайней мере имплицитно, — заключается в указании на неспособность и нежелание Герцена оправдывать современное, в результате чего оно оказывается случайным, временным, ненастоящим. Процедура оправдания современности предусматривает выявление генетической связи между бывшим и настоящим, чтобы «признать в ходе вещей план, намерение и разум, подчинить им человеческий ум и принять все вытекающие отсюда последствия относительно всеобщего нравственного миропорядка»¹. Однако ни всеобщего плана, ни миропорядка, по Герцену, нет — это всего лишь иллюзии, обусловленные неспособностью человека мыслить самостоятельно — не так, как диктует ему его время. Поскольку современно лишь то, что приходит со временем — следовательно, на время и по велению последнего, постольку подчинение логике истории по сути является подчинением времени, а значит — отказом от продумывания механизмов и форм его господства. «Цепь времен», которой скована наша жизнь, сковывает и нашу мысль, заставляет ее повиноваться «течению времени» и считать «проверку временем» единственным критерием своей истинности. Скованность мысли получает при этом сакральный статус, обеспечивающий «привилегированный доступ к реальности», а нахождение в плену у времени трактуется как обретение подлинной свободы, отмеченной ореолом вечности.

Называя себя «иностранцем своего времени», Герцен намеренно дистанцируется не только от настоящего, которое не заслуживает того, чтобы быть

Фигуры истории, или «общие места» историографии

настоящим, поскольку не соответствует предъявляемым к нему требованиям со стороны тонкого художественного вкуса и чрезмерно чувствительного сердца. Было бы так, то «капризы и раздумья» «первого нашего западника, отчаявшегося в Западе»², нашли бы себе довольно простое и понятное объяснение, а «вечно топырящийся Герцен» действительно был бы «ничем», никак не мешал бы делать «историческое дело»³ истинным представителям самобытной русской духовности, являясь «для современного русского человека» лишь горьким и поучительным уроком, «памятником теоретического отчаяния»⁴. Но вызов Герцена, брошенный современности, намного серьезнее: он грозит разрушением не тех или иных ее форм, а самого основания. Современность не устраивает Герцена не потому, что она дурна, а потому, что она современна. Дистанцирование от современности принимает характер методической установки, необходимого условия честной мысли, которая противится всякому успокоению и требует безжалостной проблематизации очевидного, вплоть до самого мыслящего. Так, в письме к Т.Н. Грановскому от 12–14 мая 1849 г. Герцен пишет: «Ведь Юм был прав, говоря, что понятие об личности предрассудок, что мы называем я — ряд явлений, кой-как сшитых на живую нитку воспоминанием»⁵.

Восстание против современности — это бунт против всего вечного, поскольку вечность — лишь оборотная сторона современности: то, что всегда здесь и сейчас, никогда не проходит, а значит, непреходяще. Сомнения Герцена в непреходящем определяют его понимание истории, которая лишается своих метафизических заступников и превращается в простой рассказ о случившемся. Этот рассказ может быть интересным или скучным, назидательным или бесполезным, но он не может трансформироваться в проповедь: история — это рассказ о том, что было, а не о том, что должно быть. Случившееся однажды вовсе не гарантирует продолжения истории, оно безразлично к тому, что случится после, и не желает служить ступенью к нему. Рассказчик-историк объединяет различные и разрозненные события в один сюжет, руководствуясь своими соображениями, однако последовательные фазы развития сюжета нельзя принимать за целенаправленное движение самой истории. О самой истории вообще нельзя сказать ничего определенного: о ней можно рассказывать разные истории, и каждая история будет отдельным и законченным произведением. Таким образом, культ современности, так долго поддерживавшийся философским постижением истории, безжалостно дискредитируется Герценом, в результате чего история теряет смысл и становится непредсказуемой, определяемой случайным стечением обстоятельств.

Деструктивная позиция Герцена в отношении философии истории порождает целый ряд вопросов. Во-первых, возникает сомнение относительно последовательности рассуждений Герцена, констатирующего, с одной стороны, бессмысленность и случайность исторического процесса, а с другой —

Философия истории в России

настаивавшего на необходимости осмысления истории посредством моделирования оптимальной траектории ее развития (теория «русского социализма» как философия будущего). Во-вторых, кажется невозможным говорить о собственно философии истории Герцена, поскольку стремление последнего представить историческое развитие в качестве естественного процесса, прямого продолжения развития природы, предполагает редукцию социального к биологическому. Наконец, в-третьих, отказ от метафизики и от объективных критериев определения значимости исторического затрудняет отыскание «аутентичного» Герцена и даже сводит на нет все попытки адекватно представить его взгляды на историю. К тому же, если учесть своеобразную манеру аргументации «русского Вольтера середины XIX века» (как называл Герцена И. Берлин), основывающуюся скорее на риторических приемах, чем на логических доказательствах, то многочисленные противоречия, которые без труда можно отыскать в текстах Герцена, становятся неразрешимыми. Действительно, история, как уже отмечалось выше, не имеет смысла, но тем не менее может — и должна — быть осмысленной; она никуда не идет — и в то же время находится постоянно в движении; готова идти со всяким, кто проложит свой путь, но путь этот должен быть в первую очередь ее путем, позволяющим ей реализовать свои стремления, хотя никаких стремлений у истории — на самом деле — нет; и так далее. Постигая историю, Герцен поет дифирамбы личности человека, его свободе и активной творческой деятельности, так что порою кажется, что именно в становлении личности и заключается смысл истории, — но тут же диссонансом звучит призыв освободиться от своего я — этого последнего кумира несамостоятельной мысли, а также и от его свободы как последней догмы, легитимирующей рабское существование человека. Активная жизненная позиция сменяется при этом пассивно-созерцательной, а оптимистический пафос уступает место холодному скептицизму. Дистанцируясь от современности, презируя ее и не желая оправдывать, Герцен тут же спешит уверить читателя, что действительным и ценным является только настоящее, ради которого и в котором только и можно жить.

Очевидно, что свести такое многообразие противоречащих друг другу положений в цельную и продуманную систему взглядов непросто. Гораздо легче акцентировать внимание на каком-то одном аспекте, который, например, более импонирует исследователю или кажется ему более удобным для обоснования соответствующей интерпретации. Именно вследствие такого фрагментарного истолкования и тотальной экстраполяции его выводов возникли различные «образы Герцена», которые можно систематизировать по принципу бинарных оппозиций: экзистенциалист, философ жизни — рационалист, адепт науки; нигилист, имморалист — проповедник евангелия будущего; оптимист — пессимист; исторический реалист — добрый мечтатель; персоналист — деревенщик; анархист, основоположник антиправового направления в

Фигуры истории, или «общие места» историографии

России — либерал неопрагматистского толка; и так далее до бесконечности. Очевидно, что никакой из данных образов не может претендовать на истину, потому что говорит скорее об интерпретаторе и его целях, а не о Герцене. Но и совокупность этих образов вряд ли способна представить истинное лицо «двуликого Януса», так как она будет лишь многократно умноженным искажением, а не истиной. Любое высказывание «по существу» с необходимостью становится неполным, поскольку, выражая «что-то», оно оставляет в тени нечто существенное.

Следует заметить, что появившиеся в последнее время работы, посвященные творчеству Герцена и, в частности, его философии истории, представляют собой попытку избежать традиционного способа адаптации его идей. Разговор о «что» вытесняется разговором о «как», и этому последнему придается статус наиболее продуктивного и интересного способа усвоения мысли Герцена. Подобная трансформация обусловлена как известным опытом предшествующих интерпретаций XIX и XX вв., тщетно настаивавших на правомерности какого-то одного прочтения Герцена, так и достаточно распространенным сейчас недоверием к истинностному и генерализирующему дискурсу вообще. Разумеется, анализ того, как сделаны тексты Герцена и как они функционируют в мире идей, полезен и важен, однако имеем ли мы право игнорировать рассмотрение содержательного аспекта? Или — если учесть практическую неразрывность «что» и «как» — не является ли преимущественное внимание к форме своеобразным риторическим приемом, позволяющим совершить подмену содержания? Во всяком случае, полностью отстраниться от объективно-существенного нельзя, и поэтому каждая интерпретация всегда нацелена на продумывание (и оценку) глубинной проблематики произведения, а не его ситуативной значимости или уместности.

Одной из первых и самых демонстративных интерпретаций философии истории Герцена, выполненных в стиле «не что, а как», является статья К.Г. Исупова ««Историческая эстетика» А.И. Герцена», опубликованная в историко-литературном журнале «Русская литература» в 1995 г.⁶ В этой работе исследуется эстетическое отношение Герцена к истории, которое определяется двумя моментами: восприятием прошлого как художественного произведения и описанием-анализом истории в эстетических категориях. К.Г. Исупов занимается изучением принципов художественной архитектоники герценовских текстов, обращая внимание преимущественно на экспликацию риторических средств воздействия на читателя. Множество интересных сравнений и интерпретационных находок, которыми изобилует статья К.Г. Исупова, позволяет ему утверждать, казалось бы, вполне очевидный тезис о том, что аргументация Герцена представляет собой «сочетание эстетической проработки исторического материала и риторики логически безупречной конструкции мысли»⁷. Однако такой вывод — обоснованию которого формально и посвяще-

Философия истории в России

на работа К.Г. Исупова — вряд ли можно считать основным. Обнаружение синтеза «научного» и «художественного» в слове Герцена не требует больших усилий и не может ставиться в заслугу автору «Исторической эстетики...». Очевидно, что статья К.Г. Исупова принципиально о другом — о том, что открыто не проговаривается им и даже не тематизируется, а только тайно присутствует в каждом слове и направляет движение мысли. Скрытое, однако, лежит на поверхности и как бы просится быть сформулированным в качестве заключения самим читателем; к этому шагу и подводит его статья К.Г. Исупова.

Более пристальное чтение «Исторической эстетики...» неожиданно приводит к парадоксальному утверждению: эта статья вообще не об эстетике и даже не о взглядах Герцена на историю, как об этом можно было судить исходя из заглавия работы. Будучи нацеленной на изучение риторических приемов Герцена, она сама является суггестивным средством переориентации мировоззренческих установок читателя, причем желаемая трансформация осуществляется посредством переноса акцента с «что» на «как» и последующей замены содержательного аспекта. В результате Герцен, по мысли интерпретатора, должен стать другим, понятным, «не топырящимся», а его философия истории должна превратиться в «одомашнивание» исторического времени и, наконец, в оправдание современности. Так, К.Г. Исупов, характеризуя Герцена как одного из первых принципиально «бездомных» писателей, чье почвенное ощущение локализовалось не в пространстве, а во времени, делал вывод о том, что «подлинным Домом Герцену стало историческое человечество в динамическом движении и существенной современности»⁸. «Дом истории», обустроенный согласно требованиям актуального настоящего, обеспечивает удобство проживания при помощи творческого памятования бывшего, он создается на века и сам становится памятником, итогом «коллективного жизнеустройства бесчисленных поколений». Памятники, как известно, нуждаются в охране, и в отношении них недопустима никакая модернизация. Дом истории как памятник, если продолжить мысль К.Г. Исупова, при должном к нему охранительном отношении, с необходимостью усовершенствуется в музей, и вот тогда наступит художественное завершение истории, осуществится ее смысл.

Чтобы продемонстрировать имплицитный замысел К.Г. Исупова, нужно проследить логику развития его интерпретации философии истории Герцена. Статья начинается с указания на важную роль исторического свидетельства для творческого поведения русского мыслителя, решившего полемически противопоставить свои воззрения на историю распространенным славянофильским концепциям. Историческое свидетельство предполагает сосредоточенное внимание к фактам, однако факт — это самое трудное и ключевое понятие в философии истории Герцена, потому что его трактовка прямо связана с природой свидетельского наблюдения и поэтикой слова о событии. Факт представ-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ляет собой историческое событие — результат творческого участия человека (художника и поэта) в написании текста истории, но в то же время факт является и словом об этом событии. Тожество слова и дела и определяет специфику факта.

История, констатирует К.Г. Исупов, понимается Герценом как импровизация (или «альтернатива»), но не только. Гораздо важнее для Герцена зафиксировать наличие определенной упорядоченности в историческом движении, благодаря которой «растрепанная импровизация» оказывается не такой уж непредсказуемой. В истории регулярно бывают повторы, которые сам Герцен называет «историческими рифмами». В умении рифмовать события, эпохи, исторических деятелей и т.д. сказывается мастерство и проницательность историка, более того: нахождение рифмы становится основным методом исторического исследования. «Аналоговая историология» (так называет К.Г. Исупов историческую науку, руководствующуюся методом рифм) обеспечивает выход за пределы сравнительно-исторического сопоставления к типологиям разного рода. Так, например, Герцену она позволяет создать своеобразную классификацию революций.

Революцию Герцен, согласно К.Г. Исупову, понимает широко: это прежде всего синтез новизны и повтора, обуславливающий творчество конкретной истории. Именно поэтому философское постижение истории не может быть только теоретическим, оно всегда предполагает выход в практику, в современность и деятельное участие в ней. Синтез новизны и повтора — это ступень в диалектическом развитии истории. «Концепция исторической новизны и философия исторического творчества создаются Герценом на основе *диалектики истории*»⁹. Диалектика эта сначала понимается как сотворчество двух противоположных начал — природного и человеческого, вследствие чего в ранних произведениях Герцена звучит призыв к синтезу науки, занимавшейся познанием природы, и поэзии, выражавшей творческие искания человека, с целью создания универсального метода философствования. Следование этому методу послужило причиной появления своеобразной физиологии истории, специфическими разделами которой являются «тектоническая историология» и «геоэстетика».

В дальнейшем Герцен конкретизирует свое понимание диалектики истории: она трактуется теперь как сотворчество общества и личности, противостоящих друг другу как начало консервативное, выступающее за сохранение проверенных временем форм социальной жизни, и начало активное, предлагающее новые формы и перспективы развития посредством формулирования «идеи» и создания «идеала», необходимость всеобщего принятия которого обосновывается с помощью соответствующей риторики. Вектор исторического движения определяется равнодействующей двух сил: сопротивляющегося общества, заинтересованного, однако, в развитии, и революционной личнос-

Философия истории в России

ти, вынужденной корректировать свои новации, учитывая возможность их социального признания. Новое зачастую является в «старых одеждах»: так, например, Герцен для популяризации своих воззрений часто использует сюжеты и догматы христианской религии, которые функционируют в качестве пояснительных метафор.

Утверждение идеала всегда способствует оправданию современности, ее самосознанию. Но не все идеалы приемлются обществом: большинство из них воспринимаются как утопические проекты, опасные для его существования. Гибель идеалов порождает разочарование в «грубой» действительности и актуализирует вопрос о соотношении исторического и логического, ответ на который заключается в трагическом сознании несоответствия развития жизни и идей. В этом сознании сказывается «ирония истории», которая усиливается в связи с обнаружением временности утвердившихся идеалов: с течением времени идеал утрачивает способность служить ориентиром развития общества и вступает в противоречие с новыми реалиями социальной жизни, требующими других идеалов; оказываясь «старым», идеал считается ложью, и творческая энергия исторических личностей направляется на его дискредитацию и преодоление.

Закономерная гибель идеалов побуждает сделать вывод о принципиальной невозможности полностью предсказать историю, навязать ей оптимальную «схему» развития. Понимание этого, в свою очередь, требует изменения привычного взгляда на историю — так возникает, согласно К.Г. Исупову, «эстетика истории», своеобразная область философско-исторических построений Герцена. Эстетическое отношение к истории можно охарактеризовать как намеренное дистанцирование и от объективно значимого настоящего, и от субъективно моделируемого будущего. Будучи включенным сразу в несколько исторических горизонтов, а именно в горизонт актуального настоящего (объективное положение дел, с которым приходится мириться) и в горизонт идеального будущего (субъективный социально-исторический идеал, который следует осуществить), Герцен, как пишет К.Г. Исупов, «движется поперек этих уровней», в результате чего его точка зрения оказывается «исторической и метаисторической вместе»¹⁰.

Безусловно, такая точка зрения не может не быть ироничной, причем ирония в данном случае является злой и трагической. Однако тяжесть разочарования и трагизм исторической вненаходимости обуславливают возможность подлинного историзма, который и заключается в том, чтобы смотреть на историю эстетически. Эстетический взгляд — это одновременно и взгляд со стороны, взгляд «ироника-зрителя», и взгляд заинтересованного участника исторического процесса, взгляд-оценка, или суд (Герцен возвращает термину «история», как пишет К.Г. Исупов, первоначальное значение «зрения», «познавания», «суда», «оценки»). Восприятие прошлых событий и прозаичес-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

кой повседневности становится «романным», эстетизируется, т.е. преломляется сквозь призму художественной завершенности.

Категория завершенности, по К.Г. Исупову, является фундаментальной в исторической эстетике Герцена. Во-первых, она позволяет воспринимать историю как череду осуществившихся идеалов, образующих законченные главы в огромном романе жизни, который еще продолжает писаться. Во-вторых, эта категория дает возможность определить критерий художественности вообще. И поскольку такой критерий найден, то сразу же производится дихотомическое структурирование стихийного исторического процесса, в результате чего выделяются противостоящие друг другу подлинный артистизм исторического человека и театральнo-фарсовая реальность, маскарадная действительность, «лжеисторическая значительность» которой «прикрывается маской подлинности»¹¹. Подлинный, или естественный, артистизм — это «артистизм исторического деяния по уставу художественной гармонизации действительности», в то время как «маскарад» и «пародия истории» обуславливаются подражанием мертвым идеалам социальной жизни¹².

Поскольку Герцен истолковывает историю как художественное произведение, стремясь выявить «художественный элемент в самой жизни»¹³, постольку, делает вывод К.Г. Исупов, «на вершине «исторической эстетики» Герцена утверждена мысль о развитии истории по законам художественного творчества и о самой истории как эстетическом артефакте»¹⁴. Получается, что исторический процесс не так уж непредсказуем, что несмотря на искусственность оформления исторического материала оно подчиняется своей логике, которая часто противоречит желаниям исторических деятелей. Эта логика выражается не в линейном развитии истории, когда одно событие служит предпосылкой для другого в смысле изначальной размеченности исторического движения к определенной цели (ни цели, ни плана у истории быть не может), — она выражается в следовании определенным канонам художественности, или красоты, которая — приходится предположить — внеисторична, а значит неподвластна времени и не зависит от представлений непосредственных участников истории. Импровизационная многоликость и полиморфность истории попадает в сети эстетической законности и строго упорядочивается, стандартизируется, иерархически выстраивается по направлению к идеалу. Совершенство исторического факта как художественного произведения становится завершением истории, ее пределом, указывающим, между прочим, и на то, что историчность истории отнюдь не исчерпывается самой историей, а предполагает ее преодоление, выход из истории.

Эстетически понимая историю и завершая ее в своем творчестве идеала, Герцен, по мысли К.Г. Исупова, искал из нее выход и нашел его. Об этом свидетельствует чарующая сила исторического слова Герцена, которое тоже имеет «эстетическую природу». Влияние писем «с того берега» на интеллек-

Философия истории в России

туальную и духовную атмосферу в России как раз и объясняется особым даром Герцена, который можно назвать пророческим. Действительно, свободное и бесцензурное слово Герцена — это слово-дело, слово-поступок, слово-правда и верность идеалу, оно доверительно адресуется каждому и не стесняется быть услышанным, поскольку является исповедным. Исповедь Герцена закономерно переходит в проповедь, которая оказывается действенной потому, что говорит истину. «Слово Герцена, далекое и исповедное (исповедальное!), гордится своей прерогативностью: оно первым несет истину, это новое слово правды»¹⁵.

Бесцензурное слово, к тому же, сродни катарсису. Эстетико-историческое познание оказывает катарсическое воздействие на человека: сопереживая в высокой экзистенциальной драме личностей, народов и государств, он получает возможность «очиститься» от истории, преодолеть ее. Эстетический смысл истории в том и состоит, чтобы потрясенный ее зрелищем человек извлек уроки трагического прошлого. Согласно К.Г. Исупову, «в ситуации катарсического переживания прошлого осуществляется своего рода морально-эстетическая закалка перед зрелищем гибели величественных некогда идеалов»¹⁶. Таким образом, исторический катарсис позволяет осуществить трансформацию эстетического в этическое или, по крайней мере, их синтез; обостренная чувствительность к истине побуждает к исповеди, в которой существенным образом эстетически сочетаются знание правды, уверенность в правоте и жажда проповеди. Возможность такого сочетания обуславливается тем, что «этическая целостность слова и дела, утвержденная в поступке и высказывании, есть и эстетическая целостность, поскольку это поступок красноречивого свидетеля и действующего лица исторической драмы века»¹⁷.

Свои размышления об «эстетике истории» Герцена К.Г. Исупов завершает изложением принципов своеобразной «философии эстетического поступка»: «Слово с презумпцией приоритета становится фактом эстетического присутствия в мире истории, эстетическим поступком в динамической картине социальной действительности, которая есть не что иное, как художественное произведение, слагающееся из многих эстетических поступков. История понимается как “текст”, а текст — как слово об истории. Событие и слово о событии образуют реально-историческое единство»¹⁸. Создается впечатление, что это позиция самого Герцена, — вполне приемлемая и понятная, инспирирующая актуальные философские проблемы, определяющие горизонт современной мысли. Но так ли это?

Если эксплицировать риторические приемы интерпретации Герцена, использованные в статье К.Г. Исупова, то получится примерно такая «схема»: сначала эксплуатируется метафоричность и образность языка Герцена с целью показать, что он в такой же степени поэт и художник, в какой он является философом (тезис, безусловно заслуживающий доверия и располагающий «критического» читателя к интерпретатору); обилие интересных цитат и

Фигуры истории, или «общие места» историографии

неожиданных сравнений создает впечатление неординарности как текстов Герцена, так и предлагаемой интерпретации, настраивает на художественное и творческое их прочтение; затем внимание читателя сосредотачивается исключительно на «формальном» анализе: интерпретатор говорит о том, «как» сделаны тексты (в данном случае — «как красиво»), и умалчивает о «что»; постепенно главным предметом исследования становится сам текст, функционирующий как бы без особого участия автора и даже противостоящий ему как автономное произведение искусства, вследствие чего ставится задача определения объективных критериев художественности; появившийся настрой на «объективное познание» позволяет буквально истолковать вырванные из контекста высказывания Герцена, в результате чего происходит онтологизация эстетического (например, ирония прямо понимается как «усмешка природы» и «штутовской замысел бытия»), все метафоры Герцена превращаются в категории эстетико-исторического познания (из того, что Герцен рассматривает историю эстетически, следует, что она такова сама по себе); «объективные критерии» художественности (завершенность, гармоничность) объявляются таковыми же критериями историчности, причем сразу вводится различие истинного и ложного (обоснование такому различению вообще не дается — просто потому, что его вообще нельзя дать, — вместо него оказывается достаточным просто сослаться на особую проницательность или чувствительность авторитетного «эстетика истории»: «Герцен остро чувствует маскарадную действительность...»); дихотомия истинного и ложного позволяет упорядочить хаотическое содержание истории, превратить его в привычную систему ранжированной осмысленности; затем проводится процедура драматизации главного героя, объясняются причины его разрыва с современностью («бездомный» Герцен, обреченный на скитания своей правдивостью), в результате чего делается вывод о том, что история нуждается в оправдании, для чего эстетическое отождествляется с этическим, причем основанием для такого отождествления является истинность: красота, которая убеждает («исповедальное» слово Герцена, оказывающее моральное воздействие), не может не быть истинной; таким образом, «эстетика истории» превращается в очередное «оправдание добра».

Очевидно, что данная интерпретация философских взглядов Герцена на историю менее всего претендует на их новое прочтение; скорее, своей целью она считает их «одомашнивание» посредством творческой адаптации в прокрустовом ложе официальной духовности. Возможно, философия истории Герцена заинтересовала К.Г. Исупова не потому, что он нашел в ней созвучные своим идеям мысли, а как раз наоборот: потому, что убедительность и искренность Герцена диссонируют с общепринятым объяснением их возможности. В этом отношении философия Герцена и ее восприятие современной мыслью напоминают полемику Елифаза, Вилдада и Софара с «человеком в земле Уц». Основной вопрос, определяющий проблематику «Книги Иова», может быть

Философия истории в России

сформулирован так: «Что лучше: солгать во имя истины или сказать правду во имя лжи?» Как известно, друзья и родные Иова лгут, обличая праведника в грехах, потому что в противном случае пришлось бы усомниться в праведности Бога; их ложью спасается Истина. Иов же говорит правду, но результатом ее является хула на Бога, отрицание Истины. Согласно ветхозаветному тексту, победителем в споре выходит Иов, но только потому, что за него вступился сам Бог. В споре с современностью отстаивать свое право быть собою намного труднее, если вообще возможно. Философия истории Герцена как принципиальное дистанцирование от современности позволяет, по крайней мере, не лгать, и в этом ее исторический смысл.

В заключение хотелось бы отметить еще одну работу, посвященную интерпретации творчества Герцена, — монографию Р. Хестанова «Александр Герцен: импровизация против доктрины» (М., 2001), в которой значительное внимание уделяется истолкованию герценовских взглядов на историю. Р. Хестанов, подобно К.Г. Исупову, стремится говорить о «как», методически отстраняясь от «что», однако его интерпретация является более интересной и продуманной. Философия истории Герцена, согласно Р. Хестанову, интересна как опыт отказа от традиционной риторической парадигмы универсализма и как попытка построения нередуктивной и самотрансформирующейся системы творческой мысли, апеллирующей к случайности и противостоящей диктату современности. Для подтверждения своих выводов Р. Хестанов обращается к теоретическим разработкам современной зарубежной философии, и прежде всего к неопрагматизму Р. Рорти, «словарь» которого используется для истолкования большинства положений Герцена. Можно даже сказать, что Р. Хестанов чересчур уверенно «читает Герцена глазами Рорти»¹⁹, и в этом, пожалуй, один из существенных недостатков его интерпретации. Более продуктивной была бы попытка прочитать Рорти (а вместе с ним и всю элиминативную постфилософию современности) глазами Герцена, поскольку именно он впервые продумывает ту проблематику, которая сейчас определяет содержание философской мысли.

Примечания

¹ Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Цена веков. М., 1991. С. 100.

² Страхов Н.Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки. СПб., 1882. Т. 1. С. 48.

³ Розанов В.В. Опавшие листья. М., 1992. С. 466.

⁴ Булгаков С.Н. Сочинения в 2-х т. М., 1993. Т. 2. С. 114, 105.

⁵ Герцен А.И. Сочинения в 30-ти т. М., 1954—1956. Т. 24. С. 182.

⁶ См. также: Исупов К.Г. Русская эстетика истории. СПб., 1992.

⁷ Исупов К.Г. «Историческая эстетика» А.И. Герцена // Русская литература. Историко-литературный журнал. № 2. 1995. С. 45.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

⁸ Там же. С. 41.

⁹ Там же. С. 35.

¹⁰ Там же. С. 39.

¹¹ Там же.

¹² Там же. С. 39–40.

¹³ Герцен А.И. Сочинения в 30-ти тт. Т. 16. С. 135.

¹⁴ Исупов К.Г. «Историческая эстетика» А.И. Герцена. С. 42–43.

¹⁵ Там же. С. 44.

¹⁶ Там же. С. 42.

¹⁷ Там же. С. 46.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Одна из статей Р. Хестанова так и называется: «“И остановился перед ироническим либерализмом”. Читаем Герцена глазами Рорти».

Ю.А. Стоянов (Санкт-Петербург)

НАЧАЛА ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ В ВОЗЗРЕНИЯХ И.В. КИРЕЕВСКОГО И В.Н. КАРПОВА

Термин «философия истории» был введен в научный оборот Вольтером, хотя фактически философия истории существует еще со времен античности. Тогда она, разумеется, не была так явно обозначена, и специальные трактаты на эту тему не писались. Хотя, если рассмотреть, например, Ксенофонта, автора «Анабасиса» и «Киропедии», то мы сможем обнаружить у него обширный труд, представляющий собой сплав истории и философии — «Сократические сочинения». Несомненно то, что деятельность Сократа органично входит в концепцию истории, поэтому, хоть и очень приблизительно, мы можем сказать, что это была именно философия истории. Впоследствии история представляет нам других мыслителей, которые, так или иначе, но прикасались к этому вопросу. Так Августин разработал концепцию «града божьего», которая в течение всего средневековья оставалась доминирующей. Она, конечно, подвергалась во времени определенным изменениям, поскольку ход истории диктовал новые правила. Ярким примером является сочинение «Диктат папы» Григория Гильдебранда, который по-иному определил исторические задачи взаимодействия папства и паствы. Но средневековье не богато на изменения в идеологическом вопросе, а, следовательно, философия истории также находилась практически в состоянии статики. Ренессанс также не был богат на философию истории, тем более что он еще находился в лоне августиновского учения (исключение составляет только Макиавелли). Лишь в XVIII веке философия истории принципиально вышла за пределы августиновства. С XVIII века начинается подлинный расцвет философии истории, когда каждый мыслитель представлял на суд ту или иную оригинальную картину основ истории. В XVIII веке философия истории активно развивалась благодаря стараниям Дж. Вико, Монтескье, Лессинга, Гердера, Канта. В XIX веке она продолжала разрабатываться Фихте, Гегелем, Марксом, Карлейлем, Буркхардом и другими. В XX веке классическим образцом философии истории явился трактат Шпенглера «Закат Европы». Помимо него можно отметить работы Т. Лессинга, Тойнби, Трельча. Все концепции философии истории, развитые на Западе, весьма противоречивы между собой и не составляют какой-либо целостности. Так, например, у Вико господствует сравнительный метод исследования, Гердер исходит из неких естественных законов прогресса в истории. Короче говоря, эти гипотезы можно перечислять долго, но одно несомненно, что они представляются как индивидуальные начала того или иного мыслите-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ля, а не рассмотрение исконных народных начал истории. Можно сколь угодно долго говорить о господстве метафизических сил, мирового разума в истории, но все это будет лишь спекулятивная картина размышлений одного человека, а не рассмотрение практической деятельности целого народа или народов. К примеру, Карлейль взял за основу понятие «герой» и на основании этого очертил контуры истории человеческой мысли. На этом основании можно, конечно, построить концепцию философии истории, но нет уверенности, что она не останется лежать на полке, а возымеет определенный резонанс в обществе. Следовательно, стержень философии истории следует искать не в единичных фактах, а в чем-то более глобальном, что врождено в сознании каждого индивидуума. Но в XX веке, как мы отметили выше, одна из главных концепций философии истории принадлежала Шпенглеру. Обозначить ее можно одним словом — пессимизм. Правомочен ли такой подход? Разумеется, да. Ведь мы не можем заставить философа мыслить иначе. Но любой пессимизм, как это блестяще показал Евгений Дюринг, всегда разрушителен и не предлагает никаких выводов из создавшегося кризиса. Следуя этой философии истории, вся жизнь сводится к нелепости и абсурду, а вся история сводится к спекулятивной и фатальной эсхатологии. В том же XX веке были мыслители, занимавшиеся философией истории, но придерживавшиеся противоположных взглядов, — например, Тойнби. В 1916 году Р. Челлен основывает новое течение, которое можно рассматривать как ответвление от философии истории, геополитику. Перейдем к краткому обзору философии истории в России.

В России философия истории представляется как противопоставление Западной философии истории. Извечный вопрос: «Запад—Россия» находит отражение в философских воззрениях как западников, так и славянофилов. Позднее, как у консервативных, так и у либеральных мыслителей, мы можем видеть определенные концепции философии истории. В XX веке, с его катастрофическими событиями, тема философии истории в России затрагивалась чуть ли не каждым мыслителем. Так или иначе пересматривалась история России, искались новые основания, которые либо оправдывали, либо подвергали критике установившуюся диктатуру большевизма. Философия истории в этот период уже отчасти отошла от противостояния западничеству, и начала искать новые, внутренние основания для философии истории. Наиболее яркими представителями в этом вопросе являются, пожалуй, евразийцы. Философия истории присутствует также в трудах В.В. Зеньковского, Г.А. Ландау, Б.П. Вышеславцева, Н.А. Бердяева и других философов. Философию истории можно представлять совершенно по-разному. Это может быть анализ исторических начал прошлого (Вико, Гердер), может быть рассмотрение прошлого с перспективой описания будущего (Шпенглер, Ландау), может представляться как выявление общих законов истории (Данилевский, Тойнби).

Философия истории в России

Во всех рассуждениях неизбежно присутствует философское начало, ибо мы не можем очертить общие контуры хода истории, не прибегая при этом к философии. Наша задача заключается в том, чтобы выявить начала философии и проследить, могут ли они являться началами истории. Обозначая начала философии, мы не рассматриваем прошлое исторического процесса и не выявляем некоторые общие законы. Мы рассматриваем способность философских начал в историческом процессе. Этот взгляд следует определить как направленный в будущее. Рассматривая этот аспект философии истории, мы неизбежно сталкиваемся с гносеологией (началами мысли).

В этой статье мы хотим представить два взгляда на философию истории, рассмотреть творчество двух мыслителей — Ивана Васильевича Киреевского и Василия Николаевича Карпова. Оба эти мыслителя относятся историками к стану консерваторов. Не будем полемизировать по этому вопросу, т.к. нашей задачей является рассмотрение их взглядов на то, какие начала должны присутствовать в Русской жизни, дабы не впасть России в бездну неверия и невежества. В связи с этим возникает вопрос: почему мы не можем взять для рассмотрения философию истории ранних славянофилов (А.С. Хомякова, К.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина)? У одних она рассмотрена больше, у других — меньше, но мы рассматриваем лишь Киреевского. Для обзора мы также можем взять работы мыслителей и из стана духовно-академической традиции (С.С. Гогоцкого, О.М. Новицкого П.А. Милославского, Н.Г. Гилярова-Платонова), у которых также есть некоторые рассуждения на тему философии истории, но мы рассматриваем лишь В.Н. Карпова. Мы могли бы рассмотреть творчество мыслителей, которые вообще не принадлежали ни к одному из вышеперечисленных течений. (Вспомнить хотя бы статью С.П. Шевырева «Взгляд русского на современное образование Европы» в журнале «Московитянин» или статью М.П. Погодина «Петр Великий»). Но мы ограничимся рассмотрением творчества двух мыслителей, рассмотрение всех историософских течений не является нашей задачей. По историософии Киреевского написано бесчисленное количество книг и статей, и поэтому обозначим основные моменты его сравнительного анализа истории Запада и России, не углубляясь в подробный анализ. Философия истории в работах Карпова не особенно сильно развита. В своем раннем творчестве он всего лишь обозначает, что философия должна прийти к основам религии откровения. В позднем творчестве он очерчивает более детально историософские вопросы, но они не противоречат в основании своем славянофильской концепции.

Киреевский и Карпов слишком похожи и слишком разнятся в своих историософских воззрениях. Киреевский первоначально не был славянофилом. Он получил неплохое домашнее образование и в эти же годы испытал влияние своего сводного брата Н.А. Елагина, который был поклонником Шеллинга. Затем Киреевский уехал за границу, где слушал лекции Гегеля в Берлине,

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Шеллинга и Окена в Мюнхене. Вернувшись в Россию, он начал издавать журнал с характерным названием «Европеец», который был запрещен после статьи «Деятельный век». Статья была более чем двойственная. С одной стороны, Киреевский отдал должное Западу и западному просвещению, с другой — он выступил апологетом истинно русских начал. Киреевский выступает здесь как либеральный славянофил. И только позднее, когда он освоил труды святых отцов (особенно Исаака Сирина), пришел к выводу, что Шеллинг не сказал ничего нового, что все это было уже написано ранее святыми отцами, и он окончательно принял концепцию славянофильства. Таким образом, Киреевский не был изначально, как Хомяков, на позициях славянофильства, он пришел к этому путем долгих размышлений.

Карпов также не был ортодоксален в своей философии. Он окончил курс в Киевской духовной академии, а затем преподавал, там же и в Санкт-Петербургской духовной академии. В своем главном труде «Введение в философию» он держался в стороне от консервативной академической мысли. Можно предположить, что в основе философии Карпов полагал почти картезианский принцип, хотя со всей категоричностью так заявлять, наверное, нельзя.

Как мы видим, ни Киреевский, ни Карпов не были последовательными в своих философских воззрениях. Их воззрения отличаются некоторыми философскими метаниями. Объединяет их то, что в 1856 г. в журнале «Русская беседа» Киреевский печатает фундаментальную статью «О необходимости и возможности новых начал для философии», которая явилась, пожалуй, главной славянофильской работой мыслителя, и в том же году Карпов в журнале Министерства Народного Просвещения публикует статью «Взгляд на движение философии в мире христианском и на причины различных ее направлений». Здесь взгляды обоих мыслителей в вопросе философии истории почти сходны. Философия истории Киреевского превосходно изложена в статье «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». Но наша задача состоит в сравнении истории философии и гносеологических начал философии. Следует отметить, что в то время, когда преподавание философии в университетах было запрещено, подобные воззрения по философии истории высказывались и другими мыслителями. Так, например, в том же, 1856 г., И.А. Чистович публикует статью «О значении философии в мире языческом и христианском», а С.С. Гогоцкий в своем труде «Философский лексикон» и в статьях «Критический взгляд на философию Канта» и «Обозрение системы философии Гегеля» также рассматривает этот вопрос.

В конце XIX века уже предпринимались попытки рассмотрения концепций философии истории Киреевского и Карпова. В 1898 г. в журнале «Христианское чтение» была опубликована статья П.М. Ласкеева «Два проекта христианско-православной философии». Наша задача заключается в том, чтобы рассмотреть начала философии и как они сочетаются с философией исто-

Философия истории в России

рии, а также рассмотреть вопрос: можно ли эту христианско-православную философию истории применить к истории России?

Философия истории у Карпова и Киреевского сводится к рассмотрению вопроса о том, как между собой взаимодействуют философия и религия. Если на Западе они представляются почти чуждыми друг другу, то задачей русской мысли является нахождение таких начал, которые примирили бы между собой веру и знание. Действительно, верующий человек не может доказать свои религиозные убеждения, а мыслитель, всецело придерживающийся западноевропейских начал философии, не нуждается в религиозных установках. В средние века философия часто представлялась, как служанка теологии, которая призвана толковать религиозные догмы. В новое время, благодаря Декарту, философию начинают с сомнения, т.е. ничего не принимают на веру без достаточного основания. Принцип *de omnibus dubitandum* принимает общее и абсолютное значение. Затем протестантская мысль, которая освободилась от католического догматизма, положила свое собственное суждение в теологии, как основной принцип, и породила философию Канта, которая в основе своей, как писал П.А. Флоренский, заключается в том, что явление не принадлежит сущности, и сущность не принадлежит явлению¹. В мышлении, следовательно, подлежат объяснению только те начала, которые поддаются логическому анализу. Для веры места не остается, а, значит, она не так и важна в философии и тем более вера не может быть началом философии.

Верен ли принцип Декарта в философии? «Завет Декарта прекрасен только как методологический принцип, но как принцип философии он, при последовательном его проведении, безусловно, теряет всякий смысл и неизбежно переходит в абсолютный скептицизм»². В философии Декарта нет абсолютного скептицизма. В.Я. Рожанский выделяет два вида скептицизма:

1) законный — как необходимая фаза развития в истории человеческой мысли;

2) незаконный — или фанатический, который в себе противоречит стремлениям нашего духа.³

Очевидно, что скептицизм Декарта носил характер законный. Л.Фейербах подчеркивал, что скептицизм Декарта был положителен, т.к. он шел к достоверности. Но в то же время Декарт подвергнул сомнению все, даже свое бытие. Его *ergo sum* утвердилось на *cogito*. Почему бы не подвергнуть сомнению и *cogito*? Но тогда не оставалось бы совсем никаких оснований, и вся философия была бы бессмысленна. Отсюда следует вывод, что Декарт опирается на свое *cogito* или, иначе, что основной признак его философии опирается на *res*, а отличительный признак, существенный его атрибут, обозначается термином *cogitans*. Очевидно, что даже в рационализме некоторые понятия принимаются на веру. Карпов и Киреевский при постановке вопроса о началах философии исходят из своей веры в христианское мировоззрение, а, точнее,

Фигуры истории, или «общие места» историографии

из православия. Действительно, если основывать начала философии на рационализме, то мы неизбежно приходим к тотальному неверию, поэтому христианская философия должна устанавливать такие формы мышления, которые согласовываются с принципами христианской веры. «Таким образом, в противоположность установившимся со времен Декарта традициям, вошедшим в плоть и кровь новой философии, Карпов и Киреевский основывают свои философские воззрения на вере»⁴. Это не является опорой на схоластику. Свободу мышления в философии необходимо сочетать с принципами веры, как это и делали Киреевский и Карпов и, в целом, православная мысль. В этой системе подхода к началам философии остается место и сомнению — как методологическому принципу. Такая философия избегает как крайнего догматизма, так и крайнего скептицизма.

Обратимся к философским началам Карпова. В начале «Введения в философию» Карпов указывает, что «в наше время, более, нежели когда-нибудь, мыслители разошлись в понятиях об основных моментах философии, — и это может иметь чрезвычайно вредные следствия как для жизни, так и для науки»⁵. Действительно, философия в начале XIX века развивалась совершенно разнонаправленно. Были сильны западные, прежде всего протестантские, влияния, а самобытные независимые формы мысли были еще не оформлены. Очевидно, что Карпов (как и его предшественник Ф.Ф. Сидонский) полагал в началах философии некоторые национальные аспекты. Во «Введении в философию» Карпов эту мысль не разовьет, это предстоит ему сделать позже.

В начале философии Карпов основополагает *истину*. «Начало есть истина, от которой мыслящий субъект начинает ряд своих выводов и заключений о каком-нибудь предмете»⁶. Истина есть то начало, а, возможно, и цель, к которой необходимо прийти, или от которой нужно отталкиваться в философии. Следуя логике Карпова, человек в философии может полагаться только на ум, т.к. только он представляется прочным основанием для философии. У этого основания, следовательно, субъективное свойство. Полагая ум прочным основанием, философы «основывали свои системы то на чувстве животном или физическом, то на чувстве эстетическом и нравственном, то на мышлении и бытии, то на идее Бога и постулатах закона, то на сознании и совести»⁷. Для преодоления разногласий истина должна иметь два качества:

- 1) должна быть ясна сама по себе;
- 2) должна быть одинаково присуща всем людям.

Каково же тогда начало в субъективном плане? Карпов утверждает, что «ни чувство, ни постулаты закона, ни идея Бога не могут быть положены в основания философии, все признаки субъективного начала очевидно приличествуют *сознанию*. Сознание, понимаемое в смысле теоретическом и нравственном, по всей справедливости может быть названо первою истиной; по-

Философия истории в России

тому что все, входящее в сферу человеческой жизни и являющееся в ней, делается таким единственно под условием сознания»⁸. Карпов полагает в своих основаниях философии все тот же гносеологический принцип *cogito*, через который обозначает онтологию (*ergo sum*). Независимо ни от чего, все явления, входящие в человека, проходят через призму сознания. Как мы можем что-либо понимать, обозначать или высказывать, если мы этого не осознаем? Отсюда следует вывод, что сознание есть истина философская, она ясна сама по себе и одинаково присуща всем людям, она не выводится из какой-либо другой истины и для любого индивида является аксиомой. Однако Карпов добавляет: «субъективная сторона философии найдена, сознание или совесть в значении силы психической, т.е. положение: я сознаю, есть истина первая, непосредственно известная, которая должна быть субъективным началом»⁹. Помимо сознания, Карпов упоминает совесть. Думать, что эти категории абсолютно идентичны между собой, было бы нелепо. Они разные. Почему же тогда Карпов вместе с сознанием выделяет и совесть? Что же такое совесть? Ответить на этот вопрос можно, например, с позиции корнесловия. Совесть, или со-вестие, есть нечто сокровенное, апофатическое и разуму совершенно недоступное. Это есть, по словам апостола, закон, начертанный в сердцах. Если совесть есть закон, или весть, то правомочно задать вопрос: какая весть является главной? Ответ очевиден: Благая весть, или Евангелие. Иными словами, со-вестие следует рассматривать как со-Евангелие. Несмотря на рациональное начало философии, Карпов привносит в него православный элемент.

С объективной точки зрения, Карпов также полагает началом философии сознание. «Если сознание должно быть мерою истин, и свойства сознания, как субъективной стороны начала философии, не могут не участвовать в определении их достоинств; а потому истину, представляющуюся в сознании первою, непосредственно известною, ясною и всеобщую, без всякого сомнения надобно почитать объективною стороною начала философии»¹⁰. Сознание каждого субъективно, и в философию можно положить совершенно разные основания. В сознании «они примиряются сами собою, потому что сознание есть общее доказательство их бытия и общая порука за большую или меньшую очевидность их предписаний»¹¹. Можно сделать вывод, что сознание есть начало познания, а все, что оно рассматривает — чувства, стремления духа, волю, рассудок — все имеет начало в сознании. Сознание есть также и начало бытия. Если сознание есть начало любого мышления, то закономерен вопрос: с чего начинается познание, или как сознание переходит в познание? По мнению Карпова, это есть самопознание, которое является предметом философии. Самопознание предстает как метафизическое начало, поскольку оно исследует и сверхчувственное и мыслимое, которые приходят в человека из внешнего мира. Мы не будем подробно рассматривать толкование самопознания Карповым, т.к. это выходит за границы предмета нашего исследования.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Отметим только, что начало философского знания лежит в самопознании, и наука, которая исследует этот вопрос, есть психология. Карпов полагал, что философия и психология должны тесно взаимодействовать друг с другом, что «путем психологического анализа мы раскроем законы и формы деятельности всех трех видов своей жизни, обнаруживающихся в рассудке, воле и сердце, и в последнем найдем основания для изъяснения стремлений религиозных и эстетических — в обширном, или философском, значении их»¹². При помощи сознания и законов психологии Карпов пытается основать на них и философию религии, и философию природы, и в целом философию человечества. Развивая сознание, разум впоследствии придет к тому, что для «нас необходима небесная помощь откровенной религии и что наша внешняя жизнь должна ограничиваться законами»¹³. Разумеется, под откровенной религией Карпов подразумевает православие.

Разрешая вопрос веры и разума, Карпов отдает первенство ratio, хотя бы и с некоторыми оговорками. Он не отрицает веру, которая играет определенную роль в познании, но ее место получается вторичным. «Стоит лишь взять в качестве начала философии сознание, ум сам собою по законам логической необходимости будет приведен к истине»¹⁴. Истины откровенной религии постигаются путем развития сознания, и вера приходит к человеку не изначально, а путем того же развития сознания, или самопознания.

С одной стороны — это верно. Как мы можем верить, если этого не осознаем? Но, с другой стороны, в мире нет достаточного основания для чего бы то ни было, и философские истины мы вынуждены принимать на веру. Вся история философии представляет собой многосложные комбинации веры и разума. Карпов определяет начало философии — это сознание, как с объективной, так и с субъективной стороны. А вера, по его мнению, примешивается к процессу постижения мира лишь тогда, когда сознание уже начало процесс самопознания.

В своей «Истории философии» Карпов проводит ту же мысль. История философии представляется ему как искания исключительно ума. Только ум «познает частичные явления мира органического и нравственного и, согласно с частными наблюдениями и со взглядом на содержание вселенной, строит ту или иную философскую систему»¹⁵. Состав этой работы также характерен. Карпов начинает историю философии с раннегреческой натурфилософии, подробно описывает системы Сократа, Анаксагора, Платона и других. И, миновав средневековье, сразу же переходит к философии Бэкона, Декарта, а завершает свой труд обширным рассмотрением системы Локка. Философию истории Карпов специально не рассматривает, но очевидно, что ее общая схема состоит в том, чтобы привести умы привыкших искать во всем достаточные основания к вере. По такой системе должна идти философия в России, которая определит ход истории.

Философия истории в России

В более поздних работах Карпов отходит от своего первоначального взгляда на начала философии. Мы не будем подробно рассматривать критику рационализма, остановимся лишь на самых общих основаниях.

Карпов рассматривает веру по-иному. Она была «тайной судьей всей философской системы и оценивала ее достоинства своим, часто незаметным для ума приговором и, по неудовлетворенности одной, побуждала философа полагать основания для другой»¹⁶. «Идея всегда заимствуется из веры» — таков тезис Карпова. Далее он приводит пример, что прежде чем окрепла христианская сила мысли, люди первоначально уверовали во Христа. После этого вера и разум представляли собой единое, цельное начало в мышлении, в нравственности и в других областях деятельности. Христианство становится в философии путеводной звездой, которая освещает новые пути познания, и с этого момента философия становится *христианской*. Философия уже не является средоточием одной диалектики, где действует только ум. Христианство преподносит философии деятельность сердца, которое почти неведомо было языческим философским системам и школам. Делание сердца было свойственно особенно восточно-христианской философии. В ней «весьма рано проявилась склонность к практическому любознанию»¹⁷. Это затем переключалось в русскую мысль, которая изначально не была богата, как Запад, схоластическими схемами. Русское мышление согласовывается с верой, и только на этом основании мы можем говорить о философии в русской мысли. Карпов отмечает, что западная мысль была далека от народных основ жизни, в то время как православная мысль черпала свои начала из Священного писания и выражала народные чаяния. Поэтому «мы не сроднимся с западным рационализмом, поскольку он не может сродниться с нашей православной верой»¹⁸.

В философских воззрениях Карпова можно обозначить два периода: а) философский, где мыслитель сознание рассматривает как начало философии и б) философско-православный, где вместе с сознанием в фундаменте философии Карпов полагает веру. Второй период его деятельности близок к славянофильской концепции.

Перейдем к рассмотрению начал философии и философии истории Киреевского. Аб ово следует отметить, что сравнительные исторические воззрения Киреевского не сосредоточены в одной статье, и поэтому мы возьмем только основополагающие размышления на эту тему.

В своей первой славянофильской статье «В ответ А.С. Хомякову» Киреевский писал, что между Западом и Россией есть одно несомненное и общее начало — христианство. Образование католического Запада и православного Востока основывались на разных началах. В основу европейской образованности легли, как полагал Киреевский, — римское христианство, мир необразованных варваров и классический мир древнего язычества¹⁹. Эти начала породили на Западе рационализм, всевозможные догматы, которые расходятся

Фигуры истории, или «общие места» историографии

с ортодоксальным христианским учением. Протестантизм есть прямое продолжение католического рационализма, доведенный в своих суждениях порой до абсурда. Примеров разрушительного влияния рационализма в европейской философии много. Николай Гартман довел почти до абсурда пессимистические воззрения Шопенгауэра, в XX веке Камю бездоказательно высказал мысль, что человеческая жизнь бессмысленна и абсурдна, а символ жизни есть Сизиф. Тупиковость западной философии резко обозначилась в предыдущие века, а в XX веке переживала своеобразный расцвет философской несостоятельности.

Просвещение Востока было качественно иным, у него не было торжества силлогизма и индивидуального начала. Тезис Киреевского, очевидно, состоит в том, что восточное православие представляется как симфония разума и веры. Именно такая основа, утвердившись в Византии, легла затем в основу русского мировоззрения. Если с Петра Первого пошло разрушение русского и внедрение инородного, то к концу XIX века встал естественный вопрос: следует ли желать нам возвратить прошедшее России и можно ли возвратить его?²⁰ Идти западным путем России неприемлемо, это было очевидно и в XVIII, и в XIX веках, но и возвращение к истокам также невозможно. Нельзя историю насильно повернуть вспять, пытаясь поставить ее на прежние основы, которые утратились с ходом истории. Следовательно, нужны некие новые «элементы» в началах философии и в развитии истории, чтобы Россия не пошла по пути подражания Западу, и не пошла по тропе регресса, подражая той старорусской жизни, которую уже невозможно реконструировать. Таковы предпосылки к созданию новых основ истории. Киреевский в этой работе только обозначает проблему.

В статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» Киреевский пытается выявить философские основы применительно к дальнейшему развитию истории России.

Киреевский снова касается вопроса о том, что Запад принял христианство, но методы и формы мысли остались почти языческими, опирающимися на философию Аристотеля, логические схемы которые смешивали с теологией. Христианство на Западе было формально-логическим, а вовсе не животворящим, и отсюда вытекают постоянные метания в передовых философских умах. Таким образом, Запад подчинил божественную истину внешнему разуму. Этот процесс на Западе не был столь однозначен. Европейская мысль сделала огромный шаг в философии, но лейтмотив ее заключался именно в рационализме. Например, появление философии Блеза Паскаля, с его концепцией, близкой к восточной мысли, также не произвело резонанса в истории мысли и осталось без практического применения. Рационализм неизбежно прогрессирует, создавая новые формы умствования. Киреевский отмечал, что в истории западной цивилизации были такие «минуты», когда история

Философия истории в России

могла бы пойти по совершенно другому пути. Впервые такая минута настала для Европы во время отклонения от ортодоксального христианства. Ход истории мог бы измениться, но *ratio* восторжествовало в умах западных христиан. Позднее такая минута была во времена зарождения протестантизма. Во многих вопросах учение Лютера и движение гуситов были близки к православиям, но и тогда восторжествовало тотальное индивидуалистическое начало в философии.

Россия в допетровскую эпоху оставалась в лоне классического восточного православия, не изменяясь под влияниями разумности. В то же время мы не можем сказать, что философия истории совершенно отсутствовала в православном любомудрии. Концепция «Москва — третий Рим» Филофея Псковского или икононовская формула «Москва — Новый Иерусалим» подтверждают прогрессивность православной мысли. После Петра Россия стала тяготеть во многом к Западу, в том числе и в мышлении. История чрезвычайно богата примерами, когда правители пытались выковать «нового человека». Не исключением был и Петр Первый. Весь XVIII век Россия внешне пыталась принять европейский облик. Жизнь народа оставалась в прежнем русле, но дворянская мысль неукоснительно двигалась в направлении, заданном европейской мыслью. К XIX веку возникла двойственная ситуация: либо продолжать продвигаться по намеченному Петром пути, что было бы путем в духовный тупик, либо возродить старорусские начала, но это было немыслимо в XIX веке.

Для русской истории необходимы были некие новые начала в философии, которые могли бы примирить между собой православие и западный рационализм. Киреевский находит его, говоря о *цельном мышлении*. Как он приходит к этому выводу? Основа его размышлений состояла в том, что нам необходимо от Запада и от восточных отцов церкви взять все самое лучшее, что может составить качественно новое начало в философии, а соответственно и в истории. Европа, несмотря на свое формально-индивидуальное начало, имеет развитые философские системы, которые могут в определенных сферах положительно согласовываться с верой. Что же нам дает православие? Характер православной мысли «зависит от характера господствующей веры. Где она и не приходит от нее непосредственно, где даже являются ее противоречием, философия все-таки рождается из того особенного настроения разума, которое сообщено ему характером веры»²¹. Вера является первоначалом, перводвигателем мысли в системе философствования. Откровение и мышление органично сосуществуют друг с другом. «Чем яснее обозначены и чем тверже стоят границы божественного откровения, тем сильнее потребность верующего мышления согласить понятия разума с учение веры. Ибо истина одна, и стремление к сознанию этого единства есть постоянный закон и основное побуждение разумной деятельности»²². Православное мышление состоит в том, что в нем разум поднимается до сочувственного согласия с верой, обра-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

зуя гармонию (или симфонию) рационального и божественного начал. Вера не представляется догмой, носящей императивный характер, она есть путеводная звезда, без которой разум теряет всякий смысл. И вера, и разум стремятся к одному конечному фактору — к истине, а «православно верующий знает, что для цельной истины нужна цельность разума, и искания этой цельности составляют постоянную задачу его мышления»²³. Для достижения цельности мышления необходимо сердечное делание, которое присутствует в православном сознании. Логика представляется инструментом, а не основополагающим принципом философии. Цельность ума не достигается одним сухим силлогизмом, а совершается всей совокупностью умственных и духовных сил человека.

Цельное мышление, которое Киреевский полагает основанием философии, — есть объединительное начало разума и веры. Собственно говоря, допетровская Россия жила по этому принципу неукоснительно, только выражалось это не в философских трактатах, а в иконописании, пословицах, сказаниях и других видах творчества. Киреевский убежден, что «цельное мышление бесцельно само по себе привести человека к истинам веры. Оно может привести его к истинам православия только тогда, когда они наперед предложены ему»²⁴. При этом разум не исключает веры, и наоборот. Они гармонично взаимодействуют между собой, как две половины одного целого.

Истины веры нам даны откровением и достигнуть их при помощи только ума невозможно. Мышление может лишь постоянно совершенствоваться, асимптотически приближаясь к божественным началам. Мы не будем подробно рассматривать гносеологический вопрос о том, как именно взаимодействуют между собой вера и разум. Отметим только, что вера в философии Киреевского есть высшее знание, а разум суть низшее знание. Цельное мышление следует полагать в начало философии, а, следовательно, история также должна идти по этому намеченному пути, собрав гармонично в себе начала разумные и божественные.

Итак, мы видим два взгляда на начала философии. Карпов полагает в основании сознание, Киреевский усматривает цельное мышление. Могут ли эти основания лечь в основу истории? Киреевский, обозначив цельное мышление, не изобрел какого-то нового пути для развития России. Этот путь существовал веками в России и начал утрачиваться, отчасти, со времен Петра. Сознание, которое потом приведет разум к божественному откровению, не свойственно природе русской мысли, и впоследствии Карпов отказывается от этого принципа в философии истории, сохраняя его только непосредственно в самой философии. Истории России свойственен более путь, предначертанный Киреевским, ибо он уже существовал на протяжении многих веков. Но может ли Россия пойти по нему? История XIX века показала, что может. Но на веру часто воспринимались не божественные истины, а западные учения — позитивизм, социализм

Философия истории в России

лизм, марксизм. С такими мнимыми истинами мы получили во второй половине XIX века Нечаева, Желябова, Каракозова и других деятелей революционного движения, которые свято уверовали в «священное дерево свободы, на котором возникнет новое общество» (цитата из последнего письма И.И. Гриневицкого). Следует отметить, что помимо революционного движения, в истории России конца XIX века наметился поворот к религии. В начале XX века обнаружился «перелом в религиозном сознании интеллигенции, когда возникло почти одновременно три религиозно-философских общества (Петербург, Москва, Киев), стали возникать религиозно-философские журналы, целые группы выдающихся писателей и ученых открыто встали на защиту религиозного мировоззрения»²⁵.

Полагая началом философии сознание или цельное мышление, Карпов и Киреевский считали, что в основании истории должны лежать национальные традиции. В XIX веке православие и «русскость» были фактически идентичны. Карпов считал, что сознание придет посредством развития к божественным истинам; Киреевский же полагал, что эти истины даны разуму изначально. Философия истории, таким образом, носит характер исключительно национальный и религиозный.

Примечания

¹ Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 1990. С. 305.

² Ласкеев П.М. Два проекта православно-христианской философии // Христианское чтение. 1898. № 5. С. 736.

³ Рожанский В.Я. Декарт и его философия // Известия и ученые записки Казанского университета. 1865. № 4. С. 353.

⁴ Ласкеев П.М. Два проекта православно-христианской философии. С. 735.

⁵ Карпов В.Н. Введение в философию. СПб., 1840. С. 5.

⁶ Там же. С. 45.

⁷ Там же. С. 50.

⁸ Там же. С. 54.

⁹ Там же. С. 56.

¹⁰ Там же. С. 60.

¹¹ Ласкеев П.М. Два проекта православно-христианской философии. С. 740.

¹² Карпов В.Н. Введение в философию. С. 127.

¹³ Там же. С. 110.

¹⁴ Ласкеев П.М. Два проекта православно-христианской философии. С. 742.

¹⁵ Карпов В.М. История философии. СПб., 1848. С. 3.

¹⁶ Карпов В.Н. Взгляд на движение философии в мире христианском и причины различных ее направлений // Журнал министерства народного просвещения. 1856. № 11. С. 171.

¹⁷ Там же. С. 193.

¹⁸ Там же. С. 197.

¹⁹ Киреевский И.В. В ответ А.С. Хомякову // Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1998. С. 154.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

²⁰ Там же. С. 163.

²¹ Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии // Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1998. С. 338.

²² Там же. С. 339.

²³ Там же. С. 340.

²⁴ Ласкеев П.М. Два проекта православно-христианской философии. С. 744.

²⁵ Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 102.

И.Н. Тяпин (Вологда)

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ Л.А. ТИХОМИРОВА

При обращении к фигуре Льва Александровича Тихомирова (1852—1923) удивление вызывает необычность его судьбы. Тихомиров — один из лидеров «Народной воли» — в течение нескольких лет превратился... в виднейшего теоретика монархизма. Не меньшее, впрочем, удивление вызывает и то обстоятельство, что огромное печатное наследие Тихомирова не получило до сих пор глубокого философского осмысления. Имеющиеся на данный момент работы о нем посвящены главным образом анализу его революционной деятельности и причинам отхода на позиции противоположного лагеря.

Дореволюционная и эмигрантская литература о Тихомирове, представленная в основном публицистическими статьями и рецензиями, носит в большинстве случаев откровенно полемический, а не исследовательский характер (при этом диапазон отношения к его взглядам необычайно широк)¹.

В фокусе внимания советской литературы всегда находилась проблема ренегатства Тихомирова и выявления его причин. Особенно активно такого рода попытки предпринимались в публикациях мемуарного характера, относящихся к 1920—30-м гг. В них четко прослеживается тенденция найти психологическое объяснение отхода Тихомирова от революционности (вплоть до заявления о его психическом заболевании)². Историки-марксисты того времени (В.И. Невский, Е. Мороховец, Н.А. Бухбиндер и др.)³ вслед за Плехановым объясняли переход Тихомирова на позиции монархизма тем, что народо-вольцы и либералы были близки друг другу, и, следовательно, такое превращение Тихомирова вписывалось в рамки общей эволюции «Народной Воли» вправо. Несколько особняком в этом ряду стоит мнение С.Н. Валка и Б. Николаевского, которые считали, что причины превращения Тихомирова в монархиста более глубоки⁴.

В 30—50-е гг. имя Тихомирова (как и имена других консерваторов) практически исчезло со страниц научной литературы. Возрождение исследования отечественного консерватизма в 60—80-е гг. мало затронуло его личность и печатное наследие. Вопросы, связанные с эволюцией его взглядов, так и не начали серьезно рассматриваться. Исследователи (М.Г. Седов, В.А. Твардовская, Н.А. Троицкий, В.А. Малинин)⁵ касались лишь его деятельности и взглядов в «революционный» период. К разряду публикаций о Тихомирове-консерваторе можно, пожалуй, причислить работы А.Я. Авреха и В.Я. Лаверычева⁶, где достаточно подробно освещались его взгляды по социальному устройству России.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

В положительном смысле можно выделить лишь статьи В.Н. Костылева⁷. В сложной обстановке начала 1980-х гг., когда работа над подобными темами была затруднена, он смог достаточно объективно подойти к оценке личности Тихомирова-консерватора и поставить ряд проблем, до него совсем не звучавших в советской литературе. Так, Костылев впервые обратился к исследованию фундаментального труда Тихомирова «Монархическая государственность».

В западной историографии изучению идейно-теоретического наследия и деятельности Тихомирова посвящена, в частности, статья К. Тидмарша⁸. Он полагал, что Тихомиров по сути и не менял своих взглядов, поскольку его идеалом всегда была сильная и независимая Россия, устройство которой основывалось бы на национальных традициях и идеях социальной стабильности. Перелом взглядов Тихомирова в годы эмиграции — предмет статьи А. Глисона⁹. Э. Таден характеризовал Тихомирова как первостепенного и оригинального русского мыслителя, продолжателя традиций славянофилов и почвенников¹⁰. Из более позднего времени можно отметить работу Х. Вады, посвященную жизни Тихомирова после отхода от активной общественно-политической деятельности¹¹.

В последнее время количество работ о Тихомирове существенно не увеличилось. Видимо, пока идет только начальный этап объективного осмысления его произведений. Можно, впрочем, назвать ряд новых работ, где фигурирует его имя.

Так, идеи Тихомирова анализируются, среди прочего наследия отечественной мысли, в статьях И.А. Исаева¹². Собрал и обобщил редкий биографический материал С.Н. Бурин¹³. Обращает на себя внимание небольшая по объему, но содержащая интересный исторический анализ работа Г.С. Кана, где Тихомирову посвящена отдельная глава¹⁴. Впрочем, все эти работы не носят характера историко-философского исследования.

Тихомирову посвящена большая часть статьи К.Ф. Шацилло, в целом написанной с позиции крайнего неприятия «реакционеров». Тем не менее, именно Тихомиров выделен автором как единственный из консервативного круга оригинальный мыслитель¹⁵.

Довольно удачной попыткой проследить эволюцию взглядов и общественную деятельность Тихомирова на всем протяжении его жизненного пути можно считать диссертацию О.А. Милевского, в которой отражено влияние на Тихомирова взглядов К. Леонтьева и отмечена его важная историческая мысль о том, что судьба российского государства есть ничто иное, как реализация монархической идеи¹⁶. Затем этот момент его концепции специально разработал В.И. Цыганов¹⁷.

Детально проанализировали доктрину монархической государственности Тихомирова А.В. Проблудников и М.Ю. Понежин (последний, кстати, обратился и к исследованию его методологии)¹⁸.

Философия истории в России

Оценка Тихомировым духовного своеобразия отечественного самодержавия в его отличиях от византийского императорства, отражение им негативных последствий заимствования Русью византийских философско-политических идей для русского национального сознания и расхождения его в этих вопросах с Леонтьевым — один из второстепенных сюжетов работы Ю.Ю. Булычева¹⁹. Эта же тема затрагивается в диссертации М.В. Хлебникова, в контексте рассмотрения данным автором расхождений Тихомирова с Леонтьевым по проблеме прогресса²⁰.

Достоинством работы А.Р. Ефименко можно считать выявление влияния на Тихомирова идей не только других консерваторов, в частности Победоносцева, но и Ж.-Ж. Руссо; данный автор также отмечает глубокий эсхатологизм мировоззрения Тихомирова, проявляющийся и в представлениях о ходе истории²¹.

Наконец, обзору исторической концепции мыслителя посвящен один из параграфов диссертации Е.А. Тимоховой²², которая рассмотрела точку зрения Тихомирова по вопросам о закономерностях общественно-исторического развития, роли личности в истории, значении революций. Правда, обращение к перечисленным вопросам было здесь достаточно поверхностным, что произошло, видимо, не только по причине исторического, а не философского характера работы, но и в связи с особенностями отношения исследовательницы к Тихомирову. Тимохова полагает (на наш взгляд, ошибочно), что «Тихомирова нельзя с полным основанием назвать философом», так как «он во многом стал лишь популяризатором уже имеющихся религиозно-философских теорий, создателями которых были мыслители, в своих политических пристрастиях близкие к либерализму (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, Вл. Соловьев и др.)»²³.

В заключение библиографического обзора повторимся, что осмысление философских взглядов Тихомирова находится пока на ранней стадии. В полной мере это относится к его философии истории. Его философия истории не представлена как система. Более того, вообще не рассмотрено большинство ее вопросов. Специальное же обращение к проблеме ее гносеологических оснований, на наш взгляд, совершенно обоснованно, поскольку, как отмечает та же Е.А. Тимохова, свою историософию Тихомиров выводил из соответствующего понимания процесса познания в целом²⁴.

Интерес к проблемам познания Тихомиров продемонстрировал еще в работе «Почему я перестал быть революционером». Здесь он выступает против чистого рационализма, не связанного с эмпирическим познанием и конкретной реальностью. Так, резко критикуя отечественную интеллигенцию, он пишет: «Человек нашей интеллигенции формирует свой ум преимущественно по иностранным книгам. Он таким образом создает себе мировоззрение чисто дедуктивное, построение чисто логическое, где все очень стройно, кроме основания — совершенно слабого. Благодаря мирозерцанию такого происхожде-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ния у нас люди становятся способны упорно требовать осуществления неосуществимого или даже не имеющего серьезного значения, а в то же время оставляют в пренебрежении условия капитальной важности»²⁵. В середине книги он возвращается к данной теме: «В русском способе мышления (говорю об интеллигенции) характеристичны две стороны: отсутствие вкуса и уважения к факту, и наоборот: безграничное доверие к теории, к гипотезе, мало-мальски освещающей наши желания»²⁶.

С другой стороны, как отмечает, например, Л.И. Новикова, общим для русской религиозной философии данного периода в вопросах гносеологии стало преодоление субъективизма и психологизма, стремление установить единство субъекта и объекта познания, разделенных Кантом²⁷. Господствующим стало утверждение, что всякое познание покоится на метафизических предположениях, которые определялись как признание в качестве источника познания «абсолютно сущего» — Бога. Общей стала идея «живознания», идущая от славянофилов, предполагающая необходимость объединения рационального и иррационального познания, согласия рассудка и духовных (религиозных) оснований жизни человека²⁸. Признание иррациональных форм знания также становится характерной чертой гносеологии и философии истории Тихомирова.

Исходя из своих онтологических представлений о «высшем объединяющем принципе», Тихомиров, как видно из отрывочных архивных материалов, сделал вывод о том, что «истинная» философия, будучи определена, как «познание бытия, его внутренних законов, и действия этих внутренних законов во всех проявлениях существования», должна предполагать главной своей задачей уяснение именно этого «основного принципа, основной силы, которая разветвляется в различных вторичных категориях существования, связывая их и объясняя их одинаковость и их различия, их состояние и их развитие»²⁹. Но уяснение принципа не есть познание Бога, поэтому философия должна удовлетвориться своим «великим незнанием» «объединяющего абсолютного принципа, в духе высказывания Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю»³⁰. Продолжая объяснять ее роль, он пишет следующее: «Философия вполне права, когда приходит к сознанию о недостижимости полного познания бытия, и на границе познанного ею указывает единственный исход для дальнейшего знания в религии, в Богословии. Она таким образом является *посредствующей частью между так называемыми точными знаниями и знанием религиозным, откровенным, богословским* (курсив автора статьи). Это и есть настоящее ее место. Если бы она его покинула, и вздумала стать тем, на что не имеет средств познания, ... то она стала бы от этого не более научной, а только более фантастичной, менее заслуживала бы названия Философии»³¹.

Точней всего свои гносеологические воззрения Тихомиров демонстрирует в авторском предисловии к книге «Религиозно-философские основы истории» и первых ее главах.

С первых строк Предисловия он выступает против натуралистического и материалистического подхода к объяснению общественно-исторического процесса. Он пишет: «Если мы взглянем на историю человечества с чисто материалистической точки зрения, то есть в качестве стороннего наблюдателя, не могущего или не желающего понимать какой-либо **внутренний смысл** происходящего перед нами процесса, то увидим нечто, напоминающее историю геологии Земли или историю царства растительного или животного»³². Такой взгляд, по его словам, позволяет уловить внешние изменения коры земного шара, подметить законы ее существования и взаимодействия элементов, их борьбы, но не позволяет понять, для чего и кому нужна эта история, эта борьба, это соотношение явлений. «Точно такую же картину представит нам история человечества, развивающегося на коре земного шара... Мы увидим появление семейных и родовых союзов, появление и видоизменение рас, воздвижение городов, множество форм взаимной между людьми борьбы и сотрудничества. Мы увидим даже, как грубые орды дикарей развиваются во все более утонченно-сложные формы обществ, как умножаются способы людей в добывании сил природы, как сначала господствует дикая борьба и постепенно сменяются союзом племенным, государственным, всемирным». Признавая, что материальная сторона жизни человечества не только существует, но и составляет основной фонд истории, ее материальное содержание, Тихомиров заявляет, что если относиться к истории исключительно внешним образом, то в своем понимании смысла явлений исследователь принужден ограничиться только рассмотрением причин и следствий. «Вопроса, **зачем** нужно было данное явление — не может быть; **кому** [оно] нужно было — неизвестно»³³.

Развивая свою мысль, философ пишет: «Но если мы миримся с таким «агностицизмом», имея дело с природой, нам чуждой, то не можем помириться в отношении человеческой истории, в которой сами же постоянно ставим себе цели и для достижения их употребляем сознательные усилия. Что мы ставим эти цели на почве материального процесса природы, что мы и в достижении целей должны так или иначе комбинировать условия этого материального процесса — все это мы хорошо знаем. Но сверх этой почвы мы видим сферу нашей **сознательной и волящей** жизни. Она внедрена в сферу материальных условий, но не сливается с ними, постоянно борется с ними, весьма часто побеждает их, и во всяком случае — только она и составляет то, что мы *чувствуем* (курсив автора статьи) нашей жизнью и жизнью человечества»³⁴.

В данной цитате прослеживается явная антипозитивистская направленность тихомировской гносеологии, что, впрочем, было характерно для большинства (и отнюдь не только идеалистических) направлений русской философии XIX — начала XX в. Самое же любопытное в приведенном отрывке — определенное сходство в понимании Тихомировым задач и методов познания с иррационализмом ряда представителей «философии жизни», особенно

Фигуры истории, или «общие места» историографии

В. Дильтея. Ведь именно Дильтей в конце XIX в. резко разграничил бытие природы и общества, а также утверждал, что человеческая история постигается не через описание, а путем определения мотивов, смысла, целей. Кроме того, Дильтей писал о связи индивидуального с социальным: чувственная индивидуальность может сделаться предметом общезначимого объективного познания³⁵. Вместе с тем влияние идей Дильтея на Тихомирова не стоит переоценивать. Если базисом всех «наук о духе», в том числе и философии истории, для Дильтея была психология, а жизнь, по его словам, должна быть истолкована из самой жизни³⁶, то историософия Тихомирова, как станет очевидно ниже, опиралась на совершенно иные основания.

Смысл соотношения материального и духовного в общественно-историческом процессе у Тихомирова раскрывается в следующем отрывке «Религиозно-философских основ истории»: «Сфера материальных условий есть нечто внешнее нам, хотя и облакающее нас. Она имеет для нас свою историю, но лишь постольку, поскольку наша внутренняя сфера дает ей направление. Она по внешности владеет нами, но по нашим желаниям и целям составляет только материал для нашей деятельности»³⁷.

Тихомиров ставит вопрос о цели в жизни человечества. «Это понятие о цели, — пишет он, — этот вопрос — “для чего” — мы вводим в понимание жизненного и исторического процесса, отчего только и может являться философское понимание его»³⁸. По словам философа, этим выделением надматериальной, волевой сферы нимало не отрицается процесс материальный, процесс необходимого, но непосредственное содержание исторического исследования для него составляет «сфера сознания, воли, целей»³⁹. По его убеждению, только эта сфера «показывает нам *философию истории* (курсив автора статьи), показывает начало и конец исторического процесса, сознательные волевые цели его и различные перипетии той духовной борьбы, которая составляет смысл истории человечества и до конца ее, по исчерпанию всего, составляющего **цель** возникновения, содержания и заключительного конца этой жизни»⁴⁰.

В главе «Философия истории и религия» Тихомиров, в традициях иррационализма, пишет о том, что кроме «посредственного» (получаемого посредством органов чувств) человек имеет еще внутреннее — «непосредственное» — познание, получаемое без посредства этих органов. Он приводит цитату из сочинения «Вера и знание в единстве мироздания» философа и психолога конца XIX столетия П.Е. Астафьева о том, что знание субъекта о самом себе черпается им исключительно из внутреннего мира, данного внутреннему опыту. Исходя из этого, сам Тихомиров пишет: «Мы имеем два способа познания: **внешний** и **внутренний**. Познание внутреннее есть основное. Без него мы не могли бы придавать никакого реального значения и познанию внешнему. Наше “я”, наше сознание, воля — все это познается лишь внутренним восприятием.

И если в мире есть сознание, воля, чувство, то мы их можем познавать только тем же способом, каким познаем свое “я”, то есть исходя из внутреннего психического восприятия. И это приводит нас к привнесению **религиозной идеи** к задачам познания»⁴¹.

Эта религиозная идея, по его мнению, состоит «в признании связи человека с тем Высшим сознательным и волящим элементом мира, который мы называем Божественным и в котором, в силу присутствия в нем сознания и воли, можем искать цели жизни мира. Внутреннее сознание человека говорит, что подобно тому, как мы познаем свою личность непосредственно, мы можем тем же непосредственным восприятием познавать и Божество. Подобно тому как в самопознании происходит единение познающего субъекта с познавательным объектом, — так в познании Божества может происходить единение познающего субъекта (то есть человека) с познавательным объектом (Богом)»⁴².

Крайнюю важность обращения к теме Бога в философии истории Тихомиров пытается обосновывать утверждением о том, что «если мы не допускаем существования Бога или возможность быть с Ним в связи (религия), то мы должны безусловно отказаться от всякой философии истории»⁴³. Еще раз повторив идею о том, что предметное знание указывает лишь внешнюю связь явлений, а цели можно познавать вообще лишь в воле и сознании, Тихомиров уверенно заявляет: «цели истории и ее философии мы не можем узнавать иным способом, как введя в решение вопроса показания религиозного знания»⁴⁴. Несколькими страницами спустя он заявляет еще более прямо: «...искание смысла жизни личной и мировой есть то же самое, что искание Бога»⁴⁵.

Из данных положений Тихомиров выводит традиционную для философии объективного идеализма мысль о Божественном откровении как главном источнике познания. Он пишет: «...искание истинного откровения необходимо, ибо только истинным, безошибочным откровением указывается смысл бытия..., а соответственно с этим определяются и наши оценки мировой истории, оценки того, что в ней должно признавать великим, осуществляющим цели мировой жизни, и что, наоборот, должно рассматривать как нарушающее эти цели...»⁴⁶. И сразу же отсюда мыслитель выводит еще одну идею своей философии истории: «На этом анализе мы впервые вступаем в предчувствие того, что мировая жизнь есть область великой борьбы, в которой решались и решаются судьбы человечества, не только то, чем люди сами хотят быть и чего они желают для себя, но то, что Высшими силами вселенского бытия поставлено **целью** мировой жизни, той целью, для которой люди получили именно данную, а не какую-то иную природу и способности»⁴⁷. Таким образом, здесь впервые, в связи с гносеологическими вопросами, была озвучена едва ли не главная мысль историко-философской теории Тихомирова о том, что история человечества — это борьба религиозных или околорелигиозных идей. Поскольку, согласно Тихомирову,

Фигуры истории, или «общие места» историографии

«развитие и борьба идей происходят не только в умах людей, а и в самой их жизни — личной, общественной и политической», то «идеи составляют отвлеченную формулировку тех сил, которые взаимодействуют между собою в жизни»⁴⁸. Их и следует считать предметом философско-исторического познания.

Свои представления о сущности общественно-исторического процесса и задачах философии истории Тихомиров развивает в рассуждениях об основаниях и границах человеческого познания.

«Тот, кто не усматривает проявлений Высшей Личной Силы в переживаниях своей собственной личности и в событиях своей личной жизни, — пишет он, — конечно, не усмотрит их и в человеческой истории. Но тот, кто подмечает в своей жизни действие какого-то Высшего сверхчеловеческого существа, не может не допускать тех же проявлений в жизни других людей и, следовательно, в коллективности их, в их преемственной исторической жизни. Это есть, конечно, **субъективный** подход к **объективному** факту. Но *начало всякого знания бывает субъективным* (курсив автора статьи). Те знания, которые нам даются внешними чувствами, в исходных пунктах также субъективны. Мне кажется, что я вижу, слышу, обоняю, осязаю, но все это — субъективные ощущения. Даже и ссылка на то, что и другие люди видят и слышат то же самое, есть только субъективное предположение. Наиболее объективной проверкой всех таких субъективных уверенностей является исполнение сделанных на основании их предсказаний. Но при крайней степени скептицизма и здесь может быть вопрос: действительно ли исполнение предположений осуществилось при внешних объектах или составляет предположение субъективной игры тех же состояний сознания, на основании которых было сделано предсказание?»⁴⁹.

Таким образом, Тихомиров воспроизводит основные доводы иррационализма и агностицизма. Однако если западные философы — последователи данных направлений — в связи с убежденностью в субъективности знания часто приходили к пессимизму, то Тихомиров, опиравшийся на мировоззренческие принципы ортодоксального православия, в частности на веру в полноту божественного творения, — отнюдь нет. Выход из данного гносеологического тупика Тихомиров видит в необходимости принять за аксиому, что «показания наших внешних чувств и внутреннего, так называемого непосредственного, восприятия обладают по меньшей мере относительной достоверностью»⁵⁰. И хотя, по словам самого философа, допущение такой аксиомы иногда считается невероятным, поскольку нужно допустить взаимопроникновение внешнего мира и внутреннего «я», однако «такое проникновение свидетельствуется всей нашей жизнью, всеми ее явлениями»⁵¹. «И разве, — пишет он далее, — все наши разговоры друг с другом, все общение не состоят во взаимном проникновении субъектов, по большей части через посредство “вещей” материальных? Это проникновение и дает **познание**»⁵². Констатируя, что иллюзии — постоянное явление по-

Философия истории в России

знавательного процесса, он отмечает, что «самые эти иллюзии мы создаем... также из материала внешних впечатлений»⁵³, а также, что «нельзя доказать, что вещь, вне нас находящаяся, не такова приблизительно, как мы ее представляем по восприятию»⁵⁴. Здесь он как бы возвращается к исходному тезису скептицизма (который означает ведь не только отрицание возможности познания, но и в такой же степени отрицание суждения о ее невозможности), обозначенному несколько ранее, и сразу затем подходит к одной из главных идей своей гносеологии. Эта идея заключается в том, что «не наши органы чувств создают свойства предметов, а наоборот: органы чувств явились у нас потому, что в предметах есть многообразные свойства, одним органом не охватываемые»⁵⁵. Заявив еще раз, что «**все** вообще впечатления наши передают нам с большей или меньшей точностью реальные свойства вещей и явлений»⁵⁶, Тихомиров выходит из созданного им самим тупика.

Здесь уместно вернуться к материалам «Выписок», где Тихомиров принципиально разделяет и в общем определяет возможные границы области философского познания мира и религиозно-мистического, поместив высший, «основной принцип», как можно предположить, в совершенно отдельную форму бытия. В одной из своих «выписок» он будет называть ее «бытием по существу», предлагая не смешивать его с «феноменальными» вторичными «категориями». О существе их взаимоотношений он пишет: «Разграничение бытия по существу и бытия феноменального — необходимо. Но они не представляют чего-либо противоположного и взаимоисключающего. Напротив, бытие по существу проявляется в форме феноменальной, и без бытия по существу феноменальный мир не мог бы возникать. Он вовсе не иллюзия, а проявление (одно из проявлений) бытия по существу. Познание бытия по существу было бы даже неполно без познания мира феноменального (или миров феноменальных), ибо последний есть реализация (хотя бы частичная и притом одна из многих возможных реализаций) бытия по существу. Поэтому *познание бытия феноменального дает некоторое понятие о потенциях бытия по существу* (курсив автора статьи)»⁵⁷.

Вернемся к идее мыслителя о признании в качестве главного источника общественно-исторического знания Божественного откровения. Необходимо уточнить, что применительно к проблемам философии истории речь идет о необходимости обращения к его зафиксированному в письменном виде наследию. Данная необходимость вытекает, по его мнению, из того обстоятельства, что долгий процесс человеческой эволюции оставляет историкам весьма скудные материалы об отживших народах, а потому «несмотря на огромные усилия исторической науки и ее подчас неожиданно поразительные успехи в познании далекого прошлого, мы были бы совершенно не способны охватить общий смысл этой жизни, если бы не имели в жизни людей прошлого и в собственных своих духовных способностях помощи религиозной идеи»⁵⁸.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Задаваясь естественным в таком случае вопросом: в чем же действительный голос Божий, **действительное** Откровение?, Тихомиров убежденно отвечает сам себе: «Рассматривая... те учения, которые разными народами и религиями считаются божественными откровениями, мы не находим среди них ни одного, имеющего признаки действительно божественного, кроме Откровения моисеев-христианского. Во всех других философиях бытия явны признаки работы человеческого ума, иногда очень высокого, но всегда чисто человеческого»⁵⁹.

В доказательство своих слов философ приводит ряд примеров противоречивости или наивности других религиозных или полурелигиозных учений: индуизма, оккультизма, каббалистики. Это, по его мнению, плод человеческого объяснения устройства мира. Но при этом он совершенно игнорирует то множество несуразит Ветхого Завета, которые уже в его время обнаружили критики Библии.

Кроме слабых, с точки зрения разума, идей других религиозных учений, Тихомиров, в своем стремлении обосновать истинный характер только христианского откровения, обратился и к проблеме соотношения свободы и необходимости.

Тихомиров приводит цитату А.С. Хомякова из «Записок о всемирной истории», где тот пишет, что свобода и необходимость в языке религии выражается соответственно понятиями «творение» и «рождение». Исходя из этого, он выделяет два противоположных вида мировоззрения человечества, одно из которых «имеет характер в известном смысле дуалистический», другое — «монистический»⁶⁰. Дуалистическое мировоззрение — чисто религиозное — основано на представлении о разделении божественного и земного бытия и о творении Богом мира из ничего, следовательно, по Тихомирову, является свободным. Монистическое (разновидность — пантеистическое) мировоззрение принимает единство всего существующего, не признает Бога как Создателя мира, а только как особого элемента вечно рождающейся природы, следовательно, лишено понимания свободы (здесь сразу вспоминается идущий от Спинозы тезис о свободе как познанной необходимости). «Поэтому, — повторяется Тихомиров, — мы можем признать действительным Откровением только то, которое усвоено христианством, тогда как другие суть только псевдооткровения, в действительности же даны не Богом, а составляют плод ума человеческого»⁶¹.

Здесь следует отметить, что такое отношение Тихомирова в своей философии истории к Священному Писанию не случайно. Еще будучи активным участником революционного движения, Л.А. Тихомиров, по его собственному признанию, имел опыт общения со священными христианскими текстами, тогда оказавшими на него своей «захватывающей поэзией» серьезное воздействие⁶². В начале XX в., на общем фоне острого интереса к теме Апокалипсиса в среде русской интеллигенции, Тихомиров, по свиде-

Философия истории в России

тельству А. Белого, был известен как большой знаток данного вопроса, «комментирующий лишь для “спецов”»⁶³. Эта известность приходит к нему, прежде всего, благодаря его публичным «чтениям об Апокалипсисе», о которых можно найти упоминание, например, в его дневниках⁶⁴. Такого рода слава и признание должны были только упрочиться с появлением почти одновременно в 1907 г. таких его работ, как «Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира» и «О семи апокалипсических Церквах» (о последней, к слову сказать, сын приятеля Тихомирова священника И. Фуделя С. Фудель будет вспоминать, как о статье «удивительной по религиозной активности и нужности»⁶⁵).

О глубине творческой погруженности Тихомирова в эсхатологическую проблему говорит и обстоятельство, подмеченное А.Р. Ефименко. В годы гражданской войны им было написано долгое время остававшееся в рукописи и опубликованное только в постсоветское время художественное произведение «В последние дни». Автор замыслил эту книгу как «эсхатологическую фантазию», где развивавшийся по законам авантюрного литературного жанра сюжет порой накладывается или соседствует с результатами изысканий и размышлений Тихомирова над проблемами истории и мистики, религиозно — и социально-философскими вопросами. В чем-то оно перекликается с «Краткой повестью об Антихристе» из «Трех разговоров» Вл. Соловьева⁶⁶.

Вообще, все последнее десятилетие жизни Тихомиров находился в напряженных эсхатологических ожиданиях, так что его позиция оказывается чрезвычайно созвучной (речь может идти даже о некотором влиянии) мироощущению позднего Вл. Соловьева.

Следует отметить скрупулезный подход Тихомирова к разбору и трактовке символов текста Апокалипсиса Иоанна и при этом вовлечение в орбиту узкой экзегетической темы последних времен социальных и философских вопросов, волновавших и занимавших его в течение долгих лет. В этой связи тот же А.Р. Ефименко полагает, что было бы глубоко неверно воспринимать (как делают некоторые авторы⁶⁷) толкование Апокалипсиса Тихомировым как некую «интеллектуальную жвачку», занятную головоломку для жизненного банкрота, как своего рода проявление скрытой тоски или следствие внутренней неудовлетворенности⁶⁸.

Итак, взгляды Л.А. Тихомирова на проблему познания представляют собой главным образом воспроизведение ортодоксально-христианской гносеологии на новом качественном уровне. Несмотря на заимствование мыслителем некоторых элементов учений западноевропейских иррационалистических школ Нового времени, его философская концепция как в гносеологических основаниях, так и в конкретных результатах в целом им оппозиционна. Основное отличие от западного иррационализма проявляется в гносеологическом оптимизме Тихомирова, исходящем из убеждения в том, что именно субъек-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

тивный подход дает возможность обретения истинного знания Бога и мира. Идея о том, что искание откровения необходимо для философии истории закономерно определяет его взгляд на мировую историю как на непрерывную борьбу добра и зла. Ставя основной целью философско-исторического познания анализ психологической почвы социальных явлений, Тихомиров фактически выступает против упрощения исторических событий и самого человека. Соединяя возможности веры и разума, мыслитель на личном примере призывает к *пониманию* исторического процесса.

Примечания

¹ Волынский А.Л. Книга великого гнева. СПб., 1904; Суворин А.С. Дневник. М., 1992; Лавров Г.Л. Письмо товарищам в Россию. Женева, 1888; Серебряков Э. Открытое письмо Л. Тихомирову. Женева, 1888; Плеханов Г.В. Неизбежный поворот // Собр. соч. — М.; Пг., 1923. Т. 2. С. 31–40; Он же. Новый защитник самодержавия или горе г. Л. Тихомирова // Там же. Т. 3. С. 45–82; Он же. Рецензия на книгу Л. Тихомирова «Почему я перестал быть революционером» // Там же. С. 41–44; Маевский В.А. Революционер-монархист. Памяти Льва Тихомирова. Новый Сад, 1934.

² Бах Н.А. Воспоминания. М., 1931; Русанов Н.С. В эмиграции. М., 1929; Фигнер В.Н. Л. Тихомиров // Собр. соч. М., 1932. Т. 5. С. 282–299.

³ Мороховец Е. Рецензия на книгу «Воспоминания Л. Тихомирова» // Историк-марксист. 1927. Т. 6. С. 281–283; Бухбиндер Н.А. Из жизни Л.А. Тихомирова // Каторга и ссылка. 1928. № 12. С. 62–63; Невский В.И. От «Земли и Воли» к группе «Освобождение труда». М., 1930.

⁴ Валк С.Н. Рецензия на книгу Л. Тихомирова «Воспоминания» // Пролетарская революция. 1927. № 8–9. С. 429–434; Николаевский Б. О «Воспоминаниях» Л. Тихомирова // Каторга и ссылка. 1928. № 1. С. 174–180.

⁵ См.: Седов М.Г. Героический период революционного народничества (из истории политической борьбы). М., 1966; Твардовская В.А. Социалистическая мысль в России на рубеже 1870–80-х гг. М., 1969; Троицкий Н.А. «Народная воля» перед царским судом. Саратов, 1971; Малинин В.А. Философия революционного народничества. М., 1972.

⁶ Аврех А.Я. Столыпин П.А. и III Государственная Дума. М., 1968; Он же. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991; Лаврычев В.Я. Царизм и рабочий вопрос в России, 1861–1917 г. М., 1971.

⁷ Костылев В.Н. Ренегатство Л. Тихомирова и русское общество в конце 80-х — начале 90-х гг. // Проблемы истории СССР. М., 1980. Вып. 11. С. 56–69; Он же. Выбор Л. Тихомирова // Вопросы истории. 1992. № 6–7. С. 30–46.

⁸ Tidmarsh K.L. Tikhomirov and a Crisis in Russian Radicalism // Russian Review. 1961. № 1. Vol. 20. P. 45–63.

⁹ Gleason A. The Emigration and Apostasy of Lev Tikhomirov // Slavic Review. 1967. № 3. Vol. XXVI.

¹⁰ Thaden E.C. Conservative nationalism in nineteenth-century Russia. Seattle, 1964. P. 181–221.

Философия истории в России

- ¹¹ Wada H.L. Tikhomirov: His thought in his years 1913–1923. Tokyo, 1987.
- ¹² Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России. М., 1991; Он же. Превращения монархической идеи // Родина. 1993. № 1. С. 14–19.
- ¹³ Бурин С.Н. Судьбы безвестные. М., 1994.
- ¹⁴ Кан Г.С. Народная воля: идеология и лидеры. М., 1997.
- ¹⁵ Шацилло К.Ф. Теоретики консервативно-реакционной мысли (К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров, В.П. Мещерский, С.Ф. Шарапов) // Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика / Под ред. В.Я. Гросула. М., 2000. С. 386–395.
- ¹⁶ Милевский О.А. Л.А. Тихомиров: от революционности к монархизму: Автореф. дис. соиск. уч. степ. канд. ист. наук. Томск, 1996. С. 14.
- ¹⁷ Цыганов В.И. Идея русского самодержавия и ее развитие в творчестве Л.А. Тихомирова: Дис. соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2000.
- ¹⁸ Проблудников А.В. Концепция монархической государственности Л.А. Тихомирова: Дис. соиск. уч. степ. канд. полит. наук. М., 1998; Понежин М.Ю. Доктрина монархической государственности Л.А. Тихомирова: Философско-правовой анализ: Дис. соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2000.
- ¹⁹ Булычев Ю.Ю. Культурно-историческая самобытность России в главных течениях русской общественной мысли XIX – начала XX века: Дис. соиск. уч. степ. канд. филос. наук. СПб., 1999. С. 184–189.
- ²⁰ Хлебников М.В. Проблема прогресса в социальной философии (на материале русской философии XIX в.): Дис. соиск. уч. степ. канд. филос. наук. Новосибирск, 2001. С. 136–150.
- ²¹ Ефименко А.Р. Эволюция социально-исторических и философских взглядов Л.А. Тихомирова: Дис. соиск. уч. степ. канд. филос. наук. М., 2000.
- ²² Тимохова Е.А. Лев Тихомиров и русский консерватизм рубежа XIX–XX веков: Дис. соиск. уч. степ. канд. ист. наук. Самара, 2001.
- ²³ Там же. С. 88.
- ²⁴ Там же. С. 90.
- ²⁵ Тихомиров Л.А. Почему я перестал быть революционером. М., 1895. С. 11.
- ²⁶ Там же. С. 52.
- ²⁷ Новикова Л.И. Цельность живого знания. О своеобразии русской философской мысли // Общественные науки и современность. 1992. № 1. С. 174.
- ²⁸ Там же. С. 180.
- ²⁹ ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 67. Л. 33.
- ³⁰ Там же. Л. 33 об.
- ³¹ Там же.
- ³² Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. М., 2004. С. 23.
- ³³ Там же. С. 24.
- ³⁴ Там же. С. 24–25.
- ³⁵ Дильтей В. Описательная психология. СПб., 1996. С. 152–153.
- ³⁶ Дильтей В. Сущность философии. М., 2001. С. 60.
- ³⁷ Тихомиров Л.А. Указ. соч. С. 25.
- ³⁸ Там же. С. 25.
- ³⁹ Там же.
- ⁴⁰ Там же.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

- ⁴¹ Там же. С. 28.
⁴² Там же.
⁴³ Там же. С. 29.
⁴⁴ Там же.
⁴⁵ Там же. С. 37.
⁴⁶ Там же. С. 30.
⁴⁷ Там же.
⁴⁸ Там же. С. 31.
⁴⁹ Там же. С. 33.
⁵⁰ Там же.
⁵¹ Там же.
⁵² Там же.
⁵³ Там же. С. 34.
⁵⁴ Там же.
⁵⁵ Там же.
⁵⁶ Там же.
⁵⁷ ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 72. Л. 13.
⁵⁸ Тихомиров Л.А. Указ. соч. С. 31.
⁵⁹ Там же. С. 39.
⁶⁰ Там же. С. 44.
⁶¹ Там же.
⁶² Тихомиров Л.А. Заговорщики и полиция. М.; Л., 1928. С. 88.
⁶³ Белый А. Начало века. М., 1990. С. 157.
⁶⁴ Тихомиров Л.А. 25 лет назад. (Из дневников Л.А. Тихомирова) // Красный архив. 1930. Т. 4–5. С. 114.
⁶⁵ Фудель С.И. Воспоминания // Новый мир. 1991. № 4. С. 183.
⁶⁶ См.: Ефименко А.Р. Указ. соч. С. 154–155.
⁶⁷ См., напр.: Парамонов Б. О ненужности покаяния // Звезда. 1994. № 2. С. 206.
⁶⁸ Ефименко А.Р. Указ. соч. С. 171.

А.В. Усачев (Елец)

РУССКАЯ ИСТОРИОСОФИЯ И ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ: сходство и различие моделей

*История народа... дает связанное и стройное представление
народной жизни, питающее мысль зрелого человека, который
углубляется в историю как науку народного самопознания*

С.М. Соловьев

*С точки зрения методологической, смысл таинства
побуждает нас множить наши попытки в постижении
истории, согласовывать между собой различные позиции,
чтобы предостеречь от изречения последнего слова*

П. Рикёр

Философия является важным элементом метаисторического взгляда на действительность. «В противоположность истории философия всегда стремится к систематизированию. Само собою понятно, что, поскольку речь идет об исторических фактах, она всегда должна опираться на эмпирическую историческую науку, подчиняясь в этом, безусловно, ее авторитету»¹. История представляет собой наиболее полную эмпирическую науку о бытии человека. Этим и объясняется интерес философии к историческим исследованиям. «Связность духовного мира зарождается в субъекте, и она заключается в движении духа к определению смысловой основы связности этого мира, объединяющей отдельные логические процессы друг с другом»². Осмысление истории, для того чтобы стать целостным, должно проходить в тесном союзе с обобщающей практикой тех эпох, которая рассматривается в каждый конкретный момент. Представление об античности не будет полным, если не знать, что древние греки почитали за совершенство и цель бытия. Равным образом нельзя понять историю Нового времени, если не учитывать ее сциентистский характер, приверженность методу в научном поиске и порядку и систематизации в производстве.

Было бы неверно считать, что философия примыкает к истории только одной своей методологической функцией. Философию и историю объединяет их внимательное отношение к слову. «Где не хватает слова, там нет вещи. Лишь имеющееся в распоряжении слово наделяет вещь бытием»³. Евангелие от Иоанна обозначает историю мира следующим хорошо известным стихом: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ио. 1,1).

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Толковый словарь русского языка В. Даля дает следующее разъяснение: «**Слово** — исключительная способность человека выражать гласно мысли и чувства свои; дар говорить, сообщаться разумно сочетаемыми звуками, словесная речь. **Сочетание звуков, составляющее одно целое, которое по себе, означает предмет или понятие** (выд. мной — А.У.)...»⁴ И философия, и история пользуется словами, т.е. понятиями, которые составляют научную основу их деятельности. Целостная картина происшедшего интересует эти науки больше всего, т.к. именно такой подход может определить смысл и возможные перспективы, которые могут реализоваться в будущем. Слово одновременно преобразуется в понятие. Оно же становится фактом — обстоятельством, которое сохраняет факт для последующих поколений.

Исходя из самой природы исторического бытия, мы приходим к мысли об актуальности интерпретации факта истории как феномена бытия. Факт — это феномен для философии, который занимает определенное место в теории познания. Основатель феноменологии сделал научно-исторические выводы о жизненном кризисе европейского человечества. Наука, по мнению Э. Гуссерля, «исключает вопросы наиболее животрепещущие для человека, брошенного на произвол судьбы в наше злосчастное время (первая треть XX века — А.У.) судьбоносных преобразований, а именно вопросы о смысле или бессмысленности всего человеческого существования».⁵ В силу того, что философия истории — это наука, она не может обойти стороной смыслосложившие проблемы человека, индивида, личности. Феноменология как существенная часть современной философии в лице своих идеологов напоминает науке ее исконную задачу — определить смысл человеческого существования. Данная задача уже существенно отличается от той, которая ставилась от Р. Декарта до Гегеля, где роль субъективных переживаний и смыслов истории не возносилась так высоко. Э. Гуссерль видит в выявлении смыслов задачу практически любой науки. Без учета этого обстоятельства нельзя говорить о полном отражении существенных черт бытия человека. Недаром тот же Э. Гуссерль, рассуждая об историзме в науке, обращается к наследию В. Дильтея и его идее о том, что «любое культурное образование имеет свою внутреннюю структуру, свою типичную, свое удивительное богатство внешних и внутренних форм, которые вырастают в потоке самой духовной жизни».⁶ Очевидно, что одним из самых значительных продуктов человеческого духа является история. Духовный и методологический сплав с философией приводит ее к процессу создания контекста развития эмпирического материала в определенной культурной среде. Феномен гуманитарной науки соединяет философию и историю в некое качество, которое не является ни только историей, ни только философией.

Нужно учитывать, что при разности подходов к философии и ее проблемам, одно остается неизменным: обобщение, категориальное освоение, определение перспектив. Заметьте для себя, что философию и историю объединя-

Философия истории в России

ет не только то, что обе науки осмыслиют прошлое. Определением философии можно поинтересоваться, используя множество источников. Но философия и методология истории — это уже другой ракурс исследований и обобщений. Поэтому обратим внимание на такое определение: «Точка зрения философии истории, исследующей те общие схемы и те идеи, которые лежат в основе исторического мышления, независимо от его предмета и периода, является более широкой. Выявляя определенные линии развития событий в прошлом, философия истории стремится продолжить их в будущее». ⁷ Аспект будущего является решающим на пути уточнения предметной области философии истории.

Любая философская модель истории содержит в своих недрах вопрошание над-исторической сущности и законов развития общества. Она пытается придать истории ценностный характер, задать меру реализации добра и зла, нравственных идеалов в том или ином историческом событии. Метадискурсивные концепты фактически предопределяют судьбу философско-исторического исследования. То обстоятельство, что типов периодизации истории довольно-таки много, может навести на мысль о недостаточной основательности самой научной практики по систематизации истории человечества. Тут самое время вспомнить о том, что одним из методологических принципов является диалектика движения абсолютной и относительной истины. Сам факт того, что именование эпох и их численность отличается друг от друга, является примечательным. Пожалуй, не будет поспешным вывод о том, что живой пульсирующий материал, полученный в философско-историческом исследовании, не станет закосневшим и догматическим. Например, цикличность «вечного возвращения» античного периода европейской культуры не отвечает требованиям прогресса и движения вперед. Новое время, в свою очередь, безраздельно уверовавшее в неисчерпаемую силу разума и перспективу ничем не ограниченного совершенствования человека, общества, техники и науки, выдвигает линейную конфигурацию движения истории. Линия, устремленная в будущее, делает очевидным фактор преемственности исторических этапов. В этом ключе напрашивается вывод о том, что пока история не завершена, пока не является оконченным и творческое осмысление истории — философия не остается безучастной к судьбе исторической мысли. Тем самым обосновывается момент относительности. А что же абсолютного в таком философско-историческом взгляде? Ответ прост: сама динамика, движение относительности является абсолютным, незыблемым и прекрасно потенцированным для теоретической деятельности. Философия и история находятся в сложной взаимосвязи. В частности, не будет правильным утверждать, что философия в силу своей научной природы просто механически обобщает исторические данные, не внося в историю ничего существенного и важного. Это не так. История философична уже потому, что не сводится к простым хронологически

Фигуры истории, или «общие места» историографии

упорядоченным фактам. «Философия стремится познать содержание, действительность Божественной идеи и оправдать презираемую действительность».⁸ Другими словами, мысль пытается сгладить несовершенства исторического мира, напоминая человеку о трансцендентальном плане истории. В самых ярких примерах способы обоснования существенности исторического движения были разными. Гердер понимает человеческого род как возникший по воле Творца, и это самое глубокое основание для того, чтобы волю выяснить и действовать в соответствии с ней. Ошибки — это духовное несовершенство человека. Гегеля эксплицирует инобытие Абсолютного Духа, конкретизирующегося в истории и намечающего возвращение в бытие-для-себя через реализацию свободы, понятую в основных чертах как существенное свойство германского мира. Гегель, чья система признана христоцентричной (К. Лёвит, К. Ясперс), берет за основу категорию свободы и, как известно, прослеживает ее историческое движение в ареалах разных культурно-исторических центров. Германский мир, познавший, по его убеждению, смысл христианства после Лютеровского поворота, сосредотачивает на себе все концептуальные токи исторических движений. Осмысленная свобода как свобода истинной мысли и свобода мыслящего совпадают в немецкой модели мировосприятия, в германском мире. Э. Трёльч, обсуждая основания философии истории в контексте неокантианских исследований, в противоположность Гегелевской концепции конкретизации понятия, выводит категорию индивидуальности. Она в свою очередь не может быть познана вне таких более общих понятий, как семья, род, класс, народ и т.д. Одна категория свободы была разработана до более подробной концепции, но общая диспозиция философского исторического подхода не поменяла своей сути: и свобода, и семья, и народ конкретизированы в переживании и осмыслении индивида, что позволяет сделать переход к категории «индивидуальной тотальности». Переживание и вживание выделяет из общего исторического потока, из исторической тотальности индивидуальную тотальность. Но движение от общего к частному, от универсального к уникальному сохраняет свое значение. Не говоря уже о том, что программной задачей возрождения философии истории Э. Трёльч видит преодоление кризиса углублением основ философского мышления.⁹ Она не координирована с вечностью, не говорит о трансцендентном плане бытия, не толкует отзвуки вечности, но рассматривается как подчиненное знание, выполняющее известные функции.

Маркс попытался максимально уменьшить значение трансцендентального плана истории, что вылилась у него в положение об экономической детерминации социального и исторического развития. Но ключевой категорией остается отчуждение, которая полностью укореняет Маркса в онтологии Гегеля¹⁰. Смыслом истории стала социальная практика, осуществление прогресса. История творится, она рукотворная, вопрос только в том, будет ли это

Философия истории в России

делаться человеком собственными руками и бессознательно (неомарксизм, фрейдомарксизм), или все же сознательно, со знанием дела, в проективном плане, по оптимальному и сциентистски выверенному наброску исторической перспективы.

Начало XX века в Европе было отмечено небывалым теоретическим ростом в сфере философско-исторических исследований. Кажется странным, что древнейшая из наук, дошедшая, в основных характеристиках, неизменной до нынешних времен, обрела ясность в понимании метода и стратегий исследования только сто лет назад. Это же можно воспринимать и в достаточной мере символично. Любая привычная область знания блокирует эвристические усилия кажущейся самоочевидностью собственных оснований. Неокантианцы, вслед за В. Дильтеем, вводят различие между естественными и историческими (гуманитарными) науками, предлагая для западной философии один из вариантов ревизии гегелевской парадигмы в философии. Именно наука (и ее методы) открыла понимание интеллектуальной деятельности в нашем современном виде. «Наука есть теория действительного», — пишет М. Хайдеггер и поясняет: «Прежде всего, придется заметить, что слово “наука” в тезисе “наука есть теория действительности” всегда означает только науку Нового времени. Тезис “наука есть теория действительности” не имеет смысла ни для средневековой науки, ни для науки древности... Существо современной науки, которая в качестве европейской стала между тем планетарной, коренится в греческой мысли, со времен Платона носящей название философия».¹¹ Таким образом, мы нашли достоверное свидетельство, согласно которому философия и методология истории предстают перед нами в качестве методичной современной науки, вбирающей основные признаки строго организованного знания.

Д. Лукач оперирует категорией «социальная тотальность», история как тотальность или субстанция, атрибутами которой являются все видимые и фиксируемые предметные формы, взятые в качестве продуктов деятельности или осмысления, т.е. включенные в деятельность человека, в его «жизненный мир». К. Ясперс в программном тексте «Смысл и назначение истории» писал: «Мы стремимся понять историю как некое целое, чтобы тем самым понять и себя. История является для нас воспоминанием, о котором мы не только знаем, но в котором корни нашей жизни. История — основа, однажды заложенная, связь с которой мы сохраняем, если хотим не бесследно исчезнуть, а внести свой вклад в бытие человека. Историческое воззрение создает ту сферу, в которой пробуждается наше понимание природы человека».¹² Смысл исторического исследования может вырастать из частных дискурсов, как, например, в случае с Ясперсом, который ставил перед собой задачу преодолеть христоцентрическую модель истории Гегеля. Но вопрос заключается в том, реализовался ли этот проект у Ясперса: структура центрации осталась нетронутой, а переместилась на несколько веков назад, в область количественно

Фигуры истории, или «общие места» историографии

больших по своей судьбоносности свершений в эпоху «осевого времени». У Гегеля совпадение онтологического и методологического моментов в тезисе о примирении и соединении во Христе Небесного и земного, трансцендентного и секулярного.

У Хайдеггера смысл истории становится смыслом бытия, и таким образом философия истории представляется не локализацией предмета философского исследования, но расширяет и отождествляет свою предметность с фундаментальной онтологией и, следовательно, философией как знанием и метафизикой как судьбой европейского человечества, как универсальную характеристику бытия человека как выдвинутого в ничто, в интуицию чистого присутствия, то, о чем Хайдеггер писал в тексте «Что такое метафизика?» — событие — сущностное отношение к бытию, в котором слышен зов бытия. Он, толкуя гегелевское понимание взаимной принадлежности пространства и времени и уходя от ненавистной и блокирующей диалектическую логику фразу «а также», говорит о том, что Гегель понимает время, в том числе и историческое, как отрицание точечности пространства. Во времени точка имеет, таким образом, действительность.

Однако должна быть готовность к тому, что и методы и составленные из них методологии испытывают изменения: время на все откладывает свой неизгладимый отпечаток. Декарт видит в предстоящей проблеме некое бытие, обладающее истиной, к которой нужно найти доступ, соответственно организуя свои познавательные возможности. Субъект как познающее начало находит определенное структурное подобие объекта, в котором он и обнаруживает истинные качества. Истина предстает перед нами, и наша задача адекватно ее понять и освоить. Наука и метод становятся синонимами. Декарт организует познание с помощью метода и тем самым начинает совершенно новое движение для своего времени. «Метод — победоносный вызов миру: мир обязан поступить в полнейшее распоряжение человека. Метод начал свое победоносное шествие в XVII веке в Европе...».¹³ То, о чем говорили философы, понявшие итоговость системы Гегеля и наступление эпохи неклассических типов мышления и проблематизации бытия, заострилось на субъекте и субъектности бытия и истории. Снятость субъективного начала в объективных формах реализации (инобытия) духа, которое перестало устраивать философов, все чаще артикулирующих темы историчности бытия человека, скрывало за универсальными определениями некие уникальные особенности, признаваемые не менее существенными.

Э. Гуссерль много обсуждал психологизм новых наук, претендующих на статус новых онтологических теорий. Точнее сказать, психология стремилась играть роль онтологии. Одним их контрагентов его критических практик был В. Дильтей. Усилие В. Дильтея состояло в том, чтобы уйти от еще одной волны догматизма и метафоризма гегелевской и постгегелевской философии исто-

Философия истории в России

рии, которые, по его мнению, все меньше оставляли возможностей для адекватного познания истории. Это было тем более актуально, что, по словам, например, Гуссерля, европейское человечество находилось в кризисе, и обращенность гуманитарного сознания в историческую ретроспективу, с явной задачей целостного проникновения в смысл обсуждаемых эпох, носило определяющую функцию и реконструкции истории «фаустовского духа» (О. Шпенглер), и возможных открытий на пути генезиса актуальных кризисных проблем. Они привели В. Дильтея к решимости гипертрофировать субъективно-личностный компонент, чтобы, в известной мере, компенсировать объективизм и панлогизм великого диалектического логика Нового времени.

Русская мысль исходит из толкования уникального исторического события, войны, книги, революции и приходит к уровню метафизики истории, к обобщениям, способным раскрыть наиболее яркие и существенные тенденции в истории. Германская философия истории выдвигает на первый план понятие и прослеживает его реализацию и актуализацию в фактической стороне истории. Из не потерявших актуальность сегодня, такими понятиями являются, например, «свобода» и «гражданское общество». Дав абстрактное определение, можно в компаративной или дескриптивной стратегии проследить меру аутентичности и конкретизации сформулированных принципов в той или иной частной исторической ситуации, можно прибегнуть к такому определению качества категориальности русской историософии. Тексты Н. Бердяева, Г. Федотова, Н. Лосского и др. осуществляются в аналогических понятийных рядах, что предполагает минимум опосредований специально-сциентистского характера. Вот эти ряды. Один из них — Царство Кесаря, позитивизм, рационализм, расщепленность, болезнь духа и т.д. Другой — Царство Божие, органичность, единство, вера, Соборность, интуитивность и т.д. Они осуществляют любой дискурс, и в контексте высказываемого они предельно точно закрепляют содержание: где бы эти понятия ни размещались, всегда можно сказать, что они значат и с чем взаимодействуют. Содержание этих понятий представлены не как категории в определенном цеховом секторе знания или науки, но укоренены в самом широком контексте культуры, литературы, религии и других областях реализации духа. В результате русскоязычная философия еще на заре кризиса культуры и социалистической революции имела полную картину, профетическую и аналитическую, которая вскрывала в тенденции всю ткань происходящего в обществе, которую и через несколько десятилетий вряд ли можно чем-нибудь существенно дополнить. В русской философии были прописаны все основные структурные ходы возможных исторических событий, были даны предельно точные оценки общего рисунка истории, по отношению к которым нынешние оценки кажутся плагиатом и несвоевременными упражнениями в социальном мышлении. Национальный вопрос, судьба социальных классов, пути культуры, следы ментальности — все это прояснено и записано.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Хомяков соединяет историю народов и историю философии. Они по его мнению совпадают содержательно и в тенденциях, что отразил русский мыслитель в «Записках по всемирной истории»: «...в истории творится “дело, судьба всего человечества”, а не отдельных народов, хотя каждый народ, “представляет такое же лицо, как и каждый человек”». ¹⁴ Провиденциализм, вполне естественный для восточно-христианского мирозерцания, Хомяков ограничивает, вводя момент естественных законов истории, в рамках которых возможна реализация человеческой свободы и, следовательно, ответственности. Иранский тип предполагает такую «уступку» свободе в истории.

Н.Я. Данилевский в книге «Россия и Европа» ¹⁵ выходит на простор самых широких исторических обобщений. Любое свидетельство недружелюбия или невнимания к России, к ее интересам говорит, по мнению русского историософа, об устойчивых тенденциях, из которых можно делать выводы о структуре и качествах взаимоотношений между Россией и Европой. Далее, Данилевский выходит на свою хрестоматийную схему развития культурно-исторических типов, т.е. происходит обозначенная универсализация неких уникальных особенностей, показывающих себя в эмпирическом исследовании. ¹⁶

В историософии Н. Бердяева смысл истории — означающее совершающего в вечности. Особые кульминационные моменты — жуткое касание чего-то последнего, и это происходит не в онтологии, не в гносеологии, но именно в историософии, т.к. любое историческое событие застигает и захватывает человека, не давая ему выйти за пределы, обнаружить дистанцию. Здесь играет главную роль философствование из события, из захваченности историей и ее провиденциальным характером. В «Русской идее» ¹⁷ философ приводит ряд фактов, которые, по его мнению, являются формообразующими в качественной определенности русской исторической судьбы. Это такие исторические вехи, как реформы Петра и явление Пушкина, спор Нила Сорского и Иосифа Волоцкого (спор, который мыслитель называет символическим), победа в Отечественной войне 1812 года и т.д. Они задают общую канву понимания и подробностей, и пафоса ряда исторических свершений, которые без них лишаются возможности быть верно истолкованными. Каждый исторический факт проявляется тройко: с одной стороны он укореняет в отечественной истории некую существенную черту, во-вторых, он высветляет некую объективную тенденцию и, в-третьих, указывает на неполноту исторического, т.к. оно суть отблеск совершающегося в глубине вечности. Последний аспект, конечно, будучи формально отнесенным к понятию временности, неуловим в простом размышлении об истории, сколько бы оно ни было значимым. Но все-таки, тем и примечателен XX век, что историческая онтология часто смыкается с собственно философской онтологией, гносеологией и их основной проблематикой. Из массива реальных свойств, которые обеспечивают трансляцию определений отечественной истории, интересны, например, такие: победа в

Философия истории в России

Отечественной войне сообщает русскому историческому самосознанию постоянное проблемное несоответствие между потенциалом народа и государства и мерой его реализации. Нил Сорский предлагает модель религиозного самосовершенствования, которое через духовное целое спасительно действует на все остальное общество верующих, в то время как Иосиф Волоцкий укрепляет уверенность в правоте социального служения, объективистского подхода в понимании общественного долга и заповеди любви. Пушкин задает истинно европейский, а по той системе ценностей — мировой уровень русской культуры и возможность мыслить «на равных». Таким образом, русские философы в своих текстах опираются на референтную основу корпуса понятий, требуемых для существенного продумывания и российской, и мировой истории.

Возможность диалога предполагает некие конвенциональные формы выражения мысли. Уже одно то, что сущность историсофского подхода и в России и Германии распределяется в терминах бинарной пары уникальное/универсальное говорит о том, что так кропотливо и небезуспешно доказывали русские мыслители религиозно-философского направления, чья деятельность пришлась на Серебряный век русской культуры. Происхождение исконных основ мысли от логоса античности, который был в эпоху Средних веков интегрирован и присвоен христианством (Ж. Делёз, Ф. Гватарри) и уже толковался как Бог-Слово, Логос, Христос, означает в немалой мере осмысление истории в ключе принятия неких новых сил, сообщающих тенденции, не позволяющие говорить только об увядании цивилизации. Метафизический дискурс, логоцентрически истолкованный Новым временем мир, в русской историософии дает понятийно обеспеченную модель понимания происходящего. Соотношение философских подходов к истории в немецкой и русской мысли означает, что они могут быть квалифицированы примерно в одних рациональных стратегиях. В этой связи, в ключе аналитической стратегии организующей научный поиск, можно утверждать, что *русская историософия идет от уникального к универсальному, мысля факт как знак универсального. Германская философия истории идет от универсального к уникальному, рассматривая насколько эффективно в той или иной исторической ситуации конкретизируется понятие, принцип, идея и какие резервы остаются для будущих времен.* Критический тон по отношению к западной философии истории стал закономерным следствием текстов П. Чаадаева, который в определенной степени пошел на поводу у европоцентризма Гегеля, не учитывавшего славянство в качестве заметной исторической силы. Тем не менее, общие теоретические установки вполне распределяются в категориях уникального/универсального, части/целого, общего/особенного и т.д. Есть ряд выводов, напоминающих друг друга, высказывающих идеи одного порядка, и вот именно на этом уровне обнаруживается существенная разница

Фигуры истории, или «общие места» историографии

при единстве терминологии. Уникальность исторического явления, которую подчеркивали русские историософы можно определить в русле неповторимости России, русского или славянского мира, но при этом неповторимость не возводилась в принцип, парадигматизированный как универсальный, общезначимый, пригодный для любого вида философско-исторического явления. Германский мир обсуждался непременно как некий потенциал обобщений всеобщей истории. В этом обстоятельстве просматривается отчетливое различие.

Примечания

¹ Риккерт Г. *Философия жизни*. К.: Ника-Центр, 1998. С. 246.

² Дильтей В. *Наброски к критике исторического разума* // *Вопросы философии*. 1988. № 4. С. 135–152.

³ Хайдеггер М. *Слово* // Хайдеггер М. *Время и бытие*. М.: Республика, 1993. С. 303.

⁴ Даль В. *Толковый словарь русского языка (современная версия)*. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. С. 598.

⁵ Гуссерль Э. *Кризис европейского человечества и философии*. Мн.: Харвест, М. «АСТ», 2000. С. 547.

⁶ Гуссерль Э. *Философия как строгая наука* // Гуссерль Э. *Логические исследования*. М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2000. С. 718.

⁷ Ивин А.А. *Введение в философию истории*. М.: ВЛАДОС, 1997. С. 5.

⁸ Гегель Г.В.Ф. *Философия истории* // Гегель Г.В.Ф. *Собр. соч.* В 10-ти т. Т. VIII. М., 1937. С. 35.

⁹ Э. Трёльч. *О пробуждении философии истории* // Э. Трёльч. *Историзм и его проблемы*. М.: Юристъ, 1994. — 720 с.

¹⁰ М. Хайдеггер, в интервью журналу «Г'Express» в 1969 г. назвал Маркса крупнейшим гегельянцем.

¹¹ Хайдеггер М. *Наука и осмысление* // Хайдеггер М. *Время и бытие*. М.: Республика, 1993. С. 239.

¹² К Ясперс. *Смысл и назначение истории*. М.: Политическая литература, 1991. С. 240.

¹³ Хайдеггер М. *Исток искусства и предназначение мысли* // Мартин Хайдеггер: пер. с нем. А.В. Михайлова. М.: Гнозис, 1993. С. 285.

¹⁴ Зеньковский В.В. *История русской философии*. Харьков: Фолио, 2001. С. 196.

¹⁵ Данилевский Н.Я. *Россия и Европа*. М.: Книга, 1991. — 575 с.

¹⁶ Там же. С. 469.

¹⁷ Бердяев Н.А. *Русская идея* // *О России и русской философской культуре*. М.: Наука, 1990. — 530 с.

С.И. Ковальская (Астана, Казахстан)

**ОТ ИСТОРИОЛОГИИ К ИСТОРИОГРАФИИ:
эволюция исторического знания казахов**

Общим основанием, на котором развиваются социокультурные процессы существования нации, является совокупность условий внеисторического характера, а именно: геополитическое положение, ландшафт, характеристики биосферы, специфические свойства данного этноса и ближайшего этнического окружения. Все в совокупности определяет своеобразие этнической культуры, национальный характер, историческую судьбу, национальный образ мира, который можно воссоздать посредством анализа мифологии, фольклора, форм религиозного культа, этико-философских представлений, литературы и т.д.

Механизмы национально-культурного воспроизводства казахского этноса формировались на протяжении достаточно длительного периода. Для казахов характерен высокий уровень национальной идентификации, несмотря на то, что одним из трагических последствий коллективизации 30-х гг. XX века стала утрата основного идентификационного маркера, а именно — кочевого образа жизни. Быть казахом перестало означать быть кочевником. Однако благодаря таким характеристикам казахского сознания как адат (обычное право), крепость кровнородственных отношений и знание генеалогии, а также устное народное творчество — этническое единство не было разрушено, и казахская культура вновь мучительно обретала себя в новых исторических реалиях. Можно сказать, что в основе всех перечисленных характеристик, не позволивших окончательно утратить национальную идентичность, лежит такое ключевое понятие, как *слово*. Именно литература и язык, проблемы их становления и развития были под пристальным вниманием казахской интеллигенции.

Пиитетное отношение к *слову* как таковому, а также уважение и почет к человеку, владеющему этим *словом*, а значит, знанием — традиционная характеристика культуры казахов. Не случайно отсюда и название эссе классика казахской литературы Абая Кунанбаева, созданного на рубеже XIX—XX веков «Кара соз» (Слова назидания), что, с использованием семантического контекста, можно перевести и как древнее знание, идущее из тьмы веков.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Степное знание — это вид изустного знания насельников степи, которое не оторвано от своего носителя, передается из поколения в поколение по вертикальному информационному каналу, трансформируется в зависимости от передатчиков и встречающихся на пути явлений, катастрофически фрагментарно. Известный востоковед Юдин В.П. назвал данное специфическое явление «степной устной историологией» — (говоря историю), включив в ареал его распространения весь ирано-тюрко-монгольский мир¹.

В понятие степное знание обычно включают устный сакральный свод (мифология, религия, обрядность), устный эпический свод (эпос, творчество жырау) и историко-литературный письменный свод, состоящий из преданий, легенд, хроник и генеалогий. Весь корпус степного знания пронизан историческим содержанием. Этапами развития исторического знания казахов-кочевников можно обозначить *миф—эпос—предания—шежире* (генеалогические рассказы) — *исторические песни*.

Для каждого из этапов характерно свое понимание времени, в котором отражена история народа и уровень его развития. Об этом писал в свое время Л.Н. Гумилев: «Одним из индикаторов определения состояния народа, весьма удобным для классификации, является отношение этнического сознания (каждого данного народа) к категории времени»².

Для кочевника среди прочих «зелень травы» и смена поколений были объективными критериями времени. Последнюю характеристику можно обозначить как «родовое время». Под этим понятием подразумевают некий синтез прошлого и настоящего. Прошлое входит в контекст дня сегодняшнего как его неотъемлемая часть. Умершие предки всегда присутствуют в сознании живых, у них просят помощи и поддержки, а иногда аруахи даже противостоят живым. Практически прошлое является настоящим. Кочевник живет всегда с оглядкой назад, пытаясь найти происходящим событиям аналог в прошлом, и если это прошлое не повторяется, то и будущего нет. Ретроспектива прошлого была как бы перспективой будущего, а предки всегда были наделены сакральной силой и значением. Предки, исторические личности, мифические персонажи легко уживаются между собой в одном времени, принимая активное участие в делах живых.³ Поэтому в фольклоре время воспринимается в статике, нелинейно. Реликты нелинейного восприятия времени присутствуют в современном казахском языке. Например, казахи говорят: «жасы уш мушел» (возраст его три мушеля). Кратное число 12-летних циклов именуется мушелем, возраст и время определялось числом мушелей. Что интересно, мушель акынов, т.е. владеющих СЛОВОМ, равнялся 100 годам, что лишней раз подтверждает то уважение, которое оказывалось людям, владеющим словом.

Статическое восприятие времени объясняет многие этические и эстетические оценки и характеристики героев фольклора, которые четко определе-

Историография и литература

ны как положительные от начала повествования и до конца. Прошлое всегда было эталоном. Лучшими людьми являются те, у кого много славных предков и наоборот. Идеалом средневековой поэзии являлся аталы — имеющий славных предков. Частично эти настроения сохранились по сей день, когда успехи какого-либо родственника персонифицируются и легко воспринимаются как свои собственные.

В истории казахов практически нет ни одного крупного события и ни одного видного деятеля, о котором не были бы сложены предания и легенды. От истории образования Казахского ханства и до Великой Отечественной войны — вот хронологический промежуток, который наполнен многими устными рассказами, сказками и преданиями. Предания делятся на исторические и топонимические, также выделяют «куй аныздар» (музыкальные предания). К историческим преданиям относятся «шешендік создер» (изречения ораторов), рассказы о каких-либо событиях или фактах жизни. Своеобразной частью преданий являются казахские шежиры.

Шежиры составляются на основе генеалогических мифов и преданий. По своей конструкции шежиры чаще сравнивают с деревом, но, на наш взгляд, оно все же выглядит пирамидой, внизу которой живущие поколения и реальные предки, но чем выше поднимаешься, тем проблематичней становится цепь перечисленных предков, а сам верх пирамиды венчает практически мифический персонаж. Иногда происхождение отдельных родов объясняется связью человека с животным или неземным существом, и тогда такие шежиры должны считаться родовыми мифами. Однако это не становится причиной недоверия к шежиру как таковому. У казахов шежиры до сих пор воспринимаются как истинная история и родословный документ. С обретением независимости интерес к шежиру возник с новой силой. Это не случайно, так как наблюдается бурный рост формирования национальной идентичности, что проявляется в казахизации сферы общественно-политических и социально-культурных отношений. В зарубежной историографии данный процесс именуется как индигенизация «*indigenization*». Некоторые авторы трактуют индигенизацию не как отрицание «русскости», а как возвращение к «казахскости» (казакшылык). Возвращение к традиции и порождает казахскость⁴.

Шежиры функционировало в двух модусах — устном и письменном. Большинство письменных памятников по истории казахов написаны в форме шежиры, причем как средневековые Абулгази Бахадур-хан «Шежиры-ат-тюрк», «Тарих-и-Рашиди» Мирзы Хайдара Дулати, сборник летописей Кадырали бека Жалаири, так и в новое время — «Родословная тюрок, казахов, киргизов и ханских династий» Шакарима Кудайбердиева, «Материалы по истории киргиз-кайсацкого народа» М. Тынышпаева.

Уникальность историографической ситуации заключается в том, что все письменные источники по истории древнего и средневекового Казахстана яв-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ляются продуктом соседних оседлых народов. Родоначальником собственно казахской историографии является Мирза (Мухаммад) Хайдар Дулати (1499—1551), автор «Тарих-и-Рашиди». Он родился в Ташкенте, имел хорошее мусульманское образование, занимал видное место при дворе Султана Саида. После смерти султана был вынужден скрываться в Индии у преемников Бабур. Будучи правителем Кашмира, создал свой труд, посвященный истории казахов, узбеков, киргизов, туркмен, уйгуров и других народов Центральной Азии. В XVI веке еще один автор продолжит письменную историографическую традицию — Кадырали бек сын Хошум бека Жалаир, с 1588 года проживавший в Москве и создавший свой труд по просьбе Бориса Годунова. Таким образом, можно утверждать, что собственная письменная историографическая традиция возникла на стыке цивилизаций в прямом и переносном смысле. Затем наступит длительный перерыв и только в середине XIX века процесс самопознания будет продолжен представителями казахского просвещения М. Чормановым, Ч.Ч. Валихановым, Абаем, Шакаримом и других, опять же в лоне внекочевых традиций.

Традиционно доверие к устному слову всегда было сильнее в казахской степи. Сохранились такие формы устной передачи исторического знания как историческая песня, лучшей из которых признана «Елим-ай», возникшая еще в годы великого бедствия 1723—1725 гг. во время войны с джунгарами. Эта песня до сих пор любима казахами и часто исполняется, несмотря на трагизм и щемящую боль повествования, на тоях и празднествах. Большинство исторических песен посвящено движениям протеста. Поэтому исторические песни объединяются в циклы, имеющие общую тематику и одного героя или событие. Например, циклы песен о Срыме, Истае, Жанкоже, Достане, восстании 1916 г.).

Ведущий исследователь казахского фольклора Сеит Аскаревич Каскабасов выделяет три жанровые разновидности казахских исторических песен XIX века:

- собственно исторические песни (об убиении Акмырзы, о восстании Исатая и др.);
- песни, в которых проявляются жанровые признаки героического эпоса («Битва 17-летнего Жанкожи...», «Досан Батыр» и др.);
- песни, в которых проявляются жанровые признаки обрядовой поэзии — коштасу, кениль-айту, естирту, жоктау, жубату (песни о Бекете, Жанкоже, Досане и др.)⁵.

По мере вхождения Казахстана в состав Российской империи, а затем развития республики в рамках СССР, формировалась историографическая традиция, которую условно можно обозначить как «европейскую». Вклад российской востоковедческой науки дореволюционного периода в воссоздание истории Казахстана огромен, и его невозможно переоценить. Исследования

Историография и литература

советского периода базировались на достижениях предшествующего этапа и, безусловно, были «замкнуты» на российско-советском историографическом поле, что влияло на восприятие исторической действительности. На уровне общественного сознания восприятие собственной истории глазами людей со стороны (куда относили зачастую и русскоязычных авторов-казахов) приводило к формированию убеждения, что история казахов еще ждет своего открытия. Немало этому способствовало и то, что политический шок, который наступил после распада СССР актуализировал проблему поиска идентичности, который на первых порах вылился в эйфорию национального самосознания. В советское время собственно казахская историография на 90% создавалась на русском языке. В конце XX века она активно развивается на казахском и русском языках, далеко не все исследователи двуязычны в академическом смысле, постепенно образовался некоторый разрыв между исследованиями в их проблематике и трактовке, который, к сожалению, имеет тенденцию к увеличению. Этому немало способствует и появление казахской англоязычной историографии. Достаточно часто публикуют свои работы за рубежом на английском языке Ж.К. Джунусова, А. Казымжанов, А. Кусаинова, А. Сарсембаев и ряд других казахских исследователей.

Нельзя также забывать и об историографических традициях казахов-оралманов, активно осваивающихся в научном мире независимого Казахстана. Среди них можно упомянуть переехавшего из Монголии тюрколога Каржаубая Сарткожу, выпускника ЛГУ, ученика С.Г. Кляшторного. Одна из его работ «Орхон муралары» была издана в 2003 году в Астане и посвящена анализу орхон-енисейской письменности. Набижан Мухаметкан-улы, переехал из Китая, защитил кандидатскую и докторскую диссертации в Казахстане, занимается анализом казахско-китайских взаимоотношений в новое время. Жакып Мырзакан-улы, этнический казах, живет в Китае, там же защитил диссертацию, изучает процесс этногенеза казахов.

И вот что характерно: пишущие на казахском языке авторы в основном изучают исторически отдаленные периоды времени, а издающие свои работы на английском языке — куда в большей степени! — изучают современные текущие процессы на постсоветском пространстве, обращая особое внимание на этнополитическое, этнокультурное, этноконфессиональное и этносоциальное развитие нашей страны. И в том и в другом случае можно говорить о своеобразном социальном заказе.

Таким образом, можно заключить, что эволюция исторического сознания казахов охватила достаточно длительный временной отрезок и прошла в своем развитии от устных исторических схем до постмодернистских исканий и методологических умозаключений в трудах современных историков.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Примечания

¹ Юдин В.П. Утемиш-Хаджи. Чингиз-Наме. Алма-Ата, 1992.

² Гумилев Л.Н. Этнос и категория времени // Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР. Л., 1970. С. 144–145.

³ См. подробнее: Турсунов Е. Единство эстетического опыта кочевых и некочевых народов // Кочевники. Эстетика. Алматы, 1993. С. 108.

⁴ См., например: Michael T. Fink *Reconstructing Kazakhstan: Creating Boundaries and National Identities. A Braudelian Analysis*/ PhD Dissertation; American University, 1999. P. 73; Graham Smith, Vivien Low, Andrew Wilson, Annette Bohr and Edward Allworth *Nation Building in the Post-Soviet Borderlands. The Politics of National Identities*. Cambridge and New York, 1998.

⁵ См. подробнее: Каскабасов С.А. Колыбель искусств. Алма-Ата, 1992. С. 314.

В.В. Ковригин (Липецк)

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ И ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ

Одна из ключевых проблем преподавания и изучения истории в современной школе — проблема конфликта интерпретаций исторических явлений и фактов. Каждый ученый-историк, автор школьных учебников по истории при анализе исторических явлений использует свой подход и нередко дает субъективную оценку причинам, сути, последствиям и значению того или иного исторического факта. Это объясняется ориентацией на мировоззренческий и идейный плюрализм — отказ от признания какой-либо идеологии или системы взглядов в качестве единственно истинной, на утверждение необходимости существования в обществе многообразия мировоззренческих и идеологических предпочтений и ориентаций, на признание права каждого гражданина на собственный взгляд и возможности его выражения и защиты. Однако при этом приверженность авторов к той или иной научной или политической доктрине может проявляться довольно очевидно, обретая порой даже форму прямой пристрастности. В то же время плюрализм в истолковании исторических событий очень часто оборачивается мировоззренческой всеядностью.

Сегодня в исторической науке многие исторические события остаются дискуссионными. В нашей стране широкое распространение получает исторический скептицизм с его установкой на невозможность истинного знания о каком-либо историческом событии. В то же время популярными становятся концепции, противоречащие современной парадигме исторического развития (например, А.Т. Фоменко).

Разброс трактовок в исторической науке проявлялся также в противостоянии советских и западных научных школ. В советской науке господствовали идеологические ограничения и критика т.н. буржуазного объективизма. Наоборот, в западной науке торжествовал антикоммунизм, доходивший иногда до крайнего антисоветизма. До сих пор в западной историографии существует определенная «боязнь России». Эти противоречия находят свое отражение в школьных учебниках — как зарубежных, так и отечественных. Так, например, в советских изданиях особое внимание уделялось изучению Второй мировой войны и роли Советского Союза в ней. Сегодня же российские учебники, в частности, вышедшие при финансовой поддержке Института «Открытое Общество», наоборот, очень мало внимания уделяют изучению событий Второй мировой войны и роли СССР в ней. Современные учебники истории в нашей стране иногда являются простой ретрансляцией концепций западных науч-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ных школ. Однако сегодня в западных странах в сфере исторического образования также существуют различные, порой диаметрально противоположные подходы к отображению исторических концепций в школьных учебниках. Основной проблемой авторов учебников истории в большинстве стран все еще остается этноцентризм.

Поиск оптимальных подходов к отбору и представлению научного материала в школьных учебниках истории — это не только важная теоретико-методологическая проблема педагогики и методики преподавания истории. Данная проблема имеет также мировоззренческий аспект.

В современном школьном историческом образовании проявляются следующие противоречия:

1) между научным плюрализмом и естественными ограничениями в отборе содержания образования, ориентированного не только на усвоение информации, но и на решение воспитательных и мировоззренческих задач;

2) между тенденциями глобализации, универсализации, созданием единого мирового образовательного пространства и стремлением сохранить национальную идентичность.

В современных учебниках истории предприняты попытки разрешить противоречие между множественностью трактовок исторических фактов и ограничениями в их представлении в школьных учебниках. Однако, на наш взгляд, возможность решения данной проблемы ограничена количеством часов в неделю по истории согласно Государственному стандарту и, прежде всего, применяемым ныне концентрическим принципом построения учебной дисциплины.

В 1993 г. в системе преподавания истории в школе произошел переход от линейного принципа построения учебных дисциплин к концентрическому. Учащиеся трижды проходят курс Отечественной истории: в 4-м классе — преддевятиклассный (введение в историю), в 5—9 кл. — основной, в 10—11 кл. — повторение пройденного материала на более высоком уровне.

Концентрическая система преподавания истории для России не нова. По утверждению Е.Е. Вяземского, в начале XX века гимназическое образование по русской истории устанавливалось по двум концентрам, а в 1913—1915 гг. перестраивалось на трехступенчатый для русской и двухступенчатый для всеобщей истории вариант преподавания¹.

С 1959 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР была вновь предпринята попытка перестроить школьное историческое образование на концентрической основе. Основная причина — закон о всеобщем восьмилетнем образовании. Учащиеся, заканчивавшие восьмилетку, должны были ознакомиться с историей страны вплоть до современности.

Однако в 1965 г. концентрическая система вновь была заменена линейной.

Концентрическая система школьного исторического образования вызывает немало возражений. Так, например, Т.А. Дружинина в статье «О некото-

Историография и литература

рых вопросах исторического образования» пишет: «На наш взгляд, снижает качество исторического образования концентрическая система преподавания Отечественной истории. В начальной школе, среднем звене и в старших классах трижды учащиеся проходят один и тот же материал, но изучают его довольно поверхностно. В результате они не знают исторических фактов, не умеют их анализировать, делать вывод, обобщения и даже хорошо излагать»².

Концентрическая система построения учебного материала сжимает сроки изучения каждого раздела тем и, соответственно, уменьшает время на изучение и анализ различных исторических концепций. Примерная программа по истории для средней (полной) общеобразовательной школы, разработанная кандидатом педагогических наук А.Н. Алексашиной и др. на основе Государственного плана и Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования ставит одной из задач «развивать у старшеклассников умения анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним»³.

Однако решение данной задачи ограничено рамками времени. Так, например, авторы программы выделяют 3 часа для изучения 1917 года в истории России. На трех уроках учащиеся должны изучить предпосылки, причины, ход, результаты и историческое значение Февральской, а затем Октябрьской революции, политику Временного правительства, первые декреты большевистской власти и многое другое. Изучение и анализ различных подходов к интерпретации исторических событий, как правило, невозможен из-за недостатка времени и перегрузки учащихся. В то же время попытки построения плюралистичной модели школьного исторического образования при сохранении эмпирического подхода также будут малопродуктивны, поскольку учащийся для анализа различных точек зрения ученых по отношению к какому-либо историческому событию и формирования собственной позиции должен обладать навыками теоретического мышления.

Учебник — это всегда авторская интерпретация прошлого. Учебник выстраивает свою версию исторического процесса на основе уже имеющейся авторской. Практически учащийся должен сформулировать свое отношение не к историческому факту, а к его авторской интерпретации.

Некоторые педагоги-методисты предлагают вообще отказаться от использования учебников в практике преподавания истории. «В сегодняшней школе главным консервативным фактором является учебник... Отказ от учебника как основного источника информации необходим именно для преодоления репродуктивного способа освоения исторических знаний и для формирования творческого мышления... Ребенок должен работать не с учебником, а с документом» — пишет в своей статье «Развитие творческого мышления на уроках истории» К.Б. Умбрашко⁴. И далее он отмечает, что «читатель учебника имеет дело не с историческими, а с историографическими фактами — с фактами, иллюстрирующими ту или иную концепцию».

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Конечно, позиция автора представляется весьма спорной — полностью отказаться от учебников. Маловероятно, что тогда хватит времени на построение целостной исторической картины только на основе анализа документов. Для эффективного изучения истории необходимо вначале сформировать навыки и приемы анализа исторических источников. А эта задача окажется затруднительной в младших классах.

В лицее г. Бийска применяется технология исторического образования, разработанная Ю.Л. Троицким и его коллегами из Новосибирской лаборатории «Текст». Эта концепция предполагает изучение прошлого на основе анализа источников, знакомства с различными существующими в историографии интерпретациями событий и явлений. В результате подобной познавательной деятельности школьники формируют собственный взгляд на историю и фиксируют его в творческих работах. Но такая технология будет эффективной только при преподавании истории в классах с уверенным знанием исторических фактов, изученных в первом концентре, либо в классах исторического профиля.

В связи с тенденциями глобализации в Европе в настоящее время предпринимаются попытки сравнения учебников истории разных стран и создания единого общеевропейского учебника истории. Идея создания такого учебника не нова. Как отмечает сотрудник Министерства образования РФ В.К. Бацын, еще в конце 80-х гг. XX в. при поддержке Совета Европы был создан такой учебник. Однако он не получил одобрения педагогической общественности Европы. Пять лет назад под эгидой Совета Европы был издан общий учебник истории для школ трех стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии. Близость исторических судеб стран-соседей, пафос их солидарности в борьбе с восточным гигантом, общность территориально-природной и в известной степени культурно-исторической ниши — все это, казалось бы, становилось залогом будущего успеха. Однако и эта книга не получила признания педагогической общественности. В чем причина?

Работая над проектом учебника, авторы производят отбор исторических событий и подходов к их трактовке. В учебной книге возможно представление различных трактовок исторических фактов для их анализа учащимися. Однако ограничения в представлении материала в учебниках побуждают авторов основное внимание уделять одной исторической концепции, используя другие в качестве дополнительных, второстепенных. Исторические факты в учебных книгах всегда представлены в одном контексте.

Система ценностных ориентаций современных учебников истории представлена скорее не в прямых оценочных высказываниях относительно какого-либо исторического события, а в том, какие исторические события авторы считают необходимым конкретизировать, а какие упомянуть лишь как второстепенные. Этноцентризм учебных книг проявляется прежде всего в выделении особой роли страны, в которой издана книга, в повышении внимания к

Историография и литература

историческим фактам, характеризующим блестящие этапы истории данного государства.

Проблема этноцентризма, на наш взгляд, на современном социокультурном уровне развития непреодолима, поскольку авторы учебных книг всегда преломляют исторический путь их Отечества и всех стран Европы и мира через призму культуры и менталитета того народа, для детей которого рассчитан учебник. И потому, на наш взгляд, на данном этапе развития невозможно создать единый учебник для учащихся всех стран Европы.

Примечания

¹ Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Историческое образование в современной России: Справочно-методическое пособие для учителей. М.: Рус. Слово, 1997. С. 31.

² Дружинина Т.А. О некоторых вопросах исторического образования // Вопросы истории. 2001. № 1. С. 206–207.

³ Примерная программа по истории для средней (полной) общеобразовательной школы. 10–11 классы // Настольная книга учителя истории / Сост. Т.И. Тюляева. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. С. 84.

⁴ Умбрашко К.Б. Развитие творческого мышления на уроках истории // Преподавание истории в школе. 1996. № 2. С. 29.

А.В. Малинов (Санкт-Петербург)

ИСТОРИОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ Н.И. КАРЕЕВА*

Известна научная плодовитость Николая Ивановича Кареева (1850—1931) — законный дивиденд его завидного трудолюбия. Разнообразная и разнокалиберная кабинетная продукция, до сих пор исчерпывающим образом не инвентаризированная дотошными историографами, со временем принесла автору и заслуженно желаемое признание: в 1910 г. Кареев был избран экстраординарным академиком Императорской академии наук, а в 1929 г. стал почетным академиком уже Академии наук СССР. Несколько запоздалое, оно объясняется семейным одиночеством Кареева, не входившего в узкий кровосмесительный мирок российской науки. Этим же, возможно, вызваны широта и многообразие научных исканий Кареева, вынужденного непрерывными напоминаниями в печати демонстрировать свою научную состоятельность. Основу его научного наследия составляют работы по всеобщей истории, в которой, следуя логике родо-видовой определенности, масштабностью выделяется семитомная (а фактически восьмитомная) «История Европы в новое время». Если же далее попытаться выделить признак, индивидуализирующий научную физиономию Кареева, калейдоскопически дробящуюся на многоликие гримасы научной школы, — то это, без сомнения, история Французской революции. Вместе с этим, по подсчетам современного исследователя, примерно треть научных трудов Кареева посвящена философии истории и социологии¹. В широком смысле, учитывая проблемно-содержательную близость философии истории и социологии и даже их терминологическое отождествление в то время, следует признать, что второй по значимости и объему темой кареевского творчества можно назвать разработку теоретико-методологических вопросов общественных наук. Общественные науки, в свою очередь, вбирали в себя и все так называемые гуманитарные дисциплины, что специально оговаривалось Кареевым. Свое хроническое пристрастие к философии (а уже через нее и к теоретизированию на топком фактологическом многообразии истории) подтверждал в мемуарах и сам Кареев: «Я еще несколько колебался, как уже говорил об этом, быть ли мне в будущем историком или философом. В течение всего последующего времени философские интересы не покидали меня, приняв историко-теоретическую и социологическую окраску. Докторская моя диссертация была об основных вопросах фило-

* Работа выполнена в рамках программы «Университеты России» (грант ур. 10.01.290)

Историография и литература

софии истории, и занятия в этой области не прекращались до самого последнего времени. И опять я здесь невольно откликнулся на явления современной жизни, к числу которых относится пропаганда и распространение у нас в последних годах прошлого столетия теории экономического материализма. В IV—VII томах «Истории Западной Европы» я притом дал довольно много места рассмотрению главных течений философской мысли в XIX и XX веках, знакомство с которыми, скажу кстати, не поколебало во мне моего позитивизма, хотя внесло в него некоторые поправки и приучило более исторически понимать культурное значение осуждаемых позитивизмом стремлений. Наконец, и в своих книгах для молодежи о значении самообразования, о способах выработки миросозерцания, об основах нравственности, о сущности общественной деятельности я подчинялся тем же философским устремлениям своей психики»².

Правда, если многотомье исторических трудов оправдывается богатством фактического материала, навешиваемого на незатейливый скелет позитивистской историографии, то академические объемы теоретических и философских работ Кареева утомляют нагоняющими тоску повторами, переходящим в занудство педантизмом, граничащей со скукой обстоятельностью многостраничных аналогий и подобий, прежде всего с человеческим организмом и естественными науками (вводимыми, например, следующими оборотами: «как географ» или «подобно тому, как атомы материи» и т.п.³). С возрастом участилось самоцитирование и постоянные ссылки на свои собственные работы (для сравнения можно обратиться к «Основным вопросам философии истории» (1883) и «Историологии» (1913)), постепенно переросшие в мемуарный жанр «самопризнания». Впрочем, это не индивидуальный недостаток Кареева, а родовый порок всей академической философии истории, вслед за респектабельной профессионализацией, впавшей в ученое самодовольство.

Побочным детищем, редко привлекающим внимание карееведов, исторических и теоретико-методологических изысканий ученого стала его книга «Литературная эволюция на Западе. Очерки и наброски из теории и истории литературы, с точки зрения неспециалиста» (1886). Для исторической работы она была слишком теоретична, с целью парирования возражений в этом направлении Кареев и вынес в подзаголовок «точку зрения неспециалиста», хотя подобная кокетливая «игра на снижение» должна была в результате — по контрасту — подчеркнуть фактологическую компетентность автора и его концептуальное превосходство. Подзаголовок кареевской книги, по-видимому, не случаен, он намекает на известные «Записки профана» (1875—1877) Н.К. Михайловского, солидарность со взглядами которого Кареев неоднократно откровенно признавал. Для того же чтобы быть «чисто» теоретической работой, книга Кареева слишком специализирована и ограничена фактически. Первоначально материал, из которых впоследствии была составлена кни-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

га, печатался в Воронеже в журнале «Филологические записки». Как и большинство кареевских произведений, «Литературная эволюция на Западе» состояла в ближайшем родстве с его преподавательской деятельностью. Три из четырех глав книги представляют собой вводные лекции в «общий курс», начатый Кареевым в Варшавском университете, но не законченный из-за переезда в Санкт-Петербург. Исследования, подготовленные во время работы в Варшавском университете «шли с философским уклоном», что было обусловлено не только теоретическими пристрастиями Кареева, но и подготовкой докторской диссертации⁴. «Литературная эволюция на Западе» не стала в этом отношении исключением. Первые две главы книги — «Литература и ее эволюция» и «Общая задача истории литературы» — посвящены теоретическим вопросам. Две последующие главы — «Средневековая литература» и «Литература на Западе в XIV — XVII веках» — служат их иллюстративным, фактографическим дополнением. Хронология рассматриваемого в книге материала, таким образом, достаточно обширна — с начала Средних веков до начала XVIII в. Разбирая «Литературную эволюцию на Западе», необходимо учитывать ее связь с разрабатываемой Кареевым философско-исторической концепцией, в наиболее полном виде к тому времени отразившейся в опубликованных тремя годами ранее и тогда же успешно защищенных в качестве докторской диссертации двухтомных «Основных вопросах философии истории». Как признавался сам Кареев: «...я прошу рассматривать эту книгу, как один из подготовительных этюдов в предпринятой мною разработке общей теории исторической эволюции»⁵. Уточняя дальше свою позицию, он писал: «Я подхожу к вопросу, как *общий историк*, и освещаю его с точки зрения *эволюционной теории*. Этим вопрос ставится в более тесные пределы, и мне можно быть сравнительно кратким»⁶. Быть кратким Карееву, правда, не удалось, а вот пояснение оказалось весьма кстати. Точка зрения «неспециалиста» была артикулирована как позиция «общего историка», т.е. другого специалиста.

Еще один повод, отталкивающийся от той же причины, побудивший Кареева к изложению своих взглядов, — полемика с академиком А.Н. Веселовским. В следующем 1887 г. в тех же воронежских «Филологических записках» он напечатал заметку в жанре рецензии на статью А.Н. Веселовского «История или теория романа?», открывавшую его книгу «Из истории романа и повести». Идея, проводимая в заметке Кареевым, была прежней: необходимость «теории собственно самой истории литературы»⁷, т.е. теории литературной эволюции. Оспариванию мнения А.Н. Веселовского посвящено несколько страниц в «Литературной эволюции на Западе»⁸. Критика Кареева возымела действие. По наблюдению В.Н. Перетц, Кареев «внес существенные поправки в представление Веселовского о литературной эволюции, которую он, видно, понимал, как эволюцию идей, а не как эволюцию форм». Далее, имея в виду уже А.Н. Веселовского, В.Н. Перетц писал, что «с этого времени он уже не

Историография и литература

наставляет на незыблемости форм и вносит новый принцип литературной эволюции — роль влияния на традицию личного почина, личного творчества поэта»⁹.

Дополнительными источниками, проясняющими и уточняющими «не-специализированный» взгляд Кареева на литературный процесс, или историю литературы, может служить статья «Что такое история литературы? (Несколько слов о литературе и задачах ее истории)», примыкающая к «Литературной эволюции на Западе» и опубликованная в воронежских «Филологических записках» в 1883 г., обширная статья о Л.Н. Толстом «Историческая философия в “Войне и мире”», помещенная в 1887 г. в «Вестнике Европы» и брошюра «Французская революция в историческом романе» — одна из последних прижизненных публикаций Кареева.

В целом стоит признать, что теория литературной эволюции располагалась на периферии научных интересов Кареева. Он обращался к ней лишь в качестве приложения или развития своей историологической концепции — так он именовал теорию исторического процесса. Историология, в свою очередь, была результатом трансплантации в философию истории позитивистских установок. Влияние позитивизма, признаваемое и сами Кареевым, слишком очевидно, чтобы в нем усомниться, но и слишком навязчиво, чтобы долго на нем останавливаться и им ограничиваться. В.П. Золотарев, автор первой монографии о Карееве, неоднократно подчеркивал, что теоретико-методологические разработки ученого «находились в плену позитивистских представлений»¹⁰. Энциклопедическая ученость, поощряемая здоровым честолюбием, развила в Карееве дар плодотворного синтезатора многочисленных теорий, учений и концепций, удачно накладывающихся на упрощенный позитивистский схематизм. Получающаяся в результате эклектическая аппликация раскрашивалась многочисленными примерами, приземляющими ее до уровня естественной науки. Диапазон философско-исторического синтеза у Кареева был необычайно широк. «Философия истории Кареева, — замечает И.Д. Осипов, — занимала место между кардинально отличающимися друг от друга религиозной историософией и историческим материализмом»¹¹. Подводя итог многогранной научной деятельности Кареева, В.П. Золотарев представил ее в виде следующего образа: «Н.И. Кареев за свою долгую жизнь как неутомимый труженик соткал такое полотно, на котором немало оригинальных узоров, причудливо сочетающихся с узлами и узелками. Эти не без мастерства созданные узоры еще недостаточно изучены, а узлы и узелки не распутаны»¹². Развивая метафору, можно сказать, что с внешней стороны паукообразного творчества Кареева согласуется и многогранность его исследований, и даже идея многофакторности исторического процесса, предпочитающая множество единству и старающаяся в режиме каталогизации аналитически исчислить все многообразие сплетающихся в жизнь моментов.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Не тратя время на то, чтобы исчерпать весь философский горизонт теоретической плоскости позитивизма, остановлюсь лишь на наиболее существенных для Кареева темах. Прежде всего, философско-исторические амбиции Кареева стимулировались столь привлекательной у родоначальников позитивизма уверенностью в возможности и уже исторически назревшую необходимость создания положительной науки об обществе и истории. Это, пожалуй, самый сильный импульс позитивизма, приведший к возникновению социологии, поддерживался ценностным накачиванием современности, чувством исторического высокомерия и смыслового превосходства настоящего над прошлым, человека над природой, полезного над прекрасным, комфортного над благодатным... Идея развития, преломляясь в оптимистической оптике прогресса, принимала теоретическую форму эволюционизма. Като́к позитивистского мышления прошелся прежде всего по историко-философской традиции. Больше всего за надуманность и искусственность досталось метафизике. К вытаптыванию сущностей приложил руку и Кареев. Язвительными инвективами в адрес метафизики наполнены многие страницы его «Основных вопросов философии истории». Философствование теперь должно начинаться заново. Правда, как оказалось, на отполированный позитивизмом ландшафт философии может быть нанесен лишь символический орнамент логического атомизма (другие типы философствования требуют укоренения в традиции). Впрочем, это уже следующий шаг, Кареев же был лишь в рядах тех, кто в популяризаторском азарте расчищал почву. Все теоретические утверждения должны быть сведены к чувствам, любое философское положение должно быть верифицируемо. Существует лишь то, что доступно чувственному наблюдению. Кураж феноменализма ввергал философию в стихию опыта, в котором умозрение, попадая под догматический нож принципа демаркации, окончательно отсекалось от познания. Отделение научных форм знания от вненаучных поощрялось универсальностью самой науки и кумулятивным направлением ее теоретико-практической мускулатуры. «Наука, — уверенно провозглашал Кареев, — должна быть одна для всех людей, в ней не может быть догматов, исповедуемых в одной стране и отвергаемых в другой»¹³.

Еще один принцип положительной философии, обеспечивающий научный статус историографии, — принцип единства действительности, рационалистическая уверенность в гомогенности постигающего и постигаемого, познающих форм и познаваемого предмета. Отныне подсказанное толковым словарем методологическое различие истории как процесса и истории как знания или рассказа не является столь радикальным. Опыт, сводящий все многообразие сущего к данности, унифицирует все возможные предметности по мерке феноменальных околичностей сознания. Прошлое и настоящее как предметы опыта суть однотипные и равнозначные явления, временная модальность которых элиминирована бессмертной трансцендентальной субъек-

Историография и литература

тивностью. «То прошлое, которое изучается исторической наукой, и то настоящее, о котором нам всем постоянно приходится составлять себе известного рода мнения, относятся ведь к одной и той же категории явлений, а потому человек, привыкший пользоваться приемами научного исторического мышления, и о фактах современной жизни будет судить правильнее, чем человек, не получивший необходимой дисциплины ума, сообщаемой историческим образованием», — развивал в 1893 г. свою мысль Кареев во вступительной лекции к общему курсу новой истории, посвященной XVIII в., для студентов младших семестров историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета¹⁴. Настоящее, впрочем, обладает сравнительно с прошлым смысловым приоритетом, переходящим в интерпретации Кареева в практическую плоскость. В этом просматривается еще один несущий элемент многоэтажной постройки положительной философии — утилитарно-практическая подпорка когерентной концепции истины.

В отличие от третируемой позитивизмом метафизики, фактографическая родословная истории обеспечила ей вполне благополучные перспективы. Более того, в сравнении с другими гуманитарными дисциплинами, история обладает явным преимуществом, позволяющим воспринимать ее в качестве универсальной объясняющей основы. В дополнение к теоретическому отношению естественных наук к своему предмету, гуманитарные добавляют еще этическое измерение, реализуемое в субъективном методе. В реферате «Об отношении истории к другим наукам с точки зрения интересов общего образования», читанном в педагогической секции Исторического общества 13 апреля 1895 г., Кареев распространяет исторический метод и на естественные науки. Но, конечно, объясняющая роль истории более органично воспринимается в гуманитарных науках. Ближе всего к истории стоят социология и экономика, теория государства и правоведение, этнография, политическая география, статистика и др. Применение в них исторического метода — заслуга уходящего века, что и дает ему повод назвать XIX в. «веком истории»: «Важность той роли, какую в настоящее время историческая точка зрения играет в отдельных науках, все более и более осознается представителями научной мысли в разных областях знания. История научного движения XIX века дает этому веку такое же право называться историческим, какое имеет XVIII век, чтобы называться философским. Лишь наше столетие поставило на историческую почву изучение языка, литературы, искусства, философии и религии, которые прежде рассматривались исключительно с тех или других отвлеченных точек зрения, — логических, эстетических, метафизических, этических...»¹⁵. Внедрение принципов исторического изучения в другие науки сопровождалось и изменениями в самой истории. Накопление и увеличение фактического материала привело к расширению сфер исследования и появлению новых областей внутри самого исторического знания. Появились история языка, литературы, права, искус-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ства, народного хозяйства, и т.п., подселившиеся на правах дальних родственников в семью общей истории так, что теперь «в общей истории потому все перечисленные предметы, так сказать, находят свой собственный центр»¹⁶. Все это привело к расширению понятия истории. Близкие кровные узы связывали историю прежде всего с юридическими науками: историей права, политических учений и учреждений, а также историей экономических отношений и теорий. Здесь Кареев намекает уже на собственную научную генеалогию — «юридическую», или «государственную», школу, прописавшуюся в Московском университете в годы его обучения. Ключевые положения этой школы и легли в основу его историко-эволюционной концепции, частными выводами которой стали теоретические опоры истории литературы. Разрабатываемая в нагрузку к новым колониальным приобретениям исторического знания, методологическая сторона также способствовала утверждению истории в качестве научной дисциплины. Участие Кареева в этом процессе было самым активным. Это и преподавательская работа, и книги, в основном отражающие его лекционные курсы, плодотворная редакторская деятельность, издание «Исторического обозрения» и «Научного исторического журнала», усилия по институционализации истории, прежде всего создание Исторического общества при Санкт-Петербургском университете.

Однако же и история, в свою очередь, испытала обратное влияние ассимилированных ею дисциплин. Кареев даже моделирует своеобразную шкалу, на которой по мере воздействия на выработку мирозерцания упорядочивается это влияние. На первое место он ставит историю философии и поясняет: «в частности историю теории познания и историю этики»¹⁷, а далее приплюсовывает историю политических теорий и экономических учений. Именно эти отрасли знания прежде всего позволяют лучше уяснить идейное наполнение исторического процесса. История физических, химических, биологических теорий, а также лингвистических, эстетических, педагогических учений в этом отношении менее значимы. Так в эклектической многогранности «общей истории человеческого мирозерцания» воплощается синтетическая матрица позитивистской эпистемы.

Вместе с этим политика, юриспруденция, экономика не только поставляют материал для новых теоретических конструкций исторической науки и сами заимствуют способы научного насилия над прошлым, но и, пусть даже и изредка, предлагают собственное решение общих вопросов. Историк-теоретик или, по терминологии Кареева, «общий историк», должен синтезировать специальные взгляды политиков, юристов, экономистов, а также историков духовной культуры (религии, литературы, философии, искусства) и учитывать теоретические результаты, достигнутые в других отраслях знания¹⁸. Кареев отмечает в этой связи работы Фюстель-де-Куланжа, Иеринга, Маркса, в которых на материале конкретных наук были сделаны важные теоретические обобщения.

Историография и литература

Итогом скрещения истории с другими дисциплинами и научного самоопределения истории стала ее дальнейшая специализация, распыляющая общие принципы во множестве мелочных исследований, иронично нарекаемых Кареевым «буквоедством» и «гробокопательством». Крохоборство научной специализации привело к тому, что «стала писаться история которая также суживала свою задачу до решения каких-нибудь головоломных ребусов в роде того, кто написал Слово о полку Игореве, или до изобретения мельчайших подробностей какого-либо мельчайшего факта»¹⁹. Идолом исторической специализации становится *факт*, поклонение которому и порождает новых научных пигмеев. «Основу обособления специальной истории, — поясняет Кареев, — составляет то обстоятельство, что в исторической жизни есть факты, неинтересные или мало интересные для человека, следящего за общим развитием общества: в истории литературы — это одни факты, в истории права — другие. В этом *raison d'être* специальных историй»²⁰.

Сближение истории с другими дисциплинами происходит прежде всего на почве общего предмета — идей. По мысли Кареева, «существеннейшее содержание истории» сводится к идеям и учреждениям²¹. Презентуя свою книгу «Литературная эволюция на Западе», он писал, делая акцент на теоретическом характере своего произведения: «Специального исследования или того, что могло бы заменить учебник, читатель не найдет в этом очерке: это — общее рассуждение, в котором главную роль играют не *факты*, а *идеи*»²². История, солидаризируясь с прочими гуманитарными науками, изучает «культурные и общественные идеи», господствующие в определенную эпоху. Пример подобного подхода Кареев, в частности, дает в своей «пушкинской речи». Провозглашая главный тезис своего выступления: «Пушкин был поэт европейский, не переставая быть национальным»²³, — он, стремясь подчеркнуть единство литературного (как и вообще исторического) процесса, имеет в виду не подражание, а творение «в духе» европейской литературы. В свою очередь «дух» литературы задается общим идейным фоном эпохи, который литература лишь отражает. Для пушкинского времени это понимание личного разума в качестве высшего критерия истины, протест «против созданных историей уродливостей» и «пошлой прозы будничного прозябания», проповедь лучшего общественного строя. Литература является хорошим хранилищем идей, из запасников которого в случае надобности историки всегда могут черпать материал. «Что в эпоху бorerия новых и старых идей усилился интерес к общественным идеологиям, — пояснял Кареев, — это понятно, и этим объясняется то значение, какое общие историки стали приписывать изучению литературы, как лаборатории идей»²⁴. Свою мысль Кареев иллюстрировал примером Ф.Х. Шлоссера: «...его история есть по преимуществу история прагматических фактов и история идей, соединение политической истории с историей литературы»²⁵. С другой стороны, идеи не в меньшей степени, чем институты и

Фигуры истории, или «общие места» историографии

учреждения, являются преобразующей жизнь и историю силой. Более того, социальные институты создаются «духом», идеалами, разделяемыми большинством народа. Идеи и социальные институты — результат способности человека к абстрагированию и сути, таким образом, «постоянные системы отношений», не основанные на непосредственном психическом взаимодействии²⁶. Сравнение идей с реальностью порождает критическую мысль, которая, направляя личную инициативу, меняет историческую действительность. Смена идеалов составляет содержание критических эпох в истории (тема, продолженная затем П.Н. Милюковым в «Очерках по истории русской культуры»). Собственно говоря, явления, изучаемые в гуманитарных науках, в значительной степени зависят от того, что люди о них думают, какие идеи разделяют. Отсюда проистекает «двойственность предмета исторического изучения, двойственность самих *явлений* жизни и идей...»²⁷.

Определенный фрагмент реальности задает предметную область и сферу значений определенной науки. Для науки эта реальность выступает как данность, т.е. существующая не сама по себе, а со стороны своей артикулированной наукой смысловой определенности. Общественные науки имеют дело с двумя явлениями подобного рода: духовными и социальными, первые из которых вызревают «на почве *психического взаимодействия особей*», вторые — «на почве *социальной организации*»²⁸.

Различаются науки и со стороны методологической, предопределяющей в конце концов своими алхимическими приемами и их содержание. Так вырисовывается излюбленная тема положительной философии — классификация науки. Для Кареева в самом общем виде науки подразделяются на *номологические*, или теоретические, и *феноменологические*, или описательные. «Феноменологическая наука, — разъясняет он, — есть воспроизведение, уяснение, оценка конкретных явлений природы и жизни в их индивидуальных или родовых признаках, воспроизведение описания и повествования. Такова история...»²⁹ К номологическим наукам относятся, в частности, социология и психология. Номологические науки ориентированы на поиск законов, и в результате стремятся сплести тотальную объясняющую весь мир логическую сеть. По словам Кареева, «идеал номологии мира заключается в том, чтобы все законы свести в одну великую систему, в которой все одно из другого логически вытекало бы...»³⁰.

История как феноменологическая наука и весь ряд частных, специальных историй, начинающих ее, описывают различного рода явления, концентрическими кругами поглощающие одно другим. «История состоит вся из смены известного рода явлений, — пишет Кареев, — она сама есть очень крупное и очень сложное явление в ряду других феноменов»³¹. Однако теория истории должна опираться также и на философию, доискивающую законов сущего, и на психологию с социологией, раскрывающие законы духовной и обществен-

Историография и литература

ной жизни. Поэтому, полагает Кареев, «воссоздать историю по ее условиям — дело феноменологии, найти законы развития — дело номологии, показать действие этих законов среди данных условий и влияние этих условий на процесс развития — задача философии истории»³².

На основе общего понимания истории следует подходить и к истории литературы. Но для этого сперва необходимо выяснить «смысл» самой литературы, точными формулировками заточить этот смысл в определение. Само слово «литература» и его русские эквиваленты: «словесность» или «письменность» страдают «колеблющимся значением», пульсирующим в зависимости от сужения или расширения содержания самого термина. «Литература», таким образом, может употребляться как в тесном, так и в широком смысле. Тесный смысл понятия литературы обретается на «относительной почве», т.е. достигается через противопоставление литературы науке и философии. Для уяснения такого смысла как раз и необходима эволюционная точка зрения. «Мы поставим этим вопрос о сущности литературы в тесном смысле, — растолковывает Кареев, — прямо на эволюционную точку зрения, с которой научные понятия берут вещи не в тот или другой момент их бытия, а на протяжении длинного пути изменений, сопровождающих их развитие»³³. Сущность литературы выясняется через ее генезис. Логика литературы раскрывается в ее истории.

К сущности литературы можно отнести универсальность способа выражения мыслей и идей, т.е. общедоступность и общеинтересность. Именно общедоступность и общеинтересность положены Кареевым в основу определения литературы. Вот два их варианта: «Итак, литературой я буду называть совокупность произведений устного, письменного или печатного слова, выражающих в общеинтересных и общедоступных содержаниях и форме общественную мысль и общественное настроение, будут ли эти произведения продуктами художественного творчества или имеют более прозаический характер, лишь бы они не имели значения деловых обсуждений, учебников и руководств, философских и научных исследований и пособий»³⁴, «Литература, — писал Кареев в другом месте, — как круг явлений с текучим содержанием в изменяющихся формах, не может получить лучшего определения, как общедоступное словесное выражение общеинтересных общественных мыслей и настроений. Это — зеркало, в котором отражается духовная и социальная жизнь народа»³⁵. По содержанию литература сближается с философией, а по форме — с живописью, скульптурой, архитектурой и музыкой.

В качестве отражения идей и мыслей литература представляет собой специфическую смысловую реальность, смысловую реальность, так сказать, в «чистом виде». Более того, в качестве смысловой реальности она не просто отражает, а проживает смысл, идею, мысль. Литература и есть процесс мысли по преимуществу, но не сам по себе, а в единстве со словом, с выражением.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Смысл невозможно законсервировать, складировать в архиве, библиотеке... Хранение смысла есть его воспроизведение, осмысливание заново. Поэтому смысл и мысль вариативны, у них, строго говоря, нет автора. Литература налагает на смысл ограничение формы, привязывает его к акту речи. «Литературное произведение, — пишет Кареев, — запечатлевает самый процесс мысли, самый акт речи, как известной деятельности: слово живет и продолжает действовать, а в слове сохраняет свою силу и значение дух»³⁶. «Индивидуальную человеческую роль, — продолжает он далее, — могут играть только действия, а не поделки: именно характер воскрешающего действия, — процесса мысли и актов речи, — а не сохранившейся поделки имеет всякое литературное произведение»³⁷.

Дальнейшее уточнение литературы и ее истории требует размежевания сначала с материальными памятниками вообще, а затем и с памятниками письменности. Письменные памятники могут иметь интерес сами по себе, «чистый», как выражается Кареев, интерес к процессу мысли, последовательности актов речи и интерес с точки зрения их отношения к другим фактам, на которые они указывают, или идеям, в них излагаемым. На одном полюсе здесь будут литературные произведения (в том числе не только художественные, но и философские, богословские, научные), на другом — деловые бумаги. В первую голову за возводимую по позитивистскому проекту демаркационную изгородь изгоняются «хартии и документы». Оставшуюся письменность Кареев предлагает разделить на литературу специальную и общую, между крайними проявлениями которых существует множество смешанных форм, целая «лестница переходов» от общедоступной литературы к специальной. Но сложность такого разграничения делает невозможной их строгую классификацию. Действуя методом исключения, Кареев отсекает от истории литературы учебники, как вид специальной литературы, имеющей техническое значение, философские произведения, поскольку в них важен исключительно сам акт мысли, в то время как литературу занимает еще и акт речи, т.е. и содержание и форма произведения. Памятники письменности «важны лишь как источники», поставляющие сведения о различных сторонах жизни общества, тогда как история литературы «исследует духовную сторону народной жизни». Поэтому «историк литературы останавливается только на тех памятниках словесности, которые служат источником для воспроизведения картины духовной жизни»³⁸.

Точка зрения «общего историка» вполне естественно предполагает уяснение отношения самой общей истории к истории литературы и, соответственно, установление дополнительной системы различий. С навязчивой пунктуальностью, способной стерилизовать любые выходки задиристого воображения, Кареев формулирует свою мысль: «Это две вещи разные: одно дело лишь пользоваться литературными произведениями для целей общей

Историография и литература

истории, другое — применять исторический метод к изучению литературных произведений. В развитии науки нужно различать здесь два процесса: 1) историки стали все более и более обращаться к литературе, 2) исследователи литературы — все более и более проникаться духом и методом исторического изучения»³⁹. Кареев на двух десятках страниц развивает тему отличий истории литературы от общей истории, указывая на различие предметов (упирающееся в итоге в различие жизни и ее воспроизведения), на разное понимание источника, разное отношение к факту. Для историка литературы ценны сами литературные произведения (они для него и источник, и факт), а от них он уже приходит к «литературной физиономии писателя», эпохе, народу и т.д. Для общего же историка литературные произведения, напротив, важны не сами по себе, а лишь как свидетельство о личности писателя, эпохе, народе... По словам Кареева, «для общего историка литературные произведения скорее простые свидетельства о прагматических и культурных фактах социальной или духовной истории, для историка литературы они сами по себе цельные факты; общего историка в литературных произведениях интересует заключающийся в них идейный и фактический материал всякого рода, действительность, в них отразившаяся, историка литературы — и самый способ соединения данного материала, и самое отражение действительности; общему историку нужно восстановить факт, уяснить его и оценить, историк литературы имеет дело с самим готовым фактом, объясняет его в своем комментарии, оценивает его в своей эстетической критике»⁴⁰. В то же время, как замечает Кареев, «именно в истории литературы воспроизведение может быть наиболее адекватно воспроизводимому... для историка литературы источник, художественное произведение и есть тот факт, о котором он говорит...»⁴¹.

Однако, несмотря на различия, история литературы есть одно из «частных направлений исторической науки» и должна опираться на «общий принцип исторической группировки». Вместе с историей права история литературы относится к социальной и культурной истории, противопоставляемой прагматической истории. Различие прагматической и культурной истории строится на противопоставлении идей и деяний, быта и событий. Идейная сторона, как считает Кареев, занимает все большее место в истории литературы, «которая все более и более стремится из истории литературных произведений или родов, видов словесности сделаться историей мыслей и чувств, историей настроения общества»⁴². С другой стороны, историография, в свою очередь подпадая под реставрационное движение синкретизации знания, начинает подчиняться господствующим литературным вкусам⁴³. Подразумеваемая явный методологический анахронизм, Кареев писал в начале 1920-х годов: «Сто лет тому назад теоретики исторического знания прямо причисляли историю к изобразительным искусствам, ставя ее в ближайшее родство с поэзией»⁴⁴.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Теперь, вместе с Кареевым завершив апофатическое обеззараживание истории литературы, можно подойти к очерчиванию ее собственного положительного содержания. Здесь прежде всего выделяются два аспекта: социальный и психологический. «Главный интерес истории литературы, — констатирует со знанием дела Кареев, — заключается в изучении различных, обусловленных разными состояниями общества воспроизведений личных характеров, отношений, чувств и т.п. в изучении разработки старых тем, взятых из мира личной жизни, и постановке новых, выдвигаемых жизнью, в изучении уяснения человеческого идеала и приговоров над явлениями, вечно присущим человеческому бытию, хотя и разнообразящимся до бесконечности в зависимости от исторического момента»⁴⁵. Идейная сторона жизни, на которой сосредоточивается история литературы, есть, по существу, результат психического взаимодействия, уяснение которого и порождает все головокружительные перевалы проблем индивидуального творчества. Воспроизведение жизни, как принцип литературы, всегда опосредуется психикой современников, а затем, принимая вид легенд, взвинчивается на новый рефлексивный уровень субъективным восприятием их потомками. Литература не может удержаться от соблазна пустить их в свой словоохотливый оборот и либо вдохновляется легендами, как романтики, либо доискивается сквозь них действительности, как реалисты. Еще раз: литература — психическое явление, результат психического взаимодействия индивидов, своей диспозицией моделирующее социальные отношения. «Литература, — утверждает Кареев, — есть только один из видов человеческой деятельности; как внешняя, самобытная реальность, она не существует: определять ее в конце концов следует не в связи с ее произведениями, а в связи с процессом их творчества. Литературные произведения, заключенные в книги, суть результаты этого творчества, а не сама литература. Ее история не может заключаться в истории результатов, существующих как бы *an und für sich*: не сами по себе, не сами для себя, не сами в себе имеют они основу своего существования, ибо у них есть творцы и читатели, судьи и поклонники, ибо у них есть среда, в которой они возникли и играют роль. Пора всем наукам, имеющим дело с продуктами человеческой деятельности, стать на психологическую точку зрения...»⁴⁶ История ценна не столько своими результатами, сколько возобновляемой процессуальностью, подвижной энергией психического взаимодействия. Психологизм в то же время имманентно присущ литературе, неизбежно возвращающейся к психическому анализу характеров героев, их душевных переживаний и т.п. Раздувание психологизма до методологического прообраза общественных наук обнаруживает в системе Кареева прочные теоретические корни. Само общество рассматривается им как результат психического взаимодействия составляющих его личностей; «основа общественности находится в психике»⁴⁷. Ближайшим образом объяснение общественных явлений сводится на коллективную пси-

Историография и литература

хологию, по нисходящей модели атомизации ищущей опору в психике индивидуальной. «В истории человеческих обществ, — заключает Кареев в «Историологии», — социальное и психическое развитие одно другим порождается, одно другим обуславливается. Раз, однако, у общества нет своего собственного чувствилища, вся социальная психика имеет характер коллективный, дискретный, и все проявления психической жизни в обществе заключаются в психическом взаимодействии его отдельных членов»⁴⁸. Для большей наукообразности Кареев именует процессы, происходящие внутри индивидуальной психики *интраментальными*, а психические взаимодействия между индивидами *интерментальными*. К интерментальным процессам и принадлежит «общественная психика».

Социальная сторона еще больше разворачивает историю литературы к жизни, сводя ее содержание к вопросу о положении «писательского класса» в обществе, либо к взаимодействию творчества и традиции. Как бы там ни было, решение этих вопросов прямо ставит исследователя на путь исторической эволюции. «Мы увидим, — предвосхищает Кареев, — что полная задача историка литературы — изобразить место и роль в обществе писательского класса, производительность и успешность его деятельности, взаимодействие творчества и традиции со всеми причинами и условиями влияющими на эволюцию самостоятельности первого и на эволюцию второй, но рассматривая литературную эволюцию в ее основе, мы имеем право взглянуть на все это, как на побочные обстоятельства»⁴⁹.

На эволюционную точку зрения настраивает и психологическая концепция — прямой наследник прагматической историографии, — тщательно выхаживаемая Кареевым. «Все явления исторической жизни, — заботливо замечает он, — которые мы разносим по категориям государства, права или народного хозяйства, религии, философии или науки, литературы, искусства или техники и т.д., возникают и осложняются не сразу, но вырабатываются, так сказать, из нескольких зародышей, которые коренятся в самой природе человека, в самих формах психического взаимодействия, происходящего в обществе, в самих целях человеческого общежития, и каждая отдельная категория этих явлений имеет свою эволюцию — эволюцию политическую, юридическую и экономическую, религиозную, философскую и научную, литературную, художественную и техническую...»⁵⁰ Примечательно в этой цитате метонимическое сведение «человеческой природы» к психическому взаимодействию.

Идея исторической эволюции вытекает из основополагающего для новой философии принципа развития. Вот как его поясняет Кареев: «Мир как целое, есть развитие, эволюция, творчество высших форм бытия... В недрах мира неорганического возникает органический, в нем мир явлений психических и, как последний их продукт, мир истории. Если эволюция есть общий смысл мира явлений, как целого, то не может быть иной смысл и у мира истории, как

Фигуры истории, или «общие места» историографии

его части»⁵¹. Кареев поднимает идею эволюции до смыслообразующего принципа миростроения. Сама идея эволюции непосредственно заимствуется им у О. Конта в виде концепции социальной динамики и социальной статике, а затем переносится на историю⁵². Следуя же набросанной общей схеме мироустройства, эволюция подразделяется на неорганическую, органическую (физиологическую и психическую) и над-органическую (культурную и социальную). История принадлежит к последнему виду эволюции: «Исторический процесс есть таким образом эволюция культурных и социальных форм»⁵³. Уточняющие координаты исторической эволюции слагаются из осей, растянутых между полюсами вырождения человеческой природы, прогресса и регресса социальных и культурных форм⁵⁴. Но главный отличительный признак исторической эволюции проявляется в усиливающейся роли личного начала. Иными словами, историческая эволюция имеет органическую (наследственные признаки, психические качества, передающиеся от родителей) и над-органическую составляющие как результат совместной жизни индивидов на основе психического взаимодействия. Совместная жизнь, преследуя духовные интересы, приводит к возникновению *миросозерцания*, передающегося благодаря традиции из поколения в поколение и изменяющегося благодаря критически настроенным мыслям и представлениям личности; способствует созданию *этических систем*, возникающих путем «обобщения исторических чувств»⁵⁵, также передающихся из поколения в поколение благодаря традиции и изменяющихся благодаря критически мыслящим личностям; и *общественных институтов*, эволюционная динамика которых также определяется взаимодействиями традиции и личности. «И эволюция истории, — подведем вместе с Кареевым предварительный итог, — вся идет к тому, чтобы сделать возможным развитие личной инициативы, обнять в системе социальных взаимоотношений все человечество и осуществить в жизни новые идеи, постепенную эволюцию идеалов»⁵⁶. Однако эволюционная точка зрения, реализующаяся в историологии, т.е. теории исторического процесса, при переходе к конкретным социальным дисциплинам, в исследованиях отдельных элементов культуры и быта может быть заменена сравнительным методом.

Обращение к эволюционной концепции необходимо Карееву для того, чтобы обосновать возможность истории литературы как науки, а уже на ее эпистемологических плечах сформировать и эволюционную теорию литературы, представляющую собой разновидность общей теории исторического процесса. Удерживая наши рассуждения в общедоступных пределах здравого смысла, вместе с Кареевым «ограничимся самым общим указанием на все более и более распространяющееся понимание истории, как *изображения эволюции*, развития в той или другой области жизни общества: теперь история не может уже быть *хронологическим каталогом фактов*, разделенным на рубрики резко отграниченных один от другого периодов, она должна

Историография и литература

быть *изображением постепенной эволюции*, возникновения нового из старого, усиления или ослабления тех или других явлений в жизни общества»⁵⁷. История в хронологическом и в эволюционном измерениях предстает в виде упорядоченного, последовательного ряда явлений. История не мыслима вне порядка, поскольку порядок — одна из допотопных форм познания прошлого. Кареев поясняет свою мысль через противопоставление образа потока или течения образу калейдоскопа. «Это течение и это изменение, — пишет он, — в определенном и последовательном порядке есть эволюция, как бы ни нестроен, как бы ни неправилен казался нам этот порядок. Эволюция явлений не диалектика понятий, и не причудливая смена фигур в калейдоскопе: в ней есть свои несвязанности и неправильности, но есть и своя логика: эта логика и этот порядок делают возможными и теорию литературной эволюции и историю литературы»⁵⁸. Литературный процесс — стихия совершающегося и становящегося. В своей изменчивости, текучести он неопределим. Определимо лишь ставшее, свершившееся. История, переведенная на язык традиции и последовательности, как раз и есть то, что дано, свершилось. Иными словами, только со стороны своей истории явление может быть определено. Определение литературы, то что есть литература, ее сущность — это ее история. Утверждение далеко не новое в философии истории. Кареев лишь придает ему значение общего историологического принципа, распространяющегося на все виды эволюции. Литературная эволюция не может быть адекватно понята без учета общей исторической эволюции; более того, она не может выйти за ее пределы, не может ей противоречить. «Выходит, что и эволюцию литературной деятельности невозможно изучать вне связи с общей историей общества: в ней лежат причины и условия количества, силы и направления этой деятельности», — поясняет Кареев, переходя на жаргон учителя классической механики⁵⁹.

Сама литературная эволюция, вторя аналитическим установкам познающего ума, дает пример последовательной дифференциации и атомизации. «Одна из сторон всякой эволюции в том и состоит, — вразумляет Кареев, — что предмет дифференцируется, целое распадается на части, а каждая часть усложняется в своем содержании и растет в объеме.»⁶⁰ Литература прежде всего обособляется от философии и науки, а уже затем, пользуясь плодами такого гуманитарного сепаратизма, расширяет свое содержание.

Специфическое содержание литературной эволюции сводится Кареевым к «двум основным вопросам эволюционизма в литературе»: историческому отношению между литературой и жизнью и отношению между творческим и традиционными элементами в литературе. Представить эти вопросы в динамике их разрешения можно следующим образом: «Общий ход литературной эволюции заключается в ослаблении традиционности путем а) развития творчества и в) взаимодействия традиции...»⁶¹. Последние меняются вследствие

Фигуры истории, или «общие места» историографии

«международных влияний» и «накопления литературного материала». Рас-толковывая далее свою мысль, Кареев пишет, что «общий ход литературной эволюции заключается в переходе от творчества коллективного, наиболее благоприятствующего традиционности, к творчеству индивидуальному, т.е. личному в тесном смысле»⁶².

Школьно-диссертационный инстинкт побуждает Кареева изложить свои эволюционные воззрения в двадцати двух пунктах «Общих положений о литературной эволюции»⁶³. Количество пунктов могло бы быть и меньше, если убрав повторы, оставшиеся положения суммировать до более концептуально концентрированного вида. В целом «положения» Кареева выглядят следующим образом:

1) в эволюции взаимодействуют творчество и традиция, что, в частности, отражается в прагматической и культурной историографии;

2) литературное творчество зависит прежде всего от самой литературы, созданных ею образов, тем, сюжетов и т.п. Это ее «ближайшая духовная среда»;

3) литературная среда сохраняется и воспроизводится благодаря подражанию литературным формам и содержанию;

4) литературная среда контекстуальна, т.е. связана с другими литературными традициями, а также имеет выход в область политики, религии, философии, лингвистики и др.;

5) литературные традиции возникают и прекращаются, т.е. имеют начало и конец своего существования. «Возникновение, сохранение и прекращение литературных традиций зависит от общих исторических условий»⁶⁴;

6) традиции не остаются неизменными;

7) традиции влияют друг на друга: пересекаются, вытесняют, поглощают одна другую и т.п.;

8) вытеснение одной литературной традиции другой или возникновение новой приводит к кризису литературной традиции;

9) раннее литературное творчество имеет коллективный характер и в значительной степени зависит от традиции;

10) на ранних этапах литературное творчество воспроизводит традиционные формы и содержание, а не явления жизни. «С развитием общества мы замечаем, что в литературе традиции постепенно вытесняются современностью, образцы живыми предметами»⁶⁵;

11) в литературе происходит постепенная кристаллизация личностного начала. «История развивает личность и создает для ее творчества новый материал»⁶⁶;

12) эволюция литературы характеризуется отказом от подражательности и развитием сознательных аспектов творчества;

13) в ходе литературной эволюции складывается тип творца-личности, больше ориентирующегося на оригинальное и сознательное воспроизведение жизни, чем на подражание традиционным формам и сюжетам;

Историография и литература

14) результатом обращения к жизни становится появление новой литературной формы — публицистики;

15) рост сознательных элементов творчества вызывает к жизни литературную критику;

16) личные и сознательные элементы творчества, а также обращение к жизни приводят к «перерабатыванию литературных традиций»;

17) изменение традиции происходит на всех этапах литературной эволюции, развитие авторства и жизненности литературного творчества делают его более интенсивным, поэтому между традиционным и личностным творчеством, если их рассматривать в отношении изменчивости традиции, есть только «количественная» разница;

18) к переработке традиции подталкивает влияние жизни, по словам Кареева, «просачивание в литературу капель современности или вторжение в нее целых струй окружающей жизни»⁶⁷, проявление личной оригинальности и сознательности творчества;

19) прогресс литературы состоит в постепенном достижении идеала полного отражения действительности, осознании значения и целей литературного творчества. Отсюда вытекает необходимость публицистики и критики;

20) «При эволюции литературы в этом направлении возрастает ее общественное значение»⁶⁸

21) литературная критика или теория литературы должна быть руководительницей литературного творчества. Критика — самосознание литературы;

22) литература имеет социальный характер, является продуктом определенного класса, т.е. людей, для которых литературное творчество является родом профессиональной деятельности.

«Во всем этом отражается общая история общества, а литература находится в очень сложной и многообразной зависимости от жизненных условий общества», — заключал Кареев⁶⁹.

Воспринимая историю литературной эволюции как частный случай историологии, спроецированной на литературный материал, Кареев видит один из главных его предметов в отношении творчества и традиции. Перечисляя основные вопросы, стоящие перед теорией литературной эволюции, а по сути формулируя целую исследовательскую программу, он писал: «Существует ли в обществе особый класс, занятый литературным творчеством, — социальный класс или сословие, наиболее заявляющее себя в этом творчестве, — идеи, интересы и традиции этого класса, — степень его творческой производительности, коллективность или индивидуальность, традиционность или оригинальность, сознательность и преднамеренность или бессознательность и непосредственность творчества, — каковы традиционные элементы литературы, — происхождение этих традиций, — причины их утверждения, — как и почему они изменялись, — влияние на них других традиций, — что заставляло их

Фигуры истории, или «общие места» историографии

падать и уступать место другим, — когда, в чем и почему они стесняли творчество, — освобождение творчества от традиций и какое оно было, — органичное или широкое, частное или полное, — что творчество вносило в традиции из жизни, — возникновение новых традиций и т.д. и т.п.»⁷⁰. Кареев не случайно подробно останавливается на отношениях творчества и традиции, усматривая в них системообразующее начало всякой исторической эволюции. Взаимоотношение творчества и традиции, по его словам, «присуще каждой эволюции, совершающейся в обществе, как основа механизма исторического процесса»⁷¹.

Традиция — элемент консервативный, хотя и не статичный, но с трудом поддающийся изменениям. Писатель «находит уже готовой» традицию, «это ближайшая духовная среда, в которой происходит литературная деятельность»⁷². В то же время традиция — не застывшая данность, а сложный комплекс разнородных элементов. Более того, на литературное произведение может оказывать комбинированное воздействие сразу несколько традиций. Литературные традиции влияют, перекрещиваются, вытесняют, перерабатывают друг друга. В орнаменте геометрических скрещений «каждая литературная традиция ведет свою линию, но эти линии беспрестанно перекрещиваются, взаимно отклоняют одна другую от первоначального направления, сливаются между собою, одна другую вытесняет, подчиняет себе, ослабляет и пр. и пр.»⁷³. В этой базарной толкотне традиций, в учающемся режиме пробуемых на прочность творческими импульсами, и происходит литературный процесс. Творчество вынужденно петляет между традициями. Творчество — наиболее динамичный элемент литературного процесса; только оно создает литературные произведения. «Личное творчество... есть главный фактор литературной эволюции», — объявляет Кареев⁷⁴. Творчество, таким образом, не произвол в хаосе традиций, а маневры компромиссов и конфронтаций, которые, будучи детерминированы субъективными и объективными обстоятельствами творческого акта, должны быть каузально объяснены. Историология литературы как раз и призвана проследить и схематично воспроизвести такую причинно-следственную связь.

В то же время способность к творчеству не является исключительным достоянием литературы. Творческий элемент присущ всякой смыслополагающей деятельности. Согласно Карееву: «Каждый мыслящий человек ищет внутреннего смысла во всем, что его окружает»⁷⁵. Однако «поиск смысла» — это смыслонаправленность человеческой деятельности. Обнаружение смысловой данности не обязательно нуждается в творчестве. Смысл именно привносится, полагается, утверждается в мире благодаря человеку. Поэтому смыслополагание предусматривает привнесение чего-то нового, того что непосредственно отсутствует в наличном существовании. Таково прежде всего творчество идеалов, реализующихся в особой смысловой реальности, в явлениях, существующих только в смысловых отношениях признания, доверия,

Историография и литература

принятия, согласия — государство, право, экономика. Даже естествознание, подчиняя весь свой инквизиторский арсенал опытов, технологий и методик предмету, в пределах этого подчинения допускает «творческий процесс мысли»⁷⁶, реализующийся, в частности, в классификациях научных гипотез.

За эволюционной теорией литературы выстраивается в очередь в поисках признания целый ряд меньших братьев и сестер. Ближайшие из них эволюционная эстетика и эволюционная философия искусства. Кареев набрасывает лишь их общий концептуальный контур, обозначаемый антитезами содержания и формы, искусства и художества. Модификации формы в первую очередь сигнализируют о новом эволюционном витке. «Одна из важных сторон литературной эволюции, — подтверждает Кареев, — заключается именно в эволюции формы в широком смысле этого слова, в выработке художественных, т.е. наглядных, осязательных и образных форм для выражения текущего содержания общественной мысли и настроения»⁷⁷. «Текущее содержание», вливаясь в формы и меняя их жанрово-стилистические очертания, подстать своим нестойким настроениям, намекает на социально обусловленную природу творчества. От недостающего полшага до принципа партийности Кареева удерживает лишь эмпирико-позитивистская зацикленность на опыте, вращающегося в спонтанных грезах феноменализма. «Лучшая форма та, — признается он, — которая возникает под влиянием непосредственного чувства, а не есть результат одной выучки»⁷⁸.

Внося эстетические уточнения, Кареев предлагает различать *искусство* и *художество*. Первое из них разделяется на искусство как умение что-либо делать и на искусственность как стремление заменить природу, приукрасить и подделаться под нее. Художество же предполагает талант, призванный творчески воспроизводить действительность и сознательно украшать естественное. Оценочную дифференциацию этих различий, учитывая эмпирикопослелонство Кареева, не сложно предугадать. Художество, воспроизводя действительность, вносит в нее идеальный элемент и тем самым как бы вторит теоретико-методологическим навыкам познавательной обработки реальности. В художестве мы имеем дело с действительностью в ее новом — определенном, субъективно освоенном и символически присвоенном для последующего выгодного оборота — качестве. «Задача художества заключается в том, — пишет историк, — чтобы основной характер действительных предметов сделать господствующим в их изображениях: здесь совершается выдвижение на первый план того, что принимается за существенное, концентрируются характерные признаки, типические черты предмета, обобщаются намеки и оттеняется то, что в действительности не всегда и не для всякого уловимо, в образе обнаруживается идея, будет ли это образ только условным, но привычным и понятным символом идеи или претворенным в духе художника отпечатком действительных предметов»⁷⁹. Нехудожествен-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ные произведения, например, деловые бумаги или философские и научные сочинения, то же могут заинтересовать историка литературы, но лишь со стороны их формы, хотя он все равно будет отводить им «второстепенное место»: «для историка литературы тут важна техника языка, важны отражающиеся в произведениях этого рода литературные вкусы и общие идеи эпохи»⁸⁰.

Между искусством и художеством нет непроходимой границы. В лучших своих образцах искусство переходит в художество. Отличие искусства от идеально и типологически воспринимающего реальность художества состоит в том, что оно на ощупь продвигается сквозь эмпирический лес, доверчиво подчиняя эстетический интерес многообразному мареву чувств. «Значение искусства, — пишет Кареев, — везде одно и то же: осязательное, наглядное, образное выражение того, что интересует человека, и чем осязательнее, нагляднее и образнее это выражение, тем оно художественнее»⁸¹. Искусственность уничтожительно рисуется Кареевым в таких выражениях, как «подражательные и высиженные украшения речи», «искусственная подмалевка», «шаблонность». Вот что он об этом пишет: «Искусственность состоит, как и везде, в стремлении заменить искусством то, что могло быть только естественным выражением мысли и чувства, в подражательной подделке под формы, в которых сначала не было ничего надуманного, в манерном украшении речи, не способной иметь внутреннюю, ей самой принадлежащую красоту»⁸². Философский близнец такой, «как и везде», встречающейся искусственности — метафизика, на очернение которой позитивизм не жалеет своего сектантского красноречия.

Положительная роль, отводимая положительной же философией искусству, оправдывается его подражательно-отражательными (природы, общественной жизни и т.п.) способностями. В перспективе признания социальных заслуг искусства спенсеровские вариации кареевской историологии снисходительно готовы примириться даже со своим германским антиподом. Лакейское амплуа искусства, разыгрываемое в акте жертвоприношения прекрасного полезному и общественно значимому, объясняется пока еще не в общеобязательных категориях познания, а в хронологически отслеженном постоянстве однотипных исторических превращений, «ибо искусство *всегда* служило той выдающейся идее, которая господствовала в сознании общества, и всегда зависело от господствовавшего тона эпохи. Более всех места отводило искусству в философии истории немецкое направление, которое всегда слишком исключительно видело в истории развитие прекрасной индивидуальности, слишком идеалистически представляло саму жизнь и слишком высоко ставило само искусство»⁸³.

Незатейливая диалектика формы и содержания, отражая зеркальную потусторонность литературы, сводится к символическому дублированию по-сторонних нужд. Новое содержание требует и новые формы выражения.

Историография и литература

«Каждая эпоха, — повествует Кареев, — имеет свою литературу: жизнь вносит в нее новые образы и идеи, темы и сюжеты»⁸⁴. Эпоха опознается через единство, соразмерность, определенное пропорциональное соотношение формы и содержания. Эпоха фиксирует систему соответствий формы и содержания, надстраиваний и отражений реальности и искусства.

Кареев не тратит лишних интеллектуальных усилий на разработку теории отражения, а лишь ограничивается общими соображениями о роли литературы в образном воспроизведении жизни. «Идейное содержание жизни, — проводит он свою мысль, — во всей своей полноте и неотрванности от реальной почвы составляет главную суть литературы в том смысле, в каком она делается предметом исторического изучения»⁸⁵. Литература, как и вообще искусство, отражает жизнь не буквально, а уже ее идеально представленный и осмысленный образ. Дублируется не сама действительность, но ее смысл. Более того, всякое познание, как будет настаивать эмпириокритицизм, является символическим. Литературные произведения «воспроизводят жизнь, как она представляется в народном сознании, не самые факты действительности, а их переработку в горниле мышления и художественного творчества»⁸⁶. Иногда Кареев в пылу позитивистского усердия рождает настоящие философские оксюмороны, ратуя, например, за сущность без отвлечения. Буквально он пишет следующее: «...искусство стремится воспроизвести действительность, по мере возможности сохраняя сущность воспроизводимого, т.е. избегая абстракций, стараясь выразить все конкретно, в живых картинах, индивидуальных образах, представить идею не в отвлеченных понятиях, а в живом, индивидуальном факте»⁸⁷. Впрочем, отражающие способности литературы могут варьироваться в пределах от протокольной фиксации происходящего до чистого вымысла, что позволяет Карееву фиксировать для литературы разные «степени близости и отдаленности от жизни»⁸⁸. Вместе с отражением жизни литература воспроизводит и историю, в том смысле, в каком история и есть ничто иное, как осознанная жизнь. По словам Кареева, «все движение народной жизни, которому мы даем имя истории, отражается на литературе, внося в нее новые образы и идеи, новые темы и сюжеты; общественная мысль и настроение каждой эпохи зависят от исторического момента»⁸⁹. Продолжая тему, Кареев распространяет принцип отражения и на другие повествовательные дисциплины. На удочку реализма, заманивающую конъюнктурной наживкой злободневности, попадается и история. «И другие роды литературы способны к тому же отражению жизни, — признается Кареев, — например, история, которая может подыматься до искусства и служить орудием для воплощения общественных идей... историческое искусство, историческая философия, нередко ложающаяся в основу публицистики, тесно соприкасается с областью историка литературы»⁹⁰. Символические ряды истории и литературы сопрягаются в смысловом скрещении их общих путей к реальности. Лите-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ратура и история не обладают имманентным смыслом, но лишь посредством верификации своих высказываний подтверждают статус смысловой копии реальности. Впрочем, копия, узурпируя инициативу, порой может влиять и на жизнь; в этом, в частности, проявляется «социальная роль» литературы. Компромиссный вывод Кареева достаточно банален: «общее отношение жизни и литературы есть взаимодействие»⁹¹. Кареев, конечно, признает неравноценность таких взаимовлияний; по отношению к жизни литература занимает второстепенное положение. Согласно наблюдению ученого, «в общем литература гораздо ближе зависит от жизни, чем наоборот — отсюда общая зависимость литературной эволюции в тесном смысле... от культурно-социальной эволюции общества, взятой в ее целом. А также и отражение неровного хода жизни на перипетиях истории литературы»⁹².

Если же попытаться уточнить, что же все таки отражает литература, то ответ Кареева будет — бессознательную философию. «В основе всех идей и отношений в обществе, — растолковывает он, — лежит, так сказать, известная бессознательная философия, в которой и заключается характер народа и дух эпохи: эта общественная философия, — мысль и настроение, — проявляется решительно во всех сторонах жизни, хотя не везде одинаково непосредственно и одинаково полно...»⁹³ «Бессознательная философия» только на первый взгляд прикрывается маской индивидуализирующего принципа культуры. За парадоксальностью насильственно сведенных в единое выражение взаимоотношающихся понятий (сродни «бессознательной философии») скрывается затертое повседневным употреблением «мировоззрение». «Бессознательная философия» еще один позитивистский эвфемизм для «мировоззрения». Стыдясь метафизического прошлого мысли и испытывая явный историко-философский комплекс, позитивизм стремится низвести философию до мировоззрения, т.е., по сути, опустить ее на дотеоретический и дорефлексивный уровень. «Понятно, — пишет Кареев на следующей странице, — что такая философия состоит из теоретических и практических мировоззрений, всем дорогих и всем понятных: в них — нравственные устои жизни, деятельности и мысли, не отвлеченные философы школы, не отвлеченные доктрины социальной науки»⁹⁴. Своеобразный демократизм расхожей и узнаваемой «бессознательной философии» всеобщностью своего объема хорошо подстраивается под главные критерии литературы — общедоступность и общепонятность. Теперь, после сверки совпадающих объемов, механизм отражения может действовать автоматически. «Бессознательная философия» или, если воспользоваться другими вариантами, «философия всей современной жизни», «общая философия века», которая, по выражению Кареева, полезнее, «чем сотни схоластических философствований»⁹⁵, может примерять на себя разные формы. Но точно одно: менее всего для нее подойдет разумная (т.е. собственно

Историография и литература

философская) форма. Зато вполне пригодной в этом отношении может быть, например, поэзия. В своей «пушкинской речи» Кареев, в космополитическом воодушевлении направляя свое рассуждение в нужное русло европеизма, следующим образом аттестует «бессознательную философию»: «У каждого времени, у каждой эпохи есть такая дума, более или менее объединяющая всех современников, такое преобладающее чувство, которое является следствием переживания известного исторического момента. Эта дума охватывает душу поэта сильнее, чем иных смертных, и никто не умеет поведать ее миру с таким могуществом как поэт. Отсюда его сила, отсюда его влияние на современников... Такой поэт прежде всего поэт национальный, и в то же время он может стоять и выше все-таки тесных рамок национальности, когда его народ живет общою жизнью с другими народами и вместе с ними испытывает одинаковую смену исторических течений»⁹⁶.

Поэзия, особенно в ее первобытном состоянии, представляет собой «зародыш», «прототип» или «эмбрион и основу нашей литературы». В ранней поэзии или в «народной поэзии», как в исходном целом пребывают в синкретизме и наука, и философия, и религия, и знания, и мировоззрение. Народная поэзия дает пример традиционного типа творчества, лишённого личного начала. «Здесь поэт не имеет еще своей определенной физиономии: он воспроизводит чужие песни, слегка их изменяя, он не придумывает своей темы, не создает своего сюжета, не творит нового образа, не вносит новой идеи; все изменения производятся бессознательно и непосредственно; припоминание слышанного играет большую роль, чем деятельность воображения; само воображение ограничено традиционной сферой»⁹⁷. Мировоззренческая всеядность поэзии, кажется, лучше всего подготавливает ее для художественного оформления «бессознательной философии»; в ней звучат преобладающие в данную эпоху мысли и чувства: «Особенно прямо и полно выражается идейное содержание жизни в поэзии народа»⁹⁸. Вместе с этим поэзия отражает и личную жизнь, «изображает движения человеческого сердца»⁹⁹. Последующий процесс литературной эволюции состоит в постепенном выделении или, по словам Кареева, «дифференцировании» первоначально сросшихся в народной поэзии элементов: теологии, философии, науки, морали, политики и права, истории. Одновременно кумулятивно нарастает и личный аспект творчества, значение традиций слабеет. В рамках историко-литературного процесса дифференциация приводит к обособлению от художественного творчества литературной критики и публицистики. Публицистика имеет дело с сиюминутным, рассматривает и оценивает явления общественной, а не личной жизни. Критика же «служит органом специально-литературных идей... они тоже своего рода философия, философия литературного творчества»¹⁰⁰, она дает понимание задач, целей, приемов и способов художественного творчества. «Во всяком однако случае, — заключает Кареев, — центральное место

Фигуры истории, или «общие места» историографии

в истории литературы должна занимать поэзия, а критика и публицистика уже представляют из себя переход к философии и науке...»¹⁰¹

Эволюционная перспектива, просматривающаяся сквозь бездорожье литературных эпох, начинающаяся с тематической неразборчивости народной поэзии и заканчивающаяся художественной стерильностью критики и публицистики, меняет и сам тип творчества. Традиционные и коллективные формы уступают место авторству, отпустившему на волю воображение и черпающему содержание своих произведений уже не только и не столько в традиции, а в окружающей жизни. «В этом и состоит одна сторона литературной эволюции, в развитии личной оригинальности, в усилении личной инициативы, в увеличении свободы личного творчества»¹⁰². Добавим, сторона, о которой говорит Кареев, — главенствующая. Личность, контрабандой принимая на себя телеологическую функцию, стягивает и упорядочивает всю литературную эволюцию. Ритмика тянущихся к личности литературных форм заглушает антиномический скрежет самого процесса, грозящего в столкновениях принципов воображения и отражения, купно возрастающих по ходу эволюции, перевести в некий парадокс и всю кареевскую теорию. Рост оригинальности также карьерно достигает своего пика в оригинальничанье и эпатаже последних плодов эволюционного дифференцирования — критике и публицистике.

Кареев неоднократно, особенно в полемике с А.Н. Веселовским, упирает на принцип личности, превращая его в свой главный теоретический козырь (в виде тезиса «о постоянном и постепенном развитии личного начала в поэтическом творчестве»¹⁰³), побивающий все основные аргументы противника. Для большего эффекта Кареев переводит свой тезис в средство массового убеждения и применения, т.е. «тезиса, которому я придаю более широкое и общее значение, так как распространяю его и на другие виды человеческой деятельности, взятой в ее исторической эволюции»¹⁰⁴. Частным образом, как отмечает Кареев, о необходимости стать на историческую, а не только эстетическую точку зрения в изучении романа, указывал его университетский учитель Ф.И. Буслаев в статье «Значение романа в наше время». Кареев же раздувает значение принципа личности до универсальных параметров всеобъясняющего принципа, пригодного для всех дисциплин, допускающих историческое измерение. Переходя затем в наступление на чужой территории, он громит А.Н. Веселовского его же оружием: привлекает цитаты и факты из его же статьи, подтверждающие положение о постепенном освобождении личного творчества от пут коллективно-традиционного. Свой тезис Кареев считает полученным «скорее путем дедукции», хотя точнее надо бы сказать, аналогии. Подобный ход мысли в исторической науке уже был применен в либерально ориентированных конструкциях «государственной» школы. Неотрефлектированная Кареевым, — по крайней мере явно, — аналогия, скорее всего, была вызвана рано пробудившимся мемуарным инстинктом — в данном случае университетскими воспоминаниями.

Историография и литература

Возбужденное сознание в методологическом пренебрежении вещами стало подводить под принцип личности как под общий знаменатель весь исторический процесс. «Дело в том, — с угрюмой серьезностью здравомыслящего человека утверждал Кареев, — что вся история представляет из себя продукт совокупной сознательной или бессознательной деятельности личностей... каждый наш шаг, каждый поступок, поскольку он касается общества, есть социальный факт»¹⁰⁵. Бессознательная деятельность личности, еще только ожидающая своего либидинозного оправдания, не удостоивается многословного анализа. И уже во втором томе «Основных вопросов философии истории» по чистым приватизационно-эгоистическим чертежам капитализма всецело уравнивается с сознанием. «Личность, как таковая, — расшифровывает ученый, — есть самоопределяющееся, т.е. самобытное и самостоятельное я, противопологающее *свои* идеи тем, которые работой своего духа она не претворила в свои, противопологающее *свои* цели целям, которые для ее сознания не суть ее собственные цели»¹⁰⁶.

Как всеобщий (а через всеобщность — философский) и неизменный эквивалент всякого исторического развития (национального, государственного, экономического, юридического, общественного, религиозного, философского, морального, литературного, художественного), принцип личности остается ценным всегда, во все эпохи. Более того, социальная анатомия либерализма только за личностью признает право предельной и подлинной реальности. Нации, государства, экономика и т.п. реально не существуют, а проявляются только в личностях и через личности; «человеческая личность — самое реальное существо, с которым имеет дело философия истории»¹⁰⁷. Отношение личности и общества — отношение единицы и множества. Не случайно, та же ментальная модель эпохи, владевшая умом Кареева, пробила себе дорогу в математике, правда, посредством уже другой, повредившейся, головы (параллелизм заманивает соблазном культурологических сопоставлений). «Личность и общество однородны, — размышлял в математических терминах Кареев в «Историологии», — и общество есть, прежде всего, лишь совокупность личностей, сумма, образуемая многими однородными слагаемыми. Различие между личностью и обществом не качественное, а количественное: здесь одна единица, там таких единиц множество»¹⁰⁸. Предельная реальность — она же исходная. Личность, так сказать, запускает, а затем регулярно и подталкивает исторический процесс. Колесо истории движется новационными изобретениями, источник которых — личность. Согласно обстоятельной формулировке Кареева, «история начинается лишь тогда, когда единица вносит нечто новое, необычное в систему поступков, содействуя изменению культуры, когда усложняется социальная организация вследствие возникновения новых отношений, когда является новая идея, которая, как цель, делается мотивом новых поступков. В этом начало истории и ее принцип. Личность может вно-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

силь в жизнь новое, либо вследствие своего особого положения в социальной организации, либо по своим идеям, т.е. так или иначе выдвигаясь и выделяясь из массы»¹⁰⁹.

Личность, продолжая шествие по хронологическим закоулкам истории, подчиняет событийные извивы истории спорной диалектике внешних и внутренних детерминаций. С четкостью, достойной лучших образцов школьно-методического косноязычия, Кареев формулирует свою позицию: «Мы рассуждаем так: ход истории создает деятельность людей, причина деятельности — воля, воля действует по мотивам и известным образом обусловлена; первое условие лежит в организме волящего субъекта, во всей совокупности его врожденных свойств, другие условия по отношению к организму — нечто внешнее; это внешнее есть среда, в которой человек действует. И среда эта есть либо результат процесса физического (природа), либо духовно-общественного, т.е. человеческого творчества (культура и социальная организация)»¹¹⁰. Личность, понимаемая по канонам либерализма в качестве разумно (=свободно) определяющей свои действия сущности, перекрывается своим позитивистским суррогатом, согласно которому поступки личности многообразно обусловлены расово-антропологическими, природно-климатическими и культурно-социальными обстоятельствами. Личность теряет устойчивую основу (субстанцию) субъективности и мигрирует в разряд переходной функции, социологической химеры, точки пересечения безличных сил.

Упрощая анализ, Кареев сужает условия до парных категорий: материального и духовного, неорганического и над-органического (культурно-социального)¹¹¹. Безразличие анонимных сил подталкивает личность к самоопределению. Так над-органическая среда может и подавлять, нивелировать, а может и развивать личность. «Но бессознательная эволюция над-органической среды, нецелесообразный процесс истории не имеет в виду ни блага, ни зла личности и осуществляет и то, и другое: личности самой нужно позаботиться о своем благе»¹¹².

Личностью измеряется и исторический прогресс, формула которого, прикрываясь авторитетом сомнительного гегельянства, принимает вид диалектического витийства. «Тезис — самоопределение личности вне культурных и социальных форм, антитезис — подчинение ее идеям и учреждениям над-органической среды, синтез — подчинение над-органической среды личности с помощью культуры и социальной организации. Личная инициатива и преследование личных целей — первобытное состояние человечества; на второй ступени человек воспринимает идеи извне (из духовной культуры общества) и подчинен вне его лежащим целям общественной организации; на третьей критика личной мысли добывает человеку его идеи из культурного материала и преобразует социальную организацию в систему средств свободного развития личности. Так мы применяем закон Гегеля к формуле прогресса»¹¹³.

Историография и литература

В конспективном изложении исторический процесс можно понимать как примирение личности и над-органической среды, разумного со стихийным.

Исторический прогресс, разыгрываемый по либеральным канонам социального атомизма, способен утверждать целое только в качестве механической системы сцепленных друг с другом человеческих существ. В свою очередь, определенность атома задается системой связей, вскрывающей в личности как наследственные черты, так и те стороны, которые были выработаны под влиянием окружающего ее общества. Целое опосредованно дает о себе знать через соприкосновение с ближайшим окружением. Бытие целого, не реабилитируя, впрочем, его реальность, дается в крайней дозе рецептуры эмпиризма — через ощущение. Нашупывание целого, игра в жмурки с бытием оценивается в трансцендентальной табели о рангах как отвлечение, т.е. как процедура сумасбродного схематизма. «Вся над-органическая среда, — поясняет Кареев, — есть нечто для отдельной личности отвлеченное, от нее далекое, слишком огромное для того, чтобы личность имела возможность соприкоснуться со всеми пунктами среды, и то, что есть в последней для всех общего, делается достоянием личности лишь чрез ближайший ее антураж, чрез тех людей, с которыми она знакома, разговаривает, находится в каких-либо реальных отношениях»¹¹⁴. Личность, согласно парадоксалистской логике Кареева, с одной стороны, держит оборону в соответствии со всеми правилами монадологической тактики, зачисляя все познанное (или сочиненное) в реестр своей частной собственности (в нашем случае авторства), располагая *миром как произведением*, также как и *произведением* в горизонте приватной субъективности. С другой стороны, расфокусированная в социальном субъективности таксономическими конвульсиями здравого смысла распределяет личности по социальным группам и классам как их ближайшей среде.

Активность личности на фоне «культурного трансформизма» может быть в большей или меньшей степени осознанной и успешной. Наиболее заметная (в утилитарном смысле) область приложения творческих потенциалов личности — наука и техника. Итак, личность испытывает воздействия над-органической среды (культуры и общества), но и сама способна, желая перемен, преднамеренно влиять на нее. Такой вид действий относится, по словам Л. Уорда, цитируемого Кареевым, к «антропо-телеологической» стороне исторического процесса¹¹⁵. Внутри самой личности надобно различать периоды активности и пассивности относительно окружающей среды. Схожее различие можно провести и среди людей, одни из которых принимают деятельное участие в окружающей действительности, другие же «плывут по течению». Можно поэтому говорить о существовании различных степеней пассивности и активности, составляющих, по выражению Кареева, «своего рода лестницу»¹¹⁶.

В исторической литературе об исключительном значении личности писал Т. Карлейль. Противоположный «радикальный взгляд в коллекти-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

вистском духе» был сформулирован Л. Толстым в романе «Война и мир». Запоздалое теоретическое обоснование этого взгляда принадлежит немецкому историку Карлу Лампрехту, развязавшему в 1898 г. по выходе своей брошюры «Старое и новое направление в исторической науке» полемику по вопросу о роли личности в истории. Разбору мнения Л. Толстого Кареев посвятил большую статью «Историческая философия в «Войне и мире»» (1887), перепечатанную затем во втором томе трехтомного собрания сочинений Кареева. В этот том были включены статьи, так или иначе затрагивающие проблему «личность и история». В «Предисловии» Кареев отмечал, что все статьи объединяет «вопрос о взаимных отношениях личного и коллективного начал в существовании человека и человечества, равно как его культурных и политических группировок»¹¹⁷.

Статьи, вошедшие во второй том сочинений с характерным названием «Философия истории в русской литературе», представляют собой по большей части обширные рефераты. Статья о Толстом на их фоне выделяется большей определенностью авторской позиции, артикулированной, надо думать, именно благодаря вписанности рассматриваемого предмета в круг исследовательских интересов Кареева. Основные идеи, высказываемые здесь Кареевым, полностью соответствуют его представлениям об историческом процессе, изложенном в специальных сочинениях. Новым является повод для рассуждений: не группировка фактов и не историографические обзоры, а своеобразная художественная историография, т.е. определенным образом осмысленный материал. Более того — осмысленный образно, художественно. Кареев критически наслаивает на взгляды Толстого свое «узко специальное» понимание. Спотыкаясь на ступеньках рефлексивной пирамиды, невольно достраиваемой даже при, казалось бы, предельно отстраненном изложении, приходится признать, что Кареев подходит к художественному произведению как историк-теоретик, т.е., с одной стороны, рассматривает его с точки зрения содержания, соответствия его действительности, с другой, меряет его на аршин своей историологической концепции.

Через тридцать лет Кареев повторил свой опыт художественной историографии в брошюре «Французская революция в историческом романе», написанной в силу «случайного обстоятельства», роль которого сыграло чтение книг о Французской революции в «одном поместье», где Кареев проводил лето 1917 г. Вернувшись в Петроград, он «дополнил это чтение» другими произведениями. Параллельно Кареев работал над книгой о Французской революции. «Войне и миру» Толстого, правда, здесь уделено лишь несколько строк в примечании: «Этот знаменитый великий роман Толстого и является исторической поэмой на философскую тему о двойственности человеческой жизни, — поэмой, в которой переплетаются между собою фактическая семейная хроника с реальной национальной эпопеей»¹¹⁸.

Историография и литература

Сравнение художественного произведения, в частности, исторического романа с научной историей показательно по крайней мере в том отношении, что оно позволяет провести границу между искусством и наукой, как между вымыслом и отражением реальности. «Художественное творчество и научное исследование, — пишет Кареев, — имеет каждое свои задачи, свои права и свои законы, и для существования исторического романа есть свои основания, хотя бы он и не мог быть полным и совершенным отражением действительности, к которому стремится историческая наука»¹¹⁹. Различие между историческим романом и историографией постепенно выявляется в игре модальностей — серии калейдоскопических переходов от действительного к должному и возможному. Крайности демаркационного рассечения, обозначенные онтологией истории и деонтологией поэзии, неосознанно сводятся Кареевым, когда рассудочные фильтры дают сбой и на поверхность выступает изнанка силлогизма — оговорки. Тогда оказывается, что постановочный сценарий представления предписывает истории познание того что есть в той же степени, в какой оставляет за поэзией сферу должного и возможного. Многословное разъяснение Кареева выглядит следующим образом: «Между историей и историческим романом существует тесное родство. Еще сто лет тому назад было в обычае рассматривать историю не в ряду других наук, а в ряду других искусств, именно искусств изобразительных, воспроизводящих действительность в образах, т.е. ставить историю недалеко от живописи и скульптуры и совсем близко к поэзии. Разница между историей и поэзией полагалась в том, что последняя изображает действительность, как она могла бы или должна бы быть, а первая — так, как она была на самом деле. Другими словами, в истории подчеркивалась возможность художественного воспроизведения прошлого и отодвигалось на задний план научное его объяснение и философское понимание. В настоящее время история мыслится шире, чем сто лет тому назад, не в смысле творчества образов, а в смысле созидания адекватных, т.е. вполне соответствующих прошлой действительности понятий, формул и схем. Это не упраздняет, конечно, художественной истории и не вырывает пропасти между историческим романом и ею. Оба вида литературы занимаются воспроизведением прошлого, но если история должна передавать лишь реальную правду, то, что было, как оно было, то самая сущность исторического романа заключается в сочинительстве, в выдумке того, чего не было, но что могло бы быть по условиям времени и места. Нужно только чтобы вымышленные образы, положения, происшествия были правдоподобны...»¹²⁰ Среди исторических романов можно провести градацию по степени их всамделешности или приближения к научно-историческим сочинениям: роман приключений, нравоописательный или историко-бытовой роман, социальный роман. «На почве социальной истории только и развивается история нравов. Центр тяжести исторического романа — в романе социально-историческом», — заключал

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Кареев¹²¹. Всякое историческое повествование — как научное так и художественное — неизбежно предполагает прагматическую сторону, т.е. выстраивание фактов в причинно-следственную последовательность. Тем не менее, несмотря на такое каузальное единообразие для художественного воспроизведения остается недоступна культурная сторона истории, т.е. эволюция общественных форм (экономических, юридических, политических...). Несоответствие обнаруживается и в масштабе воспроизводимого. Роман повествует о судьбе отдельного лица, семьи, кружка и т.п., в то время как история рисует судьбу нации.

Противоречивость сведения в единое произведение истории и вымысла в полной мере проявилась в романе Толстого. Кареев рассматривает его «как синтез поэзии, истории и философии, этих трех главных органов человеческого самопознания»¹²² и сравнивает с «Божественной комедией» Данте. Каждая из трех частей произведения — роман, история, философский трактат — самостоятельны и связаны между собой «переходными моментами». Кареев критикует трактатную часть «Войны и мира» за надуманность, искусственность, неорганичность с композиционной и художественной стороны. «Мало того: так как центр тяжести всего произведения лежит в романе и так как философский трактат примыкает непосредственно только к исторической части, которая сама занимает в целом все-таки второстепенное место, то трактат этот, кроме того, и по отвлеченности своей столь мало подходящий к художественной образности двух других частей, и кажется каким-то совершенно лишним придатком, нарушающим гармонию целого»¹²³. Отсюда задача кареевского разбора: «Вскрыть это механическое целое, чтобы обнаружить в его основе единство другого рода, единство внутреннее, его самую общую концепцию»¹²⁴. Иными словами, найти «цельную идею романа», показать циклическую закругленность всех его частей: роман — история — философский трактат — роман.

Основная мысль, выраженная в «Войне и мире» — мысль о двойственности человеческой жизни — как бы надстраивается над композиционным делением произведения на художественную часть (роман) и историческую часть, которые придают стереоскопическую объемность содержанию. «Другими словами, — уточняет Кареев, — роман и история — две формы, под каждую из которых скрывается одно и то же, хотя и двойственное содержание, т.е. изображение человеческой личности и исторического движения в их взаимных отношениях»¹²⁵. Двойное воздействие оказывает история на человека: на его внутренний мир и на формы общественной жизни. Так обнаруживаются психологическая и социологическая стороны самой истории, засвидетельствованные Кареевым в его многостраничной борьбе с исторической закономерностью. Понимая, что история как наука, построенная по образцу естествознания, не может пройти мимо идеи исторической закономерности, Кареев, признавая однократность и неповторимость исторических событий, выводит историческую закономерность за пределы исторического

Историография и литература

процесса, в ведение других наук — психологии и социологии. Кареев указывает на замечательное описание Толстым психологической стороны воздействия истории на человека и в то же время отмечает, что с социологической стороны он «допускает огромный пробел в своей исторической философии», отрицая влияние форм общественной жизни на «настоящую жизнь людей со своими существенными интересами»¹²⁶.

Бережное отношение к факту, сохраняющему первородную прозрачность своей подлинности, с одной стороны, и непритязательное дистанцирование от мутных разводов воображения, с другой, в понимании Кареева, интонируются явными нотками одобрения. «У Толстого, — пишет он, — исторический факт представляется без искажающих прекурс, а вымысел не возводится на степень исторического факта, решившего судьбу события»¹²⁷. Отфильтрованная в демаркационной реторте диспозиция реальности и вымысла, удовлетворяющая самым строгим таксонометрическим привычкам сознания, осложняется, пожалуй, главной чертой творческого облика Толстого — реализмом. «Реалистическую тенденцию» Кареев усматривает и в романе, и в истории, и в философском трактате, т.е. «трех главных элементах» произведения Толстого. Кареев слишком много вкладывает в понятие «реализм» и слишком многому его противопоставляет, чтобы ограничиться его обыденным пониманием. Ближайшим образом реализм, конечно, вызревает в творческой лаборатории писателя: «Толстой переносит реалистическую тенденцию своей поэзии в область истории и исторической философии, устранив из них идеализацию и идеологию»¹²⁸.

В широком смысле реализм противопоставляется идеализму. Однако лукавая природа идеализма позволяет говорить по крайней мере о трех его значениях. Во-первых, это творчество идеалов, в которых воплощается представление о должном, во-вторых, воспроизведение того, что есть на самом деле и, в-третьих, идеализация, т.е. приукрашивание действительности. В «Основных вопросах философии истории», а также в статье «Задачи социологии и теории истории» Кареев набрасывает более разнообразную картину, в которой лазейка этического измерения в гуманитарных науках оправдывает идеализм. Практический разум, курирующий теоретический, его конститутивно-креативную логику, а через нее и феноменальные просторы представления, реабилитирует идеализм в глазах даже догматически упертого позитивиста. Этим, впрочем, не устраняются отрицательные лики идеализма. Всего Кареев насчитывает шесть значений «идеализма», три из которых «не оправдываются критической философией, общими принципами науки и действительности»¹²⁹. Самая непристойная маска идеализма — *метафизика*, разгребаящая сорную данность явлений в поисках драгоценных сущностей. Метафизическому азарту охотников за сущностями противостоит *феноменология*, довольствующаяся пыльными пределами представлений. Научных проклятий зас-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

луживает и *идеология*, в худших традициях чиновничьего очковтирательства приписывающая реальность идеям нашего ума и, более того, осмеливающаяся на их химерической основе производить сборку явлений. Обеззараживающим идеологию средством будет *эмпиризм*, в качестве противоядия предлагающий связывание идей согласно только данным опыта. Последний, заслуживающий поношения вид идеализма — *идеализация*, беззастенчиво декорирующая реальность в соответствии со своими извращенными вкусами. Ей противостоит точное изображение действительности, или *реализм*. Три других вида идеализма, оцениваемых уже исключительно в позитивном смысле, это *субъективизм*, или учет наравне с внешней и внутренней стороны явлений (имеется в виду, конечно, тех явлений, принципиальный облик которых не мыслим без человека). Следующий вид «пристойного» идеализма — *абстракция*, группирующая и комбинирующая явления посредством «допустимых» махинаций мышления — отвлечений. И, наконец, *деонтология*, или идеализм в узком смысле слова, творчески синтезирующая идеалы, т.е. представления о должном, еще не осуществленные в действительности.

Столь же многогранным антиподом идеализма в широком смысле выступает реализм, шесть его подвидов. Три вида реализма: феноменология, эмпиризм и реализм в тесном смысле уже оправдали свое научное бытование, обезвреживая худшие последствия выедающего реальность идеализма. Однако и реализм способен принимать уродливые формы. Таковы, *крайний объективизм*, заикленность на *эмпирически-конкретном* и ограничение *одним анализом реального*. Тем не менее не следует понимать реализм как вещьпоклонство и онтофилию. Реальность самого «научного реализма» удостоверяется опытом и наблюдением, редуцируемым, согласно Карееву, к психике. Психические подпоры несут на себе все здание общественной науки. «Прежде всего, — писал Кареев, — мы видим, что в основе общественной жизни лежит всегда психологическая связь между отдельными особями. Эта психическая связь есть вполне реальное явление, доступное нашему опыту (в данном случае внутреннему) и наблюдению (даже чисто внешнему). Но сама эта связь есть не что иное, как одно из проявлений психической или духовной жизни вообще, состоящее опять-таки из совокупности реальных явлений особого характера. Отсюда требование действительно-реалистической социологии — принимать в расчет психический элемент всякого общественного бытия»¹³⁰.

Идеализация имеет место и в литературе, особенно в мифологии, классицизме и романтизме. Здесь ей также противостоит реализм. «Итак, — подытоживал Кареев, — реализм противоположен не чему иному, как именно идеализации, которая одинаково может встречаться как в области поэзии, так и в области историографии»¹³¹. Взыскующий объективности взгляд историка констатирует, что «одна из особенностей русской литературы вообще и произведений Толстого в частности заключается в таком сочетании реализма с идеа-

Историография и литература

лизмом, при котором существующее на самом деле не смешивается с должным существовать, и в воспроизводимой жизни усматривается не одна голая «натура», но и стремление к идеалу, — чем наш реализм выгодно и отличается от французского натурализма»¹³². Идеализация в литературе может принимать вид субъективизма (национального, партийного, профессионального) или «оптимистического признания разумной плановости» истории. Ничего этого нет у Толстого. «Таким образом, — делает вывод Кареев, — Толстой чужд идеализации и идеологии, т.е. выдачи своего идеала за реальный факт и отвлеченной идеи за реальную вещь... В этом и стоит его исторический и философский реализм»¹³³. «Реалистическая тенденция», красной нитью пронизывающая и поэзию, и философию, и историю в «Войне и мире», так увлекает Кареева, что он не может удержаться от прогностического искушения и предрекает русской философии реалистическое будущее. Грандиозная фигура Толстого, отбрасывая благословляющим жестом реалистическую тень на русскую мысль, вырастает до парадигмы всей русской философии. Не могу, в свою очередь, удержаться, чтобы не процитировать этот несколько формализованный условным силлогизмом деонтологический гештальт Кареева: «Если от способа проявления русского ума в романе позволительно сделать заключение о том, каково будущее русской самостоятельной философии, то нужно признать, что ей предстоит быть также реалистической — без изгнания идеализма и из этой сферы, с отнесением идеализма к творчеству идеалов»¹³⁴.

Впрочем, не эти герменевтические грезы побуждают Кареева обратиться к роману Толстого. Задетым оказывается либеральный инстинкт историка; проблема личности и ее существования в истории не оставляют Кареева в покое. Главная задача Толстого, в интерпретации Кареева, — показать как человек действует в истории и как история действует на него; «общая философская мысль» Толстого в романе состоит в том, чтобы раскрыть, с одной стороны, участие и значение всех людей, а не одних только великих личностей, в исторических событиях и, с другой, проследить влияние этих событий «на личную жизнь и личную судьбу самих этих людей», а не только на государство, нации, политические системы. Историю, полагает Толстой, делает народ, но показать действие всего народа невозможно, поэтому писатель выводит «типических представителей», созданных его воображением, это «лица, суммирующие в нескольких образах массы индивидуумов, однородных по характеру или общественному положению, однородных на протяжении всей своей жизни или в отдельные моменты»¹³⁵. Подмеченная Кареевым типологизация симптоматична не только для реалистической литературы, но и для историко-методологических поисков эпохи.

Вся позитивистски-прогрессивистская концепция Кареева заиклена на принципе личности. К ней сводятся основные вопросы историологии, от нее

Фигуры истории, или «общие места» историографии

перебрасываются мосты к другим проблемам. «Историю совершает деятельность личностей, — писал Кареев с оглядкой на Г. Спенсера, — это должно быть основным принципом историсофии; каждая из личностей, создающих историю, в своей деятельности так или иначе обусловлена — это принцип философии. Но поведение людей вообще подчинено известным законам, исследовать которые могут биология, психология, социология, и в нем, поведении этом вообще, мы можем различать разные степени развития»¹³⁶.

С либеральным раздражением Кареев отмечает, как Толстой выступает против абсолютизации роли личности в истории и приписывает оспариваемые им взгляды всем историкам вообще, при этом «совершенно унизив историческую личность и ее инициативу»¹³⁷. Стремление нивелировать значение личности в истории у Толстого приводит к отмеченному Кареевым противоречию: писатель то отдает предпочтение «роевой» силе, определяющей ход исторических событий, то пытается показать, как исторические деятели становятся слепыми исполнителями «велений истории». Для Кареева же личность вызывает исторические изменения, а ее отношения со средой определяют ход истории. «Таков весь механизм истории, — констатировал он, — который сводится к взаимодействию личности и над-органической среды, к взаимодействию людей между собою под влиянием среды, к взаимодействию ее элементов под влиянием деятельности человека»¹³⁸. Личность противопоставит «стихийному ходу истории» и своей инициативой, собственно, освобождает от господства рутины в обществе.

Гениальность исторических деятелей в свою очепедь, по мысли Кареева, могла бы по крайней мере состоять в понимании событий, а прозорливость может служить основанием для их приказаний и руководства. Впрочем, спор о том, что является движущей силой в истории — великие люди или масса — Кареев считает «не имеющим научного значения», а, точнее, уже решенным. «Термин “великий человек”, — упорствует он, — не имеет научного значения... Поэтому лучше было бы даже исключить это выражение, по крайней мере, из историологического лексикона»¹³⁹. Ведь толпа — совокупность личностей, поэтому «главный фактор движения суть личности вообще»¹⁴⁰. Ассимиляция точных методов в истории парадоксальным образом сочетается у Кареева с отрицанием единицы измеряемости значения деятельности людей в истории. Это градация без расценки, шкала без мерки. «Среди выдающихся деятелей истории, — рассуждает он, — есть более крупные и менее крупные (целая градация даже), да и просто только выдающиеся бывают и более выдающиеся, и менее выдающиеся (опять целая градация), причем нет и быть не может никакого точного мерила для их сравнительной расценки»¹⁴¹. На одном полюсе такой градации герои и великие люди, на другом — «последние сошки», обыватели, погрязшие в «бытовом прозябании» и «бытовой пассивности». Со школьно высиженной пунктуальностью, буквально подставляющей на ме-

Историография и литература

сто формулировки формулу, Кареев обосновывает неравноценность действия людей в истории. Чрезмерная доза здравого смысла, как это часто бывает, переплавляет здесь очевидность в банальность. «Во-первых, — так начинается этот образчик кабинетной учености, — ненаучно выделять из народной массы великих людей, героев и ей противопоставлять, ибо масса состоит из людей, великих и малых, героических и обыденных, гениальных и очень простых, гигантов и пигмеев, т.е. и великие люди сами составляют часть массы. Во-вторых, сама масса не может считаться каким-то блоком, или конкретным целым, без различения в нем отдельных личностей. В-третьих, наконец, слагаемые, из которых состоит общая сумма, далеко не равновелики: это не $n+n+n+n\dots$, а $n+2n+n/2+2n/3+3n$ и т.д., поскольку их неодинаковость можно выразить алгебраически. Самое главное здесь то, что могущие иметь историческое значение действия людей далеко не равны между собою, а потому и роли отдельных личностей весьма различны»¹⁴². Продолжая номенклатурный ассортимент различий, Кареев указывает на разницу внешних условий и внутренних мотивов, разнообразии причинно-следственного контекста и труднодоказуемость последствий. «Мы думаем, — пишет он, — что основные причины неравенства действия личностей, в смысле влияния их поступков на исторический процесс, должны быть подведены под три категории. Во-первых, человеческие поступки могут и больше и меньше зависеть от причин, для действующего человека внешних, и больше или меньше определяться внутренними мотивами деятельности, т.е. человек бывает или только своего рода передаточным аппаратом, извне воспринимающим и далее передающим движение, или в своей психике по-своему перерабатывать внешние толчки и от себя, так сказать, начинать новое движение. Люди бывают или более шаблонными, или более самобытными.. Во-вторых, во всяком факте, обязанном своим происхождением совокупному действию многих лиц, — а вся история именно такова, — отношение каждого поступка-причины к своим, скажем так, сопричинам может быть разным... В третьих, мы можем иметь в виду отношение поступка не к его сопричинам при образовании сложной причины чего-либо, а отношение к его следствиям. Поступок может для истории оказаться бесследным, да и его следы, раз он их оставляет, бывают даже количественно очень различны»¹⁴³.

Общество и культура, состоящие из личностей и вне личностей не существующие, личностями же и видоизменяются. Именно действия людей, изменяющие «данное общественное состояние» и следует признать историческими. Измеряемость их вклада, хотя и не сведена к единому эквиваленту, подразумевает чисто количественное определение исторической личности. Списывая с научных счетов ценности, историология оставляет чистое поле измеримых, а значит и исчислимых феноменов. «Не дело науки, впрочем, оценивать, ее дело только измерять...» — безапелляционно констатирует Кареев¹⁴⁴. Заметьте: не мыслить, а измерять или мыслить измерениями. Но преж-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

де чем перейти к детальным смысловым консеквенциям такой калькулирующей установки, стоит дать опись измеряемого исторического имущества. «Историческими деятелями мы называем тех, — начинает перечисление Кареев, — которые либо внесли совсем новые идеи, либо действовали с особым сознанием, либо выразили в себе назревшие потребности общества, вызванные естественным его ростом, либо сумели соединить силы общества для выполнения их планов. Мы их назовем истинно великими, если они содействовали прогрессу, хотя бы и не имели в свое время успеха. Во всяком случае, двигателем истории является личность: она перерабатывает культуру и общественные формы, которые ее более не удовлетворяют. Общество есть механизм, вечно сам себя починяющий, организм, вечно сам себя лечащий, производство искусства, вечно само себя творящее»¹⁴⁵.

Набиваясь в единомышленники к Гизо, Лорану и Конту, Кареев формулирует четыре принципа всякой человеческой деятельности. Первый из них постулирует причинную обусловленность действий и их мотивов. Второй констатирует их управляемость законами. Третий указывает, что действия законов варьируются в разных условиях. И четвертый говорит о случайном сочетании этих условий¹⁴⁶. После случайности, управляющей закономерностью, совсем невинным выглядит следующее тавтологическое определение: «Деятельность лица, ускоряющего прогрессивный процесс или замедляющего регрессивный, есть прогрессивная, и наоборот, деятельность лица, помогающая процессу регрессивному и задерживающая процесс прогрессивный, есть деятельность регрессивная: таковы Петр Великий, с одной стороны, и Наполеон I, с другой»¹⁴⁷. Авторитетно прикрываясь мнением французских позитивистов, Кареев на конкретных примерах восстанавливает историческую справедливость: выгораживает Петра I и очерняет Наполеона. Впрочем, на зыбких весах исторической справедливости Петр и Наполеон перерастают в символы двух разнонаправленных, а при сложении нивелирующих друг друга сил. «При том деятельность великих людей взаимно нейтрализуется, ибо рядом с людьми будущего, вроде нашего Петра, есть люди прошедшего, вроде Наполеона, как нейтрализуются и усилия обыкновенных смертных, так что получается отсюда равнодействующая более или менее совпадают с той линией, по которой ведут общество законы эволюции и общие условия, в какие общество поставлено»¹⁴⁸. Сложение прошлого и будущего дает вполне обезличенную современность, смысловая стерильность которой поддерживается законами эволюции и общими условиями.

Крайние подходы к вопросу о роли личности в истории, оцениваемые им как «ошибочные односторонности», Кареев иллюстрирует на примере Карлейля и Толстого, лишней раз подтверждающие старую мудрость, что крайности сходятся; «в основе их ошибочности лежит одно и то же представление», — замечает историк¹⁴⁹. «И Карлейль, и Толстой, — поясняет он далее, — выделяют героя из массы, чтобы его противопоставить массе, как нечто от нее отличное»¹⁵⁰.

Историография и литература

Нелестное мнение Толстого о современных историках и состоянии исторической науки также задевает профессиональное самолюбие Кареева. Толстой, как не без основания полагает Кареев, не был знаком с соответствующей специальной литературой и его возражения являются или запоздалыми или некомпетентными. «Словом, — заключает ученый, — для Толстого все представители исторической науки только “мнимо-философы-историки”. Вместо тех идей, которые, по мнению Толстого, руководят всеми историками, он ставит свои, исходя из того, что история должна иметь свою теорию, которую он называет философией истории. Такая теория давным-давно вырабатывается, но Толстой как-то это игнорирует»¹⁵¹.

Игнорирует Толстой и историологическое понимание законов истории, само состоящее в игнорировании таких законов. Толстой упорно продолжает твердить о законах истории, совершенно не замечая тех контрастных оттенков, какие в понятиях «закон» и «причина» способен различить такой тонкий терминологический дегустатор, как Кареев. «Толстой, говоря о законе в истории, имеет в виду... силу вещей, которой он хочет без остатка подчинить человеческие поступки»¹⁵². Историческая закономерность принимает у Толстого формы фатализма и провиденциализма, что, кстати, сближает его взгляды с рассуждениями П.Я. Чаадаева и С.С. Уварова. «Формула фатализма такова: имеющее случиться — случиться», — резюмирует Кареев¹⁵³. Необходимость в истории осмысляется Толстым как непреодолимость и непредотвратимость, а не как причинность. Использование же Толстым выражения «законы истории» Кареев и вовсе считает «недоразумением». На этом фоне Кареев обрушивает на многогрешную голову Толстого поток новых обвинений. Даже с внешней, текстовой стороны историософские измышления Толстого выглядят неполными, отрывочными и необработанными. «Толстой, — с прокурорским усердием настаивает Кареев, — набрасывал свои мысли на бумагу в период их брожения... его историческая философия, какую мы находим в “Войне и мире”, напоминает написанные начерно отрывки из большого сочинения, еще не получившего своего плана»¹⁵⁴. Сюда же следует отнести «неопределенность понятий, употребляемых Толстым, недостаточная выработка его философского языка — в значительной степени затрудняют правильное, т.е. согласное с намерениями автора, понимание его идей»¹⁵⁵. В итоге Кареев уличает Толстого в обесмысливании исторического процесса, вкладывая в представление о смысле истории весь содержательный скарб своей либерально-позитивистской учености: *идеалы*, на основе которых преобразуется действительность, *личности*, творящие эти идеалы и их реализующие, *прогресс* как постепенное движение к этим идеалам под действием их телеологического притяжения.

Но, пожалуй, главный недостаток, отмечаемый Кареевым у Толстого, — «непонимание самостоятельного содержания истории, ее социологической стороны»¹⁵⁶, «индифферентизм к общественным вопросам»¹⁵⁷. Писатель полнос-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

тью игнорирует социальную сторону исторического процесса; «теория Толстого находится в теснейшей связи с его отрицательным отношением к общественной деятельности, которая и есть один из факторов истории, и предпочтением, оказываемым им деятельности бессознательной перед сознательной деятельностью»¹⁵⁸. Толстой признает только коллективное воздействие личностей на события и влияние событий только на внутренний мир личности, совершенно упуская формы общественной жизни. «Смысл видит Толстой в одном личном быту, и здесь он является пророком *нравственного обновления*, но смысл жизни исторической для него закрыт», — заключает Кареев¹⁵⁹.

Недостатки философско-исторических представлений Толстого снижают реалистические достоинства произведения — к таким нелицеприятным выводам приходит Кареев. Общая его оценка такова: философия Толстого не может быть философией общественной и исторической. Социальный индифферентизм, фатализм, а, главное, пренебрежение к основополагающему принципу всей кареевской историологии — принципу личности — не позволяют ученому признать в Толстом исторического мыслителя. На многих страницах пространной статьи Кареева его профессиональное возмущение выливается в критические сентенции. «В самом деле, — обобщает он, — вся историческая философия “Войны и мира” сводится к отрицанию роли личности и личной инициативы в истории: история для Толстого есть массовое движение, совершающееся роевым образом, причем великие люди являются только “ярлыками событий”, т.е. не имеют никакого самостоятельного значения, или слепыми орудиями рока, т.е. рассматриваются, как лишенные собственной воли, хотя бы и имеющей достаточные основания в личных отношениях»¹⁶⁰. И далее, «историческая философия “Войны и мира” фаталистична, и, что особенно интересно, Толстой видит, как мы упоминали, главные орудия в тех лицах, которые, по его же словам, наименее участвуют в событиях: призраки — в роли исполнителей вселенской судьбы! Может ли быть большее противоречие?»¹⁶¹ Рассудочная одномерность позитивистской научности, конечно, не может смириться с противоречивостью, а тем более с терминологическими вольностями художественного мышления. На профессиональный взгляд Кареева толстовская «историческая философия представляет собою смесь удивительно верных и поразительно неверных идей с массой внутренних противоречий, которые объясняются и малой выработанностью изложения и недостаточной продуманностью мысли, и полным пренебрежением к большей определенности понятий»¹⁶². Итог пристрастного научного надзора выглядит следующим образом: «Процесс без внутреннего содержания, без цели, достижения которой мы могли бы от него добиваться, сами участвуя в этом процессе, чисто фатальный ход непреодолимой силы вещей, устраняющий всякую возможность суда над ним с нашей стороны, вне чисто моральной оценки поведения действующих в событиях лиц, действие какого-то “закона”,

Историография и литература

превращающего живых людей в часть громадного механизма, — вот что есть история, по представлению Толстого»¹⁶³.

Если теперь оценочный прицел направить в сторону самого Кареева, то придется констатировать, что работы ученого по теории литературной эволюции не занимали доминирующее положение в его научных поисках, хотя и были связаны с его концептуальными разработками философско-исторических проблем. Тем не менее, оглядываясь на свои философско-исторические представления, Кареев сумел предложить проект самоценной литературоведческой доктрины. Как отмечает современная исследовательница, имея в виду «Литературную эволюцию на Западе»: «Кареев же в своей книге предпринял не столько обоснование частного метода эволюционизма, сколько разработку целой структуры литературоведения»¹⁶⁴. Ценность кареевского подхода состояла в перенесении на историю литературы опробованных в историографии приемов, в частности, психологизации (как в прагматической историографии) или вычленение принципа личности (как в либеральной историографии). Взгляд на историю литературы и литературное творчество как на частное проявление исторического процесса не исчерпывает всех хитросплетений проблемы «история и литература» в последней четверти XIX и начале XX в. Исторический эволюционизм позитивистского толка оспаривался целым рядом альтернативных учений от символизма и софиологии до неокантианства, космизма и марксизма. «Эстетизация истории в русской философии, — пишет К.Г. Исупов, — была формой противостояния позитивистской историографии»¹⁶⁵. На их фоне многотомные глыбы кареевских сочинений выступают главной опорой академического философствования эпохи. И все же их реанимация представляет уже чисто раритетную ценность, а позитивистская ветхость выводов может вызвать только антикварный интерес, что, однако, не умаляет масштабность фигуры Кареева в русской историографии и значительность созданного им как в области всеобщей истории, так и в философии истории и социологии.

Примечания

¹ Золотарев В.П. Историческая концепция Н.И. Кареева: содержание и эволюция. Л., 1988. С. 44.

² Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 251.

³ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Критика историософических идей и опыт научной теории исторического прогресса. В 2-х т. М., 1883. Т. I. С. 154.

⁴ Погодин С.Н. «Русская школа» историков: Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский. СПб., 1997. С. 173.

⁵ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. Очерки и наброски из теории и истории литературы, с точки зрения неспециалиста. Воронеж, 1886. С. III.

⁶ Там же. С. 71.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

⁷ Кареев Н.И. К теории литературной эволюции. Акад. А.Н. Веселовский. Из истории романа и повести. СПб., 1886. Выпуск I. Греко-византийский период. Воронеж, 1887 (отд. оттиск).

⁸ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 59–65.

⁹ Перетц В.Н. Из лекций по методологии истории русской литературы. История изучения. Методы. Источники. Киев, 1914. С. 203.

¹⁰ Золотарев В.П. Историческая концепция Н.И. Кареева. С. 154 (см. также С. 49 и др.).

¹¹ Осипов И.Д. Философия русского либерализма (XIX – начала XX века). СПб., 1996. С. 142.

¹² Золотарев В.П. Историческая концепция Н.И. Кареева. С. 155.

¹³ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. I. С. 354.

¹⁴ Кареев Н.И. Об общем значении исторического образования // Историческое обозрение. 1894. Т. VII. СПб., 1894. С. 51.

¹⁵ Кареев Н.И. Об отношении истории к другим наукам с точки зрения интересов общего образования // Историческое обозрение. Т. VIII. Отд. II. СПб., 1895. С. 6–7. Аналогичное рассуждение см.: Кареев Н.И. Об общем значении исторического образования. С. 47.

¹⁶ Кареев Н.И. Об общем значении исторического образования. С. 43–44.

¹⁷ Кареев Н.И. Об отношении истории к другим наукам. С. 14.

¹⁸ Кареев Н.И. Теоретические вопросы исторической науки // Собрание сочинений Н.И. Кареева. В 3-х т. Т. I. С. 19.

¹⁹ Кареев Н.И. Что такое история литературы? С. 12.

²⁰ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 76.

²¹ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. М., 1883. Т. II. С. 82.

²² Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 1.

²³ Кареев Н.И. Пушкин как поэт европейский. Речь проф. Н.И. Кареева, произнесенная на пушкинском празднике в Варшаве 4-го июня 1880 г. Воронеж, 1880. С. 2.

²⁴ Кареев Н.И. Историология (Теория исторического процесса) // Социология истории Николая Кареева. СПб., 2000. С. 167.

²⁵ Там же.

²⁶ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 150.

²⁷ Кареев Н.И. Об отношении истории к другим наукам. С. 11.

²⁸ Кареев Н.И. Что такое история литературы? С. 2.

²⁹ Там же. С. 26.

³⁰ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. I. С. 134.

³¹ Там же. С. 224.

³² Там же. С. 228.

³³ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 8.

³⁴ Там же. С. 22–23.

³⁵ Там же. С. 34.

³⁶ Там же. С. 91.

³⁷ Там же. С. 92.

³⁸ Кареев Н.И. Что такое история литературы? С. 6.

³⁹ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 105.

Историография и литература

- ⁴⁰ Там же. С. 86.
- ⁴¹ Кареев Н.И. Что такое история литературы? С. 26.
- ⁴² Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. I. С. 399.
- ⁴³ Кареев Н.И. Историческая философия в «Войне и мире» // Собр. соч. Н.И. Кареева. В 3-х т. Т. II. СПб., 1912. С. 118.
- ⁴⁴ Кареев Н.И. Историки Французской революции. Л., 1924. Т. I. С. 15.
- ⁴⁵ Кареев Н.И. Что такое история литературы? С. 20.
- ⁴⁶ Там же. С. 23.
- ⁴⁷ Кареев Н.И. Историология. С. 100.
- ⁴⁸ Там же. С. 101.
- ⁴⁹ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 46.
- ⁵⁰ Там же. С. 38.
- ⁵¹ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. I. С. 244.
- ⁵² Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 280.
- ⁵³ Там же. С. 238.
- ⁵⁴ Там же.
- ⁵⁵ Там же. С. 315.
- ⁵⁶ Там же. С. 238.
- ⁵⁷ Кареев Н.И. Что такое история литературы? С. 1.
- ⁵⁸ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 37.
- ⁵⁹ Там же. С. 42.
- ⁶⁰ Там же. С. 11.
- ⁶¹ Там же. С. 332; «Итак, в основе литературной эволюции лежит взаимодействие творчества и традиции» (Там же. С. 333).
- ⁶² Там же. С. 333.
- ⁶³ Там же. С. 65–70.
- ⁶⁴ Там же. С. 66.
- ⁶⁵ Там же. С. 67.
- ⁶⁶ Там же.
- ⁶⁷ Там же. С. 68–69.
- ⁶⁸ Там же. С. 69.
- ⁶⁹ Там же. С. 70.
- ⁷⁰ Там же. С. 58.
- ⁷¹ Там же. С. 330.
- ⁷² Там же. С. 47.
- ⁷³ Там же. С. 55.
- ⁷⁴ Там же. С. 333.
- ⁷⁵ Кареев Н.И. Философия, история и теория прогресса // Собр. соч. Н.И. Кареева в 3-х т. Т. I. СПб., 1911. С. 115.
- ⁷⁶ Кареев Н.И. Задачи социологии и теории истории // Собр. соч. Н.И. Кареева в 3-х т. Т. I. СПб., 1911. С. 40.
- ⁷⁷ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 33.
- ⁷⁸ Там же. С. 31.
- ⁷⁹ Там же. С. 28.
- ⁸⁰ Там же. С. 31.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

- ⁸¹ Там же. С. 29.
⁸² Там же. С. 31.
⁸³ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 85.
⁸⁴ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 35.
⁸⁵ Кареев Н.И. Что такое история литературы? С. 20–21.
⁸⁶ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 34–35.
⁸⁷ Кареев Н.И. Что такое история литературы? С. 14–15.
⁸⁸ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 30.
⁸⁹ Там же. С. 34.
⁹⁰ Кареев Н.И. Что такое история литературы? С. 19.
⁹¹ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 320.
⁹² Там же. С. 324–325.
⁹³ Там же. С. 18.
⁹⁴ Там же. С. 19.
⁹⁵ Кареев Н.И. Что такое история литературы? С. 18.
⁹⁶ Кареев Н.И. Пушкин как поэт европейский. С. 2–3.
⁹⁷ Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 52.
⁹⁸ Кареев Н.И. Там же. С. 19.
⁹⁹ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 83.
¹⁰⁰ Кареев Н.И. Что такое история литературы? С. 21.
¹⁰¹ Там же. С. 13.
¹⁰² Кареев Н.И. Литературная эволюция на Западе. С. 51.
¹⁰³ Кареев Н.И. К теории литературной эволюции. С. 2–3.
¹⁰⁴ Там же. С. 3.
¹⁰⁵ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. I. С. 391.
¹⁰⁶ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 361.
¹⁰⁷ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. I. С. 395.
¹⁰⁸ Кареев Н.И. Историология. С. 98.
¹⁰⁹ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 238.
¹¹⁰ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. I. С. 156.
¹¹¹ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 75.
¹¹² Там же. С. 362.
¹¹³ Там же. С. 367.
¹¹⁴ Кареев Н.И. Историология. С. 102.
¹¹⁵ Там же. С. 108.
¹¹⁶ Там же. С. 111.
¹¹⁷ Кареев Н.И. Собрание сочинений. Т. III. Философия истории в русской литературе. СПб., 1912. С. V.
¹¹⁸ Кареев Н.И. Французская революция в историческом романе. Пг., 1923. С. 149, прим.
¹¹⁹ Там же. С. 153.
¹²⁰ Там же. С. 7–8.
¹²¹ Там же. С. 10.
¹²² Кареев Н.И. Историческая философия в «Войне и мире» // Собрание сочинений Н.И. Кареева. Т. II. Философия истории в русской литературе. СПб., 1912. С. 109.

Историография и литература

- ¹²³ Там же.
- ¹²⁴ Там же. С. 110.
- ¹²⁵ Там же. С. 111.
- ¹²⁶ Там же. С. 113.
- ¹²⁷ Там же. С. 115.
- ¹²⁸ Там же. С. 149–150.
- ¹²⁹ Кареев Н.И. Задачи социологии и теории истории // Собрание сочинений Н.И. Кареева. Т. I. С. 45.
- ¹³⁰ Там же. С. 48.
- ¹³¹ Кареев Н.И. Историческая философия в «Войне и мире». С. 118.
- ¹³² Там же. С. 117.
- ¹³³ Там же. С. 124–125.
- ¹³⁴ Там же. С. 118.
- ¹³⁵ Там же. С. 115.
- ¹³⁶ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. I. С. 139–140.
- ¹³⁷ Кареев Н.И. Историческая философия в «Войне и мире». С. 137.
- ¹³⁸ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 283.
- ¹³⁹ Кареев Н.И. Историология. С. 119.
- ¹⁴⁰ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 268.
- ¹⁴¹ Кареев Н.И. Историология. С. 119.
- ¹⁴² Там же. С. 116.
- ¹⁴³ Там же. С. 116–117.
- ¹⁴⁴ Там же. С. 119.
- ¹⁴⁵ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 269.
- ¹⁴⁶ Там же. С. 270.
- ¹⁴⁷ Там же. С. 272.
- ¹⁴⁸ Там же. С. 273.
- ¹⁴⁹ Кареев Н.И. Историология. С. 113.
- ¹⁵⁰ Там же.
- ¹⁵¹ Кареев Н.И. Историческая философия в «Войне и мире». С. 129–130.
- ¹⁵² Там же. С. 135, 144.
- ¹⁵³ Там же. С. 143.
- ¹⁵⁴ Там же. С. 130.
- ¹⁵⁵ Там же. С. 133.
- ¹⁵⁶ Там же. С. 150.
- ¹⁵⁷ Там же. С. 141.
- ¹⁵⁸ Там же. С. 138.
- ¹⁵⁹ Там же. С. 151.
- ¹⁶⁰ Там же. С. 137.
- ¹⁶¹ Там же. 142–143.
- ¹⁶² Там же. С. 150.
- ¹⁶³ Там же. С. 151.
- ¹⁶⁴ Ефименко В.П. Н.И. Кареев и академическое литературоведение // Николай Иванович Кареев: человек, ученый, общественный деятель. Сыктывкар, 2002. С. 72.
- ¹⁶⁵ Исупов К.Г. Русская эстетика истории. СПб., 1992. С. 12.

С.Н. Погодин (Санкт-Петербург)

В.И. ГЕРЬЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ*

Профессор Московского университета, один из первых русских исследователей французской революции конца XVIII в. Владимир Иванович Герье (1837—1919) занимает особое место в ряду представителей исторической науки России. Ученик С.М. Соловьева и Т.Н. Грановского, В.И. Герье воспитал целую плеяду русских историков: Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, М.С. Корелин, Р.Ю. Виппер, С.Ф. Фортунатов, П.Н. Ардашев, Е.Н. Щепкин, П.П. Мельгунов, В.Е. Якушкин. Можно полностью согласиться с мнением В.П. Бузескула и В.Л. Бутенко¹, считавшими В.И. Герье основателем русской школы в области всеобщей истории. Работы В.И. Герье и его учеников получили всеобщее признание не только в России, но и за рубежом. Однако о школе В.И. Герье можно говорить только условно, его ученики не всегда разделяли взгляды своего учителя. Его ученик Н.И. Кареев сделал предположение о том, как надо понимать выражение «школа Герье». «Была ли у него своя школа? Если школу понимать в смысле некоторого единого направления или какой-либо объединяющей всех учеников особенности, какой-то обособленной школы Герье не было. Но была школа в другом смысле. Герье был широко образованным ученым, видевшим науку не в одной эрудиции, но и в идейности. Можно не соглашаться с его философскими, общественными и политическими взглядами, но нельзя отрицать, что научные вопросы он ставил широко, идейно, с философским уклоном, чем он привлекал к себе желающих заниматься историей. Я бы даже сказал, что у него была особая методическая строгость, “школившая” лиц, у него занимавшихся. Он не впадал в какую-либо односторонность идеологического или материального направления, но всегда настаивал на необходимости точности, основательности, доказательности»². Аналогичную точку зрения высказывал и В.П. Бузескул³. Б.Г. Могильницкий употребил термин «школа Герье» как об исследованиях по истории Средневековья⁴. Наличие общих тенденций в научных исследованиях В.И. Герье и его учеников позволили Б.Г. Веберу сделать следующий вывод: «При всех индивидуальных, возрастных, идеологических и политических отношениях ученики Герье испытывали на себе в той или иной степени в процессе формирования своих политических и исторических взглядов идейное и научное воздействие учителя»⁵.

* Работа выполнена в рамках программы «Университеты России» (грант ур. 10.01.290)

Историография и литература

Особое место в научном творчестве В.И. Герье занимают работы о французской революции конца XVIII в. Еще со времен Екатерины II история революции оказалась в числе «запрещенных» для русских ученых тем. Конкретно-исторические исследования, посвященные французской истории конца XVIII в., появились в русской науке лишь в 60–70-е гг. XIX в. В.И. Герье стал первым русским историком, начавшим систематическое чтение лекций по истории французской революции в Московском университете. Он внес значительный вклад в разработку многих исторических вопросов, в исследование различных конкретно-исторических вопросов, в совершенствование методики преподавания всеобщей истории в России.

Дореволюционная литература о В.И. Герье представлена в основном рецензиями на его работы, отдельными заметками в периодической печати по случаю его юбилеев, библиографическими очерками справочного характера в словарях и энциклопедиях, в воспоминаниях современников. В поле зрения советской науки творчество В.И. Герье попало не сразу. В 20–50-е гг. его имя упоминалось в историографических работах редко, а характеристика его взглядов, как правило, не шла дальше лаконичных определений: «буржуазный реакционный историк», «историк-идеалист» и т.п. Лишь в начале 60-х гг. в связи с потребностью во всестороннем освещении развития отечественной исторической мысли наследие В.И. Герье и стоящие за ним проблемы стали предметом научного изучения. Первооткрывателем темы «Герье» в советской историографии по праву считается Б.Г. Вебер⁶. Им были впервые освещены с марксистской точки зрения методологические позиции В.И. Герье, раскрыта оригинальность взглядов ученого на природу исторического познания, их антипозитивистская направленность. Отдельные аспекты творчества В.И. Герье получили освещение в «Очерках истории исторической науки в СССР», монографиях О.Л. Вайнштейна, В.М. Далина, Е.В. Гутновой, Б.Г. Сафронова, Л.Н. Хмылева⁷. Благодаря этим исследованиям наследие В.И. Герье было возвращено из забвения и превратилось в историографический факт. Однако в этих работах взгляды историка освещаются, как правило, с прикладной точки зрения: либо для обоснования более общих выводов об эволюции отечественной исторической науки, либо в русле историографии отдельной проблемы, либо при объяснении взглядов других историков. В конце XX в. появились диссертационные работы, конкретно посвященные творчеству В.И. Герье⁸, в них утвердился взгляд на историка как на одного из патриархов русской школы всеобщей истории.

Изучение творчества В.И. Герье переживает только начальный этап. Возникла необходимость по возможности полнее представить его научное наследие. Этому и посвящена данная публикация.

Владимир Иванович Герье родился 17 мая 1837 г. в селе Ховрино под Москвой. Его предки по отцовской линии происходили из южной Франции, о чем говорит необычная для России французская фамилия Герье. Первые

Фигуры истории, или «общие места» историографии

годы будущего историка прошли в селе Дашково, вблизи Орла, где его отец служил управляющим в имении А.А. Гвоздева. В 1884 г. семью постигла тяжелая утрата, скончался глава семьи. В том же году семья переехала в Москву, из-за недостатка средств юного В.И. Герье определили в бесплатную школу при лютеранской церкви Петра и Павла. Уже на школьной скамье у него проявилась огромная тяга к истории. Его увлекали работы античных историков, настольной книгой стала «Всеобщая история» К. Беккера. Как наиболее способный ученик, по окончании школы В.И. Герье был принят в лучший в Москве пансион Эннкса. После его окончания в 1854 г. благодаря своему упорному труду он стал студентом историко-филологического факультета Московского университета.

Сравнивая условия деятельности двух университетов — Петербургского и Московского, А.И. Герцен подчеркивал, что в условиях 30–50-х гг. XIX в. Москва «держалась в стороне, носила на себе отпечаток скрытого недовольства, дулась на Петербург и меньше его зависела от правительства»⁹. Именно здесь, где «была умственная инициатива того времени»¹⁰, где «много внимания уделяли университету», бывшему «великим источником света и знаний для всей страны»¹¹, развернулась деятельность профессора всеобщей истории Т.Н. Грановского, который вместе со своими товарищами «сильно двинул вперед Московский университет»¹². Московский университет в 50–60 гг. сделался центром российского либерализма. Отечественный историк Ф.А. Петров подчеркивал, что ни в одном из других университетов — Харьковском, Киевском, Новороссийском, Петербургском «не было такой сплоченности либеральных сил, как в Московском»¹³.

В 50-е гг. XIX в. в Московском университете преподавала большая плеяда известных и талантливых профессоров: П.М. Леонтьев, П.Н. Кудрявцев, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев. Знакомство с историей для В.И. Герье началось с курса П.Н. Кудрявцева. Впоследствии будущий историк вспоминал, что лекции П.Н. Кудрявцева имели не только образовательное, «но и воспитательное значение; они служили не только введением в историю, но, можно сказать, откровением истории», а также и то, что «наука истории состоит в совокупности субъективных усилий разгадать тайну человеческих судеб»¹⁴. В.И. Герье не пришлось слушать лекции по всеобщей истории Т.Н. Грановского, скончавшегося в 1855 г., однако его влияние на молодого студента было огромным. Поэтому не случайно В.И. Герье считал себя учеником Т.Н. Грановского. Свое отношение к учителю он выразил в статье «Т.Н. Грановский в биографическом очерке А. Станкевича»¹⁵ и в речи по поводу столетия со дня рождения историка¹⁶, а также и в своей докторской диссертации о Лейбнице. Взгляды Т.Н. Грановского о признании закономерности исторического процесса, его вера в возможность достижения прогресса в обществе путем прогресса в науке, через просвещение широких народных масс оказали глубокое

Историография и литература

воздействие на формирование взглядов молодого ученого. В.И. Герье считал себя последователем Т.Н. Грановского, выступая за усвоение плодов цивилизации, но оговаривал, что не все идеи Запада приемлемы для России, имея в виду прежде всего идеи 1789 г.¹⁷ Несомненно, большое влияние на В.И. Герье оказал С.М. Соловьев, читавший курс русской истории, а его тогда только начавшая издаваться «История России» потрясла юного студента. Под влиянием учителя была подготовлена первая студенческая работа «История Пскова», удостоенная золотой медали. В год смерти С.М. Соловьева В.И. Герье написал две статьи — одну на русском языке, другую, большую, на немецком. «Историю России» С.М. Соловьева В.И. Герье считал «национальной историей», «национальным произведением в истинном, высоком смысле этого слова». Будучи студентом университета, В.И. Герье обратил на себя внимание и профессоров классической филологии П.М. Леонтьева и С.Д. Шестакова, которые способствовали его развитию в филологическом направлении, а также помогали материально.

В.И. Герье стал первым выпускником Московского университета, удостоенным двух золотых медалей, после его окончания он был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Для обеспечения средств к существованию он вынужден был давать уроки в кадетском корпусе и в женском пансионе мадам Брок, преподавание в котором натолкнуло его впоследствии на мысль о необходимости организации в России учреждений, дающих образование женщинам.

Темой для магистерской диссертации стала «Борьба за польский престол в 1733 году», выбор ее был не случаен. Влияние С.М. Соловьева, на наш взгляд, было преобладающим, диссертант использовал для написания своей работы основные положения теории своего учителя. Аналогичную точку зрения высказал и его ученик Н.И. Кареев: «Для меня не подлежит также сомнению, что темы обеих диссертаций Герье были внушены ему Соловьевым»¹⁸. По данной теме было большое количество неизученного архивного материала, именно желание исследовать, систематизировать его и толкнуло начинающего историка на разработку данного вопроса. До появления его работы события в Польше 1733 г. рассматривались мимоходом, он стал первым, кто из русских историков обратился к этим событиям. Главное внимание было сосредоточено на дипломатической стороне этого крупного международного конфликта XVIII в., который возник из-за польского престола. Цель своего труда автор определил следующим образом: «Со времен Петра Великого Россия вступила в число великих держав и начинает играть более видную роль в судьбе человечества. Подробное и всестороннее изучение этой роли имеет одинаковую важность и для русской истории, и для всеобщей»¹⁹. Подробно рассматривая этот важнейший период в истории российско-польских отношений, В.И. Герье констатировал: «События 1733 года были поводом к

Фигуры истории, или «общие места» историографии

общевропейской войне, а самую Польшу они ослабили до того, что она потеряла свой голос на сонме европейских держав»²⁰. Работа охватывает период со вступления Людовика XV в брак с Марией Лещинской до избрания двух королей — Станислава Лещинского и Августа III. Историк детально раскрыл сложную политическую ситуацию, в которой оказалась Польша при двух королях. Двоецарствование закончилось изгнанием Лещинского с престола, что должно было гарантировать затишье и спокойствие в стране. «Но среди этого затишья продолжалась скрытая от глаз современников работа исторических сил, которые слагают жизнь народа и определяют его судьбу. Польша приближалась к развязке, которая ждала ее в конце столетия»²¹, — таков был вывод диссертации. Особое внимание В.И. Герье уделил роли России в этом конфликте, которая, по словам историка, впервые на равных стала диктовать свою волю европейским державам. Истоки достижения этого положения он видел в петровских преобразованиях, приведших к усилению центральной власти в стране. Выводы, к которым пришел автор, в целом находились в русле исторической концепции С.М. Соловьева. В.И. Герье подчеркивал роль правительства, государства в качестве основной движущей силы развития России. Слабость государственного начала в Польше обусловила падение ее исторического значения. Именно из-за «отсутствия твердого и сильного правительства», из-за национальных особенностей характера польского народа Польша, считал историк, подпала под влияние и опеку европейских правительств, что привело к разделу страны в 1772 г.²²

После защиты магистерской диссертации в мае 1862 г. В.И. Герье получил командировку за границу. В Берлине он слушал лекции Момзена, Ранке, Дройзена, Зибеля. Знакомство с теорией школы Ранке, с немецкой историографией второй половины XIX в. оказало большое влияние на теоретико-методологические взгляды В.И. Герье. М.М. Ковалевский отмечал: «Герье несомненно принадлежал к числу разносторонне образованных русских исследователей с прекрасной классической подготовкой и хорошим знанием новых языков, он соединял обладание строгим критическим методом, приобретенным им продолжительной работой над источниками под руководством немецких профессоров»²³. Идущее от С.М. Соловьева прославление государственного начала в истории русского народа и подчеркиваемый Л. Ранке примат государства над обществом, а внешней политики над экономикой и культурой, сыграли определенную роль в формировании исторического мировоззрения В.И. Герье. Влияние Дройзена на русского историка проявилось в признании его принципа, что в основе истории лежит «нравственный мир человека», и для историка важнее всего оценка поведения индивидуума, а не исторические обобщения.

После возвращения из-за границы в 1863 г. В.И. Герье был избран доцентом по кафедре всеобщей истории. Заведующим кафедрой всеобщей исто-

Историография и литература

рии тогда был профессор С.В. Ешевский (1829—1865), преемник на кафедре Т.Н. Грановского и П.Н. Кудрявцева. Он оказал большую помощь начинающему преподавателю в подготовке его первого университетского курса. Этим курсом стали «Очерки развития исторической науки», целью которых было «предостеречь будущих историков от блужданий по теории»²⁴. В.И. Герье считал, что к числу качеств, которые должен иметь историк, кроме знания фактов, необходимо знание философии. «Философия оказала благотворное влияние на историческую науку не тем, что она представляла на выбор различные априористические идеалы, по которым можно было конструировать исторические факты, но тем, что она укрепила, возвысила мысль и бросила свет на те области духовной жизни человека, без которых непонятно его историческое развитие»²⁵, — считал историк. Он придавал большое значение философии для развития исторической науки. «За философией истории, — отмечалось в его докладе “Задачи исторической науки”, — остается та заслуга, что благодаря ей неизбежно утвердилось представление о единстве, закономерности всеобщей истории, о поступательности ее движения и о безусловной связи ее эволюции с эволюцией, представляемой миром»²⁶.

В основу курса были положены историко-философские работы Гегеля, Канта, Шеллинга. Задача, которую поставил перед собой автор, — осветить ход исторической мысли от учений античных авторов до Гегеля и Бокля. Главное внимание уделялось развитию идеалистических теорий, венцом которых являлась немецкая классическая философия. Философией истории для В.И. Герье была общая теория исторического развития. Основной движущей силой общественного развития историк считал идеи, которые, по его словам, «могут способствовать развитию цивилизации и задерживать ее»²⁷. Существенное отличие исторических событий ученый видел в том, что действия человека «сопровождаются сознательностью и что в основании их лежит понятие цели»²⁸. Он выступал против отождествления исторических событий с «точными фактами» естественных наук. Превыше всего В.И. Герье ставил самосознание человека, целенаправленность его поступков, считая, что ученый, изучающий историю человечества, руководствуется субъективностью.

В предисловии к «Философии истории» (М., 1915), которая стала переработанным вариантом «Очерков развития исторической науки», В.И. Герье отмечал, что при изучении истории нельзя обойтись без философии истории, без синтеза, но что «всякому такому синтезу неминуемо присущ субъективный характер, обусловленный личностью философа, характером его стремлений и другими случайными моментами»²⁹. Не отрицая в принципе возможность существования каких-то специфических исторических законов, В.И. Герье ставил их в полную зависимость от развития человеческого самосознания, и открытие их допускал лишь в отдаленном будущем, когда «с увеличением исторического материала и опыта и с успехами остальных наук, выводы истории

Фигуры истории, или «общие места» историографии

будут все более и более приближаться к свойству научных истин»³⁰. Историк высказывался против применения к истории методов и приемов более точных наук, отмечая, что «история никогда не может сделаться точной наукой, она всегда будет допускать субъективное творчество и будет приближаться к искусству»³¹. Уже в этой работе, правда, еще мимоходом, он придавал громадное значение идеям: «В жизни народов, — писал он, — играют главную роль не климат, не пища и физические условия, а такие силы, о которых не может дать отчет никакой естествоиспытатель. Какие? Например, громадное влияние имеют на судьбу народов и на ход цивилизации идеи»³².

В.И. Герье никогда не стремился издавать свои лекции в виде книг³³, они так и остались или как рукописи в его личном архиве, или в форме отредактированных профессором стеклографированных студентами записей. Четкую и простую конструкцию, очевидный замысел и идею, строгую выдержанность и содержательность, систематичность и литературную обработку курсов В.И. Герье отмечал Н.И. Кареев³⁴. Голос В.И. Герье, резковатый, суховатый и вялый, методично раскрывал тему — просто, без эффектов. Лектор предъявлял большие требования к себе как к педагогу — начитанность, глубокие знания, организация материала, его литературная обработка были основными компонентами его учебной деятельности. Его курсы для тех, кто стремился к историческому знанию, давали несомненно много. Так, М.О. Гершензон с восторгом отзывался о них: «Каждая лекция Герье — праздник. Я бы, кажется, не устал слушать Герье пять часов подряд»³⁵. И в то же время: «Лучше всех читает Виноградов, Герье читает хуже»³⁶. По воспоминаниям Н.И. Кареева: «Внешняя форма его (В.И. Герье. — С.Л.) чтения была несколько вялая, суховатая, тем более, что говорить громко ему мешала какая-то горловая болезнь. Но содержание его лекций вполне искупало внешние их недостатки, потому что он, видимо, их обрабатывал, вкладывал в них солидный материал, а в целом его курсы отличались систематичностью и широтой взгляда»³⁷. Другую оценку лекционным курсам В.И. Герье дал А.И. Соболевский: «Его лекции, просто произносимые, можно сказать — без всяких претензий на красноречие, могли быть для нас прекрасным образцом»³⁸. Как верно отмечает Е.С. Кирсанова, лекции В.И. Герье «носят ярко выраженный исследовательский характер... ученый стремился не к тому, чтобы дать в них знания, а к тому, чтобы показать процесс добывания этих знаний»³⁹. Одним из путей к этому были у профессора подробные историографические обзоры с критическим анализом взглядов представителей различных научных направлений, предшествовавшие лекционным курсам. Характерными для ученого были лекции, где отсутствовало хронологическое изложение событий, и материал группировался вокруг отдельной научной проблемы.

В лекционных курсах В.И. Герье, согласно своим теоретико-методологическим взглядам, основное внимание уделял истории идей и политических

Историография и литература

учреждений⁴⁰. Интересную оценку В.И. Герье дал А.А. Кизеветтер, говоря о нем как об очень солидном и талантливом популяризаторе, который писал отличным литературным языком, был широко образован, всегда давал очень ясное представление об излагаемом предмете. «Его университетские курсы, несмотря на их некоторую старомодность, были очень полезны для слушателей», особенно выделялась их историографическая часть: «Профессор вводил нас в избранное и поучительное общество корифеев исторической науки»⁴¹. О том же свидетельствовал и бывший студент В.И. Герье, впоследствии выдающийся ученый и поэт В.Я. Брюсов. Высоко оценивал курсы профессора также академик М.М. Богословский.

Как отмечали многие современники, характер у В.И. Герье был на редкость неприятный, строптивый, капризный, язвительный, болезненно самолюбивый. Он держал себя на расстоянии со студентами и не располагал к простоте и непосредственности. Вместе с тем он обладал творческим починком и железной волей в осуществлении поставленных им целей. Эти его очень яркие черты проявились в начинаниях, целиком обязанных его инициативе и упорству, в создании Высших женских курсов в Москве, Исторического общества при Московском университете и исторических семинаров для студентов.

В 1865 г., в самом начале своей педагогической деятельности, В.И. Герье организовал первый в русских университетах семинар по всеобщей истории. Следует отметить, что семинары по русской истории начались значительно позже. Вернувшись из заграничной командировки, молодой преподаватель, хорошо знакомый с организацией подобных семинаров в немецких университетах, видел в них средство сближения с аудиторией для влияния на нее. «Нельзя сказать, — вспоминал он позже, — чтобы это новое учебно-педагогическое средство принялось у нас беспрепятственно»⁴². Необходимо было увлечь студентов этими новыми академическими формами работы, к тому же следовало подготовить для семинарских занятий необходимые пособия, для этого В.И. Герье опубликовал два специальных выпуска хрестоматий, которые стали первым примером такого рода пособий.

Семинарские занятия не отличались оригинальностью взглядов руководителя и не притягивали к себе слушателей. Это были обыкновенные учебные обязательные практикумы, рассчитанные на среднего студента, поразному построенные в зависимости от курса, к которому их приурочивали. И все же совершенно прав В.А. Маклаков, писавший, что семинарские занятия В.И. Герье оказали на студентов несомненное влияние, «научили объективности в трактовании истории, они приучили к азбуке науки, помогли первым шагам всякой научной работы. Герье делал, конечно, полезное дело»⁴³. В юбилейной статье в «Русских ведомостях», посвященной профессору, отмечалось: «Для подготовки студентов в научном отношении Владимир Иванович оказал наибольшую услугу организацией семинария по всеобщей истории»⁴⁴.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Семинарские занятия были нужны как ступень, на которой приобретаются первоначальные навыки интерпретации источников и складываются представления о взглядах крупнейших историков древности и Нового времени. От студента требовались добросовестность, основательность, ясность изложения.

Студенты занимались в семинарах В.И. Герье несколько лет, готовили самостоятельные рефераты, которые позже обсуждались. Студенты первых курсов изучали источники по истории Древнего Рима и готовили письменные работы по ним⁴⁵. М.О. Гершензон писал о том, как начиналась работа в семинаре: «Герье разделил нас на две группы — на знающих немецкий и французский. И на незнающих. Семинарий для нашей группы — по истории английской и французской революции, для второй группы — по истории пап»⁴⁶. Неотъемлемой частью семинара были диспуты, обсуждение докладов и общая беседа на поставленную тему. «Профессор добивался участия в обсуждении каждого присутствующего, молчание хоть одного из учеников вызывало неудовольствие учителя», — вспоминал позже Н.И. Кареев⁴⁷.

Первоначально семинар проходил в университетской аудитории со всеми студентами, но вскоре В.И. Герье параллельно с этим начал проводить практические занятия по вечерам у себя, в скромном доме в Гагаринском переулке. Позже, когда он основал в Москве высшие Женские курсы, к участию в этих вечерних семинарах стали привлекаться и наиболее способные курсистки. Ученики В.И. Герье отмечали завидное умение учителя заинтересовать слушателей, заставить их приложить все силы к овладению высотами науки. «Он заставлял работать и учиться. При нем нельзя было надеяться отделаться каким-либо рефератом, плохо обдуманном и наскоро набросанным на бумагу», — вспоминал А.И. Соболевский⁴⁸. Недели подготовки к реферату у В.И. Герье, по свидетельству другого его ученика, «стоили экзамена»⁴⁹. Будучи врагом лишних слов и пустых фраз, профессор требовал от учеников сжатости в изложении при точности в выражениях.

В.И. Герье обладал очень ценным качеством, способностью видеть в многочисленной студенческой аудитории наиболее талантливых и способных к науке юношей и заботиться об их воспитании. Все оставленные профессором талантливые студенты при университете оправдали доверие учителя, многие из них по значимости своих трудов и известности в научном мире превзошли своего наставника.

В.И. Герье щедро делился своими знаниями с молодыми учеными, подбирая им темы научных исследований, заботливо опекал их в начале жизненного пути. Будучи последовательным, принципиальным в своих взглядах, он никогда не настаивал на обязательном восприятии их своими учениками. Напротив, как свидетельствуют воспоминания современников, он поощрял самостоятельность их суждений. «Он не впадал в какую-либо односторонность идеологического или материалистического направления, но всегда настаивал

Историография и литература

на необходимости отточенности, основательности, доказательности»⁵⁰, — писал Н.И. Кареев. «Верный основам идеалистической философии истории, воспринятым им в молодости, — свидетельствовал А.А. Кизеветтер, — он с большим талантом приравнивал их в течение своей долгой профессорской деятельности к результатам последующего движения европейской исторической мысли»⁵¹. Именно в этом и следует искать причину того, что среди его учеников были приверженцы различных философских направлений.

В начале 1869 г. В.И. Герье был забаллотирован советом университета на должность экстраординарного профессора. Осенью 1870 г., после завершения своей второй поездки за границу, историк начал читать лекции в должности сверхштатного экстраординарного профессора по назначению от министерства.

Говоря о лекционных курсах В.И. Герье, следует отметить, что его главным образом интересовала идейная сторона исторического процесса, история идей, причем не их генезис, а их эффективность и активность. Идеи его интересовали как причины, как движущие силы. Так, в очерке «О. Конт и значение его в исторической науке», он писал об истине, как об «первостепенной важности», связанной с доктриной этого философа, а именно, что «смена мировоззрений составляет движущую силу истории»⁵². В первой лекции курса 1876/77 учебного года В.И. Герье так определил особенности исторической науки: «Главное содержание других курсов составляет познание фактов; в историческом курсе главное содержание не одни факты и познание, но факты и познание их, связанные идей и получающие с помощью идеи свое настоящее значение»⁵³. Лекции курса должны дать главную перспективу, общий вид на эпохи. Следовательно, акцент в них должен быть поставлен на объединяющих началах или принципах. Принципы — это нечто большее, чем идеи. Кроме известных синтезирующих начал, которые освещают факты отдельных исторических эпох, В.И. Герье всегда стремился к обобщениям значительно более широкого диапазона, к тому, что относят к ведению философии истории. Это то, что дает право называть его курсы с широкой постановкой вопроса, говорить о наличии у него всемирно-исторического аспекта.

В.И. Герье всегда привлекала философия и, в частности, философия истории, поэтому можно согласиться с В.П. Бузескулом, что выбор темы докторской диссертации был вызван во многом не только влиянием на В.И. Герье С.М. Соловьева, как считал Н.И. Кареев, но и тягой к философии⁵⁴. Будучи активным сторонником изучения немецкой классической философии, В.И. Герье предполагал несколько расширить свой «Очерк истории исторической науки», представить его как докторскую диссертацию. Однако заинтересовавшись личностью немецкого философа Лейбница, он изменил свои планы. «Первоначальная задача, — писал историк, — указать влияние Лейбница на философию истории — мало-помалу уступила место другой, более обширной — выяснить вообще значение Лейбница в истории»⁵⁵. До появления работы

Фигуры истории, или «общие места» историографии

В.И. Герье, Лейбницу было посвящено большое количество исследований. В 1846 г. вышла монография Гурауера, неоднократно издавались сочинения Лейбница. В этих изданиях особое внимание уделялось политическим взглядам ученого, его взглядам по вопросу объединения церквей. В.И. Герье поставил другую цель, ему «хотелось описать жизнь и деятельность Лейбница в связи с его веком и современным ему обществом»⁵⁶. Работа эта стала не только биографией Лейбница, в ней в полной мере даны страницы политической и культурной истории Германии того времени, история умственной и философской жизни XVIII в. В работе дан большой экскурс в картезианство — господствовавшее в то время философское направление. Даны интересные зарисовки ганноверского и берлинского дворов, ярко описаны личности, с которыми Лейбниц находился в близких отношениях. Особенно подробно рассматриваются политические идеи Лейбница на основе его публицистических трактатов и научных трудов. Детально рассмотрен его спор с Ньютоном о приоритете по поводу дифференциального исчисления.

К заслугам Лейбница В.И. Герье относил проповедование веротерпимости, идей прогресса и цивилизации, он одним из первых осознал потребность в установлении международного права. В.И. Герье горячо разделял пацифистские стремления немецкого философа, и особенно высоко оценивал его философскую систему «как попытку примирить результаты современной ему философии и великих открытий в области математики с истинами, данными откровениями и самосознанием человека, т.е. примирить веру и разум»⁵⁷, ибо «христианская церковь была для европейских народов источником цивилизации и почвой, из которой развились все отрасли духовной жизни»⁵⁸. В работе показаны занятия Лейбница историей, его обращение к архивному документальному материалу, тщательное собирание и издание исторических литературных памятников.

К сожалению, задача, поставленная автором, заставляла его, как он сам сознавался, часто отступать от главной темы, и это привело к тому, что в книге есть много лишнего. Очень подробно описана процедура получения степени доктора наук в тогдашних университетах, также очень подробно говорится о членах ганноверского дома или о хлопотах Лейбница по вероисповедному вопросу. В.И. Герье оказался несвободным от обычной слабости биографов — возвышения своего героя и стремления во всем его оправдать. На это указывает его замечание по поводу того, что Лейбниц, так долго и решительно выступавший против Людовика XIV, под конец льстит ему, выражает желание перейти к нему на службу. В целом работа явилась большим вкладом не только в плане изучения биографии Лейбница, но и стала своеобразным путеводителем по культурной и политической жизни того времени.

Когда В.И. Герье закончил свою работу над книгой «Лейбниц и его время», ему стало известно, что в Ганновере был обнаружен интересный матери-

Историография и литература

ал, касающийся отношения Лейбница к России, к Петру I. Историк решил посвятить этому вопросу свой новый труд, с этой целью он предпринял вторичную поездку за границу. В результате этой поездки появилась книга «Отношения Лейбница к России и Петру Великому. По неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке» (СПб., 1871) и издание «Сборника писем и материалов Лейбница, относящихся к России и Петру Великому» (СПб., 1873). Это издание было опубликовано по решению Академии наук в связи с двухсотлетним юбилеем со дня рождения Петра I. С рекомендацией выступили академики Н.Г. Устрялов и А.А. Куник. В том же году вышло и немецкое издание⁵⁹. В оценке личности Петра I и в трактовке петровских преобразований В.И. Герье придерживался взглядов С.М. Соловьева. Петр I у В.И. Герье — представитель просвещенного абсолютизма, под эгидой которого должен происходить медленный, но неуклонный прогресс в обществе.

Во второй половине 60-х гг. XIX в. в России появилось большое количество трудов позитивистов. «Позитивистская волна прямо-таки захлестнула страницы русской печати», — констатировал отечественный исследователь Б.М. Шахматов⁶⁰. Учение О. Конта и его последователей привлекло русскую интеллигенцию вниманием к фактам. «Идеологическая функция позитивизма, — отмечал И.С. Кон, — объективна и состояла в том, чтобы выработать мировоззрение, реалистическое по своим внешним признакам»⁶¹. Для В.И. Герье отношение к позитивизму нельзя квалифицировать как принятие одних сторон и отбрасывание других. Не совсем прав, на наш взгляд, Н.И. Кареев, считавший, что «он [В.И. Герье] воспитывался на германском идеализме и в общем к позитивизму относился с недоверием, хотя главным образом через Тэна, которого ставил очень высоко, и усвоил некоторые позитивистические выводы»⁶². Отечественный историк Б.Г. Сафронов верно заметил, что интерес к позитивизму носил у В.И. Герье временный характер и объяснялся влиянием трудов И. Тэна, сумевшего использовать позитивизм в консервативных целях, а также возростающей популярностью этого учения в рядах молодых ученых⁶³.

Позиция В.И. Герье по отношению к позитивизму наиболее четко была изложена в двух его больших статьях — «Очерк развития исторической науки»⁶⁴ и «Огюст Конт и его значение в исторической науке»⁶⁵. Критикуя позитивистскую идею тождества методов естественнонаучного познания, В.И. Герье подчеркивал специфику объекта исторической науки — его удаленность от исследователя и принципиальную ненаблюдательность, которая делает проблематичной возможность получения «точных исторических фактов»⁶⁶. Соглашаясь с позитивизмом в том, что историческая наука должна изучать закономерности в развитии социальных явлений, В.И. Герье отвергал позитивистскую интерпретацию идеи исторического закона как повторяющейся связи между явлениями, проявляющейся в истории различных народов. Позитивизм обвинялся историком в недооценке индивидуального своеобразия путей народов и

Фигуры истории, или «общие места» историографии

умаления значения свободного выбора индивидов, участвующих в исторических событиях. Решительно отвергая позитивистские идеи о существовании в истории естественных законов, историк одновременно употреблял и понятие «закономерность», которое имело специфический смысл. «Закономерность» выступала в его концепции синонимом «обусловленности», поскольку между историческими событиями существует органическая связь, «каждое явление в истории имеет разумную причину»⁶⁷, поскольку каждое из них не случайно, а закономерно. Но признание причинности само по себе еще не предполагает признания существования в истории устойчивых повторяющихся связей между явлениями законов. События, по мнению В.И. Герье, являются следствием совокупности индивидуальных причин, не поддающихся обобщению. Обусловленность, о которой говорит историк, может быть только «выводом из ближайшего или пристального наблюдения над их (событий) постепенным ходом»⁶⁸. Поэтому генетическое объяснение, вскрывающее причины, не нуждается в законах как таковых.

В.И. Герье смотрел на исторические события как на индивидуальные явления, порожденные столь же индивидуальными причинами, что давало повод для резкого неприятия позитивизма и материалистической теории исторического процесса. Постановка вопроса о законах в истории казалась ему антиисторической, отрицавшей специфику каждого из этапов исторического развития. Историческая закономерность ассоциируется в глазах В.И. Герье с «глубоко безнравственным» отрицанием «возвышенного учения о свободе воли». «Никакие варвары, — писал он, — не сделали столько зла человечеству, сколько могла повредить цивилизации ложная теория — что люди и народы в своих действиях подчинены естественным законам»⁶⁹. Историк даже предсказывал гибель обществу, которое воспримет детерминистский принцип. Признание исторической закономерности, по его мнению, равносильно признанию того, «что в истории государства господствует фатализм, что человеческим обществом управляют темные и неизбежные власти»⁷⁰.

Путем генетического объяснения историк объясняет все стороны явления, тогда как объяснение через закон делает понятным только один из аспектов события. Любой исторический процесс, подлежащий объяснению в историческом исследовании, не охватывается единичным законом. В.И. Герье был прав, критикуя Гегеля и Конта за их стремление вывести из одного закона все богатство истории. По мнению русского историка, историческая закономерность существует в истории в виде цепи причинно-следственных связей между явлениями, каждое из которых имеет причину в прошлом и оказывает влияние на будущее. Генетический синтез фактов, показ их во взаимообусловленности В.И. Герье считал целью исторической науки.

В отличие от естествоиспытателя историк, по убеждению В.И. Герье, не может исходить при обобщении изучаемых фактов из теоретической схемы,

Историография и литература

отражающей объективные законы исторического процесса. Он считал возможным их открытие, но ограничивал сферу их применения, настаивая на непостижимости таких явлений, как разум, самосознание, свобода. «Очень вероятно, — писал историк, — что на высшей иерархии в истории человечества, мы никогда не будем в состоянии изучить так называемые законы иначе, как в конкретных явлениях истории, и особенно, если будем рассматривать человечество в его историческом развитии как целое»⁷¹. Каждый исторический синтез, по его мнению, носит субъективный характер. История «всегда будет допускать субъективное творчество. Здесь остается только довести субъективность до полного и всецелого развития»⁷². В то же время историк подчеркивал возможность приближения в рамках «субъективности» к объективной истине о прошлом. «История, — писал он, — не есть, как определяют ее некоторые, взгляд на прошлое. Целью историка должно стать изучение объективной истины»⁷³. Последнее, считал он, происходит тогда, когда синтез осуществляется ученым, который проникся высокими нравственными идеалами. Нравственность выступает в концепции В.И. Герье критерием «истинности» и «научности» исторических выводов. Он считал, что путь к превращению нравственных ценностей в момент субъективного сознания историка заключается в изучении религии и философии. Эти формы общественного сознания, по его мнению, трактовались как два способа приобщения индивида к «абсолюту». Однако помимо своего главного нравственного назначения религия и философия несут в себе моменты, несовместимые с исторической наукой. С религией связаны мистицизм и провиденциализм, противоположные историческому. Философии же свойственно стремление подменить собой историческую науку. Для превращения религии и философии в источник «нравственной истины», которая в истории неразрывно связана с истиной научной, В.И. Герье рекомендовал очистить философию и религиозные системы от всего, что является в них результатом ограниченности и необоснованных претензий. Эта операция, полагал он, позволит вычленив комплекс идей, способных дать историку твердый ориентир при освещении прошлого.

Большое значение В.И. Герье придавал личности самого историка. «Историк, — писал он, — не должен ни умялять, ни украшать прошлого, малое он должен признавать малым, простое — простым»⁷⁴. Такая позиция возможна, только когда исследователь прошлого обладает особыми нравственными качествами. Нравственность историка также однопорядкова с тем, что имеет место в социальной системе и отсутствует в системе природы и не учитывается концепцией механически действующей системы. Чем совершеннее в этом отношении историк, тем совершеннее его отражение и оценка этой стороны исторических феноменов. Поэтому если для естествоиспытателя, который не встречает в объекте своей духовной сферы, его нравственный облик не имеет значимости для результатов его исследования, то для историка он приобрета-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ет большую важность. «Отвлеченные истины математики не могут пострадать, если за исследование их берется грубая и малоразвитая натура, — считал В.И. Герье, — но только многосторонняя и чуткая ко всем благородным потребностям человечества натура, способная понять историю с ее разнообразными целями, и только глубоко нравственная и художественно развитая личность достойна истолковать и объяснить величественные образы прошлого»⁷⁵. Еще одно качество, по мнению В.И. Герье, должно быть присуще историку — способность быть художником. Он считал, что историоведение невозможно без искусства. История — это не только наука, но и искусство. «С одной своей стороны история никогда не сможет сделаться точной наукой, она всегда будет допускать субъективное творчество и будет приближаться к искусству»⁷⁶.

Несмотря на критику основополагающих постулатов позитивизма, ученый был солидарен по ряду вопросов с положениями, высказанными представителями этого течения. Так, он принимал систему классификации наук О. Конта, его «эволюционный принцип», призывал к использованию на пути к исторической истине достижений социологии и психологии. Если для позитивистской социологии свойственно стремление к естественнонаучной трактовке общественных процессов, а для метафизической философии истории — обособление, противопоставление общества природе, то В.И. Герье в самой общественной системе находит два порядка вещей, из которых один изучается по принципам естествознания, а другой — наоборот, не допускает подобного подхода. Только сочетание этих двух потоков, соответственно, двух отличительных методов изучения их, дает позитивную, адекватную действительность интерпретации. С одной стороны, В.И. Герье настаивал на том, чтобы к истории подходили как к закономерному, прогрессивному процессу и при изучении применяли к ней требования естественных наук. «Но если другие науки (науки о природе. — *С.П.*), — писал он, — в своем концентрическом движении становятся историческими дисциплинами, то благодаря им сама история принимает более научный характер. Изучение фактов сопровождается в ней изучением законов. Возможность превращения истории в науку становится в наше время главным вопросом всей теоретической области истории»⁷⁷. «В духовном мире господствует ненарушимая закономерность и общее единство»⁷⁸. С другой стороны, В.И. Герье подчеркивал, казалось бы, нечто исключительное вышесказанное: «В истории всегда будет играть выдающуюся роль индивидуальный элемент и при том в двояком смысле — в личности историка и в тех личностях, действия которых отразились на истории. Личность и в том, и в другом отношении вносит в историю неподдающийся точной науке иррациональный элемент»⁷⁹.

В.И. Герье отмечал недостаточность приемов, пригодных для изучения неорганического мира, к истолкованию органического, и всего этого, в свою

Историография и литература

очередь, для социального, «в котором господствует разум, самосознание и поэтому свобода»⁸⁰. Следует обратить внимание еще на одно его замечание: «Существенное развитие между явлениями физической природы и действиями человека заключается в том, что последние сопровождаются сознательностью и что в основании их лежит понятие цели. Уже это одно не позволяет применять к ним метод, который употребляется в исследовании физических явлений»⁸¹.

Обобщающий вывод В.И. Герье звучит следующим образом: «Историк имеет дело не с атомами, а с индивидуальными единицами, которые руководствуются в своих действиях известными целями. Историк не может быть равнодушен к этим целям и не может поэтому рассматривать исторический синтез как прогресс бессознательной природы. Процесс в природе может быть в известной степени удовлетворительно объяснен совершенно механической теорией, как у Дарвина, но этот способ никак не приложен к человеческой истории»⁸².

В.И. Герье точно раскрыл специфическое значение, которое он придавал понятию «механические науки». К механическим он относил учения, которые сводили все явления только к объективной закономерности. Он полагал, что такие начала, как воля, целесообразность, самосознание, стремления человека, не подчинены естественной необходимости и закономерности. Они выступают у него как особые, дополнительные начала к исторической необходимости, хотя и перекрываемые объективной закономерностью, но по природе своей органически чуждые ей, так сказать, инородные начала, несмотря на то что они выполняют функцию причин явлений, дополняющих и конкретизирующих закономерный поток истории. Подробное представление можно рассматривать как особую концепцию метафизической случайности, не сводящейся к ней как к естественной необходимости, и не отрицаемой последней, но сосуществующей с ней как особый независимый ряд, игнорировать особую природу которого историк не может. Поэтому социологические теории, которые опираются на принципы, родственные естествознанию, представляются В.И. Герье как односторонние, схематические, механические. Г. Спенсер и Г. Гегель выступают у него как две одинаково неприемлемые крайности, односторонние теории. Причем правильное решение проблемы для него сводится к их взаимодополнению. «Коллективная жизнь человека, то есть жизнь человеческого общества, представляет много явлений, которые можно свести к механическим процессам. В особенности внешний рост общества, то что Спенсер назвал интеграцией, и развитие или усложнение их строения представляет много данных для подведения их под механический процесс, и Г. Спенсер воспользовался ими с изумительной начитанностью и наблюдательностью»⁸³.

При всей своей заинтересованности проблемами философии истории и социологии В.И. Герье, однако, не стремился к тому, чтобы изучать их в качестве особой науки об обществе в отрыве от конкретной истории. Более того, у

Фигуры истории, или «общие места» историографии

него была склонность обратная сказанному — видеть в теории исторического процесса органическую часть исторической науки. В.И. Герье высказывал сомнения в возможности изучать исторические законы иначе как в конкретных проявлениях.

В.И. Герье был сторонником единства истории европейских народов. Еще в своем выступлении на магистерском диспуте в 1862 году он говорил: «Жизнь европейских народов, принимавших участие в развитии человечества, так тесно связана с ходом всеобщей истории, что историки их, изучая прошедшее своего народа, постоянно вращаются в сфере всемирных событий и идей. Эта связь всеобщей истории с историей каждого отдельного народа имеет на последнюю благодетельное влияние»⁸⁴. О том же он напоминал и при открытии Московского исторического общества в 1895 г. «Наконец и сама история каждого отдельного народа слагается под влиянием и во взаимодействии с историей других народов. С течением времени и развитием цивилизации это взаимодействие возрастает»⁸⁵. «Вследствие недооценки этого усваивается привычка смотреть на государства как на какие-то непромокаемые тела, устанавливается как будто обычай искать причины исторического хода каждого государства лишь в самом этом государстве, а между тем в Англии, как и во Франции и Германии, ход истории осуществляется в значительной степени причинами, лежащими вне их пределов. В силу этого он требует дополнения или расширения английской истории с помощью международной, или как мы привыкли ее называть всеобщей истории»⁸⁶. В.И. Герье придавал особую ценность стремлению С.М. Соловьева включить историю России в историю европейских народов. Немецкая философия и современная европейская историография научили его понимать мировую историю как величественный единый процесс, в который органически включена всякая национальная жизнь.

Другая трудность порождена стремлением преодолеть те ограниченности, которые обусловлены односторонностью. Субъективизмом источников и особенностями историка и его эпохи. «Образ прошлого, — писал В.И. Герье, — так сказать, два раза преломляется. Во-первых, в свидетельствах, в которых сохранилась память о нем, и, во-вторых, в личности историка, который по этим событиям воссоздает прошедшее»⁸⁷. «Вечный субъективный элемент в исторической науке объясняется не только личностью историка, но и уровнем образования, нравственным состоянием, складом ума целой эпохи»⁸⁸.

Взгляд В.И. Герье на роль выдающихся личностей в истории сводится у него не столько к резкому противопоставлению своей теории другим, сколько к нюансам, оттенкам, добавлениям к существующим концепциям. Он исходит из признания, взаимовлияния индивида и среды. В его книгах и курсах на каждом шагу подчеркивается связь героев с эпохой, обусловленность идей первых воздействием второй. «Теперь, как бы они (т.е. идеи. — С.Л.) отвлеченны ни были; как бы они ни отражали на себе индивидуальность писателя,

Историография и литература

всегда стоят на исторической почве, объясняются теми историческими данными, среди которых действовали писатели, представляют собою не чистый продукт индивидуализации»⁸⁹. Историк выступал против как переоценки, так и недооценки исторических персонажей. «В прежнее время, — писал он, — преувеличивали значение великих людей, но после того, в наше время, наоборот, стали преувеличивать значение общества на счет значения великих людей»⁹⁰. Историк склонялся к признанию равнозначности трех начал: принципов, обстоятельств и героев. Эти три начала у него чрезмерно независимы, автономны. Герои, несомненно, выражают потребность времени, но их могло бы и не быть, и в таком случае общий ход истории видоизменился бы в значительно большей степени, чем в действительности это допустимо.

В.И. Герье был убежденным сторонником поступательности исторического процесса. Он настаивал на признании прогрессивности человеческого развития, критерием которого было доказательство эволюционного развития мира. Прогресс и развитие, по мнению историка, происходят постепенно, обусловлены всем предыдущим историческим развитием, и причиной прогресса являются идеи. Под влиянием позитивистской теории факторов ученый не отрицал значение «физических» условий и материальных интересов, но считал, что интересы становятся всегда под знамя какой-либо идеи.

Основные постулаты методологических взглядов В.И. Герье находились в прямом противоречии с марксистским учением. Он никогда не выступал с каким-либо анализом или развернутой критикой марксизма. Отрицательно относясь ко всем материалистическим учениям, историк не оценил учение К. Маркса. Игнорирование историком распространявшегося в тот период марксистского учения, на наш взгляд, было сознательным и являлось своеобразной формой борьбы с ним.

Периодизация истории человечества, по В.И. Герье, была следующая: древняя история — эпоха владычества языческих идей. Более прогрессивный средневековый общественный строй связан с появлением христианства, способствовавшего нравственному совершенствованию человека. Идеи Реформации и французская революция обусловили переход к новому времени.

В 70-е гг. В.И. Герье был занят античной историей, стремился привлечь наряду с письменными и археологические источники. Основной темой, привлекавший историка, был переход от республики к империи в Риме. Причины его историк видел как в событиях внешнего характера, так и в процессах, порожденных развитием внутренней жизни римского общества. Императорская власть «не снаружи только была навязана республике, но органически развивалась также изнутри, из исторической жизни римского народа»⁹¹. Историк оставлял в стороне социально-экономические вопросы этого процесса, уделяя основное внимание развитию органов государственного управления, борьбе популяров и оптиматов, гражданским войнам.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Историк подчеркивал изначальную обусловленность, необходимость установления империи, преемственно вытекавшую из предшествующей римской истории. «В организации империи, — писал он, — главным деятелем был тот же римский народ, который создал республику», «характер империи при ее установлении был следствием предшествовавшей Римской империи, с ее формализмом, консервативностью в прогрессе и сословной и национальной исключительностью»⁹². При этом власть Августа В.И. Герье признавал монархической и считал ее порождением умственной и нравственной среды того общества и того века, которым принадлежал Август. Историк неоднократно подчеркивал эволюционный характер перехода от республики к империи в Риме. Доказывал, что он был лишь органическим развитием государственного управления. «Установление императорской власти было дальнейшим развитием политического устройства Рима, было довершением того государственного здания, основание которого было положено еще в эпоху царей»⁹³. Основную силу развития Римской империи В.И. Герье видел в государстве.

В 80-е гг. В.И. Герье принял активное участие в дискуссии по вопросу о достоверности ранней римской истории. В статье под заглавием «Научное движение в области древнейшей Римской истории» ученый исходя из критики письменных источников считал, что традиционная римская история первых двух веков республики, как она была известна из Ливия, — очень позднего происхождения, то есть плод эпохи, следующей за Грахами. «К такому же выводу приводят нас, — писал историк, — с одной стороны, археологические разыскания, с другой стороны, критический разбор самого содержания традиционной истории»⁹⁴. В связи с этим ученый предложил более широко привлекать для изучения древней римской истории археологию, извлекать «из сравнительного языкознания новых и более точных данных по отношению к состоянию первобытной культуры римского народа»⁹⁵.

Характерным для В.И. Герье в связи с римской историей был и интерес к нравственному состоянию римского общества. Неизбежность перехода от республики к империи объясняется им только результатами захватнической политики. Затянутость этого перехода он объяснял тем, что на пути необходимых реформ стал консерватизм римлян и «конность» римских органов власти⁹⁶, а также то, что римляне под давлением чужих идей просто охладели к политической жизни. Таким образом В.И. Герье объяснял все особенности внутриполитической жизни результатами проводимых республикой войн.

По римской истории В.И. Герье опубликовал три статьи под общим заглавием «Август и установление Римской империи». Первая статья была посвящена французским историкам, писавшим об Августе, — Ампере, Беле, Дюрюю. Вторая статья посвящалась организации империи, созданной Августом, третья — о личности самого Августа. В.И. Герье был также автором пособия по лекциям «Основы римской истории», в которых был дан обзор всей

Историография и литература

римской истории, начиная с вопроса о ее достоверности. Всю историю Рима историк делил на три периода, соответствующих трем основным этапам завоеваний: Рим в пределах города, Рим в пределах Италии и средиземноморская римская империя⁹⁷. Определяющей силой римской истории он считал внешнюю политику. Основное внимание уделял эволюции государственных учреждений. Истории теории завоеваний и характеристике отдельных деятелей. Большое внимание историк уделял доказательству эволюционного развития Рима, без революционных бурь и потрясений, а также преемственности между римской и западноевропейской цивилизацией. «Всемирно-историческое значение Юлия Цезаря, — по мнению историка, — заключается не только в том, что он подготовил организацию императорской власти в Риме, но и в том, что он открыл римскому оружию и культуре путь на север и этим положил основание средневековому порядку и западноевропейской цивилизации»⁹⁸.

Однако В.И. Герье не издал ни одной крупной монографии по древней истории, и в то же время его работы по проблемам Древнего Рима были основательны. Его курс лекций по истории Древнего Рима, над которым он работал в течение нескольких десятилетий, вызвал положительные отклики современников. На наш взгляд, вопрос о В.И. Герье как специалисте по античной истории заслуживает более глубокого исследования.

В начале своей преподавательской деятельности В.И. Герье некоторое время читал лекции по истории Средних веков. Они, в отличие от большинства других его лекционных курсов, не были в свое время литографированы, не значатся и в библиографических указателях его печатных работ и таким образом не попали в поле зрения исследователей⁹⁹.

В этих лекциях главные проблемы раннего Средневековья решаются исключительно под углом зрения трансформации государственности. Это не простое повествование о событиях средневековой истории, а последовательное аргументированное освещение ее важных теоретических проблем. В них нет характерного для первых русских медиевистов увлечения политической историей, рассказами о жизни королей, нравах и обычаях эпохи, деятельности церкви. В центре внимания автора находится история государства и права, которые рассматриваются как развивающиеся институты, связанные с другими сторонами общественного организма, в том числе и поземельными отношениями.

Лекции построены на исследовании юридических памятников Средневековья. Автор не просто констатирует сведения, содержащиеся в источниках, но и предпринимает историческую критику их, определяет степень верности отражения в них исторических явлений путем указания на происхождение памятников и сопоставления их друг с другом. Отдельные лекции курса почти целиком посвящены источниковедческой критике. В своем курсе В.И. Герье опирался на исследования ученых, определивших лицо

Фигуры истории, или «общие места» историографии

медиевистики того времени — Вайц, Зибель, Рот, Кембл и другие. Он подробно анализировал и оценивал их концепции с позиций собственного взгляда на исторические явления.

Интересна у В.И. Герье трактовка категории «феодализм». Он разделял понимание феодализма как вассально-бенефициальной системы, связанной с условным землевладением. Историк одновременно пытался обнаружить в феодальных отношениях и глубокий политический смысл и трактовал их как ступень в развитии «политического разума» народов.

Лекции В.И. Герье по Средневековью пробуждали интерес к научной стороне истории, призывали к обстоятельному анализу источников, предостерегали от односторонних поверхностных концепций, учили смотреть на исторические феномены как на вечно движущиеся и изменяющиеся процессы. Поэтому не случайно двое из студентов и учеников В.И. Герье вошли в плеяду выдающихся русских медиевистов конца XIX в. — Н.И. Кареев и П.Г. Виноградов.

Эпоха Средних веков отличалась, по мнению В.И. Герье, тем, что не знала государства. Однако историк выступал против взгляда на средневековую историю как на регресс, последовавший после расцвета античности. Исследуя процесс перехода от древнеримского общества к средневековому на примере образования государственности у древних германцев, ученый указывал на то, что новое значение имело не воздействие римской цивилизации, а внутренние процессы развития общества. Прогрессивность средневекового мировоззрения В.И. Герье видел в догмах христианства. История раннего Средневековья у него — это прежде всего религиозная история. Среди начавшейся феодальной раздробленности церковь являлась, по его мнению, «единственным организованным элементом»¹⁰⁰.

Для исследований В.И. Герье по средневековой истории все более характерным становился интерес к религиозному аспекту. «Церковь и государство — вот те великие учреждения, в которых главным образом выражается историческая жизнь человечества»¹⁰¹. В работах, посвященных этой тематике¹⁰², историк уделил основное внимание исследованию деяний средневековых святых и теологов, ибо «судьба общества и учреждений зависит не от одних исторических законов, — писал он, — но и от успеха в нравственном развитии, а это развитие совершается главным образом под влиянием характера и нравственной высоты передовых личностей»¹⁰³. Отсюда восхищение ученого героями истории. «Кто из историков согласился бы отказаться от того обаяния, — писал он, — которое присуще великим личностям в истории, хотя мы и не в состоянии свести их действия на причины или законы, которые бы удовлетворили точную науку»¹⁰⁴.

Начало Нового времени В.И. Герье связывал с Реформацией. Идеи, принесенные ею, по мнению ученого, составили новую эпоху в духовном развитии человечества. Он, как сторонник эволюционного подхода, выступил про-

Историография и литература

тив конкретных определений хронологических рамок Нового времени, ибо «для очень крупных фактов будет и очень продолжительная история происхождения. Очень глубокий и продолжительный генезис»¹⁰⁵. В.И. Герье различал два периода Нового времени. Первый период — с XVI по XVIII вв. — он связывал с идеями Реформации. С XVIII в. «главенствуют идеи Просвещения и французской революции»¹⁰⁶, — писал историк.

Главной специальностью В.И. Герье был XVIII в. — эпоха Просвещения, старый порядок и революция¹⁰⁷. Прежде чем перейти к рассмотрению научно-го наследия В.И. Герье в этой области, следует несколько слов сказать о преподавании и научных исследованиях истории Франции в России в середине XIX в.

В 1861 г. профессор Харьковского университета М.Н. Петров впервые в России в своей докторской диссертации «Новейшая национальная историография в Германии, Англии и Франции» уделил внимание историографии французской революции¹⁰⁸. Он считал, что разрыв между прошлой историей Франции и порядком, установленным революцией, был чрезмерным. «Революция XVIII века, пытаясь разорвать все связи страны с ее прошедшим», по мнению историка, пожертвовала «ради всеобщего уравнения прав теми учреждениями, на которые прежде опиралась власть»¹⁰⁹. Историк считал, что «главной задачей французской революции было разрушение всех старых учреждений, вместе с которыми исчезла и возможность разумных реформ: ибо никакая революция не может создать совершенно новый общественный строй»¹¹⁰. Книга М.Н. Петрова носила историографический характер, и поэтому в ней нет развернутых оценок революции. Свое отношение к тому или иному событию ученый формулировал в связи с оценкой произведений зарубежных авторов. Значение этой работы заключается в том, что это была попытка ввести в русскую науку проблемы, связанные с французской революцией, а также критически осмыслить достижения зарубежной историографии.

После введения нового университетского устава (1863) и закона о печати (1865) к истории французской революции все чаще стали обращаться издатели, публицисты, ученые. Первый обзор литературы о французской революции, изданной на русском языке, был опубликован в предисловии к «Истории французской революции» Минье, написанном публицистом К.К. Арсеньевым. К тому времени на русский язык были переведены лишь «История XVIII века» Шлоссера (1859), «История французской революции и ее время» Зибеля (1865) и «Старый порядок и революция» А. Токвиля (1890). К.К. Арсеньев не ограничился в своем обзоре этими авторами. Он дал сравнительную характеристику произведениям Тьера, Мишле, Л. Блана, Л. Амартини, Карлейля, упомянул Бюше и Ру. Однако этот очерк носил характер не столько историографического исследования, сколько простой рекомендации читателям, желающим изучить историю революции.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Однако русская общественность хотела иметь «свою» историю французской революции 1789 г., написанную русским историком. «Одни переводы, — писал “Вестник Европы”, — недостаточно удовлетворяют в этом отношении, потому что всякое историческое произведение носит на себе более или менее местный отпечаток и вызывается весьма важными интересами того общества, где оно явилось, но слишком второстепенными для всякой другой среды»¹¹¹.

Начало преподавания курса истории французской революции 1789 г. в российских университетах связано с именами трех историков — М.Н. Петрова в Харьковском, В.В. Бауэра в Петербургском и В.И. Герье в Московском университетах. Они одновременно обратились в своих лекциях к событиям во Франции в конце XVIII в. М.Н. Петров одним из первых занялся историей Нового времени. Однако никаких сведений об этом не сохранилось. Опубликованный же после его смерти курс Новой истории, в котором изложение революционных событий доводилось до Конвента, был, по мнению Б.Г. Вебера, составлен в начале 70-х гг. XIX в., об этом писал и В.П. Бузескул, подготовивший лекции М.Н. Петрова к изданию¹¹². Автор курса объединял революцию во Франции не только с крестьянской войной в Германии XVI в. и английской революцией XVII в., но и включал в революционный процесс XVIII в. монархические революции Фридриха II, Иосифа II, Помбаля. В этих лекциях проявилось стремление противопоставить разрушительное действие революции более разумному, по мнению М.Н. Петрова, пути преобразования сверху.

В начале 70-х гг. XIX в. чтение лекций с изложением истории французской революции начал профессор Петербургского университета В.В. Бауэр. Однако его лекции также не сохранились, изданный же после смерти профессора его учеником графом А.А. Мусиным-Пушкиным курс лекций по Новой истории носил во многом уже не авторский характер. Началом революционного процесса Нового времени он, подобно М.Н. Петрову, полагал Реформацию, считая «XVII век продолжением XVI века», а «французская революция прошлого столетия была только одним из самых потрясающих и знаменательных актов этого длительного развития человечества»¹¹³. Революция была закономерна, считал В.В. Бауэр, ибо «во Франции по ходу ее истории нельзя было ожидать мирного переворота»¹¹⁴. Значение этой революции автор видел в принципах, провозглашенных ею, которые легли в основание нового исторического развития западноевропейского общества. Но «революция только формулировала, осуществила на деле те принципы, которые уже провозглашены были французскою просветительскою литературою»¹¹⁵. Логическим же завершением идей 1789 г. была, по мнению автора, такая государственная форма, «в которой слились бы их монархические принципы с либеральными идеями века»¹¹⁶.

Первый курс с изложением проблем истории французской революции был прочитан В.И. Герье в 1868/69 учебном году. Литография этого курса,

Историография и литература

материалы к нему сохранились в архиве историка. Факты педагогической деятельности В.И. Герье и свидетельства современников позволяют нам утверждать, что именно ему, а не М.Н. Петрову и В.В. Бауэру, принадлежит приоритет в деле начала систематического освещения истории революции в университетских курсах¹¹⁷.

Курс 1868/69 учебного года предварил целый цикл лекций и семинаров по истории французской революции, читавшихся историком на протяжении всей его 40-летней педагогической деятельности. В.И. Герье считал, что французская революция закономерно вытекала из всей предыдущей истории Франции, необходимость и закономерность ее была очевидна: «Все главные основы политической жизни Франции обветшали, и мы нигде не видим ни возможности, ни достаточной силы для реформ, — считал В.И. Герье, — преградой для новых потребностей жизни стала во Франции и сильная монархическая власть с крепкой централизацией»¹¹⁸. Задачи революции профессор видел в политическом преобразовании государства, в предоставлении прав и свобод гражданам, в участии народных представителей в управлении. В.И. Герье критиковал Руссо за его теорию «полновластия народа». Взамен этого историк предлагал «дать массе как можно больше знаний, свободы, но не власти. В этом заключается справедливое основание верховной власти народа», и далее: «...научными средствами исправить общество, исцелять недуги — вот задача государства»¹¹⁹. В.И. Герье очень высоко ценил Ш. Монтескье, который был для него самым зрелым представителем политической науки в то время. Важным для историка в учении французского политика было то, что Монтескье выступал за разделение властей, где судебная власть осуществляется посредством суда присяжных, законодательная — выбором представителей народа, а исполнительная власть принадлежит монарху¹²⁰.

В центре внимания В.И. Герье были реформы Учредительного собрания, давшего политические права буржуазии. Именно на этом должна была, по его мнению, остановиться революция. Герой революции для историка — Мирабо, готовивший примирение монарха с властью народа. Якобинский период революции у В.И. Герье — господство черни, которое привело к установлению анархии. Русский историк выступил против попыток И. Тэна и Ф. Минье оправдать якобинский террор, считая, что «террор не есть порождение опасности, в которой находилась Франция, террор есть результат внутреннего процесса, порождение предшествующего развития внутри. Что касается влияния политического момента и опасности, — писал историк, — то можно сказать, что это содействовало успеху террористов»¹²¹. В.И. Герье выступил против «оптимизма» Ф. Мишле при описании якобинцев, который не способствовал установлению истины¹²². В.И. Герье резко выступил с критикой и в адрес Л.Блана за его идеализацию Робеспьера¹²³, а также и по поводу деспотизма Наполеона, который и завершил революцию¹²⁴.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Всемирное значение французской революции заключалось прежде всего, по мнению русского историка, в тех политических идеях, которые возникли в ее преддверии и были проведены в ходе ее на практике. Поэтому «французская революция отозвалась всюду: везде нашлись люди, в которых она возбудила энтузиазм, которые были в восхищении от того, что было высказано и выставлено на вид во Франции»¹²⁵. Но при этом не следует брать из истории практических правил, «это особенно нужно заметить при изучении французской революции», оговаривается В.И. Герье. Да и при пользовании теми идеями, которыми человечество обязано французской революции, следует проявлять осторожность, ибо «одни видят в политической свободе возможность легко свергать правительственную власть, отделяться от тех, кому поручили власть, и впасть в анархию. Другие видят в политической свободе право избирать тех, кому приходится повиноваться»¹²⁶, — писал историк.

Первой печатной работой, посвященной французской революции конца XVIII в., стала статья «Республика или монархия установится во Франции?», написанная для курса истории XVIII в. в 1873 г.¹²⁷ В этой статье проявилось сильное влияние А. Токвиля, автор начинает искать причины революции в глубоком Средневековье. С XVI в. начинается разлад между феодальными принципами, на которых было построено здание французского государства, и потребностями нового строя. Этот строй историк называл государственным, видя отличие его от феодального в системе учреждений, нарождающихся во Франции буржуазных отношениях.

Противоречия французского общества XVIII в. В.И. Герье объясняет неспособностью королевской династии вывести страну из кризиса. С одной стороны, утверждал историк, достаточно было «несколько правительственных указов», чтобы стереть с лица Франции все остатки феодального строя, а с другой, считает он, даже Фридрих Великий со всеми его деловыми качествами не смог бы предотвратить во Франции исторически закономерную революцию¹²⁸. В.И. Герье сравнивает эту ситуацию с отлитым уже колоколом, но заключенным еще в глиняную форму. Революция разбила этот покров и окончательно объединила Францию, но уже не во имя королевской власти, а во имя власти народа.

В 70—80-е гг. XIX в. началось издание капитального труда И. Тэна «Происхождение современного строя во Франции». Именно В.И. Герье познакомил русское общество с трудом французского историка, опубликовав в 1878 г. ряд статей в журнале «Вестник Европы». Впоследствии эти статьи, несколько дополненные, составили его книгу «Французская революция 1789—1795 гг. в освещении И. Тэна», которая вышла в 1911 г. Автор сократил критическую часть своих очерков и снабдил их предисловиями и добавлениями, так как с момента его первых статей прошло много времени, и русское движение 1905—1907 гг. сильно отразилось на мировоззрении автора, как в свое время фран-

Историография и литература

цузская коммуна 1871 г. отразилась на мировоззрении И. Тэна. В.И. Герье указывал на причины, побудившие его изменить свои взгляды. «Печатая в свое время свои критические очерки книги Тэна о революции, я был далек от мысли, что мне придется быть очевидцем аналогичного потрясения в России, — писал он в предисловии. — Издавая теперь отдельной книгой эти очерки с необходимыми дополнениями и изменениями, я полагаю, что освещение, данное Тэном французской революции, имеет в настоящее время для русских читателей новый интерес, являясь в то же время освещением и недавно пережитых ими событий»¹²⁹. События 1905 г. существенно изменили оценку французской революции у В.И. Герье. «Мы переживаем подобную же эпоху, — писал он в 1907 г., — и нам может грозить подобное и даже худшее зло, чем то, которое обрушилось на французков в конце XVIII в., если мы повторим их политические заблуждения»¹³⁰.

Особая заслуга И. Тэна, считал В.И. Герье, заключается в отражении французским ученым не только политической истории революции, как у А. Токвиля, а в написании того, «что недоставало до него — то была внутренняя, социальная история Франции во время революции»¹³¹. Это удалось И. Тэну благодаря широкому использованию законов психологии, статистики, нового архивного материала. Обширное исследование И. Тэна составило эпоху в изучении французской революции. До него в сочинениях Мишле, Тьера, Ламартина преобладала идеализация революционного движения, основанная на поверхностном знакомстве с документами.

В.И. Герье указывал на достоинства труда, одновременно не скрывая и его недостатков. Общий недостаток заключался в том, что первоначально автор был историком литературы и притом представителем той школы, которая видит в литературных произведениях преимущественно отражение бытовой жизни народа и пользуется ими главным образом как материалом для истории общества и его культуры. Перейдя от литературы к истории, И. Тэн не сделался историком государства, историком-юристом, его интерес по-прежнему сосредоточивался на культуре общества, на типах и людях, он «погрешил против истины тем, что показал не всю истину»¹³². Положение монархии в дореволюционной Франции охарактеризовано у него неполно, зато хорошо вскрыта психологическая подоплека революции и великолепно очерчены якобинский тип и фигуры отдельных деятелей.

И. Тэн пришел к выводу, что революция была ошибкой, но ошибкой был не сам переворот, положивший конец старому порядку, а ошибкой был способ, посредством которого переворот был произведен. В.И. Герье справедливо замечал, что, насильственный переворот, осуждаемый И. Тэном, был в значительной степени подготовлен всей предыдущей историей Франции, и его успеху содействовал целый ряд благоприятных условий. И. Тэну представлялось, что королевская власть при старом порядке была в состоянии осу-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ществить необходимые реформы. Неправильно очерчено И. Тэном отношение революционного правительства к церкви, потому что не принято во внимание положение, которое занимала церковь при старом режиме.

В работу 1911 г. помимо старых разделов была включена и новая глава: «Якобинский суд над Тэном», направленная против А. Олара, который издал книгу с суровой критикой И. Тэна как историка французской революции. В.И. Герье назвал А. Олара «официальным представителем господствующей якобинской легенды» и отмечал, что «никакая софистика не умалит заслуг Тэна»¹³³. А. Олар считал, что книга И. Тэна в общем итоге и в ее общих выводах почти бесполезна для истории. В.И. Герье доказал несостоятельность этого взгляда. И. Тэна обвиняли в том, что он возмущался якобинством по личным эгоистическим мотивам, на что русский историк возражал: это было не личное негодование, это было негодование идеалиста, который видел, как якобинцы оскверняли самые чистые идеалы справедливости и свободы; негодование мыслителя, который убедился, что во время революции Франция была разрушена и перестроена на основании ложного принципа. Это было негодование патриота, которого изучение бедствий, перенесенных Францией, привело к осознанию, насколько горячо он любит свое отечество. Анализ событий открыл И. Тэну ложность якобинский принципов, их общественную злобедность. Документальная история снабдила его обильным материалом для убедительного обвинения, а художественное творчество сплотило этот материал в обвинительный акт.

По мнению В.И. Герье, «1789 год всегда будет считаться одним из замечательных памятников на пути человечества к гражданскому прогрессу». Историк формирует свой взгляд на французскую революцию так: «Французская революция имеет для историка важное значение с четырех существенных сторон. Во-первых, она является ему местным результатом европейской культуры XVIII в.; далее, революция была катастрофой феодального порядка; в то же время она была довершением централизации и объединения Франции, и, наконец, ее декларация прав сделалась великой хартией европейской демократии»¹³⁴.

Сосредоточив внимание на исследовании эпохи революции, историк писал, что «без изучения и без свободной от предрассудков оценки французской революции нельзя верно понять ни прошлой, ни современной истории Франции»¹³⁵. Основные задачи, которые видел В.И. Герье в изучении революции, заключаются для него, во-первых, в «генетическом объяснении революции» как события, «корни которого теряются в глубине предшествовавших веков, ход, характер и цель которого определяются ходом и свойством всей истории французского народа»¹³⁶. Во-вторых, считал В.И. Герье, нужно это событие «классифицировать и прибегнуть к сравнительному методу»¹³⁷. И третья задача заключается в том, чтобы «привести ее (революцию. — С.Л.) в связи с всеобщей историей и указать ее место в общем процессе человеческой цивилизации»¹³⁸.

Историография и литература

В.И. Герье не отрицал закономерность революции в историческом процессе, считая, что сам переворот имел всемирно-исторический смысл и был неизбежен. Рассматривая французскую революцию как неминуемую ступень развития человечества, В.И. Герье указывал, что «подобная узурпация (т.е. революция. — *С.П.*) совершалась каждый раз, когда в истории появлялось какое-нибудь новое религиозное или политическое начало»¹³⁹. Историк определял революцию как «попытку осуществить и провести в жизни идеи и доктрины, развитые рационалистической философией»¹⁴⁰. С другой стороны, революция для Франции имела значение «чисто государственного переворота», была «последовательным довершением векового политического процесса»¹⁴¹.

В 80-е гг. В.И. Герье написал ряд статей о французских просветителях, способствуя тем самым их популяризации. Он открыл для русского читателя произведения аббата Мабли (1709—1785)¹⁴². Он издал книгу о Мабли, которая стала важнейшей монографией о нем не только в русской, но и во французской литературе. Историк подробно рассмотрел систему Мабли, указав на то, что его политическая программа была как бы срединной между конституционной теорией Монтескье и демократическим идеалом Руссо, и что конституция 1791 г. более всего приближалась к программе Мабли.

Отношение В.И. Герье к Мабли было двойственным: с одной стороны, он видел в аббате сторонника буржуазных преобразований и приветствовал это, а с другой — он не мог с ним согласиться по вопросу уничтожения монархии. В.И. Герье высоко оценивал Мабли как теоретика, разработавшего программу борьбы с абсолютизмом, и отводил ему «одно из самых видных мест в культурной истории Франции и в литературе революционных идей»¹⁴³. Значение идей французского аббата русский историк видел в том, «что именно Мабли сформулировал в своих сочинениях тот средний политический тон, который был осуществлен революцией 1789 года и в общих чертах доньше сохранился в учреждениях Франции»¹⁴⁴.

Вслед за Мабли пристальный интерес русского ученого вызвало учение Руссо. В.И. Герье находил много общего между взглядами двух просветителей, считая, что «различные направления мысли, пробудившиеся во французском обществе в XVIII веке, сходятся и сосредотачиваются в Руссо»¹⁴⁵. Причины необыкновенного и непонятного успеха теории «Общественного договора» Руссо В.И. Герье видел в «политическом антагонизме между различными составными частями общества, а также между обществом и правительством, и в глубокой, слишком долго задержанной потребности существенных преобразований»¹⁴⁶. Но если в учении Мабли В.И. Герье все-таки находил и привлекательные для него положения, то у Руссо он видел лишь рационалистические, отвлеченные представления и противопоставлял ему реального исследователя Монтескье. Особое возмущение В.И. Герье вызывало то, что рационалистические представления Руссо делали анархию естественным и

Фигуры истории, или «общие места» историографии

хроническим состоянием гражданского общества и узаконили революцию. В.И. Герье обвинял именно Руссо в том, что «величавый в своем начале и своей цели исторический переворот вызвал печальные явления и необузданность демократической страсти на последнем этапе революции»¹⁴⁷.

Просветительская и педагогическая деятельность В.И. Герье была поистине его жизненным кредо. Он был педагогом по призванию. Кроме университета историк преподавал в Лазаревском институте. О самоотверженности в деле просвещения свидетельствует его активная деятельность в организации Высших женских курсов, которые были открыты в Москве в 1872 г. благодаря огромным усилиям В.И. Герье. Публичные курсы существовали и раньше в Москве и Петербурге (Владимирские, Аларчинские, Лубянские), их целью было расширение и углубление женского образования, однако их организация не обеспечивала ни достойной подготовки слушательниц, ни живой связи между ними и преподавателями. От этого были во многом защищены курсы В.И. Герье. Первоначально они были рассчитаны на два года, число курсисток в первый год составляло 60 слушательниц. К моменту их закрытия в 1886 г., несмотря на скудность материального положения, они не переставали расширяться и развиваться, число слушательниц возросло до 256¹⁴⁸.

Эти курсы, по словам организатора, давали энциклопедическое образование. В программе курсов были история, литература, астрономия, энциклопедия естественных наук, гигиена. Преподавателей было мало, но был их хороший подбор. На курсах преподавали В.О. Ключевский, А.Н. Веселовский, Н.И. Стороженко, П.Г. Виноградов, Ф.С. Корелин, А.А. Шахов, отец будущего историка Ю.Ф. Виппер и другие. Сам В.И. Герье читал на курсах историю французской революции, историю искусств, мифологию, лекции по истории культурных идей, включавшие освещение наследия Локка, Вольтера, Монтескье.

Правительство не отпускало никаких средств на содержание курсов, окончившие их не получали никаких прав. Курсы работали по принципу самооплачиваемости, с 1873 г. были выделены субсидии от Московского купеческого общества в размере 500 рублей ежегодно. Пожертвования, взносы частных лиц составляли 2300 рублей, за три года сформировался запасной капитал в сумме 4100 рублей¹⁴⁹. «Десятки и сотни женщин стекались на курсы из самых отдаленных краев нашего отечества; их не останавливали ни тяжелый труд, ни отсутствие средств, ни предрассудки провинциальной среды — все жертвы были ничтожны в сравнении с теми духовными благами, которые давало знание»¹⁵⁰, — вспоминала бывшая курсистка З.С. Иванова.

Курсы В.И. Герье послужили образцом для высших женских курсов в Казани, Киеве, Петербурге, а также для реформированных Лубянских курсов. Идею о необходимости высшего женского образования в России В.И. Герье горячо отстаивал и в печати. «Потребность в высшем женском образовании

Историография и литература

настолько уже сильно обнаружилась в России, что государству и общественным властям необходимо принять меры к ее удовлетворению»¹⁵¹, — писал профессор в 1877 г. В.И. Герье пришел к выводу о необходимости женского образования в четырех направлениях: 1) техническом; 2) конторском и канцелярском деле; 3) медицине; 4) преподавании. Особое внимание уделялось четвертому направлению.

Автор делает анализ женского гимназического образования и приходит к выводу, что «Россия, опередившая западные государства учреждением систематических женских гимназий, должна показать также пример в устройстве высших учебных заведений для женщин»¹⁵². Какого рода должны стать эти высшие учебные заведения? «Современной женщине прежде всего необходимо более основательное и обширное общее образование — а этого она не найдет в университете. Для женщин важно не то, чтобы две или три из них получили диплом на кандидата, магистра или доктора такой-то науки, а чтобы по возможности вся масса женщин, принадлежащих к образованным классам, была действительно образована»¹⁵³.

Мечтой В.И. Герье было учреждение высших женских учебных заведений или лицеев для женщин во всех университетских городах. Руководить такой системой, по мнению ученого, должно особое правительственное учреждение. Министерство народного просвещения своеобразно откликнулось на этот призыв и под предлогом необходимости разработки новых программ и перевода курсов на государственное обеспечение закрыло их в 1886 г. В.И. Герье пытался обойти министерский приказ о закрытии курсов, продолжая читать лекции при обществе гувернанток, давать публичные лекции в Московском университете.

Вторичного открытия курсов удалось добиться лишь в 1900 г. В.И. Герье предложил расширить преподавание, включив в него и естественные науки. В разработке программ приняли участие В.В. Марковников, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский. По приглашению В.И. Герье на курсах читали лекции В.И. Вернадский, М.А. Мензбир, Т.К. Штернберн. Курсы возродились с более обширной программой, открылось три факультета — математический, естественный, словесный, а после 1905 г. — и медицинский.

Помимо открытия Высших женских курсов, В.И. Герье принадлежит главная роль и в основании нового исторического общества при Московском университете. Основными задачами общества историк считал изучение всеобщей истории, взятой как целое, осмысление достижений западно-европейской науки, проповедь гуманизма. Заседания общества стали местом широких дискуссий ученых Московского университета по актуальным вопросам всеобщей истории. В изданных трудах этого общества увидели свет многие статьи В.И. Герье, М.С. Корелина, М.М. Хвостова, А.Н. Савина и других авторов¹⁵⁴. В.И. Герье был одним из активных участников исторического отдела

Фигуры истории, или «общие места» историографии

редакции «Энциклопедического словаря» под редакцией Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, его перу принадлежат статьи о Я. Гусе, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Тэне и другие.

Осенью 1872 г. Министерство народного образования разослало циркуляр о пересмотре университетского устава 1863 г. В журнале «Русский вестник» за февраль 1873 г. появилась статья профессора Московского университета Любимого. В ней автор выступил против устава 1863 г. и, в частности, против тех статей, которые предоставляли университетам право на самоуправление, узаконивали систему невмешательства со стороны властей в дела университетов. В.И. Герье откликнулся на статью Любимого рядом публикаций¹⁵⁵. В этих публикациях он проявил себя горячим противником перемен, он убедительно и авторитетно доказывал опасность ломки университетского здания. «Дело вовсе не в том, чтобы замкнуть университеты, оторвать их от государственной почвы, изолировать их, сделать из них привилегированную корпорацию. Вопрос не в самоуправлении, а в том, где провести черту между централизацией и децентрализацией. Вопрос в том, что предоставить чиновникам департамента, а что профессорам»¹⁵⁶. В.И. Герье выступил ярким сторонником самоуправления университетов на всех уровнях его организации, начиная от вмешательства министерства, выборов ректора, профессоров, заведующих кафедрами, а также принятия решения об экзаменах для студентов.

Ученик В.И. Герье А.И. Соболевский вспоминал: «Студенты читали его статьи об университетском вопросе и были вполне на его стороне»¹⁵⁷. В.И. Герье, со свойственной ему основательностью изучивший университетский вопрос во Франции, Англии и Германии, на основе сравнительного анализа доказывал преимущества университетского устава 1863 г. для дальнейшего развития русской науки. О том, что этот шаг потребовал от ученого известного мужества, свидетельствует письмо В.О. Ключевского к В.И. Герье, в котором сообщалось о министерском циркуляре, запрещавшем всякие выступления против готовящейся университетской реформы¹⁵⁸. Однако новый устав университетов, принятый в 1884 г., воспринял все то, против чего так настойчиво выступал профессор. В 1894 г. группа профессоров, в их числе был и В.И. Герье, выступила в защиту репрессированных студентов, подавших петицию Николаю II (она была перехвачена полицией) с просьбой об изменении университетского устава 1884 г. Власти решили строго наказать профессоров. Предполагалось даже увольнение некоторых, в том числе и В.И. Герье. Однако это мера не была реализована¹⁵⁹.

12 января 1884 г. В.И. Герье произнес речь на торжественном собрании Московского университета «Понятие о власти и о народе в наказах 1789 года», которая позже была издана в виде книги. Речь была посвящена очень важной и сложной проблеме — наказам (cahiers) сословий французского общества депутатам Генеральных Штатов 1789 г. В этих наказах были высказаны взгля-

Историография и литература

ды, чувства, ожидания и надежды народа. Изучение наказов началось французскими историками, которые трактовали их через призму симпатий или антипатий по отношению к разным социальным группам населения. В.И. Герье подошел к исследованию наказов более спокойно, субъективный взгляд нигде не выступает на первый план.

Наказы еще мало были известны, хотя о них упоминал еще А. Токвиль. В 60-е гг. появилось их издание в одной из серий собрания «Archives Parlementaires» под редакцией Лорана и Мавидаля. И. Тэн даже на ссылался на них. Первая работа, посвященная наказам, вышла во Франции в 1866 г., но в ней не было подробного анализа этих источников.

В.И. Герье стал первым историком, который дал подробный критический анализ наказов, главным образом с точки зрения понятия о власти и народе, как оно в них выражалось. Ученый поставил вопросы, можно ли считать наказания действительным выражением воли нации? Кто писал эти наказания, кто формулировал в них волю сельских избирателей? После детального изучения документов он пришел к заключению о постороннем влиянии, главным образом сельских священников, нотариусов, стряпчих, адвокатов. Первичные наказания третьего сословия подверглись сводке, переработке. В.И. Герье пришел к выводу, что наказания «были делом самого влиятельного класса тогдашней Франции, всех тех, которые считали своим призванием говорить, писать и действовать во имя народа»¹⁶⁰. Историк поставил вопрос, каким же образом это общество понимало предстоящие ему задачи, какие у него были политические идеалы, какими средствами оно думало достигнуть более совершенного государственного порядка? Отвечая на эти вопросы, он показал, что само правительство не имело определенной программы, а в самих наказах наблюдалось противоречие, шаткость, неясность и неопределенность понятий программы. Главная причина заключалась в отсутствии трезвой политической мысли, что было следствием политической неопытности французского общества, «глубоко коренилось в его истории: незрелость этого общества обуславливалась, главным образом, давним и полным отчуждением его от всякого практического дела, от всякой серьезной ответственности, от всякого служения общему интересу и благу; она обуславливалась разностью между привилегированными слоями и массой населения, и наконец, характером самой власти. Французская монархия же конца старого порядка сохранила феодальный характер»¹⁶¹.

Революция, по словам В.И. Герье, стремилась во имя национальной идеи к объединению Франции — объединению территориальному, социальному и политическому. Удалось только первое, в политической сфере вместо гармонии получилась борьба, в социальной сфере объединение было достигнуто более внешнее, чем внутренне. «Слияние классов совершилось, но ценою значительной атрофии аристократических элементов, без действительного

Фигуры истории, или «общие места» историографии

участия которых, там, где они созданы историей, немислимо правильное развитие народной жизни»¹⁶².

В.И. Герье всегда был сторонником конституционной монархии, и в речи, и в книге еще более ярко прозвучал тезис защиты монархического принципа. На наш взгляд, это объясняется двумя причинами. Во-первых, неудачей реформ Александра II, во-вторых, поддержкой нового курса Александра III. Общйй подход к революции у историка не изменился. Однако более мягкой стала критика королевской власти, деятельность которой вела к постепенному развитию нового строя. Именно произвол со стороны королевской власти в ее благих стремлениях открыть дорогу новому строю и привели к развитию оппозиции в стране. Однако вместо того, чтобы помочь правительству вывести страну из застоя, общество стало противиться всем реформам, исходящим со стороны короля, и искать спасения в идее народовластия. Ученый обвинил французское общество в том, что оно не сумело примирить эту идею с принципом королевской власти и довело страну до анархии. Причины этого историк видел в политической незрелости французского общества в XVIII в., ведь «за исключением небольшого числа доктринеров, они не знали, что такое свобода и вовсе не хотели той революции, которую подготовили»¹⁶³. Свободу В.И. Герье видел в соединении монархии с народовластием, а упразднение монархии — как ту ошибку, которая повлекла за собою неблагоприятное развитие событий.

В своей первой работе «Понятие о власти и о народе в наказах 1789 года» (1884) В.И. Герье обвиняет именно королевскую власть в неспособности к реформам, в том, что она остановилась в своем развитии и не могла далее руководить французским обществом. В новой работе «Идея народовластия и французская революция 1789 года» (1904) виновниками положения становятся народные массы. Историк более строго оценивал идею народного представительства: «Создать в независимости от монарха или над ним особый орган национальной воли из временных и более менее случайных представителей ее — значило бы сделать невозможным монархию. Искалечить нацию, а при известных условиях значило подвергнуть вопросу и само существование ее»¹⁶⁴. Именно монархия, по мнению ученого, представляла собой такую форму правления, которая наилучшим образом способствовала тому, чтобы во Франции «закон соответствовал национальному идеалу о праве и разумном порядке, чтобы в общественной и умственной жизни было допущено свободное развитие индивидуальных сил», именно «на этом незыблемом основании возможна плодотворная деятельность местного и общего представительства»¹⁶⁵.

Помимо большой научной и педагогической деятельности, В.И. Герье активно участвовал и в общественной жизни Москвы. В 1876 г. он был избран в гласные Московской городской думы и в течение более 30 лет был бессменным председателем Комиссии о пользе и нуждах общественных, а также со-

Историография и литература

стоял членом других 14 различных комиссий. По его инициативе и при его активном участии Московское городское управление субсидировало множество благотворительных обществ и учреждений, были учреждены городские стипендии в различных учебных заведениях Москвы. В.И. Герье был автором более 180 докладов, имевших решающее значение для улучшения городской жизни и благоустройства города.

Сложная социально-экономическая ситуация в России, сложившаяся в конце XIX в., вызвала активные действия со стороны В.И. Герье. Выход из этого положения историк видел в дальнейшем развитии благотворительности и просвещении народных масс. Работая в различных земских комиссиях, он неоднократно выступал в печати со статьями под характерными названиями: «Записки об историческом развитии способов призрения в иностранных государствах», «О способах помощи безработным», «Еще раз о праздничном отдыхе» и др. В этих публицистических работах В.И. Герье выступал прежде всего как историк, внимательно изучая развитие благотворительности в западноевропейских странах. Результатом этой деятельности стало введение им по образцу Запада новых видов социальной помощи на основе «общественно-добровольчества»¹⁶⁶.

В начале 1894 г. в Московской городской думе решался вопрос о создании новых организаций общественного призрения, возникших вследствие упразднения Московского комитета для разбора и призрения просящих милостыню. Проект устройства попечительств по поручению городской думы был поручен В.И. Герье. Составленный им доклад начинался с истории создания обществ призрения в Западной Европе и в России, а также показывал современное положение дел в Москве. За 1889 г. разные ведомства и частные общества тратили на благотворительные нужды более 4,5 млн рублей¹⁶⁷. Однако почти всю эту сумму поглощали больницы, богадельни и приюты, а на благотворительность вне заведений, т.е. собственно на помощь бедным, расходовалось не более 350 тысяч рублей. На долю городского управления из этой последней суммы приходилось не более 22 тысяч рублей, что составляло три копейки в год на каждого жителя Москвы. К этой сумме следует прибавить процент с пожертвованных капиталов, находящихся в ведении города, тогда сумма возрастала до 7 копеек, что составляло менее четверти франка. Между тем как в Париже расходы на призрение доходили до 2,5 франка с жителя, в Берлине — до 5,4 франка, в Вене — до 9,75 франка, при этом число нищих в Москве в 1878 г. составляло 26 тысяч¹⁶⁸.

В.И. Герье в своем докладе писал, в Москве «есть сотни лиц, готовых жертвовать деньги и другого рода пособия в пользу бедных, как скоро они будут убеждены, что жертвуемые ими средства будут употреблены разумно; есть сотни других лиц, готовых взять на себя заботу о бедствующих, надзор за вспомоществуемыми, попечение о тех, которые нуждаются в совете, в приис-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

кании заработка, в нравственной поддержке. На этом поприще нашли бы возможность служить обществу женщины, которым закрыты многие другие области общественной деятельности и усердие которых особенно плодотворно во всем, что имеет отношение к благотворению и оказанию помощи страждущим»¹⁶⁹. В.И. Герье предложил учредить комиссию в составе от 5 до 10 человек, избираемых городской управою на четыре года, из числа живущих в данном участке и обязавшихся ежегодным денежным взносом содействовать делу призрения бедных. Все другие постоянные жертвователи числятся членами попечительства, но в распорядительных заседаниях его участвуют только по приглашению председателя. Председатели попечительств избираются Думой по предложению городского головы.

Внесенный в городскую думу проект комиссии встретил со стороны гласных возражения двоякого толка. Одни считали излишним учреждение особых городских попечительств и настаивали на слиянии их с попечительствами церковно-приходскими; другие соглашались с комиссией в принципе, указывая только на неясность или неудовлетворительность некоторых отдельных правил. После длительных дебатов проект был принят Думой без всяких существенных изменений. По плану В.И. Герье, Москва была разделена на участки, на первом этапе их было 34, в каждом из которых открывалось участковое попечительство, председатель которого избирался Думой, по предложению городского головы¹⁷⁰.

Новая форма организации попечительства о бедных быстро продвинулась вперед и получила всеобщее одобрение. По мнению автора нового благотворительного попечительства, беднейшим должны оказывать помощь более богатые, эту идею В.И. Герье высказал на общем собрании руководимого им комитета¹⁷¹. Подводя итоги деятельности московских городских попечительств в течение первых лет работы, В.И. Герье так характеризовал свое детище: «Местное попечительство есть современная, можно сказать усовершенствованная форма благотворения. Оно сменило собою до известной степени первобытные формы — милостыни и богадельни, но сменяя их как высшая форма, оно их не упразднило, а подчинило себе, в себя претворило. На самом деле местное попечительство есть *организация, систематическая* (курсив В.И. Герье. — С.Л.) милостыня и представляет собою как бы *подвижную* богадельню. Собирая милостыни своих членов, попечительство *подает* их тому, кому нужно и *когда* нужно; с другой стороны, оно не принуждено, как богадельня или приют, ограничивать свою помощь определенным числом или разрядом людей, не ждет, чтобы к нему приходили за этою помощью, а разносит свои пособия по домам и трущобам, оказывая, насколько ему позволяют средства, свою помощь и в виде постоянного попечения, и в виде временного пособия, и деньгами, и квартирой, и хлебом, и работой, советом и указанием, и, где возможно, нравственным влиянием»¹⁷².

Историография и литература

Городской голова Московской думы князь В.М. Голицын, поздравляя В.И. Герье с 40-летним юбилеем его научной и общественной деятельности, так характеризовал его: «В своей деятельности на благо города вы являете собою пример того, как каждому городскому обывателю надлежало бы относиться к задачам городского самоуправления. Вы видите в установленных законом органах его такое учреждение, которое призвано служить обывателю его пользе, удовлетворению самых насущных его потребностей, улучшению и совершенствованию условий его жизни и которое в силу этого требует участия обывателя, посильного его содействия, а не такое, которое предназначено только стеснять его, налагать на него тяготы и обязательства и к которому поэтому он может относиться либо равнодушно, либо недоверчиво или даже враждебно»¹⁷³.

В ответном слове В.И. Герье отметил: «Служение родному городу посредством участия в деятельности местной думы есть дело у нас сравнительно новое и потому еще недостаточно понятное. Большинство занято своими личными будничными делами, не замечает его; иные, которых пугает слово самоуправление, даже относятся к нему с недоверием. Но по своему личному опыту, — отмечал далее историк, — дума есть для гласных высшая школа, в которую может поступить взрослый человек — школа для развития личности, житейского опыта и гражданского долга. Городская дума есть высшая школа не для отдельных лиц, а также и для городского общества. Чем напряженнее и успешнее деятельность думы, тем более выясняются общественные потребности, тем более созревает самосознание общества, т.е. понимание им целей и значений общественного союза»¹⁷⁴.

Все события всемирной истории рассматривались В.И. Герье в сфере идей и политики. Ссылаясь на опыт историографической практики и гносеологические особенности социального познания, он доказывал неразрывную связь исторической науки с современными политическими потребностями. Одновременно он подчеркивал, что указанная связь может осуществляться в двух формах. В одном случае — историк выступает пропагандистом уже сложившихся политических концепций, слугой идеологии, корни которой для него скрыты. Во втором — он, не принимая на веру предлагаемые различными партиями политические программы, подвергает их критическому анализу с точки зрения их исторической обоснованности. Вторая форма связи истории с политикой представлялась В.И. Герье наиболее плодотворной, поскольку здесь историческая наука становится активным началом по отношению к политике, внушает политическим деятелям и обществу в целом способ действия, который базируется на научном осмыслении истории. По мнению В.И. Герье, духу исторической науки более всего соответствует консервативный либерализм — идеология, сочетающая признаки социального прогресса с убеждением в незыблемости главных общественных институтов, доставшихся современности от прошлой истории.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Поэтому он не мог оставаться вне политической деятельности. В 70-е гг. он отмежевался от «левых» либералов и резко критиковал их аграрную реформу, одновременно поддерживал их призыв к правительству не сворачивать с пути реформ¹⁷⁵. В 80—90-е гг. историк ставит на первый план борьбу с ложными идеалами прогресса — социализмом и политическим радикализмом¹⁷⁶. Конец XIX в. был отмечен началом активного участия В.И. Герье в политической жизни России.

На его политические взгляды оказали сильное влияние С.М. Соловьев и Б.Н. Чичерин. Концепция С.М. Соловьева о приоритете государственной власти получила полное одобрение В.И. Герье. «Государство везде имеет великое значение в народной жизни, но нигде оно не играло такой преобладающей роли, как в жизни русского народа, — писал историк. — Через государство русский народ достиг самобытности; государство было для него залогом все дальнейшего исторического развития; оно заставило преодолеть суровую природу, оно победило азиатских кочевников и сделалось притягательной силой, превратившей татарских князей в покорных слуг русской власти; через государство, наконец, русский народ сделался европейским»¹⁷⁷. Касаясь вопросов русской истории, В.И. Герье считал, что «религиозное одушевление было самым нравственным началом в древней России»¹⁷⁸. Высоко оценивая самодержавие в России, исконность княжеской власти, преданность русского народа царю, В.И. Герье писал о «трех великих институтах русского народа», «без которых этот народ не имел бы истории, выразившихся в его преданности государству, в его привязанности к церкви и в его потребности просвещения»¹⁷⁹. Идеи державности, величия России четко проявились в курсе истории Востока, который с 1872 г. в течение 30 лет историк читал в Лазаревском институте в Москве¹⁸⁰. В.И. Герье проводил мысль о просветительской миссии России на Востоке. «Оригинальность, может быть, — писал его ученик В. Гордлевский, — заключается в том, что западник применил здесь славянофильскую формулу к истории Востока»¹⁸¹. В.И. Герье считал, что Россия является наследницей Турции на Востоке, именно ей суждено занять Переднюю Азию и насадить там европейскую цивилизацию. Россия у историка олицетворяла единую общечеловеческую культуру¹⁸².

Во многом общественно-политическое мировоззрение В.И. Герье переплетается с концепцией Б.Н. Чичерина. Вместе с тем анализ работ историка показывает, что в его социально-политических взглядах имеется и ряд особенностей. Так, в отличие от Б.Н. Чичерина, историк не считал социальный вопрос саморазрешимым в условиях капитализма. Он подчеркивал опасность для буржуазной цивилизации растущей пропасти между нищетой и богатством и предлагал проект гармонизации отношений. Главную роль в этих проектах историк отводил призывам к высшим классам проявить сочувствие к более слабому и угнетенному, активно заниматься филантропией

Историография и литература

и благотворительностью и тем самым доказать нравственное право на социальные привилегии.

Политическим условием нравственной консолидации общества, по мнению В.И. Герье, может являться только сильная власть, способная встать над классами и проводить общий интерес. Атрибуты такой власти историк находил в русском самодержавии. Поэтому он решительно выступал против идеи трансформации самодержавия в парламентскую монархию. Последняя ассоциировалась в его глазах с подчинением государства эгоистическим классовым интересам одной из партий. В противовес парламентаризму В.И. Герье выдвигал идеал конституционной монархии, в которой монарх должен сохранить за собой полноту верховной и исполнительной власти, допустив к участию в законодательной деятельности представительный орган, избираемый обществом. Функционирование этого органа, по замыслу В.И. Герье, должно было устранить «законодательную инертность» русского государственного механизма и ускорить эволюцию России по капиталистическому пути.

Политическим идеалом историка было установление мирным, реформационным путем конституционного строя, обеспечивающего свободы. Н.И. Кареев характеризовал учителя по общественно-политическим взглядам как «западника, умеренного либерала, друга свободного просвещения, но настроенного весьма консервативно»¹⁸³. Либерализм историка был умеренным. М.М. Ковалевский писал: «К Герье вполне применимо известное выражение Лебрена: “Liberal — c'est le diminutif de Libre” (либерал — это уменьшительное от свободный)»¹⁸⁴. Нам представляется, что о В.И. Герье можно сказать словами С.М. Соловьева, который писал о себе: «Я из либерала, нисколько не меняясь, стал консерватором»¹⁸⁵.

События 1905 г. изменили во многом политическую позицию В.И. Герье, он полностью отходит от критики самодержавия. Его работы этого периода приветствовали деятельность царского правительства, давшего стране конституционный порядок, одновременно он выступал против всех оппозиционных сил, не пожелавших довольствоваться достигнутыми результатами¹⁸⁶. Эта позиция дала повод многим коллегам воспринимать его как воплощение консерватизма и архаичности. Наиболее остро это сказалось на взаимоотношениях с учениками. По своим политическим взглядам молодые люди были значительно радикальнее профессора. Студенты составили обращение к В.И. Герье, в котором выражали пожелание не видеть его более в стенах Московского университета¹⁸⁷.

Вскоре профессор уехал за границу и по возвращении почти не бывал в университете. В.А. Маклаков отмечал: «После 1905 г. Герье приобрел в нашем обществе репутацию реакционера... Он был человеком прежней формации, студенты считали его отсталым педантом, застрявшим на старых позициях»¹⁸⁸. Многие ученики историка перестали обращаться к нему по вопросам

Фигуры истории, или «общие места» историографии

исторической науки и даже лично старались не встречаться. В свою очередь, ученики В.И. Герье нравились все меньше, он не скрывал всей неудовлетворенности и неприязни к ним. В письме к Н.И. Карееву от 13 октября 1913 г., тепло вспоминая М.С. Корелина, он делает такое добавление: «Увы, вместо него в Московском университете трио весьма разнородное, но на него непохожее»¹⁸⁹. Имеются в виду Р.Ю. Виппер, Д.М. Петрушевский и А.Н. Савин. Здесь акцент надо поставить, очевидно, не на слове «непохожее», а на междоуметии «увы».

Манифест 17 октября 1905 г. полностью удовлетворил конституционные устремления В.И. Герье. В центре внимания историка становится вопрос об истоках конституции и парламентаризма в России. По его мнению, их следует искать в Западной Европе, откуда происходили политические идеалы. Это направление имело подражательный характер, его представители часто не давали себе отчета о том, насколько их идеалы пригодны для России, насколько западноевропейские учреждения применимы к ней. Образец такого правления — английский парламентаризм. В.И. Герье так комментировал это направление: «...странно, конечно, и объяснимо только психологически, что в государстве самодержавном, в котором еще не было даже зачатков самоуправления и существовало крепостное право, политические мечтатели увлекались идеей упразднения монархической власти там, где все ею держалось»¹⁹⁰. Одновременно критикуя это направление, автор отмечал, что оно распространяло в обществе стремление к политическому прогрессу и исходило от определенных политических учреждений.

Одновременно с этим существовало другое направление, построенное на национальной почве и отвергавшее все иностранное. Сторонники его идеализировали царскую власть и народ. «От этого направления веяло стариной и застоєм; его демократический идеал был неуловим и фантастичен; но оно инстинктивно понимало, что политический прогресс должен иметь в России национальный характер, и что русский народ должен осуществлять свой исторический завет в союзе с царской властью, а не упразднением ее»¹⁹¹.

В.И. Герье считал, что «конституция единственное средство объединить дуализм, естественный дуализм между правительством и обществом, приспособить правительственную деятельность к культурным потребностям нашего времени и современного человека»¹⁹². Преимущество конституции, по мнению историка, — это возможность брать своих советников не только из высших рядов бюрократии и придворной сферы, но из людей облеченных доверием общества. И это станет благом не только для государства, но и будет способствовать участию людей в законодательной власти. Рассматривая принятую в 1906 г. конституцию в России, В.И. Герье считал, что монархическая власть отказалась от монополии законодательной власти, а Государственной думе было предоставлено право законодательного начала и право вето. Осо-

Историография и литература

бое значение, по его мнению, имело право законодательного начала. Совершившийся гласно законодательный почин Государственной думы способен был внести жизнь в законодательную деятельность и установить равновесие между потребностями страны и правительственным механизмом. Однако не следует думать, что Государственная дума сможет или должна взять в свои руки всю законодательную власть. В конституционных монархиях правительство сохраняет за собой также право законодательного почина и их законы лучше иногда подготовлены, чем думские. Большое значение имеет и участие Государственной думы в обсуждении и утверждении доходов и расходов. Это дает возможность влиять на все направления государственной внутренней и внешней политики государства. Важным правом, полученным Государственной думой, по мнению В.И. Герье, является право обращения к министрам с запросами по поводу незаконных действий. «Право запроса может постепенно обратиться в постоянный и бдительный контроль над всей администрацией»¹⁹³. «Всякий человек должен быть ответственен за свои слова и действия, тем более лица, занимающие высокие и ответственные посты; поэтому всегда можно рассчитывать на популярность требования ответственности министров перед народными представителями»¹⁹⁴. В.И. Герье был яростным противником бюрократизма: «Большой недостаток бюрократического правления заключается именно в слабости его законодательной инициативы. Одержимый рутиной и слишком занятый борьбой за самосохранение, бюрократизм был равнодушен к улучшениям и враждебен всякой инициативе»¹⁹⁵.

Интересно мнение В.И. Герье о роли Государственного совета: «Народовластие или опирающееся на этот принцип народное представительство нуждается в таком же ограничении, как и всякое иное самовластие. Потому что везде, как в конституционных монархиях, так и в республиках, законодательная власть разделена между двумя палатами, везде палата представителей имеет над собой Верховную палату или Сенат»¹⁹⁶. В этом положении историк ссылается на Монтескье, считавшего, что наличие двух палат есть залог гарантии против деспотизма большинства избирателей.

В парламентаризме В.И. Герье видел один из путей передачи государственной власти партиям. В основе образования партий лежит большей частью материальный интерес, часто какая-нибудь теория или доктрина. Это, по мнению историка, ведет к разногласиям между партиями, как следствие — ненависть друг к другу. При таких условиях политическая деятельность партий, считал В.И. Герье, становится неблагоприятной для общества. В парламенте члены партии из граждан превращаются в рабов партийной дисциплины. Идет обострение в парламенте, что может привести к абсурду. Для ликвидации такой ситуации партии идут на сделки и компромиссы, что приводит парламентаризм к ярмарке. «Другой недостаток партийной политики — это отсутствие чувства ответственности — отвечает не лицо, а партия»¹⁹⁷. Вредное влияние

Фигуры истории, или «общие места» историографии

партии не ограничивается стенами парламента, а простирается посредством партийной печати на общество. Кто принадлежит к партии, читает обыкновенно лишь партийную газету и становится неспособным понимать точку зрения других партий. В.И. Герье употреблял даже термин — «партийный терроризм»¹⁹⁸. Такое отношение к партиям, по нашему мнению, сложилось у историка после детального изучения истории Франции конца XVIII в. и деятельности партий в Конвенте.

Создание Государственной думы — первого парламентского органа в России — вызвало у В.И. Герье одобрение и восторг: «Привлечение народных представителей к законодательной деятельности правительства и к контролю над администрацией является переломом в истории России — переломом не менее знаменательным, чем тот, с которого два века назад началась новая история России: тогда Петр Великий перенес на русское государство формы европейского просветительного абсолютизма, теперь Россия заняла свое место среди конституционных монархий Европы»¹⁹⁹. Успех деятельности Думы зависит, по мнению историка, не только от ее членов, но и от тех, кто ее выбирал. В этом вопросе проявляется политическая зрелость людей, степень культурности самого общества, облекшего их своим доверием.

Государственная дума является отражением и показателем политических вожелений русского народа. Она выражает собою современное общественное настроение в его крайних направлениях, «поэтому и в России первая Дума стала ареной революционных партий»²⁰⁰. Самой многочисленной была партия конституционно-демократическая (кадетская), называвшая себя также партией народной свободы. Эта партия хотела видеть в социал-демократических группах не противников, а союзников. Уже одно это делало ее революционной. Давая оценку кадетской партии, В.И. Герье обрушивался на ее членов за то, что они в своих программных документах не сказали ни слова благодарности монарху, осуществившему давнишние желания русского либерализма. «Это значило, что Государю отводилось почетное положение мраморной статуи в завешенном храме, от имени которой жрецы произрекали бы народу свою волю»²⁰¹. Положение, которое было отведено русской конституцией Государственной думе, мало удовлетворял громадное большинство ее членов. Кадетская партия желала не конституционной, а парламентской монархии, т.е. полного подчинения монарха и правительства большинству народного представительства — на английский образец. В.И. Герье так откомментировал попытку переноса английских форм правления на Россию: «...но ведь подражательность ведет всегда только к заимствованию форм без внимания к условиям, придающим этим формам смысл»²⁰².

Первая русская Дума не исполнила своего назначения, не водворила в России политической свободы, не разрешила конституционного вопроса, а лишь запутала его. Почему это произошло? Потому, писал В.И. Герье, «что люди,

Историография и литература

которые были призваны к этому высокому делу, шли в Таврический дворец не для насаждения свободы, а — за почтенными исключениями — ворвались туда, как завоеватели — подобно галлам на римском форуме, хватавшим за бороду сенаторов и гремевшим мечами с криком “Горе побежденным!”»²⁰³.

Такое положение в парламенте России сложилось, по мнению историка, из-за условий того времени и обстоятельств выборов — тяжелое настроение и недовольство народа, которое было вызвано войной и поражением в ней, растерянность властей, экономический кризис, политика революционных агитаторов, стремившихся вбить клин в русское государство. Однако это было не главным, главным же стала «растерянность русского общества от долгой приниженности, порождавшей равнодушную покорность, а с другой стороны, необузданное своеволие при первой возможности. Все, кто мог, прибегали к насилиям и протягивали руку к власти, не уважая ни закона, ни чужих прав; служащие земству и городскому самоуправлению захотели сами распоряжаться этими учреждениями, учащиеся — учащимися, а союзы всевозможных союзов — распоряжаться государством. При таких условиях речь шла в России не о свободе, а о самовластии и о безвластии»²⁰⁴. Но если первая русская Дума не водворила в России свободы, то она указала путь, на котором эта цель недостижима. Ни диктатура пролетариата, ни якобинство кадетов не могут ее породить, а чудовищный союз между этими партиями может породить только «политическое чудовище».

В.И. Герье отрицательно относился к кадетам, так как видел в них якобинцев. «Политическая свобода нуждается в местной свободе, в либеральном самоуправлении. Но еще не было у русского самоуправления более злого врага, как кадетская аграрная политика»²⁰⁵, — считал историк. Кадеты выступали против земского самоуправления, что, по мнению В.И. Герье, подорвало бы навсегда самоуправление. «Нет, свобода может водвориться лишь путем *самоограничения* (курсив В.И. Герье. — *С.Л.*). Такое самоограничение и совершило, к великой своей славе, русское самодержавие. Оно отказалось от двух важнейших своих prerogativ: от неограниченного права законодательства и от автономного распоряжения государственным бюджетом»²⁰⁶. Теперь настала очередь самоограничения за русским народным представительством. По мнению профессора, такое ограничение и даст «честь утверждения в России политической свободы, и тогда только Россия избавится от дикого террора снизу и репрессалий сверху»²⁰⁷. И эту задачу должна выполнить русская II Дума.

Давая характеристику работы II Думы, В.И. Герье обвинил оппозиционные партии и, в частности, партию народной свободы (кадетов), в их стремлении к разрушению политического мира в России. «Чем на самом деле была вторая Дума? Чем она занималась, как не революционной агитацией? Какие законы она дала стране? В области законодательства она только отменила все, что думское правительство сочло нужным: усилить власть, обеспечить

Фигуры истории, или «общие места» историографии

порядок и оградить армию от вторжения революционных элементов. Целью заявленных Думою запросов было поносить правительство и волновать страну. И единственный законопроект, который исходил от Думы, имел целью социальную революцию»²⁰⁸. Анализируя состав членов II Государственной думы, В.И. Герье приходит к выводу «о ее раздробленности и полной неспособности играть ту парламентскую роль, которую ей навязывали кадеты, желавшие превратить Государственную Думу из законодательного органа в *правительствующее* (курсив В.И. Герье. — С.П.) учреждение»²⁰⁹. Во II Думе партии совершенно затмевали и уничтожали общие народные интересы, и одновременно эти партии парализовали саму Думу и обрекли ее на бесплодную, агитационную деятельность. Общий вывод историка о парламенте: «Вторая Государственная Дума была без центра, и, как всякое тело, имеющее свой центр тяжести вне себя, была крайне неустойчива и, можно сказать, с первых заседаний клонилась сама к падению»²¹⁰. Такая ситуация в Думе сложилась благодаря деятельности партий кадетов и трудовиков, которые «не спешили, не торопились и *похоронили* (курсив В.И. Герье. — С.П.) вторую Думу»²¹¹. Кадеты погубили II Думу, как ранее они погубили первую. Первую — потому что в своем самообольщении вздумали произвести политический переворот и захватить правительственную власть. Вторую — потому что шли рука об руку с революционерами в самой Думе и потакали их деятельности. Главная вина кадетов, по мнению В.И. Герье, в том, что они нанесли ущерб самому принципу народного представительства. Требуя созыва Учредительного собрания, они вообще поставили страну «между диктатурой пролетариата и разбоя и направленной против них военной диктатурой»²¹². Кадеты, по мнению историка, приучили общество к мысли, что задача народных представителей в том, чтобы выступать врагами правительства и собирать около себя все враждебные ему в стране силы, чтобы воспитать народ в революционном настроении.

Давая во многом отрицательную оценку деятельности II Думы, В.И. Герье, в то же время отмечал: «Вторая Дума дала стране два памятных урока. Она доказала стране, что парламентская деятельность и революционная агитация исключают друг друга; что успех политической свободы и конституционной жизни обратно пропорционален успеху революционных фракций и партий народной “свободы”, играющей с революцией»²¹³.

В.И. Герье не обошел вниманием и работу III Государственной думы. Сравнивая ее деятельность с деятельностью предыдущих, он отмечал: «Первая Дума поражает количеством малообразованных членов»²¹⁴. Во II Думу пошли по примеру I Думы, но с меньшей самонадеянностью, вместо штурма правительства стояла задача его осады. Кадеты стремились превратить Думу во всенародный митинг. Однако заслуга III Думы в том, что она прервала нелепую забастовку вновь введенного верховного законодательного учреждения и в течение пяти лет принимала самое деятельное и успешное участие в разра-

Историография и литература

ботке целого ряда важнейших законов. Но главное значение III Думы состоит в ее общем влиянии на переживаемый Россией исторический момент. «Третья Дума подорвала укоренившийся в значительной части русской интеллигенции предрассудок, что основа государственного строения должна вытекать из “учредительной власти” народного представительства, а не из почина самостоятельной государственной власти»²¹⁵.

В.И. Герье подверг подробному анализу законодательную деятельность III Думы — выход из общины, землеустройство, переселение, местный суд, самоуправление, рабочее законодательство, начальное образование, высшее женское образование. Рассматривая все эти реформы, историк считал, что они имели прямую связь с реформами Александра III и являлись их продолжением и завершением, приостановленным в 70-е гг. борьбой правительства с подпольной революцией. Такой успех работы III Думы во многом был связан с деятельностью партии октябристов, «и именно в двух отношениях — в индивидуальном и в коллективном. В индивидуальном, потому что председателями и докладчиками комиссий, которыми разрабатывались и проводились упомянутые выше законопроекты, были отдельные октябристы — в коллективном же отношении, потому что октябристы были в третьей Думе руководящей партией и наложили на нее свою печать»²¹⁶.

В 1902 г. В.И. Герье был избран членом-корреспондентом Академии наук. В честь пятидесятилетия научной и педагогической деятельности историк получил высочайший рескрипт, подписанный собственноручно Николаем II, и был награжден также орденом Святой Анны первой степени²¹⁷.

В 1907 г. В.И. Герье был назначен членом Государственного совета. В этот период он активно занимался политической деятельностью. Он выступал в печати с политическими брошюрами и памфлетами, в которых неоднократно повторял тезис о том, что русский народ должен осуществлять свой исторический завет в союзе с царской властью, а не упразднить ее. Будущее России историк видел в конституционной монархии, считая ее идеальной формой правления.

В 1908—1916 гг. В.И. Герье написал серию монографий, объединенных общим названием «Зодчие и подвижники божьего царства». Историк сосредоточил внимание на периоде наиболее широкого распространения религиозного мировоззрения и глубокого влияния церкви на все области жизни средневекового общества. Стремление к религиозному осмыслению исторического процесса, к возвеличиванию роли церкви было характерно и в ранних работах ученого. Обращение к этой тематике в начале XX в. связано, по нашему мнению, с обращением историка к неохристианскому течению. Неохристианское течение в русской историографии в момент своего возникновения было связано с позитивизмом и гегелевской философией и включало в себя отдельные относительно прогрессивные в научном отношении положения, однако в последствии оно наполнилось религиозно-мистическим содержанием²¹⁸.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Творец идеи «божьего царства» — Блаженный Августин — представлял собой чрезвычайно глубокую, многостороннюю и разностороннюю личность по внутреннему индивидуальному содержанию, непосредственному практическому значению и дальнейшему влиянию на историю. В.И. Герье так характеризовал его: «Августин... с его гениальной личностью, моральной высотой, с его руководящею ролью в современном ему обществе и с его влиянием на длительный ряд последующих поколений»²¹⁹. Историк дает образ Августина в перспективе дальнейшего исторического развития, для которого этот церковный учитель был не только «на водоразделе двух великих эпох в культурной жизни человечества — античного, языческого и средневекового, христианского»²²⁰, но являлся «одним из главных строителей средневекового мировоззрения, около тысячелетия слагавшегося и господствовавшего над культурной частью человечества»²²¹. Это — «великий вожь средневекового общества»²²², и его программа воздействия церкви на судопроизводство «представляет собою замечательный памятник в истории средневекового мировоззрения и культуры человечества»²²³. Таким образом, оценка Августа В.И. Герье была сделана на основе дальнейшего исторического процесса. В итоге Августин оценивался преувеличенно, затемнялся и ускользал в своих конкретных очертаниях, раскрывался перед читателем лишь в том виде, в каком создала его историческая судьба. Автор погрешил в данном случае против своего бесспорного тезиса, что «идеи Августина следует истолковывать не с точки зрения их понимания позднейшими веками. Но оценивать в связи с современной ему “эпохой”»²²⁴.

Работа В.И. Герье была выдвинута на соискание премии имени М.Н. Ахматова. Рецензент Н.Н. Глубоковский считал, что В.И. Герье не рассмотрел самых коренных понятий Августина, не дал полного, точного и правильного их истолкования, а потому личность героя и его историческая судьба так же были описаны не адекватно²²⁵. Рецензент нашел в работе очень много погрешностей и неточностей, в итоге В.И. Герье премии не получил.

Еще в 1892 г. В.И. Герье опубликовал несколько небольших заметок о Франциске, а в 1908 г. издал монографию «Франциск, апостол нищеты и любви». Сравнивая эту работу с диссертацией С.А. Котляревского «Францисканский орден и римская курия» (М., 1901), следует отметить, что В.И. Герье дал более полную характеристику ассизскому бедняку. Его книга во многом отличалась и от сокращенного перевода на русский язык работы П. Сабатье «Жизнь Франциска Ассизского» (М., 1895), в которой было много субъективизма и модернизма автора. Вопрос о исследовании францисканского движения был тесно связан с проблемой источников. Заслуга В.И. Герье заключалась в том, что он не ограничился только работами немецких авторов, вводящих в научный оборот новые источники²²⁶.

Первые три главы В.И. Герье посвятил жизни, личности, идеалам Франциска, две главы посвящены ордену францисканцев и борьбе за идеи этого

Историография и литература

ордена. В шестой главе «Франциск в представлении современников и потомства», автор дал краткий обзор главных источников по исследованию как биографии и трудов Франциска, так и самого францисканского движения. Однако, увлекшись своим героем, В.И. Герье слишком умалил значение собственных произведений святого для его биографии, личности и взглядов. Четвертая глава стала прекрасным введением в знакомство с источниками о францисканстве, позволившим детально разобраться в довольно значительной и противоречивой литературе.

Заслуга В.И. Герье заключалась в том, что он дал привлекательный образ самого Франциска — апостола нищеты, но при этом не дал возможности читателю войти в религиозную жизнь Средних веков и понять на ее фоне идеалы Франциска. Характеризуя духовный облик и идеалы апостола, автор правильно отошел от биографического метода изложения. В работе биографии Франциска отведено второстепенное место. По мнению В.И. Герье, сочинения Франциска совершенно недостаточны, а житие и другие источники негодны для характеристики личности и идеалов его героя. Поэтому он прибегает к методу, по которому историку может быть предоставлена большая свобода в изложении и его можно освободить от требований строгой документации. Историку, если он хочет полнее изобразить лицо, недостаточно освещенное историей, приходится пользоваться также легендой. «Легенда завершила его (Франциска) личность, легенда создала из него типичное, историческое лицо. Легенда в его лице становится историей»²²⁷. Такой подход в истории очень опасен, поскольку он ведет к удалению от истинного материала и создает легенду, далекую от истины, что, в свою очередь, приводит к забыванию истины и широкой волной приливает в легенду рассказы и литературные домыслы.

От блаженного Августина В.И. Герье перешел к святому Бернарду, служившему при папе Иннокентии III. Книга была посвящена интереснейшей эпохе, в которую проявились противоречия Римской церкви. С одной стороны, аскетизм, отказ от мирских благ, с другой — светская власть. Вывод, к которому пришел В.И. Герье, — чем больше Римской церкви удавалось становиться Божьим царством на земле, тем более она сама преобразовывалась в земное царство и удалялась от своего духовного призвания и от служения идеальному Божьему царству. Главную роль в аскетическом поведении играл папа Иннокентий III, именно он стал главной фигурой в работе историка, а также и эпоха начала XIII в. В.И. Герье симпатизировал папе, и поэтому становится понятна его позиция оправдания Иннокентия III и всех его деяний. В этой ситуации историк предстает не как ученый, а как елейный католический панегирик. Под влиянием полемики с протестантами историк апологетически изображает прошлое, что было первейшим требованием, предъявлявшимся к католическим историкам папства. Эта работа стала примером восторга и увлечения биографа, способного подорвать доверие читателя.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Иннокентий III представлен В.И. Герье едва ли не воплощением всех добродетелей. Автор стремился обелить и оправдать папу во всех его неслыханных злодеяниях, учиненных по прямой его инициативе над беззащитными протестантами южной Франции: «Но Иннокентий иначе понимал это слово Христа, чем его усердные исполнители. Нужно отдать ему справедливость. Он пользовался всяким случаем, чтобы вступить за невинных, и постоянно внушал легатам, чтобы они не обижали католиков»²²⁸. Автор склонен винить во всех злодеяниях Иннокентия III «маленьких людей», исполнителей, ложных доносчиков и т.д. Папа на своем веку не только инициировал убийства и грабежи неповинных людей, но ему приходилось также немало и по разному поводу лгать и хитрить. Этот факт признавали многие историки, но этого не признавал В.И. Герье. «Современный нам биограф Иннокентия III, — писал он, — видит во всем этом одну лишь казуистику. Но мы предпочитаем подчеркнуть в данном случае твердость в проведении планов, умение найти в затруднительных обстоятельствах и уступить в несущественном, жертвуя личным самолюбием»²²⁹.

В своей работе В.И. Герье затронул одну очень важную проблему, не только в историческом, но в современном для него времени. Вопрос отчуждения Восточной империи от Западной, православия от католичества. В начале XX в. эта проблема приобрела новое звучание — поиск путей для соединения или даже примирения православия и католицизма, поскольку в самом христианстве заложен принцип единства. Позиция В.И. Герье в этом вопросе сводилась к следующему: оба исторических процесса, как восточноевропейский, так и западноевропейский, существенно важны для интересов общечеловеческого развития, и необходимо позаботиться о том, чтобы Восток братски послужил Западу, а Запад — Востоку. Не случайно эта позиция автора вызвала положительную реакцию В.В. Розанова, который на страницах «Нового времени» отметил: «...спасибо нашему старому Герье за эту книгу»²³⁰.

В.И. Герье был не только историком-практиком, он много занимался вопросами методологии истории. Выдвинутая им концепция исторического познания содержала развернутое философско-теоретическое обоснование методологических принципов консервативного направления. Эти вопросы он детально разрабатывал в начале своего творческого пути. К ним он вернулся в конце своей научной деятельности, опубликовав работу «Философия истории от Августина до Гегеля» (М., 1915). Может ли изучающий историю обойтись без философии истории? Такой вопрос поставил автор в своей книге. Не факты подчиняются идеям, историки, распоряжающиеся фактами, проникались идеями, т.е. сами были философски образованы. Философия истории нужна не только для того, чтобы внести в разработку и понимание истории широкое образование. «История представляет собою наиболее воспитательную из наук, т.е. наиболее способную содействовать воспитанию человека и общества»²³¹.

Историография и литература

Этой работой автор показал, что одними только голыми фактами, не связанными с философскими взглядами, нельзя интерпретировать историю. Основной вывод, к которому призывал ученый, — будьте философски образованными и помните: без идеализма нет исторической науки. В.И. Герье считал, что историю совершенно необоснованно считают общедоступнейшей из наук, это заблуждение распространено широко и пустило в обществе глубокие корни. «Ни об одном предмете не высказывается так много незрелых суждений, нигде нет так много непризнанных деятелей. Ни в одной науке учащиеся не смотрят так легко на свою задачу, и нигде они не подвержены такой опасности считать себя после непродолжительного труда за авторитет и за специалистов. Знакомство с ходом развития исторической науки может лучше всего предохранить от этих ошибок»²³².

Рассматривая вопрос о возникновении истории философии, В.И. Герье раскрыл этапы ее развития. Как искусство и наука, так и философия истории сложилась под сильным влиянием религиозных верований. «Философия истории возникла из желания указать в истории Промысел Божий, направляющий человечество к определенной цели»²³³. Но очень скоро новую науку захватили в свои руки политики, желавшие найти в прошлом надежный компас для повседневной работы. Их исторические настроения выразили Макиавелли, Бодэн и Бэкон. Дальнейшее развитие шло по пути немецкой классической философии, ярким сторонником которой был сам автор.

Эту одну из последних работ В.И. Герье можно рассматривать как своеобразное подведение его научных итогов. Последние годы жизни историка были связаны с тяжелыми душевными переживаниями. Первая мировая война, начавшаяся волнения в России лишь еще больше укрепили в нем консерватизм.

В.И. Герье скончался 4 августа 1919 г. в Москве, на его похороны, несмотря на тяжелое время, со всех концов страны собрались ученики, выпускники Высших женских курсов, почитатели исследовательского таланта историка.

Примечания

¹ Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. Л., 1919. Ч. 1. С. 152; Бутенко В.А. Наука новой истории в России // *Анналы*. 1922. № 2.

² Кареев Н.И. Памяти двух историков // *Анналы*. 1922. № 1. С. 160.

³ Бузескул В.П. Указ. соч. С. 153.

⁴ Могильницкий Б.Г. Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX в. — начала 1900-х годов. Томск, 1969. С. 8.

⁵ Вебер Б.Г. *Историографические проблемы*. М., 1974. С. 256.

⁶ Вебер Б.Г. Образование русской либеральной традиции в историографии Великой французской революции (Герье В.И.) // *Французский ежегодник*. М., 1961. 1960. С. 489—526.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

⁷ Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1960. Т. 2. С. 311–313, 415–419, 415–419; Т. 3. М., 1963. С. 437–440; Гутнова Е.В. Историография истории средних веков (середина XIX в. – 1917 г.). М., 1974. С. 262–264; Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера и его время. М., 1976. С. 76–97; Хмылев Л.Н. Проблемы методологии истории в русской буржуазной историографии конца XIX – начала XX вв. Томск, 1978. С. 146–150; Далин В.М. Историки Франции XIX–XX веков. М., 1981.

⁸ Кирсанова Е.С. Историко-теоретические взгляды В.И. Герье: Дис. ... канд. ист. наук. Томск, 1982; Иванова Т.Н. В.И. Герье и начало изучения Великой французской революции в России: Дис. ... канд. ист. наук. Л., 1984.

⁹ Герцен А.И. Собрание сочинений. М., 1975. Т. 8. С. 250.

¹⁰ Там же. С. 71.

¹¹ Там же. С. 250.

¹² Там же. С. 210.

¹³ Петров Ф.А. Либеральные профессора Московского университета в годы второго демократического подъема // Вестн. МГУ. Сер. 9. История. 1975. № 1. С. 70.

¹⁴ Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // Вестн. Европы. 1887. № 9. С. 147; № 10. С. 597.

¹⁵ Вестн. Европы. 1869. № 5.

¹⁶ Герье В.И. Тимофей Николаевич Грановский. В память 100-летнего юбилея его рождения. М., 1914.

¹⁷ Герье В.И. Т.Н. Грановский в биографическом очерке А.В. Станкевича // Вестн. Европы. 1869. № 5. С. 430.

¹⁸ Кареев Н.И. Памяти двух историков // Анналы. 1922. № 1. С. 157.

¹⁹ Герье В.И. Борьба за польский престол в 1733 году. М., 1865. С. III.

²⁰ Там же. С. IV.

²¹ Там же. С. 470.

²² Там же. С. 351.

²³ Московский университет 1755–1930 гг. Париж, 1930. С. 281.

²⁴ Герье В.И. Философия истории. М., 1915. С. 1.

²⁵ Герье В.И. Очерк развития исторической науки. М., 1865. С. 85–86.

²⁶ Герье В.И. Задачи исторического общества. Издания исторического общества при Императорском Московском университете: Рефераты, чит. в 1895 г. М., 1896. С. 12.

²⁷ Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 106.

²⁸ Там же. С. 107.

²⁹ Герье В.И. Философия истории. С. 1.

³⁰ Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 7.

³¹ Там же. С. 113.

³² Там же. С. 106.

³³ Исключение составила его первая лекция «Очерки развития исторической науки».

³⁴ Кареев Н.И. Памяти двух историков // Анналы. 1922. № 1. С. 163.

³⁵ Гершензон М.О. Письма к брату. М.; Л., 1927. С. 13.

Историография и литература

- ³⁶ Там же. С. 10.
- ³⁷ Кареев Н.И. Памяти двух историков // *Анналы*. 1922. № 1. С. 158.
- ³⁸ Соболевский А.И. В.И. Герье. Некролог // *Известия Рос. АН*. 1919. № 12–15. С. 570.
- ³⁹ Кирсанова Е.С. Проблема генезиса западноевропейского феодализма в лекционном курсе В.И. Герье (1870/71 гг.) // *Средние века*. М., 1982. Вып. 45. С. 210.
- ⁴⁰ Косминский Е. Столетие преподавания истории средних веков в Московском университете // *Историк-марксист*. 1940. Кн. 7 (83). С. 102.
- ⁴¹ Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Прага, 1929. С. 64.
- ⁴² Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. (ОР РГБ) Ф. 70. Оп. 32. Ед. хр. 1.
- ⁴³ Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний // *Московский университет, 1755–1930*. Париж, 1930. С. 291.
- ⁴⁴ Рус. ведомости. 1898. № 269.
- ⁴⁵ История Московского университета. М., 1955. Т. 1. С. 264.
- ⁴⁶ Гершензон М.О. Указ. соч. С. 48.
- ⁴⁷ ОР РГБ. Ф. 119. Оп. 44. Д. 2. Л. 35.
- ⁴⁸ Соболевский А.И. Указ. соч. С. 570.
- ⁴⁹ Гершензон М.О. Указ. соч. С. 36.
- ⁵⁰ Кареев Н.И. Указ. соч. С. 160.
- ⁵¹ Цит. по: Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера. М., 1976. С. 89.
- ⁵² Герье В.И. О. Конт и значение его в исторической науке // *Вопр. философии и психологии*. 1898. № 45. С. 849.
- ⁵³ Герье В.И. Новая история: (Лекции 1876/77 уч. г.). Литографическое издание. М., 1877. С. 1.
- ⁵⁴ Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России. Л., 1929. Ч. 1. С. 140.
- ⁵⁵ Герье В.И. Лейбниц и его век. СПб., 1868. С. 1.
- ⁵⁶ Там же. С. IV.
- ⁵⁷ Герье В.И. Лейбниц и его век // *Моск. унив. известия*. 1868. № 3. С. 266.
- ⁵⁸ Герье В.И. Лейбниц и его век. СПб., 1868. С. 36.
- ⁵⁹ Leibnitz in seinen Beziehungen zu Russland und Peter dem Grossen. Eine geschichtliche Darstellung dieses Verhältnisses nebst den darauf bezüglichen Briefen und Denkschriften. St.-Petersb. und Leipz., 1873.
- ⁶⁰ Шахматов Б.М. Ткачев: Этюды к творч. процессу. М., 1977. С. 100.
- ⁶¹ Кон И.С. Позитивизм в социологии: *Историогр. очерк*. Л., 1964. С. 9.
- ⁶² Кареев Н.И. Указ. соч. С. 164.
- ⁶³ Сафронов Б.Г. Указ. соч. С. 86, 89.
- ⁶⁴ Рус. вестн. 1865. № 10–11, в том же году статья вышла отдельным изданием.
- ⁶⁵ *Вопр. философии и психологии*. 1898. № 42–45.
- ⁶⁶ Герье В.И. Огюст Конт и его значение в исторической науке // *Вопр. философии и психологии*. 1898. № 42–45.
- ⁶⁷ Герье В.И. Философия истории Гегеля // *Вопр. философии и психологии*. 1910. № 104. С. 472.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

- ⁶⁸ Герье В.И. П.Н.Кудрявцев в его историко-литературных трудах // Вестн. Европы. 1887. № 9. С. 169.
- ⁶⁹ Герье В.И. Очерки развития исторической науки. М., 1865. С. 108.
- ⁷⁰ Там же. С. 103.
- ⁷¹ Там же. С. 92.
- ⁷² Там же. С. 114.
- ⁷³ Там же. С. 112.
- ⁷⁴ Ист. вестн. 1910. № 9. С. 1123.
- ⁷⁵ Герье В.И. Очерки развития исторической науки. С. 113–114.
- ⁷⁶ Там же. С. 113.
- ⁷⁷ Герье В.И. Задачи исторического общества. «Издания исторического общества при Императорском Московском университете: Реф., чит. в 1895 г.» М., 1896. С. 14.
- ⁷⁸ Герье В.И. Очерки развития исторической науки. С. 113.
- ⁷⁹ Там же. С. 113.
- ⁸⁰ Там же. С. 112–113.
- ⁸¹ Там же. С. 107.
- ⁸² Там же. С. 107–108.
- ⁸³ ОР РГБ. Ф. 70. Оп. 27. № 2.
- ⁸⁴ Моск. ведомости. 1862. № 127.
- ⁸⁵ Герье В.И. Задачи исторического общества. «Издания исторического общества при Императорском Московском университете. Рефераты читанные в 1895 г.» С. 9.
- ⁸⁶ Там же. С. 10.
- ⁸⁷ Герье В.И. Очерки развития исторической науки. С. 113.
- ⁸⁸ Там же. С. 7.
- ⁸⁹ Герье В.И. Политические теории XVIII в. Литогр. изд. М., 1890. С. 141.
- ⁹⁰ Герье В.И. Новая история: Лекции 1876/77 уч.г. М., 1877. С. 169.
- ⁹¹ Герье В.И. Август и установление Римской империи // Вестн. Европы. 1877. № 7. С. 8.
- ⁹² Там же. № 8. С. 554, 558.
- ⁹³ Там же. № 7. С. 8.
- ⁹⁴ Герье В.И. Научное движение в области древнейшей Римской истории: Изд. Ист. о-ва при Имп. Моск. ун-те. М., 1898. С. 360.
- ⁹⁵ Там же. С. 331.
- ⁹⁶ Герье В.И. Консерватизм у римлян // Вестн. Европы. 1875. № 9. С. 267–268.
- ⁹⁷ Герье В.И. Основы римской империи. М., 1908. С. 16.
- ⁹⁸ Там же. С. 25.
- ⁹⁹ Кирсанова Е.С. Проблема генезиса западноевропейского феодализма в лекционном курсе В.И.Герье (1870/71). С. 196–211.
- ¹⁰⁰ Герье В.И. Виллингиз, архиепископ Майнцский. 975–1011 гг. М., 1869. С. 2–3.
- ¹⁰¹ Герье В.И. Новая история. Литогр. М., 1886. С. 7.
- ¹⁰² Герье В.И. Средневековое мировоззрение. Его возникновение и идеал // Вестн. Европы. 1891. № 1–4; Его же. Торжество теократического начала на Западе //

Историография и литература

Вестн. Европы. 1892. № 1–2; Его же. Франциск Ассизский, апостол нищеты // Вестн. Европы. 1892. № 3.

¹⁰³ Герье В.И. С.М. Соловьев. СПб., 1880. С. 40.

¹⁰⁴ Герье В.И. Новое общество истории при Московском университете // Вестн. Европы. 1895. № 4. С. 444–445.

¹⁰⁵ Герье В.И. Новая история. Литография. М., 1886. С. 4–7, 25.

¹⁰⁶ Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 70. Оп. 15. Ед. хр. 3. Л. 2.

¹⁰⁷ О В.И. Герье как историке французской революции см. подробнее: Кареев Н.И. Историке французской революции. Л., 1924. Т. III.; Его же. Работы русских ученых по истории французской революции // Известия Санкт-Петербургского политехнического института. СПб., 1904; Его же. Эпоха французской революции в трудах русских ученых // Ист. обозрение. СПб., 1912. Т. XVIII.

¹⁰⁸ Петров М.Н. Новейшая национальная историография в Германии, Англии и Франции. Харьков. 1861.

¹⁰⁹ Петров М.Н. Указ. соч. С. 191.

¹¹⁰ Там же. С. 262.

¹¹¹ Вестн. Европы. 1866. № 2. С. 111.

¹¹² Петров М.Н. Лекции по всемирной истории. СПб., 1905. Т. III, IV. История новых веков, в обработке проф. В.П. Бузескула. С. III.

¹¹³ Бауэр В.В. Лекции по новой истории. 1888. Т. II. С. 3.

¹¹⁴ Там же. С. 410.

¹¹⁵ Там же. С. 437.

¹¹⁶ Там же. С. 385.

¹¹⁷ Герье В.И. Лекции новой истории. 1868–69 г. М., 1870; Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 70. П. 14. Ед. хр. 1; Кареев Н.И. Работы русских ученых по истории французской революции. 1904. Т. I. С. 45.

¹¹⁸ Герье В.И. Лекции новой истории. 1868–69 г. Ч. I. С. 4.

¹¹⁹ Там же. Ч. II. С. 30.

¹²⁰ Там же. Ч. I. С. 52.

¹²¹ Герье В.И. История Франции XVIII века. Последнее десятилетие. М., 1888. С. 27.

¹²² Герье В.И. Народник в французской историографии. Жизнь и сочинения Мишле // Вестн. Европы. 1896. № 3. С. 135.

¹²³ Герье В.И. История Франции XVIII века. Последнее десятилетие. С. 81, 93.

¹²⁴ Герье В.И. Лекции новой истории. Ч. II. С. 50.

¹²⁵ Там же. Ч. I. С. 12.

¹²⁶ Там же. С. 51.

¹²⁷ См.: Сборник государственных знаний. М., 1873, перепечатана: Герье В.И. Идея народовластия и французская революция 1789 г. М., 1904, с измененным заглавием «Историческая роль монархии во Франции».

¹²⁸ Герье В.И. Республика или монархия установится во Франции? // Сборник государственных знаний. 1877. Т. III. С. 145, 162.

¹²⁹ Герье В.И. Французская революция 1789–1795 гг. в освещении И. Тэна. СПб., 1911. С. VI.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

- ¹³⁰ Герье В.И. Письмо в редакцию // *Вопр. философии и психологии*. 1907. Март—апр. С. 208.
- ¹³¹ Герье В.И. Ипполит Тэн в истории якобинцев // *Вестн Европы*. 1894. № 10. С. 527.
- ¹³² Герье В.И. Ипполит Тэн в истории якобинцев // *Вестн. Европы*. 1894. № 5. С. 190.
- ¹³³ Герье В.И. Французская революция 1789—1795 гг. в освещении И. Тэна. С. 434.
- ¹³⁴ Герье В.И. Ипполит Тэн как историк французской революции // *Вестн. Европы*. 1878. № 9. С. 245.
- ¹³⁵ Герье В.И. Ипполит Тэн как историк Франции // *Вестн. Европы*. 1878. № 4. С. 534.
- ¹³⁶ Там же. С. 538—539.
- ¹³⁷ Герье В.И. Ипполит Тэн как историк французской революции // *Вестн. Европы*. 1878. № 9. С. 245.
- ¹³⁸ Там же.
- ¹³⁹ Герье В.И. Ипполит Тэн как историк Франции // *Вестн. Европы*. 1878. № 10. С. 533.
- ¹⁴⁰ Герье В.И. Ипполит Тэн как историк французской революции. С. 239.
- ¹⁴¹ Там же. С. 241.
- ¹⁴² Герье В.И. Учение о нравственности и социальные утопии Мабли // *Рус. мысль*. 1883. № 4; Он же. Французский этик и социалист XVIII века // *Рус. мысль*. 1883. № 11; Он же. Политическая теория аббата Мабли // *Вестн. Европы*. 1887. № 1, а также статья в словаре Брокгауза—Ефрона.
- ¹⁴³ Герье В.И. Французский этик и социалист XVIII века. С. 196.
- ¹⁴⁴ Герье В.И. Политическая теория аббата Мабли. С. 125.
- ¹⁴⁵ Герье В.И. Понятие о народе у Руссо // *Рус. мысль*. 1888. № 5. С. 104—105.
- ¹⁴⁶ Там же. С. 84.
- ¹⁴⁷ Там же. С. 212.
- ¹⁴⁸ *Вестн. Европы*. 1898. № 12. С. 859.
- ¹⁴⁹ Там же. 1897. № 4. С. 697.
- ¹⁵⁰ Юбилей профессора В.И. Герье // *Рус. мысль*. 1898. № 12. С. 316.
- ¹⁵¹ Герье В.И. Теория и практика женского образования // *Вестн. Европы*. 1877. № 4. С. 697—698.
- ¹⁵² Там же. С. 692.
- ¹⁵³ Там же. С. 693.
- ¹⁵⁴ См.: Издания Исторического общества при Императорском Московском университете. М., 1897—1898. Т. 1—2.
- ¹⁵⁵ См.: *Вестн. Европы*. 1873. № 4; 1876. № 2, 10, 11.
- ¹⁵⁶ *Вестн. Европы*. 1873. № 4. С. 823.
- ¹⁵⁷ Соболевский А.И. В.И. Герье. Некролог // *Известия Рос. акад. наук*. 1919. № 12—15. С. 570.
- ¹⁵⁸ Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 158.
- ¹⁵⁹ См.: Нечкина М.В. В.О.Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974. С. 353—354.

Историография и литература

- ¹⁶⁰ Герье В.И. Понятие о власти и о народе в наказах 1789 г. М., 1884. С. 25.
- ¹⁶¹ Герье В.И. Идея народовластия и французская революция 1789. М., 1904. С. 496.
- ¹⁶² Герье В.И. Понятие о власти и о народе в наказах 1789 г. С. 116.
- ¹⁶³ Герье В.И. Идея народовластия и французская революция 1789. С. 416.
- ¹⁶⁴ Там же. С. 483.
- ¹⁶⁵ Там же. С. 496.
- ¹⁶⁶ Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 70. П. 33. Ед. хр. 73.
- ¹⁶⁷ Вестн. Европы. 1894. № 4. С. 906.
- ¹⁶⁸ Там же. С. 907.
- ¹⁶⁹ Там же. С. 907.
- ¹⁷⁰ Там же. 1895. № 1. С. 441.
- ¹⁷¹ Рус. ведомости. 1895. № 57.
- ¹⁷² Герье В.И. Опыт попечения о бедных // Вестн. Европы. 1896. № 10. С. 566–567.
- ¹⁷³ Рус. школа. 1898. № 12. С. 314–315.
- ¹⁷⁴ Там же. С. 315.
- ¹⁷⁵ Герье В.И. Наука и государство (по поводу статьи в «Русском вестнике» — «К университетскому вопросу») // Вестн. Европы. 1876. № 10–11.
- ¹⁷⁶ Герье В.И. Народность и прогресс // Рус. мысль. 1882. № 4; Он же. Университеты и народ в Англии // Вестн. Европы. 1896. № 2.
- ¹⁷⁷ Герье В.И. С.М. Соловьев. СПб., 1880. С. 9.
- ¹⁷⁸ Там же. С. 11.
- ¹⁷⁹ Там же. С. 9.
- ¹⁸⁰ Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 70. П. 1. Ед. хр. 1–3.
- ¹⁸¹ Гордлевский В. В.И. Герье как историк Востока // Новый Восток. М., 1922. Кн. 1. С. 447.
- ¹⁸² Герье В.И. Призвание России на Востоке // Братская помощь пострадавшим в Турции. М., 1898. С. 246.
- ¹⁸³ Кареев Н.И. Памяти двух историков // Анналы. 1922. № 1. С. 162.
- ¹⁸⁴ Ковалевский М.М. Московский университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века // Вестн. Европы. 1910. № 5. С. 189.
- ¹⁸⁵ Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно и для других. Пг., 1915. С. 152.
- ¹⁸⁶ Герье В.И. По поводу государственных выборов (письмо в редакцию) // Вестник Европы. 1905. № 10; Он же. Первая русская дума: политические воззрения и тактика ее членов. М., 1906; Он же. Правда о кадетях второй думы // Голос Москвы. 1907. № 209, 212, 215; Он же. Второе раскрепощение. М., 1911.
- ¹⁸⁷ Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 70. П. 46. Ед.хр. 4.
- ¹⁸⁸ Маклаков В.О. Отрывки из воспоминаний // Московский университет, 1755–1930. Париж, 1930. С. 296, 299.
- ¹⁸⁹ Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 70. П. 4. Ед.хр. 21.
- ¹⁹⁰ Герье В.И. О конституции и парламентаризме в России. М., 1906. С. 4.
- ¹⁹¹ Там же. С. 5–6.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

- ¹⁹² Там же. С. 6.
¹⁹³ Там же. С. 22.
¹⁹⁴ Там же. С. 23.
¹⁹⁵ Там же. С. 14.
¹⁹⁶ Там же. С. 16.
¹⁹⁷ Там же. С. 29.
¹⁹⁸ Там же. С. 30.
¹⁹⁹ Герье В.И. Первая русская государственная дума. М., 1906. С. 6.
²⁰⁰ Там же. С. 10.
²⁰¹ Там же. С. 14.
²⁰² Там же. С. 63.
²⁰³ Там же. С. 115–116.
²⁰⁴ Там же. С. 116.
²⁰⁵ Там же. С. 118.
²⁰⁶ Там же. С. 118–119.
²⁰⁷ Там же. С. 119.
²⁰⁸ Герье В.И. Вторая Государственная дума. М., 1907. С. 378.
²⁰⁹ Там же. С. 8.
²¹⁰ Там же. С. 9.
²¹¹ Там же. С. 375.
²¹² Герье В.И. О конституции и парламентаризме в России. М., 1906. С. 17.
²¹³ Герье В.И. Вторая Государственная дума. М., 1907. С. 379.
²¹⁴ Герье В.И. Значение третьей Думы в истории России. СПб., 1912. С. 7
²¹⁵ Там же. С. 19.
²¹⁶ Там же. С. 97.
²¹⁷ Исторический вестник. 1910. № 9. С. 1123–1124.
²¹⁸ См.: Хмылев Л.Н. Проблемы методологии истории в русской буржуазной историографии конца XIX – начала XX в. Томск. 1978. С. 146–147.
²¹⁹ Герье В.И. Блаженный Августин. М., 1910. С. V.
²²⁰ Там же. С. V.
²²¹ Там же. С. XI.
²²² Там же. С. 177.
²²³ Там же. С. 251.
²²⁴ Там же. С. 678.
²²⁵ Сборник отчетов о премиях и наградах за 1910 г. СПб., 1912. С. 48.
²²⁶ См.: Fischer H. Der heilige Franziscus von Assisi wahrend der Jahre 1219–21. Freiburg, 1907, Jorgense. Der heilige Franz von Assisi. Munchen, 1908.
²²⁷ Герье В.И. Франциск, апостол нищеты и любви. М., 1908. С.Ш.
²²⁸ Герье В.И. Расцвет западной теократии. М., 1916. С. 29.
²²⁹ Там же. С. 38.
²³⁰ Цит. по: Русские записки. 1916. № 2. С. 332.
²³¹ Герье В.И. Философия истории от Августина до Гегеля. М., 1915. С.П.
²³² Там же. С. 3.
²³³ Там же. С. 24.

Е.А. Ростовцев (Санкт-Петербург)

ДИСКУРС «ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ» В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

I

В XX веке, в условиях постепенного отказа от кумулятивистского понимания истории науки (согласно которому фундаментальные основоположения научного знания имеют абсолютный и вечный характер) основной задачей науковедения стал поиск новых инструментов для объяснения процесса эволюции науки¹. Закономерно в этой связи, что проблема «научной школы» — одна из центральных для истории любой отрасли знания. Не является исключением и историческая наука. Не случайно, что уже со второй половины XIX в. с началом становления собственно научной историографии возникает интерес понятию «научной школы». Так или иначе схолярная проблематика затрагивалась в трудах В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова, А.С. Лаппо-Данилевского, Д.И. Багалея и других крупнейших дореволюционных историков².

В это время возникают такие важные понятия схолярной историографии, как «государственная школа», «юридическая школа», «скептическая школа», «московская школа». Не случайно, что именно в это время впервые появляется и понятие «петербургская историческая школа», мы не ставим здесь задачи анализа «петербургской школы» как явления (историографического факта) и реконструкции ее истории, а постараемся рассмотреть процесс формирования дискурса «петербургской школы» в историографии.

Прежде всего, несколько слов о понятии «научная школа», о котором в течение многих лет идут непрекращающиеся споры. Важно подчеркнуть, что споры эти шли еще задолго до того, как постмодернизм приобрел значимое влияние в интеллектуальной среде, и касались не столько легитимности самого этого понятия, сколько выяснения его логических оснований. Сборник «Школы в науке» (1977)³ который являлся на тот момент своеобразным итогом дискуссии в отечественном науковедении, показал множественность подходов к определению «научной школы». Обоснованным выглядит мнение одного из участников сборника отметившего, что можно сформулировать понятие о научной школе как эмпирическом обобщении, но единые теоретические критерии в определении этого понятия найти сложно⁴. Один из авторов сборника В.Б. Гасилов приводит порядка 30 определений понятия «школа», существующих в науковедении⁵.

Как известно, на разработку проблемы научной школы значительное влияние оказали общие модели развития научного знания К. Поппера, И. Лака-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

тоса, Т. Куна и выдвинутые ими концепции «научно-исследовательских программ», «парадигм» «матрицы»⁶, ориентированные на негуманитарные науки. Этим во многом можно объяснить и то обстоятельство, что западное науковедение, социология и философия науки, разрабатывающие проблему «научных школ» основное внимание уделяло изучению этого понятия на материале истории естественных и точных областей знания. Среди гуманитарных дисциплин в большей степени разрабатывалось понятие «школы» в лингвистике, психологии, социологии и литературоведении, т.е. в тех областях знания, где определенные «школы» (научно-исследовательские программы) сыграли решающую, институционализирующую роль в оформлении соответствующих научных дисциплин⁷. История как наука, которая на протяжении уже двух столетий обладает прочным академическим статусом, в меньшей степени нуждалась в разработке этого понятия, тем более, что исторические школы, начиная с Л. Ранке и, заканчивая «школой Анналов», скорее, означали начало нового этапа развития предшествующей традиции. В России долгое время ситуация осложнялась тем, что марксистская философия науки и науковедение предельно жестко увязывали развитие научно-исследовательских программ в гуманитарных науках с процессом социально-экономической эволюции общества⁸. В этих условиях детальная теоретическая разработка понятия «научной школы» в исторической науке была невозможна.

Неудивительно, что длительное существование понятия «научной школы» в исторической науке отнюдь не способствовало установлению какой-либо конвенции среди историков относительно существования этого термина. Так, в работе 1978 г. И.Л. Беленький справедливо подчеркнул, что основания наименований исторических школ в отечественной историографии различны, указав, что в их основе лежат «разнородные политическая, социальная общемировоззренческая платформы, объединяющие группы историков; философские и историософские взгляды; метод исследований; суть концепции; предметная область исследований; профессионализм; связь с университетами и другими формальными коллективами; персонологичность (в имени школы закрепляется имя ее основателя); объективированное (уже в виде историографического исследования) понимание исторической роли того или иного сообщества историков». И.Л. Беленький также констатировал, что «сложившаяся к настоящему времени в исторической науке мозаика имен, денотаты которой часто перекрещиваются, налагаются друг на друга, отражает, фиксирует различные по времени и по природе имена...»⁹. Дискуссии более позднего вряд ли изменили положение вещей. Их обзоры приводятся в работах Г.П. Мягкова¹⁰, В.П. Корзун¹¹, С.И. Михальченко¹², С.Н. Погодина¹³ и других авторов. На сегодняшний день мы вынуждены констатировать крайнюю расплывчатость категории исторической школы вообще, петербургской, в частности. Например, С.И. Михальченко путь из тумана расплывчатых определений видит в

Историография и литература

выработке «иерархии критериев» в изучении феномена школы. Эта иерархия, по мнению С.И. Михальченко, может быть следующей: 1) «педагогическое общение как следствие отношений основателя школы и его учеников»; 2) «методы и принципы обработки источников»; 3) «методологическая (теоретическая, философская) общность»; 4) «близость в конкретно-исторических построениях и тематике исследований»¹⁴. В целом путь, предложенный С.И. Михальченко, кажется перспективным при изучении «образовательных» школ. Однако очень часто научная школа понимается не в образовательном смысле, а как направление в науке, и здесь иерархия критериев может быть иной. Неслучайно, что целый ряд авторов, анализирующих базовые вопросы развития отечественной исторической науки конца XIX — начала XX вв., до сих пор, по существу, предпочитают избегать обсуждения самой проблематики «научной школы»¹⁵. По-видимому, отмеченные методологические трудности обусловлены как множественностью подходов к определению «научной школы» в науковедении, так и недостаточной легитимностью истории как научной дисциплины.

В условиях отсутствия общепризнанных критериев оценки «школы» в исторической науке особое значение для понимания феномена «петербургской школы» приобретают те объяснения и определения ее характера, которые присутствуют в современной историографии. Именно поэтому нельзя уклониться от попытки ответить на вопрос, что думают историки о «петербургской исторической школе» и почему они так думают? Иными словами, попробуем разобраться, как формировался дискурс «петербургской школы», что, конечно, можно сделать лишь постоянно имея в виду и дискурс противостоящей ей «московской школы». Подчеркнем, что термин «дискурс», выработанный в рамках постмодернистской традиции, в данной ситуации оправдан независимо от нашего отношения к этой традиции в целом.

Напомним, что к «петербургской школе» относят таких историков рубежа второй половины XIX — начала XX вв., как К.Н. Бестужева-Рюмин, В.Г. Васильевский, А.С. Лаппо-Данилевский, Е.Ф. Шмурло, Н.Д. Чечулин, В.Г. Дружинин, Н.П. Лихачев, С.М. Середонин, С.В. Рождественский, А.Е. Пресняков, М.Д. Приселков и др. К «московской школе» того же времени обычно относят С.М. Соловьева, В.О. Ключевского и его учеников, таких как П.Н. Миллюков, М.М. Богословский, А.А. Кизеветтер, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин и др.

II

С нашей точки зрения, *начальный этап* формирования дискурса «петербургской школы» приходится на 1890-е — 1940-е гг. Особое значение здесь имеют высказывания трех видных историков — П.Н. Миллюкова, А.Е. Преснякова и С.Н. Валка, на которые, как правило, обращали внимание в литературе. Однако в полной мере понять смысл и причины этих высказываний можно

Фигуры истории, или «общие места» историографии

только прояснив основные моменты того историографического и социального контекста, в котором они были сделаны.

Почти все исследователи, которые активно использовали дискурс «петербургской школы», среди историографических источников указывали на суждения П.Н. Милюкова. Отношение П.Н. Милюкова к методологии научной работы «петербургской школы» довольно ясно проявилось уже в начале 1890-х гг., когда он обвинил петербургских историков, сосредоточенных на «источниковедческих и историографических» темах, в односторонности, высказав мнение вполне в стиле школы В.О. Ключевского о том, что «критическая оценка источника (речь шла об исследовании петербургским историком С.М. Середониным сочинения Д. Флетчера “О государстве Русском” — *Е.Р.*)... должна не предварять реальное изучение, а быть выводом из него или, по крайней мере, идти с ним об руку».¹⁶ Посчитав, что «среди самих последователей школы уже заметно сознание односторонности изображенного направления и делаются попытки вернуться к реальному изучению», неудачу сочинения С.М. Середонина Милюков связал с тем, «что старая закваска школы не совсем выдохлась и продолжает оказывать вредное влияние на исследователей, это особенно ярко видно на примере разбираемого исследования»¹⁷. Вот как отреагировала на такую постановку вопроса о «школах» Н.Н. Платонова (жена историка С.Ф. Платонова, запись 28 февраля 1892 г.): «В этой (февраль 1892 г. — *Е.Р.*)... книжке Русск[ой] Мысли помещена очень странная рецензия Милюкова на книгу Середонина, которая (книга) якобы доказывает, что петерб.[ургская] школа (историческая) раскаялась в своих прежних заблуждениях и решила обратиться на путь истинный. Васильевский и С.Ф. [Платонов] недовольны этой рецензией»¹⁸.

Необходимо отметить, что П.Н. Милюков ставит вопрос о различии в подходах к историческому знанию Петербурга и Москвы в 1892 г., в очень напряженный момент своей научной карьеры, связанный с защитой его магистерской диссертации (которую он безуспешно пытался выдать за докторскую) его претензиями на получение кафедры В.О. Ключевского в Московском университете¹⁹. В этой ситуации П.Н. Милюкову важно было позиционировать себя как достойного последователя направления С.М. Соловьева — В.О. Ключевского и лидера «московской школы». В известной статье «Источники русской истории и историография» (1899) П.Н. Милюков вновь упрекал петербургских историков, последователей К.Н. Бестужева-Рюмина, в том, что в их работах «ученое творчество отступает ... на задний план перед осторожным эклектизмом: критика источников получает перевес над пользованием ими»²⁰.

Надо сказать, что при всей определенной обусловленности высказываний П.Н. Милюкова они, по-видимому, реально отражали ощущения «разности» школ историков двух столиц. Действительно, московские и петербургские историки, несомненно, не только чувствовали свою корпоративность, но и

Историография и литература

противопоставляли методологию научной работы друг друга²¹. Особенно ярко это проявилось в сдержанных откликах, сделанных лидерами двух основных течений петербургской исторической науки — университетского (С.Ф. Платонов) и академического (А.С. Лаппо-Данилевский) — на смерть лидера «московской школы» В.О. Ключевского в 1911 г. Так, С.Ф. Платонов в некрологе, посвященном московскому ученому, подчеркнул, что значение В.О. Ключевского совсем не в «совершенстве его схемы», а в «таланте исследователя», «красоте его художественного творчества»²². В статье, посвященной памяти В.О. Ключевского, А.С. Лаппо-Данилевский, анализируя систему взглядов В.О. Ключевского, указал, «социологичность» его точки зрения на историю, зависимость его схемы от взглядов С.М. Соловьева. Примечательно, что А.С. Лаппо-Данилевский явно критически относился как раз к тому, чем, по его словам, В.О. Ключевский «пополнил схему, принятую Соловьевым», а именно положением о доминирующей роли социальных и экономических факторов в истории²³.

Можно сказать, что хотя понятие «петербургской школы», будучи в негативном смысле сформулированным таким видным представителем «московской исторической школы», каким являлся П.Н. Милуков, не нашло распространения в дореволюционной литературе, хотя определенные методологические (а не только корпоративные) основания у него все-таки были. На них, уже с «петербургской стороны», в 1918 г. указал один из крупнейших ученых Петроградского университета — А.Е. Пресняков, который являлся учеником С.Ф. Платонова и в определенном смысле — А.С. Лаппо-Данилевского.

С первых шагов на профессиональном поприще для А.Е. Преснякова было характерно глубоко критическое отношение к современному ему состоянию науки, в частности, по отношению к так называемой «юридической школе». В своем дневнике (июль 1890 г.) он дает ей такую характеристику: «Юридическая школа русской историографии — одно из течений западничества и источник ее философский... Изучение [этой школой русской истории], очевидно исходило постоянно из предвзятой мысли. И это почти сознательно: в истории непременно искали “начало”»²⁴.

А.Е. Пресняков вводит термин «Петроградская историческая школа» в определенном историографическом контексте, связанном с анализом научной литературы по истории России XIII—XV вв. В речи перед защитой диссертации А.Е. Пресняков развивает свои историографические наблюдения, помещенные в начале представляемой работы. Эти наблюдения, содержащиеся в предисловии и введении (Историографические заметки) приводят автора к выводу о научной уязвимости традиции историко-юридической школы С.М. Соловьева — В.О. Ключевского. А.Е. Пресняков пришел к выводу, что подбор фактов и интерпретация источников в трудах представителей этой школы вторичны и подчинены теории, социологической схеме. Напротив, А.Е. Пресняков пред-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

принял попытку восстановить, по его словам, «права источника и факта». Однако, если в тексте монографии (диссертации) А.Е. Пресняков ограничивается противопоставлением методологии своих научных штудий предшествующей традиции, то в речи перед защитой А.Е. Пресняков объясняет это противопоставление своей принадлежностью к «Петроградской исторической школе»: «...пришел я к попытке пересмотра некоторых основных вопросов русской истории в духе воспитавшей меня исторической школы». А.Е. Пресняков отмечает, что ее характерной чертой был «научный реализм, сказывающийся, прежде всего, в конкретном, непосредственном отношении к источнику и факту вне зависимости от историографической традиции». А.Е. Пресняков предлагает схему исторического процесса, альтернативную схемам «московской исторической школы». «Это тоже схема, — пишет А.Е. Пресняков о своей концепции, — но в ней вижу законное преобладание роли материала...»²⁵. В своих рассуждениях А.Е. Пресняков отождествляет «петербургскую историческую школу» со школой С.Ф. Платонова.

Примечательно, что реакция на пассаж А.Е. Преснякова у оппонентов диссертанта (С.Ф. Платонова и С.В. Рождественского) была различной. Если, по словам С.Ф. Платонова, исследование А.Е. Преснякова совершило «эмансипацию от “схем” более полувека господствующих в нашей историографии»²⁶, то С.В.Рождественский (тогдашний заведующий кафедры русской истории, ученик С.Ф. Платонова) предпочел не ссориться с московскими и коллегами и не согласился с диссертантом, оспорив утверждение А.Е. Преснякова о том, что история северо-восточной Руси была подчинена в исследованиях его предшественников некой схеме²⁷, ведь, как подчеркивал оппонент, «читатель (диссертации А.Е. Преснякова — *Е.Р.*) не выносит впечатления, что история северо-восточной Руси стала “жертвой” схемы, которая уже около полувека залегает как магистраль всего развития русской исторической науки. Из тех же замечаний автора не видно, каким бы иным, более нормальным, по его мнению, путем могла пойти наука... В каком беспомощном положении оставалась бы наука без тех схем и теоретических подходов, в котором автор одно-сторонне усматривает источник рокового заблуждения»²⁸.

Необходимо отметить, что А.Е. Пресняков обращается к понятию «петербургской школы» так же в очень сложной для себя ситуации. 1918 г. — время мучительного выбора для многих историков круга С.А.Е. Преснякова — согласиться ли на сотрудничество с новой властью? Интересно, что в этот периоду многих петербуржцев отношения с большевистским режимом складываются лучше чем у москвичей. Резко отрицательно относясь к новой власти, С.Ф. Платонов и его ученики, равно как и ученики его учеников (прежде всего, ученики А.Е. Преснякова), тем не менее, начинают сотрудничать с ней. С.Ф. Платонов возглавляет Петроградское отделение Главархива, а А.Е. Пресняков становится его заместителем. Примечательно, что в это вре-

Историография и литература

мя политизированное поведение москвичей, оппозиционному режиму, критически воспринимается кругом С.Ф. Платонова. На «развал организации и работы в Москве» сетует и А.Е. Пресняков, который летом и осенью 1918 г. пытается выступать посредником между председателем Главархива (Центроархива) Д.Б. Рязановым и москвичами (М.К. Любавским, А.И. Яковлевым, М.М. Богословским, С.А. Белокуровым и др.)²⁹. Показательна в этом смысле запись в уже упомянутом дневнике Н.Н. Платоновой 14/27 декабря 1918 г.: «Москвичи, по-видимому, не сумели поставить себя по отношению к Рязанову не умели давать ему отпор, когда нужно, вследствие этого он там держится падишахом, дает волю своей нервности, непрерывно “разносит” кого-нибудь — в результате все запуганы и ненавидят его всеми фибрами своего существа; конечно, это совершенно понятно; грустно только, что они как будто больше заняты своей ненавистью, чем своим непосредственным делом и этим подают м.б. Ряз[ано]ву лишний раз повод для доносов. Николаеву (начальник Архива Министерства народного просвещения — *Е.Р.*) показалось, что москвичам не понравилась позиция Преснякова по отношению к Р[язано]ву: и в прошлое пребывание Пр[есняко]ва в Москве там нашли, что он слишком сблизился с больш[евика]ми, а этот раз это мнение, по-видимому, только окрепло, т[ак] к[ак] Пр[есняко]в находится в добрых отношениях с Р[язановым]»³⁰. Несомненно, А.Е. Пресняков об этом отношении москвичей знал, и в этой ситуации искал опоры в корпорации «петербургских историков». При этом не следует забывать, что в 1918 г. вопрос о победителе в гражданской войне еще оставался открытым, и А.Е. Преснякову важно было подчеркнуть свой внепартийный профессионализм и принадлежность в этом смысле к школе С.Ф. Платонова, которого трудно было упрекнуть в левых взглядах.

Свои рассуждения о «петербургской школе» А.Е. Пресняков повторяет и в своей книге о А.С. Лаппо-Данилевском, изданной в 1922 г. Однако в последнем сочинении историографические позиции А.Е. Преснякова претерпевают некоторые изменения. Он решительно отделяет историко-юридическую школу, к которой относит А.С. Лаппо-Данилевского, от московской. Позиции А.С. Лаппо-Данилевского А.Е. Пресняков противопоставляет установкам как московской, так и «петербургской исторической школы»³¹. Вряд ли А.Е. Пресняков кардинально поменял свои взгляды, скорее, изменилась историографическая ситуация. А.Е. Пресняков, все теснее сотрудничающий с школой М.Н. Покровского, тем не менее, пытался не порывать связей со старой исторической наукой. В этой ситуации он, с одной стороны, подчеркивает отстраненность покойного А.С. Лаппо-Данилевского от «петербургской школы» во главе с лидером С.Ф. Платоновым (бывшего на протяжении многих лет постоянным оппонентом А.С. Лаппо-Данилевского), с другой стороны, — указывает на различие «московской школы» и историко-юридической школы, что как бы несколько смягчает критику в отношении

Фигуры истории, или «общие места» историографии

схем «московской школы», имея в виду под ней уже школу В.О. Ключевского (а не С.М. Соловьева).

Те же мотивы звучат и в статье А.Е. Преснякова о В.О. Ключевском (1922 г.). С точки зрения А.Е. Преснякова, «соловьевскую схему» В.О. Ключевский принял из прагматических и педагогических соображений³². С точки зрения петербургского историка, большое значение и для самого В.О. Ключевского, и для науки имеет не его «схема», а его специально-исторические работы. А.Е. Пресняков замечает, что В.О. Ключевский сам вел борьбу с «веригами схематизации» С.М. Соловьева и что «сильный протест» против нее «сказывается в самой утрировке Соловьевских формул»³³ — в результате в трудах В.О. Ключевского была «исчерпана Соловьевская традиция, а тем самым освобождена русская историческая мысль для более свободной и широкой работы вне связанности ее преданием, которое стало шаблоном»³⁴. Интересно, что, рецензируя в 1923 г. «Вестник социалистической академии»³⁵, А.Е. Пресняков особо подчеркивал близость своей характеристики творчества В.О. Ключевского к оценке, данной последнему М.Н. Покровским, который «отрицал какую-либо оригинальность за общей концепцией русской истории у В.О. Ключевского, который произвел лишь литературную переработку (и, добавлю, — замечает А.Е. Пресняков, — яркую конкретизацию в деталях) соловьевско-чичеринских схем»³⁶.

Однако вряд ли А.Е. Преснякову удалось решить задачу сохранить «отношения» и с М.Н. Покровским, и с «московской школой», и «школой С.Ф. Платонова». Скорее, наоборот, А.Е. Пресняков оказывается в определенной изоляции — в условиях напряженного научного противостояния того времени «усидеть на трех стульях» было невозможно. Дело в том, что 1920-е гг. под натиском новой идеологизированной науки и «школы Покровского» происходило стихийное объединение сил «старой школы» вокруг нескольких переживших революцию ученых старшего поколения (сохранивших ведущие позиции в системе Академии наук), наибольшее влияние из которых имел С.Ф. Платонов, включая учеников В.О. Ключевского, сторонников и учеников А.С. Лаппо-Данилевского. Впрочем, это положение лидера и предопределило драматический конец карьеры и жизни ученого, оказавшегося одной из центральных фигур в сфабрикованном ОГПУ «Академическом деле»³⁷. Интересно, что в 1923 г. почти одновременно с книгой А.Е. Преснякова о А.С. Лаппо-Данилевском, в статье ученика М.Н. Покровского, марксиста В.И. Невского, далекого от «отношений» внутри «старой школы», начинает формироваться и иная линия, рассматривающая творчество А.С. Лаппо-Данилевского как представителя «петербургской исторической школы»³⁸.

С конца 1920-х тема «петербургской школы» долгое время практически не поднимается в отечественной историографии. Этому не способствовали «Академическое дело» 1929—1931 гг. и сопровождавшие его погромные об-

Историография и литература

суждения, направленные против «старой школы», вне зависимости от направлений. Действительно, обсуждение проблемы «петербургской» и «московской» школ прекращается в период разгрома этих двух основных профессиональных корпораций историков дореволюционной России.

Характерно, что в учебнике по русской историографии (1941) Н.Л. Рубинштейн использует понятие «московская школа историков» (которая в его изложении с некоторыми оговорками отождествляется со школой В.О. Ключевского)³⁹, однако воздерживается от термина «петербургская школа», подчеркивая, что «историческая работа в Петербургском университете развивалась ... под воздействием различных скрещивающихся влияний»⁴⁰ в числе которых он выделяет влияние «официального направления» (К.Н. Бестужев-Рюмин), «буржуазного экономизма» (В.О. Ключевский), «источниковедческого направления» (В.Г. Васильевский, К.Н. Бестужев-Рюмин, А.А. Шахматов)⁴¹.

Аналогично складывается ситуация и в эмигрантской историографии. Г.П. Федотов в известной статье «Россия Ключевского» (1932)⁴² подчеркивает связь идей школы В.О. Ключевского с общей тенденцией русской общественной мысли политическим и радикальным выражением был марксизм. Как считает Г.П. Федотов, к школе В.О. Ключевского принадлежат «все московские и петербургские историки последних десятилетий». По словам Г.П. Федотова, «глава петербургской школы Платонов» лишь «усовершенствовал схему Ключевского, продвинулся дальше его — в том же направлении». В то же время автор статьи указывает на особое место А.С. Лаппо-Данилевского по отношению к школе В.О. Ключевского: «В стороне стоял Лаппо-Данилевский, человек огромной культуры, мыслящий в терминах философского идеализма, которого обесплодило собственное богатство». «Придавленный критицизмом, — пишет далее о А.С. Лаппо-Данилевском Г.П. Федотов, — он не мог отважиться на историческое построение в большом стиле и воспитал целую школу скорпуплезных дипломатистов и архивистов, русскую *École des Chartes*».⁴³ Характерно, что впоследствии схожие взгляды на фигуру В.О. Ключевского и его значение его школы выражал и другой русский историк-эмигрант Г.В. Вернадский, который хотя и использовал понятие «московской» и «петербургской» школы, но употреблял их в ограниченном «учительско-ученическом» смысле: школа В.О. Ключевского и школа С.Ф. Платонова⁴⁴.

Наибольшее влияние на последующую литературу оказали суждения П.Н. Милюкова относительно «петербургской исторической школы», высказанные в четвертой части его воспоминаний («От студента к учителю и к ученому») в главе «Петербург и заграница». Эти воспоминания писались во Франции в конце жизни в 1940-х. Поэтому неудивительно, что ряд деталей, в том числе и связанных с общением с петербургскими коллегами представлен подчас неточно, однако для нас важен тот общий образ петербургской исторической школы, который вынес П.Н. Милюков из общения с петербургскими ис-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ториками в 1890—1891. Активные сторонники представления о «петербургской школе» как «школе восстановления прав источника и факта» в качестве важнейшего источника наряду с автором приведенной фразы А.Е.Пресняковым цитируют именно воспоминания П.Н.Милюкова. Однако следует учитывать, что в «Воспоминаниях» он представляет образ исторической школы, которая: 1) основное внимание уделяла источникам; 2) остановилась на изучении древнейшего времени; 3) подверглась к 1890-м гг. сильному влиянию «московской исторической школы»; 4) продолжала эволюционировать в этом направлении, в чем особенно преуспели представители молодого поколения С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-Данилевский, А. Е. Пресняков, Н.П. Павлов-Сильванский. Из текста «Воспоминаний» следует, что П.Н. Милюков, по-видимому, имел в виду именно их, когда писал о «молодых сторонниках московского направления»⁴⁵. Таким образом, не отказываясь от своих высказываний, сделанных в 90-е гг. XIX в., П.Н. Милюков в чем-то следует Г.П. Федотову, подчеркивая всеобъемлющее влияние на историческую науку того «московского направления», к которому он принадлежал.

Можно констатировать, что к середине 1940-х гг. казалось, что тот позитивный дискурс «петербургской школы», который провозгласил А.Е. Пресняков в 1918 г., утратил силу в исторической литературе. Однако в 1948 г. появляется работа С.Н. Валка (ученика А.С. Лаппо-Данилевского) «Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет» (написана в 1945 г.)⁴⁶ которая не только возродила позитивный дискурс «петербургской школы», но и придала ему новое звучание. Основные наблюдения автора связаны с процессом становления «петербургской исторической школы», важным итогом которого стала деятельность А.Е. Преснякова, давшего ей историографическое определение. В целом, соглашаясь с А.Е. Пресняковым, С.Н. Валк усматривал в родоначальниках школы еще петербургских профессоров 1840—1850-х гг. М.С. Куторгу и М.М. Стасюлевича и отмечал, что «все предшествующее наше изложение, как кажется, должно послужить к некоторому расширению представлений об истоках и началах петербургской исторической школы “научного реализма”, в составе которой В.Г. Васильевский является представителем уже среднего поколения». Сам С.Н. Валк к следующему поколению автор относил как С.Ф. Платонова так и А.С. Лаппо-Данилевского⁴⁷. Явно полемизируя с А.Е. Пресняковым, С.Н. Валк выразил мнение, что А.С. Лаппо-Данилевский оказал влияние не только на своих учеников, но и на «сложение умонастроения основных петербургских исторических кадров»⁴⁸. В то же время С.Н. Валк вслед за А.Е. Пресняковым подчеркнул, что А.С. Лаппо-Данилевский «рано разошелся с остальными членами» Кружка русских историков и занял на Историко-филологическом факультете «особое положение»⁴⁹. К сожалению, эта статья — лишь иллюстрация завуалировано высказанной точки зрения о научном значении методологии «петербургской исторической шко-

Историография и литература

лы», общественно-политическая ситуация не давала ученому возможность открыто поставить проблему и провести ее научный анализ. Надо сказать, что стремление выделить петербургскую школу «научного реализма» из «буржуазной» и «идеалистической» исторической науки проявилось в высказываниях С.Н. Валка, сделанных еще в ходе дискуссии на объединенном заседании Института истории и Общества историков-марксистов в феврале 1931 г., — правда тогда речь шла не обо всей «петербургской школе», а только о школе А.С. Лаппо-Данилевского. Поскольку эта дискуссия проходила во время упомянутого «Академического дела», по которому как один из главных обвиняемых проходил С.Ф. Платонов, С.Н. Валк был вынужден самым решительным образом противопоставить школу С.Ф. Платонова школе А.С. Лаппо-Данилевского. По его словам, научный метод А.С. Лаппо-Данилевского сильно отличался от «художественного» подхода С.Ф. Платонова и не получил «четкой классово-установки», а потому ученики А.С. Лаппо-Данилевского могут полноценно войти в марксистскую историографию⁵⁰. Тогда эта попытка встретила резкий отпор проводников линии М.Н. Покровского — С.Г. Томсинского и М.М. Цвибака. Возможно, что после частичной реабилитации начиная с середины 1930-х гг. «старой школы» в исторической науке и в условиях бытования «призрака» идеологической оттепели, наступившего в СССР в конце Второй мировой войны, С.Н. Валку казалось возможным сделать следующий шаг, направленный на поддержку традиций и пропаганду наследия своих учителей. Но в тот момент, когда статья была опубликована в 1948 г. политическая ситуация в обществе уже изменилась — режим начал «борьбу с буржуазным космополитизмом» и вновь стал «закручивать гайки» в идеологической сфере. Новым изменением политической и историографической ситуации можно объяснить то, что в статьях, посвященных анализу творчества А.С. Лаппо-Данилевского (1949)⁵¹ и А.Е. Преснякова (1950)⁵², Л.В. Черепнин обрушился с резкой критикой на историографические построения С.Н. Валка, как пропагандирующие реакционную буржуазную науку. Примечательно, что Л.В. Черепнин между тем не подвергал сомнению определение «петербургской школы», данное А.Е. Пресняковым и развитое С.Н. Валком, однако утверждал, что «проявление указанных традиций дореволюционной “петербургской исторической школы”... являлось показателем кризиса буржуазной исторической мысли, бессильной дать широкие исторические обобщения подлинно научного характера»⁵³.

После «приговора» Л.В. Черепнина исследователи долгое время к понятию «петербургской школы» не возвращались. Однако представляется, что дело здесь заключается вовсе не в «приговоре», а в том, что после постепенно возрождения историографических исследований с конца 1950-х гг. понятие научной школы в том смысле, который придавали ему П.Н. Милюков, А.Е. Пресняков, С.Н. Валк, в литературе просто не находилось места. Дей-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ствительно, понятие «школы» в историографии долгое время рассматривалось скорее с точки зрения «истории идей» и проблематики исследований, нежели анализа специфики научной методологии. Тема «петербургской исторической школы» была снова широко востребована уже во второй половине 80-х гг. прошлого века с началом новой «оттепели» в исторической науке.

III

А.Н. Цамутали первым в новейшей отечественной исторической литературе поставил проблему «петербургской школы» и ее отношения к московской исторической школе. В монографии «Борьба направлений в русской историографии в период империализма» (1986)⁵⁴ в очерках, посвященных С.Ф. Платонову и А.С. Лаппо-Данилевскому А.Н. Цамутали рисует общую схему развития «петербургской школы», опираясь, прежде всего, на рассуждения А.Е. Преснякова и П.Н. Милюкова. При этом А.Н. Цамутали замечает, что «резко противопоставляя “московскую” и “петербургскую” школы, Милюков прибегал к известному упрощению общей картины, рисовавшей положение дел в русской исторической науке. Впрочем, и в его трактовке московские и петербургские историки не являли собой по отношению друг к другу некую крайнюю противоположность».⁵⁵ Автор имеет в виду мнение П.Н. Милюкова о том, что С.Ф. Платонов выступал «в роли носителя компромиссных традиций между двумя школами»⁵⁶. По-видимому, А.Н. Цамутали разделяет эту точку зрения, вслед за П.Н. Милюковым, отмечая, что «петербургская школа» «даже после того как подверглась влиянию московской, сохранила связь с взглядами старшего поколения»⁵⁷. Вслед за А.Е. Пресняковым А.Н. Цамутали подчеркивает как обособленное положение А.С. Лаппо-Данилевского и его школы по отношению «к школе Петербургского университета» во главе с С.Ф. Платоновым⁵⁸, показывает критическое отношение А.С. Лаппо-Данилевского к московской исторической школе (В.О. Ключевского)⁵⁹. В то же время автор выдвигает гипотезу о «влиянии А.С. Лаппо-Данилевского» на С.Ф. Платонова в области теории источниковедения, в частности в вопросе о «внутренней критике источника»⁶⁰.

В целом ряде своих статей, появившихся в печати в 1990-е гг., А.Н. Цамутали развил идеи относительно «петербургской школы». В статье «Особенности развития русской историографии в конце XIX — начале XX века» (1993) А.Н. Цамутали обозначил проблематику предстоящих схолярных исследований: изучение особенностей московской и петербургской школ; изучение процесса их сближения и взаимовлияния в конце XIX — начале XX вв., изучение связи «дореволюционных школ» с историографией советского периода⁶¹. В статье «В.О. Ключевский и петербургские историки» (1995)⁶² автор исследует тему взаимоотношений историков «петербургской школы» с В.О. Ключевским, лидером «московской исторической школы». А.Н. Цамутали

Историография и литература

приходит к выводу, что характер высказываний о творчестве В.О. Ключевского со стороны петербургских историков был различным: «сдержанно-критическим» у К.Н. Бестужева-Рюмина, «почтительным» у С.Ф. Платонова, «заинтересованно критическим» у А.С. Лаппо-Данилевского и А.Е. Преснякова. Автор особо подчеркивает, что «идеи и труды Ключевского» «в той или иной форме оказали большое воздействие на петербургских историков». ⁶³ В биографическом очерке С.Ф. Платонова, помещенном в первом томе издания документов по академическому делу (в соавторстве с Б.В. Ананьичем и В.М. Панеяхом), особо подчеркивается роль С.Ф. Платонова в создании «петербургской исторической школы» ⁶⁴. Эту тему А.Н. Цамутали развивает и в статье «Глава петербургской исторической школы: Сергей Федорович Платонов» (1996) ⁶⁵.

В статье «Археография и школы в русской исторической науке XIX — начала XX века» (1989) ⁶⁶ С.В. Чирков детально рассмотрел вопрос о значении школы А.С. Лаппо-Данилевского и основанной им археографической традиции, развивая свои более ранние наблюдения ⁶⁷. Рассматривая научную деятельность А.С. Лаппо-Данилевского в рамках «петербургской школы», он противопоставлял его как традиции «московской школы», так и направлению С.Ф. Платонова. С.В. Чирков вслед за С.Н. Валком противопоставлял строго научное направление А.С. Лаппо-Данилевского «художественному» направлению С.Ф. Платонова и считал, что «у С.Ф. Платонова была по преимуществу учебная школа, а А.С. Лаппо-Данилевский выступил как организатор классической научно-исследовательской школы» ⁶⁸.

Под воздействием работ русских эмигрантов (в определенной степени и советской историографии) формировалось и понимание понятия «петербургской школы» и в новейшей западной историографии. В этом отношении показательна статья Т. Эммонса «Ключевский и его ученики» (1990). В ней автор подчеркнул, что влияние В.О. Ключевского на «русскую историографию конца XIX — начала XX века было всеобъемлющим», по его словам, «это становится очевидным, если обратиться к работам таких выдающихся представителей “петербургской школы” как С.Ф. Платонов и А.С. Лаппо-Данилевский» и потому даже призвал отказаться от терминов «московская школа» и «школа Ключевского» ⁶⁹.

На постановку проблемы «школы» в статье Т. Эммонса отреагировал Д.А. Гутнов, который указал, что наиболее частым критерием выделения «школы» все же являются «методические приемы, объединяющие группу исследователей», и с этой точки зрения, рассмотрев теоретические взгляды ряда ученых Московского университета конца XIX — начала XX века (в том числе В.О. Ключевского, П.Г. Виноградова, П.Н. Милюкова, М.М. Богословского и др.), пришел к выводу о «единстве методологической базы» их научных трудов, в основе которой было «рассмотрение истории с концептуальных позиций позитивизма», вера в возможность объективного познания и объясне-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ния прошлого, что определяло «очень внимательное отношение к историческому источнику... его скрупулезный анализ и тщательность сделанных на его основе выводов»⁷⁰.

Таким образом, в историографии 1980-х постепенно возрождается трактовка «исторической школы» с методологических позиций, а вместе с ней создаются предпосылки для воскрешения дискурса «петербургской школы».

Б.В. Ананьич и В.М. Панеях следуют в своих рассуждениях за А.Н. Цамутали и С.В. Чирковым, однако для их работ характерно стремление не только указать на общее направление «петербургской школы», но и дать развернутую характеристику ее истории и научного метода. В решении этой задачи Б.В. Ананьич и В.М. Панеях, прежде всего, опираются на анализ рассмотренных выше историографических источников (высказывания А.Е. Преснякова, П.Н. Милюкова и С.Н. Валка)⁷¹ и подчеркивают, вслед за А.Е. Пресняковым, что основной чертой «петербургской школы» был «научный реализм, сказывавшийся прежде всего в конкретном непосредственном отношении к источнику и факту — вне зависимости от историографической традиции». В то же время в своем понимании истории школы авторы не просто следуют дискурсу, сформулированному С.Н. Валком (бывшим одним из их учителей), но и развивают его в направлении большей «демонизации» «московской школы». Наиболее полно точка зрения авторов нашла отражение в их совместной статье «О петербургской исторической школе и ее судьбе» (2000)⁷². Авторы фактически солидаризируются с А.Е. Пресняковым, противопоставляя «петербургскую школу» московской, которую он, по их словам, отождествлял с «юридической» и которая «отличалась большей идеологизированностью и склонностью к систематизации»⁷³. Б.В. Ананьич и В.М. Панеях также усматривают сходство между «московской школой» и школой М.Н. Покровского, подчеркивая, что последний получил образование в Московском университете. Характеризуя школу М.Н. Покровского, авторы отмечают: «В противоположность принципам петербургской исторической школы, она основывалась не на анализе источников и установленных в результате него фактах, а на заранее заданной семе, доктрине, теоретических построениях. Этим новая историческая школа внешне походила на московскую, но теория положенная в ее основу, была резко противопоставлена исторической науке дореволюционного периода, а следовательно, обеим старым школам — и петербургской и московской. На смену гегельянству, позитивизму и неокантианству пришел марксизм в его ленинском толковании, правда, опирающийся на спекулятивно интерпретированную диалектику Гегеля»⁷⁴. Таким образом, авторы, по существу, не оставляют «московской школе» никаких профессиональных черт, кроме обращения к философским системам для осмысления истории. К числу представителей «петербургской исторической школы» Б.В. Ананьич и В.М. Панеях причисляют В.Г. Васильевского, К.Н. Бестужева-Рюмина, С.Ф. Платонова,

Историография и литература

А.С. Лаппо-Данилевского, И.М. Гревса, С.Ф. Ольденбурга, Г.В. Форстена, С.В. Рождественского, А.Е. Преснякова, Н.П. Павлова-Сильванского, Б.А. Романова и других историков рубежа веков. Таким образом, в историографическом анализе Б.В. Ананьича и В.М. Панеяха сочетаются идеи Г.П. Федотова об общественной ангажированности «московской школы» (в противоположность петербургской) и идеи С.Н. Валка о специфике научного метода «петербургской школы».

Проблемы взаимоотношений внутри «петербургской исторической школы» В.М. Панеях затронул в своей монографии, посвященной жизни и творчеству своего учителя — Б.А. Романова⁷⁵. Б.А. Романов аргументированно рассматривается как представитель «петербургской исторической школы»⁷⁶. В.М. Панеях подробно дает характеристику этой школы, основываясь на тех же историографических источниках (высказывания А.Е. Преснякова, П.Н. Милюкова и С.Н. Валка)⁷⁷. В книге ярко показана настороженность Б.А. Романова по отношению к «москвичам». В.М. Панеях считает, что и в конце 40-х гг. именно «петербургская историческая школа оказалась особым объектом разностной критики»⁷⁸. Вообще сущность метода Б.А. Романова как представителя «школы» представлена автором, прежде всего, как продолжение метода его учителя — А.Е. Преснякова⁷⁹. Автор постоянно подчеркивает вслед за своим героем, что задачей Б.А. Романова было «возведение плотины из фактов»⁸⁰, или «сцепки фактов»⁸¹. Очевидно, что Б.А. Романов не рассматривал историю как строгую науку, и в этом отношении не имел строгих оснований своего ремесла. В этом, конечно, нельзя не усмотреть фундаментальное противоречие, присущее исследовательскому методу школы С.Ф. Платонова — А.Е. Преснякова, к которой он принадлежал. Оно заключалось в установке на строго рациональную и, в этом смысле, строго научную систему исследовательского анализа (ремесла историка), при отсутствии ясного представления о тех правилах, по которым должен строиться этот анализ, и, что не менее важно, фактического отказа от задачи определения конечной цели исторического познания и его места в системе научного знания. Это позволяло «ремеслу» избежать теоретической и философской ангажированности, но не давало твердых оснований для развития исторической науки. Не случайно, что в книге, с одной стороны, показано, что «Б.А. Романов пребывал в постоянном поиске новых приемов исследования, которые были ему необходимы для работы с источниками и для воссоздания как далекого, так и недавнего прошлого», но в то же время содержится и наблюдение о том, что «может даже показаться, что ... неповторимая профессиональная техника была приобретена сразу, в целом и навсегда». В.М. Панеях показал настороженное отношение Б.А. Романова к школе А.С. Лаппо-Данилевского. Однако, на наш взгляд, оно было связано не с тем, что ей было присуще, как полагает В.М. Панеях, «формулирование превентивных и тем более отвлеченных теоретических концепций, связанных

Фигуры истории, или «общие места» историографии

с философским осмыслением исторического знания», а в том, что Б.А. Романов, будучи представителем эмпирического направления «петербургской школы», сам не был склонен к формулированию и применению строгой системы методологии истории. Как показано в книге, в своих оценках школы А.С. Лаппо-Данилевского Б.А. Романов отчасти следовал за своим учителем — А.Е. Пресняковым. Из описаний преподавательской практики Б.А. Романова, приведенных автором, видно, что Б.А. Романов следовал своим учителям (С.Ф. Платонову, А.Е. Преснякову, А.С. Лаппо-Данилевскому, А.А. Шахматову)⁸², которые, в свою очередь, тоже продолжали традиции университета.

В отзыве на книгу В.М. Панеяха Б.С. Каганович, отметив, что рецензируемая монография является «важным и ценным исследованием» в то же время высказал ряд критических замечаний, связанных с пониманием В.М. Панеяхом историографических сюжетов «петербургской школы». По мнению рецензента, представление В.М. Панеяха о «петербургской школе» «грешит некоторым упрощением». Б.С. Каганович не согласен с резким противопоставлением методологии научной работы «петербургской школы» по отношению к «московской». Рецензент замечает: «...очевидно, что “беспредпосылочного знания” не существует и что интерпретация источников и фактов в очень значительной мере определяется нашим мировоззрением и ментальными установками». Б.С. Каганович указывает, что «петербургская историческая школа безусловно выработала свой стиль работы, заметно отличающийся от московского, но принципы научного исследования и закономерности исторического мышления одни и те же повсюду»⁸³. В то же время из рецензии не вполне ясно, какие особенности петербургского «стиля работы» выделяет сам Б.С. Каганович.

Широкую дискуссию вызвал доклад В.М. Панеяха и Б.В. Ананьича, посвященный «петербургской исторической школе», на «Третьих мартовских чтениях, посвященных памяти С.Б. Окуня», сделанный в 1997 г. Выступив на конференции с докладом «Петербургская историческая школа и ее судьба» авторы предложили свою концепцию «петербургской школы» на суд научной общественности⁸⁴. С критическими замечаниями в адрес концепции «петербургской школы», озвученной В.М. Панеяхом и Б.В. Ананьичем, выступил Ю.В. Кривошеев. Подчеркнув, что понимание термина «школа», продемонстрированное В.М. Панеяхом и Б.В. Ананьичем, «имеет право на существование», он в то же время выразил мнение о том, что «авторы по сути подменили понятие “научной школы” понятием “развитие исторической науки”». По мнению Ю.В. Кривошеева, «алгоритм творчества историка-профессионала “источник — факт — концепция”, предложенный авторами доклада в качестве основополагающего при определении “петербургской школы”, является, безусловно, классическим и даже каноническим для любого историка, но в то же время достаточно идеальным» и «до конца не осуществимым», работы же

Историография и литература

крупнейших представителей «петербургской школы» (С.Ф. Платонов, А.Е. Пресняков, Б.А. Романов) «отнюдь “не идеальны” с точки зрения “канонической работы” с источником и историческим материалом». Дело в том, что, по мнению Ю.В. Кривошеева, процесс работы историка не является однолинейным, «и источник, и почерпнутый из него факт не должны становиться фетишами, но должны являться импульсами к созданию концепции». Сославшись на работы А.С. Лаппо-Данилевского, Ю.В. Кривошеев предложил выделять «исторические школы» не по методологии работы, а по исторической концепции. Далее Ю.В. Кривошеев отметил: «Рассуждая о петербургской школе, надо иметь в виду и конкретные этапы ее развития. Для каждого же этапа нужно говорить о том или ином научном лидере. Учитель — лидер — это направление, школа; в противном случае понятие расплывается без наличия Учителя как идейно и научно организующего элемента, бессильным становится любой подход к источнику»⁸⁵.

Д.Н. Альшиц в своем выступлении подчеркнул, что исторические школы различаются не только по концепциям, но прежде всего по методам работы с источниками. Характеризуя в этой связи «петербургскую историческую школу», Д.Н. Альшиц заметил, что, по его мнению, она «отличается своим непоколебимым, не подверженным никаким культурным влияниям методом исследования: источник (доскональное изучение его происхождения, достоверности, взаимоотношения со всеми другими относящимися к теме источниками) — факт — концепция», и с этой точки зрения противостоит многим другим школам, где формулирование эффективной концепции предшествует работе с источниками⁸⁶. Д.Н. Альшиц выразил мнение, что традиции «петербургской школы» сохранились и в «мрачные и страшные» 30-е гг. (особо остановившись на деятельности М.Д. Приселкова) и живы и по сей день⁸⁷.

В своем выступлении другой участник дискуссии А.Н. Немилов охарактеризовал ленинградскую школу медиевистики (учеников И.М. Гревса и О.А. Добиаш-Рожественской), с точки зрения традиций «петербургской школы», назвав в качестве ее отличительной черты «строгий критический подход к источнику», подчеркнув, что традиции «классической методологии» А.С. Лаппо-Данилевского вполне могло сочетаться с «приобщением к марксизму»⁸⁸.

Б.Б. Дубенцов в своем выступлении вслед за Д.Н. Альшицом высказал мнение, что «петербургская школа» явление «отнюдь не географическое», но основанное на принципе «источник — факт — концепция». С этой точки зрения, по мнению Б.Б. Дубенцова, встает вопрос: «кого к этой школе можно причислить безусловно, а кого — числить историками петербургскими, но не принадлежащими к петербургской школе». Б.Б. Дубенцов подчеркнул, что, по его мнению, «не нужно проводить жестких граней» между московской и петербургской школой, «поскольку между ними велась постоянная переписка», указав на то, что «Платонов многое заимствует у В.О. Ключевского»⁸⁹.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Будучи одним из редакторов сборника, в котором опубликованы материалы дискуссии по проблеме «петербургской школы», Т.Н. Жуковская поместила в нем очерк под названием «Некоторые размышления о петербургской исторической школе».⁹⁰ Целью этого очерка, по словам автора, было «обозначить собственную позицию» по этой проблеме. В начале очерка Т.Н. Жуковская задается коренным вопросом «что мы можем, а что не можем трактовать как петербургскую историческую школу». Отвечая на этот вопрос, автор, прежде всего, пытается выявить дефиниции самого понятия «школа». Ссылаясь на работу Е.В. Гутновой⁹¹, Т.Н. Жуковская отмечает, что критерием для выделения школы являются «общие методологические приемы, объединяющие группу историков вокруг одного ученого». Как пишет Т.Н. Жуковская, «школа предполагает осознанную близость между ее представителями на уровне техники и приемов исследования». В то же время, как подчеркивает автор, «проблема преемственности проблематики от учителя к ученикам вторична по сравнению с «методологическим наследством»»⁹². Далее Т.Н. Жуковская «намечает, те черты, которую отличали университетскую и академическую науку в Петербурге — Петрограде, единую в разнообразии многих школ». Среди них она называет «европеизм, открытость теоретическому и методологическому западному опыту»; «герметичность, ощущение науки как “государства в государстве”»; ощущение себя «в научной традиции», постоянная авторефлексия; междисциплинарность; «научный либерализм, поощряющий, а не преследующий инакомыслие»; «высокий нравственный критерий научных исследований». Вслед за рядом исследователей — в частности, за М.Б. Свердловым — Т.Н. Жуковская высказывает и следующее наблюдение: «До 1917 г. перед нами проходят уже четыре поколения петербургской школы “русских историков”, которая, если быть точным распадается на автономные школы А.С. Лаппо-Данилевского, С.Ф. Платонова, Г.В. Форстена, оформляющуюся к 1920-м гг. школу А.Е. Преснякова»⁹³. Таким образом, Т.Н. Жуковская, с одной стороны, как бы сомневается в наличии единой «петербургской школы», «намечая черты» «петербургской науки», а не единой научной школы, а с другой стороны, все же пишет о поколениях некоей общей «петербургской школы», однако воздерживается от характеристики ее методологических традиций. В то же время Т.Н. Жуковская задается вопросом: «Было ли прервано развитие исторической науки в рамках прежней традиции на рубеже 30-х гг. или же в ходе “восстановления прав” истории и исторического образования во второй половине 30-х гг. эти традиции были реанимированы?» Автор дает негативный ответ на этот вопрос. По мнению Т.Н. Жуковской, «уж слишком трансформированное развитие получила вся советская историография в ходе идеологических прививок, “отрицательной” кадровой селекции, отсутствия возможности для создания жизнеспособных научных школ по множеству направлений»⁹⁴. Безусловно, автор прав в своих оценках, если сопоставлять их с

Историография и литература

названными им чертами «петербургской науки» (открытость западному научному опыту, либерализм, особый нравственный климат и т.п.), но ведь речь идет о «научной школе», а на этот вопрос, с нашей точки зрения, вообще затруднительно аргументированно ответить, воздерживаясь от характеристики единой методологической традиции «петербургской школы» 1850–1920-х гг. Таким образом, при всей своей ценности, очерк Т.Н. Жуковской ставит больше важных вопросов, чем предлагает ответов. Не внесла ясности в позицию Т.Н. Жуковской и ее статья «Историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета на рубеже XIX–XX веков: научно-исследовательские и педагогические традиции» (2000)⁹⁵ — в этом обзоре под «петербургской школой» автор, по-видимому, понимает всех преподавателей и студентов историко-филологического факультета университета независимо от их методологических или историко-философских взглядов.

Из полемических суждений, направленных против концепции «петербургской исторической школы», изложенной в трудах Б.В. Ананьича и В.М. Панеяха, можно упомянуть и высказывания С.Н. Кистерева. В статье «Вехи в историографии русского летописеведения» (2003)⁹⁶ С.Н. Кистерев замечает, что выражение «петербургская историческая школа» «в суждениях о методологии исторического исследования представляется не более чем техническим термином. Если речь заходит об отражении философских теорий в развитии исторической науки, то следовало бы уточнить, какой из них придерживались те, кого причисляют ныне к “петербургской школе”». Однако, как считает С.Н. Кистерев, «такое уточнение... лишит “петербургскую школу” ореола исключительности в приверженности научной истине»⁹⁷. По-видимому, сам автор просто не склонен различать понятие «методологической» и «философской» традиции в историческом исследовании.

Несмотря на ряд недостатков, прежде всего некоторую декларативность в определении парадигмы петербургской школы, работы Б.В. Ананьича и В.М. Панеяха оказались тем «локомотивом», который ввел проблему «петербургской школы» (и более широко «школы» в исторической науке рубежа веков) в центр современных историографических дискуссий. В этом нам видится основная и несомненная заслуга этих исследователей.

С.О. Шмидт с несколько иных позиций рассматривает историографическую ситуацию начала XX в., особо подчеркивая влияние на С.Ф. Платонова как В.О. Ключевского, так и источниковедческой «петербургской школы», однако также указывает на конкуренцию и непростые отношения двух лидеров среди русских историков дореволюционного Петербурга — С.Ф. Платонова и А.С. Лаппо-Данилевского.⁹⁸

Б.С. Каганович в своей работе «Е.В. Тарле и петербургская историческая школа» указывает: «Тарле, с его нелюбовью к отвлеченным спекуляциям и размашистым концепциям и стремлением восстановить живое прошлое “как

Фигуры истории, или «общие места» историографии

оно в действительности было”, стал органической частью петербургской исторической школы, хотя он и не всегда пользовался филигранными методами источниковедческого исследования, выработанного в ней»⁹⁹. Очевидно, что при такой постановке проблемы правомерно было бы ожидать развернутой характеристики научного метода «петербургской школы». Однако в книге Б.С. Кагановича мы ее не находим. Неслучайно, как отметил в своей рецензии на книгу Б.С. Кагановича С.Н. Погодин, проблема «петербургской исторической школы», по-существу, не анализировалась¹⁰⁰. По-видимому, здесь дело в том, что само отношение Е.В. Тарле к числу представителей «петербургской школы» представляется спорным.

В.С. Брачев в 1990-е гг. многократно обращался к понятию «петербургская историческая школа», прежде всего исследуя творчество С.Ф. Платонова. Считая С.Ф. Платонова представителем нового поколения «петербургской школы», В.С. Брачев подчеркивает, что «возглавляемое им молодое поколение петербургских историков, сохранив унаследованную от К.Н. Бестужева-Рюмина и В.Г. Васильевского приверженность к конкретному изучению исторического материала, сумело вместе с тем избежать крайностей своих учителей»¹⁰¹. Впрочем, из изложения В.С. Брачева не вполне ясно, в чем именно эти «крайности» заключались, почему их удалось избежать и что нового внес С.Ф. Платонов в развитие «школы». Первоначально В.С. Брачев выделяет всего два основания «школы Платонова» — «идущую еще со времен К.Н. Бестужева-Рюмина и В.Г. Васильевского традицию “научного реализма, сказывающегося прежде всего в конкретном, непосредственном отношении к источнику и факту, вне зависимости от разного рода умозрительных схем и построений”» и «лежащим в основе взаимоотношений С.Ф. Платонова со своими учениками, глубоком нравственном начале»¹⁰². Последнее замечание, вводящее в историческое построение этическую категорию без каких-либо разъяснений, выглядит загадочно. Правда, в последующих своих работах В.С. Брачев разъясняет свое понимание новаторской роли С.Ф. Платонова в «петербургской исторической школе». Согласно В.С. Брачеву, при С.Ф. Платонове «ориентация на разыскания источниковедческого плана хотя и была сохранена, но не была безусловной и распространялась, главным образом, на молодых, начинающих ученых как первое, крайне необходимое предварительное условие возможных обобщений исследовательского характера уже на втором, более зрелом этапе их профессиональной деятельности»¹⁰³. Особо указывает В.С. Брачев на методологическое единство школы С.Ф. Платонова, полемизируя с М.Б. Свердловым (1995) и отмечая «несомненную зависимость» А.Е. Преснякова от «исторических взглядов» С.Ф. Платонова¹⁰⁴. В.С. Брачев также подчеркивает, что единство школы С.Ф. Платонова заключалось «не в общности политических взглядов (увы, учитель был аполитичен)»¹⁰⁵. Странным образом, правда, это утверждение согласуется с представлением

Историография и литература

В.С. Брачевым С.Ф. Платонова как яркого государственника, патриота, оппонента «либеральной партии» в университете¹⁰⁶, хотя, как отметил С.Ф. Брачев, С.Ф. Платонов «всецело следовал» либеральной историографии «в теоретико-методологическом и концептуальном плане». По-видимому, в этой связи В.С. Брачев использует несколько загадочный термин «либеральный консерватизм» для характеристики мировоззрения ученого¹⁰⁷. В работе, посвященной «Академическому делу» 1929–1931 гг. (в ходе которого пострадали многие представители «петербургской школы») (второе изд. — 1998), В.С. Брачев особо указывает, что «подоплека у “Дела историков” при неизбежных в таких случаях влияниях и случайностях все же историографическая» (а не политическая) и связана, прежде всего, с злокозненной деятельностью М.Н. Покровского и его школы¹⁰⁸. Эти утверждения не помешали автору в своей более поздней работе «Наша университетская школа русских историков” и ее судьба» (2001) найти еще одну черту «петербургской школы» — «замалчиваемые обычно нашими исследователями патриотические общественно-политические установки университетской школы русских историков»¹⁰⁹. В подтверждение этой точки зрения В.С. Брачев вновь обращается к анализу «Академического дела», называя уже в качестве его главной причины — «”борьбу на историческом фронте” и не устраивавшие власть государственно-патриотические установки “школы русских историков”»¹¹⁰. Полемизируя с Д.Н. Альшицом, который считает, что «петербургская — ленинградская школа историков» «жива по сей день»¹¹¹, В.С. Брачев отмечает: «мнение Д.Н. Альшица симптоматично, так как в наше время стало модным говорить о приверженности тех или иных современных ученых традициям петербургской школы: конкретному, непосредственному отношению к источнику и факту... И это, конечно же, хорошо. Жаль только, что главное — живая душа нашей университетской школы русских историков, как убежденных государственников и патриотов России, — остается при этом в тени. Хотелось бы надеяться, что позитивные перемены произойдут, в конце концов, и здесь, и наряду с вниманием к источнику и факту в числе востребуемых сегодня традиций петербургской исторической школы окажется и патриотизм»¹¹². Таким образом, согласно В.С. Брачеву, методологический критерий для определения «школы» уже недостаточен, необходимо следование определенным политическим принципам. В работе, посвященной исследованию творчества А.Е. Преснякова (2002), В.С. Брачев вновь подчеркивает «национально-консервативный настрой платоновского кружка» и объясняет этим «выпады» против методологии научной работы С.Ф. Платонова со стороны «либерального» А.Е. Преснякова¹¹³. Как видим, из последних работ В.С. Брачева читатель уже не может вынести определенное мнение, что же в «петербургской школе» являлось, с точки зрения автора, ведущим системообразующим фактором, — политическая позиция ее представителей или научная традиция. Не случайно,

Фигуры истории, или «общие места» историографии

что В.С. Брачев склонен резко ограничивать «университетскую» петербургскую школу русских историков, от «внеуниверситетских направлений», в частности, от школы А.А. Шахматова¹¹⁴ и А.С. Лаппо-Данилевского¹¹⁵. Ведь этих двух историков трудно отнести к «консерваторам». При этом автор исходит из априорного представления о том, что «петербургская школа» — это школа «государственника» С.Ф. Платонова. Вообще в последних работах В.С. Брачева патриотический пафос имеет уже такое значение, что он предпринимает атаку на то самое определение «петербургской школы», данное А.Е. Пресняковым в 1918 г., которое в работах середины 1990-х гг. являлось для самого В.С. Брачева основным при характеристике «петербургской школы». Историограф, в частности, предлагает вниманию читателя следующее исследовательское наблюдение: «Критическое отношение в отзыве С.В. Рождественского (фактически это был их общий отзыв с С.Ф. Платоновым) к выдвинутому А.Е. Пресняковым тезису о приоритете прав источника и факта в свете попыток некоторых историков представить его в качестве чуть ли не основного признака петербургской исторической школы принципиально важно. Парадоксально, но факт: ни С.Ф. Платонов, ни последователи его взглядов А.Е. Преснякова в этом вопросе не разделяли»¹¹⁶. Для исследователя творчества А.Е. Преснякова и С.Ф. Платонова данное утверждение загадочное, поскольку в упомянутой рецензии С.Ф. Платонова на диссертацию А.Е. Преснякова¹¹⁷ (которая несомненно В.С. Брачеву известна) содержится, напротив, его полная поддержка позиции диссертанта. В тоже время, если ведущим признать «патриотический» и «личный» фактор, то из «школы» следует исключить не только А.Е. Преснякова, но и многих других «непатриотичных» учеников С.Ф. Платонова (например, «непатриотичных» Н.П. Павлова-Сильванского и М.А. Полиевктова) и уж, конечно, «учеников учеников» — таких как, например, Б.А. Романов и С.Н. Чернов. С.Н. Валк же (которого, кстати, В.С. Брачев называет своим учителем¹¹⁸) оказывается бесконечно далек от петербургской школы сразу по двум основаниям — политическим взглядам и ученичеству у А.С. Лаппо-Данилевского. Однако все названные исторические фигуры фигурируют в изложении В.С. Брачева как видные представители «петербургской школы». В.С. Брачев заявляет о необходимости «абстрагироваться от бесплодных, по его мнению, споров, связанных с изучением понятия научной школы в исторической науке» и изучать «конкретное научное сообщество историков»¹¹⁹. Однако очевидно, что подход, искусственно политизирующий историческую науку, заводит автора в положение, когда его собственные теоретические построения входят в резкое противоречие с излагаемым им историческим материалом. В то же время, следует признать, что с точки зрения решения задачи «исторической реконструкции» работы В.С. Брачева представляют значительную научную ценность: практически в каждой своей работе автор вводит в научный оборот новый обширный архивный матери-

Историография и литература

ал, что выгодно отличает его труды от большинства работ современных историографов. В этом отношении особо следует отметить уже упомянутую выше монографию «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба». (2001). Фундаментальная источниковая база исследования позволила В.С. Брачеву представить широкую панораму развития исторической науки Петербурга рубежа XIX–XX вв., и хотя целый ряд выводов представляется спорным, эта работа кажется нам наиболее значимым вкладом в изучение проблемы «петербургской исторической школы», сделанным в последние десятилетия.

Противоречивые суждения В.С. Брачева о «петербургской школе» и ее представителях вызвали острую полемику. Основными оппонентами позиции В.С. Брачева выступили М.Б. Свердлов¹²⁰ и В.М. Панеях¹²¹. М.Б. Свердлов выступил с специальной брошюрой «О “петербургской школе историков”, корректности историографического анализа, и рецензии В.С. Брачева» (1995)¹²², направленной на полемику с В.С. Брачевым, критически проанализировавшем на страницах журнала «Отечественная история», предпринятую М.Б. Свердловым публикацию работ А.Е. Преснякова «Княжое право в Древней Руси» и его «Лекций по русской истории»¹²³. В этой работе М.Б. Свердлов сделал особый акцент на проблеме «полицентричности» петербургской школы историков, подчеркнув, что «наряду с платоновским исследовательским направлением существовали научные кружки Г.В. Форстена — «форстенята» и А.С. Лаппо-Данилевского», подчеркнув в этой связи и значение школы А.А. Шахматова. С позиций «полицентризма» «петербургской школы» М.Б. Свердлов подходит и к анализу взаимоотношений С.Ф. Платонова и А.Е. Преснякова, отмечая, что «идеи последнего были значительно шире, органично включая в себя достижения других направлений, частично совпадая с традициями С.Ф. Платонова, что вело к созданию новой научной школы — А.Е. Преснякова»¹²⁴. В работе автор ввел в научный оборот и новый источниковый материал — переписку А.Е. Преснякова с матерью и женой, который использовал, чтобы показать наличие значимых идейных и методологических расхождений между С.Ф. Платоновым и А.Е. Пресняковым. В.С. Брачев в свою очередь подготовил ответ М.Б. Свердлову (1996, опубликован в 2002)¹²⁵, в котором подчеркнул, что «научная близость историков, их принадлежность к определенной школе или направлению устанавливается не на основе субъективных личных признаний или умолчаний, а путем тщательного сопоставления опубликованных ими научных текстов», упрекнув М.Б. Свердлова с тем, что в его работах мы этого сопоставления не находим¹²⁶. Здесь следует, правда, отметить, что такого сопоставления мы не находим и в работах самого В.С. Брачева. В.С. Брачев также пишет в «Ответе М.Б. Свердлову» о том, что «традиции “школы” не умерли... М.Д. Приселков, С.Н. Валк, А.И. Андреев, Б.А. Романов и другие ее представители оставили после себя учеников. Некото-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

рые из них активно работают в науке и в наши дни»¹²⁷. В этой связи остается совершенно непонятен пафос В.С. Брачева во время упомянутой полемики с Д.Н. Альшицом, когда он категорично заявлял, что, «к сожалению, всему в этом мире приходит конец. Не бывает вечных школ в науке»¹²⁸.

В.М. Панеях начинает полемику с В.С. Брачевым в 1998 г. на страницах журнала «Отечественная история», где поместил рецензию на упомянутую книгу В.С. Брачева «Русский историк Сергей Федорович Платонов»¹²⁹. Рецензент пришел к выводу, что «В.С. Брачев не имеет никакого представления о критике источников как основе исторического и историографического построения», а потому «автор не справился со своей задачей — воссоздать жизненный и творческий путь одного из крупнейших российских ученых, чья деятельность совпала с расцветом петербургской исторической школы, принципами которой он руководствовался, много сделав как исследователь и профессор-наставник для их развития и углубления»¹³⁰. Автор рецензии также упрекает В.С. Брачева в политизированности изложения, по его мнению, «С.Ф. Платонов под пером В.С. Брачева в рупор крайне ретроградных и в этом смысле экзотических воззрений самого автора»¹³¹. В.С. Брачев вступил в ответную полемику с рецензентом на страницах журнала «Клио», где в свою очередь обвинил В.М. Панеяха и сочувственно отнесшегося к его рецензии Н.Н. Покровского¹³² в политической ангажированности, на что последовала ответная реплика В.М. Панеяха¹³³. Впрочем, эта полемика была связана главным образом с спором о методах использования следственных показаний по «Академическому делу», широко задействованных в труде В.С. Брачева, и ничего нового в обсуждение проблемы «петербургской школы» не внесла.

В книге «Киевская школа в российской историографии» (1996) С.И. Михальченко замечает: «Традиционным стало говорить о большей склонности москвичей к обобщениям, концептуальным построениям, а петербуржцев — к источниковедческой стороне изучения истории». С.И. Михальченко считает, что «понятие “московская”, “киевская” школы — фактически синонимы понятий “школа московского или киевского университета”, поскольку в конце XIX — начале XX вв. вне университетов в этих городах работало сравнительно немного профессиональных историков, часто это были те же университетские профессора в условиях совместительства». Что касается Петербурга, то вслед за С.В. Чирковым исследователь склонен «выделять университетскую школу Платонова и академическую А.С. Лаппо-Данилевского, хотя истоки у них были общие»¹³⁴.

Крайне осторожный подход к термину «петербургская историческая школа» демонстрирует С.Н. Погодин в монографии «“Русская школа” историков: Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский» (1997)¹³⁵ — автор перечисляет различные критерии выявления самого понятия «историческая школа», не абсолютизируя ни один из имеющихся в науке подходов. Автор излагает имеющиеся в литературе мнения относительно «петербургской школы»

Историография и литература

(А.Н. Цамутали, С.Н. Валк, В.М. Панеях, Б.В. Ананьич), но воздерживается от собственной оценки этих суждений. В статье «Научные школы в исторических науках» (1998) автор возвращается к этим размышлениям¹³⁶ и приходит к выводу о том, что «этот вопрос (о самом понятии “научная школа” — *Е.Р.*) остается открытым и нуждается в дальнейших исследованиях»¹³⁷. Ясности в позицию автора не внесли и его работы, посвященные А.С. Лаппо-Данилевскому, в том числе и его совместный с А.В. Малиновым труд «Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский: историк и философ» (2001)¹³⁸.

Э.Д. Фролов в монографии «Русская наука об античности» (1999) рассмотрел процесс становления «петербургской школы» в области антиковедения. В этом отношении особое внимание автор уделил анализу творчества М.С. Куторги. Характеризуя методологию научной работы М.С. Куторги, Э.Д. Фролов отметил, что хотя «конечную цель исторического исследования Куторга видел в выяснении общего хода человеческой истории... он считал необходимым для ученого сосредоточиться на исследовании какого-либо одного исторического периода» и «был безусловным сторонником критического метода»¹³⁹. Автор пришел к выводу что, к «Куторге, как к единому источнику, восходит целый ряд родственных научных течений — не только в науке об античности, но и в медиевистике, в византиноведении, в изучении нового времени»¹⁴⁰. Эти наблюдения дали возможность историографу вслед за С.Н. Валком назвать М.С. Куторгу «родоначальником петербургской исторической школы»¹⁴¹.

В.П. Корзун обращается к анализу понятия «петербургская историческая школа» в своей монографии «Образы исторической науки на рубеже XIX—XX вв.» (2000).¹⁴² В.П. Корзун полагает, что на рубеже веков происходит процесс сближения петербургской и московской исторических школ и происходит складывание так называемой «новой волны историков» (понятие приводится с ссылкой на В.А. Муравьёва).¹⁴³ В то же время вслед за С.В. Чирковым В.П. Корзун подчеркивает существование двух различных направлений в рамках «петербургской школы» (А.С. Лаппо-Данилевского и С.Ф. Платонова), хотя точка зрения последнего о том, что оба эти направления объединяло «противостояние московской исторической школе», представляется ей спорной¹⁴⁴. В.П. Корзун указывает на стремление нового поколения московских и петербургских историков «к преодолению заданной традицией демаркационной линии между школами», анализируя в этой связи отношения, складывавшиеся между С.Ф. Платоновым и П.Н. Милюковым в конце 1880-х — 1890-е гг.¹⁴⁵ В.П. Корзун отмечает, что наше исследование, посвященное взаимоотношениям С.Ф. Платонова и А.С. Лаппо-Данилевского, позволило ей «сделать следующий шаг» — применить к данному сюжету «парадигму интеллектуальной истории». Отправными в этом анализе стали, по словам автора, два тезиса. Первый (приводится со ссылкой на М.П. Мохначеву) заключается в следующем: «Согласно теории межличностных коммуникаций в

Фигуры истории, или «общие места» историографии

науке такой тип наукотворческой деятельности (сообщества открытого типа как самоорганизация научного знания — *Е.Р.*) строится по принципу рассредоточенной сети с довольно низкой степенью связанности, на фоне которой выделяются отдельные локальные уплотнения — отдельные более сплоченные группировки исследователей». Подобный тип научных объединений «характерен для периода проблемной ситуации в научной дисциплине. Он перерождается в сильно сплоченное образование, характерное уже периоду разрешения проблемы». Второй тезис, на который опирается В.П. Корзун, «связан с особенностями внутреннего мира ученого и необходимостью фиксации внутренних привычек (*habitus*), которые “встраиваются в человека в процессе социализации”, или, согласно другой версии, выбираются конкретным человеком»¹⁴⁶. Заявленный автором глубокий теоретический подход, дал возможность прийти и к новым содержательным выводам. В.П. Корзун, ссылаясь на наши наблюдения, полагает, что причины охлаждения отношений между А.С. Лаппо-Данилевским и С.Ф. Платоновым в 1890-е гг. в различии научно-теоретических взглядов двух ученых. В то же время она замечает: «Данная ситуация отражает, на наш взгляд, и более значительный процесс существенного изменения картины развития самих научных школ рубежа XIX—XX веков. Внутри них наблюдается выделение различных предметных полей исследования (напомним, что само противопоставление объекта предмету в теоретическом плане формулируется в начале XX века). Научные исследования становятся предметно не совпадающими. Обратившись к петербургской школе, можно заметить, что присущий ей принцип научного реализма А.С. Лаппо-Данилевский применяет к анализу базовых оснований исторического исследования, С.Ф. Платонов — к научной документированности при исследовании конкретного исторического процесса». Вслед за С.В. Чирковым В.П. Корзун подчеркивает различие между функциональной (учебной) школой С.Ф. Платонова и нефункциональной (академической) школой А.С. Лаппо-Данилевского¹⁴⁷. Среди новых выводов, к которым пришла В.П. Корзун, стало и выделение ею наряду с эмпирическим и «социологического» направления петербургской школы, которое по ее словам, представлял Н.И. Кареев¹⁴⁸. Впрочем, из изложения автора не вполне ясно, каким образом социологическое направление Н.И. Кареева связано с петербургской школой «научного реализма».

Отдельного упоминания заслуживает и учебное пособие «Введение в историографию отечественной истории XX века», подготовленное В.П. Корзуном в соавторстве с С.П. Бычковым¹⁴⁹. Без сомнения, уже сам подход авторов, связанный с размещением материала по истории науки по научным направлениям и школам, выгодно отличает этот учебник от историографических пособий советского и начала постсоветского времени, когда за основу историографического построения принимался не методологический принцип, а концептуальный, фило-софско-исторический или даже политический¹⁵⁰. Четвертая глава пособия

Историография и литература

носит название «Петербургская школа русских историков в конце XIX — начале XX веков»¹⁵¹, определенный интерес представляет и первый параграф третьей главы под названием «Школы в науке. Историографы о московской и петербургской школах, их взаимоотношения»¹⁵². В целом здесь повторяются положения рассмотренной выше монографии. Однако есть и новые суждения. Подводя итог полемики о «петербургской школе», С.П. Бычков и В.П. Корзун справедливо отмечают: «Практически все современные исследователи признают неоднородность петербургской исторической школы русских историков в начале XX в. Одни говорят о двух направлениях внутри школы, другие делают вывод об изменении ее конфигурации, вплоть до разрыва и складывания принципиально иной школы. И в первом и во втором случае речь идет о ярких фигурах С.Ф. Платонова и А.С. Лаппо-Данилевского и сообществах, возникших вокруг них»¹⁵³. Далее авторы называют основную черту «петербургской школы»: «В качестве сущностной черты петербургской школы ее участники и историки называют особое отношение к историческому источнику» и подчеркивают, что «однако в понимании особого признака петербургской школы — источника — не было единства». Вслед за нами С.П. Бычков и В.П. Корзун¹⁵⁴ рассматривают систему исторической методологии С.Ф. Платонова и А.С. Лаппо-Данилевского и приходят к выводу, что «за такими разночтениями в понимании источника стояли различные методологические ориентиры: для Платонова — старый добрый позитивизм, для А.С. Лаппо-Данилевского — неокантианство»¹⁵⁵. Объясняя противоречия между А.С. Лаппо-Данилевским и С.Ф. Платоновым, авторы замечают: «Современные исследователи (А.Н. Цамутали, Е.А. Ростовцев) связывают обозначенные противоречия с двумя направлениями в исторической науке — эмпирическим и социологическим»¹⁵⁶. По-видимому, к эмпирическому направлению в науке здесь относится С.Ф. Платонов, а к социологическому направлению — А.С. Лаппо-Данилевский с его неокантианством. Не беремся судить о работах А.Н. Цамутали, но в своем автореферате и статьях, посвященных этому вопросу, мы подчеркивали несколько иное: С.Ф. Платонов и А.С. Лаппо-Данилевский (который основал, по выражению А.Е. Преснякова, «теоретическую», но не социологическую школу) принадлежали к «петербургской исторической школе», которая в целом находилась в оппозиции социологическому (по своему характеру преимущественно позитивистскому и неразрывно связанному с московской школой В.О. Ключевского) направлению в исторической науке начала XX в.

Тему «петербургской исторической школы» затрагивает А.Ю. Дворниченко в своей монографии, посвященной творчеству В.В. Мавродина (2001)¹⁵⁷, который долгие годы являлся деканом исторического факультета ЛГУ и заведующим кафедры русской истории. Автор отмечает, что время учебы В.В. Мавродина в Ленинградском университете в конце 1920-х гг. совпало с «периодом ухода из университета блестящей дореволюционной “петербургской школы”»¹⁵⁸.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

В то же время в работе А.Ю. Дворниченко содержится и следующее наблюдение: «Яркая черта творчества Мавродина — пронизанность его историографией. В лучших традициях петербургской исторической школы, основателем которой был К.Н. Бестужев-Рюмин, Мавродин каждому сюжету, которым занимается, дает глубокую историографическую трактовку»¹⁵⁹. «Историографичность» научного построения является очевидным достоинством и в определенном смысле родовым признаком школы В.В. Мавродина (и в этом смысле, — отчасти и школы Ленинградского университета 1960—1980-х гг.); однако относить эту черту научного метода к более раннему времени — периоду «блестящей петербургской школы» без достаточных аргументов — значит искусственно объединить две различные университетские школы в области русской истории.

В статье Т.И. Сидненко «Петербургская школа историков (либеральное направление)» (2002) осуществлена попытка объединить в рассмотрении проблемы «петербургской школы» политический, методологический и корпоративный критерии, без какой-либо попытки выстраивания иерархии между ними. Такой подход с неизбежностью привел автора к включению в ряды одной школы всех крупных историков Петербурга рубежа веков: А.С. Лаппо-Данилевского, Н.И. Кареева, А.Е. Преснякова, А.А. Корнилова, С.Ф. Платонова, М.М. Ковалевского, И.М. Гревса и др.¹⁶⁰ Очевидно, что изложение, построенное с таких позиций, носит чисто описательный характер.

Постепенно понятие «петербургской школы» все более прочно входит в научный оборот. В частности, отражением этого процесса следует считать появление целого ряда учебных курсов по отечественной историографии, где этой проблеме уделяется существенное внимание. Здесь можно отметить, кроме упомянутого учебного пособия С.П. Бычкова и В.П. Корзун, также пособия А.Н. Зашихина¹⁶¹ и В.Я. Мауля¹⁶². В целом, излагая учебный материал, авторы этих пособий следуют концепции «петербургской школы», изложенной С.Н. Валком и в новейшее время развитой Б.В. Ананьичем и В.М. Панеяхом. В то же время, например, в пособии по историографии, составленном Н.Г. Георгиевой, термины «московская» и «петербургская» школы историков вообще не упоминаются¹⁶³. В новейшем учебнике по историографии под редакцией М.Ю. Лачаевой изложение строится по биографическому признаку, а в заключительной главе, по-видимому, хотя и признается значение «научных школ», подчеркивается «движение этих школ навстречу друг другу».¹⁶⁴

IV

Подводя итог обзору использования дискурса «петербургская историческая школа» в научной литературе, можно отметить, что историографы не только понимали его по-разному, но, по-видимому, и руководствовались различной мотивацией, строя с его помощью изложение. В этом смысле мы можем гово-

Историография и литература

речь о существовании в современной историографии нескольких дискурсов «петербургской школы», хотя и восходящих к одному набору текстов (П.Н. Милюкова, А.Е. Преснякова и С.Н. Валка), рассмотренных выше.

Часть исследователей в определении понятия «петербургская школа» были ведомы социальными и политическими мотивами, часть — стремлением подчеркнуть свою собственную (или определенной корпорации) принадлежность к данной историографической традиции, часть рассматривает понятие как важный элемент построения общей картины национальной историографии. Последний подход кажется наиболее перспективным, и прежде всего тогда, когда в его основу положено понятие методологии исторического исследования. Однако, и в данном случае перед историографом встает важнейший вопрос: как используя привычный дискурс, оказаться способным к его критическому восприятию и исследованию того историографического феномена, который послужил источником для его формирования?

Действительно, вопрос об инструментах, который историк исторической науки может считать пригодным для исследования феномена «школы» является непростым. Продуктивными являются попытки анализировать конкретные сюжеты истории научных школ не с позиций конкретных социологических конструктов, а используя глобальные модели философии науки (в том числе разработанные К. Поппером¹⁶⁵, Т. Куном¹⁶⁶, П. Фейрабендом¹⁶⁷ и др.). Таким образом, мы сможем не только описать результаты исследования с помощью общих категорий, предложенных философами науки («научная революция», «фальсифицируемость теории», «эстернализм», «интернализм» и т.п.), но и использовать их как инструмент, обеспечивающий единство интриги исследования.

Центральной для понимания проблематики научной школы может стать разработка проблем исторической антропологии науки. Считается, что историческая антропология обратилась к рассмотрению этой сферы с начала 1980-х гг.¹⁶⁸ По мнению Д.А. Александрова, впервые обратившегося с позиций этого исследовательского подхода к российскому материалу, задачей историко-антропологического направления является «изучать науку как быт людей, именующих себя учеными»¹⁶⁹. В то же время можно спорить о том, в какой степени согласованы различные элементы методологии этого направления (восходящие даже в свой терминологии к различным социологическим и философским парадигмам), хотя его проблематика является захватывающе интересной: история отношений власти и подчинения в науке, ритуалов, научных кружков, «патронажа науки», «повседневности научного учреждения», «научных практик», «жизненных миров» ученых¹⁷⁰. Не отрицая несомненной перспективности исследования данной тематики, можно заметить, что перечисленное, по преимуществу, касается *форм* организации научного познания и общения ученых между собой и с обществом, в связи с этим пока не ясно, в

Фигуры истории, или «общие места» историографии

какой степени эти социологические конструкты применимы для характеристики конкретно-исторического содержания развития науки. Противопоставляя историческую антропологию социологии науки, Д.А. Александров отмечает, что последняя «осудив объективизм науки сохранила его для себя в полной мере» и «социолог, объясняющий конструирование знания учеными, как бы повторяет ученого, разоблачающего фокусника или спирита». Что же касается исторической антропологии, то она, по его словам, ставит задачу «понимания других культур и других форм жизни» «и тем самым признает право этих форм жизни на существование»¹⁷¹. Однако очевидно, что подобное впечатление создается зачастую лишь внешне, за счет методологического эклектизма, в условиях отказа исследователя от системного анализа, а потому и может быть обманчивым. В то же время отказаться от антропологического подхода в изучении истории научных школ вряд ли возможно, поскольку только исследование «субъективного фактора» часто и позволяет выявить те скрытые пружины внутринаучных взаимоотношений, которые подвигали ученых на конструирование собственных исследовательских парадигм и научно-исследовательских программ. Поэтому личность ученого, его мировоззрение, круг общения, внутренний мир, характер — неотъемлемые компоненты объекта исследования.

Исходя из предшествующих рассуждений, осмелимся предположить, что дискурс «петербургской школы» наиболее эффективно используется, когда выступает не столько как застывший объект исследования, сколько как один из историографических инструментов, призванных способствовать объяснению тех или иных явлений исторической науки, как конкретных (отдельные историографические факты: работы историков, их взаимоотношения и т.п.), так и более общих (научно-исследовательская программа, научная парадигма, научная революция и т.п.).

В ряде наших работ мы попытались именно с этих позиций сформировать собственный взгляд на феномен «петербургской исторической школы» и предложить свое понимание ее дискурса. Анализируя концепцию «петербургской школы», предложенную в работах Б.В. Ананьича и В.М. Панеяха (1997) автор настоящего доклада пришел к выводу, что «указанные источники» (высказывания А.Е. Преснякова и П.Н. Милюкова) «рассматривают разные свойства историографических феноменов и не могут быть привлечены в качестве оснований для оценки одного и того же явления — “петербургской исторической школы”» и что «во всяком случае, такая постановка вопроса невозможна без оговорки об эволюции школы, со специальным исследовательским пояснением в отношении механизма и этапов данного процесса». В статье «Термин “петербургская историческая школа” в историографических источниках» были рассмотрены историографические основания появления этого термина, и сделан вывод о том, что «термин “петербургская историческая школа”... основывается на некоем противоречивом историографическом представлении»¹⁷².

Историография и литература

Впоследствии, отталкиваясь от рассуждений С.Н. Валка, мы попытались проанализировать процесс становления методологической традиции «петербургской школы» и выделили три этапа ее развития, пришли к выводу о формировании в конце 1890-х гг. двух направлений «школы»: теоретического (А.С. Лаппо-Данилевского) и эмпирического (С.Ф. Платонова)¹⁷³.

В нашей книге «А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа» (2004) понятие «петербургская историческая школа» также рассматривается как течение в отечественной исторической науке, в основе которого находилась определенная методологическая традиция. Поэтому дискурс «петербургской школы» используется не только для обозначения той ученой корпорации, в которую входил А.С. Лаппо-Данилевский, но и как основной инструмент для объяснения «научно-исследовательской программы» ученого, значения его творчества для исторической науки¹⁷⁴.

Представляется, что дискуссия о «петербургской исторической школе» может быть более плодотворной, а использование этого дискурса более продуктивным, если для нас будет лучше ясна историографическая природа этого понятия.

Примечания

¹ Речь идет о работах Г. Башляра, А. Койре, Т. Куна, К. Поппера, С. Тулмина, П. Фейербанда, И. Лакатоса, Я. Хинтикки и других авторов. См. об этом напр.: Черняк В.С. Особенности современных концепций развития науки // В поисках теории развития науки (Очерки западноевропейских и американских концепций XX века). М., 1982. С. 12–50.

² Ср.: Иллерицкая Н.В. Историко-юридическое направление в русской историографии второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 2002. С. 12.

³ Школы в науке. М., 1977.

⁴ См., напр.: Лайтко Г. Научная школа — теоретические и практические аспекты // Школы в науке. М., 1977. С. 218.

⁵ Гасилов В.Б. Научная школа — феномен и исследовательская программа науковедения // Школы в науке. М., 1977. С. 144–148.

⁶ См.: Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке. М., 1977. С. 7–24.

⁷ См.: Дмитриев А.Н. Проблемы формирования «строгой науки» в гуманитарном знании // Проблемы социального и гуманитарного знания. Сб. научных работ. СПб., 1999. Вып. I. С. 329–349.

⁸ См., напр.: Коноплев Н.С. Принцип детерминизма как методологическая основа гуманитарных наук. Иркутск, 1986; Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: Становление и развития первых научных программ. М., 1980.

⁹ Бельский И.Л. К проблеме наименований школ, направлений, течений в отечественной исторической науке XIX–XX вв. // XXV съезд КПСС и задачи изучения истории исторической науки. Калинин, 1978. Ч. II. С. 64–65.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

¹⁰ Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической науке. Казань, 2000. С. 7–108.

¹¹ Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX–XX вв. (анализ отечественных историографических концепций). Екатеринбург-Омск, 2000. С. 77–81.

¹² Михальченко С.И. Киевская школа в российской историографии: (школа западно-русского права). Брянск, 1996. С. 3–16. Ср.: Михальченко С.И. Киевская школа: Очерки об историках. Брянск, 1994. С. 59–62.

¹³ Погодин С.Н. Научные школы в исторических науках // Клио. Журнал для ученых. 1998. № 2 (5). С. 14–26.

¹⁴ Михальченко С.И. Киевская школа в российской историографии. С. 12–13.

¹⁵ См., напр.: Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала XX века. Волгоград, 1999–2000. Ч. 1–2; Синицын О.В. Неокантианская методология истории и развитие исторической мысли в России в конце XIX — начале XX вв. Казань, 1998.

¹⁶ См.: [Милюков П.Н.] [Рец.:] Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера «Of the russe common wealth» как исторический источник. СПб., 1891 // Русская мысль. 1892. № 2. Библиографический отдел. С. 64–66: Ср.: Трибунский П.А. П.Н. Милюков о петербургской исторической школе // История дореволюционной России: мысль, события, люди: Сб. науч. тр. кафедры Древней и средневековой истории Отечества. Рязань, 2001. Вып. 1. С. 5–12.

¹⁷ См.: [Милюков П.Н.] [Рец.:] Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера. С. 65.

¹⁸ Платонова Н.Н. Дневник // ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 5691. Л. 90–90 об.

¹⁹ См. об этом: Макушин А.В., Трибунский П.А. Павел Николаевич Милюков: труды и дни. Рязань, 2001. С. 70–72; Ростовцев Е.А. Рецензия на книгу А.В. Макушина и П.А. Трибунского «Павел Николаевич Милюков: труды и дни» // Клио. Журнал для ученых. 2003. № 1 (20). С. 235–240.

²⁰ См.: Милюков П.Н. Источники русской истории и историография // Милюков П.Н. Очерки истории исторической науки. Отв. редактор, составитель и автор предисловия М.Г. Вандакловская. М., 2002. С. 358.

²¹ См. напр.: Чирков С.В. Археография и школы в русской исторической науке XIX — начала XX века // АЕ за 1989 г. М., 1990. С. 19–27.

²² См.: Платонов С.Ф. В.О. Ключевский (1839–1911). Некролог // ЖМНП. 1911. Новая серия. Ч. XXXVI. Ноябрь. С. 30–36.

²³ Лаппо-Данилевский А.С. Исторические взгляды В.О. Ключевского // В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 100–116.

²⁴ Пресняков А.Е. Дневник. 29 июля 1890 г. // Архив СПб. ИРИ РАН. Ф. 193. Оп. 2. Д. 36. Л. 245–246.

²⁵ Пресняков А.Е. Речь перед защитой диссертации под заглавием «Образование Великоорусского государства». Пг., 1920. С. 6.

²⁶ Платонов С.Ф. [Рец.: соч. А.Е. Преснякова Образование Великоорусского государства. Очерки по истории XIII — XV ст. Пг., 1918] // Международная политика и мировое хозяйство. Кн. 8. 1918. С. 100.

²⁷ Рождественский С.В. [Рец.:] Пресняков А.Е. Образование Великоорусского государства // РИЖ. Кн. 5. С. 279–290.

Историография и литература

²⁸ Рождественский С.В. [Рец.:] Пресняков А.Е. Образование Великоорусского государства. С. 281. Ср.: Брачев В.С. Русский историк А.Е. Пресняков (1870–1929). СПб., 2002. С. 43.

²⁹ См.: Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневник. 1889–1927 / Руковод. проекта и отв. ред. А.Н. Цамутали. СПб., 2005. С. 792–801.

³⁰ Платонова Н.Н. Дневник // ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 5698. Л. 55 об. – 56.

³¹ Пресняков А.Е. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Пг., 1922. С. 16–17, 25, 27–28.

³² Пресняков А.Е. В.О. Ключевский (1911–1921) // Русский исторический журнал. 1922. № 8. С. 204, 210.

³³ Там же. С. 205–209.

³⁴ Там же. С. 205.

³⁵ Пресняков А.Е. [Рец.:] Вестник социалистической академии. 1922. № 1–3 // Анналы. 1923. С. 279–281.

³⁶ Там же. С. 281.

³⁷ Академическое дело 1929–31. Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. СПб., 1993. Вып. I.

³⁸ Невский В.И. [Рец.:] А.С. Лаппо-Данилевский «Методология истории» // Печать и революция. 1923. № 7. С. 182.

³⁹ Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 497–502.

⁴⁰ Там же. С. 502.

⁴¹ Там же. С. 502–509.

⁴² Федотов Г.П. Россия Ключевского // Современные записки. Париж, 1973. № 50. С. 340–362 (новейшее изд. – Федотов Г.П. Россия Ключевского // Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. СПб., 1991. Т. 1. С. 329–348).

⁴³ Федотов Г.П. Россия Ключевского // Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. С. 346.

⁴⁴ Вернадский Г.В. Русская историография. М., 1998. С. 256.

⁴⁵ См.: Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 161–163.

⁴⁶ Валк С.Н. Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет // Труды юбилейной сессии ЛГУ. Секция исторических наук. Л., 1948. С. 3–79. (Переиздание: Валк С.Н. Избранные труды по историографии и источниковедению. СПб., 2000. С. 7–106).

⁴⁷ Там же. С. 57.

⁴⁸ Там же. С. 54.

⁴⁹ Там же. С. 50, 52.

⁵⁰ Валк С.Н. Выступление [на объединенном заседании Института истории и Общества историков-марксистов в феврале 1931 г.] // Проблемы марксизма. 1931. № 3. С. 114–115.

⁵¹ Черепнин Л.В. А.С. Лаппо-Данилевский – буржуазный историк и источниковед // ВИ. 1949. № 8. С. 30–51.

⁵² Черепнин Л.В. Об исторических взглядах А.Е. Преснякова // ИЗ. М., 1950. Т. 33. С. 201–231.

⁵³ Там же. С. 204–205.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

⁵⁴ Цамутали А.Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Л., 1986.

⁵⁵ Там же. С. 80–81.

⁵⁶ Там же. С. 81.

⁵⁷ Там же. С. 80.

⁵⁸ Там же. С. 145.

⁵⁹ См.: Там же. С. 145–150.

⁶⁰ Там же. С. 99.

⁶¹ Цамутали А.Н. Особенности развития русской историографии в конце XIX – начале XX века // Историческое познание: традиции и новации. Тезисы Международной теоретической конференции. Ижевск, 26–28 октября 1993 г. Ижевск, 1993. Ч. I. С. 166–168.

⁶² Цамутали А.Н. В.О. Ключевский и петербургские историки // В.О. Ключевский. Сб. материалов. Пенза, 1995. Вып. 1. С. 282–289.

⁶³ Там же. С. 288.

⁶⁴ Ананьич Б.В., Панях В.М., Цамутали А.Н. Сергей Федорович Платонов. Биографический очерк // Академическое дело 1929–1931 гг. СПб., 1993. Вып. 1. Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. С. LXIII–LXXIV.

⁶⁵ Цамутали А.Н. Глава петербургской исторической школы: Сергей Федорович Платонов // Историки России. XVIII – начало XX века. М., 1996. С. 538–552.

⁶⁶ Чирков С. В. Археография и школы в русской исторической науке XIX – начала XX века // АЕ за 1989 г. М., 1990. С. 19–27.

⁶⁷ См.: Чирков С.В. [Выступление на совместном заседании Археографической комиссии АН СССР и Центрального партийного архива института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, посвященное памяти С. Н. Валка] «С.Н. Валк – исследователь истории русской исторической науки» // АЕ за 1976 г. М., 1977. С. 309–310.

⁶⁸ Чирков С.В. Археография и школы в русской исторической науке XIX – начала XX века. С. 23.

⁶⁹ Эммонс Т. Ключевский и его ученики // ВИ. 1990. № 10. С. 53.

⁷⁰ Гутнов Д.А. Об исторической школе Московского университета // Вестник МГУ. Серия 8. История. 1993. № 8. С. 40–53.

⁷¹ Ананьич Б.В. 1) «Петербургская историческая школа» // Россия в XX веке: судьбы исторической науки М., 1996; 2) О воспоминаниях Н.С. Штакельберг // In memoriam. Исторический сборник памяти Ф.Ф. Перченка. М.; СПб., 1995. С. 78–90; Панях В.М. 1) Б.А. Романов об издании судебников XV–XVI вв. // Проблемы социально-экономической истории России. Л., 1991. С. 19–20; 2) «Настоящая жизнь»: Борис Александрович Романов студент Петербургского университета. 1906–1911 годы // Средневековая и новая Россия. Сб. научных статей. К 60-летию проф. И.Я. Фроянова. СПб., 1996; 3) Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 21–23.

⁷² Ананьич Б.В., Панях В.М. О петербургской исторической школе и ее судьбе // Отечественная история. 2000. № 5. С. 105–118. См. также: Ananiach B.V., Paneyah V.M. The St. Petersburg school and its fate // Russian studies in history. 1998. Vol. 36. № 4. P. 72–92; Ananiach B.V., Paneyah V.M. The St. Petersburg school and its fate // Historiography of Imperial Russia. London, 1999. P. 146–162.

Историография и литература

- ⁷³ Ананьич Б.В., Панеях В.М. О петербургской исторической школе и ее судьбе. С. 106.
- ⁷⁴ Там же. С. 106.
- ⁷⁵ Там же. С. 109.
- ⁷⁶ Панеях В.М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов.
- ⁷⁷ Там же. С. 21 и др.
- ⁷⁸ См.: Там же. С. 21–23 и др.
- ⁷⁹ Там же. С. 266.
- ⁸⁰ Панеях В.М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. С. 80 и др.
- ⁸¹ Там же. С. 103.
- ⁸² Там же. С. 362.
- ⁸³ Там же. С. 59, 329–331.
- ⁸⁴ Каганович Б.С. [Рец.:] Панеях В.М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000 // Новая и новейшая история. 2002. № 4. С. 210–211.
- ⁸⁵ См.: [Жуковская Т.Н., Марголис А.Д. От составителей] // Третьи мартовские чтения памяти С.Б. Окуня. Материалы научной конференции. СПб., 1997. С. 6.
- ⁸⁶ Кривошеев Ю.В. [Выступление в прениях] // Третьи мартовские чтения памяти С.Б. Окуня. С. 55–58.
- ⁸⁷ Альшиц Д.Н. [Выступление в прениях] // Третьи мартовские чтения памяти С.Б. Окуня. С. 58–59.
- ⁸⁸ См.: Там же. С. 60–62.
- ⁸⁹ Немилев А.Н. [Выступление в прениях] // Третьи мартовские чтения памяти С.Б. Окуня. Там же. С. 62–67.
- ⁹⁰ Дубенцов Б.Б. [Выступление в прениях] // Третьи мартовские чтения памяти С.Б. Окуня. Там же. С. 67–68.
- ⁹¹ Жуковская Т.Н. Некоторые размышления о «петербургской школе» // Третьи мартовские чтения памяти С.Б. Окуня. С. 8–14.
- ⁹² См.: Гутнова Е.В. Историография средних веков. Учебник для студентов. М., 1985. С. 9–10.
- ⁹³ Жуковская Т.Н. Некоторые размышления о «петербургской школе». С. 9.
- ⁹⁴ Там же. С. 10–12.
- ⁹⁵ Там же. С. 13.
- ⁹⁶ См.: Жуковская Т.Н. Историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета на рубеже XIX–XX веков: научно-исследовательские и педагогические традиции // История и филология: проблемы научной и образовательной интеграции на рубеже тысячелетий. Материалы международной конференции (2–5 февраля 2000 года). Петрозаводск, 2000. С. 341–349.
- ⁹⁷ Кистерев С.Н. Вехи в историографии русского летописоведения // Очерки феодальной России. Сб. статей. М., 2003. Вып. 7. С. 5–28.
- ⁹⁸ Там же. С. 20.
- ⁹⁹ Шмидт С.О. Жизнь и творчество историка С.Ф. Платонова в контексте проблемы «Петербург–Москва» // Россия в IX–XX веках. Проблемы истории, историографии и источниковедения. М., 1999. С. 533–537. Ср.: Шмидт С.О. Сергей

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Федорович Платонов (1860–1933) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 1. Отечественная история. С. 100–135.

¹⁰⁰ Каганович Б.С. Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995. С. 108.

¹⁰¹ Погодин С.Н. [Рец.: Е.И. Чапкевич Пока из рук не выпало перо... (Жизнь и деятельность Е.В. Тарле) Орел, 1994; Каганович Б.С. Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков] // ВИ. 1997. № 6. С. 169.

¹⁰² Брачев В.С. Русский историк Сергей Федорович Платонов. Автореферат дисс. на соискание ученой степени д.и.н. СПб., 1996. С. 15.

¹⁰³ Брачев В.С. Русский историк Сергей Федорович Платонов. Автореферат... С. 16. Ср.: Брачев В.С. 1) Русский историк Сергей Федорович Платонов. Части I–II. СПб.: «Минерва», 1995 (второе изд. — Русский историк С.Ф. Платонов. Ученый. Педагог. Человек. СПб., 1997. С. 244); 2) Петербургская археографическая комиссия (1834–1929). СПб., 1997. С. 80–81; 3) Русский историк А.Е. Пресняков (1870–1929). С. 77–78 и др.

¹⁰⁴ Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб., 2001. С. 241.

¹⁰⁵ Брачев В.С. [Рец.:] Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории / Подготовка текста, статьи и примечания М.Б. Свердлова М., 1993 // ОИ. 1995. № 3. С. 198–201.

¹⁰⁶ Брачев В.С. Русский историк Сергей Федорович Платонов. Автореферат... С. 16.

¹⁰⁷ См.: Брачев В.С. Русский историк С.Ф. Платонов. Ученый. Педагог. Человек. С. 257–260 и др. Ср.: Панеях В.М. [Рец.:] В.С. Брачев Русский историк Сергей Федорович Платонов. Части I–II. СПб.: «Минерва», 1995. // ОИ. 1998. № 1. С. 136–141.

¹⁰⁸ Брачев В.С. Русский историк С.Ф. Платонов. Ученый. Педагог. Человек. С. 257.

¹⁰⁹ Брачев В.С. «Дело историков» 1929–31 гг. 2-е изд., доп. СПб., 1998. С. 115.

¹¹⁰ Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. С. 8–9.

¹¹¹ Там же. С. 10.

¹¹² Цит по: Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. С. 65–80. См.: Альшиц Д.Н. Петербургская историческая школа. Ее место и значение в исторической науке, в политике, образовании, культуре // Петербургская историческая школа. Альманах. СПб., 2001. С. 11. Ср.: Альшиц Д.Н. [Выступление в прениях] // Третьи мартовские чтения памяти С.Б. Окуня. С. 62.

¹¹³ Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. С. 11.

¹¹⁴ Брачев В.С. Русский историк А.Е. Пресняков. С. 13, 21. Ср.: Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. С. 95.

¹¹⁵ Брачев В.С. Петербургская археографическая комиссия (1834–1929 гг.). С. 132.

¹¹⁶ Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. С. 7, 69.

¹¹⁷ Там же. С. 142–143. Ср.: Брачев В.С. Русский историк А.Е. Пресняков. С. 45.

Историография и литература

¹¹⁸ Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. С. 7, 69.

¹¹⁹ См.: Платонов С.Ф. [Рец.: соч. А.Е. Преснякова «Образование Великорусского государства». Очерки по истории XIII–XV ст. Пг., 1918]. С. 99–100.

¹²⁰ Брачев В.С. Петербургская археографическая комиссия (1834–1929 гг.). С. 7.

¹²¹ Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. С. 8.

¹²² Брачев В.С. [Рец.:] Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории / Подготовка текста, статьи и примечания М.Б. Свердлова М., 1993 // ОИ. 1995. № 3. С. 198–201; Свердлов М.Б. О «петербургской школе историков», корректности историографического анализа и рецензии В.С. Брачева. СПб., 1995; Приложение. Брачев В.С., А.Е. Пресняков. С.Ф. Платонов и петербургская историческая школа. Ответ М.Б. Свердлову (1996) // Брачев В.С. Русский историк А.Е. Пресняков (1870–1929). С. 72–83.

¹²³ Панеях В.М. [Рец.:] В.С. Брачев Русский историк Сергей Федорович Платонов. С. 136–141.

¹²⁴ Свердлов М.Б. О «петербургской школе историков»...

¹²⁵ См.: Брачев В.С. [Рец.:] Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. С. 198–201.

¹²⁶ Свердлов М.Б. О «петербургской школе историков...». С. 22.

¹²⁷ Приложение. В.С. Брачев, А.Е. Пресняков, С.Ф. Платонов и петербургская историческая школа. Ответ М.Б. Свердлову (1996) С. 72–83.

¹²⁸ Там же. С. 79–80.

¹²⁹ Там же. С. 83.

¹³⁰ Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. С. 11.

¹³¹ См.: Панеях В.М. [Рец.:] В.С. Брачев. Русский историк Сергей Федорович Платонов. С. 136–141. В обсуждении книги В.С. Брачева на страницах журнала также приняли участие А.Ю. Дворниченко и Н.Н. Покровский (см.: Дворниченко А.Ю. [Рец.:] В.С. Брачев Русский историк Сергей Федорович Платонов. Части I–II. СПб.: «Минерва», 1995 // Отечественная история. 1998. № 1. С. 134–136; Покровский Н.Н. [Рец.:] В.С. Брачев Русский историк Сергей Федорович Платонов. Части I–II. СПб.: «Минерва», 1995 // Отечественная история. 1998. № 1. С. 142–145).

¹³² Панеях В.М. [Рец.:] В.С. Брачев Русский историк Сергей Федорович Платонов. С. 141.

¹³³ Там же. С. 141.

¹³⁴ Брачев В.С. Возражения критикам // Клио. Журнал для ученых. 1998. № 3 (5). С. 347–348.

¹³⁵ Панеях В.М. О полемической заметке В.С. Брачева «Возражения критикам» // Клио. Журнал для ученых. № 2 (8). С. 362–364.

¹³⁶ Михальченко С.И. Киевская школа в российской историографии. Брянск, 1996. С. 4–5.

¹³⁷ Погодин С.Н. «Русская школа» историков: Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский. СПб., 1997. С. 17–49.

¹³⁸ Погодин С.Н. Научные школы в исторических науках. С. 14–26.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

¹³⁹ Там же. С. 24.

¹⁴⁰ Малинов А.В., Погодин С.Н. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский: историк и философ. СПб., 2001.

¹⁴¹ Фролов Э.Д. Русская наука об античности. СПб., 1999. С. 167.

¹⁴² Там же. 1999. С. 170–171.

¹⁴³ Там же. С. 171.

¹⁴⁴ Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX–XX вв. (анализ отечественных историографических концепций). Екатеринбург-Омск, 2000.

¹⁴⁵ Там же. С. 61–62.

¹⁴⁶ Там же. С. 61.

¹⁴⁷ Там же. С. 71.

¹⁴⁸ Там же. С. 85.

¹⁴⁹ Там же. С. 91–92. Ср.: Корзун В.П. Образы исторической науки в отечественной историографии рубежа XIX–XX вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Екатеринбург, 2002. С. 16–17.

¹⁵⁰ Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX–XX вв. (анализ отечественных историографических концепций). С. 89.

¹⁵¹ Бычков С.П., Корзун В.П. Введение в историографию отечественной истории XX в.

¹⁵² См.: Шапиро А.Л.: 1) Русская историография с древнейших времен до 1917 г. (Учебное пособие) СПб., 1993; 2) Русская историография в период империализма. Л., 1962; Сахаров А.М. Историография истории СССР. Досоветский период. М., 1978; Историография истории СССР с древнейших времен до Великой октябрьской социалистической революции. Под ред. В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева. М., 1961 (второе издание – М., 1971); Русская историография. Учебное пособие. Вып. III. Русская историография периода империализма. Редакторы: В.Е. Иллерицкий, И.А. Кудрявцев. М., 1960; Иллерицкий В.Е.: 1) Историография истории СССР. Методическое пособие для студентов-заочников. Чита, 1969; 2) Историография истории СССР. Методическое пособие для студентов-заочников. М., 1969; 3) Русская историография второй половины XIX в. (Лекции для студентов Московского государственного историко-архивного института). М., 1957; Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941.

¹⁵³ Бычков С.П., Корзун В.П. Введение в историографию отечественной истории XX в. С. 150–222.

¹⁵⁴ Там же. С. 77–80.

¹⁵⁵ Там же. С. 150.

¹⁵⁶ Там же. С. 154–156. Ср.: Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Автореферат дисс. на соискание ученой степени к.и.н. СПб., 1999. С. 12–14.

¹⁵⁷ Бычков С. П., Корзун В.П. Введение в историографию отечественной истории XX в. С. 156.

¹⁵⁸ Там же. С. 157.

¹⁵⁹ Дворниченко А.Ю. Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и творчества. СПб., 2001.

¹⁶⁰ Там же. С. 9.

Историография и литература

¹⁶¹ Там же. С. 175.

¹⁶² См.: Сидненко Т.И. Петербургская школа историков (либеральное направление) // Клио. Журнал для ученых. 2002. № 4 (19). С. 24–27.

¹⁶³ Зашихин А.Н. Русская историография от Нестора до наших дней. План-конспект курса «Историография истории Отечества». Архангельск, 1999. С. 11.

¹⁶⁴ Мауль В.Я. Историография отечественной истории (курс лекций для студентов исторического факультета). Комсомольск-на-Амуре, 1999. С. 111–116.

¹⁶⁵ Историография отечественной истории. С древнейших времен до середины XX столетия: Учебно-методическое пособие. Для студентов IV курса по специальности «История». Сост. Г.Г. Георгиева. М., 1997.

¹⁶⁶ Историография истории России до 1917 г. Учеб. для студентов высших учебных заведений. Под ред. М.Ю. Лачаевой. М., 2003. Т. 2. С. 378.

¹⁶⁷ Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.

¹⁶⁸ Кун Т. Структура научных революций. М., 1985.

¹⁶⁹ Фейрабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.

¹⁷⁰ См.: Sciences and Cultures. Antropological and Historical Studies of Science. Dordrecht, 1981. Ср.: Александров Д.А. Историческая антропология науки в России // ВИЕТ. 1994. С. 4.

¹⁷¹ Александров Д.А. Историческая антропология науки в России. С. 5.

¹⁷² См.: Там же. С. 5–21.

¹⁷³ Там же. С. 21.

¹⁷⁴ Ростовцев Е.А. Термин «петербургская историческая школа» в историографических источниках // Петербургские чтения 98–99. СПб., 1999. С. 417.

¹⁷⁵ Ростовцев Е.А. Методология истории петербургской исторической школы // Петербургские чтения 98–99. СПб., 1999. С. 412–415.

¹⁷⁶ См.: Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Рязань, 2004. С. 47.

А.В. Свешников (Омск)

**ОБРАЗ ИСТОРИИ В СОВЕТСКОЙ
ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(по страницам книги Н.П. Кончаловской
«Наша древняя столица»)**

Как известно, историческое сознание формируется (и репрезентируется) вовсе не специализированными профессиональными историческими текстами. Эти тексты пишут специалисты для специалистов. Массовое историческое сознание (в том числе и у тех же самых специалистов-историков) формируется в современном обществе устной традицией, текстами СМИ, художественной литературой и школьными учебниками. Восприятие этих текстов определяется, с одной стороны, общими политическим, идеологическими и культурными условиями, а с другой, возрастными, психологическими, социальными характеристиками реципиента. Формирование культурной идентификации в детском возрасте происходит под воздействием текстов, ориентированных на специфику детского восприятия, т.е. содержащих четкий образ имплицитного реципиента. Вопрос о том, насколько и как можно контролировать и направлять складывание индивидуального образа истории в рамках той или иной культуры, во многом решается за счет наличия у той или иной культурной группы (элиты) дискурсных и институциональных механизмов воздействия на этот процесс. И одним из таких институтов для советской культуры, на наш взгляд, была детская литература. «Выраженные языком художественных форм основные идеи времени проникали в более глубокие пласты сознания, нежели прямые дидактические указания и лозунги. Образы литературы и искусства подкрепляли и развивали господствующие идеологемы, в какой-то мере упреждая их»¹. Безусловно, можно согласиться с Е. Штейнером, который, указывая на особую роль детской книги в выработке «советской» культурной идентификации, писал: «...работа для детей имела чрезвычайно важное значение для строителей нового мира, поскольку в этом случае адресат художественного текста подвергался не переделке, а изначальному формированию как в эстетическом, так и во всех социально нагруженных аспектах»².

Написанная в 1947–1953 годах книга Натальи Петровны Кончаловской³ (1903–1988) «Наша древняя столица» является, на наш взгляд, одним из лучших произведений о российской истории «для детей младшего и среднего школьного возраста», в котором в полной мере отразилась официальная «сталинская» (т.е. «советская», образца 1940–1950-х гг.) схема отечественной

Историография и литература

истории. В тексте книги идеологические и даже мировоззренческие принципы официальной схемы получили блестящее художественное воплощение. Выявлению идеологических элементов образа истории, содержащихся в этой книге, и посвящена данная работа. При этом мы оставляем в стороне, во-первых, мифологические компоненты, безусловно, присутствующие в этой книге⁴, во-вторых, художественные, риторические и литературные приемы, посредством которых «сделан» текст (это предмет отдельного исследования), в-третьих, вопрос об «исторической достоверности» описания тех или иных событий. Попытаемся редуцировать текст до идеологического остатка, вовсе не отрицая его художественную специфику. Мы постараемся, сконцентрировавшись на тексте, зафиксировать некоторые основные элементы содержащегося в нем «образа истории». В силу того, что формализовать «до прозрачности» сам механизм реконструкции образа не удастся, придется попросту «показывать на примерах». Кроме того, нам потребуется создать вокруг этой реконструкции некий (безусловно, фрагментарный) интерпретационный контекст.

Хотя начать следует с одной оговорки сугубо личного характера. Дело в том, что с самого детства я очень люблю эту книгу. В школьные годы я неоднократно перечитывал ее, многие довольно большие фрагменты знал наизусть (а запоминаются они очень легко), художественные образы этой книги «задавали» мои детские фантазии на исторические темы. Мое личное поле воображаемого прошлого было запрограммировано этой книгой. Сопровождающие издание прекрасные гравюры Владимира Андреевича Фаворского, выполненные вместе с М. Фаворской и В. Федяевой, я мог рассматривать часами⁵. В общем именно эта книга во многом определила мою последующую профессиональную судьбу, и, подвергая анализу положенный в ее основу образ российской истории, я во многом анализирую (насколько хватает критической дистанции и «профессионального цинизма») образ прошлого, заложенный во мне историзмом поздней советской культуры.

Еще раз следует оговориться, что мы имеем дело не с конъюнктурной подделкой под художественную литературу, не с пустым «холодным» официозом, читаемым «из-под палки» и не задевающим за живое, какой можно было ожидать от жены автора советского государственного гимна. Мы имеем дело с настоящим шедевром своего жанра, текстом, с которым «резонирует душа» (сознание советского ребенка) и мурашки бегут по коже. Образы этого текста вошли в сознание целого поколения (или вернее нескольких поколений) советских людей, формируя коллективные представления о прошлом, внося в них в качестве необходимого «несущего» элемента идеологию в той форме, в какой ее можно было искренне любить и верить. Лет десять-пятнадцать назад ведущий одной из телевизионных программ, примерно мой ровесник, начал сюжет из Новгорода Великого с фрагмента книги Н.П. Кончаловской, не указав при этом автора:

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Ой ты, Новгород Великий, Господин торговых дел! От боев с ордою дикой Ты счастливо уцелел.	И стоит твой Кремль-Детинец На высоком берегу, Словно сахарный гостинец В светлый праздник на торгу ⁶ .
---	---

Подразумевалось, что это общеизвестные строки, которые компактно передают сущностный смысл новгородской истории. Так цитируют классику, «народные» (в том смысле, в каком сейчас говорят «культурные») произведения или то, что всплывает из собственной памяти («культурного бессознательного») как очевидное. Конечно, есть люди, читавшие эту книгу и оставшиеся к ней равнодушными. Но, на мой взгляд, их «опыт не типичен» (если вспомнить фразу М.К. Мамардашвили, характеризующую похожую ситуацию).

Кроме того, школьным учителям истории рекомендовалось использовать книгу «для оживления» преподавания на уроке, что они и делали (порой, делают до сих пор).

Первая часть книги Н.П. Кончаловской вышла в 1947 г. и была посвящена 800-летию Москвы. В дальнейшем текст дорабатывался, и переработанное полное издание, включающее все три части, вышло в 1966 г., тиражом 300 тысяч экземпляров.

Книга «Наша древняя столица» посвящена истории допетровской Руси. Хронологически она охватывает период с гипотетического основания Москвы до крестьянской войны под руководством Степана Разина. Поэтому вполне закономерно, что научным консультантом книги являлся доктор исторических наук Владимир Терентьевич Пашуто, будущий член-корреспондент Академии наук СССР, один из общепризнанных специалистов по истории отечественного феодализма.

Итак, какие же конструктивные элементы содержащегося в тексте образа истории позволяют нам говорить о его идеологической окрашенности.

Во-первых, история России в этой книге оказывается историей государства. Государство, по-гегелевски, выступает в качестве необходимой формы народной жизни⁷. Основные политические события, влияющие на историю государства, в обязательном порядке находят освещение на страницах книги. «Неполитическая», в первую очередь социально-экономическая повседневность, которой автор также уделяет немало места, оказывается внутренним наполнением жизни государства.

Центром государства, «сердцем русских земель», оказывается Москва. Киевский, владимирский и прочие этапы русской истории фактически остаются за пределами этой книги. Даже о том, что Москва какое-то время входила в состав Владимирского княжества на страницах книги не говорится. Москва, если не формально, то сущностно, всегда была столицей — вот лейтмотив всей книги. Москва по своему значению не может быть провинцией. Потому,

Историография и литература

в принципе, оказался не возможен в этой книге «петербургский» период русской истории. Независимо от намерений и подлинных целей автора он разрушал бы целостность художественной картины.

В силу этого, даже в тех исторических событиях, в которых роль Москвы не могла быть сколько-нибудь значительной, автор останавливается на описании московских событий. Так, одним из важнейших эпизодов похода на Русь Батыя в 1237–1238 гг., наряду с осадой Рязани и подвигом Евпатия Коловрата, оказывается оборона Москвы, описанная в крайне патетическом ключе:

До берегов Москвы-реки	Во все ворота бьет тараном,
Ордынский хан довел полки ...	Под башнями костры кладет ...
Кремль осаждает хищник смелый!	И нету сил бороться с ханом,
Он до зубов вооружен,	Пылает Кремль, пропал народ!
Он мечет огненные стрелы,	Не много дней осада длится,
По стенам в крепость лезет он;	И вот уж больше нет столицы... (С. 19)

В то время как осада Торжка и Козельска не упоминаются вовсе.

При этом мы имеем дело не с краеведением (историей Москвы), а с историей государства Российского, поданной через призму истории Москвы, со взглядом из Москвы на российскую историю. Точнее говоря, со взглядом из Московского университета. В пользу такого, визуального и университетски централизованного, видения, говорит уже введение книги («Читатель мой, бывал ли ты на башне университета? Видал ли с этой высоты столицу нашу в час рассвета» (С. 5)), в котором разворачивается картина утренней Москвы с главного здания университета, одной из наиболее помпезных построек сталинских времен, построек, которая должна была зримо свидетельствовать о могуществе сталинского Советского Союза. Более того, этот ход во введении задает субстанциональность видения исторического процесса. Сегодняшняя сталинская Москва — эта та же сама Москва, которая, зародившись в глухих болотах много веков назад, всегда, на протяжении всех веков своей истории, была «сердцем русских земель». В этой связи даже не встает вопрос о том, почему именно Москва стала ядром централизованного государства⁸. Иначе и не могло быть. Так определено самим ходом русской истории.

Субстанциональность подчеркивается и специальным риторическим ходом (это, пожалуй, единственный риторический ход, на который мы обратим внимание). Автор постоянно обращается к читателю с фразами «твоя родина», «твоя столица», «твои предки».

Кроме того, субстанциональность напрямую вырастает из подчеркиваемой связи места исторических событий с топографией современной Москвы (в первую очередь в главе «Что Неглинная река повидала за века»).

Фигуры истории, или «общие места» историографии

С этим напрямую связан и очевидный дидактический момент — история учит патриотизму.

Мой читатель! Кто б ты ни был — Ленинградец, иль москвич, Иль из Мурманска ты прибыл, Или с Волги — костромич, Может, вырос ты в станице, Любишь Дона берега, Но тебе Москва-столица Бесконечно дорога. Узнаешь про этот город С самых первых, детских дней, Древний Кремль тебе так дорог — Сердце родины твоей. Взоры всех народов мира, Тех, что не хотят войны, На оплот людского мира — На Москву устремлены.	Тут надежда всей вселенной, Всех, кто нынче в кабале, Тут очаг ее нетленный Братской дружбы на земле. Мы отчизне верно служим, Ты — один из сыновей, Так расти, чтоб ты был нужен, Дорог Родине своей! Ждет тебя за труд награда - Цель прекрасная вдали, Но оглядываться надо На пути, что мы прошли. Ничего нет лучше, краше Милой родины твоей! Оглянись на предков наших, На героев прошлых дней. (С. 312–315)
---	---

«Немосковские» события, например, антиминольское восстание в Твери или Ледовое побоище, напрямую связываются с «московской» историей.

Ты мне скажешь, что в главе Ратники воспеты, О столице, о Москве, Ничего в ней нету! Но отвечу я тебе, Чтоб ребята знали:	Эти ратники в борьбе Землю отстояли! Ведь спасли они тогда Русскую землю — Села, пашни, города, И, стало быть, столицу! (С. 26)
--	--

Во-вторых, особое внимание уделяется деятельности правителей русского государства, особенно тех, кто так или иначе связан с Москвой. При этом главным в их оценке оказывается защита интересов государства: борьба с иноземными захватчиками или мудрая деятельность по собиранию русских земель и формированию единого государства. Поэтому весьма показателен подбор исторических деятелей, попавших в поле внимания автора, поступки, которые они совершили и даваемые им оценки.

Александр Невский фигурирует в тексте только как герой Ледового побоища. При этом подчеркивается, что «вольнолюбивые» новгородцы без князя не могли отстоять свою независимость в борьбе с «иноземными захватчиками». Дмитрий Донской — полководец, сумевший одержать победу над татаро-

Историография и литература

монголами в Куликовской битве, которой придается огромное значение. Иван Калита показан как крепкий рачительный хозяин, заботившийся о Москве и благе государства. Заботой о Москве объясняется его участие в подавлении восстания в Твери и «задабривание» «татарского хана Узбека». Все эти действия приводят в итоге к позитивному результату — возрастает роль Москвы.

Так в Москву повели все дороги земли.
Враждовать с Калитой уж князья не могли.
Нынче спорить с Москвою князьям не с руки:
Ведь чуть что — князь Иван собирает полки.
Чем тяжеле ярмо поднимает народ,
Тем скорее, сильнее богатство растет.
Чем богаче Москва, чем хозяйство крупней,
Тем Ивану сподручнее княжить над ней.
И Москва собрала вокруг себя города.
Лишь с Москвою считалась отныне орда. (С. 33)

Иван Третий на страницах книги, в первую очередь, правитель, сбросивший ордынское иго:

Государь прочитал, и спокоен и строг,
Повернулся к Ахметовым людям,
Бросил наземь ярлык под сафьянов сапог
И сказал: «Дань платить мы не будем! ...» (С. 81)

Кроме того, он создатель первого общерусского судебника и нового «пышного» дворцового обряда. При этом и то и другое объясняется государственной необходимостью.

Единственные образы негативных правителей — это «слабые» первые Романовы, находящиеся в руках своих советников (Михаил Федорович под влиянием Филарета, а Алексей Михайлович под влиянием боярина Морозова) и окружения, Борис Годунов, не заботящийся о народе в трудные годы, а так же «боярский царь» «хитрый» Василий Шуйский. Коварство Шуйского подчеркивается неоднократно.

Слово цареву — неверное слово,
Подлое слово у Шуйского злого (С. 181)

Наиболее сложной оказывается фигура Ивана Грозного, тесно переплетаясь с образом эйзенштейновского фильма. Это мальчик со сложным детством, который, вырастая, заботится прежде всего о благе государства.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

И в этих заботах он несчастлив и одинок. Даже негативные проявления опричнины соотносятся не с политикой царя, а с деятельностью рядовых опричников «на местах» (так и хочется сказать «перегибами на местах»), переусердствовавших в усмирении непокорного, несознательного боярства. Вот как подается в книге «объективное» обоснование опричнины:

Разлеглась лоскутным одеялом	Не страну, а вотчину бояр.
Наша Русь — богатая страна:	
Всея по вотчинам большим и малым	***
Меж боярами разделена.	Царь за это на бояр в обиде,
В кулаке у господина право —	Им ничто — торговля да моря!
Все его и в поле и в селе.	Все сидят в берлогах, ненавидя
На границах ставит он заставу:	Грозного московского царя.
Не ходи, мол, по моей земле!	За чертой — поляки, немцы, шведы,
И войска свои — холопы с пашни —	А внутри — бояре да князья.
Шли на польских панов иль татар,	Все враги! Попробуй поразведай, —
Защищая в битве рукопашной	Все косятся, ненависть тая (С. 111)

В такой ситуации царь вынужден принимать максимально жесткие меры, хотя, «по человечески», и кается потом.

Я окружен врагами!
Но я убить себя не дам,
Я всем им знаю цену.
И с корнем вырвать должен сам
Боярскую измену! (С. 126)

В ненасытной, страшной жажде мщения
Гнал людей на плаху, к палачам,
А потом вымаливал прощенья,
Сам не свой метался по ночам ... (С. 112)

При этом бояре, в общем-то, вполне заслуживают подобного отношения к себе (глава «Как опричник удалой выметал бояр метлой»).

Царь же заботиться о народе, благе страны, покровительствует первопечатнику Ивану Федорову.

Все войны, которые ведет царь, в том числе и Ливонская, а уж тем более поход на Казань, оказываются необходимыми для государства. История строительства Храма Василия Блаженного, в отличие от известного стихотворения Дмитрия Кедрина, дается без трагических коллизий взаимоотношения художника и власти.

Историография и литература

Да и в целом, это, в-третьих, все войны, которые ведет российское государство, оказываются войнами справедливыми. Героизм и патриотизм — вот те черты, которые всегда подчеркиваются у русских воинов, защищающих свою свободу и независимость. Как в схватках с татаро-монголами, так и в битвах с западноевропейскими завоевателями, даже там где русские войны потерпели поражение. Погибший Евпатий Коловрат вызывает, впрочем, в полном соответствии с древнерусскими источниками, восхищение Батыея:

«Когда б тот воин был моим	Он гнал людей, лишенных крова,
Близь сердца я держал такого! ...»	В леса, на страх ордынским ханам,
А над землей клубился дым,	На славу первым партизанам (С. 19)

И в силу этого героизма, русский народ, а, следовательно, и русское государство непобедимы.

Не раз еще Москва горела,	Но солнце к вечеру садится
Не раз глумился враг над ней,	И утром заново встает,
Орда топтала то и дело	Так каждый раз свою столицу
Просторы родины твоей.	Вновь восстанавливал народ (С. 20)

Войны, которые ведет московское государство, оказываются освободительными и для других народов.

Вот здесь нам строить верфи нужно,	Ливонский орден, ссорясь с нами,
Чтоб снаряжались корабли,	Закрыв на Балтику пути,
Чтоб морем северным и южным	И в рабстве эсты с латышами, —
Спокойно плавать мы могли.	Нам доведется их спасти,
Чтоб мы везли товары сами,	И пусть балтийские народы
И русским рынкам был простор,	Пропустят нас в морские воды.
И чтоб с ганзейскими купцами	Вот для чего Руси нужна
Нам не вступать повсюду в спор.	С.Ливонским орденом война! (С. 107—108)

Кстати, представители Западной Европы, в-четвертых, всегда рисуются однозначно негативно, как противники русского государства, намеренные нанести ему удар либо на поле битвы, стараясь захватить русские земли, либо путем политических интриг⁹. Своего рода программу европейской политики по отношению к России разворачивает польский король Сигизмунд Второй в письме к королеве Англии Елизавете:

...Вашему величеству мы не раз писали,
Что пора подумать, чем грозит Восток,

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Чтобы не пришлось нам сетовать в печали,
Если русский варвар будет к нам жесток.
Быстро научаются эти московиты
И владеть оружием, и вести войну,
Если ж будут к Балтике им пути открыты,
Как нам быть спокойным за свою страну?
/.../
Если мы доньше русских побеждали,
Только их невежество помогало нам,
На него рассчитывать можем мы едва ли,
Кое в чем придется уступить врагам (С. 105–106)

Европейская угроза для Руси оказывается более значимой, чем татарская¹⁰.

Но от хана как-никак
Откупиться можно.
Дань заплатим. Спору нет,
Стянем пояс ту же.
Но ливонец — наш сосед,
Дело тут похуже! (С. 23)
— излагает свою политическую программу Александр Невский.

При этом негативные образы европейцев зачастую дополняются на страницах книги сатирическими, снижающими чертами. Вот как, например, начинается глава о Лжедмитрии:

Жили да были, носили жупаны
Ясновельможные польские паны.
Знатные, важные, как поглядишь,
Только в казне королевской-то — шиш!
Все-то им, панам, земли не хватало.
Все-то им плохо, все-то им мало.
Смотрит на русских завистливый пан —
Взять бы себе на работы крестьян!
Пану обидно, что рожь и пшеницу,
Лен и гречиху, скотину и птицу
Русские пахари с русской земли
Польскому пану во двор не везли (С. 154)

Этот же образ повторяется в главе об Иване Сусанине:

Историография и литература

У себя владели землями	Семьи жалкие крестьянские,
Эти паны, тверды лбы,	Как в то время и у нас,
А при землях неотъемлемы	Только жили люди панские
Силы тяглые — рабы,	Тяжелей во много раз (С. 211–212)

В качестве пятого элемента следует отметить «ацерковность» русской истории. Христианство как вероучение и основа средневекового мировоззрения в книге полностью отсутствует. Его просто нет. Герои в своих стремлениях движимы в первую очередь общественно политическими интересами. Даже те московские (Митрополит Алексей, Митрополит Макарий) и околomosковские (Св. Сергей Радонежский) церковные деятели, которые внесли свой вклад в формирование единого централизованного русского государства как политики, на страницах книги не упоминаются. Исключение — митрополит Филарет.

Беглая монашенка Алена, принимавшая участие в крестьянской войне Степана Разина, оказывается «первой русской героиней» (С. 291). Церковь фрагментарно присутствует лишь как социально-экономический институт, например, в главе «О церквях, монастырях и о том, как жил монах», но при этом монашеская жизнь рисуется достаточно негативно (не в духе агиток Емельяна Ярославского, но все-таки негативно). Позитивным в монастыре оказывается то, что его время от времени можно использовать, как оборонительное сооружение, «древнерусскую твердыню». А кроме того все хозяйственные достижения монастырей связываются с трудом эксплуатируемых крестьян. Монастырь на страницах книги подается как феодал:

Монастырские угодья	Пашут поле батраки,
Сразу видны издали —	Крепостные мужики.
Так и пышет плодородьем	Для монаха все готово:
От монашеской земли.	И от рыбного улова,
Монастырская пшеница	И от пчельника доход
Выше роста колосится,	В монастырь несет народ.
Выше пояса — овес,	Скот разводят для монаха,
По колено — сенокос.	Сосны рубят для монаха.
А работает в полях	На крестьянских на кормах
Не звонарь и не монах —	Тунеядцем жил монах (С. 8)

Отсюда мы выходим на следующий, шестой образующий элемент — идею классовой борьбы. Красной нитью со второй главы, усиливаясь к семнадцатому веку (времени формирования крепостного права), через книгу проходит идея об эксплуататорах-феодалах и несчастных эксплуатируемых крестьянах.

В главе с выразительным названием «Мужик с сошкой, а боярин с ложкой» рисуется выразительная картина эксплуатации трудового народа:

Фигуры истории, или «общие места» историографии

А живут по-скотски оба,	Либо окрик, либо плеть!
Этих некому жалеть —	Вот такой тогда была
От младенчества до гроба	Крепостная кабала (С. 62)

Жестокости крепостного права стоят на пути даже личного счастья крестьян (глава «Сказ о том, как в этой были два холопа полюбили»). Отсюда же вытекают однозначно положительные образы руководителей крестьянских войн Ивана Болотникова и Степана Разина, описанию которых отводится очень много места. Пять глав посвящено описанию первой «крестьянской войны», семь — второй.

Но при этом показательно, что правители московского государства сами не рассматриваются в качестве феодалов. Феодалы-злодеи — это всегда бояре «на местах». Более того, в истории о двух любящих холопах именно Патриарх Филарет, вопреки воле непосредственных владельцев крепостных, дал возможность влюбленным соединиться.

Поименованным злодеем, приближенным к власти, оказывается лишь боярин Морозов со своим окружением. Они и выступают в качестве персонализации крепостного права:

Они и казнят и пытаются,
Налогом мучают бедных людей,
А царский зятек потакает.
В Москве у бояр — через край закрома,
А рядом у бедных — пустая сума,
Краюха хлеба, шепотка соли —
и взять с него нечего боле (С. 249)

«Бояре-мироеды» же всегда рисуются при помощи однозначно негативных, порой сатирических штрихов:

Что-то нынче «сам» не в духе,
Он стоит, глядит в окно.
(При таком огромном брюхе
Сесть, конечно, мудрено!) (С. 60—61)

Преследуя личные корыстные интересы, феодалы готовы предать интересы народа и государства. Вот, например, полемика между князьями Трубецким и Пожарским под стенами Московского Кремля:

И сказал он тут Пожарскому:
«Мы с тобою ведь князья,

Историография и литература

Оба близки дому царскому,
С мужиками нам нельзя!»
Глянул князь на князя хмурого
И сказал: «Мы все — народ!»
Тронул стремяем каурого
И за Мининым — вперед...» (С. 190)

Не щадят феодалы тружеников-крестьян и в тяжелое время:

Каждый дом в селе словно глух и нем,
Кто остался жив, тот ушел совсем.
С монастырских стен — пустота, простор,
А посмотришь внутрь в монастырский двор, —
Там довольство все от былых времен,
И гудит нам ним колокольный звон.
Запаслись попы на десятки лет,
Нету дела им до народных бед.
Не хотят попы продавать зерна:
С каждым днем растет на зерно цена.
Лишь помещик так жить богато мог,
Он всю жизнь с крестьян собирал оброк.
В недородный год тот оброк велик:
Чуть не все зерно отдавал мужик.
Умирал холоп, убежал не в срок,
Кто остался жив — тот платил оброк.
Мор, пожар, война — это все равно.
Коль остался жив — подавай зерно!
И несет мужик долю жалкую,
Все под окриком, да под палкою (С. 153)

Так что жестокость по отношению к феодалам и стороны крестьян, и со стороны центральной власти оказывается в определенной мере оправданной.

Таким образом, мы видим, что на страницах книги достаточно отчетливо прослеживаются основные черты официального образа истории, сформировавшегося после поворота первой половины 1930-х гг. к идее славного прошлого великого национального государства и усилившегося в период послевоенного роста патриотических настроений. Идеология «великой русской державы» позднего сталинизма, безусловно, сочеталась с дореволюционной «патриотической» традицией близкой Н.П. Кончаловской, дистанцировавшейся, в отличие от своего мужа, от «советского официоза»¹¹. В то же время, как мы видели, в книге «неявно» присутствуют многие элементы нового, сугу-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

бо советского образа истории¹². Это обусловило благожелательный прием книги и со стороны власти и со стороны массового читателя. Книга оказалась востребована. Именно эта «неявность» идеологии (отсутствие «актуальной» проблематики, откровенной «марксистской» маркированной риторики) и позволила «сделать» удачный идеологический текст.

В знаменитом постановлении Совнаркома и ЦК ВКП(б) о преподавании «гражданской» истории в школе поставлена задача организации преподавания в «живой, занимательной форме», гарантирующей «доступность, наглядность конкретность исторического материала»¹³. Далекое не случайно сам Сталин отдавал свои личные предпочтения гимназическим учебникам Д.И. Иловайского¹⁴. Ему была близка и форма и содержание¹⁵. И детская литература, «создававшая живой образ истории», органично вписалась в соответствующую нишу советской культуры¹⁶.

И последнее. Мы совсем не утверждаем, что автор стремился цинично «зомбировать» детское сознание читателя. Вовсе нет. Он как раз «честно» воспроизводил свой собственный образ истории, то отношение к истории, в которое верил, которое разделял сам. Но как раз это и привело к созданию идеологического текста.

Примечания

¹ Штейнер Е. Искусство советской детской книги 1920 годов. Авангард и построение нового человека. М.: НЛЮ, 2002. С. 20.

² Там же. С. 22.

³ Н.П. Кончаловская, безусловно, не принадлежит к общепризнанным «классикам» советской детской литературы. Она имеет репутацию «добротного» детского писателя, что нас, в общем, вполне устраивает. См.: Арзамасцева И.Н. Н.П. Кончаловская // Русские детские писатели XX века. Библиографический словарь. М., 1997.

⁴ Образец мифологического анализа текстов, отражающих советский образ истории см.: Гловинский М. «Не пускать прошлое на самотек»: «Краткий курс ВКП(б)» как мифическое сказание // НЛЮ. № 22. С. 142–160; Шатин Ю.В. Политический миф и его художественная деконструкция // Критика и семиотика. № 6. 2003; Вайскоп М. Писатель Сталин. М.: НЛЮ, 2002.

⁵ В собрании сочинений Н.П. Кончаловской «Наша древняя столица» опубликована без иллюстраций В.А. Фаворского, и от этого как текст очень многое теряет. Показательно и то, что нарочито «классические» иллюстрации к этой книге откровенно противостоят «авангардной» советской детской книге 1920-х гг.

⁶ Кончаловская Н.П. Наша древняя столица. Картины из прошлого Москвы. М.: Детская литература, 1972. С. 21. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

⁷ В этом отношении книга, безусловно, продолжает традицию дореволюционной исторической литературы, идущую от Н.М. Карамзина и государственной школы.

⁸ Естественно, что в этой книге история России была этнически монолитной. См.: Бордюгов Г., Бухараев В. Национальная историческая мысль в условиях советского времени // Национальные истории в советском и постсоветских государствах.

Историография и литература

/Под ред. К. Аймемахера и Г. Бордюгова. 2-е изд. М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XX, 2003.

⁹ О важности образа «врага» для советской культуры см.: Гудков Л. Идеологема «врага» // Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. М.: НЛО, 2004. «Появление этих образов означало смену оснований легитимации коммунистической власти — переход от революционной идеологической фразеологии к имперской, великодержавной с характерным для нее акцентом на русской национальной исключительности... Такое ретроспективно представленное пророчество о “нынешних днях” ... “закорачивало” связь давних врагов с сегодняшними, историю империи с актуальными событиями, т.е. воспроизводило базовые временные (квази-эпические) конструкции массового сознания» (С. 623). См. также: Мамедова Д. Чужие ходят здесь. Толстяки, шпионы и иностранцы в детских советских книжках // Книжное обозрение «Ex libris». 19 авг. 1999. С. 11.

¹⁰ Интересную параллель подобного «советского евразийства» см.: Юмашева О.Г. «Александр Невский» в контексте евразийской рефлексии // История страны / История кино. Под ред. С.С. Секиринского. М.: Знак, 2004. С. 99–114.

¹¹ См. главы «Мама» и «Отец» в воспоминаниях А.С. Кончаловского «Низкие истины».

¹² Этот образ в то же время достаточно удачно коррелирует с образом, заложенным в советских школьных учебниках по истории. См.: Шеверев А.П. История в школе: образ Отечества в новых учебниках // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. /Под ред. Бордюгова Г.А. М.: АИРО-XX, 1996. С. 37–55. Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы. Под ред. К. Аймермахера и Г. Бордюгова. М.: АИРО-XX, 2002.

¹³ К изучению истории: Сборник. М., 1937. С. 18.

¹⁴ См.: Дубровский А.М. Указующий документ 1937 г. // Проблемы первобытной археологии Евразии. К 75-летию А.А. Формозова. М.: ИА РАН, 2004. С. 35; см. также: Дубровский А.М. Сталин, Демьян Бедный и русская история // Нева. 1999. № 10.

¹⁵ В этой связи вряд ли можно согласиться с утверждением В. Бухараева о стремлении идеологии, вытеснить «занимательность» из преподавания истории в школе. «Занимательность», на наш взгляд, реализовывалась в новых условиях в иных формах. См.: Бухараев В. Идеальный учебник большевизма. Традиции и лингвокультура «Краткого курса истории ВКП(б)» // Новый мир истории России. Форум российских и японских исследователей. К 60-летию профессора Вала Харуки. /Под ред. Г. Бордюгова, Н. Исин, Т. Томита. М.: АИРО-XX, 2001. С. 323–324.

¹⁶ Хотя, естественно, наиболее близким аналогом дореволюционной занимательной исторической книги для детей оказываются работы А. Ишимовой.

М.М. Шахнович (Санкт-Петербург)

**ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
20–70-х гг. XX века
ОБ АНТИЧНОМ СВОБОДОМЫСЛИИ***

В отечественной историко-философской науке, начиная с 20-х годов прошлого века, периода становления советской марксистской мысли, религиозное свободомыслие древней Греции и Рима вызывало довольно большой интерес. Обращение советских авторов к наследию античных мыслителей стимулировалось тем, что в 1922 году В.И. Ленин в статье «О значении воинствующего материализма» призвал к переводу и изданию наиболее значительных сочинений мыслителей прошлых веков, критиковавших религию. В 1925 году в лекции «Интеллигенция и религия» народный комиссар по просвещению РСФСР А.В. Луначарский, утверждая необходимость изучения древних материалистов, говорил, что «через Эпикура и Лукреция тянется к нам ряд мыслителей-материалистов, которые доходят до прямой вражды к представлению о мире как о создании богов и как о целом, управляемом богами»¹.

Первые советские историки античной общественной мысли стремились рассматривать особенности античной религии, исходя из марксистского понимания истории, хотели раскрыть в античном мире «социально-экономический базис религиозных верований», показать, что древние религии прошли длинный путь развития, обусловленный классовой борьбой и изменениями социально-экономического строя. Известный советский историк философии И.К. Луппол (1896–1943) в статье «Атеизм» в «Большой советской энциклопедии»², и в проспекте серии книг «Библиотека атеизма», которую предполагалось издать под его редакцией, указал, что изучение великих достижений духовной культуры прошлых веков включает и исследование трудов мыслителей, критиковавших религию.

В советской литературе первая попытка изложения развития античного свободомыслия была предпринята И.П. Вороницыным (1885–1939) в огромном труде «История атеизма», который до сих пор остается самым подробным сочинением по истории европейского свободомыслия на русском языке. Книга была опубликована в 1928 г. научным обществом «Атеист» и выдержала три издания (последнее в 1930 г.). Она была задумана Вороницыным еще на каторге, куда он был сослан как участник севастопольского восстания 1905 г. Первая часть книги — «Атеизм в древности» — содержит четыре

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 05-03-03307а.

Историография и литература

раздела: 1) Космогонии. Ионийские философы. Элеатская школа. 2) Демокрит. 3) Эпикур. 4) Лукреций. В работе И.П. Вороницын цитировал сочинения Д. Дидро, Ж. Нэжона, Ф. Ланге, Ж. Сури, Р. Пикеля, Г.В. Плеханова³ и др. Интересно, что Вороницын не использовал замечания К. Маркса и Ф. Энгельса по истории античной общественной мысли и философии. «История атеизма» написана под сильным влиянием распространенных в 20-е годы (не только в России, но и в Европе) воззрений о наличии в античном обществе феодализма и торгового капитализма⁴. Вороницын писал, что ионийские философы VI в. до н.э. «принадлежали к буржуазии», боролись с феодальным укладом, а их воззрения «выражали интересы просвещенной буржуазии восточных греческих колоний»⁵. Вороницын не избежал модернизации взглядов античных философов, к примеру: натуралистические греческие мифы «совершенно исключают всякое представление о сверхъестественном», «гилозоизм у Анаксимандра принимает продуманный материалистический и атеистический характер», «то, что называется пантеизмом отличается от атеизма лишь терминологией»⁶. Тем не менее, из его труда читатель выносил представление, что по отношению к античности говорить об атеизме в современном понимании нельзя. Сочинение И.П. Вороницына содержало много интересного фактического материала, опровергало клерикальные суждения о том, что критика религии появилась лишь в XVIII в. Особенно ценно было то, что автор устанавливал связь свободомыслия Нового Времени с его древними предшественниками. Он писал, что, когда Европа изживала средневековье, она испытала неодолимую потребность в замене религиозных воззрений свободомыслием и нашла его готовым в сокровищнице древнегреческой мысли.

Советские историки античной философии стремились интерпретировать сведения о свободомыслии и атеизме в античном мире в свете ленинского замечания о борьбе идеализма и материализма, тенденций Платона и Демокрита, и на этом пути часто искали атеизм там, где его не могло быть, «улучшали» воззрения тех или иных мыслителей, подходили к ним прямолинейно, упрощенно оценивая сложные процессы, происходившие в духовной жизни древнего общества. Многие авторы писали, что античная критика религии выражала только интересы «передовых классов», то есть античной демократии. Другие отмечали «антидемократизм» некоторых критиков религии. Так, историк античности С.И. Ковалев писал: «Философия Гераклита... выросла в обстановке революции VI в. и отражала собой острую социальную борьбу... Гераклит по своим политическим убеждениям был реакционером... и неоднократно выражал свои антидемократические взгляды»⁷.

Эта присущая эпохе манера интерпретаций древней философии проявились и в «Очерках по истории атеизма» (1929) А.Т. Лукачевского (1893–1943). Под его редакцией в 1931 году была опубликована «Хрестоматия по истории атеизма», содержащая отдельные фрагменты сочинений древних

Фигуры истории, или «общие места» историографии

мыслителей. Лукачевский стремился доказать, что эволюция религиозных идей в античном обществе неразрывно связана с развитием социально-экономических отношений. Он определял античную религию как порождение феодализма и рассматривал ее критиков как «представителей буржуазно-торгового класса», возглавлявших «тогдашнее революционное движение против феодальной знати»⁸. Лукачевский считал Перикла «лидером буржуазной демократии», вокруг которого собирался «кружок из атеистов», а в Критии увидел... «своего рода античного Муссолини»⁹.

В 30-е годы «политическая актуализация» античной истории, начатая еще «буржуазными» европейскими историками конца XIX — начала XX вв. (Гротом, Моммзеном, Пельманом и др.), стала считаться не только ошибочной, но и вредной, так как в ней стали видеть «опровержение марксизма». Вот как С.И. Ковалев объяснял опасность этой позиции: «Так как античный пролетариат, несмотря на свой “социализм”, не смог добиться освобождения, то, значит, обречена на неудачу и борьба современного пролетариата. Социализма не может быть, так как его не смогли добиться в древности!»¹⁰

«Очерки по истории философии» В.К. Сerezникова (Т. I. М.; Л., 1929) и «Очерк истории философии классической Греции» М.А. Дынника (М., 1936) очень упрощенно представляли воззрения античных философов, игнорировали специфические черты античного свободомыслия. К примеру, Дынник писал: «Управление миром сверхъестественной силой начисто отрицается Анаксименом, что же касается того, что он “не отрицал богов”, если это и так, особенность эта должна рассматриваться как уступка общепринятой религии, как теологическая непоследовательность»¹¹.

Первые робкие попытки преодолеть примитивизм в оценке античного свободомыслия предпринял М.П. Баскин. В 1938 году он написал для «Антирелигиозного учебника», имевшего несколько изданий, главы «Атеизм в древней Греции» и «Атеизм в древнем Риме», которые в расширенном варианте были опубликованы в журнале «Антирелигиозник» в № 12 за 1938 и в № 1 за 1939 г. По его мнению, античный атеизм возникал в первую очередь там, где велась борьба против землевладельческой знати, где общественная жизнь была бурной, где демосу удавалось добиться политических прав и жреческие группировки утрачивали сколько-нибудь заметное влияние, поэтому в Спарте, где у власти была аристократия, свободомыслие не могло распространиться. Баскин выделил три достижения античных вольнодумцев: во-первых, они доказывали силу и значение научного знания, противоположного суевериям, предлагали вместо мифологического, новое, разумное истолкование природных явлений; во-вторых, начали поиск рационального объяснения происхождения религии; в-третьих, отвергали не только суеверия и жречество, но нередко и саму религию. Баскин значительно преувеличил атеистическое содержание античной критики религии, утверждая, например, что Фалес

Историография и литература

«выступал как материалист и атеист, хотя и в начальной форме», а вся его концепция в целом — «концепция антирелигиозная»¹². Даже уже в 1955 г., Баскин продолжал изображать философов-ионийцев как «борцов с религией», хотя и отмечал, что «на словах эти мыслители не отрицали существования богов, однако они считали, что боги сами произошли из материи и бес- сильны изменить законы природы»¹³. Баскин не отрицал, что отдельные античные материалисты не были атеистами, однако эта их непоследовательность — результат того, что никто из них не смог дать подлинно научный анализ общества и его явлений¹⁴.

В течение нескольких десятилетий отношение к античным философам в советской историографии, в конечном счете, определялись положениями, изложенными в коллективных трудах Института философии Академии наук СССР по истории философии. В 1940 году вышел первый том многотомной истории философии — «Философия античного и феодального общества», второй «Философия XV—XVIII вв.» — в 1941 г. В 1943 г. авторский коллектив этих томов был удостоен Сталинской премии I степени. Эти книжки в серых коленкорových обложках, получившие такую апробацию, стали популярны, «заезжены», и быстро приобрели среди универсантов прозвище — «Серая лошадь». Во введении к первому тому (авторы-составители тома — Г.Ф. Александров, В.Ф. Асмус, Б.Э. Быховский, М.А. Дынник, М.Б. Митин, О.В. Трахтенберг, Б.С. Чернышев, П.Ф. Юдин), освещавшем исторические предпосылки возникновения греческой философии, впервые в советской историографии была сделана попытка объяснения зарождения и развития античного свободомыслия не только социально-экономическими изменениями, но и кризисом мифологии. Схема развития античного свободомыслия и атеизма была в этом издании близка к схеме Вороницына: свободомыслие ионийских мыслителей, вольнодумство и атеизм V в. до н.э. и его борьба с идеализмом и религией («линия Демокрита» и «линия Платона»), атеизм Эпикура и Лукреция Кара. Отвергая «идеалистические тенденции» многих зарубежных историков философии, теологизирующих мировоззрение древних мыслителей, авторы преувеличили зрелость атеистических идей античных мудрецов. Например, утверждалось, что «совершенно очевиден атеистический характер философской системы Анаксагора. <...> Анаксагор решительно и безоговорочно порвал с господствующими среди греческого народа верованиями»¹⁵.

В первом томе следующего многотомного издания «История философии» (1957) глава об античной философии была написана М.А. Дынником и А.О. Маковельским при участии Б.Н. Кедрова. В этом издании был сделан упор на изложение философии рабовладельческой Греции, расцвета ее и упадка, исходя из замечаний Маркса, Энгельса, Ленина. В этом издании практически полностью игнорировался объект критики свободомыслящих философов, т.е. сама древнегреческая религия. Хотя в российской «левой» историографии еще

Фигуры истории, или «общие места» историографии

П.Л. Лавров отмечал, что религиозные верования должны сделаться необходимым введением в историю всех философских учений и необходимым элементом истории последних. «Истории религий не могут быть поняты без истории метафизических воззрений, — писал Лавров, так как последние заключают в себе элемент народного верования все равно, положительно или отрицательно философ относится к религии»¹⁶.

Во второй главе первого тома «Истории философии» 1957 года «Возникновение и развитие философии в Греции и Риме в эпоху рабовладельческого строя» М.А. Дынник значительно меньше уделил внимания вопросам вольнодумства, по сравнению с тем, что об этом было сказано в аналогичном издании 1940 года. В книге очень кратко отмечалось, что материалистическая философия Демокрита сыграла значительную роль в истории атеизма и указывалось: «Выдвинутое им материалистическое понимание природы не оставляло места для веры в богов»¹⁷, что, на самом деле, противоречит признанию Демокритом существования богов. Воззрения Эпикура определялись Дынником как атеистические, причем причина признания греческим мыслителем и его римскими последователями существования богов в междумириях никак не объяснялась. В «Истории философии» утверждалось, что Лукреций якобы критиковал Эпикура за его учение о богах¹⁸, хотя известно, что в пятой книге поэмы Лукреций вполне в эпикурейском духе сам признает их существование.

В 1960 году издательство МГУ опубликовало учебное пособие М.А. Аврамовой «Из истории античного атеизма», которое было полно антиисторических социологических интерпретаций сорокалетней давности. Так в главе «Исторические условия возникновения древнейшего атеизма» описывалась «борьба за экономическое развитие» как одновременная «борьба против религиозных обычаев». Отмечая, что античный атеизм был тесно связан с формированием материалистической философии, Аврамова переоценивала радикализм критики мифологической картины мира у ранних философов: «Первые ионийские натурфилософы Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит были одновременно и атеистами»¹⁹, Анаксимандр «пропагандировал атеистические взгляды»²⁰, и даже все софисты были атеистами. При этом автор пособия считала, что античная критика была направлена лишь против мифологических представлений, а не против культа и жречества.

Новый этап в изучении древнего свободомыслия и атеизма начался после опубликования в 1960 году статьи П.Н. Галанзы, который резко возражал против попыток объявить всех древних вольнодумцев материалистами и сторонниками атеизма. Он упрекал авторов, указывающих на воинствующий характер античного атеизма, в отождествлении его с атеизмом французских материалистов XVIII в. Он выступал против утверждения о наличии «атеистических тенденций у милетцев, против искажений в переводе поэмы “О природе вещей”»²¹. Однако эти воззрения изживались в нашей литерату-

Историография и литература

ре с большим трудом. Так, например, еще в 1972 г. П.А. Пашков писал: «Формальное допущение существования богов Демокритом и Эпикуром явилось следствием непоследовательности их атеизма, обусловленное классово-ограниченностью мыслителей»²². М.М. Григорьян продолжал утверждать, что «эфесский мыслитель (Гераклит — *М.Ш.*) признавал богов, однако по существу в его учении не оставалось места для них ни в качестве творцов мира, ни в качестве источника диалектического развития»²³.

Статья Ф.Х. Кессиди «Религиозное свободомыслие и атеизм в Древней Греции», опубликованная в журнале «Философские науки» в 1962 году (№ 1. С. 45–60), — это лучшее, что было написано в процессе преодоления вульгарно-социологических воззрений. Она была опубликована в качестве главы в учебнике «История и теория атеизма» (М., 1962). Кессиди выделил четыре периода развития античного атеизма: первый — зачатки атеизма в эпоху становления древнегреческой рабовладельческой демократии (VII–VI вв. до н.э.), второй — развитие атеизма в эпоху древнегреческой рабовладельческой демократии (V в. до н.э.), третий — борьба атеизма и религии в эпоху упадка древнегреческой рабовладельческой демократии, четвертый — атеизм в эллинистических государствах. Кессиди отметил, что отсутствие строгой религиозной догматики и касты жрецов создало благоприятные условия для развития атеистической мысли в античном мире. Для большинства древних мыслителей характерна уверенность, что с помощью разума все можно познать и объяснить. Признавая наличие «атеистических мотивов в мировоззрении» философов милетской школы, Кессиди считал, что они «объявили природу свободной от вмешательства сверхъестественных сил и существ... разрушили представления о господстве в мире произвола богов и развили идею о естественности всего происходящего, о естественном порядке и закономерности»²⁴. Однако он полагал, что такой взгляд на мир еще не имел резко выраженного атеистического характера и не устранил бога в принципе. Отмечая в древней Греции преследования за атеизм (действительный или приписываемый), Кессиди писал, что греческие мыслители, ранние в особенности, были пантеистами и гилозоистами.²⁵ Анализируя отношение Гераклита к религии, Кессиди писал, что он не был атеистом или теистом в современном смысле этих слов. Но это не означает, что отношение Гераклита к народной религии не было резко отрицательным. По мнению Кессиди, атеизм — явление редкое в истории греческой теоретической мысли; он получил лишь известное распространение в конце V — первой половине IV в. до н.э. Многие греческие мыслители, начиная с Ксенофана, подвергали критике народные религиозные верования, но эта критика, отнюдь не обязательно, велась с позиций атеизма. Ксенофан, по мнению Кессиди, не пытался создать теорию происхождения религии, но выступил против политеизма и антропоморфизма. Рационалистическая критика при-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

вела его к мысли, что боги — только символы, аллегории естественных сил, однако, не независимо от цели, которую он преследовал, его воззрения способствовали развитию атеизма. В книге 1972 г. «От мифа к логосу (Становление греческой философии)» Кессиди углубил свою концепцию отношения философского разума к религиозной вере²⁶.

Среди исторических сочинений 30–40-х годов, в которых содержались замечания по истории древнего вольнодумства, особо следует выделить ценные труды С.Я. Лурье²⁷ истории античной науки и общественной мысли, которые неоднократно подвергались незаслуженной критике²⁸. Историческая наука 50–70-х годов связывала распространение религиозного вольнодумства и атеизма в древней Греции с «передовой идеологией» демократических слоев, их борьбой против аристократии, со стремлением демократической «интеллигенции» к просвещению²⁹. Очень плодотворным оказалось обращение к изучению проблем античного свободомыслия историка-византиниста А.П. Каждана. В его книге «Религия и атеизм в древнем мире» содержатся сведения об отказе некоторых мыслителей древности от религиозного объяснения общественных явлений, о воздействии «античного Просвещения» на литературное творчество.³⁰ По мнению А.П. Каждана, развитие в V веке до н.э. наук (математики, астрономии, медицины, истории) столь нужных купцам, ремесленникам и морякам, которые представляли оплот древнегреческой рабовладельческой демократии, способствовало распространению вольномыслия. Атеистические идеи были восприняты и некоторыми представителями олигархии, которые в борьбе с демократическими порядками использовали учение о естественном праве. Для них критика божественного законодательства стала критикой полисных традиций. А.П. Каждан отмечал, что древнегреческий атеизм был очень ограниченным, он сводился, по существу, к критике мифологии и к признанию независимости человеческой судьбы и блага от сверхъестественных сил. Философы, отрицая ритуалы, празднества и обряды, а также богов антропоморфной олимпийской мифологии, признавали, как правило, существование некоего божества.

В 60-е годы некоторые советские историки древней общественной мысли, позволили себе высказывать соображения, что философия в период своего становления использовала мифологическую (религиозную) форму для своих идей. Эта идея «подкреплялась» цитатой К. Маркса из «Теории прибавочной стоимости»: «Философия сначала отрабатывается в пределах религиозной формы сознания и этим, с одной стороны, уничтожает религию как таковую, с другой стороны, по своему положительному содержанию сама движется еще только в этой идеализированной, переведенной на язык мысли религиозной сфере»³¹. Важно иметь в виду, что до начала 60-х годов этот вывод К. Маркса, как целый ряд других его суждений, касающихся религии и атеизма, никогда прежде не упоминался в советской литературе.

Историография и литература

Для дальнейшего изучения философских оснований античной критики религии большое значение имели публикация в 1970 г. текстов Демокрита с комментариями С.Я. Лурье, а также изданные в 70-е годы книги В.Ф. Асмуса, А.Н. Чанышева и М.И. Шахновича³². Постепенно начинался новый период в исследовании истории древнего свободомыслия.

Примечания

- ¹ Луначарский А.В. Почему нельзя верить в бога. М., 1952. С. 252.
- ² Луппол И.П. Атеизм // Большая Советская Энциклопедия. Т. 1. М., 1920. С. 738.
- ³ Soury J. Breviare de l'histoire du materialisme. Paris, 1881; Ф. Ланге. История материализма. СПб., 1899.
- ⁴ Например: О. Танхилевич в книге «Эпикур и эпикуреизм» (1926) следовала за К. Каутским, который в труде «Этика и материалистическое понимание истории» рассматривал учение Эпикура как рационализм, отражавший особенности идеологии представителей древнего «торгового капитализма».
- ⁵ Вороницын И.П. История атеизма. М., 1930. С. 10, 13.
- ⁶ Там же. С. 10, 11, 12.
- ⁷ Ковалев С.И. История античного общества. Греция. Л., 1936. С. 260.
- ⁸ «Антирелигиозник». 1929. № 12. С. 40.
- ⁹ Там же. С. 43.
- ¹⁰ Ковалев С.И. Там же. С. 51.
- ¹¹ Дынник М.А. Очерк истории философии классической Греции. М., 1936. С. 35.
- ¹² Баскин М.П. Атеизм в Древней Греции // «Антирелигиозник». 1938. № 12. С. 24.
- ¹³ Баскин М.П. Материализм и религия. М., 1955. С. 42.
- ¹⁴ Там же. С. 45.
- ¹⁵ История философии. Т. 1. М., 1940. С. 93–94.
- ¹⁶ Лавров П.Л. О религии. М., 1989. С. 89.
- ¹⁷ История философии. Т. 1. М., 1957. С. 107.
- ¹⁸ Там же. С. 100.
- ¹⁹ Авраамова М.А. Из истории античного атеизма. М., 1960. С. 10.
- ²⁰ Там же. С. 20.
- ²¹ Галанза П.Н. Об антиисторической характеристике взглядов античных материалистов. Вестник МГУ. Сер. 8. № 3. 1960. С. 75–83.
- ²² Пашков К.А. История и теория атеизма. М.: МГУ, 1972. С. 57.
- ²³ Григорьян М.М. Атеизм в Древней Греции и в Древнем Риме // В кн.: Курс лекций по истории атеизма. М., 1974. С. 28.
- ²⁴ История и теория атеизма. М., 1952. С. 89.
- ²⁵ Там же. С. 94–101.
- ²⁶ Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии). М., 1972. С. 27–30.
- ²⁷ См.: Лурье С.Я. История античной общественной мысли. М.; Л., 1929; Он же. Демокрит. М., 1937; Он же. Очерки истории античной науки. М., 1947.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

²⁸ См. например: Дынник М.А. За марксистское изучение античного материализма // Вестник древней истории. 1948. № 4. С. 5.

²⁹ См.: Аветисян А.А. Очерки по истории религии и атеизма. Киев, 1950; Кубланов М.М. Мыслители древности о религии. М., 1950; Борухович В.Г. Свободомыслие античности — пролог атеизма Нового Времени // В кн.: История свободомыслия и атеизма в Европе. М., 1955; Лившиц Г.М. Свободомыслие и атеизм в древности и средние века. Минск, 1973; Фролов Э.Д. Религия и атеизм в античном мире // Вопросы научного атеизма. 1975. Вып. 20. С. 115—135.

³⁰ Каждан А.П. Религия и атеизм в древнем мире. М., 1957. С. 194—222, 248—252.

³¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 1. С. 23.

³² Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1968 (2-е изд. 1976); Чанышев А.Н. Ионийская философия. М., 1966 (в соавт. с Э.Н. Михайловой); Он же. Эгейская предфилософия. М., 1970; Он же. Итальянская философия. М., 1975; Шахнович М.И. Первобытная мифология и философия. Л., 1971; Он же. Происхождение философии и атеизм. Л., 1973.

И.В. Черказыянова (Санкт-Петербург)

А.А. КЛАУС – ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОРИОГРАФ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

История изучения российских немцев, насчитывает многие десятилетия. В перестроечный период в научной литературе произошла смена терминологии, и в настоящее время вместо понятия «советские немцы» употребляется «российские немцы». Под российскими немцами подразумеваются иностранные колонисты, выходцы из германских княжеств, поселившиеся на землях Российской империи в XVIII–XIX вв., а также их потомки, расселившиеся на различных территориях империи, часть которых в настоящее время не входит в состав России. В таком толковании понятие вошло в энциклопедию «Немцы России».¹

В отечественной историографии выделяются три периода в изучении проблем российских немцев: дореволюционный, советский и постсоветский. На примере историографии российских немцев отчетливо прослеживаются влияния политических процессов как внутри страны, так и на международной арене, на формирование взглядов и оценок исследователей в отношении этого этноса. В первую очередь, речь идет о двух мировых войнах, в которых Россия и Германия противостояли друг другу, что влияло на положение российских немцев и отношение к ним со стороны властей, а также определенных общественных кругов, что, в конечном итоге, сказывалось на подходах исследователей и публицистов к немецкой проблематике. Во второй половине XIX в. заметное влияние на состояние исследований оказали такие факторы, как изменение системы управления колонистами в период реформ Александра II, а также создание Германской империи. Депортация немецкого населения страны в 1941 г., последовавшие затем «трудармия» и спецпоселение немцев сделали тему практически закрытой для исследований. Качественно новый этап связан с перестройкой. С конца 1980-х гг. идет интенсивное изучение проблематики учеными России, Украины, Казахстана, Киргизии, Германии, собран и обобщен большой архивный материал по различным периодам.

Дореволюционный период в историографии российских немцев — это время накопления фактов и первых попыток по осмыслению и постановке общих проблем. Первыми авторами были церковные деятели, католические и лютеранские, а также светские исследователи, деятели государственных структур. В числе последних следует выделить чиновников Министерства государственных имуществ (далее — МГИ). В подчинении этого министерства коло-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

нисты находились с момента его создания и до 1871 г. Школы были переданы в состав Министерства народного просвещения позже. Процесс растянулся более чем на 10 лет, начиная с 1881 по 1892 г., что произошло в значительной мере и из-за позиции Генеральной евангелическо-лютеранской консистории, тормозившей передачу церковных школ в руки светских властей. В составе МГИ контроль над иностранными поселенцами исполнял отдел колоний Департамента общих дел, а на местах действовали Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края России (Одесса) и Саратовская контора иностранных поселенцев. Вся информация о поволжских, новороссийских, петербургских и других колониях концентрировалась в руках нескольких чиновников МГИ, что позволяло им составлять не только аналитические записки для собственного министра и других ведомств, но и использовать документацию в исследовательских целях.

Если для церковной историографии XIX в. первостепенное значение имело обоснование руководящей роли церкви в духовной жизни колонистов, то для светских исследователей важно было понимание проблем, связанных с иностранными колонистами, в контексте социального и экономического развития страны. МГИ было создано не только для управления принадлежавшими государству земель и недр, но и для усовершенствования сельского хозяйства. Одной из главных задач ведомства была такая организация управления государственными крестьянами, которая повысила бы их благосостояние и послужила примером для помещиков. В решении этой задачи важное место отводилось иностранным колонистам. Поселенцы должны были освоить пустующие земли, создать образцовые хозяйства, а их опыт должен был задавать некий вектор в решении крестьянского вопроса в масштабах страны. Поэтому светские авторы постоянно обращались к вопросу о целесообразности иностранных поселений в России и об их эффективности.

Первые публикации министерских чиновников о немецких колонистах появились на страницах «Журнала Министерства государственных имуществ» уже в 1838 г. Статьи А.П. Заблоцкого-Десятовского (1807—1881), служившего в МГИ в 1838—1859 гг., нельзя назвать научными, т.к. перед автором стояла иная задача. Это были наблюдения, сведения, собранные им во время командировок.² Он был убежденным противником крепостного права, как и сам министр граф П.Д. Киселев. При разработке проекта Киселева об ограничении крепостного права Заблоцкий был направлен летом 1841 г. во внутренние губернии под предлогом обозрения управления государственных имуществ для сбора сведений о положении помещичьих крестьян. Собранный материал о немецких колониях давал некоторую пищу для размышления при разработке записки П.Д. Киселева «О крепостном состоянии России».

Первым официальным историографом российских немцев стал Клаус Александр (Юлий) Августович (1843 — после 1891). Родился в семье Августа

Историография и литература

Августовича Клауса, учителя-органиста из поволжской колонии. В 1850-е гг. отец работал столоначальником в Саратовской конторе иностранных поселенцев. Александр Клаус окончил Саратовскую гимназию, там же раньше учился и его старший брат Самуил. В 1851—1853 гг. словесность в гимназии преподавал Н.Г. Чернышевский, под влиянием которого сформировались взгляды Самуила, ставшего на путь революционной борьбы. Александр также испытывал влияние идей Чернышевского, но не стал активным революционером, как брат, хотя принимал участие в студенческом движении. В 1860 г. он поступил на медицинский факультет Казанского университета, через год перешел на физико-математический факультет (разряд естественных наук). Входил в студенческий кружок, преподавал в воскресной школе при университете. В марте 1862 г. был исключен из списков студентов, но через полгода восстановлен вольнослушателем. В апреле 1864 г. он оставил учебу, не окончив последнего курса.

А. Клаус начал работать в короткий период между окончанием гимназии и поступлением в университет. Видимо, при содействии отца Александр поступил в 1858 г. в Саратовскую контору иностранных поселенцев, которую возглавлял А.А. Фрезе, и год служил смотрителем колоний. После оставления университета младший Клаус служил в Петербурге в МГИ: сначала старшим столоначальником IV отделения Первого департамента, с 1868 г. — старшим столоначальником отдела колоний Департамента общих дел, с 1870 г. — начальником отдела колоний. В 1871 г. перешел в Министерство путей сообщений делопроизводителем, в 1873—1875 гг. стал вице-директором Департамента шоссейных и водных путей сообщений. В 1880-е — 1890-е гг., вероятно, работал в Чернигове, известно лишь, что некто Александр Клаус в 1891 г. был техником Черниговской губернской земской управы. О его деятельности в последние годы нет сведений.

Главный труд А.А. Клауса «Наши колонии»³ был первой обобщающей работой о немецких колонистах в России в отечественной историографии. Книга не утратила актуальности и сегодня, ее можно рекомендовать в качестве настольной любому современному исследователю, начинающему заниматься проблемой российских немцев. Монография появилась в свет, когда автору исполнилось 26 лет. В нее вошли ранее опубликованные им очерки о колониях, основанных сектантами, к которым автор относил гернгутеров в Сарепте и меннонитов, а также очерк о роли духовенства в жизни колониестроительной школы.⁴ Эти предварительные материалы регулярно печатались на страницах «Вестника Европы» в 1868—1869 гг. Кроме них в книге имеются главы о порядке наследования, страховании строений от пожаров, волостных банках и другие, а также ценные приложения, среди них «Ведомость о колониях иностранных поселенцев» с указанием даты основания и численности жителей в каждом поселении, карты южных и поволжских колоний.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

После выхода в свет в 1868 г. серии статей Клауса под общим названием «Сектаторы-колонисты» на них обратил внимание министр МГИ А.А. Зеленой и высказал пожелание, чтобы эта работа была отпечатана отдельным тиражом. Кроме того, он просил автора не ограничиваться этой публикацией и продолжить начатую разработку истории и статистики иностранной колонизации в России.⁵

Книга была широко задумана, предполагалось, что она выйдет двумя выпусками, общим тиражом 3000 экземпляров. Клаус просил МГИ выдать пособие на издание первой части книги в размере до 2000 рублей, а погасить задолженность обещал необходимым количеством книг. Планировалось, что после продажи первого выпуска на вырученные средства можно будет опубликовать вторую часть.⁶ Однако была издана только первая часть. На ее издание Клаус получил 22 февраля 1869 г. 1500 рублей, а уже 14 мая 1869 г. он докладывал в МГИ, что сдал в Департамент общих дел 600 экземпляров.⁷ Из этого числа 122 экземпляров было подарено различным учреждениям и отдельным лицам, 250 — направлено в Одессу в Попечительный комитет об иностранных поселенцах, 200 — в Саратов в Контору иностранных поселенцев, 28 — оставались в МГИ.⁸ Распространением занимался Департамент общих дел МГИ, рассылка прошла в конце мая 1869 г., т.е. книга попала к читателям вскоре после выхода в свет. Среди тех, кто получил экземпляр, были президент императорской Академии наук Ф.П. Литке, министр просвещения и обер-прокурор Св. Синода Д. А. Толстой, бывший министр государственных имуществ граф П.Д. Киселев, генерал-лейтенант, особо приближенный к Александру II А.В. Адлерберг, председатель Департамента законов Государственного совета, преподаватель законоведения великому князю Александру Александровичу барон М.А. Корф, был среди них и А.П. Заблоцкий-Десятовский.

Второй выпуск книги предполагалось посвятить «обзору бытовых условий» протестантских и католических колоний Поволжья и Юга России. Под «бытовыми условиями» Клаус подразумевал правовые основы разных форм земельного владения, практиковавшихся в поволжских и южно-российских колониях. Автор планировал провести сравнение лютеранских и католических колоний с колониями меннонитов, описать несколько отдельных поселений, в которых существовала подворно-наследственная система распределения земли. Эту систему землевладения он считал более продуктивной, чем существовавшую в поволжских колониях. Идею второго выпуска книги Клаус частично реализовал, опубликовав в 1870 г. журнальный очерк «Община-собственник и ее юридическая основа».⁹

Появление работ Клауса в конце 1860-х гг. совпадает с началом работ МГИ по подготовке реформирования управления немецкими колониями. На первом этапе готовилась передача колоний в управление общих губернских учрежде-

Историография и литература

ний, что произошло в 1871 г. (Правила 4 июня 1871 г.). В дальнейшем планировалось передать все школы колонистов в управление Министерства просвещения. В определенном смысле, книгу Клауса можно считать теоретическим обоснованием этих реформ, в первую очередь, в вопросах церкви и школы. Он стоял на государственных позициях, поэтому ратовал за светскость образования, введение русского языка в школы, критиковал лютеранское духовенство. Клаус вошел в состав комиссии МГИ, созданной осенью 1869 г. для обсуждения вопросов об училищной части колоний, о порядке заведования имущественными делами протестантских церквей в колониях. Духовенство не было приглашено к разработке проекта, а сам проект «Положения об училищах в селениях иностранных колонистов» вызвал острую критику Генеральной, Московской и Петербургской консисторий. Яков Дитц пишет, что IX глава книги Клауса о духовенстве и школе вызвала бурю протестов и жалоб пасторов. В результате Клаус был уволен из министерства.¹⁰

Причина увольнения Клауса из МГИ, на наш взгляд, не столь однозначна, как пишет Дитц. В 1871 г. прошла передача колонистов из ведения МГИ в губернские учреждения. Переход завершился для поволжских колоний 20 октября 1871 г., для южнороссийских — 30 ноября 1871 г.¹¹ После этого началось расформирование собственно учреждений по управлению колонистами и увольнение многих чиновников. Вряд ли начальника Отдела колоний А. Клауса уволили за обычной ненадобностью. Однако для соблюдения приличий, чтобы не портить отношений с Генеральной лютеранской консисторией, могли пожертвовать Клаусом — он перешел из одного ведомства в другое, в Министерство путей сообщения, а за успешное проведение в действие Правил 4 июня 1871 г. в числе высших чиновников был награжден 6 марта 1872 г. земельным наделом. А.А. Клаусу было назначено 1000 десятин земли.¹² Вероятно, не только книга, но и реальные попытки воплотить ее положения в жизнь послужили поводом для увольнения. Именно это событие, возможно, повлияло и на дальнейшую судьбу книги Клауса: второй выпуск не вышел. После 1870 г., по имеющимся сведениям, он не обращался к проблемам немецкого населения.

Книга Клауса была написана на русском языке, и автор сам сетовал на то, что вряд ли ее будут читать колонисты, плохо знавшие русский язык. В 1887 г. она была переведена на немецкий язык И. Тевсом,¹³ что, несомненно, расширило круг читателей в то время. В настоящее время и русский вариант, и немецкий стали библиографической редкостью. Возможно, стоит подумать о ее переиздании. Она по-прежнему востребована исследователями, используется активно и в качестве источника по истории немцев середины XIX в., а ее положения о взаимоотношениях церкви и школы звучат актуально и сегодня.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Примечания

¹ В настоящее время издано два тома, рукопись третьего подготовлена к печати. См.: Немцы России: Энциклопедия. Т. 1: А-И. М.: «ЭРН», 1999; т. 2: К-О. М.: «ЭРН», 2004.

² Заблочкий-Десятковский А. П. Статистические сведения об иностранных поселениях в России // ЖМВД. 1838. Ч. 28, № 4. [Имеется отдельный оттиск из журнала (СПб., 1838)]; Хозяйственные замечания о некоторых губерниях Южного края России // ЖМГИ. 1841. Ч. 1, кн. 1; Описание меннонитских колоний в России // ЖМГИ. 1842. Кн. 1, ч. 4.

³ Клаус А. Наши колонии: Опыт и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России. Вып. 1. СПб., 1869.

⁴ Клаус А. Сектаторы — колонисты в России. Исторические очерки // Вестник Европы. 1868. Т. 1. Кн. 1 (январь). С. 256—300 [о колонии Радичев]; Т. 2. № 3 (март). С. 277—326 [Сарепта]; Т. 3. № 6 (июнь). С. 665—722 [Меннониты]; Т. 4. № 8 (август). С. 713—766 [«Меннониты», продолжение]; Духовенство и школы в наших немецких колониях // Вестник Европы. 1869. Т. 1. С. 138—174; Т. 5. С. 255—274; Община-собственник и ее юридическая организация // Вестник Европы. 1870. Т. 2. Кн. 2 (февраль). С. 573—628; Т. 2. Кн. 3 (март). С. 72—118.

⁵ Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 381. Оп. 12. Д. 20958. Л. 1.

⁶ Там же. Л. 2—2 об.

⁷ Там же. Л. 14, 18.

⁸ Там же. Л. 30.

⁹ Вестник Европы. 1870. Т. 1, кн. 2. С. 573—628; т. 2, кн. 3. С. 72—118.

¹⁰ Дитц Я. История поволжских немцев-колонистов / Под научной ред. И.Р. Плева. М., 1997. С. 329.

¹¹ РГИА. Ф. 381. Ф. 381. Оп. 13. Д. 7813. Л. 4 об.

¹² Там же. Л. 196 об.

¹³ Unsere Kolonien. Studien zur Geschichte und Statistik der ausländischen Kolonisation in Russland. Übersetzt von [J.] Töws. Odessa, 1887.

Н.В. Воробьева (Омск)

**ИДЕЙНЫЕ И ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ
ЛИТУРГИЧЕСКИХ РЕФОРМ ПАТРИАРХА НИКОНА
В АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ**

Проблема реконструкции модели взаимоотношений исторической действительности как объекта познания и историка как познающего субъекта традиционно занимала одно из ведущих мест в зарубежной исторической науке¹. В формировании, интерпретации и осмыслении имеющихся представлений о прошлом особую роль и место занимает историк-исследователь. По мнению Жана Эрара², история идей состоит из трех видов истории: «собственно истории больших мировых систем, истории такого коллективного и широко распространенного феномена, как общественное мнение, а также из структурной истории форм мышления и чувствительности». С точки зрения Роберта Дарнтона³, интеллектуальная история включает: историю идей (изучение систематических форм мышления, представленных, как правило, в философских трактатах), собственно интеллектуальную историю (изучение неформальных видов мышления, состояния общественного мнения и литературных движений), социальную историю идей (изучение идеологий и распространения идей) и культурную историю (изучение культуры в антропологическом смысле, включающее изучение картины мира и коллективных *mentalites*).

К 1914 г. Сравнительные представления американцев о русской истории вообще были крайне слабыми, отсутствие адекватной источниковой и историографической базы повлекло за собой ряд последствий и проблем. После революции 1917 г. ситуацию можно охарактеризовать следующим образом: с одной стороны историки-эмигранты (Г. Федотов, Г. Вернадский и др.), с другой — полупрофессиональные американские общественные деятели и публицисты. Кроме этого публиковались ряд богослужебных книг и исследований православного богослужения⁴.

В 1950-е гг., с превращением в США руссиеведения в академическую дисциплину, положение изменилось. Происходит чрезмерная политизация руссиеведения в США⁵.

К причинам недостаточности изученности славянского средневековья в американской историографии относится игнорирование культурного насле-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

дия (считалось, что «славянская литературная традиция не представляет научного интереса⁶»). Многие американские литературоведы полагали, что церковнославянский язык (аналогично латинскому на католическом Западе) был чужеродным документом, препятствующим развитию отдельных славянских литературных традиций.

К середине 50-х гг. к научным исследованиям по истории культуры славянских средних веков только приступали, важную роль играл журнал «*Slavic and European Journal*», который рецензировал монографии англоязычных авторов по проблемам православной церкви, древнеславянской истории и культуры, церковнославянского языка и истории древнерусской литературы. Обсуждались переводы на английский язык отдельных памятников древнерусской литературы. 1957—1966 гг. в общем можно охарактеризовать как «русоцентричный» (русская история, а не отечественная, многонациональность Московии игнорировалась).

1970-е гг. — время внедрения новых методов «социальной истории», что расширило источниковую базу, усилило специализированность научных исследований, но проблематика исследований в это время расширяется из-за введения социально-психологического подхода, изучения прослоек и групп российской истории (историческая демография)⁷.

1980-е гг. — различные аспекты истории русской политической культуры, а также широкий сравнительно-исторический фон, на котором рассматриваются соответствующие «русские» сюжеты, т.н. «антропологический подход». Возникнув в 1970-е гг., историческая антропология занималась, в основном, народной культурой и политической антропологией, историей семьи и историей питания, восприятием сновидений и отношением к смерти, историей частной жизни и т.п.

Полемика на страницах «Русского обозрения» (1987г.⁸), отметим, что так называемое «молчание Московии» постулировали и другие ученые, в частности Ричард Хелли⁹. Ричард Хелли (род. 1937) — профессор Чикагского университета, автор пяти монографий (двух в соавторстве), 18 журнальных статей, редактор двух сборников.¹⁰

Кроме опровержений постулатов Кинана Робертом Крамми, его поддержала Н.Ш. Коллман в монографии «Родство и политика: Формирование московской политической системы, 1345—1547»¹¹. Исследование построено на принципах «антропологического анализа». Главное положение: в средневековых обществах политические отношения не форматизированы и не институционализированы и строятся на личных связях: родстве, дружбе, следовательно, политический строй Московии характеризовался не конфликтностью, а внутренней сплоченностью и целостностью, самодержавие было лишь фасадом, за которым великий князь делил власть с боярами. М.М. Кром считает книгу Коллман «первой монографией по политической антропологии Москов-

История текстов и текст истории

ской Руси»¹², так как автор делает акцент на личных, неформальных отношениях внутри правящей элиты. Но антропологический подход предполагает микроисторию (не 500, или 200 лет), политической системы не было, т.к. властные функции и отношение к ним были окрашены в религиозно-нравственные тона (менталитет игнорируется).

Роберта Крамми мы по праву можно назвать ведущим специалистом по расколу в американской школе¹³. Рассмотрим некоторые постулаты его статьи «Элита и “народная религия”» в России XVII в.: наблюдения»¹⁴, где выдвигается концепция «религии элиты», которую определить достаточно сложно и «народной религии» (сравнивая с германской и английской реформацией и контрреформацией):

1. Религиозные реформы проводятся членами религиозных элит (высшие чины церковной иерархии или образованное духовенство);

2. В долговременной перспективе реформа проходит только под протекторатом светской власти (монархии или городских органов управления);

3. Народные движения религиозного возрождения мобилизуют необходимое число энтузиастов, стремящихся к радикальному очищению собственной христианской жизни, на самом краю этого находится фанатизм;

4. Вызванные к жизни ереси и аморальные религиозные практики, как противодействие нормам общественного и политического порядка, вынуждают реформаторов внутри элиты обращаться к светским властям для запрета и разрушения этих публичных манифестаций религиозного экстремизма и координации реформы сверху;

5. Когда происходит конфронтация между светскими и церковными властями, приходское духовенство и обычные верующие, подчиняясь официальным предписаниям, успешно меняют официальную на неофициальную церковь (католическую на протестантскую, например, как в Англии). Больше внимания и восхищения вызывают неизбежные жертвы, вызванные этим.

6. В начале XVII в. в каждой европейской стране, протестантской или католической, устанавливаются церковные и светские власти, которые работая вместе, преуспели в создании одной конфессиональной структуры. Она ревностно блюла моральный порядок и усиливала теологическое единство («uniformity»), боролась с проявлениями (манифестации) народной религиозной культуры.

Эти положения помогут, на взгляд Р. Крамми, понять некоторые аспекты комплекса религиозных сражений (потрясений) в России XVII в. Подобные предположения построены на анализе рукописей староверов: источники опубликованные (Georg Michels, В.С. Румянцева, Н.С. Демкова, Н.Н. Покровский и его коллеги в Новосибирске) и публикации источников по никонианским реформам.

В значительной степени, конфликт внутри русской церкви по поводу реформ патриарха Никона был вызван разногласиями между двумя партиями в

Фигуры истории, или «общие места» историографии

среде церковной элиты. Ранние полемические высказывания оппонентов Никона отражают их понимание восточноправославной традиции, так как она была известна в России до XVII в.

В середине XVII столетия официальные расследования раскрыли разбросанные народные движения религиозного протеста и откровения, так называемую «капитоновщину». Вера и религиозные практики этой группы, как показывают официальные источники, шокировали лидеров церкви и государства. Когда конфликт по поводу никоновских реформ стал более публичным, адепты данных практик высказали неприятие новых богослужебных книг и литургических изменений, но не учений и практик.

Собор 1667 г. закрепил альянс между иерархией, официально-санкционированным духовенством и царской властью. После этого лидеры церкви и государства стали совместно бороться против подрывных сект и протеста во имя старой веры. Стало считаться, что адепты старой веры де-факто объединились с местными оппозиционными движениями (или социальными и политическими) до тех пор, пока их наследники находили возможным защиту старой веры через сплоченное возмущение.

Сталкиваясь с жестокими наказаниями, отказываясь подчиняться, большинство членов религиозной элиты и их причт принимали новые богослужебные книги, как показывал Майклс. В то же время, неужели этот факт означает, что они были безразличны к содержанию и символическому значению никоновских реформ?

В начале XVIII в., в России были две конкурирующие религиозные элиты, так как разбросанные и преследуемые оппоненты реформируемой церкви и государства начали самоорганизовываться в подпольные движения с несколькими видимыми центрами власти, такими как Выговская пустынь, их самоназначенные лидеры искали дисциплины (иерархии?) и каналов посвящения от своих последователей в такой же мере, как православная иерархия. Лидеры староверов, конечно, имели намного большие трудности в этом процессе, так как государство было их врагом¹⁵.

Находясь между интеллектуальными и институциональными оппозициями, каждый из этих разнообразных способов членения реальности определяет свой собственный объект изучения, свои концептуальные средства и методологию. Тем не менее, явно или неявно, каждый из них воплощает представление обо всем поле истории в целом и определяет как то место, на которое претендует сам, так и то, которое отводит другим подходам. Неясность и обособленность терминологии, используемой для обозначения различных направлений исторического анализа, совершенно определенным образом связаны с внутри- и междисциплинарными столкновениями, формы которых являются специфичными для каждого интеллектуального поля и ставкой в которых является гегемония — прежде всего, лексическая¹⁶.

История текстов и текст истории

Валери Кивельсон, в другой статье¹⁷, привлекает внимание исследователей к феномену придворной, «политической» магии в России XVI века. В условиях, когда властные отношения были лишь в очень слабой степени институционализированы, огромное значение придавалось влиянию на государя его советников: «добрых» или «злых»¹⁸. Соответственно, «злой советник» вполне мог быть обвинен в применении колдовских чар для достижения своих целей (как это и произошло на процессе против Максима Грека в 1531 г.). В этой связи В. Кивельсон справедливо подчеркивает необходимость серьезно учитывать духовное, религиозное содержание московской политической жизни¹⁹. История «политического колдовства»: цель — «то, как москвиты понимали контуры своего политического мира и какими были их страхи относительно его слабых мест»²⁰, согласно Кивельсон в средневековой Руси суду земному, как и всей власти, придавался сакрализованный смысл (отсюда и особое значение «божьего суда» — поединка, и крестоцелования-клятвы), «неправый суд», так же, как и неправый совет государю, вызывал подозрение в магическом вмешательстве и колдовстве. Неправое решение царя оценивалось как ворожба злого советника, «отрезавшего доступ» государю к божественной премудрости вверху и социальной правде внизу.

Таким образом, вполне очевидна необходимость дальнейшего исследования поставленных проблем в рамках исторической антропологии, интеллектуальной истории и истории ментальностей, а также в русле методологического подхода, предложенного еще Клиффордом Гирцем: «Понятие культуры, которого я придерживаюсь, обозначает исторически передаваемую схему значений, воплощенных в символах, систему унаследованных понятий, выраженных в символических формах, посредством которых люди общаются, сохраняют и развивают свое знание о жизни и установки по отношению к ней»²¹.

Примечания

¹ Каммен М. Современная американская историография и «проблемная история» // Вопросы истории. 1995. № 3; Сальникова А.А. Образ историка-россиеведа в новейшей американской историографии: характеристика и самооценки // Историк во времени: Третьи Зиминские чтения: Докл. сообщ. науч. конф. М., 2002. С. 26–34.

² Ehrard J. Histoire des idées et histoire littéraire // Problemes et methodes de l'histoire litteraire. Publications de la Societe d'Histoire Litteraire de la France. Paris: A. Colin, 1974. P. 68–80.

³ Darnton R. Intellectual and Cultural History // The Past Before Us: Contemporary Historical Writing in the United States / Ed. by Michael Kammen. Ithaca; London: Cornell University Press, 1980. P. 337.

⁴ Lowrie Donald A. The light of Russia: An introduction of the Russian Church. Prague, 1923. Neale John Mason. A history of the Holy Eastern Church. London, 1925. A Treasury of Russian Spirituality. London, 1952. Daoud M. Church sacraments. Addis-Ababa, 1952. Sophrony (archim.). Principles of orthodox asceticism. Oxford, 1956.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

⁵ Perkins D., Snell J. The education of Historians in US. N.Y., 1962.

⁶ Гольдблатт Х. К изучению славянской средневековой культуры в США. Обзор журнала «Slavic and European Journal» за тридцать лет // Отечественная история. М., 1993. № 1. С. 213–221.

⁷ Iovine S. The history and Historiography of Second South Slavic Influence: Ph. D. dissertation. Yale university, 1977; Konrad A.N. Old Russia and Byzantium: The Byzantine and Oriental Origins of Russian Culture. Vienna, 1975.

⁸ Crummev R.O. The Silence of Muscovy. P. 158, 162. Р. Крамми резонно замечает, что «молчание Московии», постулируемое Кинаном, позволяет ему игнорировать те источники, которые противоречат его концепции. Он также критикует автора за отрицание роли церкви в политике и в целом признает большинство его доводов неубедительными (Ibid. P. 158–159, 163).

⁹ Hellie R. Late medieval and Modern Russian civilization and Modern Neuroscience // Culture and Identity in Muscovy, 1359–1584. UCLA Slavic Studies new Series. Vol. III / Ed. by Henning Andersen, Vyacheslav V. Ivanov, Aleksandr L. Osprovat. Moscow, 1997. P. 267–283; Воробьева Н.В. Проблемы истории русской средневековой культуры в освещении американского историка (к некоторым аспектам вузовского курса отечественной истории) // Качество образования: концепции, проблемы, пути решения, имидж специалиста. Сб. материалов региональной научно-практической конференции. Омск: Издательство «Прогресс» ОМИПП, 2003. С. 43–49.

¹⁰ Монографии: Hellie Richard. Enserfment and military change in Muscovy Chicago: University of Chicago Press, 1971; Platonov S. F.; Hellie, Richard Ivan the Terrible Gulf Breeze, Fla: Academic International Press, 1974; Hellie, Richard. Slavery in Russia, 1450–1725 Chicago: University of Chicago Press, 1982; Kahan Arcadius; Hellie Richard. The plow, the hammer, and the knout: An economic history of eighteenth-century Russia Chicago: University of Chicago Press, 1985; Hellie Richard. The economy and material culture of Russia, 1600–1725 Chicago: University of Chicago Press, 1999. Статьи: Hellie Richard. (2002) The Soviet Global Impact: 1945–1991 // Journal Article in Russian history Histoire russe. 2002; Hellie Richard. The Russian Smoky Hut and Its Probable Health Consequences // Journal Article in Russian history Histoire russe. 2001; Hellie Richard. Why Did the Muscovite Elite Not Rebel? // Journal Article in Russian history Histoire russe. 1998; Hellie Richard. (1997) The Origins of Denunciation in Muscovy // Journal Article in Russian history Histoire russe. 1997; Hellie Richard; Stenfors, Jenifer L The Elite Clergy Diet in Late Muscovy // Journal Article in Russian history Histoire russe. 1995; Hellie Richard. The Impact of the Southern and Eastern Frontiers of Muscovy on the Ulozhenie (Law Code) of 1649 Compared with the Impact of the Western Frontier // Journal Article in Russian history Histoire russe. 1992; Hellie Richard. Russia Before, During, and After the 'Keystone Coup' of August 1991 // Journal Article in Russian history Histoire russe. 1991; Hellie Richard. Muscovy Redux: More Parallels and Continuities? // Journal Article in Russian history Histoire russe. 1990; Hellie Richard. Rewriting Pre-Mongol Russian History Once Again // Journal Article in Russian history Histoire russe. 1989; Hellie Richard. Furs in Seventeenth-Century Muscovy // Journal Article in Russian history Histoire russe. 1989; Hellie Richard. The Manumission of Russian Slaves // Journal

История текстов и текст истории

Article in *Slavery and abolition*. 1989; Hellie Richard. What Happened? How Did He Get Away With It? Ivan Groznyi's Paranoia and the Problem of Institutional Restraints // *Journal Article in Russian history Histoire russe*. 1987; Hellie Richard. An Appreciation of Nikolai Evgenevich Nosov // *Journal Article in Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1987; Hellie Richard. Women in Muscovite Slavery // *Journal Article in Russian history Histoire russe*. 1983; Hellie, Richard. Slavery Among the Early Modern Peoples on the Territory of the USSR // *Journal Article in Canadian American Slavic studies Revue canadienne américaine d'études slaves*. 1983; Hellie Richard. The Stratification of Muscovite Society: The Townsmen // *Journal Article in Russian history Histoire russe*. 1979; Hellie Richard. Muscovite Slavery in Comparative Perspective // *Journal Article in Russian history Histoire russe*. 1979; Hellie Richard. The Structure of Modern Russian History: Towards a Dynamic Model // *Journal Article in Russian history Histoire russe*. 1977.

¹¹ Kollmann N.S. *Kinship and Politics: The Making of the Muscovite Political System, 1345–1547*. Stanford, 1987. Kollmann N.S. *The Boyar Clan and Court Politics: The Founding of the Muscovite Political System* // *Cahiers du monde russe et soviétique*. Vol. 23. 1982. N 1. P. 5–31; Idem. *Consensus Politics: The Dynastic Crisis of the 1490s Reconsidered* // *The Russian Review*. Vol. 45. 1986. N 3. P. 235–267; Idem. *The Grand Prince in Muscovite Politics: The Problem of Genre in Sources on Ivan's Minority* // *Russian History*. Vol. 14. 1987. N 1–4. P. 293–313.

¹² Кром М.М. Антропологический подход к изучению русского средневековья (заметки о новом направлении в современной американской историографии) // *Отечественная история*. 1999. № 6. С. 90–106.

¹³ Crumme Robert O. *The old-believers and the world of Antichrist. The Vyg Community and the Russian state 1694–1855*. Maddison, Milwaukee and London, 1970.

¹⁴ Crumme Robert O. *Elite and Popular religion in 17th-century Russia: Observations* // *Историк во времени: Третьи Зиминские чтения: Докл. сообщ. науч. конф. М., 2002*. С. 159–161.

¹⁵ О «символике власти» и харизме власти основная методологическая работа: Geertz C. *Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power* // idem. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology*. Fontana Press, London, 1993. P. 121–146. См. также: по изучению русской политической культуры и символике власти: Уортман Р. *Сценарии власти*. В 2-х тт. М.: ОГИ, 2004; Уортман Р. *Сценарии власти*. М.: НЛО, 2002; Wortman R. *Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy*. Princeton; N.Y., 1995; Wortman R. *From Peter the Great to the Death of Nikolai I* // *Russian Review*. 1998. V. 57. № 1. P. 128–130.

¹⁶ «Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories», в переводе Джейн Каплан в издании: *Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives* / Ed. by Dominick LaCapra and Steven L. Kaplan. Ithaca; New York: Cornell University Press, 1982. P. 13–46; Перевод на русский язык: Шартье Р. *Интеллектуальная история или история ментальностей: двойная переоценка?* / Пер. Н. Мовнина // *Новое литературное обозрение*. № 66. 2004. Gilbert Felix. *Intellectual History: Its Aims and Methods* // *Daedalus*. № 100 (1971). P. 85–97.

¹⁷ Kivelson V. *Political Sorcery in Sixteenth-Century Muscovy* // *Culture and Identity in Muscovy, 1359–1584* / Ed. by A.M. Kleimola & G.D. Lenhoff. Moscow, 1997.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

¹⁸ Значение «совета» в московской политике и идеологии хорошо показано Д. Роулэндом: Rowland D. The Problem of Advice in Muscovite Tales about the Time of Troubles // *Russian History*. Vol. 6. 1979. Pt. 2. P. 259–283. Та же категория явилась недавно предметом изучения И.П. Кулаковой, но статья Д. Роулэнда осталась, к сожалению, ей неизвестной. См.: Кулакова И.П. Взаимоотношения государства и сословий в России второй половины XVI – начала XVII века (терминологические заметки) // *Мировосприятие и самосознание русского общества (XI–XX вв.)*. Сборник статей. М., 1994. С. 59–75 (о «совете» С. 60–68).

¹⁹ Kivelson V. Political Sorcery in Sixteenth-Century Muscovy // *Culture and Identity in Muscovy, 1359–1584* / Ed. by A.M. Kleimola & G.D. Lenhoff. Moscow, 1997. P. 267–283.

²⁰ Для Западной Европы аналогичная работа – Clark S. *Thinking with demons: The Idea of Witchcraft in Early modern Europe*. Oxford, 1997. P. 549–682.

²¹ Geertz Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973. P. 89.

А.Г. Давыденкова (Санкт-Петербург)

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ

Современные реформы в России, изменение общих социальных и культурных ценностных установок в мире, межцивилизационные противоречия — все это далеко не однозначные процессы актуализируют вопрос: «Как управлять обществом?» Отметим, что вопрос этот никогда не ставился в формулировке — управлять или не управлять. Он в принципе решен в пользу управленческих институтов. Более того, появился вкус к управленческой деятельности, и это сразу отразилось в науке появлением массы управленческих дисциплин, на практике — множеством управленческих профессий. Теперь все знают, как управлять, и, кажется, многие всерьез думают, что можно обойтись без общей теории вообще, тем более «без специальной управленческой философии».

Сегодня наука имеет в своем распоряжении ряд специальных теорий, посвященных анализу систем организации и самоорганизации. Речь идет о социальной синергетике и смежных науках. Однако общая теория проблемы по-прежнему остается за философией культуры, философией политики и социологией. В общественной организации важнейшее значение имеет формирование и развитие социальных институтов. Институционализм представляется как одно из важных направлений государственоведения XX века, рассматривающих политическую организацию общества как комплекс различных объединений граждан — «институций» (семья, партия, профсоюз и т.п.). Общее определение институции — установление, порядок. Множество понятий института и институализации — социальный институт, социальное образование, устройство, социальный факт, обозначение общественных обычаев, образа мысли, комплекса устойчивых взаимозависимых социальных ролей и т.д. — используются экономической, политической, юридической, социологической и другими науками и давно уже требуют специального философского анализа.

Идея институциональности в методологическом плане была поставлена правоведами. Основателем институционализма считают М. Ориу, попытавшегося в рамках правоведения синтезировать формально-юридический, социологический и философский подходы. Социальный институт как методически-познавательную единицу анализа общества рассматривает и О.И. Генисаретский. О рациональных отношениях институционального типа говорит также С.В. Попов.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Социокультурный институт включает:

- рамочную ценностную идею, имеющую направляющий характер и задающую культурное предназначение данного института;
- символическое оформление, позволяющее определить и «узнать» институт;
- систему формальных мест и ролей, связанных процедурами;
- материальные и духовные опоры в виде, с одной стороны, ресурсов обеспечения, с другой — характеристик культуры и ментальности сообщества, выступающего носителем данного института, обеспечивающего его легитимацию.

В экономической мысли институционализм — направление, отражающее стремление к интеграции с другими науками (социологией, психологией, правом, биологией). В социологии институционализм — это процедура социальных действий, которая надежно обеспечивает регулярное самовозобновляющееся удовлетворение жизненно важных потребностей. Философия организационных и самоорганизационных процессов подводит нас к постановке вопроса о связи управляемых и самоорганизующихся процессов в обществе. Лучше всего эта связь поддается анализу на историко-культурном и социальном материале. История России в этом плане является показательным примером.

Культура России своеобразна и обладает рядом специфических черт, которые определяются образом жизни и ментальностью русских людей, геополитическим положением России, ее экономическими и политическими особенностями. Расположение России «между Востоком и Западом» создало ту уникальную ситуацию, когда страна стала своеобразным мостом между двумя великими цивилизациями, восприняла и включила в свой социокультурный контекст их ценности. Евразийское положение России предопределило постановку многих социальных и духовных проблем, которые решались в обществе, нашли свое отражение в политической мысли и политической культуре, в формировании общественной жизни и политических институтов.

Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна с многообразными межнациональными традициями. Ее опытом организации жизни в едином территориально-государственном пространстве нельзя пренебрегать. В государственно-строительных процессах Россия следует европейским традициям. Институциональная сторона этих, на первый взгляд «подражательных», процессов состоит в соединении уже имеющихся образцов организаций, правил, стандартов с культурными особенностями народов, что порождает многообразие институциональных проявлений.

Изучая русскую политическую культуру, необходимо исходить из единства предметных культурных форм, получивших свое отражение в экономике, политике, социальной жизни и быте русского народа, институциональном их закреплении, а также формировании духовных ценностей, представленных в

История текстов и текст истории

религиозно-философской и научной мысли, памятниках права и литературных источниках. В единстве материальной, социальной и духовной культуры России следует видеть предпосылки интеграции политических и культурных форм. Вопросы развития культуры российской государственности и самоуправления имеют комплексный характер, они неразделимы и отражают основные институциональные процессы.

Политико-правовая культура России строилась на двух противоположных началах: укреплении государственности (этатизме) или ее отрицании (антиэтатизме). По сути своей антиэтатизм в своем философском обосновании являлся ничем иным как доказательством и пропагандой самоорганизационных и самоуправленческих начал общества. В пользу первого выступала сама практика отечественного государственного строительства, ориентированного на единодержавие, создание единой и сильной России. Способствовали укреплению государства и многочисленные доктрины официально-охранительного направления (иосифлячество, консерватизм, так называемый «консервативный либерализм»). От Владимира Мономаха и митрополита Илариона до Б.Н. Чичерина и К.П. Победоносцева выдающиеся русские мыслители пытались познать тайны властных отношений и философию государственной жизни, ее институционального оформления.

Другая, оппозиционная, линия в социальной мысли России была связана с теоретическим и практическим отрицанием государства и власти. Она также имела свою многовековую историческую традицию и блестящих теоретиков-пропагандистов. А к жизни эта линия вызвана была тем общеизвестным фактом, что на Руси и в России почитание и обожание власти незаметно перерастали в упоение властью, в самовластие и авторитаризм, ничем неограниченные, ни разумом, ни верой.

Однако всегда было нечто, что объединяло эти теоретические и институциональные потоки. И официальная, и оппозиционная традиции российской политической культуры в оформлении своей философии институционализации строились с учетом самоуправляющегося начала общественной и государственной организации: вечевое, общинное, местное, земское самоуправления.

В настоящее время издано много работ, посвященных политической культуре России, особенно отдельным ее направлениям и этапам, достаточно рассмотрены государственно-строительные процессы, история и теория самоуправления¹. Заметные теоретические наработки есть и по философии самоорганизации². Настала пора соединить эти знания с перспективой практического применения, и без философских обобщений здесь не обойтись. Однако прежде всего обозначим и дадим анализ основным философско-политическим понятиям и категориям. На первом месте здесь стоят такие понятия, как «институт» и «институализация».

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Самый первый и главный институт, находящийся в постоянном своем становлении, — общество. Определение общества несет в современных условиях ряд конкретизаций философского, политического и социально-организационного плана. Общественная жизнь функционально опирается во многие структурные организующие. Люди не могут существовать, не создавая долговременных коллективов. К. Маркс считал, что люди создают условия для удовлетворения своих потребностей только благодаря совместной организованной деятельности. Исследователи культурно-общественных и этнических отношений Г. Ленски и Дж. Ленски выделили шесть основных элементов, необходимых для существования общества³. К ним они отнесли:

- 1) общение между его членами;
- 2) производство товаров и услуг;
- 3) распределение;
- 4) защита членов общества;
- 5) замена его выбывающих членов;
- 6) контроль их поведения.

Важное значение в изучении человеческого общества играет понятие социального института. Институты создают устойчивые формы совместной деятельности людей по использованию общественных ресурсов ради удовлетворения их потребностей. Одной из важных функций институтов является стабилизация деятельности людей. Известный американский социолог Н. Смелзер определяет социальный институт как совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения определенной социальной потребности⁴. Он рассматривает социальные институты как «фабрики» по производству социальных связей. Самое общее определение социального института можно сделать такое: это специфическое социальное образование, призванное обеспечить воспроизводство общественных отношений, надежность и регулярность удовлетворения основных потребностей общества и человека. Благодаря социальным институтам в обществе достигается стабильность, предсказуемость поведения людей, устойчивость их социальных связей. Такой подход характерен для традиционного и индустриального обществ.

Социальный институт — сложная общественная конструкция, в основе которой лежат нормативные связи, предписывающие определенные стандарты и типы поведения. Поэтому нередко определение социального института трактуется как комплекс правил, норм, установок, регулирующих наиболее важные сферы человеческой деятельности и организующих их в систему ролей и статусов. В этом плане социальный институт выполняет роль соединяющего и посредующего звена между традицией и инновациями. Сама идея стандарта появилась в экономическом и правовом отношении в какой-то степени для закрепления философии инноватики. Социально-политический институт — это совокупность лиц, учреждений, осуществляющих конкретные

История текстов и текст истории

общественные функции (семья, религия, политика, образование, наука, государство). Этот ракурс анализа учитывает традиционные формы организации общества и вписывается в рамки традиционалистской философии политики. С другой стороны, социально-политический институт — это система норм и ценностей, правил и установок, гарантирующих сходное поведение людей, регулирующих различные сферы человеческой деятельности и организующих их в систему ролей и статусов. Такой акцент формирует другую философскую установку, опирающуюся на безличные отношения стандартов.

Деятельность любого социального института сопровождается:

- 1) набором специфических социальных норм и предписаний;
- 2) включенностью института в социально-политическую, идеологическую и ценностную структуру общества, что позволяет узаконить его деятельность;
- 3) наличием материальных средств и условий, обеспечивающих выполнение определенных функций.

В зависимости от целей и задач, выполняемых в обществе функций можно выделить основные социальные институты: институт семьи и брака; экономические институты; политические институты; социокультурные, церковно-религиозные, воспитательные институты.

Выделяют определенные черты, характерные для всех социальных институтов:

- 1) установки и образцы поведения (например, для института семьи — привязанность, уважение, доверие);
- 2) культурные символы (для семьи — брачный ритуал, обручальные кольца; для государства — герб, флаг, гимн; для христианской религии — крест, икона; для бизнеса — патентный знак, фирменная марка);
- 3) утилитарные культурные черты (для семьи — дом, квартира, мебель; для институтов образования — классы, библиотека; для бизнеса — магазин, фабрика, оборудование);
- 4) устные и письменные кодексы поведения (для государства — конституция, законы; для организации — устав; для бизнеса — лицензии, контракты);
- 5) идеология (для семьи — любовь, совместимость; для христианской религии — православие, католицизм, протестантизм; для бизнеса — свобода торговли, расширение дела).

Деятельность социального института функциональна, если она упорядочена и приносит пользу обществу, дисфункциональна — если не выполняет свои функции. Как отмечает Рихард Мюнх⁵, в институализированном мире сегодня учащаются явления аномии, то есть конфликты, возникающие из-за неупорядоченности взаимоотношений. Самым глубоким социальным конфликтом он считает тот, который обусловлен процессами национальной дезинтеграции: отменяются договоренности, новых достижений не удается, упраздняются некоторые регуляторы контроля, растет теневой сектор и т. д.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Функции и дисфункции институтов могут быть явными, если они очевидны и всеми сознаются, и латентными (неявными). Рассматривая социальный институт как процедуру социальных действий, можно выделить ряд его признаков. К таким признакам относятся: четкое распределение функций, прав и обязанностей участников институализированного взаимодействия; разделение труда и профессионализация выполнения функций, обусловленные выполнением определенного круга обязанностей; особый тип регламентации, основанный прежде всего на социальном регулировании взаимоотношений; регулярность и самовозобновляемость большинства социальных институтов; рационально обоснованный, жесткий и обязывающий характер механизма регуляции общественных отношений; наличие учреждений, в рамках которых организуется деятельность того или иного института, осуществляется управление, контроль за его деятельностью.

Под термином «*институализация*» чаще всего понимается процесс упорядочения и формализации социальных связей и отношений, то есть это и есть создание социальных институтов как устойчивой, нормативно закрепленной формы социального взаимодействия людей. А.П. Маринин в соответствующей статье философского словаря дает такое определение институализации: «...образование стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на формализованных правилах, законах, обычаях и ритуалах»⁶. Он отмечает, что постепенно складывающиеся формы социальной практики институализируются, если находят отражение в уже сложившейся правовой системе или морально и организационно санкционируются государством. Таким образом в этом определении содержится три важных момента, вскрывающие сущность институализации:

- 1) формализация человеческих отношений;
- 2) правовое, моральное и организационное закрепление взаимоотношений между людьми;
- 3) санкционирование социокультурных отношений государством.

Еще одну важную сторону процессов институализации отмечает И.И. Кравченко в Новой философской энциклопедии. Там институализация определяется как «процесс формализации социальных отношений, переход от неформальных отношений (объединений, согласий, переговоров) и неорганизованной деятельности к созданию организационных структур и иерархий власти, регулируемой соответствующей деятельностью, тех или иных отношений, их юридической легализацией, если это возможно и необходимо»⁷. Этот процесс представляется автору как «синергетический процесс перехода от самоуправления и самоорганизации явлений к организационным и управляемым».

Последнее определение вызывает ряд вопросов — как теоретических, так и практического плана. На некоторые из них можно найти ответ в определениях институтов, данных В.М. Бычковым (статья «институт социальный»

История текстов и текст истории

и А.В. Поповым («институт политический») в этой же Новой философской энциклопедии. Первый отвечает на вопрос, что есть такие социальные институты. Ответов на этот вопрос, если обратиться к авторитетам социологической науки, достаточно. Э. Дюркгейм использовал понятие «институт» для объяснения социальных фактов, под которыми понимал коллективные представления, внешние для индивида (верования, способы поведения, установленные группой)⁸. Т. Парсонс воспринимал институты как комплексы устойчивых взаимоотношений людей, связанные с социальными ролями⁹. У М. Вебера социальный институт — форма общественного объединения, где поведение индивидов не только «обобществлено», то есть рационально упорядочено в своих целях и средствах принятыми установлениями, но и базируется на принципе, согласно которому оказывается участником социальных действий вследствие объективных данных (происхождение, родство, пребывание или деятельность в определенной сфере и т.п.)¹⁰. В.М. Бычков классифицирует все определения социальных институтов на две группы:

1) социальное установление как комплекс самых общих социальных (политических, правовых, моральных, религиозных и т.п.) норм, правил и принципов, культурных стереотипов, привычек, типов мышления и моделей поведения, определяющих сущность и устойчивость социальных явлений, обуславливающих и регулирующих социальные отношения, деятельность человека в различных областях его применения;

2) социальное образование или учреждение — социальная единица на индивидуальном уровне, организация, выступающая субъектом социальных отношений и действий.

Таким образом, с методологической точки зрения выделяются две ориентации в определении социального института: объективистская и поведенческая. Первая сформулирована Э. Дюркгеймом: институты как способы мышления, деятельности и чувствования существуют вне индивидуальных сознаний и наделены принудительной силой, вследствие которой навязываются индивиду независимо от его желания. Вторая ориентация связана с социологией деятельности М. Вебера, в ней институты признаются комплексами действий индивидов.

Проблемы определения политических институтов касается А.В. Попов, ссылаясь на признанные авторитеты. Первым и наиболее признанным авторитетом в области политических институтов, по его мнению, является глава немецкой классической философии Гегель, который отмечал, что политические институты составляют государственный строй, то есть развитую и осуществленную «разумность». В силу этого институты являются прочным базисом государства и легитимности этого государства («базисом доверия и настроенности индивидов по отношению к нему»¹¹). М. Вебер характеризовал политические институты как рациональные установления и аппарат принуждения. По Дж. Роулзу, базисная структура общества представлена сово-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

купностью основных социальных и политических институтов — собственности, государства, права, партий, гражданских прав и свобод — в рамках одной схемы кооперации. Политические институты, с одной стороны, являются возможными формами поведения людей, выраженными системами правил, с другой — они представляют собой необходимые, определяемые этими правилами, условия и средства для реализации поведения индивидов. Результатом анализа различных трактовок сущности, природы и содержания политических институтов возможно такое их определение: политический институт — это рациональное упорядочение средств и целей политического поведения общепринятыми и общеизвестными установлениями, существование которых позволяет ожидать от индивидов действий, ориентированных на принятый в данном обществе порядок, если же этого не происходит, повиновение обеспечивается при помощи аппарата принуждения¹².

Институализация как социально-политический и культурологический процесс включает в себя ряд последовательных этапов:

- возникновение определенной общественной потребности, удовлетворение которой требует совместных организованных действий;
- формирование общих целей;
- появление в обществе социальных норм и правил, которые формируются методом проб и ошибок;
- возникновение процедур, связанных с этими нормами и правилами;
- принятие и практическое применение (формализация) норм, правил и процедур;
- установление системы санкций для поддержания соответствующих норм и правил;
- создание системы социокультурных статусов и ролей;
- организационное оформление возникшей институциональной структуры.

Процесс институализации включает в себя как появление новых социальных и политических институтов, так и изменения и совершенствование сложившихся социальных институтов и политических структур. В любом случае речь идет о функциональной значимости для общества создаваемых или реформируемых институтов. Что не работает на общество, то, как правило, и не может прижиться надолго.

Еще один вопрос, имеющий особую актуальность для современности, возникающий в связи с институциональными процессами в социуме, — это место и роль общественного мнения, возможности его влияния на формирование институтов и на институционализационные процессы. История петровским реформ в России, модернизация XIX века, опыт советских реформ, перестройки показывает нам, что можно создать в общественном мнении поддержку определенных новаций. Более того, процесс нововведений обречен на неудачу, если не создать этого формально-политического их подкрепления. Существуют

История текстов и текст истории

такие понятия, как легитимность и легитимация. Сегодня они отражают не законность существования институтов, а их поддержку в общественном мнении. В научной литературе существует много работ, посвященных формированию виртуальности. Это, например, игровой подход, использующий коммуникативные закономерности, возможность создавать «несуществующее видимое» и «видимое несуществующее». Он открывает огромные надежды на манипуляции общественным мнением. Создается ложное впечатление, особенно у политиков, что можно создать общественный фон для институциональных изменений в любом направлении. Однако общество — это единая система, с множеством закономерностей его развития. Общественное мнение может влиять на процессы, протекающие в нем, это во-первых. Во-вторых, любые социокультурные изменения сразу же сказываются на уровне легитимации власти, и любые неудачи на этом поле деятельности могут подорвать самые главные институты общества.

Открытые социальные пространства, «открытое общество» приводит к многим структурным переменам, неоднозначно оцениваемым исследователями. Некоторые из них говорят об утрате легитимности прежнего, государственного, уклада. Процессуально-коммуникативные установки порождают недоверие ко многим институтам, люди начинают больше доверять процедурам. Еще Э. Дюркгейм, заметивший необходимость специальной общественной работы на солидаризацию, социальную интеграцию общества, отмечал, что новый социальный порядок находит свое выражение в «культе индивидуума», распространяющемся по всему миру в виде признания прав человека и гражданина. Субъективные права частных граждан координируются между собой посредством объективного права — в этом многие видят взаимодополнение демократии и правового государства. Социальная интеграция с опорой на правосудие сдвигает акцентуацию с политического института на юридический, создает видимость замещения и компенсации ряда функций государственных учреждений общественными. Процессуально-процедурный подход не отменяет и не снимает сегодня полностью проблемы институализации. Он ее актуализирует в аспекте соотношения поддержания национально-государственных институтов, с одной стороны, и активизации гражданского общества, с другой.

Примечания

¹ См.: Аладьев. Государственная власть и местное самоуправление. М., 1907; Аншлей П. Местное и центральное управление. СПб., 1910; Арефьев М.А., Давыденкова А.Г., Осипов И.Д. Русская культурология. Часть I. Культура российского самоуправления. СПб., 2003; Арефьев М.А., Козлова Т.И., Осипов И.Д. Правовые основы российского самоуправления (культура, традиции, нормы права). СПб., 1999; Арефьев М.А., Козлова Т.И., Осипов И.Д. Российское самоуправление: история, теория и законодательство. СПб., 2000; Бабичев И.В. Субъекты местного самоуправления и их взаимодействие. М., 2000; Безобразов В.П. Государство и общество.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Управление, самоуправление и судебная власть. СПб., 1882; Белых А.К. Управление и самоуправление. Социалистическое управление: сущность и перспективы развития. Л., 1972; Бойцов В.Я., Степанов В.И. Российское территориальное самоуправление. 1864–1917. Кемерово, 1994; Будов А.Н. Местное самоуправление в России. Исторические традиции и современные проблемы. Ростов н/Д., 2000; Васильчиков А.И. О самоуправлении: Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных учреждений. СПб., 1869–1871; Веселовский С.Я. Самоуправление: от местных инициатив к гражданскому обществу // Россия и современный мир. 195. № 4; Вульфвич Р.М. Управление в метрополитенских регионах в XXI столетии. Политический аспект. СПб., 2001; Генисаретский Д.И. О местном ведении и понимании самоуправления. М., 1915; Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990; Государственное управление и самоуправление в России: Очерки истории /Под ред. В.П. Семьянинова. М., 1995; Емельянов А.В. О самоуправлении. М., 1906; Емельянов Н.А. Местное самоуправление: проблемы, поиски, решения. М., 1997; Игнатов В.Г. Становление системы государственного и местного управления в современной России. Ростов н/Д., 1997; Лазарев В.Н. Социальная самоорганизация в условиях местного самоуправления. Белгород, 1996; Местное управление и самоуправление в России и за рубежом. М., 2000; Мигиров Р.П. Роль местного самоуправления в осуществлении социальной политики. М., 1998; Организационно-правовые основы самоуправления. Пермь, 1999; Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. М., 1998 и др.

² Арфьев М.А., Давыденкова А.Г., Осипов И.Д., Стельмашук Г.В. Русская культурология. Часть II: Политическая культура России. СПб., 2004; Казеннов А.С. Генерационные отношения в воспроизводстве человека и самоорганизации общества. СПб., 2002. Казеннов А.С. Самоорганизация рода как антропологическая основа разрешения социальных противоречий. Автореф. дис. на соиск. уч. степени докт. филос. наук. СПб., 2004; Романов В.А. Социум, самоорганизация и государство. М., 2000; Романов В.Л. Социальная самоорганизация и государство. М., 2000; Рузавин Г.И. Организация и самоорганизация в развитии общества // Вопросы философии, 1995, № 7; Соколовский С.В. Проблемы самоорганизации и самоуправления коренных народов // Этнографическое обозрение. 2001, № 2 и др.

³ Lenski G. & Lenski J. Human societies. N.Y., 1970.

⁴ См.: Смелзер Н. Социология: пер с англ. М., 1994. С. 79, 91, 659.

⁵ См.: Мюнх Р. Социальная интеграция в открытых пространствах // Философские науки. 2004. № 2. С. 30–58.

⁶ Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 209.

⁷ Новая философская энциклопедия: В 4-х т. Т. 2. М., 2001. С. 125.

⁸ См.: Durkheim E. The elementary forms of the religious life. N.Y., 1965. P. 19, 34.

⁹ См.: Parsons T. Politics and social structure. N.Y., 1969. P. 83.

¹⁰ См.: Weber M. Economy and society: An outline of interpretive sociology. N.Y., 1968. Vol. 2. P. 47.

¹¹ Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 291.

¹² См.: Институт политический // Новая философская энциклопедия: В 4-х т. Т. 2. М., 2001. С. 124.

Ф.С. Корандей (Тюмень)

**ПЕРВАЯ КРИТИКА
«NAVIGATIO SANCTI BRENDANI ABBATIS»:
опыт комментария**

Констатация высочайшей популярности в средневековье «Плавание Святого Брендана», агиографической легенды, известной с X в., стала общим местом. Со времен «Acta Sanctorum»¹ упоминание о путешествии ирландского аббата не обходится без эпитета, отражающего его популярность в превосходном значении. Повесть, бывшая по происхождению локальной, благодаря читательскому потенциалу (и затем «транспортному» посредничеству монашества) стала общевропейским явлением, породив один из первых феноменов массовости в мировой культуре.

В числе факторов, повлиявших на распространение «Navigatio», несомненно, литературные достоинства повести, сочетавшей космополитический характер содержания с «читательской» ориентацией сюжета, соответствие легенды потребностям аудитории. Степень популярности повести не была неизменной везде и всегда. Как, например, показал Селмер, рост количества манускриптов повести, посвященной морскому путешествию в Обетованную Землю — четверть от их числа — относится к кануну Великих Географических Открытий².

Важны свидетельства критики «Navigatio», указывающие на аудиторию повести и обстоятельства ее восприятия в контексте определенной локальной общности. Интересный случай критики — созданное в Англии анонимное латинское стихотворение из манускрипта Linc.Охор. № 27, впервые опубликованное Пламмером в издании житий ирландских святых 1910 г.³ Оно было вписано на оставшийся чистым лист манускрипта, содержащего одну из обыкновенных версий «Navigatio». Большинство исследователей датируют манускрипт XI — началом XII вв.⁴, и им следует Селмер, подготовивший определяющее издание «Navigatio» в 1959 г.

Прилагающееся к «Navigatio» стихотворение некоторым образом выполняет роль комментария, обращая внимание читателя на самые, по мнению автора, абсурдные и несуразные ее сюжеты, называемые им «бабьими сказками» (aniles fabule). Как подобает комментатору, аноним следует порядку изложения.

Мы можем сопоставить представления, характерные для анонима, с контекстом весьма разнообразной эпохи времен установления норманнского владычества. Центральным сюжетом в таком сопоставлении могут послужить образы Св. Брендана и гипотетического составителя и читателя «Navigatio» в

Фигуры истории, или «общие места» историографии

глазах критика. Образы практически не отделяются друг от друга. В первых строках говорится, что «поэт, который желает описать жизнь Св. Брендана, увидев мужа Божия, тяжкий грех должен заклеить» (список грехов следует далее). Поскольку составители «*Navigatio*» этого, очевидно, не сделали, то они разделяют тяжесть греха Брендана, «который искал в море того, что обещано на небе».

Св. Брендан принадлежал к ирландским святым, сколько-нибудь известным в Англии указанного периода. В англо-саксонский период, предшествующий появлению «*Navigatio*», трудно говорить даже о его церковной известности. Ирландские святые, кроме Патрика, Колумбы и Бригиты, не встречаются в литургиях и житиях⁵. Однако ирландская агиография, дошедшая в поздних списках, сообщает о прижизненных визитах Брендана в Британию⁶.

Появление «*Navigatio*» и распространение в XI в. совпадает с другой ситуацией — с началом перехода ирландской церкви под юрисдикцию папы, возникновением интереса норманнского двора к кельтской литературе. Именно интерес этой публики породил популярность легенды. Собственно, первое появление «*Navigatio*» в германских землях в X в. (древнейший манускрипт происходит из Трира) связывается с придворным Оттоновским Возрождением. Сходные процессы можно наблюдать в Англии XI—XII вв. «Сочетая традицию ирландской святости с традициями ирландской мифологии и фольклора, эта повесть способствовала установлению, на основе античной традиции *Insula Sacra*, новой норманнской традиции об Ирландии»⁷. От латинской версии «*Navigatio*», попавшей ко двору Генриха I, происходит англо-норманское переложение повести, созданное трувером для развлечения двора (три манускрипта посвящаются Аделизе, жене Генриха). Его относят к периоду между 1106—1121 гг.⁸

Аноним, критикующий «*Navigatio*», не выдает иного знакомства с Бренданом, чем через посредство повести и не воспринимает его святость как неоспоримую. «О, как глупо и безумно верить об этом святом», — восклицает он, перечисляя грехи аббата, который легкомысленно оставляет вверенных ему монахов ради недостижимой цели. Далее следуют обвинения Брендана в отступлении от правильной веры (*recta fides*). Тягчайшим грехом является замена истинных представлений о «земле обетованной святым за их служение» еретическими и самовольная попытка Брендана обрести рай на земле.

Не того возжелал дать сам милосердный Иисус
В качестве того, что нам должно быть воздано за службу.
...Ибо всем нам Царь уготовил небесную родину.

Оспариваемая святость Брендана не удивительная для средневековья, когда немногие святые почитались повсеместно, и связана она в глазах анони-

История текстов и текст истории

ма с ирландским происхождением святого. В отношении анонима к святому и составителям повести прослеживаются интонации, отражающие известный позднее стереотип восприятия ирландцев англичанами⁹. Брендан характеризуется как «наказанный безумием», его деяния как «дело удивительное, смеха достойное и полное глупости», те, кто записывал и читал предания о нем, признаются глупцами. В важнейшем месте критик прямо обращает внимание на национальность последователей Брендана:

О как скудны и тщетны упования Ирландцев,
Которым, после этой жизни, вся плата за труды
Голая и каменистая земля, а также цветы с деревьев!

Аноним, видимо, монах (заключительные строки стихотворения, кажется, об этом свидетельствуют), выказывает традиционное отношение английской церкви к ирландским братьям, совмещая его с неприятием развлекательного характера повести. Он с горечью говорит о потерянном на переписывание «*Navigatio*» времени и обращается к переписчику с наставлением:

Лучше больше следил бы, чтобы брат твой переписывал псалмы Давида,
Или во искупление своих и братьев грехов воспевал бы Бога

Чем сочинениями, нечистыми до такой степени, всех вводить в заблуждение.
Следовательно, брат, эти побасенки подобает предать огню,
Чтобы хоть огонь поспособствовал [их] окончанию.

Примечания

¹ Acta Sanctorum. Ed. Socii Bollandiani. 16 Maji. De Sancto Brandano ab Cluain-Fertensi. Antwerp., 1680. P. 602. Cf.: Habes famosissimae navigationes specimen,... etc.

² Selmer C. A Study of the latin manuscripts of the *Navigatio Sancti Brendani* // *Scriptorium*. International Review of manuscript studies. 1949. Vol. 3. P. 178–180.

³ De sancto Brendano versus satirici // *Vitae Sanctorum Hiberniae*. Oxford, 1910. Vol. 1. P. 293–294. Версия в Интернете: <http://www.utqueant.org/doc.3.Bren.Ib.html>.

⁴ Hardy T. *Descriptive Catalogue of Materials relating to the History of Great Britain and Ireland*. Vol. I. Part I. N.Y., 1862. P. 162.; Kenney J. F. *The sources for the Early History of Ireland: An introduction and guide*. Vol. 1. N.Y., 1929. P. 417; Для французской школы характерна более поздняя датировка XIII в.: Meyer P. *Satire en vers rythmiques sur la legende da Saint Brendan* // *Romania*. Vol. 31. P. 376–379; Gougaud L. *Les saints irlandais dans les traditions populaires des pays continentaux* // *Revue Celtique*. P., 1922. P. 210; Vincent G. *La fascination exercee par la legende de saint Brendan* // <http://www.utqueant.org/doc.3.Bren.Ib.html>.

⁵ Rollanson D. *Saints and Relics in Anglo-Saxon England*. Oxford, 1989. P. 79.

⁶ Bethada Náem nÉrenn. *Lives of the Irish Saints*. Oxford, 1922. Vol. 1. P. 81.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

⁷ Henning J. Irish Saints in Early German Literature // *Speculum*. 1947. Vol. 22. № 3. P. 360.

⁸ Mackley J. The Genre and Audience of the Voyage of St Brendan // www.english.bham.ac.uk/medievalstudies.

⁹ Leerssen J. Wildness, Wilderness and Ireland: Medieval and Early-Modern Patterns in the Demarcations of Civility // *Journal of History of Ideas*. 1995. Vol. 56. № 1. P. 25–39.

О. В. Куварзина (Нижний Новгород)

О ПОНЯТИИ «СКОМОРОШЕСТВА»

В современной науке в качестве актуального методологического подхода провозглашается антропологический аспект исследований, призванный создать системное описание человека. Такой подход требует комплексного изучения, основанного на синтезе различных наук. Комплексное изучение представляется наиболее продуктивным, о его жизнеспособности свидетельствует появление терминов — дублетов, к примеру: «картина мира» в физике и лингвистике. Исследования «на стыке наук» применимы при описании как отдельного явления, так и при определении терминологического аппарата.

При определении понятия скоморошества появляется целый ряд трудностей, вызванный оценкой самого этого явления. В специальной литературе скоморошество описывается как историческое, культурное, социально, религиозное, этическое, эстетическое, языковое явление. Учет всех аспектов его рассмотрения позволит выявить существенные характеристики этого сложного явления, дать четкое определение понятия.

В сфере семантики слова «скоморошество» входит пласт значений, выраженных синонимическим рядом слов: «шутовство», «фиглярство», «гаерство», «балагурство», «юродство», «кривляние». Они очень часто употребляются в обыденной речи для обозначения непристойного поведения и имеют ярко выраженную негативную окраску, что не свойственно термину. Наличие паронима «скоморошество» так же делает смысловую структуру слова «скоморошество» менее четкой. Слово с развитой полисемией, синонимией, патронимией требует особого внимания при определении терминологического значения.

Итак, морфемная структура слова «скоморошество», первичное значение «занятие или профессия скомороха» указывает на его соотносимость со словом «скоморох», заимствованного из греческого языка (αρχιμουσικητής — «мастер, начальник смехотворства»). Бесспорно, языковым значением (лексическим, словообразовательным, этимологическим) не исчерпывается терминологическое понимание, необходимо рассмотреть само явление скоморошества.

Известно, уже с IX века скоморошество — это сложившееся явление, скоморохи обладали высоким мастерством и профессионализмом¹. Их исполнительское мастерство было высоко оценено народом, о чем говорят пословицы: «Всяк спляшет, да не как скоморох», «Не учи плясать, я сам скоморох», «Гусли-то те, да руки не те» и так далее.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Помимо мастерства и профессионализма, важной характеристикой скоморошества как общественно-социального института является способ их организации — особый цех актеров-ремесленников, именуемый как «артель», «ватага». Более того, ремесло скомороха позволяло снискать себе пропитание и обязывало наравне с посадскими людьми нести тягло и повинности².

Изначально скоморошество считалось дозволенной профессией, затем в сфере официальных отношений занятие скомороха стало оцениваться как асоциальная деятельность. По словам А.А. Белкина, в 41-й главе «Стоглавого собора» 1551 г. «сильная игра скомороха» упоминается наряду с грабежом воровством, обманом.³

Как представляется, это показатель того, что скоморохов относили к деклассированным элементам — таким же, как воры, грабители, разбойники и т.п. — по причине протестного характера их культуры.

Противостояние скоморошества официальной культуре — по сути противостояние мировоззрений, традиционной языческой и новой христианской идеологий. Скоморохи как преемники языческой традиции вызывали сочувствие и симпатии народа. Глубинно народная культура, чтимая самим народом, продолжала существовать даже в период жесточайших репрессивных мер против ее представителей.

Главная сфера деятельности скоморохов всегда была связана с ритуальным смехом, который был присущ похоронным, свадебным обрядам, явлениям, первобытной земледельческой религии, обычаям, чередующимися со смежной времен года. В русском же православии смех всегда ассоциировался с бесовством.

Противостояние упорядоченной знаковой системы христианства и бессистемности языческого мира нашло отражение в произведениях скоморохов: «Вселенная делится на мир настоящий, организованный, мир культуры, и мир ненастоящий, не организованный, отрицательный мир «антикультуры»⁴.

Особую роль в скоморошьей поэтике Д.С. Лихачев отводит отрицанию и снижению⁵. С помощью различных приемов балагурства (рифма, неверной этимологии, паронимическая аттракция) создают многочисленные антипроизведения: антимолитвы, антилечебники, антисудебный список.

Антиповедение скоморохов: обнажение интимных мест, переодевание, выворачивание одежды наизнанку служит той же цели — обнаруживать правду, освобождать реальность от покрова этикета. Поэтому скоморошество нельзя отождествлять с грубым цинизмом и кошунством.

Таким образом, скоморошество — это связанное со смеховым аспектом восприятие действительности, художественное мировоззрение, которое определяет поэтическую систему смеховых произведений и стиль поведения их автора.

История текстов и текст истории

Примечания

¹ Белкин А.А. Русские скоморохи. М., 1975. С. 98.

² Морозов А.А. К вопросу об исторической роли скоморохов // Русский фольклор. Вып. 16. Л., 1976. С. 45.

³ Белкин А.А. Русские скоморохи. М., 1975. С. 10.

⁴ Лихачев Д.С. Смех как мировоззрение // Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. СПб., 2001. С. 348.

⁵ Там же. С. 356–378.

Т.Ф. Ляпкина (Улан-Удэ)

ТЕОРИЯ СИБИРСКОГО ОБЛАСТНИЧЕСТВА В ИСТОРИОГРАФИИ СИБИРИ

Общественные и социокультурные изменения последних десятилетий стимулировали научный интерес к историческим персонам, оставившим литературное и научное наследие, не однозначно оцениваемое в историографии Сибири. Сменившийся идеологический акцент с марксистской теоретико-методологической парадигмы на множественность культурно-исторических позволяет по-новому взглянуть и оценить концепцию сибирского областничества в лице его главных персон — Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева.

Первые научные исследования Сибири и Восточной Сибири, в частности, начинают появляться в период активного освоения региона (XVIII в.). В сибирской историографии это время называют временем первых сибирских экспедиций. Наиболее известными и результативными, в смысле исторической информации, являются экспедиции Мессершмидта, затем Палласа, Фалька, Гмелина. Известны и другие материалы экспедиций Императорской Академии наук, Императорского Русского Географического Общества, которые также посвящены изучению сибирских окраин.

Интерес к далекому суровому краю подтверждают публикации в «Ежемесячных Сочинениях» 1790-х годов, а также в немногочисленной периодической печати Сибири¹. Уже в XVIII веке складываются научные и культурные традиции в области провинциальной историографии². Создаются комплексы источников и научно-исторических трудов о каждом отдельном крае и области. Предметом исследования становится историописание русской провинции³. Результатом — комплекс исторических трудов, созданных в регионах России в XVIII, а в Сибири — в XIX веке. В целом провинциальная историография была неотъемлемой частью развития исторической науки России. Территориальные рамки исследования локальной истории определяются единством историографического комплекса региона. Тем более что Сибирь имела свою и значительную специфику развития в научно-исторической деятельности. До сих пор в сибирской науке сохраняется большой интерес к научным исследованиям И.Г. Георги, Г.Ф. Миллера, И.Э. Фишера, П.А. Словцова и др. историков конца XVIII века⁴.

Изучение истории России в XIX веке опиралось на концепцию централизованного государства. Однако нельзя сказать, что централизованная концепция истории России была единственной. Роль окраин или колоний, в том числе и Сибири, формирование концепции российского регионализма рассматриваются уже в первых работах по истории Сибири с XVIII века.

История текстов и текст истории

Ярким явлением в историографии Сибири являются областники. Они стали последователями развития регионализма в России, которое связано с именами русских историков Н.И. Костомарова и А.П. Шапова (1831—1876), сформулировавшими земско-областную концепцию истории России. В числе идейных предшественников обычно называют также ссыльных декабристов и петрашевцев, первого сибирского историка П.А. Словцова и др. Сегодня возвращение к оценке этой концепции является показателем нового этапа в развитии регионализма и федерализма нашего государства.

Идея децентрализации исторической науки — стержень теории «областничества». Основным содержанием русской истории Шапов считал «саморазвитие» областей, их самообразование путем колонизации. Поэтому местная (областная) история стала важнейшим предметом русской истории⁵. По сути, теория «областничества» стала итогом более чем столетнего развития провинциальной (региональной) историографии.

Широкое обращение историков-профессионалов и историков — любителей в различных регионах России к изучению истории «народной жизни» повлияло на исследователей истории, археологии и этнографии, которые также активно начинают свою деятельность по изучению своего края. Теория Шапова стала своеобразным теоретическим обоснованием научно-исторической и организационной деятельности многих провинциальных историков-исследователей. А.П. Шапов писал: «Русская история в самой основе своей есть по преимуществу история областных масс народа, история постоянного территориального устройства, разнообразной этнографической организации, взаимодействия, борьбы, соединения и разнообразного политического положения областей до централизации и после централизации»⁶.

В своей теории Шапов противопоставляет земско-областную форму общественной жизни государственно-союзной, считая, что сельский и городской миры связаны естественно-бытовой традицией, которая в свою очередь образует областную земскую мир, а он в свою очередь посредством федеративной связи распространяется во всенародный русский земский мир⁷.

Идея изучения прошлого и настоящего отдельного села, волости, уезда, области на конкретно-историческом и этнографическом материале А.П. Шапова была принята провинциальной интеллигенцией как призыв к действию. Так историописание провинциальной (местной) истории становится характерным направлением исторического изучения второй половины XIX века. К сожалению, его идея перенесения законов естествознания на историческую жизнь общества была реализована не в полной мере. Сила и слабость провинциальной историографии отразилась в деятельности этого ученого чрезвычайно ярко⁸. Тем не менее, толчок к развитию провинциальной исторической науке был дан. И с этого момента начинается формирование весомой социальной группы — провинциальной интеллигенции, разнородной по своему характе-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ру, которая начала реализацию и распространение мировоззренческих установок теории «областничества».

Линия на сибирскую регионализацию была продолжена и во второй половине XIX века общественно-политическим движением областников. Оно было вызвано протестом против колониальной политики царизма. Развитие движения дало толчок к пробуждению «местного патриотизма» небольшой части сибирской интеллигенции⁹.

Развитие этого движения — один из интереснейших вопросов истории и культуры Сибири. В истории изучения областничества есть разные, а порой прямо противоположные оценки его деятельности. Его называли передовым движением сибирской интеллигенции, демократическим и реакционным, народническим и даже революционным. Оставив политические оценки сибирского областничества, скажем, что его роль в изучении сибирского региона, как составной части России, в пробуждении самосознания сибиряков значительна, и об этом не раз упоминается в работах по историографии Сибири¹⁰.

Среди идеологов и активных участников сибирского областничества были Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, С.С. Шашков, В.И. Вагин, М.В. Загоскин и др. Их называют «печальниками» Сибири, они — цвет сибирской интеллигенции второй половины XIX начала XX вв. Главное, на что хотели обратить внимание просветители в своих исследованиях, это необходимость содействия в изучении края, а также в развитии его культурного и экономического потенциала.

Период оформления идеологии сибирского областничества занял почти пятнадцать лет — с начала 60-х до середины 70-х годов XIX в. За это время ведущие теоретики областничества Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин успели окунуться в студенческое движение в Петербурге. Они активно пропагандировали свои взгляды в газетах, журналах и открытых выступлениях в самой Сибири, стали главными фигурами в знаменитом процессе «сибирских сепаратистов» 1865 года в Омске и оказались высланными под надзор полиции в северные губернии европейской части России. Наряду с бурной общественной деятельностью на эти годы приходятся и поиски теоретического обоснования областнического движения.

Интерес к этому общественно-политическому явлению возникает в 10—20-е годы XX века¹¹. Этот период в истории Сибири характеризуется наибольшим развитием сибирской интеллигенции и зарождением национальной интеллигенции. В историографии, работы появившиеся в это время оцениваются, как попытка дать марксистскую оценку областничеству, поскольку авторы статей являлись представителями сибирской большевистской организации.

В 20—40-е годы интерес к сибирскому областничеству не ослабевал. В работах исследователей выявляются истоки, классовая природа, анализируется процесс формирования взглядов представителей сибирской интеллигенции¹². Оценки сибирского областничества колеблются, исследователи пы-

История текстов и текст истории

таются найти как минусы, так и плюсы в их деятельности. Так, например положительные особенности характера областничества даны в исследовании Н.К. Пиксанова, автора и разработчика теории «культурных гнезд». Он пишет: «Областничество — это уже фактическое наличие того или другого местного культурного запаса; осознанная тенденция, учет живых местных сил, стремление организовать их к дальнейшему развитию и противопоставить нивелирующему центру. Областничество — это практическое осознание того, что долго не было осознано столичной русской наукой теоретически. Областничество может опираться только на созревшие силы»¹³.

Н.К. Пиксанов подмечает, на наш взгляд, самый существенный вывод о значении сибирских областников в истории и культуре Сибири. Действительно, они впервые попытались осмыслить пути развития Сибири и теоретически и научно обосновать его. Вся их деятельность была направлена на пробуждение того самого регионального (местного) самоосознания, недостаток которого испытывает современная Россия. За их в некотором смысле западнические воззрения сибирских областников можно назвать «сибирскими Чаадаевыми». Нам думается, что именно за такой критический взгляд на состояние и развитие Сибири XIX века их упрекали и не понимали в советской историографии.

В 50–60-х по данной теме защищают диссертации А.П. Бородавкин и Н.В. Блинов¹⁴. Появляется интерес к литературной деятельности, а также к научной работе сибирских областников¹⁵. Исследователи областничества делят историю областничества на три периода: 1) 60–90-е годы XIX века; 2) 1900–1917 гг.; 3) 1917–1919 гг., объясняя такое деление эволюционными изменениями в самом движении¹⁶. Сибирское областничество — это общественное течение, ставившее целью всестороннее развитие Сибири, но противопоставлявшее при этом Сибирь (как «колонию») европейской России («метрополии»). Самое крупное в Сибири движение до возникновения кружков. Так определяют областническое движение историки В. Коржавин, В. Мирзоев и Н. Яновский¹⁷. Во вступительной статье к очередному тому «Литературного наследия Сибири» Коржавин В.К. отмечает не только роль областников в научном изучении края, но главным образом «большую и плодотворную культурную работу» сибирской интеллигенции¹⁸.

В 1970 году появляется первое наиболее полное историографическое исследование Сибири В.Г. Мирзоева¹⁹. Его работа была выстроена не только в хронологическом порядке, но и в соответствии с прохождением Россией и Сибирью стадий общественно-экономических формаций. Поэтому разделы историографии носят название — «Феодальная историография Сибири», «Подъем демократической историографии. Кризис буржуазно-дворянского направления» и т.д. Не смотря на идеологическую направленность работы, это наиболее полная и, на наш взгляд, объективная историография Сибири. Ее автор максимально всесторонне освещает этапы истории региона, тесно

Фигуры истории, или «общие места» историографии

связанные с этапами его освоения. «Сибирская историография отражает в себе восприятие современниками не только событий их жизни, но и понимание ими исторического прошлого. Она — показатель проблем, волновавших общество в самые различные эпохи, и свидетель прогрессивного развития одних идей и гибели других из века в век»²⁰.

Кратко остановимся на характеристике областников в историографии Сибири В.Г. Мирзоева. Характеризуя период рождения этого общественно-политического движения, автор исследования замечает, что это время поиска новых методов в исторической науке. Начинается планомерное стационарное изучение огромной страны, вызвавшее необходимость создания целой сети отделений Русского Географического Общества (РГО). На территории Сибири также открылись отделения, взявшие на себя руководство изучением этого большого региона. Этот же период развития сибирской историографии совпадает с буржуазными реформами и освоением Амурского края. «Изыскания находятся в руках любителей старины или местных патриотов»²¹. Вместе с тем областники создают сеть корреспондентов на всем протяжении края. Основной их научной деятельности становятся потребности народной экономики и культуры Сибири²².

В.Г. Мирзоев отмечает вклад сибирских областников и в источниковедение. «Областники противопоставляли накоплению источников на местах в Сибири той же работе в центре — в Москве и в Петербурге, рассматривая последнюю, как одно из проявлений колониального ига в отношении восточного края. Только наиболее полное сохранение и концентрация источников на местах, по их мнению, будет единственным условием создания сибирской науки»²³. Исследователь делает по-своему замечательный вывод о том, что сама областническая идея рождается и получает свое оформление не в Сибири, а Санкт-Петербурге, в студенческие годы его лидеров, и это движение носит ярко выраженный «надпартийный характер»²⁴. Это говорит о том, что процесс самоосознания себя как сибиряков у студентов университета начался только тогда, когда он ощутили свои отличительные черты от других категорий студентов. Только дистанцировавшись от своего региона смогли осознать себя его частью.

Давая характеристику этапам развития областнического движения, историк подчеркивает его неоднородность и отсутствие единства, что ставит под сомнение, приписываемую организованную политическую и идеологическую окраску движению. Автор прямо говорит, что «областническое движение вылилось в поход за культурное преобразование края»²⁵, а не за какие-то идеологические, пропагандистские сепаратистские идеи. Они радели за пробуждение духа в Сибири, и это наиболее точная, на наш взгляд, оценка деятельности областников. Такая точка зрения на развитие областнического движения и на их деятельность ближе автору данной статьи, однако, об авторской позиции позже.

История текстов и текст истории

В 1974 году появляется работа М.Г. Сесюниной²⁶, в которой, как и принято было в советской историографии, исследователь пытается выявить идеологические основы сибирского областничества. Оценка деятельности сибирских областников в этой работе дана в большей степени со знаком минуса. И построена она на оппонировании тем исследователям (С.Ф. Коваль, Н.Л. Лапин), которые находили в нем революционно-демократические черты общественного движения второй половины XIX века²⁷.

М.Г. Сесюнина выявляет, как ей кажется, реакционную сущность идей сибирского областничества, объясняя это тем, что сибирские интеллигенты желали государственной самостоятельности Сибири и обращались к колониационному опыту США. Конечно, идея самостоятельности региона в период существования Советского Союза выглядела действительно реакционно, поскольку идея единства государства, единого политического пространства была основой идеологии. А всякая сепаратистская теория, даже исторического прошлого, подвергалась осуждению, подчеркивая невозможность распада единства государства. Тем более критике подвергалось все, что опиралось на опыт Соединенных Штатов. Поэтому в работе М.Г. Сесюниной сибирских областников называют «типичными буржуазными либералами»²⁸ — за то, что они в некотором смысле пытались найти движущие силы в развитии Сибири и видели их в зарождающейся буржуазии и интеллигенции края. Областников называли «историческим трупом»²⁹ за то, что сибирские областники так и не смогли поднять массы на революцию, за улучшение экономического положения края. Однако заметим, что наш анализ не имеет цель критиковать работы историков советского периода. Мы лишь пытаемся сместить акцент с сугубо политической, идеологической оценки деятельности сибирских областников на культуру-творческую и научную.

В 1984 году появляется еще одно историографическое исследование, авторами которого выступают Л.М. Горюшкин и П.А. Миненко³⁰. Историография Сибири в изложении этих историков тесно связана, на их взгляд, с основными вопросами ее истории — такими, как вопросы заселения и колонизации. Авторы уверены, что историография Сибири это, прежде всего историография проблемы ее освоения³¹. «Свою задачу авторы книги видят в том, чтобы осветить с марксистско-ленинских позиций процесс исследования основных проблем истории Сибири эпохи феодализма и капитализма: присоединение Сибири, ее заселения русскими и положения в системе Российского государства, развития сельского хозяйства, городов, промышленности и торговли в ходе освоения края, истории крестьянства и рабочего класса, их классовой борьбы против эксплуататоров»³².

Интересно то, что лишь в конце введения историки говорят о самом существовании в данном исследовании. Л.М. Горюшкин и П.А. Миненко сообщают о том, что книга посвящена только историографии русского населения Сибири.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Это замечание сразу сужает не только объем анализируемого материала, перечень проблем, но и делает это исследование центристским. Оно исключает анализ целостности истории Сибири, в то время как очевидно, что история Сибири не начинается с момента переселения русского населения на ее территорию. Такой подход, на наш взгляд, не позволил авторам сосредоточиться на персоналиях сибирской науки, а сделал возможным реализовать лишь проблемно-логический принцип изложения материала. «Названные проблемы подвергнуты сквозному рассмотрению, показано освещение их в трудах исследователей на протяжении более чем трех веков...»³³ Поэтому интересующий нас вопрос о сибирских областниках звучит в этом исследовании только постольку, поскольку рассматриваются основные вопросы истории русского населения Сибири.

Наиболее полное изложение российских и сибирских истоков областнических идей, с несколько смягчившейся идеологической направленностью исторических исследований, мы находим в книге М.В. Шиловского «Сибирские областники в общественно-политическом движении в конце 50-х — 60-х годах XIX века», изданной в Новосибирске в 1989 году³⁴. В данной работе также дается в основном политическая оценка деятельности сибирских областников, но уже в революционно-демократическом ключе. Как показалось автору этого исследования, общественно-политическое движение областников второй половины XIX века имело особенность, которая заключалась в том, что «наибольшее внимание его идеологов обращалось на обоснование специфического положения Сибири и ее места в революционном процессе»³⁵.

М.В. Шиловский уверен, что формы организации пропагандистской работы сибиряков и революционеров-демократов всей России совпадали. Что это была одна из ячеек революционно-демократического движения периода первой революционной ситуации, финал деятельности которой был также типичен. Как видно и данная работа не избежала политического штампа в оценке деятельности сибирских областников, хотя исследователь вводит новый архивный материал по истории движения и отмечает научный вклад сибирской интеллигенции.

Новая окраска в оценке деятельности лидеров сибирского областничества предстала в работе Чередниченко И.Г. «Николай Михайлович Ядринцев — публицист, теоретик и организатор провинциальной печати» (1999)³⁶. Эта работа появляется в новое историческое время, когда историческая наука находится в стадии поисков новой, гуманистической парадигмы. Все большее внимание уделяется не только повседневной жизни в разные исторические эпохи, но и собственно историческим личностям, персонам, их обыденной жизни, среде и обстоятельствам в которых эта персона формируется. Так мы начинаем видеть не только политическое лицо общественного деятеля Сибири, но и его простое человеческое.

История текстов и текст истории

В работе И.Г. Чередниченко повторяется мысль, высказанная еще в 20-е годы Н.К. Пиксановым о том, что вся деятельность сибирских областников есть не что иное, как пробуждение сибирского (регионального) самосознания³⁷. «Идеи Ядринцева связаны с идеями гуманизма»³⁸. Исследователь обращает внимание на то, что лидер сибирского областничества в своих теоретических работах большое внимание уделяет проблемам провинции. Именно их решение должно будет способствовать решению проблем в государстве в целом. Мало того, вся деятельность Н.М. Ядринцева направлена именно на развитие провинции, и, в частности, ее печати, поскольку просветительские идеи являются главными в концепции областничества. Однако нельзя не заметить и общей озабоченности положением России второй половины XIX века в работах сибирского ученого. Так, например, в своей статье «Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад» Н.М. Ядринцев по поводу крестьянской общины высказывает опасения, которые связаны с реформами. Он пишет: «После освобождения крестьян община сильно изменила свой склад, выдвинулось кулачество, появились обезземеленные крестьяне, и в России обнаружился тот же аграрный вопрос и безземелье, которое считалось только язвой Запада. Община на экономическом пути не сделала прогресса, она дальше от ассоциации, чем европейский крестьянский мир. Крестьянство так же отстало в культуре, как 100 лет назад, бедно, как было при крепостном праве. Идеалисты начали разочаровываться в общине, и вместо общинников появились марксисты. Европу также не удивишь теперь общиной, в которой она видит весьма первобытную форму»³⁹.

На наш взгляд, И.Г. Чередниченко в анализе публицистической деятельности Н.М. Ядринцева не акцентирует внимание на то, что развитие журналистики и периодической печати вообще не есть только способ развития самой провинции. На наш взгляд, это еще и единственный способ быть услышанным как центром, так и собственно самой провинцией. И конечно же, это способ самовыражения, даже выживания. Известно, что иногда публикации статей в газетах и журналах были единственной возможностью получения хоть какого-то заработка, а их количество было связано не только с творческой плодотворностью Н.М. Ядринцева (да и других областников), но и было вызвано материальными проблемами.

И.Г. Чередниченко обращает внимание на разнообразие тематики публикаций Н.М. Ядринцева: это крестьянский, земский и переселенческий вопросы, это проблемы, связанные с экономическим освоением региона и ссылкой, и, конечно же, проблемы развития образования и культуры коренных народов Сибири⁴⁰.

Суммировав теоретические воззрения сибирских областников, попытаемся кратко охарактеризовать их концепцию и позицию автора данной статьи. В кратком и, конечно же, не претендующем на полноту обзоре исторических

Фигуры истории, или «общие места» историографии

исследований мы остановились на двух небольших группах. Первая группа исследований касается собственно областничества и деятельности их главных идеологов. И вторая группа — исследования по историографии Сибири. Нам было важно отметить некоторые отличия в оценках и анализе областничества. Если первая группа наиболее динамично изменяет отношение к областникам от политической общественной организации до их культуротворческой деятельности, то в историографии Сибири сами областники и их позиции не пересматриваются, хотя сегодня очевидна, прежде всего, рефлексия регионального (местного, областного) самоосознания.

На наш взгляд, главной идеей в теории сибирского областничества была идея просвещения народов, живущих в этом суровом крае. С просвещения в Сибири начинались основные пункты программы областников, поскольку, по их мнению, без этого невозможно улучшить экономическое положение в крае. Это дает нам право утверждать, что концепция сибирских областников носит в основном просветительский характер. Областники были уверены, что только просвещение может поднять экономическое положение Сибири на должный уровень, а оно в свою очередь будет способствовать развитию и формированию культуры, науки и искусству.

Сама областная идея, по мнению лидеров движения, должна была возбуждать жизнь России изнутри, из провинции⁴¹. Необходимость его рождения была вызвана не теоретическими и идеологическими соображениями, а самой жизнью. Реализоваться она могла только в западническом варианте, «согласуя идеалы со своими местными нуждами, с желанием служить народу своей области»⁴². Поясняя что такое местные интересы, Г.Н. Потанин, говорил, что интересы эти совсем не те, что появляются в провинциальной печати — в «Иркутских ведомостях» или «Амуре». Эти интересы связаны, прежде всего, с нуждами автономии края, его самостоятельностью в развитии экономики и культуры⁴³. Он же в письме А.Д. Шайтанову писал: «Переворот умов и пополнение пустоты в головах — вот роль нам предстоящая»⁴⁴.

В этом письме Г.Н. Потанин изложил и еще одно из главных условий прогрессивного развития Сибири. Условие касалось формирования местной региональной интеллигенции. Он считал, что сибирской молодежи, получающей образование в Москве и Петербурге необходимо возвращаться на родину, ибо только так можно рассчитывать на то, что регион будет процветать. Кроме того, Потанин считал необходимым разработку особой сибирской педагогики, помогающей и живо реагирующей на современные нужды и проблемы края⁴⁵.

Значительное место в научном наследии областников занимают работы, посвященные рассмотрению вопросов развития культуры Сибири. Хотя надо заметить, что культура не является предметом самостоятельного изучения в чистом виде (с точки зрения истории культуры или современной культуроло-

История текстов и текст истории

гии). Скорее, их исследования следуют распространенной в XIX веке парадигме «история = культура» и, наоборот, «культура = история». В своих работах они пытаются сибирскую проблематику вытянуть на уровень мировой, сравнивая Сибирь с колониями ведущих держав Западной Европы. При всей общности Сибири в концепции областничества, она все же часть России, и ее будущее зависит от способности и возможности прогрессивного развития самой России.

В изучении наследия сибирских областников нам кажется важным анализ истории научной мысли Сибири через личности ее творцов. Причем личность автора той или иной концепции или идеи должна рассматриваться *прежде*, чем сама идея, событие или концепция. Теорию и историю в исследовании нужно рассматривать сквозь призму многоплановой деятельности их авторов. История идеи складывается во времени, т.е. в определенном историческом пространстве: идея постигается и переосмысливается в умах ее носителей, получая свое выражение в их творчестве. Таким образом, все вышесказанное еще раз подтверждает необходимость изучения истории научной мысли Сибири через обращение к личности авторов, к персоне, и их произведениям. Личность ученого и его идею нельзя выхватывать из контекста времени и пространства.

Примечания

¹ «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» 1789–1793; «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная, в пользу и удовольствие всякого звания читателей» 1793–1794 и др.

² Бердинских В.А. Уездные историки: Русская провинциальная историография. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 21.

³ Бердинских В.А. Указ соч. С. 22; Севастьянова А.А. Русская провинциальная историография второй половины XVIII века. СПб., 1993.

⁴ Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, веры, обыкновений, жилищ, одежды и прочих достопамятностей: В 3-х ч. СПб., 1776–1779; Миллер Г.Ф. Описание Сибирского царства и всех, произошедших в нем от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена. Кн. 1 [20-е изд.]. СПб., 1787. [6], 368, [28] с. Прил. (Изд. Имп. Акад. Наук); Фишер И.Э. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием. СПб., 1774. 631 с.; Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. СПб., 1793; Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб., 1773–1788. Ч. 1–3.

⁵ Бердинских В.А. Указ. соч. С. 41.

⁶ Шапов А.П. Неизданные сочинения // Известия Общества археологии, истории и этнографии при казанском университете. Казань, 1926. Т. 33. Вып. 2/3. С. 13.

⁷ Шапов А.П. Новая эра / Собрание сочинений. Дополнительный том. Иркутск, 1937. С. 16, 17.

⁸ Бердинских В.А. Указ соч. С. 43.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

⁹ Коржавин В.К. К характеристике сибирского общественного движения второй половины XIX века. Возникновение и сущность «областнической идеи» // Литературное наследство Сибири. Т. 5. Новосибирск, 1980. С. 9.

¹⁰ Мирзоев В.Г. Историография Сибири. Первая половина XIX века. Кемерово, 1965; Он же: Историография Сибири. М., 1970; Штейнфельд М.Б. Историография Сибири (конец XIX начало XX вв.). Красноярск: КГУ, 1973. 91 с. и др.

¹¹ Ветошкин М.К. Местные нужды и сибирская парламентская группа // Современный мир. 1912. №7; Он же: Сибирское областничество // Современный мир, 1913. № 3; Чужак Н. О сибирской и инносибирской интеллигенции // Сибирский архив. 1913. № 5; Он же: К подлинному лицу областничества // Забайкальское обозрение. 1916. № 10–11; Ватин В.А. Юбилей Потанина и Молодой Сибири // Сибирский архив. 1915. № 7, 8, 9; Он же: К юбилею областничества // Сибирский архив. 1915. № 12.

¹² Вегман В.Д. Областные иллюзии, рассеянные революцией // Сибирские огни, 1923, № 3; Круссер Г.В. Сибирские областники. Новосибирск, 1931; Гудошников М. Классовая природа областничества // Будущая Сибирь. Иркутск, 1931. № 1; Степанов Н. П.А. Словцов (У истоков областничества). Л., 1935; Терентьев А. Н.М. Ядринцев // Сибирские огни. 1934. № 6.

¹³ Пиксанов Н.К. Областные культурные гнезда. М; Л., 1928. С. 32.

¹⁴ Бородавкин А.П. Публицист С.С. Шашков и его исторические взгляды. Автореф. дис. Томск, 1950; Блинов Н.В. Возникновение социал-демократических организаций в Сибири. Автореф. дис. Томск, 1962.

¹⁵ Кошелев Я.Р. Русская фольклористика Сибири (XIX начала XX вв.). Томск, 1962; Козьмин Б.П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961; Разгон И.М., Плотников М.Е. Г.Н. Потанин в годы социалистической революции и гражданской войны // Вопросы истории Сибири. Вып. 2. Томск, 1965; Постнов Ю.С. Литература Сибири 70-х г. XIX века в оценке Г.Н. Потанина // Известия СО РАН СССР. № 5. Вып. 2. (Общественные науки). Новосибирск, 1966; Коржавин В., Мирзоев В., Яновский Н. К характеристике сибирского областничества // Сибирские огни. 1971. № 12; Штейнфельд М.Б. Проблема истории Сибири в областничестве в начале XX века // Из истории Сибири. Вып. 3. Красноярск, 1970.

¹⁶ Чередниченко И.Г. Николай Михайлович Ядринцев — публицист, теоретик и организатор провинциальной печати. Иркутск, 1999. С. 30.

¹⁷ Коржавин В., Мирзоев В., Яновский Н. К характеристике сибирского областничества // Сибирские огни. 1971. № 12. С. 138.

¹⁸ Коржавин В.К. К характеристике сибирского общественного движения второй половины XIX века. Возникновение и сущность «областнической идеи» // Литературное наследство Сибири. Т. 5. Новосибирск, 1980. С. 9–10.

¹⁹ Мирзоев В.Г. Историография Сибири (Домарксистский период). М.: «Мысль», 1970. 391 с.

²⁰ Там же. С. 5.

²¹ Там же. С. 230.

²² Там же. С. 234.

²³ Там же. С. 254.

²⁴ Там же. С. 297.

История текстов и текст истории

²⁵ Там же. С. 301.

²⁶ Сесюнина М.Г. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев — идеологи сибирского областничества. Томск, 1974. 139 с.

²⁷ Коваль С.Ф. Революционная деятельность польских политических ссыльных в Сибири в 60-е годы XIX в. // Экономическое и общественно-политическое развитие Сибири в 1861—1917 гг. Новосибирск, 1965; Он же. За правду и волю. Иркутск, 1966; Он же. Характер общественного движения 60-х годов XIX века в Сибири // Общественно-политические движения в Сибири в 1861—1917 гг. Новосибирск, 1967; Лапин Н.А. Революционно-демократические движения 60-х годов XIX века в Западной Сибири. Свердловск, 1967.

²⁸ Сесюнина М.Г. Указ. соч. С. 35.

²⁹ Сесюнина М.Г. Указ. соч. С. 5.

³⁰ Горюшкин Л.М., Миненко П.А. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец XVI — начало XX в.). Новосибирск: Наука, 1984. 289 с.

³¹ Там же. С. 3.

³² Там же. С. 12.

³³ Там же.

³⁴ Шиловский М.В. Сибирские областники в общественно-политическом движении в конце 50-х — 60-х годах XIX века. Новосибирск, 1989. 146 с.

³⁵ Там же. С. 142.

³⁶ Чередниченко И.Г. Николай Михайлович Ядринцев — публицист, теоретик и организатор провинциальной печати. Иркутск, 1999. 180 с.

³⁷ Там же. С. 22.

³⁸ Там же. С. 49.

³⁹ Ядринцев Н. Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад // Литературное наследство Сибири. Т. 5. Новосибирск, 1976. С. 209—226.

⁴⁰ Там же. С. 92.

⁴¹ Из письма Н.М. Ядринцева Г.Н. Потанину. 23.11.1864 // Литературное наследство Сибири. Т. 4. Новосибирск, 1979. С. 238.

⁴² Там же. С. 239.

⁴³ Письма Г.Н. Потанина. В 4-х т. / Сост. А.Г. Грум-Гржимайло, С.Ф. Коваль и др. 2-е изд. Ирк., 1987. Т. 1. С. 57—60.

⁴⁴ Там же. С. 65—66.

⁴⁵ Там же. С. 71—72.

И.В. Потапов (Великий Новгород)

БРИТАНСКАЯ СИСТЕМА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ XIX ВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСКУРСАХ

Способы достижения исторической объективности разнообразны, они зависят от времени, от уровня развития науки, от области научного знания и предмета исследования, от меры таланта ученого и т.д. Ряд положений, на основе которых формируется и развивается научное знание, остается неизменным: концептуальная прочность теории, соответствие практических намерений и действий заявленным теоретическим принципам, надежность метода обработки эмпирических данных, непротиворечивость понятийного аппарата, четкость операционального назначения и применения терминов и др. Одним из таких способов является научный дискурс.

«Термин “дискурс” на языке современной гуманитарной науки означает устойчивую, социально и культурно определенную традицию человеческого общения. Духовная культура общества представляет собой ансамбль дискурсов, наделенных различными коммуникативными стратегиями».¹ Применительно к историческому исследованию, основным материалом для которого является текст, он понимается как «высказывание, проецированное (нередко при помощи какой-либо дополнительной системы обозначений и фиксации в иной, более устойчивой материальной среде) в рамки отложенной, отстоящей во времени или пространстве коммуникации»². А высказывание рассматривается как целостная единица общения, характеризующаяся такими базовыми свойствами, как информационная и композиционная завершенность.

Необходимо определить те признаки, по которым можно классифицировать современные научные дискурсы. Отправной точкой в наших рассуждениях примем концепцию персонального и институционального дискурса, предложенную В.И. Карасиком: «С позиций социолингвистики можно выделить два основных типа дискурса: персональный (лично-ориентированный) и институциональный. В первом случае говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором случае — как представитель определенного социального института»³

Опираясь на эту концепцию, выявим два наиболее важных конструктивных признака дискурса. Первый признак — это признак темы. Тематическое начало выступает одним из первичных оснований для образования дискурса и поддержания его относительной стабильности. Тема может становиться доминантой дискурса и тем самым дифференцировать его — такие дискурсы,

История текстов и текст истории

как правило, носят временный или периодически возобновляющийся характер, в зависимости от характера и продолжительности интереса к данной теме в сообществе, осуществляющем данный дискурс.

Второй признак — признак общности участников коммуникативной практики, поддерживающей дискурс. Это может быть как общность интересов участников, так и общность ситуации.

Анализ методологических и методических приемов, используемых современными отечественными историками в исследованиях проблемы британского местного самоуправления, апробация предлагаемых в современной историографии концептов на основе документальных материалов, позволяет выявить некоторые особенности современных дискурсивных практик.

Признаки дискурса не находятся на одной плоскости и не носят универсального характера, что делает невозможным существование претендующих на универсальность и одномерно-симметричных классификаций. При анализе типологии современных дискурсивных практик по этой проблематике можно обратиться к следующим исследованиям: «Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты» В.Б. Евдокимова и Я.Ю. Старцева; монография Г.В. Барабашева «Муниципальные органы современного капиталистического государства (США, Великобритания)»;⁴ «Английское государство» Н.С. Крыловой⁵. Большое внимание вопросам управления уделяется в исследовании Д. Гарнера «Великобритания: центральное и местное управление».⁶ Значительный объем информации по вопросам местного самоуправления может быть получен также через мировую электронную сеть.⁷

В перечисленных работах используются различные методики научного дискурса, комплексный анализ которых, позволяет сформировать представление о степени аргументированности предложенных концепций в изучаемом материале.

Н.А. Емельянов, исследуя муниципальные системы зарубежных стран, обосновывает точку зрения, подтверждающую, что характерная особенность британской системы — отсутствие на местах полномочных представителей правительства, опекающих местные выборные органы. Муниципалитеты им рассматриваются как автономные образования, осуществляющие власть, возложенную на них парламентом. Профессор Л.А. Велихов в работе «Основы городского хозяйства» следующим образом объясняет значение термина муниципалитет: «*Municipis* по латыни значит тяжесть, тягота, бремя, а *carpo* — беру, принимаю. Соответственно, городское управление, берущее на себя, по уполномочию города и с разрешения правительства, бремя общественной власти, выполнения общественных задач и распоряжения хозяйственными средствами, называется “муниципалитет”».⁸

Общие (публичные) парламентские акты закрепляют статус муниципалитетов, обеспечивают автономность местных органов власти, устанавлива-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ют правовые основы деятельности правительственных ведомств по осуществлению контроля за работой местных представительных органов. Отношения между центральной властью и муниципалитетами строятся на принципе разграничения полномочий: муниципалитеты могут совершать действия, лишь прямо предусмотренные законом. В противном случае акты местных властей считаются совершенными с превышением полномочий и могут быть признаны судом не имеющими силы.

Местные органы власти не имеют конституционного статуса (по крайней мере на национальном уровне), а обычно являются порождением соответствующего законодательного акта, принятого высшим представительным органом страны (парламентом). Центр при этом не осуществляет всеобъемлющих контрольных функций и его собственные службы на местах на постоянной основе не переплетены с органами местного самоуправления. Скорее, центральные власти или, в федеративных государствах, органы власти субъекта федерации имеют тенденцию изолироваться от местного самоуправления: местные власти, таким образом, обладают высокой степенью автономии по отношению к центру, когда речь идет о повседневной деятельности. Отношения между центром и местами носят, главным образом, горизонтальный характер и таким образом центр и местное самоуправление образуют два различных уровня. Степень контроля центра имеет тенденцию определяться самим центральным правительством.

Другой заметной особенностью организации местного управления в Соединенном Королевстве можно считать традиционные различия между территориями, удивительным образом сочетающиеся со значительным единообразием. Местное управление на территории Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии регулируется отдельными нормативными актами (для Англии и Уэльса часто принимаются общие законы) и различается по таким параметрам, как административно-территориальное деление и полномочия органов управления. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, неофициально называемое Великобританией, — унитарное государство. Исторически государство разделено на четыре страны, жители которых сохраняют этническую самостоятельность: Англию, Шотландию, Уэльс (все три формируют Великобританию) и Северную Ирландию. Вплоть до реализации реформ конца 90-х гг., Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия управляются централизованно.

Даже органы государственной власти, в ведении которых находятся вопросы взаимодействия с органами местного управления, различны: в Англии это министерство (департамент) окружающей среды, регионов и местного управления, на остальных территориях — выборные ассамблеи (парламенты) и создаваемые ими правительства.

В Великобритании сравнительно независимое от центра городское самоуправление сформировалось давно. Со времен правления династии Планта-

История текстов и текст истории

генетов английские города имели возможность стать «самостоятельными», откупившись от повинностей в пользу короля и поместных лордов. Королевские хартии об инкорпорации давали городам право во многом самостоятельно от графств управлять местными делами (они создавали собственные органы власти, могли иметь общегородскую собственность, избирать мировых судей), выделяли города из подчинения органам графств, передавали управление городскими делами корпорациям — юридическим лицам с правами и обязанностями, отличными от прав их граждан. Таким образом, по мнению В.Б. Евдокимова и Я.Ю. Старцева, дарование хартии об инкорпорации было признанием отделения города от его сельскохозяйственных окрестностей. Наличие хартии, создание местной корпорации и исключение города из административной организации графств, предполагающее больший или меньший объем собственных управленческих прав и привилегий, — эти связанные между собой свойства характеризовали самоуправление городов. К началу местной реформы 1835 г. в Великобритании насчитывалось около 250 таких городов.⁹

Местные корпорации действовали в некоторых городах страны несколько столетий, но к XIX в. подавляющее их большинство пришло в упадок. Фактически способами формирования городского совета в XVII—XVIII веках стали самоизбрание и кооптация, то есть введение в состав городского совета новых членов без обращения к избирателям.¹⁰ Это было следствием отсутствия центральных административных органов, контролирующих местные власти. Правительство явно не доверяло городским корпорациям, поэтому забота об обеспечении вновь возникавших нужд в основном возлагалась не на корпорации, а на иные институты — попечителей, комиссаров и т.п. Это привело к тому, что в XVIII столетии власть в графствах оказалась в руках земельной аристократии и обслуживала преимущественно ее сословные интересы.

Значительные изменения в управление инкорпорированных городов Англии и Уэльса внес Закон о местных корпорациях 1835 г. С одной стороны, число корпораций, признанных заслуживающими сохранения, было сокращено до 178, с другой — городское самоуправление приобрело новые черты, среди которых в первую очередь следует отметить закрепление единого статуса инкорпорированных городов. Закон 1835 г. был первым нормативным актом, который заменил партикулярные нормы грамот и хартий, регулировавшие устройство каждого города в отдельности, единой статутной организацией городского управления; теперь местным стал город, не только имевший хартию об инкорпорации, но и признанный таковым в Законе. Закон 1835 г. предусматривал также избрание налогоплательщиками местных советников, гласность заседаний советов, возможность проверки их финансовой деятельности.

Промышленная революция, охватившая Великобританию в XIX в., неэффективный бюрократический аппарат государственного управления, а также новые социально-политические условия заставили совершенствовать управ-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ление на местах. Правительство страны пошло по пути создания в административно-территориальных единицах органов специальной компетенции: местная служба здравоохранения была образована на основе Закона о здравоохранении 1848 г.; органы, обеспечивающие надлежащее содержание дорог — по Закону 1835 г.; органы, ведающие начальным образованием — в соответствии с Законом 1870 г.; расширение полицейского надзора — по акту 1856 г. Согласно последнему, создавались новые отделения полиции в сельских городках, оговаривалось их функционирование и финансовое обеспечение.¹¹

Преобразования в городском управлении неизбежно должны были повлечь аналогичные перемены в графствах, где сохранялся административный хаос. С одной стороны, здесь существовало два типа власти. В руках назначаемых мировых судей сосредоточивалась административно-полицейская и судебная власть. Однако попечение над бедными и забота о санитарном состоянии находились в руках специализированных органов, в большинстве своем выборных. С другой стороны, существовало крайне запутанное административное деление — наслаивающиеся друг на друга территории. Из 617 приходов 176 располагались на территории более чем одного графства. Среди них встречались такие, которые принадлежали одновременно четырем графствам. Финансовое состояние графств было еще более сложным. Аналогичным было положение муниципальных городов, которые резко отличались по численности населения. Один из современников писал, что на местах «была создана не система, а хаос — хаос административных областей, хаос выборов, должностей и налогов».¹²

В разрешении сложившейся ситуации начало положил закон от 13 июля 1868 г. о создании специального комитета, который осуществлял контроль над финансовой деятельностью местных органов управления. Он позволил выбрать представителей, которые были допущены к рассмотрению вопросов расходной части бюджета округа. В комитетах, назначенных для управления финансами, должно быть равное соотношение чиновников и представителей, подробный отчет о деятельности которых должен быть опубликован в местной газете.¹³

Особенно важным, было принятие закона преобразовавшего систему управления в графствах (*Local government act 1888*). В соответствии с ним в графствах Англии и Уэльса появились представительные органы власти — избираемые населением советы графств¹⁴, на которые возлагалась обязанность поддержания в надлежащем состоянии дорог: система управления дорогами состоит из государственного секретаря по делам окружающей среды, и специальных органов в советах графств. Местные органы уполномочены обеспечивать приют для бездомных и детей, руководство деятельностью полиции, функционирование на их территории театров, танцевальных и увеселительных заведений и пр. Для этого советы графств, лондонские и окруж-

История текстов и текст истории

ные советы наделены правом выдавать разрешения на открытие такого рода заведений. Руководство образованием включает в себя обеспечение школ необходимым персоналом, организацию питания детей. Наибольшую сложность представляет собой надзор за использованием земельных участков в городах и земельных наделов в сельской местности. Полномочиями по такому надзору наделены лондонские районные, приходские и общинные советы. Местные органы власти находились под контролем ранее возникшего Министерства по делам местного управления (Local government board).

Преобразовалось административное деление. Теперь графства делились на *городские и сельские округа*, управляемые выборными окружными советами (district council). Число округов превышало 1000. Они делились на *приходы*, которые могли избирать собственные советы и должностных лиц. Однако округа и приходы не считались полноценными подразделениями графств, так как имели узкий круг полномочий, призваны были исполнять решения совета графства.

К первой категории Закон 1888 г. отнес 44 города с числом жителей, превышающих 50 тыс. человек, а также 17 городов с меньшей численностью населения, но издавна имевших права корпорации. В вопросах управления города-графства (borough counties) получили полную самостоятельность от органов графства, на территории которого эти города располагались. Закон 1888 г. устанавливал также условия предоставления статуса города-графства новым городам: прежде всего это мог быть только город с населением не менее 50 тыс. жителей¹⁵; кроме того, для присвоения ему статуса города-графства необходимо было принятие парламентом страны специального частного акта или утверждение им временного приказа центрального ведомства.

К другой категории были отнесены города, в которых проживало от 10 до 50 тыс. жителей. Именно они на основании Закона 1888 г.¹⁶ стали называться муниципальными городами (municipal boroughs). Советы муниципальных городов были подчинены советам графств, хотя и по ограниченным вопросам (содержание дорог, назначение шерифа); по вопросам внутренней жизни города самостоятельность советов была закреплена Законом о местных корпорациях 1882 г. Система органов власти муниципального города строилась таким же образом, как и у города-графства.

Законом о местном самоуправлении 1894 г. было определено правовое положение сельских и городских округов (districts), на которые подразделялась территория каждого графства. Городскими округами (urban districts) признавались города, насчитывающие до 10 тыс. жителей. К полномочиям избираемых местным населением окружных советов (в городах) и сельских окружных советов были отнесены вопросы здравоохранения, содержания и строительство дорог. Этот Закон активизировал также деятельность приходов (parishes), которым было предоставлено право создавать приходские со-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

веты, если число избирателей среди населения прихода составляло не менее 300 человек.

Этап реорганизации местного управления завершился в 1899 г. преобразованием управления графства Лондон. Здесь были созданы 28 столичных городских советов (metropolitan borough councils). Особый статус имела территория величиной в квадратную милю в центре Лондона (учитывая ее значение и традиции), называемая Сити.

Реформы конца XIX в. в основном завершили процесс радикальных преобразований местного управления, смысл которого состоял в его рационализации, унификации и передаче функций выборным советам, сформировавшимся все более широким кругом избирателей. Органы местного управления в графствах и городах-графствах имели широкие полномочия и в сфере своей компетенции действовали достаточно независимо от правительства. Последнее осуществляло общий надзор. В результате возросло значение и престиж, а также эффективность органов местного самоуправления, подкрепленная финансовым обеспечением.

Вопрос о системах местного самоуправления особенно остро встал в последние годы. Это связано с периодом кардинальных структурных преобразований в сфере государственного управления. Эффективность системы местного самоуправления, ее функционирование, взаимодействие с центральной властью может способствовать скорейшей реализации в максимальном объеме государственной политики.

Британская система местного управления, получившая заметное распространение в современном мире, оказала большое влияние на становление институтов местного самоуправления в других странах. Но это справедливо лишь по отношению к странам, повторившим британский или американский путь развития. Это влияние является прямым следствием существования британской колониальной империи и территориально совпадает с границами этой империи в период ее расцвета. Анализ опыта и результатов деятельности британской системы и стал предметом многих исторических дискурсов отечественных исследователей.

В нашем понимании научный дискурс — это поток аргументации. В нем применимы все ее виды: апелляция к здравому смыслу как к знанию, соотносимость с собственным и чужим жизненным опытом; обращение к традиции, к авторитету, к факту и т.д. При любой конфигурации аргументов, то есть объяснений, в научном дискурсе должен соблюдаться ряд требований: системность аргументации, согласие тезиса с фактическим материалом, соблюдение принципа достаточного основания и др. Аргументация — основной способ организации полемики научного дискурса. Утвердить научную позицию можно только с помощью искусно организованного аргументативного дискурса.

Примечания

¹ Силантьев И.В. Текст в системе дискурсных взаимодействий // Критика и семиотика. Вып. 7. 2004. С. 98.

² Там же. С. 99.

³ Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград, 2000. С. 5–20.

⁴ Барабашев Г.В. Муниципальные органы современного капиталистического государства (США, Великобритания). М., 1971. С. 280

⁵ Крылова Н.С. Английское государство. М., 1981. С. 301

⁶ Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное управление. М., 1984. С. 367.

⁷ Сайты в сети Internet:

Britannia: British History – <http://britannia.com/history/index.html>

Department of the Environment and Local Government – <http://www.environ.ie/>

Department of the Environment, Transport and the Regions – <http://www.detr.gov.uk/>

⁸ Говоренкова Т.М. Читаем Велихова вместе. М. 1999. С. 42

⁹ Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты. М., 2001. С. 55.

¹⁰ Краткий политический словарь. М., 1971. С. 127.

¹¹ Police in Counties and Boroughs Act (1856) / English historical documents 1850–1873 // Gen. ed. D.C. Douglas. London. Vol. 12(1). P. 664.

¹² Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран. М., 2001. С. 81.

¹³ Select Committee on County Financial Arrangements (1867–1868) / English historical documents 1850–1873. Vol. 12 (1). P. 664.

¹⁴ Local Government Act, 1888 / English historical documents 1874–1914 // Gen. ed. D.C. Douglas. London. 12(2) P. 466.

¹⁵ Ibid. P. 468.

¹⁶ Local Government Act, 1888 // English historical documents 1874–1914. Vol. 12(2). P. 465.

О.С. Свешникова (Омск)

ТАСКАНКИ И ГОРЕМЫЧКИ, ИЛИ ОБ ОДНОЙ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ РАБОТ СОВЕТСКИХ АРХЕОЛОГОВ 1930-Х ГГ.

Поводом к написанию этой работы стала радостно-удивленная реакция, которую произвел на меня и моих коллег, профессиональных археологов, фрагмент работы В.В. Гольмстен «Некоторые замечания Карла Маркса к истории скотоводства», опубликованной в 1933 г. Разбирая проблему пороодообразования особого вида домашнего скота, так называемого «торфяного», известного по материалам раскопок на территории от Швейцарии до Передней Азии, она пишет: «Близкий по времени к современности пермский скот, являющийся по своим анатомическим особенностям точным повторением торфяного скота, носит у животноводов название тасканок и горемычек. Первое название имеет в основе факт вытаскивания скота из хлебов весной, так как за зиму он настолько ослабевает, что не имеет сил стоять на ногах, второе название объяснений не требует и вполне характеризует жизнь этого скота. Разница между тасканками и горемычками та, что в тасканку может превратиться обыкновенная корова в дурных условиях содержания и кормления, горемычка же является потомственной тасканкой с прочно за ней закрепленными качествами»¹.

Подобными примерами использования естественного языка² пестрят работы археологов 1930-х гг. Интересно, что ни до этого времени, ни после бытовой язык не был так широко используем археологами. Феномен востребованности естественного языка на протяжении всего одного десятилетия привлек наше внимание и резонно вызвал вопрос: а почему? А почему именно в это время? А почему именно так писали? В литературе, посвященной истории археологии этого периода, довольно многочисленной ныне³, никаких упоминаний о языке науке и его особенностях не содержится. Понятно, что абсолютное большинство работ по истории археологии написано археологами, а они в отличие от историков изучением языка науки пока не занимаются⁴.

Для того чтобы перейти к ответу на вопросы «а почему?», следует отметить один немаловажный факт: ни в сугубо археологических, ни в теоретических работах эта стилистическая особенность не встречается. Только в публикациях исторического характера археологи позволяли себе излагать материал в свободной манере, создавая при этом яркие живые картины.

Обратимся к рассмотрению специфики 1930-х гг. Для отечественной археологии эти годы были временем формирования нового образа науки, проис-

История текстов и текст истории

ходившего под знаменем «перевода археологии на марксистские рельсы». История материальной культуры — этот термин заменил слово «археология», относившееся теперь к буржуазной науке, — вела борьбу с «голым вещеведением» и ставила своей целью изучение дописьменных обществ⁵, единственными источниками истории которых были археологические. В середине 1930-х гг., когда «государство повернулось «лицом к истории», «археология — история» стала якорем спасения, новой «экологической нишей» археологической науки⁶. Содержание новой науки емко отражает фраза одного из лидеров новой науки — А.В. Арциховского: «Археология — история, вооруженная лопатой». Отныне и впредь археологам полагалось освещать в своих исследованиях историю древних обществ, используя для этого «возможно более широкий охват всего материала, могущего быть привлеченным к той или иной проблеме — исторического, лингвистического, этнографического и прочего»⁷. Особенно востребованными оказались данные этнографии, широко используемые в практике историко-археологических исследований. Новое понимание археологии было изложено в программных работах⁸ и отразилось в создании системы учреждений и изданий: вместо Археологической комиссии была создана Российская академия истории материальной культуры (позднее — Государственная Академия Истории Материальной Культуры), центральным археологическим изданием 1930-х гг. были «Проблемы истории материальной культуры», переименованные в 1934 г. в «Проблемы истории докапиталистических обществ».

Понятно, что новый образ науки подразумевал и формирование нового языка. Его выработка приходится именно на 1930-е гг., при этом по поводу понятийного аппарата науки шли дискуссии⁹, а риторические ходы и тропы оставались за пределами внимания ученых. В серьезных работах стали часто встречаться такие поэтические фразы, как «Образ беспечного и вольного сына степей, носящегося на коне безо всякой видимой цели по необозримым просторам степей...»¹⁰.

В работах археологов 1920-х гг. и более раннего времени при описании истории и быта древнейших обществ встречаются подобные стилистические этюды. Например, Б.Э. Петри в работе «Сибирский неолит» писал: «Древние насельники нашего края обладали выраженной любовью к украшению всего, что являлось делом их рук: несомненно они украшали дома богатой цветной резьбой и рисунками. В их постройках мы должны видеть первые начатки деревянного зодчества. Жизнь рыбацкого поселка протекала шумно и хлопотливо; событиями служили обильный улов рыбы, возвращение с окрестных гор охотников, отягощенных добычей, и прибытие лодок с гостями из окрестного поселения»¹¹. Но в силу того, что исторические сюжеты были на периферии внимания археологов, использование естественного языка встречается довольно редко. Традиция такого изложения связана с дореволюционной оте-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

чественной исторической наукой, в которой сильно было стремление к художественному изложению¹², ярчайшим примером которого являются работы В.О. Ключевского.

В 1930-е гг. естественный язык является характеристикой работ ученых старшего поколения, тех, кто к началу 1930-х уже были состоявшимися исследователями. Младшее поколение — те, кто учился в 1920–30-е гг. — активно включилось в формирование нового языка археологической науки. Образцами нового языка стали работы В.И. Равдоникаса, А.В. Арциховского, С.В. Киселева и др. Дискурс советской истории материальной культуры активно претендовал на «подлинную» научность и оперировал категориями марксистской традиции (формация, класс, базис, надстройка, производительные силы, производственные отношения и т.д.). В этом языке, стремившемся к строгости и четкости, практически не оставалось места для художественных описаний. Да и тематика исторических исследований, сосредоточенная на иллюстрации схем, будь то основные хозяйственные формы или уровень развития рода, не способствовала беллетризации. Использование естественного языка встречается в работах ученых на протяжении всего XX века, но уже как исключение, поскольку в советской археологии прочно закрепилась идея о том, что «живость изложения... прикрывает, как это нередко случается, скудость, а то и отсутствие мыслей»¹³.

Таким образом, мы видим, что 1930-е гг. — неожиданно, неотрефлексировано — естественный язык, с которым подлозунгом «превращения истории в полноправную науку» боролись профессиональные историки рубежа веков (в первую очередь позитивисты и неокантианцы)¹⁴, оказался на короткое время одной из ярчайших черт нового образа науки¹⁵. Всплеск использования естественного языка произошел в условиях переходного состояния науки: когда тематика, проблематика и методология уже изменились, а новый язык еще не был выработан, а язык традиции старой археологической науки не подходил для говорения на «актуальные» темы.

Только в 1930-е гг. авторы коллективной монографии «Очерки истории скотоводства» могли написать: «В овечьем стаде современных кочевников всегда имеется некоторое количество коз, что вызывается соображениями более легкой пастбы овечьего стада. Овцы — одно из животных с наиболее развитым стадным инстинктом. С другой стороны, овцы настолько безынициативны, что не решаются идти впереди стада, в связи с чем при самых незначительных препятствиях в пути ни одна овца не может первой преодолеть это препятствие и все стадо стоит на месте. Вот здесь-то и выступает коза. Ее роль заключается в том, чтобы у баранов, когда их нужно купать или гнать куда-нибудь, были руководители, т.е. коза первая пойдет вперед, и куда пойдет она, туда пойдет и баран»¹⁶.

Примечания

¹ Гольмстен В.В. Некоторые замечания Карла Маркса к истории скотоводства // Проблемы истории материальной культуры. 1933. № 3–4. С. 62.

² Термин «естественный язык» здесь и далее будет использоваться нами вслед за неопозитивистской традицией (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат) в значении языка, говорить на котором естественно. Подробнее см.: Козлова М.С. Философия и язык. М., 1972.

³ См., например: Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700–1971 гг. СПб., 1992; Невский археолого-историографический сборник: к 75-летию кандидата исторических наук А.А. Формозова. СПб., 2003; Тихонов И.Л. Археология в Санкт-Петербургском университете: Историографические очерки. СПб., 2003; Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки. М., 2004.

⁴ Следует отметить, что вопрос о том «как мы пишем» часто обсуждается устно, особенно в кулуарах археологических конференций. В печати он впервые поднят в публицистической работе А.А. Формозова. Человек и наука. Из записей археолога. М., 2005. С. 102–109.

⁵ См.: Быковский С.Н. О классовых корнях старой археологии // Сообщения ГАИМК. 1931. № 9–10. С. 2–5; Быковский С.Н. О предмете истории материальной культуры // Сообщения ГАИМК. 1932. № 1–2. С. 3–6; Всероссийское археолого-этнографическое совещание 7–10 мая 1932 г. Л., 1932; Наши задачи в области археологических исследований в связи с решениями ЦК ВКП(б) и совнаркома Союза ССР об учебниках по истории // Советская археология. 1937. № 2. С. 1–10; и др.

⁶ Платонова Н.И. М.И. Артамонов — директор ИИМК // Археологические вести. № 6. СПб., 1999. С. 469.

⁷ Равдоникас В.И. За марксистскую историю материальной культуры. Известия ГАИМК. Т. 7. Вып. III–IV. Л., 1930. С. 21.

⁸ Новые методы в археологии // «Историк-марксист». 1929. Т. 14. С. 136–155; Равдоникас В.И. За марксистскую историю материальной культуры; Артамонов М.И. Первобытное общество в свете новейших археологических открытий // Советская наука. 1940. № 4; Он же. Некоторые вопросы древней истории СССР // Вестник Академии наук СССР. 1939. № 4.

⁹ См., например: Арциховский А.В., Киселев С.В. и Смирнов А.П. Возникновение, развитие и исчезновение «марксистской археологии» // Сообщения ГАИМК. 1932. № 1–2. С. 46–48; Быковский С.Н. К пересмотру археологической терминологии // Сообщения ГАИМК. 1933. № 5–6. С. 10–12; Равдоникас В.И. Археология на Западе и в СССР в наши дни // Сообщения ГАИМК. 1932. № 9–10. С. 12–23.

¹⁰ Гольмстен В.В. Некоторые замечания Карла Маркса к истории скотоводства. С. 64.

¹¹ Петри Б.Э. Сибирский неолит // Изв. биол.-геогр. НИИ при ИркутГУ. Иркутск. 1926. Т. 3. Вып. 1. С. 68.

¹² Проблема языка исторической науки в последние десятилетия привлекает внимание представителей так называемой «новой философии истории» (Х. Уайт, Ф. Анкерсмит), выдвинувших эту проблему на первый план.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

¹³ Формозов А.А. Человек и наука. С. 108–109.

¹⁴ См., например: Кареев Н.И. Теория исторического знания. СПб., 1913. С. 317–318; Богословский М.М. В.О. Ключевский как ученый // В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 29.

¹⁵ О понятии образ науки см.: Маркова Л.А. Наука, история и историография. М., 1987; Филатов В.П. Образы науки в русской культуре // Вопросы философии. 1990. № 5. С. 34–46.

¹⁶ Архив ИА РАН. Фонд Р-2, д. 456. Л. 12

Ю.А. Топчиян (Ярославль)

ТЕКСТ ПОВЕДЕНИЯ РИМЛЯНИНА В ТЕКСТАХ ПЛАВТА

Изучение текста поведения римлянина III–II вв. до н.э. осуществимо в рамках «новой культурной истории», которая обращена к изучению ментальности людей минувших эпох. Но в связи с тем, что из всего наследия римских историков до нашего времени дошла лишь малая часть, мы обращаемся к косвенным источникам — к текстам художественной литературы, в частности, к текстам Плавта (253–184 гг. до н.э.), самого популярного римского комедиографа, автора пьес, написанных по сюжетам греческих комедий, но насыщенных сугубо римскими бытовыми и социальными реалиями III–II вв. до н.э.¹

В качестве методологического основания изучения текстов Плавта нами использовано понятие «текст поведения», введенное Ю.М. Лотманом² и разработанное Р. Бартом³. Эти авторы рассматривали различные варианты текста поведения, подходя к нему, прежде всего, как к семиотическому феномену.

Нам представляется достаточно интересной и актуальной проблема изучения текста поведения, типичного для римлян III–II вв. до н.э., по материалам комедий Плавта, в которых зафиксированы не только образцы официального поведения, но и особенности частной жизни. Подобный подход позволяет реконструировать ментальные модели, на которых основывалось поведение многих современников Плавта. Особое внимание в данном исследовании уделено рассмотрению тех иерархических систем, которые существовали в римском обществе и влияли на поведение людей. К их числу можно отнести различные проявления социальной стратификации и ее влияние на межличностные отношения, особенности распределения власти, фактор гендера.

Положение на определенной ступени социальной лестницы определяло и соответствующий тип поведения, начиная с особенностей походки, жестов, семантики одежды, организации процедуры потребления пищи (статусный характер еды) и заканчивая спецификой межличностных отношений.

Представления о социальной иерархии римского общества отражены практически во всех комедиях Плавта. Наряду с делением населения Рима на свободных и рабов, граждан и неграждан, существенным было деление и по происхождению (знатности), богатству и могуществу. Патриции (букв. «отцовские семьи»), представители знатных семей, возвышались над плебеями (незнатными): мелкими собственниками, ремесленниками, торговцами. Четко осознаваемое разделение людей на богатых и бедных, сильных и слабых, знатных, родовитых и безродных граждан прослеживается во всех комедиях.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

По социальному признаку население Рима делилось прежде всего на свободных римлян и рабов, кроме которых позже в пределах самого города и римского государства жили и свободные «варвары» (не римляне) и рабы, отпущенные на волю. Антитеза «свободный — раб» не могла не влиять на социальную стратификацию, на деление общества на рабов и господ, когда «...римляне выступали в роли хозяев мира, полноправной, так сказать, части человечества, прочим же, т.е. бесправной части рода людского, была уготована участь рабов»⁴. Такой социальный порядок очень ярко отражен практически в каждой комедии Плавта. В отличие от других стран древности, где между свободными и рабами было много промежуточных слоев, в Греции и Риме рабство и свобода четко противостояли друг другу, и свобода полностью осознавалась как противоположность рабству⁵. И проявлялось это даже в представлениях об особенностях походки раба и свободного человека. Так сцены с бегущим рабом нередки у Плавта. Они очень динамичны, и сама поза бегущего (вытянутая вперед голова, свернутый и заброшенный за плечи плащ), порывистые движения и скороговорка, которой раб сопровождал свой бег, не могли не вызывать смеха. В свою очередь движения свободных людей у Плавта подчеркнута медленны. Так, идущие на суд свидетели, полные ощущения собственного достоинства, заявляют, что свободным подобает по городу шествовать медленно. Бежать поспешно — это дело рабское. И особенно во время мира, истребив врага, неприлично суетиться («Пуниец», ст. 522—525). Как отмечает Л.П. Карсавин, римлянин был весь проникнут сознанием своей свободы и своего достоинства, которые не позволяли ему бегать и спешить, подобно какому-нибудь рабу, зависимому человеку, выскочке. — «Civis romanus sum»⁶. Таким образом, даже походка и жесты персонажей Плавта могут свидетельствовать об особенностях социальной стратификации в его эпоху.

Римское население было очень пестрым по своему составу. Оно состояло не только из жителей Рима, но также Италии и провинций. В частности, в Риме было достаточно много греков, и отношение со стороны римлян к ним было далеко неоднозначным: с одной стороны, римляне с пренебрежением относились к греческим нравам, «вести себя по-гречески» (*pergraecam*) означало «распутничать», но римляне признавали культурное превосходство греков и искали у них ответы на возникавшие культурные запросы⁷. Впрочем, последнее, относилось большей частью к более высоким и образованным слоям римского общества. О том, как относился к грекам простой плебс, свидетельствует следующий фрагмент из комедии «Куркулион»:

Вот и греки-плащеносцы: голову покрыв, идут,
Начиненные томами, выступают с сумками —
Стали в кучку и толкуют меж собою...
Всю дорогу перегородили, лезут с изречениями,

История текстов и текст истории

Их всегда ты встретить можешь за кабацким столиком:
Как что стибрят — так с покрытой головенкой кальду пьют
Ходят хмурые, подвыпивши... (Ст. 288—294)

В данной характеристике через семантику одежды и в целом внешнего облика греков-философов достаточно четко проявляется стремление подчеркнуть чужеродность греческого элемента в римской среде. Об этом свидетельствует облачение греков-философов в плащ (*pallium*), который являлся атрибутом обозначения греческой культуры и выступал антонимом по отношению к слову «тога», равнозначному слову «римлянин». Вообще, как отмечает Ю.М. Каган, слова, обозначающие одежду как этнический знак, часто встречаются для противопоставления своего и чужого⁸. Негативное отношение к грекам-философам со стороны римского плебса выражается в том, что они изображаются с покрытыми головами. Таким образом эти греческие философы сравниваются с беглыми рабами и ворами, которые в мимах покрывали голову. Обычно же греки, как и римляне, ходили по городу с непокрытой головой⁹. Так Плавтом в художественной форме выражена существующая в римском обществе антитеза «свои — чужие».

Продолжая характеристику социальной стратификации римского общества эпохи Плавта, необходимо обратить внимание на то, что изучение текста поведения его персонажей позволяет сделать вывод об увеличении разобщения между самими римлянами. И проявляется это, прежде всего, в начавшемся вырождении института клиентелы. Отношения патрона и клиента — сугубо римское явление: знатный римлянин оказывал покровительство зависимым от него клиентам, которые в свою очередь должны были окружать его почетом. Смысл такой системы состоял, в частности, в демонстрации солидарности людей, входивших в единую ячейку общины, во взаимопомощи, в оказании поддержки, моральной и материальной, со стороны «старших» и богатых членов группы «младшим» и бедным, со стороны патрона — клиентам¹⁰. За такой поддержкой клиенты и обедневшие члены рода, например, шли на обед к патрону. Но, судя по комедиям Плавта, патрональное покровительство уже воспринимается как обуза, и некоторые фрагменты плавтовских комедий строятся на контрасте нормы солидарности и усиливающегося разобщения.

С фигурой клиента в римском сознании, как правило, отождествлялась роль паразита, используемая Плавтом для сатирического изображения института клиентелы. Сатирическое изображение паразитического обжорства непосредственно связано с ролью паразита-прихлебателя, которому Плавт нередко дает нелестные характеристики:

... мой отец, и дед,
И прадед, и прапрадед,

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Как мыши, постоянно ели хлеб чужой,
В прожорливости не выдав соперников... («Перс», ст. 57–60)

В комедии «Стих» Плавт красноречиво описывает психологию паразита-клиента:

В роду, однако, нашем есть радушие:
Отказа никому нет, кто бы есть ни звал.
Погибло, жалко, меж людей словцо одно,
По-моему, прекрасное, умнейшее,
Обычное доселе: «На обед ко мне
Прошу, да не стесняйся! Дай же слово мне!»
Теперь взамен ему другое, новое
Нашли — и препустое, препротивное:
«Позвал бы, да не дома сам обедаю».
Такому слову ребра перебил бы я...
(«Стих», ст. 181–191)

Нередко Плавт использует образы обеда, пира, чтобы охарактеризовать поведение и богатых патронов, стремящихся пригласить на обед «высоких» гостей, чтобы усилить в их глазах свой собственный престиж:

День рожденья мой сегодня, все должны отпраздновать.
Окорок, желудок, вымя — в воду!.. С пышностью
Примем мы гостей высоких, чтобы знали: деньги есть...
(«Псевдол», ст. 165–167)

В комедии «Стих» патрон также отдает предпочтение «высоким» гостям и отказывает в приглашении на обед простому клиенту, предлагая ему придти на следующий день «на остатки разве». В данном фрагменте очень четко просматривается статусный характер организации пира, проявляющийся также и в особенностях размещения гостей. Бедный клиент готов к очень скромному приему, лишь бы его пригласили на обед: «На ложе не имею притязания: я человек последних мест, так сяду я... Ораторы высокие — на верхнее их место, я пониже их — на нижнее...» (ст. 489, 491). Но никакие уговоры не способны переубедить патрона разрешить клиенту присутствовать на обеде, ведь «нельзя его принять среди ораторов» (ст. 492).

Все эти представления о социальной стратификации в комедиях Плавта органично сочетаются с преувеличенным вниманием к еде. С одной стороны, многочисленные описания ингредиентов, составляющих блюда плавтовской кухни имеют отношение к сведениям, которые иногда объединяют словом «га-

История текстов и текст истории

стрософия», и эти сведения до известной степени отражают интерес к ним в античности. Но, с другой стороны, то непомерно большое значение, которое придается еде с торжественными к ней пояснениями, то большое место, которое занимает в некоторых комедиях Плавта описание процесса и состава еды, на наш взгляд, есть и не что иное, как сознательное смещение пропорций, сделанное в критических, сатирических целях. Процедура еды становится здесь средством характеристики некоторых персонажей: паразита, падкого на дармовые лакомства и отождествляемого в римском сознании с фигурой клиента и богатого хозяина, патрона, желающего с помощью еды обозначить свой высокий социальный статус.

Все эти проявления социальной стратификации, отраженные в комедиях Плавта, очень важны для культурно-исторического анализа текста поведения римлян. Можно установить, что тесные, почти семейные связи, существовавшие когда-то между зависимыми клиентами и их патронами и основанные на взаимных услугах и помощи, постепенно ослабевают. Богатые и знатные римляне перестают нуждаться в окружавших их клиентах, и те превращаются в простых прихлебателей, которых принимают неохотно и которым не оказывают никакого внимания.

Следующей иерархической структурой, определяющей тип поведения римлян, является гендер. Текст поведения плавтовских персонажей во многом отражает определенный гендерный порядок республиканского Рима, позволяет раскрыть характерное для римского общества содержание таких категорий как «женственность» и «мужественность». В эпоху Плавта общепризнанными гендерными установками в поведении были, прежде всего, установки на «добродетельную матрону» и «сильного главу фамилии», обладающего почти безграничной властью над всеми домочадцами. По комедиям Плавта можно оценить степень неравенства социального статуса мужчины и женщины, проявляющегося и в браке, и в общественной жизни в целом.

В своих комедиях Плавт не раз демонстрирует традиционные представления римлян об идеальной женщине — верной семье, проявлявшей ум, волю и твердость в превратностях судьбы, мужество в личных невзгодах. Такова, например, Алкмена в комедии «Амфитрион». Это добродетельная жена, полностью преданная мужу и семейной чести. Ее образ Плавтом подан с совершенной серьезностью. Заподозренная мужем в обмане, Алкмена отводит обвинение с достоинством оскорбленной невинности:

Что приданым называют, мне то не приданое,
Целомудрие, стыдливость, страсти укрощенные,
Пред богами страх, согласие в доме с мужниной родней,
Долг любви дочерней, щедрость, помощь всем порядочным
Людам, мужу угождение — вот мое приданое... (Ст. 839—843)

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Таким образом, в древнеримской традиции женщина не мыслилась вне замкнутых рамок фамилии, где протекала вся ее жизнь. Внутри фамилии, основной хозяйственной ячейки общества, жизнь мужчины и женщины существенно различались по роду занятий, объекту трудовой деятельности, формам времяпрепровождения, нормам поведения¹¹. На женщине в семье лежало немало обязанностей. Но главное место среди них занимало прядение и ткачество. Организовать труд служанок, прясть самой вместе с ними было не только первой обязанностью хозяйки, но и, судя по литературным данным, также той стороной женской деятельности, которая по традиции была окружена наибольшим престижем и уважением и придавала ей облик идеальной римской матроны («Хвастливый воин», ст. 687–688; «Два Менехма», ст. 797). Таким образом, обработка шерсти, прядение, ткачество выступают как символ моральной чистоты женских представительниц римской фамилии.

Вместе с тем Плавтом часто описываются традиционные представления римлян о зависимом положении женщины в семье:

У женщины честной быть ничего не должно
Мимо рук мужниных; если ж есть что-нибудь,
Дурно то добыто: мужнино ль стащено,
Блуд ли ей это дал.
Все твое мужниным быть должно. («Касина», ст. 198–202)

В рамки патриархальных представлений вписывается и готовность девушек полностью подчиняться власти отца:

Все стерпеть, что станет делать; власть его сильнее нас.
Тяжкая вина, бесславье — спорить и противиться.
Может ли чрезмерной быть
О родителе забота дочерей когда-либо?
...Только за тобой, отец,
Следуют мужья, которым дал ты нас в супружество.
(«Стих», ст. 69–71; 95–98)

Следует подчеркнуть, что в Древнем Риме именно отец выдавал дочь замуж. Чаще всего это происходило между 15 и 18 годами, но иногда даже в 13-летнем возрасте¹². Римский брак был во многом экономическим союзом. Вопрос о приданом при его заключении играл далеко не последнюю роль. Обычай выдавать дочерей и сестер замуж без приданого в эпоху Плавта большей частью не только не приветствовался, но и осуждался: «Но какой скандал — девицу выдать без приданого», — читаем мы у Плавта. В комедии «Три монеты» юноша не хочет отдавать замуж без приданого свою сестру, мотивируя это

История текстов и текст истории

тем, что отдаст сестру не в наложницы, а в жены (ст. 689—694). По-видимому, «право приданого» принимало во внимание интересы женщины, но потому что женщина в нем выступала прежде всего как воплощение брака.

Таким образом, римский брак имел патриархальный характер; он строился в большей степени на рациональных принципах, нежели на основе чувства любви между супругами. И анализ комедий Плавта показывает, что автор хотел бы сохранить сложившиеся семейные отношения, отстоять святость патриархальных семейных устоев, так как для поэта и многих его современников укрепление семьи выступало одним из важнейших аспектов укрепления нравов общества в целом. Именно поэтому ценность семьи была для римлян очень значимой в рассматриваемый период.

Непосредственно связана с брачными отношениями и сфера сексуальности, которая также рассматривается нами как один из основных инструментов установления иерархии социальных отношений в римском обществе. Нельзя не отметить, что наряду с официальными, социально одобряемыми отношениями между мужчиной и женщиной, в римском обществе существовали и неформальные связи. Это так называемая внебрачная любовь мужчин к гетерам, которая уже в III в. до н. э. стала играть в Риме значительную роль.

Плавт, описывая отношения мужчин с гетерами, очень часто использует слово «любовь». Но чем являлось это чувство для римлянина (особенно представителя аристократии) в рассматриваемый период? Любовь он считал, прежде всего, «досугом». Настоящим «делом» для римского мужчины было хозяйство, война и политика. Именно в этих сферах он был деятелем, в любви — он был потребителем¹³. Даже признаваясь в любви к гетере, он не воспринимал ее как достойного человека, обладающего своим особым внутренним миром, к которому можно относиться без снисхождения, а на равных. Гетера для него лишь «подружка», с которой приятно провести время. Такой тип взаимоотношений можно определить как любовь-развлечение. Это еще далеко не любовь-внимание или любовь-служение, которая возникнет в более поздний период существования римской цивилизации. Так что же толкало римских мужчин в объятия гетер? Несмотря на явно критическое оценивание внебрачных связей римским обществом, в Риме никто и никогда не запрещал мужчинам пользоваться услугами гетер. Женщина же в случае измены мужа не могла даже потребовать развода¹⁴. Об этом достаточно красноречиво свидетельствует следующий фрагмент из комедии «Купец», вложенный Плавтом в уста одной из его героинь:

Под тягостным живут законом женщины,
И к ним несправедливей, чем к мужчинам он.
Привел ли муж любовницу, без ведома
Жены, жена узнала — все сойдет ему!

Фигуры истории, или «общие места» историографии

Жена тайком от мужа выйдет из дому —
Для мужа это повод, чтоб расторгнуть брак... (Ст. 817–828)

Итак, анализируя текст поведения плавтовских персонажей, можно сделать вывод о том, что в Древнем Риме существовал дуализм между строгим моногамным принудительным браком, с одной стороны, и легализованной на обыденном уровне мужской полигамией, с другой. И это, в свою очередь, влекло за собой развитие проституции, которая, судя по произведениям Плавта, постепенно приобретала в Риме все больший размах.

Таким образом, изучение текста поведения плавтовских персонажей позволяет раскрыть специфику межличностных взаимодействий в эпоху республиканского Рима, реконструировать основные ментальные модели современников Плавта.

Примечания

- ¹ Плавт Тит Макций. Комедии: В 2-х т. Пер. с латин. А. Артюшкова. М., 1987.
- ² Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — нач. XIX века). СПб., 1994.
- ³ Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.
- ⁴ Хефлинг Г. Римляне. Рабы. Гладиаторы. М., 1992. С. 121.
- ⁵ Штаерман Е.М. Введение // Человек и общество в античном мире. М., 1998.
- ⁶ Ястребицкая А.Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М., 1995. С. 348.
- ⁷ Тронский И.М. История античной литературы. М., 1988. С. 292.
- ⁸ Каган Ю.М. О латинских словах, обозначающих одежду // Быт и история в античности. М., 1988. С. 130.
- ⁹ Ульянова И. Комментарии к комедиям Плавта // Плавт Т.М. Комедии: Пер. с латин. А. Артюшкова. М., 1987. Т. 1. С. 666.
- ¹⁰ Кнабе Г.С. Древний Рим — история и повседневность. Очерки. М., 1986. С. 146.
- ¹¹ Ляпустин Б.С. Женщины в ремесленных мастерских Помпей // Быт и история в античности. М., 1988. С. 70.
- ¹² Сергеенко М.Е. Жизнь Древнего Рима. Л., 1964. С. 185.
- ¹³ Кнабе Г.С., Протопопова И.А. Культура античности // История мировой культуры: Наследие Запада. / Под ред. С.Д. Серебряного. М., 1998. С. 181.
- ¹⁴ Полонская К.П. Античная комедия. М., 1961. С. 49.

Л.Н. Харченко (Иркутск)

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О РОЛИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СИБИРСКОГО РЕГИОНА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)

Тенденции и направления

Затянувшийся экономический кризис в нашей стране на рубеже XX—XXI вв. повлек за собой глубокую моральную и нравственную деградацию общества. Подобная ситуация неизбежна в ходе изменения любой общественной системы, когда происходит формирование нового уклада экономики, а вместе с ним становление новых отношений между социальными группами и внутри социальных групп. По этой причине вполне оправдано обращение к культурным традициям, складывавшимся веками, усвоенным этнической памятью и ставшим частью менталитета. Роль Православной церкви (ПЦ) в становлении российской государственности и развитии культуры страны и отдельных ее регионов значительна. В этой связи по-прежнему продолжает оставаться актуальным мнение профессора А.Н. Сахарова о том, что «невозможно создать глубоко разработанную историю России без того, чтобы не обратиться к изучению истории русской православной церкви».¹

Влияние религиозного фактора даже в современном обществе, несмотря на все реалии научно-технического прогресса, продолжает оставаться достаточно значительным. По этой причине, на наш взгляд, в изменившейся общественно-политической ситуации, когда обострился вопрос выбора новой культурной парадигмы, необыкновенно востребованной стала именно религиозная составляющая культурного фундамента. Подтверждением настоящего тезиса является обращение к ней, происшедшее практически одновременно у номинальных представителей различных конфессиональных направлений бывшего Советского союза.² Названные обстоятельства представляются вполне логичными и объяснимыми. Хотя, с точки зрения прагматичного технократического интеллекта XXI в., могут выглядеть и несколько абсурдно. Стремительно меняющаяся общественно-политическая и социально-экономическая ситуация повлекла за собой с одной стороны ломку устоявшихся и прогнозируемых отношений в важнейших сферах жизнедеятельности человека, а с другой — вызвала к жизни жесткую конструкцию, основанную на совершенно ином ценностном фундаменте. В этой ситуации у гуманитарной интеллигенции проявился своеобразный шок перед новой цивилизацией. По словам некоторых авторов, «Стали ясными как переходный характер деконструктивизма и постмодерна в целом, так и осоз-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

вание сдвига гуманитарной парадигмы, который стал бы одновременно и развитием и преодолением деконструктивизма»³. Именно это обстоятельство, лишившее соотечественников их привычного «культурного дома» и не предоставившее взамен никакой очередной идеологической приманки, привело в объятия еще не забытой, параллельно существовавшей на протяжении многих десятилетий религиозной основы.

На рубеже веков снятие запретов на публичное обсуждение закрытых ранее проблем, вызвало настоящую лавину публикаций, в массе которых легко уловимо и запоздалое раскаяние за долгие годы воинствующего атеизма и некое умиление, доходящее до откровения, и активные поиски новой идеологической доктрины, и т.п.⁴ Тем не менее, именно в этом потоке стали формироваться и серьезные научные направления, обозначившие собой магистральные пути возможных исследований различных составляющих религиозной проблематики. Именно новые веяния в жизни страны, в корне изменившие политическую ситуацию, создали благодатную почву для появления в этот период целого ряда серьезных исследований, посвященных отдельным вопросам истории ПЦ дореволюционного периода.

На региональном уровне самыми мощными направлениями в контексте обозначенной проблемы стали книговедческая и духовно-школьная тематика. К началу рассматриваемого нами периода особенно выделился в самостоятельное научное направление первый аспект. Достаточно основательной базой в этом отношении явились традиции новосибирской школы, начавшие формироваться значительно ранее рассмотренных выше событий и продолжающиеся до настоящего времени. Так, стали уже регулярными Макушинские чтения в Западной Сибири и Юдинские и Романовские — в Восточной, которые устраиваются при участии и активном содействии ГПНТБ СО РАН, первые — Омским и Томским университетами, вторые — Красноярской краевой библиотекой, третьи — университетской и областной публичной библиотеками. В книговедческой тематике именно благодаря им обозначились как минимум два серьезных исследовательских направления: изучение вопросов книгоиздания и книгораспространения⁵ в ведении ПЦ. В духовно-школьной, в свою очередь, это история старейших духовно-профессиональных учебных заведений, и начальных народных школ духовного ведомства⁶. Общей чертой названных работ явился живой и неподдельный интерес к т.н. просветительской деятельности ПЦ, т.е. той ее части, которая связана с производством и популяризацией книги, а также курированием образовательных учреждений, находившихся в ведении православного духовенства. В них заметны явные стремления к объективности в оценке указанной части просветительской работы ПЦ, но, как часто бывает в работах первой волны, многие из них несвободны от фактографических и иных неточностей. Кроме того, некоторым авторам не удалось избежать и

История текстов и текст истории

так называемого дилетантского подхода к рассмотрению избранной проблемы. Тем не менее, их ценность очевидна, хотя бы потому, что авторы достаточно четко обозначили круг интереснейших проблем и попытались по-новому их представить, вводя в научный оборот значительное количество неизвестных ранее материалов.

Современное исследовательское поле различных аспектов деятельности ПЦ второй половины XIX в. представляется значительно более широким и разнообразным в сравнении с научной ситуацией рубежа веков. Тем не менее, современные исследования от работ предшественников выгодно отличает строгая системность и научная объективность, а также проявившиеся тенденции к обобщению накопленного материала. В разработке широкого спектра проблем уже вполне определенно просматриваются ясные силуэты магистральных направлений, которые, в свою очередь, выявляют и обозначают исследовательские лакуны.

На наш взгляд, их можно представить в виде шести основных групп:

- 1) исследования теоретического характера, определяющие методологический подход к разработке проблемы;
- 2) исследования, посвященные вопросам взаимоотношений государства и ПЦ;
- 3) исследования вопросов функционирования и взаимодействия различных внутрицерковных структур;
- 4) исследования по вопросам межконфессиональных взаимоотношений;
- 5) исследования, рассматривающие различные аспекты просветительской деятельности ПЦ;
- 6) исследования, посвященные научной деятельности православного духовенства.

Итак, рассмотрим одно из основных исследовательских направлений, ставших теоретической базой у основания обозначенной проблемы. Это, на наш взгляд, особенно важно, так как вопросы соотношения культуры и религии в истории России на протяжении длительного времени являлись предметом острых идеологических дискуссий.⁷ С изменением общественно-политической ситуации в стране стал меняться и методологический подход к ее разработке. В определенной части работ достаточно ясно прослеживается стремление найти связующие моменты между утраченным навсегда прошлым и не особенно ясным и оттого пугающим будущим, перебросить, так сказать, спасительный мостик через зияющую пропасть, разделившую две таких разных эпохи⁸.

Отбор ценностей, формирование содержания и исторического реноме культуры всегда тесно связано с представлениями людей о сущем и должном, с их пристрастиями, иллюзиями, наклонностями — одним словом, с их оценочными ориентациями. Отсюда вытекает, на наш взгляд, один из самых значимых для

Фигуры истории, или «общие места» историографии

изучения культуры методологический принцип. Для того, чтобы состоялся диалог с культурой прошлого, исследователю необходимо учитывать отношение исторического субъекта к своей деятельности, т.е. суметь увидеть культуру глазами современников, заняв позицию внутреннего наблюдателя⁹.

В XVII—XX вв. конфессиональная компонента являлась национально-образующей основой Центрально-Азиатской политики России. Современное ее изучение предполагает комплексный методологический подход, сочетающий философские, философско-культурологические, философско-антропологические и религиоведческие методы исследования. Именно они в сочетании с традиционным набором специально-исторических методов в значительной степени позволяют расширить горизонты рассматриваемой проблемы¹⁰.

Православная церковь на протяжении дооктябрьского периода отечественной истории являлась самым значимым институтом, выполнявшим общественно-идеологические функции. Выявляя роль и место подобной структуры в культурном развитии страны в целом, и отдельных регионов в частности, целесообразно, определить вопросы ее взаимоотношения с государственной властью императорской России. В настоящее время уже получили известность фундаментальные работы в этом направлении. Общая канва исследований, выстроенная на основе присущего им философско-аналитического подхода, жестко привязана к российской законодательной базе, определявшей и регламентировавшей все абсолютно грани взаимоотношений в тандеме Церковь — Государство¹¹. Сочетание суждений, порожденных длительной эпохой религиозного нигилизма и плюралистическими принципами постсоветской эпохи, вызвали к жизни необыкновенно хлесткий коктейль критического переосмысления обозначенной проблемы¹². В данном случае стремления авторов вполне понятны, т.к. на новом витке истории и новом рубеже веков вопросы взаимоотношений церкви как общественно-идеологического института и государства вновь актуализировались. Названные исследования, как правило, основываются на всестороннем анализе широкого круга источников, которые отражают различные стороны церковно-государственных взаимоотношений. При этом особое внимание авторов обращено на те факты, которые при сопоставлении их с другими сведениями, позволили воссоздать ключевые моменты церковной истории страны.

В рамках изучения заявленной нами проблемы, названные исследования представляют большой интерес, т.к. помогают воссоздать максимально приближенную к реальности целостную атмосферу жизнедеятельности государства. В отрыве от нее рассмотрение какой бы то ни было провинциальной проблематики представляется неправомерным. Любая провинция или регион, являясь частью государственного организма, неизбежно живет по его основным законам, привнося, естественно, в этот процесс и собственные индивидуальные черты.

История текстов и текст истории

Исследования вопросов функционирования и взаимодействия различных внутрицерковных структур охватывают круг проблем взаимоотношений центрального церковно-административного аппарата, которым являлся Св. Синод, и российских епархий. Функционирование такого значимого общественно-идеологического института, как ПЦ, в геополитических условиях Российской империи возможно было только при условии четко отлаженного механизма¹³. Не менее важным представляется и моделирование епархиального управления, где, часто, значимым являлся субъективный фактор, объединявший и личностные характеристики архиереев, и региональные особенности социально-экономического и общественно-политического развития.

Традиционно большое внимание исследователей было обращено на различные аспекты жизнедеятельности православного прихода, так как именно приходское духовенство являлось инстанцией, непосредственно осуществлявшей просветительские мероприятия в отношении всех социальных слоев. Эффективность этой работы находилась в прямой зависимости от многих факторов, где важнейшими являлись образовательный ценз духовенства и его материальное положение. Именно эти аспекты позволяли или создавали препятствие священноцерковнослужителям в полной мере и на высоком уровне выполнять профессиональные обязанности. В отношении первого следует отметить, что достоянием современной историографии стало немало работ, выступивших фактической антитезой стереотипным утверждениям советских историков, породивших идеологический штамп о безграмотности всего духовного сословия дооктябрьской России. Одновременно отмечены стремления к объективному освещению материального положения церковного клира, где низшая его часть едва ли отличалась от беднейших прихожан¹⁴. Именно это обстоятельство часто становилось одной из основных причин выхода представителей наиболее талантливой молодежи из духовного сословия. Особенно заметными подобными тенденциями стали на рубеже веков и в начале XX в.

Вместе с тем отмечены и некоторые черты идеализации современными авторами духовного единения пастыря и паствы во второй половине XIX в. и на рубеже веков.¹⁵ Им, к сожалению, не удалось избежать либо умиления обаянием мученического ореола, заслуженного ПЦ в годы гонений, либо идеологической подоплеку современности.

Исследования, рассматривающие просветительскую деятельность ПЦ, представляют, пожалуй, самый значительный пласт работ современных авторов. Весь их комплекс, в свою очередь, можно классифицировать по основным вопросам, входившим в компетенцию собственно-профессиональных занятий православного духовенства. Одними из наиболее обсуждаемых в этом круге вопросов являются духовно-школьная и миссионерская деятель-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ность ПЦ второй половины XIX в. В последние годы все чаще они становятся объектом внимания обобщающих работ¹⁶, появление которых обусловлено широким спектром узкоспециальных исследований. Развитие миссионерской деятельности ПЦ в Сибири происходило в полном соответствии с основными направлениями государственной вероисповедной политики. Тем не менее, в силу региональных особенностей в каждой миссии она имела индивидуальные черты. Православные миссионеры, призванные популяризировать основы христианского вероучения, укрепляя через него российскую государственность, часто выступали в роли создателей письменности, литературного языка, школьного образования и т.п. На территории Сибири в течение указанного времени функционировали семь православных миссий.

Миссионерская деятельность ПЦ является вопросом сложным и неоднозначным, рассмотрение которого требует предельно корректного и деликатного подхода. Этот достаточно непростой процесс фактического формирования новой ментальности не может быть освещен однозначно. Гуманист XXI в., воспитанный в лучших традициях диалектического материализма, а также знакомый с культурологическими концепциями развития цивилизаций, несомненно, найдет здесь немало спорных моментов. В середине же XIX в. самобытность архаичных народов большинством населения цивилизованных стран оценивалась как культурная отсталость, так как прогресс отождествлялся с определенным уровнем экономического развития. По этой причине деятельность христианских миссий, выполнявших цивилизаторские функции среди аборигенов, воспринималась как позитивная не только Российской империей, но и целым рядом развитых стран.¹⁷ Православное духовенство, осуществляя собственные миссионерские труды, пребывало в уверенности их полезности и насущной необходимости.

Большая часть современных авторов, выстраивая логику исследования столь сложного вопроса, особое внимание уделяет локальным миссионерским учреждениям, рассматривая их организационную структуру и просветительскую работу. Позитивной чертой названных работ является попытка выстроить целостную картину деятельности сибирских миссий, выстроенную на законодательной базе и в соответствии с российской этно-конфессиональной политикой¹⁸.

Тем не менее, наряду с названными обстоятельствами многие работы грешат не только изрядной долей дилетантизма в разработке и освещении обозначенных проблем, но и элементарной недоработанностью и невыверенностью текстов. Это влечет за собой не только фактографические, но и логические неточности, снижающие ценность работы¹⁹.

Современные зарубежные исследователи также проявляют большой интерес к миссионерской тематике, рассматривая проблему в комплексе и выявляя особенности культурного развития аборигенов, сформировавшиеся под ее

История текстов и текст истории

влиянием. Единственной фундаментальной работой в этом плане в настоящее время является исследование А.А. Знаменского (А.А. Znamenski)²⁰. Оно выгодно отличается от массы других публикаций не только богатым фактографическим материалом, но и четко выстроенной концепцией. Деятельность сибирских миссионеров показана на контрастах функционирования различных миссий. Именно это обстоятельство и позволило автору максимально точно интерпретировать спорную проблему культурного влияния миссионерства в целом и православного в частности. Апробация отдельных частей исследования во второй половине 90-х гг. XX в. проходила на страницах научного издания Висконсинского университета «Arctic anthropology».

Следует отметить, что внимание многих зарубежных авторов привлекала и продолжает привлекать в первую очередь история миссионерства в Русской Америке (до 1867 г.), в том числе деятельность св. Иоасафа (Болотова), св. Ювеналия, пр. Германа Аляскинского и других иноков первой миссии, а также Московского митрополита святителя Иннокентия (Вениаминова)²¹. Последний аспект представляется особенно важным в контексте обозначенной проблемы, так как именно Иннокентию принадлежали большие заслуги в организации различных сторон работы российских миссий. На отечественную почву он принес тот опыт, который приобрел в миссионерских трудах на Аляске.

Проблемы истории организации и развития начального народного образования и участие в их решении православного духовенства, также привлекают внимание значительного числа исследователей²². Их актуализация обусловлена не только принципом необходимости восстановления исторической справедливости, но и изменениями в современной системе отечественного образования. Выявленные и введенные ими в научный оборот, ранее не употреблявшиеся сведения, ценны во многих отношениях.

Тем не менее, общей чертой значительного числа работ современных авторов является поверхностное отношение к цитируемой ими литературе. При этом они не слишком утруждают себя глубоким аналитическим подходом к историческим работам 20–60-х гг. XX в., воспроизводя их почти буквально на одном уровне с дооктябрьскими и современными. В то время как тенденциозность в отношении деятельности ПЦ в целом и ее образовательных аспектов в частности там достаточно очевидна.²³ Существуют даже работа, полностью выдержанная в духе антирелигиозной политики СССР 60-х гг.²⁴ Совершенное отсутствие аналитической направленности наблюдается в некоторых исследованиях, посвященных рассмотрению системы специального духовного образования Российской империи второй половины XIX в. Тем парадоксальнее оно представляется, чем больше введено авторами в оборот фактографического материала. Присутствуют даже факты причисления его к общей системе образования страны того периода.²⁵

Фигуры истории, или «общие места» историографии

В последние годы стали заметны тенденции к созданию обобщающих работ, связанных с попытками рассмотрения роли духовенства в культурной жизни отдельных областей сибирского региона²⁶.

Таким образом, решение важной исторической проблемы, связанной с определением реальной роли и места Православной церкви в культурном развитии страны и ее отдельных регионов, находится в стадии активной разработки. Инновации современных философов, культурологов, антропологов, историков, пусть даже методом проб и ошибок, являются бесспорным прогрессом в этом направлении.

Примечания

¹ Сахаров А.Н. К изучению истории русской церкви. М., 1967.

² Манзанов Г.Е. Религиозная традиция в ценностных ориентациях бурятской молодежи. СПб., 1992. — 15 с.; Жестовская Ф.А. Проблемы татарского просветительства в XIX — начале XX вв. в историко-политическом измерении: Автореф. дис. к.и.н. Казань, 2004. — 29 с.; Таймасов Л.А. Христианское просвещение нерусских народов и этно-конфессиональные процессы в среднем Поволжье в последней четверти XVIII — начале XX вв.: Автореф. дис. д-ра и.н. Чебоксары, 2004. — 46 с.

³ Тульчинский Г.Л. Современная гуманистическая парадигма: гуманитарность против гуманизма? // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры. 2004. № 1. С. 6.

⁴ Головенских Е. Дающему да воздастся // Позиция. Тюмень, 1991. № 4 (40); Гусев В. Пока не меркнет свет... // Тюм. Комсомолец. 1990. № 129; Фатеев А. Нас семинария выведет в люди // Тюм. Извес. 1991. № 154; Капустин П. Долгая дорога к храму: к 130-летию Красноярско-Енис. Еп // Краснояр. Рабочий. 1991. 4 июля.

⁵ Косых В.И. История издательской деятельности Забайкальской епархии (90-е гг. XIX — нач. XX вв.) // Вторые Макушинские чтения. Томск, 1991. С. 44–49; Гуляева Е.П. Якутские епархиальные ведомости о переводах религиозных изданий на якутский язык (1884–1901 гг.) // Третьи Макушинские чтения. Новосибирск, 1994. С. 56–59; Коновалова Е.Н. Из истории издательской деятельности Тобольского епархиального братства (вторая половина XIX — начало XX вв.) // Третьи Макушинские чтения. Новосибирск, 1994. С. 40–43; Левикова Е.И. Издание и распространение религиозной литературы в Сибири учреждениями православной церкви (конец XIX — начало XX вв.) // Третьи Макушинские чтения. Новосибирск, 1994. С. 54–56.; Игумнова Н.Д. Старопечатные книги и рукописи в собрании Н.С. Романова // Первые Романовские чтения: М-лы науч. конференции, посвящ. 125-летию со д. р. Н.С. Романова, 9–10 окт. 1996 г. Иркутск, 1997. С. 23–28; Куликаускаене Н.В. Духовенство Иркутской епархии и книга в 17–19 вв. // Из истории Иркутской епархии: Сборник научных трудов. Иркутск, 1998. С. 61–70; Чернышева Н.К. Круг чтения миссионера-архиепископа Иркутского, Нерчинского и Якутского Нила (1838–1853 гг.) // Православие и русская народная культура: Сб. М., 1994. С. 110–115; Щербич С.Н. Книжное собрание Тюменского Троицкого монастыря (18 — 1-я четв. 19 вв.) // Религия и церковь в Сибири: Сб. науч. статей и документальных материалов. Вып. 10. Тюмень, 1997. С. 47–53.

История текстов и текст истории

⁶ Конюченко А.И. Структура духовного образования в Азиатской России в начале XX в. // Культурное наследие Азиатской России. Тобольск, 1997. С. 110–111; Сушко А.В. Воскресные школы при духовных семинариях во второй половине XIX в. // Просвещение на Руси, в России. Исторический опыт: М-лы 19-й Всероссийской заочной конференции. СПб., 2000. С. 113; Фаркова Е.Ю. Учебная и внешкольная работа в духовных училищах (XIX – начало XX вв.) // Просвещение на Руси, в России. Исторический опыт: М-лы 19-й Всероссийской заочной конференции. СПб., 2000. С. 185.

⁷ Капустина М.И. Проблема соотношения культуры и религии (Методологический аспект): Дис. к. филос. н. Л., 1986. – 192 с.

⁸ Жакина А.К. Общечеловеческие ценности как платформа сотрудничества верующих и неверующих: (Нравственный аспект): Автореф. дис. к. филос. н. М., 1991. – 20 с.; Цветкова Л.А. Религиозно-этич. учение С.Н. Булгакова и РПЦ: конец XIX – начало XX вв. Дис. к. филос. н. СПб., 1994. – 142 с.; Базаров Е.Ю. Жизненно-практический аспект веры как основополагающий феномен социально-политических отношений: Автореф. дис. к. филос. н. Екатеринбург, 2002. – 26 с.

⁹ Капустина М.И. Указ. соч. Л. 27.

¹⁰ Лещинский А.Н. Проблема соотношения культуры и религиозности в развитии общества (Методологический аспект): Автореф. дис. к. филос. н. Л., 1982. – 23 с.; Канаев С.З. Роль религиозного фактора в формировании национальной психологии: Автореф. дис. к. филос. н. М., 1991. – 19 с.; Алексеев В.А. Русское православие, как феномен культуры: Автореф. дис. д-ра филос. н. Тюмень, 2001. – 48 с.; Камордин В.В. Православная концепция политического и социально-экономического развития России конца XIX – 40-х гг. XX в.: Автореф. дис. к.и.н. Пенза, 2002. – 21 с.

¹¹ Фирсов С.Л. Православная церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России. СПб., 1996. – 660 с.; Фирсов С.Л. Православная церковь и Российское государство в 1907–1917 гг.: соц. и политические проблемы: Автореф. дис. д-ра. и.н. СПб., 1997. – 47 с.; Рожков В. Церковные вопросы в Государственной Думе. М., 2004. – 560 с.; Симонов И.В. Анализ особенностей социально-идеологической деятельности Русской православной церкви в начале XX в.: Автореф. дис. к. филос. н. СПб., 1993. – 16 с.; Кондаков Ю.Е. Государство и православная церковь в России. Эволюция отношений в первой половине XIX в. СПб., 2003. – 360 с.

¹² Андреева Л.А. Религия и власть в России. Религиозные и квазирелигиозные доктрины как способ легитимизации политической власти в России. М., 2001. – 252 с.

¹³ Фирсов С.В. Русская церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии: Духов. б-ка., 2002. – 623 с.; Базаров Е.Ю. Жизненно-практический аспект веры как основополагающий феномен социально-политических отношений: Автореф. дис. к. филос. н. Екатеринбург, 2002. – 26 с.

¹⁴ Розов А.И. Священник в духовной жизни русской деревни. СПб., 2003. – 253 с.

¹⁵ Кузнецов С.В. Православный приход в России в XIX в. // Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII–XX вв. М., 2002. С. 156–178. – 468 с.; Мелихова Г.Н. Духовенство и его роль в жизни населения Каргополья (XIX – первая треть XX вв.) // Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII–XX вв. М., 2002. С. 179–208.

Фигуры истории, или «общие места» историографии

¹⁶ Кузнецов С.В. Православный приход в России в XIX в. // Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII–XX вв. М., 2002. С. 156–178. — 468 с.; Розов А.И. Священник в духовной жизни русской деревни. СПб., 2003. — 253 с.

¹⁷ Marr C.J. Photographers and their subjects on the Southern Northwest Coast: motivations and responses. *Arctic anthropology*. 1990. Vol. 27. P. 13–26.

¹⁸ Таймасов Л.А. Христианское просвещение нерусских народов и этноконфессиональные процессы в среднем Поволжье в посл. четв. 18 — нач. 20 вв.: Автореф. дис. д-ра и.н. Чебоксары, 2004. — 46 с.; Голованова М.А. История православных приходов и духовного сословия Верхнеудинска (к. XVII — н. XX вв.): Автореф. дис. к.и.н. Улан-Удэ., 2004. — 24 с.; Модоров Н.С. Алтайская дух. Миссия и просвещение алтайцев (конец XIX — начало XX вв.) // Просвещение на Руси, в России. Исторический опыт: М-лы 19-й Всероссийской заочной конференции. СПб., 2000. С. 140–144.

¹⁹ Гусейнова Т.Н. Миссионерская деятельность Русской православной церкви среди старообрядцев Забайкалья (XVIII — н. XX вв.): Автореф. дис. к.и.н. У.-У., 2004. — 24 с.; Голованова М.А. История православных приходов и духовного сословия Верхнеудинска (к. XVII — н. XX вв.): Автореф. дис. к.и.н. Улан-Удэ., 2004. — 24 с.

²⁰ Znamenski A.A. Shamanism and Christianity. Native encounters with Russian Orthodox Missions in Siberia and Alaska, 1820–1917. Greenwood Press. Westport, Connecticut-Ltd. 1999. — 306 p.

²¹ Olekca M. *Orthodox Alaska. A Theology of Mission*. N.Y., 1992; *Orthodox Alaska*. N.Y., 1992; Ivanov V.V. *The Russian Orthodox Church of Alaska and the Aleutian Islands and its relation to Native American traditions: an attempt at a multicultural society*. 1794–1912. Wash., 1997.

²² Введенский Е.С. Деятельность РПЦ в области нач. народ. образования во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. (по м-лам Ярославской и Костромской губ.): Автореф. дис. к.и.н. Ярославль, 2004. — 22 с.; Расова Н.В. Образовательная деятельность в системе Алтайской дух. Миссии // Просвещение на Руси, в России. Исторический опыт: М-лы 19-й Всероссийской заочной конференции. СПб., 2000. С. 80–83; Сушко А.В. Воскресные школы при духовных семинариях во второй половине XIX в. // Просвещение на Руси, в России. Исторический опыт: М-лы 19-й Всероссийской заочной конференции. СПб., 2000. С. 113–117.

²³ Сушко А.В. Воскресные школы при духовных семинариях во второй половине XIX в. // Просвещение на Руси, в России. Исторический опыт: М-лы 19-й Всероссийской заочной конференции. СПб., 2000. С. 113; Модоров Н.С. Алтайская дух. Миссия и просвещение алтайцев (конец XIX — начало XX вв.) // Просвещение на Руси, в России. Исторический опыт: М-лы 19-й Всероссийской заочной конференции. СПб., 2000. С. 140; Кузнецов В.Д. К вопросу о влиянии церкви на развитие просвещения в России в конце XIX — начало XX вв. // Просвещение на Руси, в России. Исторический опыт: М-лы 19-й Всероссийской заочной конференции. СПб., 2000. С. 148–150.

²⁴ Кузнецов В.Д. Указ. соч.

²⁵ Фаркова Е.Ю. Учебная и внешкольная работа в духовных училищах (XIX — начало XX вв.) // Просвещение на Руси, в России. Исторический опыт: М-лы 19-й Всероссийской заочной конференции. СПб., 2000. С. 185–187.

История текстов и текст истории

²⁶ Ключева В.П., Щербич С.Н. Духовное сословие и его роль в культурной жизни Сибири (XVII — первая четв. XIX вв.) // Россия и мировой исторический процесс. Материалы всероссийской межвузовской конференции. Бийск, 1999. С. 109–111; Харченко Л.Н. Роль православных монастырей в культурном развитии Сибири в XVII–XIX вв. // Русская православная церковь в Сибири: История и современность: Материалы конференции, посвящ. 350-летию с. Посольское и Посольскому Спасо-Преображенскому монастырю. 24–26 января 2003. Улан-Удэ, 2003; Харченко Л.Н. Научная деятельность священнослужителей Сибири во второй половине XIX в. // Вестник молодых ученых. 2004. № 1. С. 29–33; Маняхина М.Р. Русская православная церковь в конфессиональных процессах в истории культуры Сибири (XVII — нач. XX вв.): Автореф. дис. д-ра культурологии. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. — 39 с.

Т.В. Чумакова (Санкт-Петербург)

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.*

Систематическое изучение истории Академии наук началось только тогда, когда и сама Академия и русское общество ощутили необходимость в этом. И это время наступило во второй половине XIX века. Начало было положено работами академика А.А. Куника. Именно по его инициативе в «Ученых записках Императорской Академии наук»¹ стала публиковаться «Историко-литературная летопись Академии с 1726 по 1851 год». Он же первым в статье «Почему ныне невозможна еще история Академии наук в XVIII столетии»² рассмотрел историографию академической истории, а также обосновал основные принципы ее написания. И, конечно, не стоит забывать о работах А.А. Куника по истории Академии. В 1857 году Непременным секретарем ИАН стал Константин Степанович Веселовский³. С первых дней своего секретарства академик Веселовский начал собирать материалы по истории Академии, «но вскоре убедился, что при тех занятиях, кои лежат на нем по званию Непременного секретаря, он мог бы уделять работе не столько времени, сколько было бы нужно для того, чтобы работа успешно двигалась вперед и чтобы он мог надеяться в свою жизнь довести дело до конца»⁴. Однако К.С. Веселовский смог подготовить и опубликовать ряд статей по истории Академии наук, а его речь на годовичном торжественном собрании ИАН 29 декабря 1864 года «Историческое обозрение трудов Академии Наук на пользу России в прошлом и текущем»⁵ справедливо может считаться первым историческим обзором деятельности Академии с XVIII по вторую треть XIX столетия включительно. В своих выступлениях К.С. Веселовский не скрывал и причин упадка академической жизни в те или иные периоды ее существования. Так, выступая на юбилее Академии 29 декабря 1876 г. (ст.стиля) в присутствии императора Александра II и членов императорской семьи с речью о развитии деятельности Академии в последнее пятидесятилетие, К.С. Веселовский, подробно рассмотрев историю АН со времен Петра I, отметил, что период ее существования, совпавший с царствованием Александра I, был достаточно сложным: «Влияние политических обстоятельств отразилось между прочим и на судьбе Академии в первой четверти текущего столетия. Расстройство ее хозяйственных средств было причиной того, что многие места академиков оставались долгое время незанятыми, ее кабинеты, лаборатории и музеи пришли в жалкое по-

* Работа выполнена при поддержке РФНФ, грант № 05-03-03212а.

История текстов и текст истории

ложение, самые здания ее близились к упадку, и она не могла помышлять не только о расширении своей деятельности, соответственно возрастающим требованиям науки, но и о поддержании того значения, какое приобрела она в прежнее время»⁶.

В 1863 году адъюнктом Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности (ОРЯС) стал известный историк П.П. Пекарский. Поскольку Общим собранием изучение истории Академии было возложено на ОРЯС, поэтому вскоре адъюнкт Пекарский был представлен 13 декабря 1863 г. на Общем собрании ИАН в качестве официального академического летописца. Представляя его кандидатуру, Непременный секретарь ИАН К.С. Веселовский отметил, что «по месту, занимаемому нашей Академией среди учреждений, содействовавших успехам наук, а равно и тому влиянию, которое имела она вообще на просвещение в России, издавна ощущалась потребность в сочинении, которое представляло бы главнейшие черты истории академии и оценку как трудов отдельных ее членов, так и важных ученых предприятий, совершенных ею на пользу отечества. Обширность этой задачи была, по всей вероятности, причиной того, что со времен попытки Миллера по сие время задача сия не могла быть осуществлена. ... Между тем, имея в виду, что адъюнкт АН по ОРЯС П.П. Пекарский своими прежними историко-литературными трудами и в особенности сочинением «О науке и литературе при Петре Великом» вполне приготовлен к такому труду, как составление истории Академии, Непременный секретарь представил конференции о том, не признает ли она своевременным и полезным поручить г. Пекарскому, согласно его собственным желанием, составление такой истории, причем выразил уверенность, что академики не откажутся, в случае надобности, оказывать составителю свое содействие советами и указаниями. Собрание одобрило и положило «поручить адъюнкту Пекарскому... составление истории ИАН»⁷. Надо сразу отметить, что наибольшую помощь П.П. Пекарскому в его трудах оказывал академик А.А. Куник. Пекарский писал Кунику 8 апреля 1859 г.: «Приношу Вам искреннюю благодарность за хлопоты с доставлением мне возможности пользоваться теми рукописями... Другие мои ходатайства, начавшиеся еще при жизни академика Каркунова, были менее успешны»⁸. Кроме того, Куник предоставлял ему книги из собственной библиотеки. Петр Петрович писал: «Простите, что беспокою Вас моими просьбами, но с закрытием Публичной Библиотеки и академической, я совершенно остался как рак на мели»⁹. Немалое содействие Пекарскому оказывал и академик Я.К. Грот, с которым Пекарский состоял в дружеских отношениях (об этом говорит их переписка, частично сохранившаяся в фонде Грота¹⁰). Пекарский приступил к работе с архивом Канцелярии. П.П. Пекарский писал: «В этом архиве нет описей, а потому, чтобы ознакомиться с содержанием хранящихся здесь ма-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

териалов или найти какие-либо нужные известия, необходимо долгое и кропотливое рассмотрение значительного количества фолиантов, писанных по большей части дурною скорописью XVIII века»¹¹. Уже менее чем через месяц, 29 декабря 1863 г., П.П. Пекарский прочитал на торжественном заседании ИАН речь «Очерк деятельности Академии наук по отношению к России в первой половине XVIII столетия». Несмотря на свои блестящие способности и недюжинное трудолюбие, в последующие годы Пекарский успел разработать только первый период истории АН, до начала царствования Екатерины II. Основных причин тому можно назвать две. Во-первых, чрезвычайная скрупулезность академика, который считал, что «историческое о чем либо исследование можно писать только тогда, когда собрано для того довольно материалов»¹². Думается, что здесь был совершенно прав Я.К. Грот, который, отвечая Пекарскому, писал: «не надобно идти слишком далеко в опасении приниматься за разработку материалов, пока они не совершенно полны. Ведь насчет спорности выводов можно оговориться, что не ручаешься за них в случае открытия новых данных. Иначе всем историкам придется ограничиться собиранием материалов и скольких приобретений лишилась бы тогда наука если бы все так рассуждали»¹³. Второй причиной стала болезнь П.П. Пекарского, в конце 60-х гг. его сперва разбил левосторонний, а позже, уже после выздоровления, правосторонний паралич. Но ученый всегда остается ученым. Об этом говорят его письма Гроту из Парижа в 1868 году. Это была первая поездка Петра Петровича за пределы Российской Империи. В Париж он приехал лечиться по совету своего петербургского доктора Экка¹⁴ от левостороннего паралича. Лечение там осуществлялось новейшими методами — электричеством, больному запретили посещать библиотеку, и он употребил все свое время на исследование Парижа. Пекарский писал: «Вот уже четыре недели как я живу в Вавилоне новейшего времени, откуда и пишу к вам, многоуважаемый Яков Карлович. И здешние доктора решили, что паралич следует лечить электричеством, а потому я первое бывал ежедневно, а ныне через день бываю у пресловутого доктора Duchenne de Boulogne¹⁵, который меня и лечит электричеством. Первое время улучшения почти никакого не было, но недели через две начало обнаруживаться некоторое движение в пораженной части лица и теперь это становится заметнее и заметнее. Вообще выздоровление надвигается с убийственной медленностью: глаза все еще не зажимаются вполне, и рот с трудом произносит губные буквы. Как только добыюсь, что буду пользоваться глазом и ртом по прежнему, к чему есть уже надежда, то уеду хотя бы недели на три к Средиземному морю, где купаются и в зимнее время. В Париже я посажен на диету в отношении науки и искусств. Дюшенн запретил мне ходить в Публичную библиотеку, которая, как нарочно, почти рядом с отелем, где я поселился, а также посещать театры из опасения новой простуды там. И так мне осталось два развлечения — это осмотр достопримечательностей

История текстов и текст истории

днем, когда тепло, и в непогоду и вечером — чтение журналов. Париж меня очень занимает своею громадностью, красотою и изяществом разных памятников и наконец этою суетою, которая не по нас, родившихся на Севере. Насколько возможно иностранцу, я стараюсь ознакомиться с народною жизнью, хожу по рынкам, слушаю полицейские разбирательства, бываю в церквах во время службы. Так как я в первый заграничей, то все меня поражает и оставляет во мне сильное впечатление. В особенности меня удивляет признательность французов не только внешними заслугами, но и к таким, которые оказаны литературе, науке, искусству... Против дома, где умер Мольер, бьет фонтан Мольера. На старинной башне de St. Jacques de la Boucherie стоит статуя Паскаля... А у нас разве не могло бы быть ломоносовской набережной против Академии; эйлеровской улицы, где жил Эйлер; или памятника, где убило громом Рихмана... Вообще поездка за границу полезна в том отношении, что разрушаются разные миражи, создаваемые национальным самодовольством»¹⁶. Он писал из Парижа Гроту: «Ни разу мне не приходилось слышать, чтобы о русских отозвались, что это человек хорошо воспитанный или образованный»¹⁷. Пекарского интересовало и то, как французы представляют Россию и русских. Он замечал по этому поводу: «Меня они смешили своими познаниями о России. Мой парижский доктор, считавшийся знаменитостью, уверял меня, что в 1812 г. вся наполеоновская армия была сослана в Сибирь и там погибла в снегах. Один виконт, большой знаток в естественных науках, осторожно спрашивал меня: хорошо ли ездить на оленях и собаках в Петербурге»¹⁸.

После смерти П.П. Пекарского, который умер летом 1872 г. в Павловске от холеры, работами по истории Академии занялся М.И. Сухомлинов. Он был избран в экстраординарные академики в 1872 году, и вскоре предпринял обширный труд, исполнение которого лежало на обязанности Отделения русского языка и словесности: «История Российской Академии». До того он стал известен как блестящий исследователь русской истории периода царствования Александра I («Материалы для истории просвещения в России в царствование императора Александра I», «Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I», «Фридрих-Цезарь Лагарп, воспитатель Императора Александра I»). Первой работой М.И. Сухомлинова в качестве действительного члена АН стала восьмитомная «История Российской Академии» (СПб., 1874—1887). В ней он проанализировал историю Академии Российской, которая в 1841 г. вошла в состав Академии наук. М.И. Сухомлинов в этой и других работах отмечал несколько парадоксальный тип российского просвещения. Если в других странах создание академий и университетов было результатом длительной просветительской деятельности, то в России, напротив, именно с них и началась история российского просвещения. Для историографии АН большое значение имеют речи, прочитан-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

ные М.И. Сухомлиновым на торжественных заседаниях ИАН в 1877 г.: «Пятидесятилетний и столетний юбилей С.-Петербургской Академии наук» и «Речь в торжественном собрании Академии наук по случаю столетнего юбилея Александра I». В этой речи М.И. Сухомлинов рассмотрел основные этапы развития АН, уделив особое внимание эпохе Александра I. Первая половина этого периода предстает временем расцвета науки и образования, когда были учреждены и преобразованы уже существовавшие университеты, открыты гимназии, уездные училища и приходские школы, устроены учебные округа и т.д. Наибольшее внимание в речи неперменного секретаря уделено взаимодействию Академии наук и университетов. Преобразование Академии при Александре Сухомлинов рассматривал в связи с ее предшествующим развитием и с общим состоянием российской науки и образования. Анализируя процесс разработки академического устава 1803 г., он пришел к выводу, что «При преобразовании Академии наук во времена Александра I полагали возможным согласить чисто ученые стремления Академии с участием ее в распространении знаний в России. От Академии наук ожидали двоякого рода повременных изданий, из которых одно имело бы в виду строгую науку, а другое — ее общепользное применение»¹⁹. Однако развитие Академии в государстве немислимо без фундамента — системы народного образования, которая в свою очередь не может быть построена без университетов, «которые одни в состоянии организовать последовательный ряд училищ, удовлетворяющих как научным требованиям, постоянно возрастающим, так и разнообразным местным условиям»²⁰. М.И. Сухомлинов отмечал, что «Академия наук с справедливой гордостью может занести в свои летописи тот факт, что внутреннее управление русских университетов устроено по плану, составленному академиком Озерецковским»²¹. Университеты, по мнению М.И. Сухомлинова, должны были изменить всю жизнь России. Привлекая в свои стены представителей всех сословий, они ослабили сословную рознь, и сделали занятия наукой привлекательными для дворянства, которое до того предпочитало военную службу. Первые русские академики имели дворянское происхождение, а первые профессора почти все были из духовного звания. Но с начала XIX века статус научного работника стал возрастать. «Вестник Европы» в 1803 году писал: «...что в самом деле священнее храма науки, сего единственного места, где человек может гордиться саном своим в мире, среди богатства разума и великих идей? Воин и судья необходимы в гражданском обществе; но сия необходимость горестна для государства... как же благородно ученое состояние, которого дело есть возвышать нас умственно и приближать счастливую эпоху порядка, мира, благоденствия»²². Результаты деятельности университетов были таковы, что к 1878 году из 37 действительных членов Академии наук лишь семеро являлись выпускниками исключительно заграничных университетов. Двадцать один академик закончили российские университеты (8 — дерптский, 5 — московский,

История текстов и текст истории

3 — казанский, 3 — петербургский, 2 — харьковский). Развитию университетов не помешали испытания конца правления Александра I (профессорское дело в Санкт-Петербургском университете, «реформы» Магницкого в Казанском и др.).

Следующей работой М.И. Сухомлинова по истории Академии наук стала большая статья, посвященная трудам поэта, критика, ординарного академика по Отделению русского языка и словесности с 1841 г. Петра Андреевича Вяземского (1792—1878) «Князь Петр Андреевич Вяземский» (СПб., 1879). Появление этого исследования связано с академической традицией некрологов и посмертных прагматических биографий действительных членов Академии наук. Многие из таких некрологов, по сути, являются блестящими исследованиями жизни и деятельности академиков, тут можно вспомнить работу П.С. Билярского «Очерк биографии академика Круга» (СПб., 1849) или блестящее исследование А.С. Лаппо-Данилевского «Арист Аристович Куник. Очерк его жизни и трудов» (Известия Имп. АН. VI серия. Т. VIII. 1914).

В 1888 г. ИАН по инициативе президента Академии наук графа Д.А. Толстого (1823—1889) началась подготовка «Материалов для истории Академии наук». Толстой сам являлся автором нескольких работ по истории Академии²³, и считал, «что при настоящем состоянии исторической науки представляется неотложною потребностью обнародование материалов, в обилии хранящихся в различных архивах»²⁴. Но так как за некоторые годы, относящиеся к первому периоду Академии, вовсе не сохранилось протоколов, а между тем сведения об этой древнейшей поре академической жизни представляли особенный интерес, то было решено, по крайней мере на первый раз, не ограничиваться одним протоколами, а помещать и другие документы, имеющие отношение к истории Академии наук и находящиеся в академическом или в других каких-либо архивах. По ходатайству Президента Академии наук на издание материалов по истории АН было назначено по 5000 рублей ежегодно, в течение трех лет. Часть этой суммы была определена для покрытия расходов по разбору и приведению в порядок массы бумаг, хранящихся в академическом архиве²⁵. Как отмечал в «Очерке деятельности отделения русского языка и словесности за пятидесятилетия от 1841 по 1891 год» Я.К. Грот: «Так как между академиками не нашлось никого, кто бы после Пекарского принял на себя продолжение истории АН, то покойный президент гр. Толстой возымел мысль печатать вместо этого хранящиеся в академическом архиве материалы для такой истории»²⁶. Этот многолетний и тяжелый труд был возложен на М.И. Сухомлинова, который подготовил и опубликовал десять томов «Материалов для истории императорской Академии наук» (СПб., 1885—1901).

Впрочем, и этим не исчерпывалась работа академика М.И. Сухомлинова по изучению истории АН. Составляя в течение ряда лет отчеты о деятельности отделения русского языка и словесности Российской академии наук, он занимался и современной историей Академии, поскольку именно отчеты наряду с

Фигуры истории, или «общие места» историографии

протоколами заседаний являются и по сей день важнейшим источником по истории Российской академии наук.

Говоря об академической историографии нельзя обойти вниманием и исследование жизни и творчества М.В. Ломоносова. Комиссия по увековечиванию памяти М.В. Ломоносова была создана по предложению президента АН Ф.П. Литке, была одобрена Общим собранием АН, а затем получила «Высочайшее утверждение», после чего была окончательно утверждена на торжественном собрании ИАН 6 апреля 1865 г. В связи с юбилеем М.В. Ломоносова была выбита медаль и учреждена Ломоносовская премия (по ходатайству министра народного просвещения было получено согласие императора на выделение 1000 рублей). К юбилею вышла в свет работа академика П.С. Билярского «Материалы для биографии Ломоносова» (СПб., 1865). За два года до того, в 1863 г., П.С. Билярский, возглавлявший в то время редакцию «Записок Академии» предложил пересмотреть акты академического архива, чтобы извлечь оттуда материалы, касающиеся жизни и ученых заслуг Ломоносова, поскольку в то время сведения о нем ограничивались сведениями, почерпнутыми из его сочинений и немногочисленных обнаруженных источников²⁷. П.С. Билярский чрезвычайно много сделал для исследования биографии Ломоносова, но преждевременная смерть в 1867 г. помешала ему довести работу до конца²⁸. «Материалы» Билярского были дополнены двумя томами, изданными при историко-филологическом отделении ИАН академиком А.А. Куником, а также трудом постороннего ученого, представленного в распоряжение ОРЯС. С.И. Пономарев, преподаватель русской словесности в Петровском кадетском корпусе в Полтаве, доставил в Академию ко дню Ломоносовского торжества рукопись, содержащую собрание библиографических указаний к сочинениям академика. К этим материалам присоединяется еще список первоначальных изданий некоторых мелких сочинений М.В. Ломоносова, составленный Куником по экземплярам, находящимся в академической библиотеке. На торжественном собрании были произнесены речи — Я.К. Грота «Очерк академической деятельности М.В. Ломоносова» и А.В. Никитенко «Речь о значении М.В. Ломоносова в отношении к изящной словесности». Следующей научной биографией М.В. Ломоносова стала вышедшая в 1896 г. работа Сухомлинова «К биографии Ломоносова» (СПб., 1896). Но еще за восемь лет до выхода этой монографии, в январе 1888 г., по инициативе академика М.И. Сухомлинова в Отделении русского языка и словесности АН была начата подготовка к изданию полного собрания сочинений М.В. Ломоносова. Первые пять томов собрания сочинений М.В. Ломоносова академик Сухомлинов успел подготовить к печати (1891—1902). После смерти М.И. Сухомлинова издание сочинений Ломоносова приостановилось, но подготовка текстов продолжалась силами академика В.И. Ламанского и филолога Г.А. Князева. Комментированием и переводом латинских текстов с 1907 г. занимался

История текстов и текст истории

проф. Б.Н. Меншуткин. Осенью 1907 г. он составил подробный план издания шестого и седьмого томов. К 1909 г. тексты этих томов, подготовленные Б.Н. Меншуткиным и Г.А. Князевым, были подготовлены к печати, а в 1911 г. отпечатаны тиражом 600 экз. Все работы по изданию собрания сочинений Ломоносова приостановились в начале Первой мировой войны. Это оказался самый длинный академический проект. Выпуск собрания сочинений М.В. Ломоносова закончился лишь в 1948 г.

Говоря об историографии Академии наук, нельзя обойти вниманием историю академических музеев. Решение о создании исторических очерков «ученых учреждений при Академии, а именно библиотек и музеев», было принято на Общем собрании ИАН 1 ноября 1863 г. Материалы были представлены к 1 января 1864 г., 22 января зачитаны и опубликованы в виде сборника очерков по истории академических музеев, написанных Ф.Ф. Брандтом, А. Гебелем, Б.А. Дорном, А.И. Гриммом и И.Ф.И. Рупрехтом²⁹. Нисколько не умаляя значимости других очерков, особо хотелось бы отметить работы академика Рупрехта по истории ботанических исследований в ИАН. Одна статья Рупрехта — «Ботанический музей» — была опубликована в сборнике очерков по истории академических музеев, а другая — «Материалы для истории Императорской Академии наук по части ботаники» была представлена на заседании Физико-математического отделения Имп. АН 12 января 1865 г. и опубликована в «Записках Имп. Академии наук» (1865. Т. 7. Приложение. 36 с.). Если в первой освещалась только история Ботанического музея АН, то вторая была более общей. Фактически это был первый рассказ об истории институционализации ботанических исследований в России — от разрозненных коллекций до созданий Ботанического музея. Рупрехт писал: «Академия, бесспорно, сделала большую услугу науке в особенности по части изучения растительного мира России. И так, весьма было бы жаль, если бы впредь ей не были предоставлены необходимые средства к тому, чтобы при всяком представляющемся случае достойным образом разрешать эти и другие подобные ей задачи. Мне неизвестно, что представляет история академии по другим отраслям наук, но в той части, по которой я состою в Академии представителем, летопись этого учреждения показывает, что все трудом добытые ею плоды составляют результаты двух неравных факторов: внешней обстановки и личности деятелей. С этой точки зрения и составлена настоящая статья»³⁰. Надо также отметить, что в 1868 г. Рупрехт «обратил внимание на необходимость приведения в порядок накопившегося материала ботанического архива, в котором имеется большое число записей П.С. Палласа, И.А. Гильденштата, С.Г. Гмелина, не имеющих систематического характера и относящихся к различным экспедициям»³¹.

За вторую половину девятнадцатого столетия по истории Академии было издано и разработано немало материалов: довольно вспомнить о трудах по этой части Д.А. Толстого, П.С. Билярского, П.П. Пекарского, А.А. Куника,

Фигуры истории, или «общие места» историографии

М.И. Сухомлинова. И хотя, как отмечал в 1898 г. К.С. Веселовский, «этими трудами, за немногими лишь исключениями, извлечены из архивов данные главным образом только для истории академии за первые сорок лет ее существования»³², в этот период сложились основные черты академического летописания: междисциплинарный подход и рассмотрение истории Академии в неразрывной связи с историей страны и историей образования в России.

Примечания

¹ Об ученых сборниках и периодических изданиях Имп. Академии наук, с 1726 по 1852 год, и об издании «Ученых записок» // Введение к I тому Ученых Записок ИАН по I и III отделениям. Т. I. Вып. I. СПб., 1852. С. СXXX. С подп. «-къ».

² Куник А.А. Почему ныне не возможна еще история Академии наук в XVIII столетии // Ученые записки ИАН по I и III отделениям. Т. II. Вып. I. 1853. С. 137–144.

³ Константин Степанович Веселовский (1819–1901) — экономист, статистик. Адъюнкт Императорской Академии наук по разряду историко-политических наук (статистика и политическая экономия) с 01.05.1852. Экстраординарный академик с 01.09.1855. Ординарный академик с 05.06.1859. С 1857 по 1890 гг. был постоянным секретарем. На этом посту он пережил трех президентов Академии наук: Д.Н. Блудова, Ф.П. Литке и Д.А. Толстого. В отставку его вынудил уйти великий князь Константин Константинович, ставший в 1889 г. президентом Академии. Историей Академии Веселовский занялся после назначения постоянным секретарем Академии. До сих пор не утратила актуальности речь, прочитанная Веселовским на торжественном собрании Академии наук 29 декабря 1864 года «Историческое обозрение трудов Академии Наук на пользу России в прошлом и текущем столетиях». Фактически это была первая работа, освещающая «современный» период развития Академии наук.

⁴ Записки ИАН. Т. 4 Кн. 1. СПб., 1864. С. 206.

⁵ Историческое обозрение трудов Академии Наук на пользу России в прошлом и текущем столетиях (читано 29 декабря 1864 г.) // Торжественное собрание Академии наук 29 декабря 1864 года. СПб., 1865. С. 27–64.

⁶ Веселовский К.С. О развитии деятельности Академии в последнее пятидесятилетие // Торжественное собрание Императорской Академии наук 29 декабря 1876 г. Для празднования ее 150-летнего юбилея. СПб., 1877. С. 16.

⁷ Записки ИАН. Т. 4. Кн. 1. СПб., 1864. С. 206–207.

⁸ ПФА РАН. Ф. 95. Оп. 2. Д. 672. Л. 1.

⁹ ПФА РАН. Ф. 95. Оп. 2. Д. 672. Л. 3 об.

¹⁰ ПФА РАН. Ф. 137. Оп. 3. Д. 723.

¹¹ СОРЯС. Т. 33. СПб., 1884. С. 4.

¹² ПФА РАН. Ф. 137. Оп. 3. Д. 723. Л. 41 об.

¹³ ОР РНБ. Фонд П.П. Пекарского. Д. 209. Л. 45 об.

¹⁴ В.Е. Экк — в этот период возглавлял терапевтическую клинику Военно-медицинской академии, отец известного хирурга Н.В. Экка.

¹⁵ Гийом Дюшенн (1806–1875) — французский невропатолог, один из основоположников электротерапии.

История текстов и текст истории

¹⁶ ПФА РАН. Ф. 137. Оп. 3. Д. 723. Л. 27.

¹⁷ Там же. Л. 37 об.

¹⁸ Там же. Л. 33 об.

¹⁹ Сухомлинов М.И. Речь на торжественном собрании Императорской Академии наук по случаю столетнего юбилея Александра I / Приложение к XXXI т. Записок ИАН. СПб., 1877. С. 23.

²⁰ Там же. С. 37.

²¹ Там же. С. 38.

²² Вестник Европы. 1803. № 8. С. 322.

²³ Академическая гимназия в XVIII столетии, по рукописным документам Архива АН // Сборник Отделения русского языка и словесности (СОРЯС). 1885. Т. 38. № 5; Академический университет в XVIII столетии. По рукописным документам Архива АН // СОРЯС. 1885. Т. 38. № 6.

²⁴ Материалы для истории Императорской АН. Т. I. СПб., 1885. С. I.

²⁵ СОРЯС. Т. 33. СПб., 1884. С. 5.

²⁶ Записки ИАН. Т. 68. СПб., 1892. С. 129.

²⁷ Отчет по ОРЯС при ИАН за 1863 г. СПб., 1864. С. 83.

²⁸ В некрологе П.С. Билярского говорилось об этой работе: «Последний ученый труд, совершенный им с обычным его знанием и рвением, было собрание материалов для биографии Ломоносова, извлеченных из академических архивов и изданное ко дню празднования Ломоносовского столетнего юбилея. Все, занимающиеся историей русской словесности, оценили по достоинству этот огромный сборник, представляющий многие любопытные данные не только для биографии Ломоносова, но и вообще для истории нашего образования в прошедшее столетие». Цит. по Отчету ОРЯС за 1867 г. СПб., 1868. С. 80–81.

²⁹ Брандт Ф.Ф., Рупрехт Ф.И., Гебель А., Дорн Б.А., Гримм А.И. Очерк истории музеев Имп. Академии наук. СПб., 1865.

³⁰ Рупрехт Ф.И. Материалы для истории Императорской Академии наук по части ботаники // Записки императорской Академии наук. Т. 7. СПб., 1865. С. 35.

³¹ Записки ИАН. СПб., 1868. Т. 13. Кн. 1. С. 313–315.

³² Веселовский К.С. Несколько материалов для истории Академии наук в биографических очерках ее деятелей былого времени. I. Никита Попов, профессор астрономии, и Мартин Плацман, адъюнкт по математике // Записки императорской Академии наук. Т. 73. СПб., 1893. С. 1.

И.В. Якубовская (Великий Новгород)

**ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТ
ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ:
КОТТЕДЖ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ АНГЛИЧАН XIX в.**

Викторианская эпоха и ее культурные приоритеты оставили глубокий, до сих пор ощутимый след в сознании и психологии англичан, в их пристрастиях и вкусах. Используя распространенную метафору понимания культуры как текста,¹ можно выделить периоды, которые представляют собой отдельные страницы или даже главы в едином пространстве культуры этноса. Понимая культурное пространство как текст, как систему знаков и их значений, следует говорить о языке культурно-исторической эпохи и социального поколения этой эпохи. Этот «язык культуры» основывается на образах — представлениях, являющихся органической частью этнической ментальности. «В них фиксируется картина мира, опосредовано отражаются институты и устоявшиеся формы быта».² С этой точки зрения, социокультурное содержание эпохи представляет собой закодированную³ (образно или символически выраженную) информацию,⁴ передача и восприятие которой основаны на одновременной реконструкции и трансформации текста культуры.⁵ Литература, живопись, архитектура были частью культурного диалога человека и мира, формируя символы и смыслы, отражавшиеся в нравственных приоритетах, мировосприятии, интересах и ценностях.

В способе жизни внутренние ценностные установки овнешняются. Можно в данном случае, используя размышления Г.Г. Шпета о соотношении внешнего и внутреннего, утверждать, что «реальность, действительность определяется только внешностью» и «внутренне для ... восприятия должно быть опосредовано внешним».⁶ Внутренним основанием выбираемого личностью образа жизни является сформулированное Кьеркегором понятие «возможности быть самим собой» — как формы «этической саморефлексии и самостоятельного выбора, определенного бесконечным интересом к успешности собственных жизненных планов».⁷ Наиболее комфортная психологически форма существования в реальной социально-экономической ситуации составляет основу выбора образа жизни, выбора определяемого и личными склонностями, и социально-экономическими условиями деятельности, проявляясь в том числе и в сфере интересов, манере общения, поведении, бытовой культуре. В викторианский период право «быть другим» — возможность быть непохожим на других, и при этом быть равным другим в своей непохожести — переставало быть социальной привилегией — тем самым расширя-

История текстов и текст истории

лись возможности индивидуализации типичного образа жизни — способов жить.

Шестидесятичетырехлетнее правление королевы Виктории принято делить на три различных по характеру этапа, но они составляют историко-культурное единство.⁸ Такое единство задается, прежде всего, общностью ценностных приоритетов, способами их выражения и формами восприятия социальной информации. Повышение уровня жизни, распространение достижений науки, большая доступность образования, увеличение свободного времени формировали у подданных королевы Виктории, сколь не различалось их имущественное и социальное положение, веру в прогресс, способствовавший многообразию вариантов реализации избранного образа жизни. Усвоение значительной частью близких по возрасту индивидуумов относительно единых философских, социальных и культурных значений, как результат воспринятых в юности интенсивных впечатлений, формирует социальное поколение.⁹ Представление о социальном поколении, как производном от социокультурного содержания эпохи, ее ценностных ориентиров и мотивированных ими способов человеческой деятельности, составляет основу изучения «типичного» викторианского образа жизни,¹⁰ который был неразрывно связан с поступательным экономическим развитием страны.

Известный критик и поэт того времени М. Арнольд писал, что «стремительный прогресс» оказывает не только «иссушающее, ожесточающее воздействие». Прогресс «может, хотя и не обязательно, привести к возникновению духовной жизни; человек, вполне устроивший свою судьбу и решающий, чем бы ему заняться, может вспомнить, что он наделен интеллектом... Такой результат... забот о ... предпринимательстве, жажде к обогащению», как справедливо отмечал Арнольд, отнюдь не непреложен,¹¹ но влияние социальных и экономических изменений на субъективный выбор «образа жизни» — несомненно.

Основой для формирования представлений о «достойном», уважаемом образе жизни викторианской эпохи явились как либеральные ценности, так и традиция. Но общность ценностных приоритетов англичан викторианской эпохи не исключала различия в способах их реализации. Англия 1840—1890-х годов, будучи обществом развивающейся либеральной политической культуры, вовсе не была обществом демократическим; сохранялись почти непреодолимые социальные барьеры, каждый член этого общества действовал в рамках предписываемой ему социальной роли. Это проявлялось в существовании по крайней мере трех поведенческих стереотипов, не зависевших от занимаемого положения и социального статуса и трех, связанных с этими поведенческими стереотипами, «способов жить». Прежде всего, это так называемые «серьезные викторианцы». Подход этой категории социального поколения к жизни был столь же ответственным, сколь и моральным; основными ценностями являлись религия, семья, стремление развивать и реализо-

Фигуры истории, или «общие места» историографии

вать свои способности — как для себя, так и для общества. Примером для этой группы британцев была королевская чета — Виктория и Альберт, представлявшаяся образцом семейственности, религиозной серьезности, чувства долга. Вторая группа «типичных» викторианцев может быть описана термином «щеголи». Стремление произвести фурор и обратить на себя внимание были отличительными признаками этой группы. Наконец, третий тип поведения выражался в стремлении выглядеть и поступать так, как подобает истинному английскому джентльмену. Для этой группы британцев второй половины XIX в. вопрос состоял не в принадлежности к какому-либо классу, а о том, чтобы всем своим поведением соответствовать представлениям о «джентльмене». ¹² Ценность такого отношения к жизни и отвечающего ему поведения признавала наряду с аристократией значительная часть среднего и рабочего классов, определявших особенности структуры викторианского общества.

В период промышленной монополии Англии вырваться из душного серого однообразного города и такого же монотонного существования стремился почти каждый представитель викторианского общества, к какой бы социальной страте городского населения он не принадлежал. По словам Ч. Диккенса, даже «тот, кто всю трудовую жизнь прожил в густо населенных улицах и никогда не жаждал перемены, ... кто чуть не полюбил каждый камень и кирпич», начинает, «наконец, томиться желанием взглянуть, хотя бы мельком, в лицо Природе». ¹³

В викторианскую эпоху Англии особое значение в представлениях современников о «достойном» образе жизни начинают играть загородный дом и присущий ему культурный бытовой уклад. Обзавестись собственным коттеджем и постоянно там поселиться — стало мечтой всякого лавочника и клерка, ¹⁴ любого представителя среднего класса, включая и высокооплачиваемого рабочего. Внимание английского общества к изучению и сохранению традиционного жилища во второй половине XIX в. было связано и с тем, что состоятельные англичане стали вкладывать средства в приобретение старинных построек, открывая тем самым и широкой публике их необычность и красоту. ¹⁵ «Возможно — отмечали позднее авторы “The Studio” — нет предмета столь естественно являющегося частью английского ландшафта, столь непосредственно обращенного к сердцу и воображению, как старый английский коттедж». ¹⁶

Коттедж в Англии XIX в. это не только жилище батрака, но вообще обитателя деревенской местности. Архитектура коттеджей была необыкновенно разнообразна. Это могла быть и лачуга, крытая соломой, и довольно просторный особняк. Коттеджи строили из песчаника, кирпича, глинобитные, из серого тесанного и местных пород зеленого и розового камня. Крыши крыли соломой, черепицей, шиферными плитками и т.д. Коттеджи иногда стояли одиноко, иногда группировались или составляли целую улицу. Стоимость по-

История текстов и текст истории

стройки таких домов исчислялась приблизительно от 100 до 500 фунтов.¹⁷ Учитывая, что в промышленности в последней четверти XIX в. наблюдался рост заработной платы и улучшение положения рабочего класса, строительство коттеджа стоимостью если не 500, то 100 фунтов было по средствам наиболее квалифицированным и высокооплачиваемым категориям городских трудящихся.¹⁸

Захвачена общими настроениями эпохи была и интеллектуальная элита Англии; ее критичность выражалось не в противопоставлении своего «образа жизни» типичному, а в формах его реализации, то есть иным был стиль жизни, иными были вкусы, а не ценности.¹⁹ Для представителей мира искусства загородный дом был средством противостояния «буржуазности», эстетическим манифестом, выраженным на языке культуры жилища и ландшафта, но при этом даже самые жесткие критики викторианства оставались, несомненно, в рамках культурной парадигмы своего времени.²⁰ Ценность сельской усадьбы и загородного дома заключалась отнюдь не только в высокой стоимости и роскоши, а в живописности, уюте и покое. После того, как У. Моррису пришлось продать знаменитый «Ред Хауз», выстроенный в 1859–1860 гг. архитекторами и художниками, объединившимися в братство прерафаэлитов,²¹ он снял дом для своей семьи в верховьях Темзы, в деревушке Кельмскогг. Благодаря письмам Морриса из Кельмскогга, в художественном и литературном творчестве его деревенский дом и окружающий пейзаж стали воплощением идеальной среды для жизни, «среди садов и зеленых полей, так что через пять минут ходьбы оказываешься в сельской местности»;²² в доме «красивом и странном наивном», из окон которого «можно видеть заросшие клевером луга».²³

В английской литературе образ сельского дома также ассоциировался с безмятежностью, достатком и достоинством. Ч. Диккенс дает Оливеру Твисту, как вознаграждение за мучения, голод и нищету, «спокойствие духа и тихую умиротворенность» жизни среди добрых и ласковых друзей в коттедже, к стенам которого льнули розы и жимолость «плющ обвивал стволы деревьев, и цветы в саду наполняли воздух чудесным ароматом».²⁴ Любовь к коттеджу стала частью знаковой системы культуры викторианского периода, поскольку «культура рождается из образа жизни — писатели и музыканты ее только фиксируют».²⁵ Коттедж воспринимался англичанами в XIX — начале XX вв. как идеальный дом.

Богатая буржуазия все больше стремилась подражать аристократии в образе жизни и вкладывала деньги в земельные владения. Представители предпринимательской элиты в выборе сельского жилища руководствовалась лишь собственным вкусом и средствами. Загородные дворцы становились в викторианский период все большими, похожими на дорогие отели, не потому, что вкусы и потребности стремительно менялись, но потому, что очень быстро наживались деньги. В то же время, культура среднего класса Британии XIX в.,

Фигуры истории, или «общие места» историографии

определявшая знаковую систему эпохи, восприняла аристократические и религиозные ценности элитарной культуры доиндустриального периода, она «подчинилась ценностям» традиции и земельной собственности как основе материального благосостояния.²⁶

В викторианском культурной тексте загородный дом имел и другое смысловое значение и становился предметом критики в том случае, когда его архитектура отражала стремление хозяина продемонстрировать свое богатство; когда из «дома» в котором живут, он превращался в средство поразить и подавить окружающих. Такой дом, «построенный исключительно для отдыха» описывает Т. Гарди: «Все здесь говорило о деньгах, все напоминало новенькую монету, только что из чеканки». Богатая элита оставляла значительную часть земли необработанной. Это могло отражать и стремление сделать свой загородный дом только местом досуга, и снобизм богачей, и важную тенденцию в сельском хозяйстве — в условиях падения цен на сельскохозяйственное производство и господства фермерской аренды, хотя бы и долгосрочной, следовало поддерживать высокий уровень арендной платы. Так, «землю примыкавшую к нему <дому д'Эрбервилей> не возделывали — ни одного акра, кроме тех, какие нужны были для усадьбы и маленькой фермы, находившейся под присмотром владельца и на попечении управляющего».²⁷

Собственный замок, особняк или коттедж были символом приверженности определенному «образу жизни», который можно назвать «типично» викторианским. Загородный дом обрел статус не только материальной, но жизненной ценности в образе жизни самых различных социальных групп индустриализированного британского общества. Коттедж играл важную роль в трансляции кода культурного текста Британии второй половины XIX в.²⁸ В символическом воображении людей викторианской эпохи сельский дом стал эталоном желаемого образа жизни, выступая, тем самым и источником ценностной предметности, и одной из основных детерминант поведения британцев в течение всего историко-культурного периода.

Примечания

¹ Метафора культуры как текста и общества как текста стала очень распространенной. Но, как отметил Ж. Деррида, «метафора никогда не бывает невинной. Она направляет само исследование и определяет его результаты». — Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 28. Историки школы Анналов полагают, что от метафоры общества как текста «стоит позаимствовать хотя бы представление о полисемии и об активном участии читателя в производстве смысла». — Попробуем поставить опыт // *Анналы на рубеже веков*. М., 2002. С. 19.

² Ерофеев Н.А. Англия и англичане глазами русских. 1825—1853. М., 1982. С. 9.

³ Существуют различные понимания проблемы «кода», идущие от Р. Барта, который в литературном тексте выделял 5 кодов — герменевтический, семический, символический, проэретический и культурный. — Барт Р. С/Z. М., 1994. С. 30—32.

История текстов и текст истории

В таком понимании код «представляет собой сугубо структуралистскую концепцию свода правил или ограничений, обеспечивающий коммуникативное функционирование любой знаковой ... системы». — Ильин И.П. Постмодернизм. М., 2001. С. 289. Следует допустить, что конкретно-исторический анализ образа жизни также предполагает распознавание кода (кодов) его прочтения. Анализ образа жизни с позиции культура — индивид и индивид — социум, то есть в терминах семантики социокультурного пространства, основывается на существовании знаково-символических и аффективно-смысловых образований, которые на каждом этапе историко-культурного движения проявляются во внешне своеобразных формах, связанных с преобладающим культурным фоном. Таким образом, в интерпретациях «типичного» образа жизни особое значение имеют символический, герменевтический и культурный коды. Вместе с тем загородный дом, и особенно коттедж, можно рассматривать как своеобразный сем — единицу структуры в тексте викторианской эпохи, что выявляет семический код и семиотику социокультурного пространства; а информационные последовательности и вызываемые ими действия [социальная и культурная активность, связанная с образным и реальным значением коттеджа (загородного дома)] составляют в данном случае проэретический код. Только переплетение, «поливалентность и частичная обратимость» кодов, по определению Р. Барта позволяет представить хотя бы конспект «книги культуры». — Барт Р. S/Z. С. 32–33.

⁴ Зверева Г.И. Морфология социальной истории // Социальная история: проблемы синтеза / Под. ред. В.В. Согрина. М., 1994. С.40.

⁵ Этот процесс можно определить предложенным Ж. Дерридой понятием «деконструкция», то есть выявление в тексте «остаточных смыслов», неосознаваемых мыслительных стереотипов, которые бессознательно трансформируются сознанием. Деррида предлагает особый подход к тексту, «особое стратегическое решение», которое «произвело бы распространяющуюся на всю систему, расщепляющую ее и повсеместно *отграничивающую силу смещения*». Этот подход представляет собой раскол структуры — ее «разрыв и удвоение», «децентрацию». — Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 32, 445, 447–448. Деконструкции подвергаются идеи и дискурсы, но также и институты, которые воспринимаются как внешняя форма этих идей; она соединяет в себе анализ и критику. Деконструкция, таким образом, совершенно *неразделимый* процесс одновременной реконструкции и деструкции «текста». В трактовке Дерриды действительность вырастает из культурной практики и если не растворяется, то во многом отождествляется с рефлексией. «До бесконечности» раздвигаются универсальное проблемное «поле и возможности игры». В таком случае, действительно, «за отсутствием центра или начала все становится дискурсом». — Там же. С. 448. Для *исторического* исследования значение деконструкции состоит в распознавании неприсущих «культурному тексту» прошлого смыслов, основанных на представлениях историка, и только признание реальности прошлого создает возможность верификации предлагаемого «прочтения».

⁶ Шпетт Г.Г. Эстетические фрагменты. В 3-х ч. Ч. 1. Петроград, 1922. С. 48.

⁷ См.: Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М., 2002. С. 15–16. Свобода выбора образа жизни, возможность «быть другим» — право каждого в либеральном обществе. Но поскольку любое «право человека» есть регулируемая законом свобода, то право личности на выбор «образа жизни» ограничено таким же

Фигуры истории, или «общие места» историографии

правом другой(их) личности(ей), и заканчивается там, где начинается свобода выбора другого.

⁸ Briggs A. A social history of England. L., 1983. P. 228. — Бриггс, допуская восприятие единства и целостности викторианского периода, тем не менее акцентирует социальные различия ранне-, средне- и поздневикторианской Англии. Соответствующими представлениям о «типично викторианском» периоде Бриггс считает период 1851–1875 гг. Однако различная социальная атмосфера трех периодов не противоречит представлениям о викторианской эпохе как *времени* социального и экономического индивидуализма и развития либеральной политической культуры. С позиций социокультурного подхода к изучению времени обоснованной является несводимость «значения к синхронности», позволяющая воспринимать, если использовать метафору Ж. Дерриды, «богатство и вложенность *тома и объема*». — Ж. Деррида. Письмо и различие. М., 2000. С. 39.

⁹ Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Тракаты, статьи, эссе / Под ред. В.Г. Косикова. М., 1987. С. 108–112.

¹⁰ Можно говорить о нескольких значениях понятия «образ жизни». В философской антропологии «образ жизни» часто трактуют как способ, путь жизни. «Современная философская энциклопедия» определяет «образ жизни» как «форму человеческой (индивидуальной и групповой) жизнедеятельности, характерную для исторически конкретной системы социальных отношений и цивилизационного устройства». — Современная философская энциклопедия. В 4-х т. Т. 3. СПб., 2000. С. 128.

¹¹ Арнольд М. Назначение критики нашего времени // Писатели Англии о литературе. М., 1981. С. 118.

¹² Girouard M. Victorian values & the upper classes / Victorian values... P. 50–58. Английский историк Г. Бест отмечал рост «респектабельности» рабочего класса, негативную реакцию трудящихся на отождествление социального статуса рабочего с хамством и грубостью. — Best G.F. The Midvictorian Britain. 1851–1875. Frogmore, 1971.

¹³ Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1959. Т. 4. С. 282.

¹⁴ Лисенков Е.Г. Английское искусство XVIII века. Л., 1964. С. 32.

¹⁵ Old English Mansions // The Studio. London, 1915 P. 5–6; На рубеже эпох — в начале XX в. интерес к истории и искусству страны, в том числе к архитектуре, отразился в многочисленных изданиях, посвященных «старому английскому коттеджу», старой английской деревне», «старому английскому поместью». См., например: Taylor A.E., Mais S.P.B. Pictorial Britain & Ireland. London, n.d.; Old English country cottages // The Studio. Special winter number. 1906–1907. London; Paris; New York, 1906; Jones S.R. The village homes of England. London, 1912.

¹⁶ Old English country cottages... P. 3.

¹⁷ Ibid. P. 7; Лисенков Е.Г. Английское искусство... С. 32–33.

¹⁸ В 70–90-х годах XIX в., даже после начавшейся в 1873 г. экономической депрессии постоянно росла и номинальная заработная плата и реальный жизненный уровень городского населения. См: Statistical Tables & Charts relating to British & Foreign Trade & Industry. London, 1909. P. 212; Кучинский Ю. История условий труда в Великобритании и Британской империи. М., 1948. С. 120.

История текстов и текст истории

¹⁹ См.: Фадеева Л.А. «Профессиональный класс» в английской социальной истории XIX в. // Новая и новейшая история. 1998. № 4. С. 64.

²⁰ The collected essays of Asa Briggs. Vol. II. Images, problems, standpoints, forecasts. Urbana & Chicago, 1985. P.123. «Наилучшими своими собственными критиками», — отметил Э. Бриггс, — англичане викторианской эпохи были лишь «в том, что считали двумя наиболее серьезными национальными слабостями — ханжество (лицемерие) и самодовольство». — Ibidem.

²¹ Vallance A. William Morris, his art, his writings & his public life. London, 1897. P. 49; Аникст А.А. Моррис и проблемы художественной культуры // Эстетика Морриса и современность. М., 1987. С. 15; Кучерова Е.Н. Природа в эстетике Морриса // Эстетика Морриса и современность. С. 204.

²² Из письма У. Морриса г-же Альфред Болдуин. 1874. 26 марта // Кучерова Е.Н. Природа в эстетике... С. 210.

²³ Моррис У. Кое-что о старом доме на верхней Темзе // Там же. С. 212.

²⁴ Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. С. 281–282.

²⁵ Анненский Л.А. Русские плюс... М., 2003. С. 8.

²⁶ The culture of capital: art, power & the nineteenth-century middle class // Ed. by Wolf J. & Seed J. Manchester, 1988. P. 3; Girourd M. Life in the English county house. A social & architectural history. Harmondsworth. 1980. P. 268; Wiener W.J. English culture & the decline of the industrial spirit. Cambridge, 1981. P. 127.

²⁷ Гарди Т. Тэсс из рода д'Эрбервилей. М., 1987. С. 30.

²⁸ Существование кодов культуры означает одновременно наличие специфических форм трансляции, истолкования смыслов. Такой формой трансляции выступают социальный опыт, наука и искусство. В социокультурном пространстве викторианской Англии коттедж представлял собой как осмысленный знак-предмет (символ), так и овеществленный знак-смысл (О соотношении символа и знака, искусственном и естественном языках см.: Сильвестров В.В. Диалектика символа и знака в теории культуры и теоретической биологии // От философии жизни к философии культуры / Под ред. Визгина В.П. СПб., 2001. С. 338–342). Как символ загородный дом представлял собой способ передачи культурно-исторических представлений эпохи; как социальный и культурный смысл он был стимулом деятельности и одновременно формой социализации.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт международных образовательных программ
Санкт-Петербургский общественный «Фонд культуры и образования»

20–21 апреля 2007 г.

проводят

Третьи Санкт-Петербургские чтения
по теории, методологии и философии истории

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО
ЭТНИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА
В ИСТОРИОГРАФИИ И ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ**

Планируемые темы докладов и дискуссий:

- История глобальная, национальная и локальная
- История государства и история народа
- История государственная и история этническая (пути и методы реконструкции): совпадения, различия, параллели
- От линейно-стадиальной к многоуровневой модели истории
- Глобальный субъект истории и локальные субъекты истории
- Глобализация как фактор развития современной историографии
- «Атомизация» исторической реальности и «сегментизация» исторического знания
- «Объективное» прошлое и вероятностные модели истории
- Уровни историописания
- Системы идентификации в истории
- Время историческое и время этническое
- Этносоциальные константы историографии
- Этнические механизмы социальной памяти
- «Места памяти» как историографические конструкты
- Этнополярность историографии
- Плюралистический этноцентризм или децентрализация историографии
- От этничности к антропологичности истории
- Этнический подтекст микроистории

- Этническое измерение локального прошлого
- Категории локальных историй
- Образ «Другого» в историографии и философии истории
- «Диалогизм» в историографии и философии истории
- Мессианизм и этноцентризм в историографии и философии истории
- Всемирно-исторические концепции как философия истории
- Историографическая традиция российского областничества
- Историческо-философские основы областничества
- Устная история и национальная историография
- Факторы развития национальной историографии: идеология, политика, философия, методология
- Социальный заказ в исторической науке: общие черты и национальная специфика
- Национальные научные институты и специфика национальной науки
- Формы академического заказа и национальные научные институты
- Преподавание истории своей нации и истории других народов в своей стране

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:

Для участия в конференции необходимо прислать в оргкомитет заявку и тезисы предполагаемого выступления объемом 2–3 страницы (500–1000 слов) на русском языке или полный текст доклада до 0,5 авторского листа (до 20000 знаков) на русском языке. Текст доклада можно представить непосредственно на конференции. Материалы для регистрации должны поступить в оргкомитет до 18 марта 2007 г. По итогам конференции оргкомитет предполагает опубликовать поступившие материалы. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора и редактирования присланных материалов. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

Тексты и тезисы докладов должны быть представлены в печатной форме и в электронном варианте в редакторе Word 6.0–8.0.

Заявку, включающую авторскую справку и материалы, необходимо высылать на имя Ученого секретаря конференции — А.В. Малинова

по электронному адресу:
rusphil@philosophy.pu.ru или
kmo@imop.spbstu.ru

**ФИГУРЫ ИСТОРИИ,
ИЛИ
«ОБЩИЕ МЕСТА» ИСТОРИОГРАФИИ**

Материалы всероссийской научной конференции
22–23 апреля 2005 г.
Вторые Санкт-Петербургские чтения
по теории, методологии и
философии истории.

Издательство «Северная Звезда»
Лицензия ИД № 04018 от 12.02.2001

Редактор: А.М. Большаков
Подписано в печать 01.09.2005. Формат 60×90 1/16.
Гарнитура Literaturna. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 28,75. Тираж 1000 экз. Заказ № 00.

Отпечатано в типографии ООО «ИПК «Бионт»»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО., д. 86
тел. (812) 322-68-43